

К.Н. ЛЕОНТЬЕВ





ИЗ НАСЛЕДИЯ

К. Н. ЛЕОНТЬЕВ

Египетский голубь

Роман, повести, воспоминания

МОСКВА
«Современник» 1991

ББК 84Р1
Л47

Серия «Из наследия» основана в 1983 году

Составитель,
автор вступительной статьи и примечаний
В. А. Котельников

Леонтьев К. Н.
Л47 Египетский голубь: Роман, повести, воспоминания/Сост., авт. вступ. ст. и примеч. В. А. Котельникова.— М.: Современник, 1991.— 528 с., портр.— (Из наследия).
ISBN 5-270-01014-3

Константин Леонтьев (1831—1891) известен прежде всего как философ, историк литературы и культуры. В настоящую книгу вошли прозаические произведения К. Леонтьева: ранний роман «Подлипки», повесть «Исповедь мужа», в которой дается трактовка темы «свободной любви», предвещавшей психоаналитические концепции XX века, повесть «Египетский голубь»; воспоминания.

К $\frac{4702010101-133}{М106(03)-91}$ 25—90 ББК 84Р1

ISBN 5-270-01014-3

Парадокс о писателе

Если читатель полагает, что взял в руки книгу одного из полузабытых и ныне возвращаемых беллетристов, одного из скромных, что называется, «не лишенных дарования» писателей,— он очень ошибается.

К этому разряду литераторов Константин Николаевич Леонтьев никогда не принадлежал. Ему еще в юности казались жалки безвестные «труженики словесности», и он мысли не допускал оказаться когда-нибудь в их числе. «В великом призвании своем я был до того уверен,— вспоминал он позже,— что нередко и пренебрегал им, медлил, жег и рвал беспрестанно написанное, по два года сряду не брал в руки пера 〈...〉 Я жил смолоду и потом до последнего времени, как будто пресыщенный славой человек»[1]. А «на всех почти ученых и литераторов смотрел как на необходимое зло, как на какие-то жертвы общественного темперамента и любил жить далеко от них; эксплуатируя их лишь для моих целей. Может быть, от этого и из них никто не стал заботиться обо мне и все забывали меня в моем удалении, самолюбивом лично и самоуверенном художественно...»[2].

Он, бесспорно, имел незаурядный талант, обладал сильным, своеобразным умом. Но все это с ранних пор приняло такое особенное направление, что по своему положению Леонтьев действительно оказался «в удалении» — и немалом — от современного ему движения литературы.

Что в русской культуре 1860 — 1880-х годов Леонтьев — фигура значительнейшая — не подлежит сомнению, пусть даже историки и литературоведы пока не спешат это признавать. Его политическая публицистика, вошедшая в известную книгу «Восток, Россия и славянство», его литературно-критические статьи, его проза, наконец, как ни относись к автору, выразили существеннейшие стороны русско-

[1] Лит. наследство. М., 1935. Т. 22—24. С. 453.

[2] Леонтьев К. Н. Собр. соч. Спб., б/г. Т. 9. С. 153. В дальнейшем при ссылке на это издание в скобках указываются том и страница.

го миросозерцания. Леонтьев глубоко высказался по главным общественным, религиозным, нравственным, эстетическим вопросам эпохи. Он был необходимым и достойным оппонентом таких мыслителей, как Достоевский, Лев Толстой, Владимир Соловьев, Иван Аксаков. Вот настоящий калибр этой личности, вот масштаб леонтьевских идей, требований к жизни, нередко самых крайних, но по-своему последовательных.

Правда, в воззрениях Леонтьева, в его душевном и умственном складе были такие черты, которые давали современникам повод именовать его «русским Ницше», «диктатором без диктатуры», «мечтателем реакции, словесным ее Наполеоном», заставляли сравнивать его с Мальштремом, называть «человеком пустыни», «Сулейманом в куколе» (имея в виду приверженность его к мусульманскому востоку и вместе с тем — близость к монастырю).

Леонтьев снискал репутацию реакционного мыслителя, что надолго преградило нам доступ к его наследию. Но в этом верном определении на нас сильно действует политическая окраска слова, относительная и преходящая, и забыт коренной его смысл. Да, Леонтьев есть человек реакции, и понимать это надо так, что энергия чувства, мысли, деятельности у него становится прежде всего энергией противодействия, получает направление, противное господствующему потоку действительности, общему ходу вещей.

Для Леонтьева эпоха 1860—1880-х годов — это наступление «всеобщего прогресса» (затронувшего уже и Россию) с его внешним движением, вещественным богатством — и с внутренним замиранием истории, с качественным оскудением жизни. В этом прогрессе, идеалам которого служит современный Запад, Леонтьев видит «физико-химический и умственный разврат», всеобщую «страсть орудиями мира неорганического губить везде органическую жизнь, металлами, газами и основными силами природы разрушать растительное разнообразие, животный мир и самое общество человеческое» (6, 20).

Все, что чувствовал, думал и писал Леонтьев, есть именно реакция на такой прогресс, реакция против разрушения «органической жизни», против обезличивающего «предсмертного смешения» жизненных начал. И тут уж Леонтьев не признает умеренности, он и в реакции доходит «до краю» — чисто русское свойство, определенное так Достоевским и запечатленное во многих его героях.

Если современный буржуазный (и этим особенно ненавистный Леонтьеву) прогресс, уравнивая права и состояния, упраздняя национальные, религиозные, эстетические различия, делает существование повсюду однообразно-благоустроенным, стирает яркие цвета и резкие черты в культуре, общественном быту, в личности — Леонтьев восста-

ет на этот прогресс и требует сохранения и укрепления (по крайней мере в России) жестко сословного государства и монархического правления. Если прогресс проповедует «эвдемонизм», то есть — в трактовке Леонтьева — стремление ко всеобщему, равномерному, а значит — «пошлому» и отвратительному для него благополучию, ко всеобщей пользе и всеобщему довольству — тогда ум и вкус Леонтьева бунтуют против этих идеалов и требуют сурового аскетизма, того общественно-церковного уклада, который Леонтьев называет «культурой Византийской дисциплины».

Его пугает, что в России уже «глубоко перемешаны и перепутаны теперь эти две культуры — Византийская аскетическая и неофранцузская, эвдемоническая»[1] и что Россию ждет участь Запада — тот же близкий упадок самобытной национальной жизни, а затем и разрушение национальной государственности. Остается надежда на те свойства наши, которые не позволяют нам вполне уподобиться Западу, а, напротив, требуют совсем иных форм социального устройства. «Я часто думаю,— пишет Леонтьев своему младшему другу А. Александрову,— что все эти мерзкие личные пороки наши очень полезны в культурном смысле, ибо они вызывают потребность деспотизма, неравноправности и разной дисциплины, духовной и физической; эти пороки делают нас мало способными к той буржуазно-либеральной цивилизации, которая до сих пор еще так крепко держится в Европе»[2].

В «пороках», при всем их безобразии, Леонтьев усматривает брожение духовных и телесных сил, свидетельство неистощенной пока витальности нации, неиссякшей энергии и, следовательно,— залог развития, исторического движения.

«Вообразим себе нынешнюю Швейцарию и нынешнюю же одну русскую губернию или две, хоть Калужскую и Тульскую вместе. В этих двух русских губерниях еще возможны и в наше время и отец Амвросий Оптинский, и какой-нибудь блестящий воин, вроде хоть того же Скобелева, и такой романист, как Лев Толстой; и пороков, и страстей очень много во всех классах. Мужики очень развратны, хотя и религиозны. В Швейцарии же на такое почти население морали средней наверное больше, но зато ни о. Амвросий, ни Скобелев, ни Толстой уже невозможны[3].

---

[1] Леонтьев К. Н. Отшельничество, монастырь и мир. Их сущность и взаимная связь. (Четыре письма с Афона.) Сергиев Посад, 1913. С. 41.

[2] Цит. по: Александров А. А. I. Памяти К. Н. Леонтьева. II. Письма К. Н. Леонтьева к Анатолию Александрову. Сергиев Посад, 1915. С. 98.

[3] Леонтьев К. О Владимире Соловьеве и эстетике жизни. М., 1912. С. 39.

Выйдет ли что-нибудь стройное, исторически прочное из русской национальной стихии — этот вопрос один из неотвязных и мучительных для Леонтьева. Положительно отвечать на него он смог, только провозгласив решительный поворот от либерализма к деспотизму, в чем видел единственный выход из современного кризиса. Всего отчетливее Леонтьев сформулировал свой ответ в письме к В. В. Розанову. Наши «пороки», говорит он, столь велики, что «требуют большей, чем у других народов, власти церковной и политической. То есть наибольшей меры легализованного внешнего насилия и внутреннего действия страха согрешить. 〈...〉 Народ же, выносящий и страх Божий, и насилие, есть народ будущего ввиду общего безначалия»[1].

Такая перспектива одна представлялась Леонтьеву спасительной для России. Но более вероятным он в конце жизни стал считать другой исход, отвечавший его тогдашнему политическому пессимизму. «Вот разве союз социализма 〈...〉 с русским самодержавием и пламенной мистикой (которой философия будет служить, как собака) — это еще возможно, но уж жутко же будет многим. И Великому Инквизитору позволительно будет, вставши из гроба, показать тогда язык Фед. Мих. Достоевскому. А иначе все будет либо кисель, либо анархия»[2]. Нельзя не изумиться точности мрачных предвидений Константина Леонтьева.

* * *

Даже самый добросовестный биограф вряд ли сумеет дать полное и верное представление о Леонтьеве в жанре традиционного жизнеописания. Тут нужно разъяснить особый, причем чисто русский, тип личности, изобразить все сложное, стремительное движение идей и настроений, сопряженных к тому же с психическими катастрофами, с резкими изломами судьбы. Тут нужен роман — событийно напряженный, увлекательный, блестящий, живописный и трагический.

Леонтьев иногда до странности близок к персонажам русской классики. По многим чертам своим он напрашивается быть между Онегиным и Печориным, Рудиным и Лаврецким, Болконским и Вронским, Ставрогиным, Версиловым и Карамазовыми. Он, в сущности, не только деятель, но и герой, причем один из характернейших, литературы XIX века — в том смысле, в каком Ф. Ницше иногда называют героем Достоевского. Есть что-то не только страдающее, но и страдательное в фигуре Леонтьева, уже очерченной в общих ее контурах и разобранной в интимных душевных изгибах на страницах Лермонтова, Тургенева, Достоевского — последнего особенно.

[1] Рус. вестник. 1903. № 4. С. 649.
[2] Рус. вестник. 1903. № 5. С. 174.

Канва жизни Леонтьева — это сюжетная канва ненаписанного русского романа.

Леонтьев принадлежал к старой дворянской фамилии. Он родился в 1831 году в имении Кудиново (Калужской губернии), где провел и детские годы, воспитываясь, попечением матери, на «уроках патриотизма и монархического чувства», «на примерах строгого порядка, постоянного труда и утонченного вкуса в ежедневной жизни» (9, 40). Поэзия природы, очень рано и очень глубоко воспринятая им, поэзия усадебного быта, поэзия одухотворенной религиозности — вот чем проникнуты первые «впечатления бытия» у Леонтьева и что определяло его мировосприятие.

Но вместе с тем исключительная внутренняя свобода и даже прямое своеволие в мысли, в нравственном убеждении, в поступке — тоже рано проявившиеся свойства его натуры. Взращенный в духе «монархического предания» и сословной морали, он в юности вдруг с жаром отдается республиканским симпатиям и не без вызова объявляет о том матери, которая еще с институтских времен питала благоговейную любовь к императрице Марии Феодоровне, ее покровительнице, и к самому Николаю Павловичу.

Он упивается демократическим радикализмом Жорж Санд, Белинского, Герцена и самого себя считает «крайним демократом». Мало того — он предстает столь же крайним материалистом и одно время чуть ли не готов посвятить себя «положительной науке». Кто бы мог подумать, что он, начав в кадетском корпусе, окажется на медицинском факультете Московского университета, да и вообще потом станет развивать какой-то естествоведческий взгляд на жизнь, и не только в физиологических экспериментах (он занимался у Иноземцева), но и в литературных опытах. И. С. Тургенев по поводу написанной Леонтьевым в ту пору пьесы «Женитьба по любви» замечал, что интерес этой вещи «даже не психологический — патологический»[1]. Тут новой была некоторая беспощадность и бестрепетность натуралиста, ставившего вместе с исследовательской и поэтическую задачу. В беллетристике следы «патологического» интереса скоро исчезнут; но в разработке общественных и исторических тем Леонтьев остается патологом, и таким увидит его В. В. Розанов — «в анатомическом театре грустных до черноты политических и культурных наблюдений»[2].

Однако главенствовало в нем все-таки врожденное эстетическое чувство, и преобладающим в 1850—1860-е годы было настроение своеобразного художественного идеализма. Леонтьев пытался найти ему ли-

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. 2-е изд. М., 1987. Т. 2. С. 103.

[2] Рус. вестник. 1903. № 4, С. 637.

тературное выражение в драматургии и в повествовательных жанрах последним он и отдал в конце концов предпочтение. Первая крупная вещь в этом роде — повесть «Булавинский завод» — осталась неоконченной и самого автора не удовлетворила. Ее содержание Леонтьев впоследствии оценивал как «в высшей степени безнравственное, особенно со стороны эротической» (9, 119). Более благополучной оказалась повесть «Немцы», напечатанная в 1854 году под заглавием «Благодарность». Появились тогда же «Лето на хуторе», «Второй брак», несколько очерков — но то были только приступы к волнующим его темам, искание своего тона, повествовательной манеры.

Страстное влечение к красоте самой жизни, к ее стихиям у Леонтьева временами оставляет слишком мало места собственно творчеству, словесному закреплению этой красоты. Он предпочитает героическую жизнь литературной героике, судьбу — сюжету, натуру — ее отражениям в искусстве. Вероятно, это и двигало им, когда, не окончив курса, он решил идти на военно-медицинскую службу, чтобы участвовать в Крымской кампании. Он искал сильных, свежих впечатлений, ярких красок, острых чувств. «Природа и война! Степь и казацкий конь верховой! Молодость моя, моя молодость и чистое небо!.. Это был какой-то апофеоз блаженства» (9, 218),— вспоминал он потом о двух годах в Крыму. «Поэзия войны, ее возвышающий сердце и помыслы трагизм» составляли тогда содержание его жизни — действительной и одновременно художественной. Так он создавал роман своей жизни, делал себя его героем и втягивал в круг героев тех, кто оказывался рядом,— ту же красавицу-гречанку, которую увидел в церкви и которая так «годилась в героини романа из крымской жизни» (9, 230). Через несколько лет он, словно дописывая тот романный эпизод, женится на красавице, феодосийской гречанке.

Вот парадокс Леонтьева: чем решительнее он отрекается от своего духовно сложного и слишком «литературного» московского периода, чем дальше уходит от искусства, чтобы вернуться к натуре, тем более художественные и именно литературные формы получает все его существование, его воображение и мысль. И он уже думает о том, что останется в плену и потом напишет большой роман «Война и Юг» (9, 214), где видится ему «молоденький гусар» в голубой венгерке, «немного женоподобный и даже боязливый сначала от самолюбия... А в деле окажется храбр». (9, 214) — в сущности, он сам, Константин Николаевич.

Оканчивается крымская глава леонтьевской биографии мирной отставкой, далее следует небольшая интермедия перед новым решительным поворотом в судьбе. Два года Леонтьев проводит в нижегородском имении барона Розена в качестве домашнего врача. Время благополуч-

ное, веселое, деятельное, творческое. Тут был пережит в мечтах и воспоминаниях и написан первый роман «Подлипки»; тут же, вероятно, задуман и начат второй роман — «В своем краю». Но, погрузившись у Розена в знакомый с детства усадебный мир, воссоздавая в воображении и романе окрашенные грустью и любовью картины своего родового Кудинова, Леонтьев не может успокоиться в пределах этого мира, с его изящным уютом, душевной безмятежностью и умственной тонкостью. Хотя он бесконечно ценит всю прелесть и поэзию его, но он жаждет борьбы, драмы, в нем кипят дерзкая мысль и отважное чувство, воля его требует безграничного простора...

Медицина оставлена навсегда. В 1863 году он поступает на службу в министерство иностранных дел, и начинается его блестящая дипломатическая карьера. Секретарь консульства на Крите, потом в Адрианополе, вице-консул в Тульче, консул в Янине и в Солониках. Новая тема, новый ряд событий, новый круг лиц.

На этом поприще Леонтьев в той же мере художник, эстет, что и за писанием «Женитьбы по любви» и «Подлипок». Главная сюжетная линия его деятельности — «борьба за русскую идею» на Востоке. Он с самозабвением поэта и расчетом романиста разрабатывает эту линию, замышляет и ведет искусную интригу, движет персонажами, окружает действие изящной обстановкой в восточном вкусе. А каков он в словесных поединках! На арене дипломатического соперничества, где всякая реплика — выпад, защита или ложный ход, в светском разговоре, где за игрой ума, изысканностью речи кроется война мнений и самолюбий,— Леонтьев везде великолепный и опасный собеседник. Он превосходно владеет любым видом оружия — это хорошо знали его товарищи по консульской службе и ценило начальство. Это свойство его, дипломата и литератора, нетрудно увидеть в отточенных диалогах «Египетского голубя».

В своей тогдашней деятельности он дорожил именно тем, чем дорожит художник в творчестве: «В этой службе было тогда столько простора личной воле, личному выбору добра и зла... столько простора самоуправству и вдохновению...» (3, 328). Истинное наслаждение доставляют ему повседневные служебные занятия — занятия «неспешные, обдуманные, по смыслу не пустые, с легким и приятным жалом честолюбия... со щитом патриотического долга» (3, 330).

Дипломатические сюжеты развертывались на фоне широкой темы Востока, излюбленной темы в жизни и в беллетристике Леонтьева. Восток — единственное место, «где жизнь может походить на оперу или очень красивый балет» (9, 244). Это сцена, где выступают этнически яркие, еще не обесцвеченные цивилизацией национальные стихии; это встреча христианства и ислама, с их особенно выразительными здесь

и поэтичными чертами. (Замечательно, что не только в христианстве, но и в псалме Леонтьев находил родственное своей натуре начало, и недаром С. Н. Булгаков говорил о «византийско-мусульманском православии» его.) Восток сохранил самобытность и «пышность» жизни; если бы на этой почве, мечтал Леонтьев, пустили корни здоровые традиции прежней европейской культуры (любимый им романтизм — одна из таких духовно богатых традиций), то история здесь пережила бы свою лучшую фазу — «цветущую сложность» жизни, как определял ее создатель теории «триединого процесса».

Восток возбудил в нем жар творчества и дал обильнейший материал для беллетристики. В течение полутора десятилетий друг за другом являлись «Очерки Крита», «Хризо», «Аспазия Лаприди», «Капитан Илиа», «Сфакиот», «Дитя души», «Египетский голубь», еще ряд рассказов и повестей, составивших затем три тома отдельного издания под общим заглавием «Из жизни христиан в Турции». Тогда же была написана первая часть обширно задуманного романа «Одиссей Полихрониадес», тогда начат роман «Две избранницы» («Матвеев»), создана «Исповедь мужа». В двух последних вещах, внешне с Востоком не связанных, горячее, пряное дыхание его все равно ощутимо, прежде всего Востока магометанского: в порывах страстей, в изощренной чувственности.

Самое сильное свойство леонтьевского таланта, в восточной прозе обнаружившееся в наибольшей мере,— изумительная художественная восприимчивость к духу представшей перед ним жизни, чуткость к оттенкам ее внутренней поэзии. Мироощущение загорского грека, страсть сфакиота, нравы критской семьи, религиозный энтузиазм турка, колорит малоазийского города, эта «смесь грязи и пышности»,— прочувствованы Леонтьевым так живо и верно, что поневоле напрашивается сравнение с «Песнями западных славян», с «Подражаниями Корану» Пушкина. И при этом его стиль не утратил и своих прежних достоинств — искренности, ясности, теплоты тона, не изменил чистому вкусу русской эпической школы 40—50-х годов.

Восток возбудил в нем и мощную работу теоретической мысли, двигавшейся в историко-культурном и религиозно-философском русле. Исторические судьбы России в ее отношении к Западу, роль православной церкви как наследницы церкви византийской, участь славянских народов и Греции — вот что занимает Леонтьева с первых лет пребывания на Востоке, что заставляет впоследствии взяться за публицистическое перо и не оставлять его уже до конца дней. Плодами его постоянных наблюдений и размышлений стали статьи о панславизме, «Письма отшельника», «Византизм и славянство», «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения», «Письма к Владимиру

Сергеевичу Соловьеву (о национализме политическом и культурном)», позднейшие статьи о славянофильстве, о внутриполитическом состоянии России. Эти выступления и определили его место среди мыслителей и литераторов последней трети века.

Но жизнь Леонтьева не знала ровного течения. В 1871 году, оказавшись на пороге смерти, он пережил сильнейшее религиозно-мистическое потрясение. Произошел новый и важнейший поворот в его судьбе: совершилось «страстное обращение к личному православию».

Что привело его к этому перевороту? В. В. Розанову он так объяснял впоследствии: «Причин было много разом, и сердечных, и умственных, и, наконец, тех внешних и по-видимому (только) случайных, в которых нередко гораздо больше открывается Высшая Телеология, чем в ясных самому человеку его внутренних перерождениях. Думаю, впрочем, что в основе всего лежат с одной стороны, уже и тогда, в 1870—71 году, давняя (с 1861—62 года) философская ненависть к формам и духу новейшей европейской жизни (Петербург, литературная пошлость, железные дороги, пиджаки и цилиндры, рационализм и т. п.); а с другой — эстетическая и детская какая-то приверженность к внешним формам Православия»[1]. К тому прибавились мучительно кончавшееся любовное увлечение и «ужас умереть в ту минуту, когда только что были задуманы и не написаны еще и гипотеза триединого процесса, и «Одиссей Полихрониадес»...»[2].

Он дал обет постричься в монахи, для чего отправился на Афон и прожил там более года. Афонцы не решились принять его к себе, но на иноческий путь благословили. С этой поры начинается полумирское послушничество Леонтьева, которое с 1877 года проходит под духовным руководством старца Оптиной пустыни Амвросия.

Что так властно вело его в Оптину, что заставляло исповедоваться перед старцем и предавать свою волю, свои мысли, свою судьбу в его руки? Не был ли то «религиозный инстинкт», о котором Ф. Баадер говорил как о главном, спасительном начале русской души? Ведь это он же привел Ставрогина, как будто даже помимо собственной его воли, к старцу Тихону на последнюю исповедь. Тем самым Достоевский указал на «религиозный инстинкт» как на единственную силу, способную вывести из трагических тупиков тот наш культурный тип, которого законченным выражением был Ставрогин и к которому в значительной мере принадлежал Леонтьев.

Как ни к кому, к нему приложимо знаменитое определение Мити Карамазова: «широк человек, слишком даже широк». Без-

[1] Рус. вестник. 1903. № 6. С. 421.
[2] Там же.

удержно широким был Леонтьев в своем эстетизме, он был широк, когда утверждал, что «нет ничего безусловно нравственного, а все нравственно или безнравственно только в эстетическом смысле» (9, 119—120), когда устами своего героя Милькеева провозглашал, что «одно величественное дерево дороже двух десятков безличных людей» (1, 306). Культу красоты, стихиям «страстно-демоническим» ничто не препятствовало увлекать Леонтьева бесконечно далеко на этом пути и превращать — уже не героев, а его самого — в «эстетика-пантеиста, весьма вдобавок развращенного, сладострастного донельзя, до утонченности», «с истинно сатанинской» фантазией (9, 13).

Внутренний переворот 1871 года был ответом на зов другой, высшей красоты, высшей свободы. Пылкая натура Леонтьева, увлекаемая спасительным инстинктом, обратилась к исходу, на который недостало отваги и сил у Ставрогина. «Знаю твои дела,— говорит герою Достоевского Тихон словами Апокалипсиса,— ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но, поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст Моих». Леонтьев же был горяч, страстно горяч и в деле веры.

С Оптиной пустынью тесно связаны последние 15 лет жизни Леонтьева; здесь разыгрались заключительные акты его духовной драмы. В оптинской аскетике искал он твердые, правильные и праведные формы для своей рвущейся к краю натуры, у старца искал он суровую школу своему слишком широкому и своевольному духу. Первые ступени этой школы он успел пройти к тому времени, когда старец Амвросий благословил его в августе 1891 года принять тайный постриг. Константин Николаевич Леонтьев стал иноком Климентом. По настоянию старца он переехал в Троицко-Сергиеву лавру; однако прожил там недолго: 12 ноября 1891 года, через месяц после кончины Амвросия, он умер от воспаления легких и был похоронен на погосте Гефсиманского скита.

* * *

В «Подлипках» всюду «дышит предание»; все напоминает Ладневу «прежнее многолюдство» в доме тетушки Марьи Николаевны Солнцевой. Постепенно одно за другим являются знакомые герою с детства лица — обитатели старого поместья, Катюша, брат Николай, Модест, Ржевские... Все здесь давно и крепко переплелось между собой; эту внутреннюю связь Володя инстинктивно ощущал еще в детстве, когда на несколько лет был взят в дом дяди Петра Николаевича, где царил строгий дух порядка, твердости и дворянской чести. «Как ни страшен был иногда дядя,— признается рассказчик,— но я слышал в нем родную кровь и видел общие точки привязанностей».

Возвращаясь памятью в Подлипки, с их «уютной, зеленой и мирной красотой», Ладнев любовно погружается в свою родовую жизнь, исполненную тепла и поэзии; и слава богу, если есть еще читатель, который эту любовь героя способен разделить, способен ощутить поэзию этой жизни.

Ладнев ищет в недрах рода начало своей личности, припоминает первые впечатления, первые движения души, пробуждение страстей, следит развитие религиозного и нравственного чувства. Это составляет психологический сюжет «Подлипок»; это наполняет ладневский рассказ, в котором звучат иногда глубокие и трогательные исповедальные ноты.

Но с этой линией неразрывно сплетается множество иных — судьбы остальных героев, очерки таких своеобразнейших характеров, из «сороковых годов», как Юрьев, этот «домашний Мефистофель» Ладнева (прототипом для него послужил университетский товарищ Леонтьева Алексей Георгиевский, покончивший с собой в 1866 году). С ней сплетаются эпизоды детства Володи, уверенным драматическим пером набросанные домашние сцены, хорошо прописанные, хотя и лаконичные пейзажи — все бесконечно дорогое рассказчику и самому Леонтьеву, воскрешающему на этих страницах незабвенное Кудиново.

Вместе взятое, это и образует русский роман, сложившийся как воплощение родового дворянского эпоса. В его истоках —

> Преданья русского семейства,
> Любви пленительные сны
> Да нравы нашей старины,

что все более со временем ценил Пушкин, из чего возникла его «Капитанская дочка», на чем выросли аксаковские хроники, тургеневские повести и романы, толстовская трилогия, «Война и мир». На этом выросли и «Подлипки».

В них, конечно, многое напомнит нам другие дворянские гнезда, в них повеет на читателя милым уездным затишьем; в чертах Володи Ладнева обнаружится несомненное фамильное сходство с Николенькой Иртеньевым. Все так, но никто не скажет, что Леонтьев повторяет созданные Тургеневым или Толстым картины и образы. Общая здесь — поэзия родовой жизни, поэзия усадебного быта, поэзия сердечного и умственного расцвета личности, а подробности и оттенки художественно различны и вполне своеобразны у Леонтьева. Считать его «романистом-хрестоматиком», «литературным архивариусом», соединяющим у себя то, чем замечательны более знаменитые писатели, мог только Салтыков-Щедрин по своей тогдашней, как он сам выражался, «ехидной преднамеренности» в критических оценках. Нет, ни копис-

том, ни компилятором Леонтьев не был. Он слишком дорожил натуральной красотой, слишком интимно переживал ее, слишком любил собственные семейные предания, чтобы, воссоздавая их, пользоваться чужими отражениями той красоты, пусть дале образцовыми.

Не лишенный чуткости читатель заметит, вероятно, что поэзия Подлипок как будто подернута дымкой, словно уходит постепенно вдаль от автора грустных «записок» Владимира Ладнева и от нас тоже. С ноты «томящей тоски» о прошлом, с картины занесенного снегом поместья начинается роман. Затем снова возникает та же картина после вдруг оборвавшегося оживленного рассказа: недвижное молчание настоящего приходит на смену яркому до галлюцинации воспоминанию героя о Катюше — «белые поля, белые березы, черные сучья, темные острова далеких деревень» предстают взору. «Около этой рощи 20 лет тому назад, в морозный полдень, неслись мы на четырех тройках с колоколами...» — вновь погружается в исполненное движения былое последний обитатель вымирающих Подлипок (подобно этому в действительности вымирало и леонтьевское Кудиново).

Так неприметно выходит Леонтьев из стилистики «усадебного» жанра 50—60-х годов и движется к рубежу веков, к постреалистической эстетике, к поэзии тонкого истлевания жизни, прежней культуры. Тут уже не Толстой и даже не поздний Тургенев — тут слышны интонации «Суходола», «Антоновских яблок». И если Марья Николаевна как тип русской барыни — действительно чем-то похожа на тургеневскую Марфу Тимофеевну Пестову, то в печальном свете ладневских воспоминаний ее образ почти сливается с тетушкой Ларисой из бунинского «Наследства», с бабушкой в доме на Плющихе. Местами линия леонтьевского рисунка истончается настолько, что кажется, еще немного — и перейдет она в «узор отточенный и мелкий», застынет сеткой на стеклянной тверди... Впрочем, это только на краях его полотна, в центре же — полнокровные фигуры, схваченные живой, быстрой кистью, с характерным движением каждой, с неповторимой физиономией, жестом, речью.

«Кто хочет узнать подлинного Леонтьева, должен пережить чары и отраву его беллетристики»,— говорил С. Н. Булгаков[1].

Проза его завораживает; но вглядитесь пристальнее в прозрачную, радужную поверхность его спокойно текущего рассказа, и вы увидите не только отраженное в ней небо, но и темную глубь омута.

Она видна уже и в «Подлипках», хотя еще не бездонна там. Ранние волнения сердца, жаркие и недолгие увлечения, острые приступы чувственности — все предвещает кипучие и своевольные страсти. Но безоглядно отдаться им — этого будет мало Ладневу, с его рефлексией,

[1] Булгаков С. Тихие думы М., 1918. С. 117.

с его эстетической ненасытностью. Он будет требовать от любви все более тонких оттенков красоты, почти неуловимых чувственных изгибов, искусно скрытых в складках жизненной прозы — и тем сильнее влекущих. Он уже ищет этого в отношениях с Катюшей и с Пашей. Он уже знает особого рода наслаждение, когда смешиваются в душе и играют сердцем и воображением хищная жажда обладать возлюбленной и вместе кроткая жалость к ней. С привкусом этого наслаждения Ладнев в «Египетском голубе» будет переживать любовь-жалость к Маше.

Мотивы эти разрастаются, углубляясь и осложняясь психологически, в восточных повестях. В них растворен едва различимый подчас, но сильно действующий яд чувственности — его-то и называл С. Н. Булгаков «чарами и отравой».

Здесь Леонтьев страшный язычник. «Те соблазнительные и прекрасные демоны, которым воздвигали столь изящные храмы наши блистательные предки, эти коварные бесы бессмертны; они незримо живут в наших собственных слабых сердцах» — это верование не только Одиссея, но и самого Леонтьева. А когда к любовному напитку примешивается восточный аромат «душистой и горькой травки», жгучая, пьянящая струя гаремного сладострастия — тогда герой Леонтьева забывает обо всем: «Цветок соблазна и греха! Мной внезапно овладел тот самый младший, тот нежный и маленький демон, самый быстрый и крылатый из всех демонов упоительного зла, которого меня так долго учили бояться» (4, 431).

Ладнев в «Египетском голубе» — едва ли не тот самый Ладнев, с которым мы познакомились в «Подлипках». Все прежние задатки его чувственной натуры получили здесь полное развитие и эстетическую изощренность. В Маше Антониади он нашел то, чего требовала его природа: «...в ней как будто таилось что-то изящно-растлевающее, нечто тонкое и сдержанно безнравственное, нечто едкое и душистое, доброе и лукавое...» (3, 323). Ее полуулыбка кротости и растления придает роману некое двойственное освещение, истинно демоническое:

Ни день, ни ночь,— ни мрак, ни свет!..

В ней заключалась вся ладневская философия любви, ею определялась томительная, тягуче-сладострастная романтическая интрига «Египетского голубя», так и не получающая и не могущая получить развязки.

В двусмысленной прелести этой улыбки запечатлелись скорее ожидания и стремления Ладнева, чем характер героини, который так и остается полуоткрытым. Ладнева безудержно тянет в инфернальную бездну плотской любви — и одновременно к свету любви духовной. Он, говоря словами Митеньки Карамазова, «с идеалом содомским в душе, не отрицает и идеала Мадонны».

Однако это лишь одна грань (хотя и очень яркая, эстетически выпуклая) в беллетристике Леонтьева.

Он всегда являл собой парадокс, его литературная судьба парадоксальна; наконец, и творчески поднятая им тема — это заострение парадокса, доведение его до трагической напряженности и вопрос о разрешении.

Эта тема осязаемо присутствует во всех его крупных вещах: во многих образах она вдвигается в леонтьевский мир, словно грозовая туча, сдавливает воздух, но не разражается грозой и ливнем, не разряжает атмосферу, не приводит к катарсису, как то происходит у Достоевского. Если бы тема была разработана вплоть до последних ее фазисов пером Леонтьева, это могло бы стать выдающимся литературным событием, даже рядом с романными шедеврами XIX века. Но такие предположения мало что стоят. Реально Леонтьев решил лишь треть задачи, и это определило объем и значение его художественной работы. Были на то свои причины; коренятся они не в слабости, а именно в силе его личности, но силе, повторим, парадоксальной.

Он восстал на самого себя. В борьбе с собственным безудержным эстетизмом он объявил, что именно лучшие поэты и есть развратители в эротическом отношении и в отношении гордости, он вознамерился вытравить из себя «поэзию изящной безнравственности», обезвредить «тонкий яд поэзии героической и любовной»[1]. Он отдался этой борьбе с такой же страстью, с какой до сих пор исповедовал свой эстетический аморализм и культ красоты. Борьба наполнила его существование и деятельность до краев. Он был слишком захвачен ею, чтобы взглянуть поверх нее, вглядеться: что высится над противоборством, над миром страстей, над областью телесно-душевного. А там открывается человеку красота горняя, там торжествует любовь премирная, там, в области духа, разрешается неразрешимое на земле, и отблески Света горнего лежат на лицах земных праведников.

Но в этом направлении Леонтьев-художник не сделал сколько-нибудь важных шагов. Хотя как духовный сын Амвросия он вступил уже на дорогу, выводящую за стены дольнего града.

В беллетристике остались следы его внутренней борьбы, следы тоже по-своему замечательные. Первые — в «Подлипках». Прекрасен эпизод расставания героя с Пашей, когда, боясь за нее, он сам отсылает ее от себя и тут же, жалея, что упустил ее, «кроткую, невинную», то мучит себя до физической боли, то бросается вслед уехавшей — но все время вслушивается в некий голос, зовущий его прочь от соблазнов. И постепенно понимает, что это не просто голос

[1] Цит. по: Александров А. Указ. соч. С. 7—8.

совести, что смысл преодоления себя, своей плотской природы был не в совершении «честного поступка», не в торжестве добродетели, а в чем-то высшем. «Мне дорого, что хоть одно лицо из первой молодости моей осталось в неподвижной чистоте; все обманули, все разочаровали меня хоть чем-нибудь — одна Паша навсегда осталась белокурым, кротким и невинным ребенком» (1, 260). «Страстно-демонические» силы столкнулись не с моралью — но с требованием другой красоты. И отступили в этот раз.

Следы борьбы — в «Исповеди мужа», где передана история страсти, глухой, неугасимой страсти старого одинокого человека, постепенно вытесняемой из души просветленной, жертвенной любовью. Это леонтьевская версия давно рассказанной Пушкиным истории:

> Я вас любил: любовь еще, быть может,
> В душе моей угасла не совсем;
> . . . .
> Я вас любил так искренно, так нежно,
> Как дай вам Бог любимой быть другим.

Судя по тому, что писал Леонтьев в «Моем обращении и жизни на св. Афонской горе», в монастыре мятежная душа его обрела покой. Но то не было завершение борьбы, как стало ясно вскоре. И в стенах монастыря его своевольная фантазия лелеяла «грациозные сюжеты из восточной жизни»[1]; и под христианским смирением его «сатанинская гордость» давала себя знать, и он вовсе не раскаивался в том: «Да! в этих записках она даже и не скрыта — эта гордость, и кто любит меня, пусть любит меня со всеми моими пороками»[2].

Леонтьев, видимо, нуждался в постоянном электризующем прикосновении к полюсам жизни. Он как будто намеренно вызывал из ее недр антагонистические стихии: их бурные приливы освежали чувства, тревожили мысль. Всяческие же «мирные унисоны» были ему противны; этой «пошлой» срединности он дерзко противопоставлял на контрастах созидаемые гармонии. Всего искреннее и полнее выразил Леонтьев свое мирочувствование словами опять-таки Ладнева: «Я полюбил жизнь со всеми ее противоречиями, непримиримыми вовеки, и стал считать почти священнодействием мое страстное участие в этой живописной драме земного бытия, которой глубокий смысл мне казался невыразимо таинственным, мистически неразгаданным» (3, 379).

Не эта ли отвага, всюду пламенеющая в его творчестве, — отвага творчески вмешаться в «драму бытия» и, может быть, стать ее соавтором — привлекает нас сегодня в Леонтьеве?

В. КОТЕЛЬНИКОВ

---

[1] Лит. наследство. Т. 22—24. С. 437.
[2] Там же. Т. 22—24. С. 468.

Подлипки

(Записки Владимира Ладнева)

Роман в трех частях

Часть первая

I

Никогда, может быть, не собрался бы я исполнить обещанное — написать вам что-нибудь о моей прошлой жизни, о детстве моем и первых годах молодости...

Но сегодня, Бог знает почему, проснулся я рано... встал и подошел к окну...

Если б вы знали, какая томящая тоска охватила мою душу! На дворе чуть брезжилось; окно мое было в сад, и за ночь выпал молодой снег, покрыл куртины и сырые сучья. Если вы никогда не видали первого снега в деревне, на липах и яблонях *вашего* сада, то вы едва ли поймете то глубокое чувство одиночества, которое наполнило мою душу!

Долго глядел я в окно — вот все, что я могу еще сказать об этом утре; а потом взял перо и решился исполнить обещание...

С чего начать?

Вы знаете, я теперь в той самой деревне, о которой я вам говорил столько раз.

Никто не хвалил ее местоположения. Оно не живописно; но если б вы когда-нибудь зимою вздумали пронестись на тройке по нашим полям, то, верно, заметили бы частую рощу, подступившую вплоть к пустынной почтовой дороге; может быть, если бы это было утром, увидали бы вы над голыми вершинами осин и берез

струйки синеватого гостеприимного дыма... Попробуйте тогда завернуть в рощу; посмотрите по бокам дороги на этот лесной снег, никем не тронутый, кроме зайца; посмотрите на узоры, которые он начертил, на мелкий и аккуратный след ласочки, ходившей на добычу этою ночью...

Слышите, уж несется к вам по морозному воздуху, полному сверкающих пылинок, несется манящий к жилью дымный запах... Ближе, ближе... Вот забытый двор, по которому ходит только рыжий старик-ключник, и то по одной и той же вековой тропинке. Вот розовый дом с дикими ставнями, осененный тремя елями, вечнозелеными и вечно мрачными великанами; а там, на той стороне клен, роскошь нашей растительности: теперь вы его не отличите от другого дерева, но летом он вешает крайний сук, обремененный листьями, на старую гонтовую крышу. Направо за ракитами небольшой пруд, летом покрытый густою плесенью, а теперь занесенный снегом почти наравне с краями.

Смотрите, как дым бодро и дружно подымается изо всех крестьянских труб... Звуков мало: лай собаки да скрип колеса на колодце под рукой девушки, разрумяненной зимним утром.

Не думайте, однако, что деревня эта всегда грустна, как в нынешнее утро. Нет, мало я знал деревень, в которых бы летнее солнце освещало такую уютную зеленую и мирную красоту!

Особливо при покойной тетушке, Марье Николаевне Солнцевой, было очень хорошо у нас в Подлипках.

Тетушка была богатая и бездетная вдова-генеральша; полгода жила она в деревне, полгода в Москве, где у нее был собственный дом.

Я приходился одним из прямых наследников ее с тех пор, как не стало у меня ни отца, ни матери; другие наследники были: сначала дядя, потом его сын, который служил уже в Петербурге, когда мне было всего 18 лет.

Я рос у тетушки с того дня, как отец мой поручил меня ей, уезжая на польскую войну. Оп там был ранен и, возвратясь, недолго жил.

Тетушка была полна, ходила мало, да и то согнувшись, хотя сложения была далеко не слабого. Всегда была серьезна, но без малейшей суровости. Ни разу не слу-

чилось мне видеть у нее гневных глаз или сдвинутых бровей, но зато и улыбку хранила она для торжественных случаев.

Зимой, даже и в деревне, она носила шелковые темноватые капоты и большие чепцы с густой оборкой вокруг, а в жаркое время каждый день меняла белые блузы, под которыми так гремели крахмальные юбки.

В хозяйство она много не входила; особливо в полевое (для этого у нее был приказчик из своих крепостных), но не терпела нечистоты в доме и саду и многим в жизни усадьбы своей интересовалась. В Петровки, например, когда наставала веселая пора сенокоса и барщина сбиралась в сад трусить под окнами сено, тетушка садилась к открытому окошку почти на целый день и наблюдала за работой и за нарядами баб, которые в наших краях на сенокос одеваются, как на праздник.

— Ах ты матушки! — восклицала она, обращаясь к своей компаньонке и нисколько не меняясь в лице при восклицании.— Ольга Ивановна, посмотри, ma chère[1]... Какой Парашка надела платок! Это ей брат подарил... брат из Алтаева...

— Почему же вы думаете, что это брат? Может быть, муж? Это гораздо натуральнее,— возражает Ольга Ивановна и, достав лорнет, смотрит в сад.— Может быть, муж! — повторяет она, окидывая взорами Парашкина мужа.— Посмотрите, какое у него прекрасное лицо!

— Он такой грубый! — говорит тетушка.— Где ему, ma chère! Это брат; я знаю наверное, что брат ей купил... В запрошлое воскресенье Февроньюшка говорила мне, что видела самого Павла на торгу. Платок, говорит, купил парчевой, алый с золотом. Парашка, а Парашка! поди сюда!

Парашка подходит и кланяется.

— Здравствуй, мать моя; кто тебе платок дал? Ишь вырядилась как!

Парашка хохочет, закрывая рот рукой, на которой блестят серебряные и медные кольца.

Тетушка ждет; но Ольга Ивановна принимает суровый вид.

— Прасковья! ты глупа,— замечает она.— Хохот тут

[1] Моя дорогая.

не у места. Ты должна отвечать барыне на вопрос. Ты не дитя!

Парашка смущена́.

— Э! ma chère, pourquoi?[1] — шепчет тетушка.— Парашка, да скажи же, матушка, кто тебе это дал?

— О-о! да брат же! — восклицает Парашка игриво, откидываясь назад и снова поднимая руку к лицу.

Парашка отпущена, и тетушка торжествует.

— Я говорила ведь, что брат! Февронья выдумывать не станет... С какой ей стати!

— Il est très riche![2] — прибавляет тетушка, помолчав, и совсем другим голосом.

Но больше всего на свете тетушка любила сказки. Каждое послеобеда ложилась она на диван и задремать иначе не могла, как под звуки какого-нибудь рассказа. На ночь делалось то же непременно.

Во время моего детства была у нее для этого Аленушка-сухорукая, сорокалетняя горничная, худая, бледная, с красным носом и очень строгой нравственности. Аленушка была очень добра ко мне, и я сам не раз наслаждался ее красноречием по зимним сумерках, когда она грелась, сидя на лежанке в угловой комнате, в той самой любимой моей комнате, которую звали еще с дедовских пор диванной и где я теперь устроил себе кабинет. В самом деле, комната эта всегда весела: в полдень нет светлее ее во всем доме, потому что окна ее прямо на юг, а зимним вечером, бывало, в старину затапливалась в ней печка, наполнявшая ее таинственно колыхающимся сияньем. Сиянье боролось с мглой надворья, и все предметы скоро получали смешанный, прыгающий, волшебно-одушевленный вид. Тогда Алена оставляла чулок, который она вязала очень искусно, не сгибая засохшей руки, надевала синюю кацавейку с беличьим мехом и садилась на лежанку, где и болтала ногами до тех пор, пока жар не сгонял ее долой. Тут-то я, бывало, прибегал к ней и требовал сумереничанья, то есть потрясающих душу рассказов.

Особенно помню я одну сказку про *Кривду* и *Правду*, которую рассказывала мне Аленушка, как Кривда жила и жила Правда. Правда была добрая женщина, а Кривда

[1] Моя дорогая, зачем?
[2] Он очень богат!

злая. Правда была бедна и, нуждаясь в хлебе, просила его у злой женщины. Та ее накормила, но за каждый ломоть выкалывала ей по глазу. Однако это не принесло никакой пользы завистнице, потому что один прекрасный царевич, гуляя с меньшими братьями ночью в лесу, нашел Правду на сосне (она сослепа не знала, куда деться), приходил с той ночи сам мазать ей глаза три утра сряду росой, возвратил ей зрение и потом женился на ней.

Когда же Кривда вздумала тоже выколоть себе глаза и забраться на дерево, надеясь на меньших царевичей, то судьба наказала ее: царевичи посмеялись над нею, и она умерла с голоду в лесу, где тело ее растерзали волки.

Одно только обстоятельство в этой сказке затрудняло мое воображение.

— Аленушка! — спрашивал я,— и ей ужасно страшно было на сосне?

— Уж конечно, голубчик мой, страсти не обралась!..

— А как же, Аленушка, этот принц женился на ней? Она ведь была простая женщина, ты говоришь?

— Что ж, мой голубчик, что простая? Она была лицом красавица!..

— А ты зачем же говоришь, что она женщина и бедная? Я думал, что она такая, как странница Авдотья Васильевна, в черном платочке с белыми пятнышками... Женщины всегда в платках ходят...

И долго преследовала меня мысль о старухе, сидящей на сосне. Подойдешь, бывало, к окну, поднимешь стору, чтобы взглянуть в сад — а тут, как нарочно, такая темнота и большие ели у входа близехонько от дома.

Тем более мне все это памятно, что тетушка очень часто спрашивала меня поутру, *что я видел во сне,* и, когда я отвечал, что приходилось, тетушка обыкновенно говаривала:

— А я видела во сне, что мой нос сидит на сосне, а твой хохочет, туда же хочет...

С Аленушкой я расстался на одиннадцатом году, когда покойный дядя Петр Николаевич взял меня к себе. Он был тогда вице-губернатором в одном из восточных городов и хотел приготовить меня к университету под собственным надзором.

Возвратился я по семнадцатому году. Аленушка без меня умерла, а тетушка, всплакнув об ней, заменила ее молодым парикмахером, вернувшимся из ученья, парикмахером и по наружности — красивым брюнетом с завитыми висками. Он всегда описывал похождения Ивана-царевича, который женился на лягушке, оттого что, выстрелив из лука, попал в болото, а оттуда вышла волшебница (или, по словам Платошки, волфа) в виде лягушки, со стрелой во рту.

Кроме того, тетушка без меня взяла компаньонку, Ольгу Ивановну Петрову, очень ученую девушку и пианистку. Но об ней подробно я скажу вам после. Все заведено у нас было по-старому: не красить яйца к Пасхе, не перечистить всю мебель, образа и весь дом в чистый четверг было невозможно. В день святителя Мокия приходили священники служить молебен от града, и тетушка, в белой кофте, в белой мантилье с оборками, молилась горячо на водосвятии, и после шли мы и народ за нами в поле и у межевых столбиков закапывали скляночки со святой водою в землю. Как блистали ризы священников тогда на дворе, у колодца, как сверкали образа и кички наших баб, которых я почти всех знал поименно! Как празднично раздувались оборки тетушки, и мантилья ее тогда надувалась, как парус, если набегал ветерок! Она кланялась в землю, когда дьякон молил «о благорастворении воздуха и об изобилии плодов земных»...

И я думал тогда о благорастворении голубого воздуха и тоже кланялся в землю.

Я никогда не мог подъезжать к этой деревне без волнения, и теперь ничто здесь не утратило для меня смысла; но сила ощущений моих ослабела от времени и повторений. Мухи по-прежнему спят зимой между двумя пыльными обломками стекла в окне маленькой комнаты около залы, в которой я прежде всегда ночевал. Печки, камин и душники все те же; все так же в одной комнате на антресолях клочками висят обои и видны обнаженные бревна стены с сучками и жилами. Была пора, когда я мог час и два сидеть в этой комнате и разговаривать с воображаемыми соседями, которых имения раскидывались кругом. Разные желтые пятна дерева на ободранной стене были для меня и имения их, и пла-

ны имений, на которых кружки сучков обозначали дома.

Фамилию соседей производил я от формы пятна. Одно, например, напоминало мне чудовище, которое я видел в мифологической книжке, то самое, что испугало лошадей Ипполита; владетель пятна поэтому звался Зверьев; другой был Колоколов, третий Сковородкин. Любимый же мой, не знаю почему, звался Ныков. Лицо его я никогда вообразить не мог, но беседовал с ним много. Тогда я был семейный человек: у меня было 40 детей; дочери: Орангутанушка, Заира, Фрезочка, которая утонула однажды в Ганге, Ольга, Надя и много других. Сыновья все были военные, один только был статский. Имя его было Дюсюк; я терпеть не мог его гражданской фигуры и куклу, соответственную этому представлению (она была в черном фраке и привезена была самой тетушкой из Москвы), бросил в камин. Тетушка схватила ее щипцами и сказала: «За что ж ты это бедного Дюсюка швырнул?» До какой степени мне стало жаль Дюсюка, до какой степени жаль тетушки, обиженной в его лице, до какой степени меня еще долго после этого грызло раскаяние — я передать не могу.

Куда ни обернусь я, везде дышит передо мной предание или собственная память оживляет все. Заверну я за ворота и посмотрю налево, на пруд, покрытый снегом,— там над сухой вершиной, в которую переходит пруд, стоит нагнутый столетний дуб, разодранный пополам. Одна половина его разодралась и упала в ров в то время, когда еще мне было семь лет, не от грозы и не от ветра, а в самый жаркий, тихий июльский полдень... Какой величественный гром огласил нашу тихую усадьбу... Как долго мы ходили смотреть на эту упавшую половину и думали, подбегая под дубом: «Что, если бы мы были здесь в то время, когда он упал?» Вот на поле перед усадьбой высокий вяз. Говорят, что надо смотреть в полдень на тень его и рыть в том месте, где она кончается. Тут, говорят, зарыт огромный клад; но никто не трогал его.

В большом саду нашем, которым мы гордились перед всей окрестностью, много липовых и старых березовых аллей. В липовых хорошо, когда жарко, а в самой длинной из березовых аллей, когда осенью шумит ветер и гонится за мной, вдруг вырастая на верхушках, я слышу

в этом шуме всякий раз много знакомого, много особенного, чего я не слышу в ветре других деревьев и чего не могу теперь выразить вам...

В саду есть также посредине круглой сажалки курган. С курганом этим связано кровавое предание. Владелец, у которого покойный тетушкин муж купил Подлипки, был суров и самовластен. Он заставил обратить болото в круглую сажалку и насыпать курган. Крестьянам показалось трудно, и некоторые убежали. Вскоре после этого он был задушен в постели.

Я долго не верил, что такое страшное дело могло случиться в наших Подлипках.

Курган теперь покрыт высокими деревьями клена; сажалка обросла по берегам лозняком, а на вершине кургана стоит памятник из дикого камня с вазой наверху. На нем написано: «Праху друзей», и около него девицы, жившие прежде в Подлипках, хоронили своих собак, котят и птиц.

Не сердитесь за эти описания, не думайте, что я хочу хвалить одиночество. Нет, мое временное одиночество случайно и незлобно. Все, что двигалось и дышало здесь, плакало и веселилось — дорого мне, и о людях-то, о прежнем многолюдстве я хочу вам говорить гораздо больше, чем о самом себе.

Прощайте, до другого раза. Мне хочется рассказать вам историю моей первой любви. Страсть в ней длилась недолго, всего дней пять; но это было первое истинное чувство в моей жизни.

II

Лет десять назад я был студентом первого курса и сбирался летом домой.

Приехали за мной свои лошади с тарантасом, и пришло письмо от тетушки.

Оно было писано не ее рукой; почерк казался почти детским, но ошибок попадалось не слишком много.

После разных ласковых названий, после поручений, советов, просьб не задерживать лошадей следовала приписка.

«Маленький секретарик мой тебе кланяется — Паша,

отца Василия покойного дочь; ты ее, верно, помнишь. Она помнит тебя и говорит, что ты ее раз хотел было совсем притузить; такой всегда был турухтан-повеса, а я совсем стала слепа: все она мне пишет. Целую тебя, душа моя. Да хранит тебя мать Пресвятая Богородица. Тетка и друг твой

Марья Солнцева.

P. S. Не забудь, ветрогон, хороших гвоздей купить».

Я очень был рад, что в Подлипках есть новая молодая девушка. Ей должно быть лет 17-ть. В детстве она была недурна, бледна, опрятна, ходила всегда коротко остриженная и носила сетку. Отца ее я также забыть не мог.

Он был у нас приходским священником и духовником всей нашей семьи. Я помню его высокий рост, худое, бледное, кроткое лицо, белокурые кудри и мелкие морщины на лбу — от привычки, часто задумываясь, поднимать брови.

Помню также, как приезжал он по великопостным вечерам служить у нас всенощную. Собиралась семья в длинную белую залу, освещенную только на одном конце церковными свечами, и что за томительный восторг охватывал мою душу, когда высокий отец Василий, наполнив залу кадильным дымом, сквозь который из угла блистали наши образа, начинал звучным, густым, возрастающим голосом: «Се жених грядет во полунощи!» Тогда я, бывало, кланялся в землю, и мне, поверите ли, казалось, что в самом деле идет откуда-то таинственный Божественный жених среди ночи... Раскрытая дверь темного коридора, глубокое молчание всех других комнат... самый ландшафт в огне, освещенный месяцем, зимний сад, полосы тени от деревьев по снегу, пустынная, обнаженная аллея, пропадающая за недоступными сугробами, и таинственная мысль о безлюдности огромных полей...

Из родных кто молится усердно на коленях, а кто, прислонясь к стене, вполголоса поет за священником; сзади люди громко кладут поклоны, вздыхая...

Еще помню отца Василия в минуту моих тогдашних исповедей, когда я, наклонившись под эпитрахиль его, от которой всегда так хорошо пахло ладаном, слушал, как он отпускал мои грехи, и прибавлял иногда, погладив меня по голове широкой, но чистой рукой: «Иди! Бог с тобой... Душа-то, я знаю, у тебя добрая!»

Отец Василий тогда не был еще стар, лет 47 всего, а умер он, когда мне был 14-й год, около самых Петровок, не знаю, от какой болезни.

Тетушка, Марья Николаевна Солнцева, которая уважала его глубоко, говорила мне, что, за несколько часов до смерти, он велел себя вынести на кровати в пчельник, который страстно любил.

Я сам помню, как он описывал немного книжным языком любимых животных своих, утверждая, между прочим, с улыбкой, что матка столько же похожа на девицу, сколько трутень на мужичка.

Рассказывали тоже у нас о женитьбе отца Василия. Обыкновенной рассказчицей была сама тетушка, которая всякий раз (хотя бы в 20-й) почтительно наклоняла голову, как будто сам отец Василий стоял перед ней в ту минуту.

Еще семинаристом влюбился он в свою Анну Ефимовну. Дочь богатого протопопа и слышать не хотела о деревенской жизни, о платке вместо чепца. Она привыкла ходить в барские и чиновничьи дома, не работать и ни о чем не хлопотать; но скромный и красивый блондин играл хорошо на скрипке, был покорен и очень понравился ей, несмотря на длинный оливковый сюртук. Она соглашалась идти за него с тем только условием, что он наденет фрак гражданского чиновника.

Увлеченный любовью, молодой человек решился взять на себя грех обмана; он дал ей слово быть *светским*, женился — и через несколько месяцев после женитьбы посвятил себя духовному званию. Он тяжко заплатил всей жизнью за эту женитьбу и за первые сладкие минуты: Анна Ефимовна терзала и грызла его.

— Представь себе, дружок мой,— говорила еще не так давно покойная тетушка,— представь себе, как он хорошо чувствовал свой грех. Бывало, придет такой убитый, что Боже упаси; начнем дружески его уговаривать. Конечно, я догадывалась, что его эта негодная баба беспокоит. «Нет, говорит, Марья Николаевна, я согрешил перед Господом и благодарю небесную милость Его, что Он в этой жизни меня наказует, а не в той... В этом я Его милосердие вижу». «Да ведь вы, Василий Иваныч, посвятились?» — скажешь; так нет, mon cher[1], ни за что!

[1] Дорогой.

«Не должно было жениться мне на ней, обманывать; она не к такой жизни была воспитана». Видишь, какой был? Такую тонкость вдруг скажет, что и не найдешься отвечать ни за какие блага в мире. Я уже старалась всегда ей дарить и ситцы, и материю, и домашнюю провизию, чтоб она не ершилась на него. Он-то сам такой труженик был; сначала и пахал, и косил, и все. После я уж, ты знаешь, освободила его от этого. Возможно ли это — прямо с поля в церковь? С зари человек над сохой, едва руки успеть помыть: разве с такими мыслями он должен приступать! Бывало, сам каялся мне вначале, пока я не назначила ему всю провизию, что во время службы у него иной раз и то и сё на уме, когда видит, туча на небе заходит или что еще. А эта такая скверная женщина! Колотовка такая!

Анна Ефимовна подлинно была настоящая колотовка. Не знаю, что нашел в ней отец Василий; быть может, вначале она была мила и привлекательна; теперь же просто ненавистна: круглое красное лицо, наглые глаза, кружева на чепце развеваются, и, ко всему, несносная страсть к болтовне, кривому употреблению выражений, наворованных из дворянского словаря, и сплетни, сплетни без конца... И все пронзительным голосом. Иногда скажет бессмысленную фразу, а улыбка плутовская. Паша, еще шестилетний ребенок, приходит жаловаться, что младший брат отнял у нее сахар.

— Ах, мой друг! какая обязанность! — возражает мать кротким голосом, а сама под столом грубо толкает ребенка рукою в грудь.

А то вдруг остервенится...

В тот приезд мой к тетушке, которым я начинаю историю наших отношений с Пашей, тетушка имела неосторожность полушутя пожаловаться попадье на Пашу за то, что она мало стала читать с весны.

Анна Ефимовна как завизжит вдруг: «Ах ты, тварь негодная! Ах ты, наказание Божие за грехи мои! Ты должна, тварь ты этакая, помнить, что их превосходительство, можно сказать, тебя балуют! Что ты такое? Сирота, голь, тварь» и т. п. Тетушка даже совсем растерялась: сидит и катает в комок носовой платок.

С 11-ти до 20-ти лет прошло столько времени, передумано было столько, что об отце Василии почти никогда и

не вспоминалось; но теперь, думая о Паше, я вспомнил и о нем с большим чувством. Вероятно, не для всех он был тем, чем был для меня. Другие его знали ближе, были старше меня, когда он был жив, могли подметить что-нибудь. Я даже нарочно выспрашивал, но ничего дурного про него не узнал. Он служил хорошо, к крестьянам был, говорят, добр, не бранил их, как другой сосед наш, отец Семен, не бил крестом по лицу, когда мужики прикладывались толпою (одно только я заметил еще ребенком: пока мы прикладывались, он держал крест обеими руками и наклонялся немного вперед, а когда начинали подходить крестьяне, он выпрямлялся и спокойно держал крест в одной руке). Никогда не слыхал я от него про крестьян того, что говорит отец Афанасий, тоже соседний священник: «Мужик — бестия; с ним держи ухо востро!» Одним словом, до меня не дошло об нем ничего дурного.

Паша с малолетства считалась умницей в детском смысле. Тетушка несколько привязалась к ней с тех пор, как была без меня больна горячкой.

Удивительно, что в самом деле девятилетний ребенок так хорошо умел угодить ей всем: и лекарство вовремя подавала, и завязывала, что нужно (только всего раз и толковали ей). Тетушка пришла, наконец, в память и стала скучать, лежа в постели; тогда Паша вздумала плясать перед нею и рассказывала сказки, когда сухорукая Аленушка была занята или отдыхала.

Когда же, во время моей жизни у дяди, скончалась Аленушка и тетушке надоела лягушка со стрелой во рту, которую бросил Платошкин искатель приключений, Паша была приглашена на постоянное житье в дом, и ей назначено было особое жалованье из инбирного киевского варенья, пастилы и смоквы, да сверх того по четыре платья в год — все за ежедневные рассказы или громкое чтение, когда Ольга Ивановна была нездорова или занята.

Паша читала порядочно и стала через год читать хорошо; читала старушке газеты, анекдоты Балакирева и путешествие ко святым местам.

Пастила и смоквы отпускала тетушка для Паши исправно, но инбирного варенья так она и не добилась.

Каждую субботу тетушка ходила, согнувшись, в кон-

торку, приказывая Паше идти за собой. Паша так и думала, что вот-вот велит Марья Николаевна достать банку. Нет и нет! Заговорит сейчас о другом, велит влезть на лестницу, счесть, сколько сахарных голов на третьей полке, начнет рассматривать гнездо в уксусной бутыли или пошлет за горничной, чтобы счистила с окна паутину, и долго бранит ее и обещает настукать дурацкий лоб за то, что забыла для этого прийти, когда раз навсегда приказано приходить в субботу. Девка заплачет и пойдет, а тетушка долго смотрит вслед и на другой же день подарит ей ситцу или шерстяной платок, прикажет только не модничать, а поступать по-старинному, т. е. носить его по будням наизнанку. Та благодарит, тетушка грозится в следующий раз непременно настукать лоб и, обратившись к кому-нибудь из нас, заметит серьезно: «C'est une très bonne fille!»[1]

А у Паши все-таки нет инбирного варенья!

Паша поселилась в первый раз в Подлипках через полтора года после моего отъезда к дяде, а по возвращении моем оттуда, когда мне было уж 17 лет, я опять не застал ее. Родная тетка Паши, губернская чиновница, взяла 15-летнюю девушку к себе, в надежде выдать ее выгодно замуж, как только созреет; но это не удалось, и Паша опять у нас.

Все это я, сбираясь домой, припоминал с удовольствием и уж спрашивал себя — понравлюсь ли я ей или нет? Надеялся понравиться? Нравиться нужно всем женщинам. Что за жизнь без этого?!

III

В этот год Вознесенье пришлось поздно.

Сторона наша глухая, и соседей у нас мало; однако прежде, когда дом был оживленнее, на Вознесенье у нас всегда бывали гости; в это ж лето никто к нам не ездил, кроме отставного капитана Копьева и его дочери, Февроньюшки. Да и они не ездили, а ходили, потому что Лобаново, в котором у них домик, крытый соломой, и четыре двора, — всего полторы версты от Подлипок. Их

---

[1] Это очень славная девушка!

никто у нас и не считал гостями. У капитана, кроме фуражки с красным околышем да седых усов, подбритых до половины, нет ничего воинственного. Трудно удержаться от улыбки, когда он вдруг, точно проснется, сделает страшные глаза и сейчас же опять успокоится или когда он, рассказывая, уставится на вас и скажет: «Что вы смеетесь — ей-богу, право, так!» Февроньюшка никогда не имела телесной молодости: всегда была желта, нос луковицей и на висках примазаны колечки; но молодость сердца она хранит до сих пор и готова всегда хохотать до слез от вздора; но теперь ее смех неприятно действует на меня; из людей, с которыми она в старину смеялась, стольких нет на свете, стольких судьба разбросала в разные стороны, стольких душевно разъединила — а она все та же!

Мы ездили в коляске шестериком к обедне в то село, где жили родные Паши, и привезли ее с собой.

После обеда крестили кукушку.

Вы едва ли знаете, что значит крестить кукушку. У нас в Подлипках, в старину, каждый год крестили ее в день Вознесенья после обеда. Соберутся все дворовые и пойдут в рощу, к орешнику. Здесь тогда было много молодых березок (теперь они уже высоки), а в тени позднее, к середине лета, расцветает лиловый цвет кукушкиных слезок; около Вознесенья едва видны листья из земли, но после, возрастая, они покрываются черными пятнами, заслуживавшими название слез.

Я не знаю, откуда взялся этот обычай. Мужчины остаются почти всегда около опушки; кто-нибудь из них готовит небольшой костер для яичницы, которую надо жарить, а девушки и женщины бегут в рощу искать корешок кукушки. Корешок этот беловатый: у него есть обыкновенно две длинные ножки и другие придатки покороче. Если в толпе женщин есть беременные, они загадывают на этом корешке, кто будет у них, мальчик или девочка.

Корешок с небольшими листьями найден; все бегут назад и, одевши корень в юбку из куска ситца или кисеи, вешают его под сводом двух молодых березок, согнутых и связанных между собою верхушками. На куклу надевают крест, а на березки накидывают большой платок, под которым должны целоваться кум с кумой три раза.

Я рассказал, кто была Паша и почему ее присутствие

в Подлипках занимало меня. Характер ее мне самому не совсем ясен. Кажется, в ней было много нежности и добродушной чувственности. Я помню, бывало, тетушка влачится чрез девичью или через угольную комнату, в которой Паша вышивала. Паша если и не занята, то привстанет чуть-чуть, нехотя, и сделает жалобное лицо. Это очень шло к ней. Ростом она была невелика, увальчива и бледна, но бледностью свежей, той бледностью, которая часто предшествует полному расцвету. Иногда, побегавши, поспавши, сконфузившись или просто пообедавши, она чуть-чуть зарумянивалась. Волоса у нее были светлые, как лен или как волоса деревенских детей, улыбка мирная, взгляд жалобный, усталый.

Развернуться ей было негде, или, скорее, она была из тех созданий, которым суждено быть поэтическими только в пору расцветания, которым не дано никаких особых сил на украшение зрелых годов. Я знаю наверное, что она была нежна душою. Я не говорю о себе — что за диво быть нежной к юноше, который понравился! Но с Февроньюшкой капитановой связывала ее тесная дружба; она часто уходила в Лобаново: не раз сиживала на коленях у Февроньюшки и ласкалась к ней, объясняя мне после, что Февроньюшка ее ужасно любит и ужасно за нее боится.

Впечатление, оставшееся мне от нее, так летуче и быстротечно, что я едва ли слажу с словами. Вот что разве для дополнения портрета...

Однажды, гораздо спустя, уезжал я часу в 8-м утра с деревенского свадебного бала, довольно веселого, как видите — он длился до полного восхода солнечного. Случилось это летом, и утро было росистое. Крестьяне уже работали в полях, там и сям; кучер мой остановился что-то поправить верстах в трех от места праздника, а я кстати вышел из тарантаса, чтоб надеть пальто вместо фрака и лечь спать поспокойнее. Незнакомый мне помещичий сад выходил редкой березовой аллеей, частоколом и канавой на пустынную дорогу. Взглянув нечаянно на глину канавы, я заметил стелющуюся ветку с белыми цветами, похожими формой на садовые belles de nuit[1]. Машинально, лениво, сам не зная зачем, нагнулся я, сорвал цветок

[1] Флоксы.

и понюхал. Белые цветки были чуть подернуты розовым внутри и пахли слегка горьким миндалем, разливая и кругом этот запах на несколько шагов... Я тотчас же вспомнил Пашу: она мелькнула тоже на заре моей молодости без резких следов, но подарила меня несколькими днями самой чистой, самой глубокой неги и тоски.

Я вместе с людьми пришел пешком в рощу крестить кукушку, а тетушка приехала в четырехколесном кабриолете.

Очень мне хотелось попасть в кумовья Паше, но я стыдился. Тетушка помогла мне. Она совсем не хотела, чтоб мне пришлось Бог знает кого держать за руку и Бог знает с кем целоваться.

У нас был в комнате казачок, ровесник мне. И у него, и всей семьи его была на руках такая толстая кожа, что ее отмыть было совсем невозможно. С детства и потом у него всегда трескалась эта кожа. Тетушка, когда еще мне было лет десять, смотрела раз, как люди водили хоровод. Я хотел участвовать, и она не запретила мне, только закричала девушкам: «Смотрите, чтоб Гаврюшка не брал его за руки!»

Подобное чувство, вероятно, заставило ее теперь скомандовать: «В первой паре Володя и Паша». Мы стали и крестили кукушку.

После этого пели песни, съели яичницу и вернулись домой.

За ужином Паша, потупив глаза, сидела около меня, и мне было приятно и неловко.

IV

Недели две прошли после этого без всяких перемен. Первая радость остыла, и бездействие начало томить меня.

Что же, наконец, буду ли я любим или нет? И когда я буду любим, и скоро ли, и кем?

Что делает Паша?

Паша вышивает одна в диванной. И вот я у пяльцев.

— Правда это, Паша, что ты скоро уедешь?

— Маменька хочет меня опять к тетеньке увезти.

— Зачем?

— Не знаю. Маменька скучает одна ездить.

— Это скверно. Пожалуй, тебя отдадут там за какого-нибудь противного замуж. А я бы еще раз хотел бы тебя поцеловать, как тогда под платком. Я, кажется, влюбился в тебя...

Паша покраснела и молчала.

В эту минуту вошел мой камердинер Андрей, и я отскочил от пяльцев.

— Экие вы прыткие, погляжу я на вас! — заметил он, погладив усы. — А Ольги Ивановны здесь нет?

— Ты видишь, что нет.

Однако Ольга Ивановна пришла и вовсе помешала мне продолжать.

Дня два после того не было случая наедине поговорить с Пашей. По утрам я иногда немного занимался. Я пробовал переводить кой-что прозой из Шиллера назло одному зрелому московскому знакомому, который уверял меня, что в 20 лет невозможно понять ни Шиллера, ни Гете.

Возвышая себя этими трудами перед строгими вопросами, которые задавало мне мое же самолюбие, я немного отводил душу, слишком полную нетерпения для однообразия окружающего ее быта. Человеку, понимающему Шиллера, казалось, можно было извинить многое.

Немецкая поэзия, к несчастию, действовала на меня в 20 лет точно так, как в 17 и ранее набожность, внушенная теткой. Бывало, помолишься усердно, постоишь у ранней обедни, попостишься, положишь поутру несколько земных поклонов, сочтешь себя квитом с совестью и ободришься после этого до того, что нагрубишь кому-нибудь, или разругаешь слугу, или даже побьешь какого-нибудь мальчишку.

Тетушка с Ольгой Ивановной собиралась ехать в гости за 10 верст, а я переводил «Der Abend»[1] из Шиллера. Тетушка уехала, и я уже кончил перевод.

Час, должно быть, был 9-й в исходе, когда я решился взбежать наверх, пользуясь тем, что люди ужинали. Сначала я в темноте не мог ничего разобрать. Паша перевесилась на окне, отворенном в сад, и была прикрыта занавеской. Когда я отыскал ее и молча обнял одною ру-

[1] «Вечер» *(нем.)*.

кою, другой облокотясь около нее, она сказала: «А тетенька, верно, скоро уж будет?»

— Какой вздор! Она ночует там.

— Мне она ничего не сказала.

— Ночует.

Вроде этого был весь разговор. Еще помолчав, я поцеловал ее в лоб; но милая девушка сама протянула мне губы и, улыбнувшись чуть видной в темноте улыбкой, спросила:

— А что, если б Ольга Ивановна увидала? — И след за этим поцаловала меня так крепко, что я вышел из себя.

Я просил ее прийти на садовый балкон, когда все улягутся. Боясь ее обидеть, я прибавил, помнится, что ночь будет месячная, что мы только посидим, погуляем и поговорим.

Паша согласилась.

Вы, может быть, не поверите, что вечер был лунный, однако было так... Я встретился с нею еще раза два до ночи.

Я оставил ее в первый раз наверху и долго ходил по двору взад и вперед. О чем я тогда думал, не знаю, но, вспоминая свою беспокойную судьбу, полагаю, что недоумение боролось во мне с надеждой. Однако она еще прежде срока сошла на заднее крыльцо и, севши на ступеньки так, что розовый длинный фартук ее был виден издали, стала петь...

Я продолжал ходить и слушать, пока она не удалилась.

После, когда уже пробило половина 11-го в зале, я был готов сойти, потому что лег на постель в сапогах и халате.

Я вышел, перешагнул через Федьку, который ночевал в хорошие ночи на переднем крыльце, и пробрался в сад к балкону.

Паши не было, но над навесом балкона было открыто окно в спальне Ольги Ивановны, и я ждал недолго.

Паша сперва повисла на окне, посмеялась тихонько оттуда, сделала какие-то знаки и, скрывшись, скоро явилась из-под сирени сбоку.

— Откуда это ты?

— В лазейку пролезла, около заднего крыльца.

— А через калитку отчего не прошла?

— Как можно! У калитки Егор Иваныч спит — знаете, на чем он спит?

— На чем?

— На щиту на соломенном.

— Так что ж?

— Так это я говорю... Где ж мы сядем? На балконе я боюсь, — продолжала Паша, — пойдемте на траву за балкон.

На траве было очень сыро, и крапивы набилось много в углу, между балконом, концом стены и сиренью.

Мы хотели сидеть долго и спокойно. Паша вспомнила о щите, который лежит иногда для караульщиков на балконе.

Мы его взяли и, разостлав его, сели в сыром углу, на который из-за высоких груш светил полный месяц.

Мы много целовались и говорили о житейском.

Паша жаловалась на мать.

— Она всегда бранит меня. Господи Боже мой! И что это я сделала ей? Вот тятенька, когда еще был жив, так очень любил меня.

Мне не хотелось жалеть Пашу, потому что *хотелось не любить ее,* а повеселиться с ней. Я спешил переменить разговор, и время до часу ночи прошло в переливании из пустого в порожнее. Да мне все равно было, о чем ни говорить. Даже, чем дальше от нас предмет разговора, тем лучше, правдивее и свободнее.

Дело было не в том, чтоб говорить о любви, которой нет, о наших чувствах, для которых язык у нас был разный: дело было в том, чтоб сесть поближе друг к другу, чтоб завернуть ее в халат, чтоб она не озябла, гладить рукой по ее чуть-чуть пушистой руке, по щекам, по волосам, причесанным за уши; надо было целовать друг друга в губы, долго, не переводя дыхания.

Я хвалил ее невинную прическу, ее глаза; она говорила, что этот черный фланелевый халат с кистями идет ко мне, упрекала, зачем остриг волоса, и тому подобное.

Пора и спать, однако!

Повторения этой ночи не было.

Тетушка, во-первых, после уже не отлучалась никуда. Паша спала с Ольгой Ивановной; я было и предложил ей раз ночную прогулку, но она и слышать не хотела о такой

смелости. Иногда пройдешь мимо нее, тронешь ее тихонько — она улыбнется и не скажет ни слова. Впоследствии я узнал, что чувством можно было довести ее до всего, но мне не говорилось тогда страстно.

В таких отношениях прошли еще недели две, и я, возбужденный препятствиями, стал думать не шутя о том, как бы обольстить ее.

Вы, конечно, не думаете, что сердце мое к двадцати годам было, как белый лист бумаги. Изо всех девушек, которые мне нравились в старину, Паша более всех неразлучна с Подлипками: здесь я встретил ее, здесь и расстался с ней.

Но я не могу сделать шага без оглядки. Я не могу продолжать о Паше, пока не скажу о неизвестной вам Софье Ржевской... О Софье Ржевской не могу говорить, не сказав ни слова о домашних наших девицах. Самое наслаждение тишиною Подлипок в лето моего сближения с Пашей не имело бы смысла, если бы перед этим не было множества мелких бурь. Прощайте! Теперь ночью все страшно молчит в вымершем доме...

V

Я еще не в силах рассказывать вам все по порядку, а писать хочется; самые воспоминания мои идут не так, как дело шло в жизни, а следуют за моими настоящими размышлениями и путаются с ними. То помню я себя как в глубокой мгле... Ни дома, ни деревьев не вижу перед собою, а только перила балкона и на балконе трех девушек. Я же — должно быть, еще очень маленький — вхожу на этот балкон и пускаю изо рта пузыри. Лиц этих девушек я не помню в ту минуту, но пестрый ситец одной мне знаком — дикий, с красными узорами.

Девушки вскрикивают и приказывают мне оставить неопрятное занятие пузырями. И на все снова задергивается завеса... Потом улыбается мне свежий молодой родственник в коричневой венгерке — улыбается, а на него ласково прыгает борзая собака... Двор вокруг зеленеет, солнце блестит, собака весело лает; корыто с кормом около меня, и молодой родственник манит меня рукой: «Во-

лодя! Володя!» ...И снова тотчас за этим призывом закрылась жизнь, разверзшаяся на минуту перед непрочными детскими чувствами.

Молодой родственник, хотя ходил в коричневой венгерке тогда, но на самом деле был военный, офицер путей сообщения, и слыл за благонравнейшего человека в нашей семье; удивительно клеил он коробки, корзинки, рамки, прекрасно рисовал акварелью, еще лучше служил, а всего дороже было для меня то, что первые памятные дни мои украшены его снисходительной лаской. Еще будучи в Петербурге кадетом, хаживал он к нам по воскресеньям в отпуск (тетушка в старину способна была и в Петербурге провести зиму!), и хотя для меня все еще было очень смутно кругом, но Сережа был ясен. Он любил сидеть за столиком у окна и рисовать по моей просьбе карандашом разные виды. То корабль плывет по океану; а я смотрю через борт вместе с тетушкой Марьей Николаевной — матросов мы не рисовали; а навстречу нам из Подлипок едет лодка, и в лодке Олинька, Верочка и Клашенька, наши барышни, сухорукая Аленушка, и ключник Егор Иванович гребет... Случалось, что на берегу моря мыла прачка белье, а по небу сверкал зигзаг молнии и мчались облака; другой раз изображался большой дом, корпус, жилище Сережи и Сережа у окна; от Подлипок к нему шла длинная аллея, и по аллее ехали мы с тетушкой в коляске; а над зданием парил огромный орел, унося ягненка... Подобных рисунков было много; не знаю, куда они делись. Сережа, в знак дружбы ко мне, на всех свободных местах — например, на столбах ворот, на краях крыш, на притолках дверей, на борте корабля, на парусах и флагах — надписывал мелкими буквами: *Володя, Володя, Володя.*

Сообразив время, я вижу, что кадет предшествовал коричневой венгерке, а человек был все тот же. В свою очередь, коричневая венгерка была только временной оболочкой, и скоро настал веселый день, когда с утра съехались в Подлипки гости; с утра, надев замшевую перчатку на правую руку, завивался Сережа горячими щипцами в два кока перед маленьким зеркалом на антресолях; а я, не отходя от него, любовался на лицо его то так, то в зеркало. Небольшого роста был наш Сережа, но строен; почти брюнет, но бел. Лет десять спустя я нашел, что он

всегда был похож на тех алебастровых девиц с розовыми щеками, которых продают в лавках; прибавьте только чуть пробившиеся темные усы, два кока, один небольшой, другой совершенно a la coque marine[1], да мундир с известными отличиями путейской формы — вот Сережа — жених. Но тогда он был мил для меня, и его радость меня радовала. Едва выпущенный из корпуса, приехал он к нам и гостил более года. Он по-старому продолжал рисовать для меня все на свете. Воображение мое требовало пищи, и он насыщал его.

Воображение было у меня всегда необузданное. Мадам Бонне, старая моя гувернантка, поддерживала его деятельность географическими занятиями, рассказами о путешествиях Кука и других, картинками детских музеев, где гигантские каракатицы низвергали корабли, львы боролись с колонистами, райские птицы распускали желтые хвосты и т. п., более же всего «Вечерними беседами в хижине» Дюкре-Дюмениля. Все вырастало тогда вокруг меня: камин, топившийся в зале, был для меня горящим древним замком, зала — огромной пустынею, душники печей — отверстиями ада, а члены сборной семьи нашей и знакомые — мифологическими богами, с которыми я познакомился по одной французской книжке. Эта книжка принадлежала мадам Бонне: я знал, что картинки в ней были плохи, грации были гораздо хуже наших деревенских девок, с которыми случалось мне кататься с горы на масленице, а Юпитер с бородой нисколько не величественнее Егора Ивановича. Текст был зато приятен: «Qui etait Vulcain?»[2] Следовал ответ...

Все читанное и слышанное старался я воплотить в окружающем меня. Таким образом Палемон, отец «Вечерних бесед», слился у меня в одно с старым лесником Пахомом, который издавна жил за садом в молодой роще, поднимавшейся на прежних порубках. Патриархального в нем было достаточно: седая борода, клюка, избушка крошечная, на крошечной лужайке в глуби орешника; одного я не понимал: как мог Палемон, или Пахом, при такой жизни драться на шпагах; а в книжке сказано, что он дрался, если я не ошибаюсь?..

---

[1] Наподобие морского кока.
[2] «Кто был Вулкан?»

Однажды переделывали залу; половицы были подняты, изображая для меня глубокие пропасти. Едва мужики уходили обедать, как я уже прокрадывался туда и, отстегнув с гвоздя угол старого плетеного ковра, которым была забита дверь из мрачного коридора в волшебную пустыню, шел твердою ногою искать руду в неизвестных горах. Часто случалось, что я не признавал своих умерших родителей и уверял, что мать моя была американская царица и что мы ехали с ней в колеснице по берегу моря; лошади понесли — мы упали, меня унес орел, но потом уронил в море; здесь я, как Иона, был проглочен китом и, наконец, выброшенный им на берег Испании, попал, как воспитанник, в Подлипки.

Нужно было найти приложение и для мифологии. Кроме душников — отверстий ада, были у меня другие соображения: высокий толстый сосед Бек, приезжавший к нам на Святой и даривший мне всегда яйцо, раскрашенное разными ситцами, стал Юпитером; Юноной была сама тетушка; Сережа то Марсом, то Аполлоном; мадам Бонне была Минервой, а бледная, стройная Олинька — Венерой.

Надо сказать, что последнюю считали у нас чем-то напоминающим резец Фидия. С течением времени, когда своенравные требования личного вкуса заговорили во мне сильнее, такие лица перестали нравиться мне; но в детстве я любил эту картинную девушку, высокую и тонкую, с природною восковой бледностью строгого лица, с томным и скромным взглядом, в бедном ситцевом платье, танцующую гавот перед заезжим танцмейстером.

Но надо поскорее покончить историю свадьбы Аполлона и Венеры.

Оба кока завиты, талия в рюмочку. Я сбегаю вниз. В угловой комнате, в той самой, где пылала по вечерам печка и звучала с лежанки чародейка Аленушка, вижу таинственно полурастворенную дверь, и эта щель обличает особый род приготовлений, не виданный мною никогда. Боже! Что за прелесть! Балдахин не балдахин кисейный, оборки не оборки; розовый цвет белья... Стараюсь вспомнить, что пришло мне в голову тогда, и не могу; кажется — я удивился: «Зачем же это вместе? неужели не стыдно?»

Гостей было немного, и я не помню их лиц; но из

смутного представления движущихся фигур мне ясно виден воздушный образ небогатой невесты в белом платье с черной бархаткой на шее. Доримедонт с усами докладывает что-то; все шумят. Тетушка три раза входит и уходит в разных чепцах и даже все боком, потому что коридорная дверь узка, а чепцы широки. Первый чепец огромен, и лиловые ленты стоят во все стороны. Вероятно, ей сказал кто-нибудь, что цвет слишком печален, только она в другой раз вошла с оранжевыми лентами, опять ушла и вернулась с белыми.

Все гудит в прихожей; белый призрак наклоняется ко мне и горячо целует меня; лицо мое омочено ее слезами. Все умолкает... Тетушка сидит одна у окошка на высоком вольтеровском кресле, играя табакеркой, и не отводит глаз от окна. У ног ее, на скамейке, Федотка-дурак в оливковом сюртуке и белом галстуке пилит что-то задумчиво на скрипке, а я, схватив обломок сабли, в исступлении ношусь и воюю по зале.

Еще виден мне, после, угол желтой комнаты, ряд стульев, молодая в розовом капоте на одном из них и Сережа в вицмундире, цалующий ее руку. Вечером Аленушка кладет меня в постель; я долго слышу звук органа и смутные возгласы родных, веселящихся в больших комнатах.

Удивительная была парочка! Они уехали скоро; но долго еще после этого хранились в душе моей их примерные личности. Жил я у дяди потом, возвращался к тетушке, рос, учился — но все в неприкосновенной чистоте сохранялось вокруг меня предание о достоинствах этой четы, выпущенной на жизненное поприще из благодетельных Подлипок. Вот их простая история, собранная из разных источников. Инженер наш приехал в отпуск, влюбился и посватался. Тетушка написала письмо к дяде; дядя написал к какому-то генералу; генерал достал место Сереже. Тетушка не ограничилась этим: она сшила Олиньке подвенечное платье из кисеи, купленной еще прежде у разносчика, подарила ей бархатку на шею; другие знакомые дали вуаль. Тетушка колебалась, говорят, несколько, сшить ли наволочки с оборками или нет и вообще приготовлять ли все, что следует, в том розовом виде, в каком предстала мне таинственная спальня из полурастворенных дверей; но приезд дяди Петра Нико-

лаевича поправляет все дело. Приезд этот я помню. За несколько дней до описанных мною свадебных картин на дворе уже было темно; я, помолясь Богу, ложился спать под надзором Аленушки, как вдруг дверь растворилась и кто-то сказал: «Петр Николаевич приехал!» Аленушка, стоявшая на коленях перед моею кроватью, вскочила. В других комнатах поднялась беготня. Мигом я одет и бегу в залу. По зале идет дядя в косматом черном пальто, а тетушка ведет его под руку в гостиную; другие беспорядочно толпятся сзади и спереди, но кто и как — не помню.

Дядя — лицо немаловажное: он был у нас представителем всего того, что могло пробуждать в Подлипках честолюбие; он был начало всякого блеска, золота, крестов, родни московской, вороных шестериков, запряженных в карету (не нашей чета!)... Взгляд открытый и строгий, легкая лысина на благородном лбу, и завитки слегка седеющих темных волос; Георгиевский крест всегда на модном статском платье, а в случае парада — мундир военный и целый ряд отличий на груди; белые большие руки и благоухание от волос, одежды, даже от гладко выбритой щеки, которую он мне и на этот раз, как всегда нагнувшись, подставил. На заднем плане его жизни виднелись толпы турок в чалмах и кривые сабли, рубящие головы наших солдат.

Эй, казак, не рвися к бою,
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку!..

Голова у него была разрублена в одном месте; левая рука прострелена; в груди две раны. Когда тетушка, всегда экономная, покупала у разносчиков стираксу для куренья и на коробке, чтобы указать на восточное происхождение аромата, было изображено и подписано: «Сражение между семью турками и двумя казаками», я вспоминал о грозном и вместе милостивом родственнике. Впереди несчастный мусульманин, верхом, в зеленой чалме, хватался за бок, пронзенный пикой воинственного Дона; другой турок лежал ничком на земле; от третьего остались только куски: там рука, там голова, там нога

в туфлях торчали из дыма, обвившего двух главных бойцов. Подальше за холмами рубился против четырех маленьких неприятелей маленький казак, а горизонт замыкался рядом елей, в которых воображение мое привыкло подозревать дядю с полком: он спешил выручить героев. Сама тетушка имела в спальне своей прекрасный абажур с раздирающими военными сценами — но здесь уже гибли бедные французы в медвежьих шапках и синих мундирах. Тетушка говорила, что брат сам прислал ей этот абажур из-за границы, и так как он тогда был ранен, то она не могла видеть перед собою кровавых рисунков, которым свет свечи по зимним деревенским вечерам придавал так много выражения.

— Такой сумасшедший! — говорила она, — выдумал, что прислать! Как, бывало, ни погляжу, так дурнота и сделается!

Хотя я никогда не допускал, чтобы тетушка могла упасть навзничь в обморок, потому что она очень плотно стояла на толстых ногах и упорно сгибалась вперед на ходу, но впечатлению абажура сочувствовал.

«Поди-ка, попробуй, — думал я даже гораздо позже Сережиной свадьбы: — Поди-ка! Ведь это здесь, в зале, легко рубиться или амбар брать приступом; а как настоящий турок? Вот человек-то дядя!»

Он недавно еще представлялся государю и разговаривал с ним. В Подлипках шептали, говоря о нем; ему отводилась лучшая комната. На столе камердинер раскладывал тысячи туалетных безделушек: серебряные коробочки, хрустальные и пестрые баночки, щетки в богатой оправе, перед которыми жалки и нечисты становились складное зеркальце, роговой гребень и старая щетка бедного Сережи!

«Уж не он ли Марс-то?» — подумал я однажды.

И Сережа был раз навсегда разжалован в Аполлоны.

Так как Грецию я тогда знал по словам мадам Бонне и Гомера не читал еще, то и не знал, что у него Марс прост и Минерва его бьет... Минерва, ученая женщина, — мадам Бонне. При ее накладке, при лице ее, блестящем и сморщенном, как те моченые яблоки, которые по вечерам подавал нам Доримедонт, — можно ли поверить, что она бьет воинственного Петра Николаевича? Поди сообрази все это!..

С приездом дяди дело свадебное приняло иной оборот, и при нем тетушка не смела отказаться от приличных издержек.

В каретном сарае, от которого теперь остались одни кирпичные столбы, была у нас простая крашеная бричка. Ее выкатили к пруду, и кучер мыл и сушил ее. Потом подвезли ее к крыльцу, и молодые влезли в нее с немногочисленными пожитками и горничной девочкой. Плакали ли они или радовались — не знаю, но, говорят, тетушка дала им двести рублей да дядя триста ассигнациями — вот и все!

Загремела бричка по двору, свистнул Агафошка: «Ну, ворочайся!» — и мигом скрылись надолго-надолго за стрижеными акациями изгороди мои дорогие мифологические существа! Десять лет не видал я их потом — десять лет для меня, ребенка!

Они жили в трехстах верстах от нас и не приезжали ни разу. Олинька раза три в год писала тетушке, иногда вспоминая и меня. Тетушка сначала всякий раз сокрушалась о бедности их, сделала им широкое одеяло из разных ситцевых лоскутков, все шестиугольниками, раза три посылала им по сто рублей ассигнациями, а потом стала радоваться, что они поправились... да так поправились, что тетушке прислали, зная ее религиозность, из серебряной проволоки красивыми цветами выделанную лампаду к образам ее спальни. Тетушка заплакала и сказала мне:

— Вот видишь, Володя, что значит, мой голубчик, воспитание хорошее. Посмотри, голубчик, какая лампадка — это он, конечно, трудами рук своих приобрел. Да!

— Что же они, ma tante[1], разбогатели?

— Он место имеет хорошее; к начальству был почтителен, искателен был, трудолюбив — я всегда старалась внушить ему набожность. Отец его был большой приятель моему покойнику, они вместе служили — они ведь троюродные братья были, на одной квартире жили и все делили между собой. Видишь, мой друг, все награждает Бог в правосудии Своем. Кто к Нему прибегнет, тому всегда хорошо. Я помню раз, кадетом еще оскоромился он в Страстную — уж я ему голову-то мыла, мыла!.. Скром-

[1] Тетушка.

ный, почтительный был мальчик! «Что, батюшка, стервятинки покушал?» А он: «Ах, ma tante, я понимаю свой грех; поверьте, это в последний раз!» И сам плачет в три ручья. Вот ему Бог и послал. А кто не верует, тому одно наказанье и в этой жизни бывает и в той. Помнишь ты, у дяди Петра Николаевича, в Троицком, на антресолях есть портрет — красивый такой мужчина, с большим жабо... такое лицо... (тетушка сделала такое лицо). Помнишь?

— Помню.

— Это был граф Короваев. Что же ты думаешь? Этот человек имел все от Бога: и красоту, и богатство, и жена у него была красавица... Ведь нет, подгадил-таки, поехал в Париж, начитался Вольтера и вернулся таким безбожником, что ужас. Волос, бывало, дыбом становится, как он начнет говорить. Мой муж сам читал Вольтера: бывало, сидит вот в этих креслах и читает. Il aimait la lecture[1]. У него были всегда прекрасные пеньковые трубки, и он курил на кресле и нарочно читал Вольтера — почитает, почитает и вдруг вскрикнет: «Ах,какая скотина!» Непоколебимой был веры человек!.. А тот ничего священного не знал: перед причастием кофе со сливками пил; в церковь и калачом не заманишь ни за что! Как же он кончил, ты думаешь? Жена у него умерла давно, он жил в Москве. Домина у него огромный был около Арбата. Только вот у него стали делаться какие-то припадки: вдруг упадет в обморок и трепещется весь, и пена у рта — просто ужас! Вот дворецкий, его фаворит, и вздумал одну странницу привести отчитывать его... Она клала ладонку небольшую на грудь больным и молилась, и, говорят, всегда помогало. Сколько раз она приходила, не знаю; только, видишь, дворецкий, как он станет приходить в себя, сейчас и уведет странницу: боялся его. Стало ему лучше; вдруг он и увидал ее — не успела уйти. «Это что такое?— закричал. Вон, говорит, побродягу отсюда! я, говорит, покажу вам!..» И понес ахинею. Ну, что ж? Сделался с ним обморок раз, упал лицом вниз да об стол подбородком — язык прикусил. Люди все разбежались, кто за лекарем, а кто от страха. Мой покойник, как нарочно, входит к нему... Представь себе, мой друг, язык до того распух и вытянулся изо рта синий, что он так и задохся.

[1] Он любил чтение.

Глаза налились, смотрят на мужа, а сказать ни слова не может. Тот бегом с лестницы и без содрогания вспомнить не мог... Вот тебе пример!..

Сережа озарился в моих глазах новым светом благонравия. Недоставало только видеть его блаженство в настоящем; но и на это представились случаи.

Однажды в Москве, семнадцати лет, я скучал один после обеда, как вдруг вошел в комнату военный денщик, спросил, я ли Владимир Александрович Ладнев, и подал мне записку.

Вот она:

«Если вы не забыли ваших родных, бывших для вас когда-то Аполлоном и Венерой, то приходите к нам сегодня на стакан чая, в шесть часов вечера. Мы стоим в такой-то гостинице, в 17-ом номере. Жена моя ждет вас с нетерпением... Ваш Сергей Ковалев».

Бегу, бегу в 17-й номер — шестой час, насилу пришел! Любопытство отнимает у меня ноги; я беру извозчика и скачу.

Это свидание не показало мне ничего особенного. Мы обнялись, улыбались друг другу с Сергеем Павловичем; он говорил, что я вырос; я говорил, что он ничуть не постарел.

Олинька по-прежнему хороша отвлеченно, но уже совершенно не в моем вкусе. Прошло десять лет: ей было двадцать семь, ему двадцать девять — в самой поре!..

Шестилетняя дочка показалась мне слишком жирна и скучна; номер не совсем опрятен; открытые погребцы и ящики, разбросанное платье, посуда где попало... Чай плохой, но прием радушный. Чтобы не отвечать сухостью на изъявления их родственных чувств, я принялся говорить о прошедшем детстве, о Подлипках, думая, что это будет приятно им. Самовар шипел; дочка дремала на скверном диване; Сережа курил трубку и слушал, как я рассказываю. Олинька прервала меня вопросом:

— А что тетенька? все такая же скупая?

Я с изумлением взглянул на бледную нимфу. Где же эта глубокая, нравственно-религиозная связь между благодетельницей и восхваляемой ею четой? Разве может близкий нам человек быть скуп, зол и т. п.? Или если так, так пусть он не будет близким отныне. Стоит ли говорить о нем? Вот благодарность!

— Чем же тетушка скупа? — спросил я.

— Ну уж так скупа, как нельзя хуже,— сказал Сережа,— хорошо она нас отпустила тогда! Я скажу при ней *(он указал на жену)*, что, не будь ее прекрасный характер, я бы с ума сошел. Ведь у нас ни ложки не было, ни чайника — ничего ровно. Я должен был ходить на службу на другой конец города по морозу, по слякоти, по дождю; возишься там целое утро, а придешь домой — перекусить нечего!

Олинька тихо засмеялась, устремив на меня томные глаза.

— Я, знаешь, всегда старалась все ему в забавном виде представить... Зачем отчаиваться?.. Он, бывало, придет усталый, злой, а я и представлю ему какую-нибудь штуку, палочкой или щепочкой чай ему мешаю... Он рассмеется. Нет, любовь и хороший, веселый характер не заменишь ничем!

Сергей Павлович взял проснувшуюся дочь на колени и начал ласкать ее; потом присовокупил:

— Конечно, все надо судить по средствам. Тетушка, не забудь, имела более 1000 душ и в то время не выезжала из этих Подлипок. Какие там расходы? Смешно! Ни тебя, ни других наследников она бы не ограбила, если бы помогла нам хорошенько. А тут ребенок родился — каково это!.. То-то... Все эти ханжи так... черт бы их побрал!

Олинька захохотала.

— Полно, что ты бранишься! — сказала она.— Не все бывают щедры на свете; у всякого свой недостаток. Тетушка все-таки очень добра. Помнишь, она одеяло нам сшила, которым наша Авдотья одевается... Ты смотри, Володя, не скажи тетушке...

Я был смущен. Мне рисовалась бедная, душная квартира в губернском городе, усталый труженик, неопытный отец нового семейства... А там, у нас в Подлипках, большие, чистые и широкие комнаты, цветы, старинная, но прочная и удобная мебель, тетушка с наставлением на устах и спокойным взором, а пуще всего — ящики ее туалета, всегда запертые... Там-то хранились сокровища, достаточные для услаждения жизненной муки двух десятков семей...

О Боже! Как это ново все!..

Отчего эта похвальная жизнь Ковалевых так чуж-

да мне теперь? Родного сердцу уже нет в них ничего!

Грустно покинул я 17-й номер.

Года через три судьба снова сблизила меня с Ковалевыми; но чем ближе подходили они ко мне в действительности, чем живее становились наши ежедневные встречи, тем более немело сердце... Еще год или два, и они для меня не существовали.

VI

Жить мне было хорошо у тетушки. Хотя права наследства после нее я делил с старшим братом моим, с дядей Петром Николаевичем и с его сыном, Петрушей, но я был Вениамином родства. Петрушу, двоюродного брата, Марья Николаевна видела редко; брат мой был уже велик, двенадцатью годами старше меня, и учился в петербургском корпусе; он занимался порядочно, но часто огорчал тетку своими шалостями, и, сверх того, мать моя, вторая жена покойного отца, была любимой невесткой тетушки. Мать старшего брата была женщина легкомысленная и гордая и, по словам Марьи Николаевны, изменяла мужу.

— Слава Богу,— говорила мне тетушка, когда я уже был большой,— что она подобру-поздорову скоро убралась... Такая пустоголовая бабенка! Она бы мужу года в три шею свернула... Вообрази себе, мой друг, что она сделала: вздумала раз с своим возлюбленным вечером в санях кататься! Уверила твоего отца, что у него жар, уложила в постель, напоила липовым цветом, навалила на него целую медвежью шубу — и была такова: «Не смей вставать без меня; если ты заболеешь, я не перенесу!»

Моя же мать была иного рода, и отец женился на ней, когда ему было уже под сорок лет.

— Он много страдал от раны около того времени,— сказывала Марья Николаевна.— Бывало, сидит в халате на беличьем меху. Куда уже тут с молодой женой! Раз вышла она в газовом платье, вся юбка вышита белым шелком, на голове брильянтовая нить, жемчуги на шее: на бал в Москве собралась. Она была прелесть как хороша! Что ты ее на этом портрете видишь, mon cher? Локоны одни белокурые чего стоили! Бывало, в мазурке не-

сется, головку набок, еще девушкой — просто загляденье! Ну, вбежала, платьем шумит, а брат и вздрогнул. «Что ты, говорит, Саша, так шумишь? Если ты хочешь плясать и мужа бросаешь больного, по крайней мере не пугай его». Она сейчас глаза опустила. «Если тебе, говорит, неприятно, я платье сниму и с тобой останусь». Ну, смягчился, знаешь. «Ничего, ангел мой; это я так сказал. Поезжай, дружок, веселись, пока весело». Она чмок его, чмок меня — и помчалась. Брат вздохнул и рукой только показал ей в след. А я ему говорю: «Помилуй, Александр Николаич, возьми ты ее года в расчет! Разве ты можешь в чем-нибудь ее винить?» — «Ни в чем, ни в чем, говорит: кротка, кротка как ангел!» А сам закашлялся, и слезы на глазах. Взял меня за руку... «Маша! Маша! говорит, хотел бы я с вами еще пожить!» Да нет, через полгода скончался...

Мать моя тоже умерла на руках у тетушки, и всю дружбу свою к отцу и к ней, все свое врожденное чадолюбие, которому, по бездетности ее, не было прямого исхода, обратила она на меня. До десяти лет спал я в ее спальне; сама она заботилась о моей одежде, о моем ученье, насколько умела; учила сама меня читать «Отче наш», «Богородицу» и самую любимую мою молитву, в которой я как бы запросто и детски разговаривал с Богом: «Господи, дай мне счастья, здоровья, ум, память и доброе сердце! Избавь меня от всех болезней и спаси меня от всех бед!»

Володя был кумиром Марьи Николаевны. В большой спальне ее висели портреты всех родных. Акварели, большие портреты в рамах, силуэты: я же был изображен в нескольких видах. Над большим креслом ее парил крылатый херувим без тела: это был я, едва рожденный на свет. В другом месте я в локонах сидел на ковре, в третьем — скакал на деревянной лошадке...

И не она одна — все в доме если не любили, так по крайней мере баловали меня. Старый буфетчик качал меня на ногах, приговаривая иногда: «Чаю, чаю, величаю». Девушки звали меня ангелочком, кавалером и носили меня на руках. Одна из них, которой имя было Паша Потапыч (потому что отец ее был Потапыч), нередко забавляла меня по зимним сумеркам — пела, сидя со мной на плетеном ковре, или рассказывала мне что-

нибудь, когда запас Аленушки истощался, или, бегая на четвереньках, представляла волка и так страшно скалила зубы в полумраке, что даже Аленушка, сидя на лежанке, боялась. Никто не смел сгрубить мне или непочтительно со мной обойтись. Когда одну зиму, помню я, выпал такой глубокий снег, что от строения до строения прокапывали ходы, я любил гулять с нянькой и мадам Бонне под сенью этих снежных стен; к нам тогда часто выходил ровесник мой, Федька, сын кучера, ставший потом комнатным казачком. Он был резов и смел, и тащиться сзади за мной ему мало было охоты; но ни мадам Бонне, ни Аленушка не позволяли ему ни за что забегать вперед, и он только наступал на меня и шептал мне в затылок тихонько: «Рысью, барин, рысью!» И я бежал немного рысью. Не только тетушка баловала меня всевозможными подарками и ласками, не только люди, и особенно Аленушка, любили меня, но и мадам Бонне вовсе не была строга, несмотря на всю свою храбрость. В храбрости ее я был так уверен, что не боялся ходить с ней в густой орешник, где жил Пахом, или Палемон, в ветхой хижине, где жили Леон, Бенедикт и другие дети «Вечерних бесед». Однажды, когда пьяный кучер опрокинул нашу коляску в промоину, она нимало не потерялась, схватила меня на руки и, передавая соскочившему слуге, закричала только: «Дэти, поскорее, дэти!» Эта храбрость мадам Бонне в таком опасном случае немного мирила меня с тем, что она Минерва! Минерва эта старалась всячески забавлять меня; часто садилась она к фортепиано и пела мне премилый романс: молодой негр хочет жениться на белой девушке и говорит ей:

Restez ma toute aimable!
Tournez la tête à moi[1] и т. д.

А потом, под конец:

Va, ma petite reine!
Ne pas toi mettre en peine
L'ivoire avec l'ebène
Font de jolis bijoux![2]

---

[1] Оставайтесь моей любезнейшей!
Кружите мне голову.

[2] Полно, моя маленькая королева!
Пусть это тебя не огорчает.
Слоновая кость с эбеновым деревом
Составляют прелестные украшения.

Она умела также делать маленькие куклы, не больше полувершка: сами из тряпочек, а ноги из конского волоса. Оденет их по-русски — женщину в сарафан, а мужчину в кафтанчик, откроет фортепиано, поставит их на внутреннюю доску и заиграет русскую плясовую. Тогда куклы начинают плясать сами собою на доске, а я, уже взволнованный родной музыкой, с жадностью слежу, как налетает мужичок на молодицу, или как она, подпершись руками, нагоняет его, или как они, загнав друг друга в угол, толкутся там вместе. В эти минуты я любил мадам Бонне со всем жаром удовлетворенной созерцательности.

Кроме Оленьки — Венеры, у нас жили еще две девушки, родные сестры. Старшую звали Верочкой, младшую Клашей. Последняя была четырьмя годами старше меня, а Вера шестью. Вера была простая, веселая, полная, белая девушка, которая после, вышедши замуж, родила двенадцать детей. Но еще прежде обвенчались мы с ней в Подлипках в день моих именин 15 июля.

В этот день я всегда был осыпан подарками; во время утреннего чая я сидел в креслах, и вся дворня приходила целовать мою руку. День же нашей свадьбы с Верой был особенно весел и торжествен в тот год, когда мне минуло девять лет. Фаворитка моя, Оленька, уже уехала прошлой осенью: но две оставшиеся девушки смотрели на меня как на существо особое, царственно-избранное. «Царь мой, Бог мой!» — говаривали они, обнимая и целуя мои щеки и руки, особенно старшая; младшая, Клаша, полная, как сестра, но бледная и вялая, была вообще не предприимчива, и я любил ее немного более желтой Феврощи Копьевой, которую прогонял всегда, уверяя, что от нее пахнет рыбой. Вера с утра, в день моих именин, поставила в зале горку и прикрыла ее кисеей. Когда я вбежал, глаза мои прежде всего невольно обратились в ту сторону, где ждали меня сюрпризы. Еще за неделю до этого терзался я вопросами о том, кто что подарит мне. Поздоровавшись с тетушкой, с барышнями и с мадам Бонне, я подошел к горке и поднял кисею. Чего там не было: и сабля железная с ножнами, и маленькая уточка из синего стекла, наполненная духами, с пробочкой в том месте, где бывает хвост; был и шкапчик вышиною не более $^1/_4$ аршина, а в нем стояли география, грамматика и арифметика, по которым я мог даже учить своих детей

(так они были малы); была и табакерка с музыкой, и ружье, и шлем из картона. Было, наконец, небольшое сердце вместо альбома: оно развертывалось звездою, и листья его еще были белые. Я пошел благодарить всех и всем подносил свой альбом, прося вписать что-нибудь. Тетушка написала: «Я тебя люблю; веди себя хорошо и учись, я тебя еще больше буду любить»; Вера написала розовыми чернилами:

Dors, dors, mon enfant,
Jusqu'a l'âge de cent ans[1].

Клаша по совету сестры:

Je vous aime tendrement
Aimez-moi pareillement[2].

Сама она ничего не могла придумать. К обеду приехал помещик Бек и сын его, юнкер лет восемнадцати. Я им подал свое сердце. Сын написал:

В глуши богемских диких гор,
Куда и голос человека
Не проникал еще до века!

Отец же черкнул огромными буквами: «Приношу вам чувствительнейшую благодарность!» После обеда я решился осуществить мои давнишние мысли о семейном быте: я предложил Вере обвенчаться со мной. Она согласилась, и мадам Бонне, украсив ее голову страусовыми перьями, надела на нее вуаль; мне под куртку через жилет подвязали красный шелковый пояс, вместо генеральской ленты; Клаша нарядилась тоже, и на юнкера надели рисованные кресты и ленту. Нас поставили перед высокой рабочей корзинкой; старик Бек начал читать что-то громко из первой попавшейся книги и водил нас вокруг. После свадьбы начался бал. Так как мадам Бонне не умела играть танцев, то Бек предложил свои услуги:

— Дайте мне какую-нибудь книгу,— сказал он.

— Вот «Живописный Карамзин».

— Все равно,— сказал старик,— берите дам.

С этими словами он сел к столу, раскрыл книгу где

[1] Спи, спи, мое дитя,
До ста лет.

[2] Я люблю вас нежно,
Любите меня так же.

попало и, увидав, что на картине был представлен убийца Святополк, закричал:

— Начинайте! Вальс Святополка-окаянного!

— Святопо-олк, Святопо-олк, Святополк-полк-полк.

Я носился в восторге то с Верой, то с Клашей, то с большой куклой.

— Мазурка Мономаха! — командовал Бек. — Мономах-мах-мах!..

Но бал кончился грустно. Музыка «Живописного Карамзина» не удовлетворяла барышень. Скоро они ушли наверх; Бек удалился к тетушке в гостиную, а я, в страшной досаде, ходил по зале и напрасно ждал дам. Наконец, услыхав, что они хохочут наверху, я взбежал туда и начал их бранить. Клаша, которая в этот день была оживленнее обыкновенного, стала передо мной на колени и хотела поцаловать меня, но я, не знаю почему, взбесившись, дал ей пощечину. Клаша ахнула, посмотрела на меня грустно и, отойдя в сторону, заплакала. Вера, погрозившись мне, бросилась утешать ее. Я глядел со стыдом ей вслед, глядел на ее бальный наряд и на руки, которыми она закрыла лицо. Мне стало невыносимо — я убежал в тетушкину спальню, где всегда горела лампада, и заплакал. Ни Вера, ни Клаша ни слова не сказали тетушке.

К счастию, я не был слишком зол: во все время моего детства я хладнокровно сделал только два дурные дела: вымазал лицо Аленушки мылом да, заспорив с Федькой о том, что я все смею сделать, толкнул его в сажалку!

Для игр дали мне сверстницу. Еще мне не было и восьми лет, когда привела с деревни крестьянка двух девочек. Обе девочки плакали и утирали слезы передниками: одна голубым, другая желтым с красными цветами. Тетушка колебалась с полчаса и выбрала старшую. Тетушка любила, чтобы служанки ее были чисты и красивы, а старшая была красивее. Катюшке было 10 лет.

Я был, верно, тронут появлением нового ребенка в доме и в сумерки посоветовался с тетушкой насчет подарка Катюшке. У меня были две деревянные куклы величиною в $^1/_4$ аршина, которые стали немного рябоваты оттого, что я мыл их в корыте, в котором кормили собак у переднего крыльца. Куклы эти были мне дочери и звались *Орангутанушка и Надя:* они гнулись по всем суста-

вам. Так как в это время меня гораздо больше начинали занимать взятия приступом шалашей, амбаров, битвы на садовых мостиках и на необитаемом острове нашей круглой сажалки, чем куклы, то я и решился отдать обеих дочерей грустной девочке в затрапезном полосатом платье. Тетушка одобрила меня, и, когда я, не без смущения, отнес голые куклы в девичью и отдал их Катюшке, все девушки похвалили меня и кукол, а Катюша отвернулась к окну и угрюмо сказала: «Это для Евгешки». Евгения была ее меньшая сестра, и Катю похвалили за доброту.

Кажется, ее никто не обижал; но дикая девочка с бегающими серыми глазами дня через два исчезла. Ее нашли в канаве, верстах в двух от деревни, пожурили ее, пожурили мать и оставили. Но она еще долго никак не могла привыкнуть к хоромной жизни. Тетушка велела сухорукой Аленушке взять ее себе в помощницы, и они вместе ходили за тетушкой. Аленушка уже не раз била ее здоровой рукой за неисправность и отважную небрежность, но она исправлялась туго. То на приказание шить отвечает, потягиваясь: «Не хочется»; то пойдет стлать постель барыне и заснет на ней сама. Ищут, ищут, где Катька,— нет Катьки! А Катька спит на барской постели ногами вверх на подушку, а головой к ногам. Отучили от кровати — она стала каждый вечер, убегавшись, засыпать на медведе, на которого ставила тетушка ноги, вставая с постели.

Я тоже повредил ей однажды. Играя с ней во что-то в зале, в сумерки, я стал уверять ее, что неприлично звать господ по имени и отчеству, что они могут счесть это за недостаток любви к ним, а что надо знать тетушку *Маша,* меня *Володя,* барышень, живущих у нас, тоже в этом роде, и она, послушавшись, в тот же вечер принесла одной из воспитанниц орехи кедровые от тетушки и сказала:

— Клашенька! вам прислала Машенька...

Меня хотели наказать без ужина, но простили, а Катя простояла на коленях около часа. Ее взяли осенью, а на следующее лето она еще была так дика, что убежала на три дня, вот по какому случаю.

Однажды Вера, вставши поутру, не нашла кольца, которое ей было дорого, потому что в нем были замкнуты

волосы ее матери. Взыскались, туда-сюда — нигде кольца не видать. Аленушка, которой Катя часто досаждала неисправностью, посоветовала обратить внимание на девчонку, и тетушка разрешила ей допросить ее кротко. Аленушка завела ее в чулан и начала стращать крапивой и розгами. Катя слушала, отнекивалась и, наконец, была оставлена. Девушки в девичьей продолжали стращать ее, боясь, вероятно, чтобы подозрение не пало на них. В сундуке ее ничего не нашли. Воспользовавшись минутой, когда на нее вовсе не обращали внимания, Катя вышла в сени и, бросившись в сад, пропала. Все были в смятении. Все бросились искать ее.

Настал темный вечер. В роще, которая сурово чернелась за лугом у сада, загорелись и замелькали фонари: люди были и пешие и верховые. А я, исполненный нетерпения и восторга, стоял у садовых ворот с двумя девицами, и все мы не сводили глаз с рощи. Поиски были напрасны в этот вечер. На другие сутки привел ее после обеда лесник из другой рощи, которая исполнена была, по моим тогдашним мыслям, величавой дикости. Большая промоина с боковыми отрогами змеилась по всему ее протяжению. Из этого вертепа привели Катю. Там провела она всю ночь. Мы сидели все на коврах в липовой аллее. Дядя, Петр Николаевич, гостил у нас. Он велел привязать девочку к дереву и стал было кричать на нее, а мы и люди образовали около него почтительный полукруг. Тетушка укрощала дядю и, казалось, была тронута испуганным видом одичалого ребенка. Катя не плакала; опустив голову, стояла она, и глаза ее прыгали; ноги были босы, в пыли и ободраны; руки тоже. Дядя, смягченный ее видом и сострадательными замечаниями тетки и девиц, ласково взял ее за подбородок и долго уговаривал ее признаться.

Катя сказала наконец:

— Оно здесь в дупле.

— Так ты взяла? — спросила тетушка.

— Я.

— Куда же ты его дела? Где дупло?

— Вот здесь... в том дупле.

Ее развязали, и дядя сам повел ее к дуплу.

В дупле кольца не было.

— Я его повесила на эту ветку. Оно не упало ли?

Все нагнулись и поискали, кольца не было. Тетушка, справедливо думая, что она слишком устала и напугана, велела отвести ее в девичью, обмыть, накормить и успокоить, а потом опять попробовать допросить.

Все было исполнено. Когда Аленушка снова стала склонять ее к признанию и вывела ее на заднее крыльцо, чтобы быть с ней наедине, Катя сказала ей, что прежде она все лгала, а что кольцо спрятано на острове. Алена пошла с ней туда; но едва только поравнялись они с круглой сажалкой, как девочка кинулась в сторону, вихрем понеслась к калитке, отворила ее, через луг, и в рощу!.. Алена давно лежала на куртине, зацепившись за кочку в ту минуту, когда хотела броситься за беглянкой.

Опять волнение. Но с фонарями не поехали, не знаю почему. Один мужик приходил сказать, что видел ее на большой дороге, а куда она шла, не знает. В этот же вечер, вскоре после того, как Катю отвязали от дерева, наши девицы уехали к соседке-вдове, за три версты, к той самой, у которой были накануне пропажи кольца. Соседка шутя сняла с руки Веры кольцо, и, болтая и прогуливаясь, все три забыли об этом и не вспомнили и по возвращении.

Все были поражены, когда во время ужина барышни воротились и объяснили загадку.

— Зачем же эта негодная звезда взяла на себя? — воскликнул дядя Петр Николаевич.

— Очень ее запугали,— возразила тетушка,— глупые девки сказали ей, что ее высекут, если она не признается. Снофиды этакие дурацкие!

На следующее утро часов в восемь отыскал ее лихой казачок наш в крестьянских коноплянниках. Он уже гнался за ней, когда она повернула в конопли. Он влез на овин, увидал ее, спрыгнул и схватил.

Ей не сделали ничего особенного, только остригли косу.

Года через полтора она стала очень опрятной девочкой, весьма заботливой, веселой и услужливой: тогда ей приказано было играть со мной. Особенно ясное впечатление оставили во мне наши игры в длинные зимние и осенние вечера в нашей длинной зале, где пол был так блестящ, а лампы в углах так весело сияли. Тут Катюша строила крепость из стульев по моему указанию; мы мир-

но и по очереди возили друг друга в тележке, играли в кухню и сражались с неверными. Руководствуясь одной картинкой, которая казалась мне очень изящна (она изображала девочку на столе и мальчика у стола), я сажал ее на стол в темной классной и сам, ставши у стола, целовал ее руки, говоря, что есть такая история. Никто не узнал нашей тайны.

Но больше всего утешала меня Катюша, когда я был слегка болен. Простудишься, положат тебя в спальне у тетушки на постель. Занавески на окнах спущены; в углу золотые образа; перед темными неземными лицами горит лампада; в комнате так много вещей, так тихо, тепло и волшебно. За стенами слышен орган, а Катюшка стоит на коленях у кровати моей и говорит мне сказки, или о деревне что-нибудь рассказывает, или задает загадки.

— А угадайте, душенька, что это такое: у нас, у вас поросеночек увяз?

Я молчу.

— Это значит мох. А это: гляжу я в окошко, идет маленький Антошка,— это что? Это дождик.

Зато же и заступался я за нее. Буйный Федька любил ее бить как попало, где только встретит. Схватит, начнет ей руки назад ломать или просто повалит ее на землю и приговаривает:

— Постой, вот я тебя бахну! постой, вот я тебя тарарахну!

Беда была Федьке, если я заставал его в такую минуту! Так и кинусь сзади его душить, за волосы рву, за что попало; раз укусил, раз поленом из каминной корзинки по спине ударил. И она между тем оправится, вскочит и на него. Тогда уж он бежит от нас.

VII

Сегодня воскресенье; около полудня я надел дубленку и пошел гулять. Время было тихое и не холодное. Все небо было сплошное серое, и мокрый, крупный снег падал тихо. Я вошел в рощу... Боже! какая тишина! Ни шелеста, ни голоса. Деревья покрыты снегом, и легкий снег не сыплется с них нигде; нигде не видно следов, не слышно жизни! Чем больше прислушивался я, не дви-

гаясь сам, тем величественнее становилось молчание. Я вышел опять на дорогу. Приходской пятиглавой церкви нашей на полдневном горизонте за снегом не было видно, но слышался дальний и тихий благовест. Вдали по дороге между вешками тихо ехал мужичок в дровнях... никаких красок не было в этой широкой картине... Белые поля, белые березы, черные сучья, темные острова далеких деревень... Только за мною на близких избах и овинах Подлипок солома была желта, да наши неувядаемые ели синелись из саду. Около этой рощи, 20 лет тому назад, в морозный полдень, неслись мы на четырех тройках с колоколами. Сани были полны молодых девушек и женщин; мужчины стояли сзади, лепились на облучках. С хохотом бросались молодые люди на встречных мужиков и опрокидывали их дровни в глубокий снег. Брат мой, гвардеец, был тогда в отпуску, и он-то придумал эту забаву. Бабы кричали, просили или смеялись; но один старый мужичок, одиноко влачившийся, как тот, которого я видел сегодня издали, упал ничком и потом, не сказав ни слова, встал, серьезно поглядел на нас, отряхнулся и продолжал свой путь. Как ни веселились в этот день и в следующие за ним дни, но грустный старик еще не раз лежал ничком передо мною!

Я сказал, что тогда был в отпуску мой покойный брат. Тогда я любил его. При нем я в Подлипках удалился на второй план: при нем я уже был лицо будничное, шалун, который часто надоедал всем. С тех пор, как я стал себя помнить, брат уже был в корпусе, и мы раза два совершали с тетушкой уже очень давно полуволшебное путешествие в далекий Петербург. Из черной ночи блестят до сих пор передо мной огни станций с какими-то новыми именами, к которым я тогда жадно прислушивался... Валдай, где приносили колокольчики и баранки; Клин, где вечером под стеклом блистало столько великолепных тульских вещей; Торжок с пестрыми туфлями, ермолками и сапогами; древний Новгород, где жил Рюрик; Померания, Подсолнечная... Какие имена! Фонари у дилижансов, мрачные лица закутанных высоких незнакомых пассажиров — все это нравилось мне, и все это соединялось с мыслью о добром брате, который нас ждет. Днем я помню огромные поля — пустые, болотные, туманные; огромные коряги и пни рядами стояли на них. Не черные

ли чудовища это ждут чего-то на этих полях? Не начнут ли они борьбу? Здесь я вижу их мельком, а в Подлипках осенью слышу их вой... Мы пронеслись мимо... В карете тепло, и в городе ждут нас великолепные дома с огромными окнами, ряды вечерних фонарей, веселая квартира и милый, хотя и мало знакомый брат... Он водил меня гулять, показывал мне картины и дорогие вещи в окнах на Невском; тогда он, не боясь мороза, шел по улицам в солдатской шинели, и султан его так высоко качался на кивере; когда он выбегал к нам в приемную корпуса из толпы жужжащих под лампами товарищей или молодецки делал фронт офицерам, я с любящим, робким вниманием следил за каждым его движением, а он обращался тогда со мной осторожно, как с какой-нибудь хрупкой и ценной вещью; внимательно сажал меня к себе на колени, с любопытством рассматривал мои шелковые рубашки, гладил мои кудри большой солдатской рукой и с почти подобострастной веселостью выслушивал все мои рассуждения. Но вот прошло два-три года, и в одну зимнюю ночь приехал он в Подлипки гвардейским прапорщиком. Проснувшись утром, вскочил я с постели, наскоро одевшись, выбежал в залу и увидал его за чайным столом. Я был поражен его видом. Молодой, с чуть завитыми небольшими усами, русый, румяный, голубые глаза, так шутливо и лукаво добрый... Вот он сидит передо мной... На нем пестрый казакин с турецкими букетами и с синими бархатными отворотами, вышитая золотом и шелками черная феска, немного набекрень. Одна рука, лихо изогнувшись, оперлась на ляжку, другая держит длинный чубук с янтарем. Все ожило, все зашевелилось в тихом доме. Вера одевалась по-праздничному с утра, люди охотнее плясали в нарядах на святках, беспрестанно звучало фортепиано. Сама тетушка иногда совсем опустит сонные глаза, губа отвиснет, сидит себе в креслах и постукивает табакеркой; но как только брат войдет, так она сейчас откашляется громко и бодро, как будто ей легче жить станет. Подумаешь, она что-нибудь хочет сказать, но она только выпрямится и посмотрит на брата.

Закипело все! Соседние помещики, полковые, уездные чиновники десятками стали ездить к нам и жили по двое, по трое суток. На дворе мороз, а мы уже с утра летаем на тройках туда и сюда; крик, катанье на горе, веселье,

смех, обеды при свечах, звон разбитых бокалов... Вот уже и в окнах темно, хоть глаз выколи, в крайней избе за ракитами догорает огонек, а здесь музыка... Огромный городничий, старик с седым хохлом, дремлет в углу, двигая чубук из одного угла рта в другой; я смотрю на него и не верю, что он бился как лев в 12-м году. Жена его, старуха, улыбаясь танцует мазурку в белом платье с розовыми бантами; тот гремит каблуками и заставляет дам летать вокруг себя; другой крутит ус и, взявши под руку брата, шепчет ему: «Душа моя, высвистнем вместе!» К обеду идут попарно; тетушка ведет под руку даму в большом чепчике с пунцовыми бархатными лентами. Какой знатной, блестящей дамой казалась тогда эта спутница тетушки! Я долго не мог забыть ее лент; позднее я узнал, что она вовсе не так знатна и даже так дурна, что муж ее в день свадьбы долго ходил в халате по зале и говорил, ударяя себя по лбу рукой: «Боже, чем я Тебя прогневал? какой тяжкий грех совершил?»

Шумно проходят дни; их сменяют другие, потише, погрустнее; но в однообразии теплеют чувства. Брат влюбляется в Верочку, Верочка в брата. На лестнице вечером, под конец святок, вижу я однажды молодого турка в чалме из белой материи; он обнимает на площадке русскую девушку в голубом сарафане; она отвечает ему поцалуями, и долго стоят они неподвижно, обнявшись... Я смотрю сверху, притаив дыхание.

— Ангел мой! душка! — шепчет турок.

— Пусти меня, милый мой, пусти меня...

— Ангел мой еще раз!

— Еще... вот еще... Вот еще... Ты сам ангел...

А я, легкомысленный профан, я кричу:

— Сладкие губки, сладкие губки у Верочки!

Меня умоляют молчать, дают мне все, что я хочу, конфет, шелковый платок, книжку с картинками. Я молчу дней пять; но вот в одно утро нападает на меня вольнодумство. Брат ходил с трубкой по зале, а Верочка в классной учила меня по-русски и священной истории; я был разговорчив и в книгу мало смотрел.

— А что, Верочка, Бог везде? — спросил я.

— Везде, везде,— отвечала она, грустно покачав головой и подняв глаза к небу.

— И даже в этой коробочке есть?

— Конечно, есть; полно глупости говорить, учись!

— И Он все, все решительно видит?

— Разумеется, все.

— А как брат тебя целовал, Он это видел? — Вера покраснела.

— Как стыдно! — сказала она,— учись.

— А эту царапинку на руке у меня Он видит? Вот я болячку сковырну, Он и не будет видеть.— Вера с ужасом схватила меня за руку.

— Не трогай,— закричала она,— Бог тебя накажет, и рука отвалится.

Руку я оставил, но просил Веру представить зайчика. Зайчика мы часто представляли. Пока я учился или списывал что-нибудь, Вера иногда рисовала, и, если ей надоест моя грамматика, она возьмет, бывало, тарелку с красками, наведет ее на солнце, светлое пятно начнет мелькать по стенам. Я схвачу тряпку, скомкаю, намочу ее и начну пускать изо всех сил в зайчика; бью в стену и в мебель грязной тряпкой, даже себя в лицо, когда свет попадет на него. А Вера катается со смеху по дивану. Этого-то зайчика требовал я от нее. Но Вера не согласилась и, подозвав меня к карте, стала спрашивать у меня из географии.

— Где Гвадалквивир?

— Ты сама не знаешь; покажи, где Гвадалквивир?

— Вот он,— отвечала Вера и положила всю руку на Испанию.

— Положи еще другую руку; это и я умею!

— Боже мой, что с ним делать? — жалобно сказала Вера, вышла в залу и позвала на помощь брата. Он грозил пожаловаться тетушке, и, когда я отвечал ему: «Не смеешь, а то я скажу про лестницу!» — брат схватил меня за ухо.

На крик мой все сбежались: тетушка, Аленушка, Клаша, мадам Бонне, и я все рассказал им... Вообразите вы себе теперь кучу удивленных лиц, аханья, объяснения и спор, слезы Веры, досаду брата и мой собственный стыд!

Еще проходят дни. Тетушка сидит у окна, брат стоит задумчиво у печки, изредка вынимает платок и утирает глаза. На дворе смеркается, и бубенчики гремят у крыльца. Вот еще раз простились; он ничего не сказал мне

обидного или сурового, крепко поцаловал и вышел в прихожую. Вот он сел, закутанный, в повозку; чуть бряцая, съезжает тройка со двора — и брата уж нет.

— Какой он чувствительный! — говорит тетушка Алене. — Вчера ночью пришел ко мне, схватил себя за голову и говорит: «Как, говорит, я страдаю!»

— Добрая, добрая душа...— отвечает Аленушка.

— Да что ж делать? — продолжает тетушка,— ведь никак нельзя!

— Нельзя, нельзя,— отвечает Аленушка.

Я желаю узнать, что «нельзя», но меня прогоняют; я ищу Веру. Забившись в темный угол, рыдает она на диване, и около нее плачет меньшая сестра. Я хочу обнять бедную Веру, но она отталкивает меня тихо рукою и говорит так кротко:

— Бог с тобой! Бог с тобой, Володя!.. Это ты все наделал...

Все темнее и темнее в окнах; уж и елей в виду не видать; Вера все плачет в углу.

— Кавалер-барин! — кричит мне Федотка-дурак, махая смычком.

— Сыграй мне барыню, Федотушка, а Федотушка!..

— Барыню? Вот она.

Слушаю барыню, а на сердце так и ноет, так и ноет... От музыки еще хуже. Скорее в постель, и слезы ручьем!

Опять бегут будни за буднями, такие беззаботные, тучные какие-то. Новая весна с первыми вербами, с перистым листом тысячелистника на влажной земле, с молодыми березками в Троицын день; лето с ягодами и грибами; новая осень с визгом невидимых чудовищ в опустошенных полях; зима, мороз, и волки где-то вдали. А я расту. Вот уже мне 10 лет; я уже с разбором веду войну. Летом хожу издалека. Сперва я дикий, живу на кургане посреди сажалки и иду на войну; беру шалаш на огороде, беру два мостика через ров и мрачный яблочный сарай. Роздых; там опять за дело. Уже я близко подошел к столице, я вижу — крайнее окно розового дома выглядывает на меня из-за огромной груши. Почти жаль, надо продлить наслаждение. Сперва возьмем сушильню! Кровопролитие ужасно. Красным соком ягод покрыто мое лицо и руки. Пять раз был я отринут, раз или два падал с лестницы; рот у меня заболел от крика, стрельбы и

команды... Но еще, еще усилие — и мы ворвались! Женщины, дети и старики молят меня о пощаде... Пусть молят — я незаметно для самого себя просвятился дорогой; я срываю ветвь и в венке, безоружный, выхожу на балкон сушильни говорить речь народу. Я не произношу ни одного звука; но поза, жест и взоры говорят как бы более слов. Весело, гордо и миролюбиво подняв голову, гляжу я на задний дворик, где растет крапива, клохчут индюшки. Глядишь, глядишь — гордость пройдет, голова опустится, сядешь тут же на балкон и задумаешься, что-то будет со мною? Исполнит ли Бог мои молитвы?

Годам к 11-ти я принужден был оставить Подлипки. Дядя Петр Николаевич однажды приехал к нам, и, дня через два после его приезда, меня призвали к тетушке в кабинет. Марья Николаевна плакала.

— Дружок мой,— сказала она,— дядя хочет заняться твоим воспитанием. Благодари его...

— Да, брат Владимир,— прибавил дядя,— пора шалдыбалды бросить! Поезжай-ка со мной...

Что было дальше, не знаю. Знаю только, что память моя сохранила впечатление страха и радости. Тогда ли, в другой ли раз, стоял я у притолки зальных дверей и, быть может, не запомнил бы ничего о тогдашнем состоянии моего духа, если б Вера не сказала кому-то, указывая на меня:

— Посмотрите, какой он хладнокровный и не плачет, как следует мужчине.

Но во мне уже не дремало тщеславие. Я рисовал себе с блаженством, как я живу в губернском городе, как блистаю. Все это было смутно: только одна несбывшаяся картина будущего жива во мне до сих пор. Передо мной театр губернский. Что дают — я не знаю. Да и на что мне это знать? Смешанная прелесть красок, музыка, толпа везде — и под ногами, и рядом, и наверху, как в том цирке, в который возила меня тетушка в Петербурге... В том волшебном цирке я видел Турньера, и Нимфу на яркой зелени занавеса, и Пьерро, и Арлекина, и наездницу в голубом платье, которая сверху мне показалась так мила, что я тут же, бросившись на шею тетушки, объявил ей о своем намерении жениться на этой красавице. Тетушка отвечала: «Ах, батюшки мои, да она урод. Помилуй! красная, толстая девка!» Неясное подобие такой

картины носилось передо мной; но больше всего занимало меня то, как я буду одет. На мне будет коричневая куртка или черная бархатная; волоса в кружок, но не по-русски, а так, как у пажей, молодых рыцарей и принцев, с которыми ознакомили меня la Chatte blanche, le Chat botte[1] и т. п. Я видел даже, что я то лорнирую кого-то, то склоняюсь к кому-то в ложу и говорю игриво, и все смотрят на меня и снизу, и с боков, и сверху; все спрашивают: «Кто этот charmant garçon»[2] — «Это племянник вице-губернатора»,— «Quel délicieux garcon, n'est-ce pas?» — «Oh oui, il est ravissant!»[3]

А после что? После я военный, я женат, я иду с женою под руку. О, конечно, я военный! Я не мог понять, как люди могут быть статскими; статского я воображал себе не иначе как в виде уездных чиновников наших или в виде доктора, который ездил к нам иногда. Он был гораздо меньше дам, с которыми танцевал, и смотрел на них снизу томными голубыми глазами. И таких статских, которые могли удовлетворить моему чувству прекрасного, я знал только двух: дядю Петра Николаевича и одного родственника его, г. Ржевского. Но они оба были отставные, и в осанке их, в молодцеватости, в усах я видел ту самую высокую печать, которую желал бы со временем носить на самом себе. То ли дело военный! На настоящую войну, положим, не нужно... Зачем губить людей? И с кем сражаться? С французами? жалко: все эти Альфреды и Альфонсы такие славные молодые люди; я с ними по разным книгам даже короче знаком, чем с своими Николаями и Иванами; у них есть тоже матери, тетки, они будут плакать! Гораздо лучше в Петербурге маршировать по Марсову полю с саблей наголо, в белых панталонах с красными отворотами или с гусарским полком нестись марш-маршем.

Решено: я военный и иду с женою под руку. Удалившись в свою комнату, я бросился на колени перед образом и поклялся Богу быть безгрешным до женитьбы, не позволять себе никогда до брака тех ужасов, о которых случайно последним летом я слышал в роще от нашего

[1] Белая Кошка, Кот в сапогах.
[2] Прелестный молодой человек.
[3] «Что за восхитительный молодой человек, не так ли?» — «О да, он очарователен!»

отчаянного Федьки. «Какая страсть, какой грех!» — подумал я, приникнув лицом к дивану.

— Милый Бог! — воскликнул я наконец, — пожалей меня... Я клянусь никогда не грешить, пошли мне только счастья! Я ведь добр, очень добр... Дай мне, Боже, счастья: ни одного бедного без помощи я не оставлю!

Однако настал и час разлуки с Подлипками. Аленушка подошла обувать меня поутру и вдруг заплакала.

— Дай мне ручку: я поцалую, — сказала она мне. Я подал руку.

— Дай мне ножку, — сказала Аленушка. Я протянул ей еще не обутую ногу: она ее со слезами поцаловала; потом сам я подал ей другую руку и другую ногу. С барышнями, с Пашей Потапович, с Катюшей я едва простился. Тетушка и мадам Бонне сильно плакали, когда нам подали карету; но я не пролил почти ни одной слезы.

И вот мы сели с дядей в дормез; почтовый шестерик помчался, и скоро мне стало и жалко и жутко. Я молча прислонился к углу и вздыхал. Лошади скакали шибко по грязи; ямщики кричали. Дядя посмотрел на меня.

— Что же ты, Владимир, молчишь? Не грусти. Я тебе подарю верховую лошадь и полуфрак отличный сошью. Только учись. Неверных разбивать и брать крепости полно — учиться надо! Боишься ты меня, а?

Этот вопрос был сделан с таким веселым лицом, как будто дядя был рад, что я его боюсь.

— Да как вас не бояться! Все говорят, что вы строги.

— Кто же это все?

И дядя опять весело посмотрел на меня.

— Я не могу сказать вам этого. Нельзя все говорить.

— Отчего нельзя?

— Свет стоит на политике, — заметил я.

Дядя рассердился.

— Вот уж и сморозил чушь! Терпеть не могу, когда ты понесешь ерунду. Свет стоит на политике! Как противно! Уж лучше низвергай неверных, Иерусалим бери, а не говори глупых фраз, которых ты не понимаешь. От кого ты слышал эту глупость?

— Тетенька Марья Николаевна так говорит! — отвечал я с достоинством.

Дядя улыбнулся, откинулся в угол и сказал:

— А! Ну хорошо. Вперед не повторяй, что не понимаешь, карандаш ты этакий!

Дня три мы не останавливались, скакали под дождем и по грязи и приехали вечером.

VIII

Я могу не иначе вспомнить Настасью Егоровну Ржевскую, как уходящую в коридор из залы в синем марселиновом платье с белыми клетками, с гордо закинутой назад головой.

Подумаешь, Настасья Егоровна была горда? О, нет! Я, будучи лет семи-восьми, даже спросил у кого-то: «Отчего это Настасья Егоровна, когда одета получше, так у нее и манеры другие станут?» — и мне ответили: «Оттого, мой друг, что Настасья Егоровна дома всегда ходит в капоте, а когда наденет корсет, так ей неловко!»

Удивительные отношения царствовали в доме Ржевских! Ржевский, Дмитрий Егорыч, был красавец собой. И теперь еще висит в их деревне, на задней стене гостиной, портрет его в лейб-гусарском мундире. Красный ментик остался недоконченным; но лицо так и дышит счастьем сознательной красоты и молодечества; легкий черный ус чуть заметно, рыцарски закручен; карие глаза смотрят на вас улыбаясь и не без силы... А как он пел! Детская душа моя даже ныла, когда он пел: «Что трава в степи перед осенью» или «Le vieux clocher de mon village, que j'ai quitté pour voyager»[1].

Посмотрели бы вы на него в последнее время: толст, отек, сед и грязен. Ваточное пальто, покрытое муарантиком коричневого цвета — и ни слова, ни слова!

Что он был за человек, не знаю. Но жену его я в детстве долго не любил. Зато позднее я стал ценить ее очень высоко. В мифологии моей она долго была Мегерой, хотя и ласкала меня охотно. Женщина она была почти одних лет с мужем, белокурая и статная, с насмешливыми нежными чертами и надменным лицом; взбитые локоны и безукоризненно изящная, хотя и небогатая одежда.

[1] «Старая колокольня моей деревни, которую покидал я, отправляясь в путь»

Люди в доме трепетали ее. У них была всего одна дочь, годом старше меня. Сонечка взяла силу выражения и мелкие черты у матери, а цвет волос и глаза у Дмитрия Егорыча.

Она была в институте, а я у дяди Петра Николаевича, когда произошел между родителями ее разрыв. Дмитрий Егорыч был удален во флигель... Ржевская вдруг зимой, в метель и мороз, приехала к дяде Петру Николаевичу, и тогда я узнал кой-что об них. Но вы ничего не поймете, если я дам волю разброду мыслей и не расскажу основательно, какая связь была между Ржевскими и Петром Николаевичем.

Петрушке было 15 лет, а мне 11, когда дядя взял меня к себе.

Марс изменил мне. Негодуя на раны, болевшие при перемене погоды, он отдал сына в «правоведение», готовил и меня, как братнина сына, туда же и в завещании, открытом по смерти его, умолял Петрушу не быть никогда военным. Осмотрительный Петруша охотно согласился быть покорным сыном.

После глубокого добродушия, милости, баловства Подлипок, мне показалось тяжело у Петра Николаевича.

Взял меня дядя от тетушки и привез прямо за 400 верст в тот город, где служил вице-губернатором. Жену его, тетушку Александру Никитишну, я уже знал немного. Она раза два на короткое время приезжала в Подлипки, во время моего раннего детства. Приехали мы вечером, кажется, в августе. Город был мало освещен, а дом вице-губернатора еще меньше.

Дядя тотчас же пошел куда-то за слугой, который светил ему, а я остался в большой темной зале, с одной восковой свечой на столе. Три люстры в белых чехлах... ночь кругом... На мрачных стенах мрачные, глубокие картины, с пятнами посветлее там и сям.

Дом был на набережной реки, и я, подойдя к окну, увидел не огни и строение, а небо, уже темное, и черную тучу на краю. В звонком доме во все время хлопали двери. Наконец внесли лампу, а потом вошла тетка в малиновой бархатной кацавейке, обшитой горностаем. Тут в первый раз стало ясно мне, какое у нее лицо. Она была высока ростом и очень худа; румянец груб и багров. Взгляды я еще плохо тогда умел различать, но, кажется,

ее взгляд был беспокоен. Она поцеловала меня и, взяв мою руку холодной и влажной рукой, повела через коридор к Петруше, который был не совсем здоров и лежал в постели.

Двоюродный брат принял меня не то чтобы сухо, а просто, как умел, вяло.

Я облокотился на стол и не сводил с него глаз. Он тоже смотрел на меня.

— Вот два козла! — сказала тетка,— полноте казокаться... Познакомьтесь. Я вас оставлю одних.— И ушла.

— Vous fréquentez beaucoup?[1] — спросил Петруша грустно. «Боже! какой срам! Что это значит «fréquentez»?[2] В первый раз слышу это слово».

Я переспросил:

Опять: «Vous fréquentez beacoup» (какова же была моя досада, когда на другой день, спросив перевода у тетки, я узнал, что сам Петруша сделал ошибку, забыл прибавить *кого!*)

Я онемел на секунду, вспомнил о том, что он из столицы, а после сказал робко: «Не понимаю!» — Петруша сказал: это значит ездить в гости.

— Да,— отвечал я,— я часто...

Потом Петруша показал мне два игрушечные графинчика, один с малагой, а другой с квасом, один синий, а другой малиновый, прибавив, что зеленое стекло дороже всех, потому что в него кладут золото, и незаметно перешли мы к чему-то другому; к чему — не помню... а помню только, что Петруша рассказывал, как раки едят рыб и хватают их за морду клешнями.

— Вот так и схватит! — сказал он, схватив себя за подбородок двумя пальцами.

И что это? скажите. Интерес ли рассказа или какое-нибудь периодическое возвышение впечатлительности в моей душе — только фигура его в эту минуту раз навсегда неизгладимо озарилась передо мною точно так же, как фигура Настасьи Егоровны, без корсета, но с гордостью ушедшей в коридор. Так и умру, не забыв его голубого шлафрока, кровати с занавесом и лица его, немного калмыцкого.

---

[1] Вы много бываете?
[2] Бываете, посещаете.

Вечер кончился грустно. Терентий, усатый дядька, которого Петр Николаевич еще в Подлипках приставил ко мне, на последних станциях был пьян и раздражал дядю.

Когда посредине темной и прохладной залы был накрыт стол на три прибора и я шел за супругами ужинать, я заметил, что дядя, ведя под руку жену, что-то шептал ей и пожимал плечами.

Из залы послали за Терентием. Тетка села к столу. Терентий явился, а дядя, вдруг сжав кулаки, подошел к нему и громовым голосом закричал: «Пить?! Бестия, каналья!.. Пить?! Срамиться с вами везде? А?»

Терентий молчал.

— Ах ты, пьяница, вор!

— Помилуйте, ваше превосходительство, мы не воруем...

— Мы! мы! Кто — мы? Ты пьяница, скот! — И дядя так сильно ударил высокого Терентия в лицо кулаком, что тот едва устоял на ногах.

Дядя хотел повторить, но тетка сказала: «Ну, что это?..» И дядя, крикнув только «вон!», вернулся к столу.

Он улыбаясь сел около жены, которая печально пригорюнилась у прибора, поцаловал ее руку и, смеясь, пожаловался ей, что при ударе ушиб себе палец своим же алмазным перстнем.

После ужина бедный Терентий повел меня наверх со свечой по широкой и темной лестнице. Я увидел пустую горницу, с белыми стенами, простые ширмы и одинокую кровать свою, без коврика у ног, как бывало дома.

Мне стало очень грустно. Я протянул Терентию ногу, чтобы он снял сапог, и спросил его: «Ну, что, Терентий?»

Он молча кивнул головою и указал на окровавленную верхнюю губу, рассеченную алмазным перстнем.

Я содрогнулся, лег и взглянул с постели в близкое окно; длинная черная туча над бледной закраиной далекой зари не уходила.

Вскоре и Терентий лег около меня на войлоке и загасил свечу; но долго слышал я, вздрагивая в первом забвении полусна, его вздохи и шепот молитв...

Тогда настали дни один однообразнее другого. Многое между тем поправилось в моем внешнем быту.

Петруше на другой день было лучше; он сам желал видеть меня в своей комнате, и меня перевели к нему; когда же брат уехал в Петербург с дворецким, назначенным ему в провожатые, — я остался полным хозяином его удобной и веселой спальни.

У дяди я прожил подряд пять лет, от 11 до 16 лет.

Тетушка называла дом их склепом — и не напрасно.

Скоро узнал я тайную отраву дядиных дней — узнал, что кольчуга воинственности и аристократизма, перед которыми я не мог не склоняться, была пронзена во многих местах. Шире и неисцелимее других была одна рана — душевная болезнь жены.

Вероятно, в долгих шептаниях и толках с глазу на глаз тетушки Марьи Николаевны с дядей и другими не раз изъявлено было опасение за меня: как я буду жить в доме умалишенной женщины? Отпуская меня, мягкая воспитательница моя обливалась слезами и после говорила мне, что решилась отпустить, только понимая, как может быть полезен мне человек с таким весом, характером и такими связями, как Петр Николаевич.

Но и тетушка Александра Никитишна не была дурная женщина. Она любила меня. Но как неприятна была ее ласка! Как странно, что-то отталкивало меня от нее! В пять лет я не мог привыкнуть без отвращения целовать ее влажную руку.

Безумие ее было временное и для людей не вредное прямо; только оно было разорительно для дома. Руки ее сокрушали все в эти дни. Турецкая шаль в несколько сот рублей летела в камин; жемчуги бросались в окно прохожему. Она брала также ножницы и разрезала по целому бархат и сафьян диванов.

Иногда сидит со мной в гостиной и шьет молча; я что-нибудь делаю тоже; все тихо... Вдруг тетушка схватывает иглу и вкалывает ее себе в лоб... Если шьется или вышивается что-нибудь небольшое и нетяжелое, оно висит на игле, а Александра Никитишна хохочет.

Если ей старались помешать, она выходила из себя, бранила мужа и кричала раздирающим душу голосом.

Напрасны были строгие взгляды Петра Николаевича, напрасны его увещания — то кроткие: «Саша! Саша, мой друг! Успокойся!», то нетерпеливые: «Александра Никитишна! будет ли конец этому?» Напрасен даже крик его:

«Тише! Тише! В спальню! На кровать! К себе! Тише!»

Впрочем в обыкновенное время дядя был не только кроток с женою, но и любезен с нею.

Бывало, в эти дни мрака (а мрак длился шесть недель и два месяца!), ходит он задумчиво по длинной зале, заложив за спину белые руки с алмазным перстнем

Не спасли его ни сан, ни шестерики рьяных коней, пленявших весь город, ни походка величавая, ни кресты и звезды, ни благоухание усов и завитки волос на благородном челе!

Ходит ходит а я сижу и смотрю в окно, не смея вымолвить слова

Я не знал, кого жалеть, тетку или дядю. и сначала от страха, а потом от отвращения к их мрачному образу жизни не жалел никого

По многим источникам имел я случай убедиться гораздо позднее, что отношения дяди моего к госпоже Ржевской были когда то глубже обыкновенной приязни Раненый, богатый, красивый и молодой генерал задумал жениться и приехал в Москву искать невест. У г Карецкого были три дочери старшую звали Евгения, вторую Александра, третью, кажется, Анна. До третьей нет нам дела. Тетушка Марья Николаевна умела рассказывать об этой свадьбе довольно смешно.

В Москве была тогда, mon cher, одна сваха из благородного звания. Мы ее звали дама сваха. Какой был вид авантажный! Она состряпала все Приезжала раз к брату а тот в халате, только что умылся. Ты знаешь его щеголеватость халат превосходный. Человек сказал было ей, что барина дома нет, а Петр Николаевич сам вышел в двери и говорит, что для дам он всегда дома, принял ее в халате. Ну, подумай хорошенько, какая это дама? Карецкий, старик, имел низость доверить ей. Развратный старикашка! Зато Бог и наказал его: три года без задних ног валялся!

Дяде нравилась воздушная Евгения, она была гораздо умнее, танцевала лучше, умела лучше одеваться Дама сваха и развратный старикашка устроили за него Александру Но дядя, видимо, продолжал глубоко уважать сестру жены. Я не хочу злословить, и все доказательства в пользу того, что дружба их была безукоризненна, что в этом деле они были высоки, несмотря на побочные

дела — на рассеченную губу Терентия, на домашнюю суровость Ржевской, которая, быть может, тоже... Знаете — старшие наши умели искусно мирить в себе два разнородные мира...

Внезапный приезд Евгении Никитишны поразил всех. Не прошло и двух часов, как в кабинете дяди, где заперлись обе сестры и Петр Николаевич, раздались громкие рыдания, и тетку Александру Никитишну вынесли на руках муж и слуга. Она была в обмороке.

Встретив несущих в зале, я взглянул на сестру ее, которая шла сзади. У нее глаза тоже были красны, но я уловил на лице ее такое выражение презрения и гнева, что никогда его не позабуду.

Верстах в полутораста от наших Подлипок течет несудоходная река. Лесистые берега ее попеременно возвышаются то по ту, то по другую сторону, и перед одним из сосновых участков стоит боком к реке большой дикого цвета дом. С обеих сторон, редея, выбегают полукругом ели и сосны из сплошного леса, покрывшего поле за домом.

Пониже, в беспорядке, широко расстилаются барские огороды, а еще ближе к реке смотрят снизу на барский дом избы дворовых семейных людей. И там живут! Там развешан невод, там к раките у избы прислонена рыбачья сетка на длинной палке; разноцветное белье сушится на плетне. Река течет, вдали ревет чужая мельница, а за рекою луг, где летом мальчики разводят на ночную огни. Ширина, зелень и сила везде! Здесь, по сю сторону, с левого бока, за покинутой и разрушенной псарней, поднялись четыре изящные ели, и новый сруб виден под сенью их. Там, по ту сторону, за лугом, небольшая дубовая роща, и сам луг иногда целыми полосами кажется розовым от густого клевера. Почтовые колокольчики звенят вдали невидимо; над балконом, обращенным к этой картине, носятся с пронзительным криком стрижи.

Евгения Никитишна шла замуж, говорят, по склонности; и хотя брак их состоялся так скоро после брака моего дяди, что ей, влюбленной в Петра Николаевича, конечно, не было возможности перенести вдруг все чувство на жениха. Но не нравиться, как муж, Дмитрий Егорыч, при своей красоте и тогдашней любезности, едва ли мог. И она скоро страстно привязалась к нему.

Тетушка Марья Николаевна умела и про молодость Ржевских рассказывать так же хорошо, как про безбожника Короваева, и про отца Василия, и про даму — сваху. Она говорила, что, приехав к ним в первое время их супружества, она нашла их в цветнике, гуляющих вместе, и была поражена их блаженством и красотою обоих.

Я поздно узнал красоту лесистого берега, где протекли их медовые годы; но теперь уже дом, река, цветник и лес слились для меня в одно с Евгенией Никитишной в белом платье и в красной турецкой шали, в которых увидал я ее в первый раз, будучи ребенком.

О муже я уже сказал вам, как он был хорош.

Было одно таинственное место у них в деревне: на нем остались уже одни гряды когда-то росшей здесь клубники да кирпичи фундамента. На этом месте стояла прежде теплица; в теплице жил садовник Яков; Яков любил молодую прачку. Барин тоже обратил на нее внимание; но она не польстилась на барские слова. Ржевский решил сослать ее куда-то за дурное поведение, за связь с садовником. Но Евгения Никитишна узнала все.

Она давно уже замечала беспорядочное его управление. Недовольная продажей другого имения, она желала сохранить пристанище для себя и приданое для дочери. Имение, описанное мною, принадлежало ей, а его едва было не продали с аукциона. Тогда-то Ржевская приехала к дяде. Дядя заплатил долги Ржевских; он поехал с нею в ее деревню, и какие у них были толки с мужем, никто мне не передал. Евгения Никитишна с этого дня взяла все дела в свои руки, а за историю с прачкой перестала быть женой Дмитрия Егорыча и даже удалила его во флигель.

В течение пяти-шести лет обратился Ржевский в тучного ипохондрика. Дочери было 17 лет, когда ее взяли из института и когда я познакомился с ней. Но разговор об ней отложим.

IX

Несмотря на строгую скуку вице-губернаторского дома, я созрел в нем не только годами, но и опытом. В первые три-четыре года я много прочел и кое-как мирил в се-

бе мечты с действительностью. Я мало помню живого из этого спокойного и скучного времени. Не знаю даже, как назвать эту эпоху моей жизни, переходною или нет. Хотя я думаю, что всякая пора в жизни переходна, по вопрос здесь тот, на чем следует больше остановить ваше внимание — на том ли, что игры перестали забавлять меня, что мечты о военном блеске сглаживались тогда мало-помалу принужденным одиночеством, размышлением и чтением, которое начинало сильно занимать меня; на том ли, что светлые и холодные мечты детства незаметно уступали место теплоте и грусти, сознательным мыслям о женщинах, о возможности взаимной любви, о Павле и Виргинии... Или, вглядываясь, насколько можно, во внешний свой образ, видеть, как мало было во мне тогда яркого, как мало драмы проявлял я тогда волею и неволею... Личность моя этого возраста, когда я смотрю на нее теперь внимательно, ничем не бросается мне в глаза. Ряд бессвязных картин, не одушевленных ни чем-нибудь особенно горячим, но сложным и страдальческим, ни успокоительно-торжественным, которое не могло и существовать в эти неопределенные годы, — вот что я помню. Огромная крепостная стена с башнями и брешами, неясное воспоминание о 12-м годе, бродящее по старому городу... большие лужи за стеной и цветы, которые я рву на берегах... садик за домом дяди: много часовен, ворот с образами и церквей; иногда (не раз я это помню) звонили к вечерне в этих церквах, а я сидел в саду и слушал звон, и помню, что мне было хорошо, что меня приятно томило...

Жил я очень одиноко. В доме было просторно и богато, но безжизненно. Здесь уже не ходила тетушка в белом капоте с оборками в день святителя Мокия молиться об отвращении града от полей; здесь некому было закапывать под межевые столбики склянки с святой водой; здесь не крестили кукушку, не наряжались на святках, забывали про Троицын день украшать углы березками. Но зато здесь я выучился впервые принуждать себя; дядя запретил раз навсегда Терентию обувать меня в постели, приказывал рано будить, говорил по-своему о твердости и дворянской чести. Надобно заметить, что Марья Николаевна нарочно два раза приезжала к дяде в город, чтоб со мной повидаться. Всякий раз любовь моя ко все-

му, что жило и дышало в ее деревне, пробуждалась с новою силой. Но, кажется, этой-то любви и боялся дядя. И Марья Николаевна сама не соглашалась брать меня к себе на лето. Дядя не хотел, чтоб мои уроки прерывались, и та теплота, которой обдавало мое воображение при одной мысли о каком-нибудь дереве Подлипок, о собаке какой-нибудь, не говоря уже о людях, была, конечно, ему не по вкусу. Желая сделать из меня *человека,* он опасался добродушного растления Подлипок. Он говорил даже прямо об этом: «Я знаю, тебе хочется к тетке; да я не пущу. Сестра слаба, а я твоего отца любил и не хочу, чтоб ты сделался Митрофаном. Я лучше сына отпущу туда: тот флегма, а для тебя нужна ежовая рукавица!»

Сестра слаба! Какая презрительная мина! И это говорил тот самый дядя, который в детстве, по собственному рассказу, рыдал однажды на улице оттого, что уронил и разбил хрустальную игрушку, купленную им на последние деньги для Маши, для единственной сестры! Как ни страшен был иногда дядя, но я слышал в нем родную кровь и видел общие точки привязанностей; я упивался его редкими, любопытными рассказами о турецкой войне, о польской революции, о том, как он был проколон пикою и как над головой его занесена была сабля, как целую ночь проспал в луже и как сам главнокомандующий на другое утро ободрял его и угощал водкой с кренделями. Однажды мы вместе с ним гуляли зимним вечером по общественному саду; дорожки были расчищены, деревья в инее, а небо все в звездах...

— Видишь, как много звезд,— сказал он, остановясь и поднимая лицо к небу.— Как они хороши, как они блестят! И это все миры. И там, быть может, такие же люди, как мы с тобой... веселятся, тоскуют, хлопочут, умирают...

Сказавши это, он вздохнул, и мы пошли дальше.

Он все-таки казался мне лучшим лицом в доме. Тетка продолжала быть совершенно чуждою той поэтической струне, которая мало-помалу начинала озаряться во мне сознанием. Ничего, кроме пустых анекдотов и сплетен, от нее не услышишь; как попало одетая, в большом платке, едва причесанная, бродит она из комнаты в комнату, смотрит по окнам или схватит иногда роман, пробежит страницу и бросит.

Француз Ревелье, которого мне наняли, был неснос-

ный старик угрюмого нрава. Он ходил в синем фраке с медными пуговицами и в красном фланелевом жилете, почти ни на что, кроме пива, не издерживал денег, сам штопал себе платье и целые дни проводил в своей комнате. Войдешь к нему, воздух тяжелый, сам он сидит, читает Лагарпа или играет на флейте. Спросишь у него, что он больше любит, романтизм или классическую трагедию?

— Ah bah! j'aime tout ce qui est bon![1]

— Скучно мне, мсьё Ревелье!

— Vous me sciezle dos avec votre «скучно»! Tracez vous un cercle et ne sortez pas de lá![2]

С Петрушей мы не ладили. Он приезжал каждое лето из Петербурга, и всякий раз я был рад его приезду, как разнообразию, но всякий раз выходили у нас ссоры. Все мне не нравилось в нем: его аккуратное прилежание, его неразговорчивость, его физическая лень и вялость. Про него говорили, что он в «правоведении» ведет себя безукоризненно, и все профессора довольны им. А я своих учителей часто выводил из терпения: бывали минуты, когда я решительно не мог ничего понять. Я несся куда-то, смотрел в окно; в голове спутывалось все, урок с мечтой о славе, о любви и о войне, я не знаю еще о чем. Я глядел туманно на учителя и отвечал не то. И, несмотря на успехи в науках, которыми скромно гордился Пьер, я чувствовал, что я лучше его, умнее... Мы ни в чем не сходились. Сначала я еще любил воевать в саду, строил небольшие укрепления из кирпичей и брал их с криком, разбил однажды окно в хозяйской беседке и должен был, по приказанию дяди, купить стекла на свои карманные деньги. Пьеру такие забавы казались глупыми и скучными. Раз, вначале, он попробовал было взять саблю и пойти со мной; я был рад и предложил ему брать редут с правой стороны, пока я буду лезть слева. Он согласился, и мы разошлись. Вот я рвусь, бьюсь изо всех сил, машу саблею, стреляю из пушек, жалуюсь на боль, командую, борюсь и с громким «ура» взбегаю наверх! Петруши нет... Бегу через весь курган на правую сторону и вижу: мой правовед присел задумчиво на бревнышко и ковыряет землю саблею.

[1] Ах вот что! Я люблю все, что хорошо!

[2] Вы мне до смерти надоели с вашим «скучно»! Очертите себе круг и придерживайтесь его!

— Что ж ты? — кричу я.

— Да скучно! — отвечал он и побрел домой.

В одно лето я лучше выучился ездить верхом, чем он в три года. Я всегда готов был вскочить на седло, подходил ко всем лошадям, трогал, ласкал их, даже кляч не оставлял в покое. Петруша ездил неохотно и робко, хотя и имел большую претензию быть знатоком в лошадях; он часто ходил удить рыбу на реку, а я презирал это стариковское занятие. Раз пришел он в сад вместе с Платошкой, своим любимым казачком.

— Посмотри, Платоша, что это за умора,— сказал он.— Володя с ума сходит... Эх ты воин! Ну куда тебе? В саду тебе только с деревьями и воевать.

— Уж не тебе бы, трусишке, говорить! — возразил я ему.— На старую водовозку боишься сесть! Ноги растаращишь — сидишь как баба...

Петруша покраснел.

— Ну что? — продолжал я, смягчившись немного в душе, но не желая явно уступить.— Что смотришь? На поцалуй мою ручку...

— Цалуй мою.

— Твоя желтая, гадкая, а моя посмотри какая!

— Ишь вы какие нежные! — заметил Платошка с негодованием.— Из чего вы это взяли, чтоб Петр Петрович да вашу ручку стали цаловать!

— А чем он лучше меня?

— У них папаша генерал, и сами они...

— Молчи, мерзавец!

— Ругаться не извольте; я дяденьке скажу.

— Ах ты этакий! — закричал я и дал пощечину Платошке изо всех сил.

Платошка заплакал; я было хотел схватить его за волосы, но Петруша кинулся, повалил меня и стал драть за уши, приговаривая: «Ах ты молокосос, мальчишка, драчун!» Я вырвался в бешенстве и, подняв с земли свою тупую саблю, ударил Петрушу по руке что было силы. Петруша закричал, Платошка закричал тоже, а я побежал домой как безумный. Я знал, что меня ждет. Мне уже пришлось испытать гнев дяди, и вот по какому случаю. Один небогатый дворянин желал отдать куда-то сына, на казенный или дворянский счет, не помню. Однажды дядя позвал меня в кабинет и заставил меня вынимать из

шляпы билетики. В комнате было несколько человек дворян и сам предводитель.

— Ну, это еще невинный ангел,— сказал бедный отец,— выньте мой билетик, красавчик мой!

Все окружили меня; я вынул билетик и прочел: «Золотников».

— Мой, мой! — закричал отец, расцеловал меня и обещал фунт конфет.

— Вздор! — сказал дядя,— он не возьмет.

Однако дня через три после этого я решился подойти к сыну Золотникова на гулянье и спросить у него, когда отец намерен прислать мне конфеты. На другой день дядя увидел с балкона слугу Золотниковых и спросил у меня: что это такое он несет в бумаге, не знаю ли я?

Я покраснел и отвечал:

— Не знаю, право... право, не знаю!

— Поди спроси у него, что ему надо.

Я вернулся с конфетами и сказал, опять краснея:

— Это мне конфеты. Не знаю, зачем это он прислал!

— А записки нет?

— Есть.

Я подал записку, и дядя прочел:

«Милый мой Владимир Александрович! Напрасно вы думаете, что я забыл о своем обещании. Разные дела отвлекли меня. Посылаю и т. д.»...

— Так ты напоминал? — спросил дядя, и глаза его заговорили.

Я молчал.

— А! взяточник и лгун! Хорош. Попрошайка и лгун! Да ты знаешь ли, что такое мужчина, который лжет?.. Негодяй!

Дядя позвонил. Вошел человек. Я обомлел.

— Возьми эти конфеты, отдай их человеку Золотникова и скажи, что я... я, понимаешь? велел их отнести назад. Да приготовь мне в кабинете розги! Пойдем-ка.

Я упал на колени, просил, плакал... Нет, ничего не помогло. Пришла тетка и тоже стала просить; но дядя не отвечал ей ни слова, взял меня за руку и увел с собой. Там Ефим меня больно сек, а дядя сидел на диване и смотрел. Тетка после этого позвала меня к себе и дала мне гофмановых капель.

Испытавши все это, я понимал, чему я подвергаюсь, и решился на этот раз не быть робким и слабым. Петруша прибежал к Ревелье и показал ему свою руку, на которой вздулся красный рубец и в одном месте показалась кровь. Ревелье требовал, чтоб я просил прощенья, но я не мог видеть скромного генеральского сына без ненависти и отказался наотрез.

— A genoux, mauvais sujet! — кричал Ревелье,—a genoux! Pss, pss silence! Est ce qu'on ne rosse pas ici, comme partout ailleurs par hasard?[1]

— Еще бы не rosse![2] — возразил я.— В таком проклятом доме и хуже бывает!

Конечно все! Я обречен на казнь. Отчаяние овладело мною, отчаяние и отвага. Петра Николаевича не было в городе, но я знал, что недели через две он вернется и рано или поздно я расплачусь за все. Александра Никитишна так же узнала об этом; она прибежала ко мне в бешенстве и начала было: «Я тебя, да я тебя!» Но я презрительно молчал, и она успокоилась.

Прошло недели с полторы. Дядя не возвращался, а Петруша, казалось, забыл оскорбление; запустив руки в карман и посвистывая, шатался он по комнате или шел себе удить рыбу, так что мне иногда становилось его жалко. Тетка обращалась со мной по-прежнему. Она очень любила нарушать обыкновенный порядок дня — пить чай или кофе не вовремя, посылать за сыром ни с того ни с сего, но не при муже.

Нередко приходила ко мне горничная, когда дядя был в гостях или в присутствии, и таинственно звала меня на теткину половину; иногда же и сама тетка говорила мне с глазу на глаз:

— А не выпить ли нам чайку, Володя? Как ты думаешь, дядя твой не узнает?

— Выпьемте; что ж!

— Ты смотри не проболтайся; он ведь, ты знаешь, месяц меня за это будет точить, скажет mauvais genre[3], беспорядок, харчевня...

[1] На колени, негодяй!. на колени! Молчать! Неужели тебя не высекут здесь, как сделали бы во всяком другом месте?

[2] Высекут.

[3] Дурной тон.

Вот так-то случилось нам и теперь вдвоем с нею пить кофе; она объявила мне, что дядя будет завтра.

— Ты не рад, кажется?

— Чего же мне, ma tante, радоваться? — я отвечал ей. — Я знаю, что меня высекут.

— А ты зачем напроказил?

— А зачем они с Платошкой мою дворянскую честь унизили?

— Скажите, какой фарнос! Ну, пей, пей кофе. Я уже ничего не скажу, и Пьер тоже. Если б я захотела, разве я не могла бы сама тебя наказать?

— Еще бы! конечно бы могли!

Она уговорила Петрушу оставить это дело так; «отец расстроится, будет шум, что за охота». Петруша обещал молчать и смолчал. Долго меня смущала мысль о его великодушии.

Вся эта обстановка привела к тому, что я, подросши, всем сердцем стал понимать слово «сирота». Не раз плакал я, один-одинешенек, жалуясь на то, что здесь меня никто не любил и что я всеми покинут. Я писал страстные письма в Подлипки, иногда клялся все сносить и ждал терпеливо той минуты, когда мне можно будет вернуться домой; иногда уверял, что я жду смерти и, верно, никогда не увижу ничего и никого домашнего. Я берег с благоговением не только образ в окладе, благословение Марьи Николаевны, но и закладку из бисерной канвы с вышитым souvenir, которую прислала мне Вера, и подарок Аленушки — маленькую чашку старинного фарфора, с белыми овечками на лугу и хижинами вдали, глядя на которую и вспоминая о бедной, уже умершей тогда мадам Бонне, я повторял стихи:

Dans ces prés fleuris
Qu'arrose la Seine,
Cherchez, qui vous mène
Mes chères brebis.
J'ai fait, pour vous rendre
Le destin plus doux...[1]

[1] На цветущих лугах,
Орошаемых Сеной,
Угадайте, кто приводит к вам
Своих милых овечек.
Это я привожу их,
Чтобы усладить вашу участь.

На самую книжку, которую дала мне на память мадам Бонне, стихотворения г-жи Дезульер, я долго смотрел как на заветный талисман и долго, даже гораздо позднее, находил в ней больше поэзии, чем в самых гениальных вещах. В Подлипках, казалось мне, никто не страдает — все цветет и зеленеет; лай собак, пение петухов, шум ветра многозначительнее, не такие, как в других местах; мужички все, встречаясь, улыбаются, собаки знают меня, и умирать там, должно быть, легче, чем где-нибудь в другом месте! Годам к 16-ти и сознание добра, и религиозное чувство стали во мне сильнее. Не раз вечером нарочно уходил я из дома и клал по два, по три рубля в церковную кружку на углу; нищим стыдился подавать так, чтоб мне было нечувствительно: подавал серебро, а не медь, постился, вставал к ранней обедне, чувствовал себя крепче и светлее, когда ел просфоры; не уходил никогда прежде конца службы из церкви, вспоминая слова тетушки: «Кто уходит рано из церкви, тот, как Иуда, который ушел с тайной вечери до конца».

К грусти одиночества, к страху наказания за гробом, к надежде на помощь в жизни примешивались и другие чувства. С одной стороны, память о картинах детства жила неразрывно с молитвами и надеждами; в воображении я видел тетушкин кивот с лампадой... Как вспомнишь об нем, о ней самой, о ее спальне, о коврике, о беззаботном счастье, так и потянет душу и домой и на небо! Когда случалось мне уйти прежде срока из церкви или рассыпать на пол крошки просфоры, я казался сам себе грубым оскорбителем чего-то невинного и снисходительного. Любил я также иногда читать священную историю. Когда, под конец Ветхого завета, становилось, в последних главах книжки, как-то пусто и мирно, и строгие римляне были уже тут, чувство чуть слышного, едва заметного, сладкого ожидания шевелилось во мне. Заря лучшей жизни как будто ждала весь мир... И не было еще света, а было грустно и легко. Вот родилось бедное дитя в Вифлееме... Как хорошо в этих сухих пустынях, где растут только пальмы и люди ходят босые в легких одеждах! Вот уже и Петр плакал ночью, когда пел петух, и я плакал с ним; все стемнело — камни рассеялись, мертвые встали из гроба и пошли в город, раздралась завеса во храме... Передо мной картинка... Христос явля-

ется на минуту двум ученикам, шедшим в Эммаус. Какой-нибудь бедный городок этот Эммаус; трое небольших людей спешат из какой-то долины; на них развевается платье; сбоку скалы, а вдали куча мелких домов с плоскими крышами... Как опустело все! Точно после обеда, когда уже не жарко, войдешь в большой зеленый сад, которым никто не пользуется и где только тени деревьев становятся все длиннее и длиннее... Как будто самый близкий человек уехал из дому и из сада этого, по которому он мог бы гулять, если бы хотел. И уже начинается что-то новое, чуть брезжится... А что? И тогда не умел я сказать, не умею и теперь.

Мелькнет такая мысль, явится чувство на миг — и опять влачатся простые дни: классы, прогулки с Ревелье, обед, за которым и дядя, и тетка, и я просидим почти все время молча. К несчастью, я не мог даже скрыть своей набожности, а слова Александры Никитишны: «Что зто Владимир наш в святость ударился?» — способны были одни уже запятнать прелесть моих тайных ощущений.

В 17 лет, наконец, бежал я от дяди в Подлипки, и главной причиной моего побега было что-то вроде любви.

X

К этому времени я уже решился быть статским. Самый гражданский костюм стал мне нравиться. Я слил в одно смутное представление множество образов, особенно французских: Родольфа «Парижских тайн», каких-то умных и смелых людей, управляющих на Западе, в модных фраках, с бакенбардами или бородами, с сияющим бельем, Байрона, Онегина, даже порочного, но непобедимого Сципиона из «Мартына-найденыша», артистов в острых шляпах, с длинными волосами, смелых студентов в широких клетчатых панталонах... Все это составило одну величественную, переливающуюся из образа в образ идею; все зто шептало мне о чем-то высшем, чего я тогда назвать не умел и в чем позднее узнал гения свободной гражданственности, новой мысли и изящных нравов, гения, открывавшего себе дорогу в тщеславное и неопытное сердце одеждами, прическами и всеми соблазнительными внешними правами на общественный успех. Все это

совершалось постепенно в течение четырех-пяти лет; все было неясно, отрывочно, не сознано...

Сначала, только что приехав, я любил брать у дяди большой портфель с раскрашенными рисунками всех гвардейских мундиров, переводил их старательно на стекле, тушевал, разрисовывал и думал долго тогда, кто счастливее — гусар ли на серой лошади, в красном ментике и голубых брюках, или этот кавалергард в белом колете с красным воротником, или конный гренадер, у которого развевается сзади пунцовый язык на мохнатом кивере, когда он несется во весь опор? Когда дядя, увидав эти рисунки, сказал мне, что «о мундире я мечтаю напрасно», я просто ужаснулся. Не зная, что сделать, чтоб смягчить его и доказать, как он не понимает моего призвания, я силился заплакать. Но дядя снисходительно спросил, отчего мне так противна статская служба.

Я долго боялся сказать настоящую свою мысль, но наконец преодолел страх.

— На статских в свете, mon oncle[1], не смотрят, даже дамы и те...

Дядя засмеялся и перебил меня:

— Каков ловелас! в четырнадцать лет! Какой же ты свет-то видел? Ты видел свет плохой. Нынче совсем не то... И если б мне пришлось начинать теперь...

Тут дядя как бы с грустью кивнул головой, потом дружески взял меня за ухо и прибавил:

— Ничего, не плачь. Что за баба! Будешь образованный человек. А я тебе подарю тогда бриллиантовые запонки на рубашку.

Запонки и ободрение дяди успокоили меня, и через сколько-то времени, не помню, уже окрепший карандаш мой чертил эскизы нового рода из головы. Вот дуэль. Молодой человек, безбородый, кроткий, с длинными волосами, падает на руки секунданта; он ранен в грудь шпагой соперника. Сопернику уже тридцать лет (я смотрел на этот возраст враждебно); у него густые бакенбарды и длинные усы. Женщина в шляпе стоит на коленях... Там плантации, лианы, пальмы и бананы. Молодая американка вышла замуж за прекрасного индийца; у нее уже дети. Там черная маска; все юноши торжествуют. Романы в

[1] Дядюшка.

эскизах на полулистах длятся — длятся без конца; мне жаль покинуть моих героев. И они все французы, англичане, американцы, все во фраках, в жакетках, в пальто, с бичами; русская жизнь не представила мне тогда ничего приблизительного; мужчины, которые по четвергам собирались у дяди играть в карты, возмущали меня своей прозаичностью, ухарством или тупостью. Насилу-насилу удалось мне встретить на одном вечере двух молодых людей в белых жилетах и таких фраках, какие мне были нужны. Я упивался своими героями, упивался и женщинами, упивался сам собою.

Однажды весной сидел я под цветущим кустом черемухи и с бешеным восторгом читал Гомера. Когда я дошел до того места, где Ахиллес, оставив у себя на ночь старика Фенокса, ложится спать с наложницей, а около Патрокла тоже возлегает девушка *тонкая станом,* я бросил книгу.

Для чего эта весна? Зачем эта черемуха в цвету, если нет настоящей жизни, нет подруги молодой, сверстницы Виргинии, или Manon Lescaut[1]? Я и на то и на другое согласен. А лучше всего и то и другое вместе. Но не брак ли это? Да, если б жениться теперь втайне, встречаться здесь под черемухой, любить друг друга до исступления, до бешенства, до боли... Потом говорить, читать... вместе. А то что брак в тридцать или тридцать пять лет? Как это пошло, обыкновенно! И что хорошего находят девушки в этих загрубелых лицах, в этих изношенных сердцах?..

Неизящное, простое не соблазняло меня. О, нет! такого я боялся, хотя уже давно в душе развязал клятву о безбрачии до брака. Была у дяди в доме высокая белокурая девушка Лена (я после узнал, что тетка имела право не любить ее); эта Лена, не знаю почему, любила шутить со мной. Так как внизу было много пустых комнат и она жила недалеко от меня, то нам случалось встречаться нередко. Она бросалась за мной, загоняла в угол, смеялась, целовала, щипала меня; она была сильнее меня, и я с трудом от нее отделывался. Я не решался ни ответить ей грубо, ни оттолкнуть ее сильно, потому что здесь дорожил всяким вниманием, всякой лаской, а она готова

[1] Манон Леско.

была всегда услужить мне с добродушием и веселостью. Но я смущался и избегал ее, потому что она напоминала мне — годами ли своими, разговором ли, или ростом и дородством — непостижимые по своей грубости грехи взрослых. Нет, не того мне хотелось. Я желал бы найти милую сверстницу, невинную, чистую, страстную, как я, стыдливую для всех, кроме меня; чтоб она, в локонах и фартучке, с книжкой в руке, гуляла где-нибудь в лесной стороне под липами, около старой колокольни, поросшей мохом.

Вполне такой я не нашел, но встретил Людмилу Салаеву, дочь одного советника, и убедился на время, что я не хуже Онегина, потому что она сделала первый шаг сама.

Советника дядя любил и звал его Фабием Кунктатором за то, что он очень долго обдумывал ходы в преферансе. Однажды он завез меня случайно к Салаевым, и тут я в первый раз увидал Людмилу. Она еще не носила длинных платьев и стриглась в кружок. Такая прическа доставляла ей случай очень кстати взмахивать головой, и при этом движении голубые, немного выпуклые глаза ее взглядывали искоса и вниз как нельзя лукавее. Она сама заговорила со мной в зале, села на стол, около которого я стоял, и спросила, люблю ли я театр. Я отвечал, что люблю, но бываю в нем редко.

— Как это можно редко бывать! Театр... это блаженство! Мстиславского трагика знаете?

Но тут гувернантка отозвала ее.

Немного погодя нас очень сблизил детский маскарад, который дал губернатор для меньшой своей дочери. Советник упросил дядю отпустить меня, и дядя не только отпустил, но даже дал денег на костюм. Я знал, что я буду в паре с Людмилой, и мне хотелось, чтоб нас одели Гамлетом и Офелией. Я предлагал надеть на Людмилу белое атласное платье со шлейфом, украсить ее голову венком из белых роз, а сам хотел быть весь в черном бархате, в берете с длинным пером, с золотою цепью на шее. На такую одежду недоставало дядиных денег, и замужняя дочь советника, которая заведовала всем, сказала, что маленькая Людмила со шлейфом будет точно мартышка. Тогда решили ее одеть Розиной, а меня Фигаро; костюмы вышли очень хороши. Вязаные красные с золо-

том колпаки, ее короткая юбка с черными кружевами, мои атласные панталоны и бархатная куртка, перчатки, духи, платки наши — все было великолепно. Когда мы вошли под руку в гостиную, где ждало нас семейство советника, все вскочили и начали хвалить нас. Отец обнял дочь и посадил с осторожностью, любуясь ею, к себе на колени, а замужняя сестра Людмилы начала целовать меня, называя персиком и настоящим южным смуглым красавцем.

— А он будет со временем иметь успех, — сказала она, обращаясь к отцу, — у него вся наружность как у героя романа. Посмотрите, папа́, какие у него черные волосы и огромные черные глаза!

— Еще бы! — отвечал отец, — держи ухо востро!

Каково мне было это слышать? Я не могу уже теперь ясно представить себе моего блаженства. Ожидание торжества, гордость, какие-то страстные движения к Розине, карета, в которую мы сели, ночь, мороз и освещенный дом губернатора, наше вступление в залу, хвалебные восклицания старших, кучи гимназистов, которые смотрели с почтением и вниманием на меня, когда я, заложив за жилет руку в палевой перчатке и напрягая икры, проходил мимо них... Вот как была полна жизнь в этот вечер!

Первую кадриль я танцевал с Розиной; вторую с меньшой дочерью губернатора, которая была слегка коса, но в высшей степени грациозна и миловидна; потом с старшей ее сестрой, мазурку опять с Розиной. В разговорах я был небрежен и оригинально-насмешлив, отчасти вспоминая манеру брата Николая.

— Посмотрите, — говорил я, — как этот путейский офицер похож на орангутанга.

— Quelle idée![1]

— А кто эта девица в платье небесного цвета? Какие у нее сонные глаза...

— Это моя кузина.

— Ah, pardon![2] Как эти гимназисты стучат сапогами! Я давеча думал, что это лошади взошли.

Когда мы с Людмилой пошли польку и делали pas de

[1] Что за мысль!
[2] Ах, простите!

majesté[1], все аплодировали нам. Такого упоенья я долго не испытывал после и едва ли испытаю еще раз в жизни Весь следующий день я еще не мог прийти в себя и написал Марье Николаевне огромное письмо с раскрашенными виньетками собственной работы; главные костюмы были тут, и сам Фигаро. Я называл себя царем бала, а Людмилу царицей. Тетушка, говорят, прослезилась над этим письмом; недавно, перебирая ее бумаги, я нашел этот грустный образчик тщеславного саморастления и разорвал его в клочки.

После этого вечера дядя стал позволять мне иногда по субботам ездить к Салаевым.

XI

Александра Никитишна, замечая иногда, что я грущу, говорила:

— Э, да сегодня суббота! Ну, постой, я пойду попрошу у дяди для тебя сани.

И всякий раз почти выпросит. Тогда-то торжество! Я обращаюсь в Онегина:

> Уж поздно. В сани он садится.
> Пади! пади! раздался крик.
> Морозной пылью серебрится
> Его бобровый воротник...

И воротник у меня даже был бобровый.

Где я найду такое гостеприимство? Любезности моей изумлялась вся семья. Там я становился до того разговорчив и развязен, что не уступал ни одному из взрослых молодых людей, служивших у нас в городе, в остроумии, насмешливости и говорил иногда такие французские фразы, что до сих пор, вспомнив об них, сгораю от стыда. Я даже помню некоторые из них, но не повторю их здесь ни за что.

Кроме пятнадцатилетней Людмилы, у советника было еще трое детей: сын моих лет — Митя, очень грубый повеса, и две дочери: одна замужняя, другая девушка лет восемнадцати, довольно свежая и простенькая, по которой вздыхал высокий гимназист Юрьев.

Домом Салаевых управляла старшая, замужняя дочь,

[1] Па-де-мажесте (фигура танца).

г-жа Дольская. Женщине этой было не более двадцати пяти лет; пять лет назад она пленила мужа своего, человека скромного, смирного и богатого, своим сценическим, истинно замечательным талантом. Все лучшие роли в благородных спектаклях исполняла она превосходно; роль Софьи Павловны, Кетли, молодой причудницы в пьесе «В людях ангел, не жена», всегда предлагались ей. Она самой бесцветной роли переводного водевиля умела придать жизнь и привлекательность. К тому времени, как я познакомился с нею, лицо ее уже поблекло; кожа на нем была красновата, под глазами были небольшие мешки, как у полнокровного отца, но сами глаза еще были хороши, и стан еще был гибок и строен. Держала она себя с ленивым достоинством, танцевала хорошо, умела из немногого создать красивый и своеобразный наряд, говорила об искустве с живою, хотя и одностороннею ловкостью, потому что вкус ее воспитан был, конечно, только французскими пьесами. Девицей она была необыкновенно тонка, никогда не перетягивалась. Талия ее пережила свою славу, и муж ее хвалился, что он когда-то мог обхватывать ее обеими руками. Тот, кто полагает, что для семейного мира необходима строгая нравственность, очень удивился бы, узнав это семейство. Отец никогда не бранил дочерей, а гувернантку, смуглую и еще не старую девушку, ласкал как дочь и звал ее Настей. Настя только изредка и робко пыталась останавливать меньших дочерей. Дольской содержал все семейство и почти не жил дома.

В красиво убранной и веселой гостиной была в углу плющевая беседка, и там на эсе с г-жою Дольской поочередно сиживали сам губернатор, молодой прокурор с энергическим подбородком, приезжие из Петербурга, военные, жандармский полковник, белокурый двадцатилетний красавец инженер и даже, как говорят, одно время сам Петр Николаевич. Тетка, Александра Никитишна, не раз, возвращаясь откуда-нибудь, говорила при мне своим грубоватым языком:

— Эта противная Дольская опять губернатору вешается на шею. Давно ли, кажется, она с Федоровым возилась... какая дрянь!

— Такой умной, ловкой женщине все позволительно,— возражал ей иногда дядя.

— Не знаю,— ответит тетка и пойдет, бывало, наденет огромный платок и ходит «расхлебесьей», как выражалась про нее Марья Николаевна.

Я, разумеется, предпочитал г-жу Дольскую дешевым добродетелям Александры Никитишны. Часто, когда после обеда отец Салаев спал, садились мы с Юрьевым около наших девиц и дельно беседовали с ними.

— Мне ваше лицо с первого взгляда понравилось,— говорила мне моя подруга,— оно неправильно, но очень приятно. Я тотчас почувствовала к вам дружбу. Конечно, это не страсть. Я не знаю, что такое страсть... Вы видели актера Мстиславского в Гамлете? Как он дивно хорош!

— Да, он хорошо играет,— говорил я, жалея, зачем она ставит меня ниже этого взрослого Мстиславского.

— Хорошо? Только?.. Подите; я не хочу с вами говорить.

И Людмила вставала; потом тотчас же возвращалась снова и продолжала:

— Если вы не будете говорить, что он дивно играет, я с вами навсегда поссорюсь...

— Не сердитесь; я буду говорить, что он дивно играет,— отвечал я без особого страха, потому что любил больше картину моих сношений, чем самую Людмилу.

— Ну, смотрите же. Я вам скажу, как я его любила. Когда раз мы уезжали из театра, он стал подсаживать нас в карету и взял меня за руку повыше локтя... У меня были короткие рукава. Знаете, что я вся задрожала!

Я молчал обыкновенно, никак не понимая, что она находила в этом 40-летнем великане, который ревел на губернской сцене...

Пока мы говорили с Людмилой, Юрьев и Маша сидели в углу и тоже шептались. Иногда по вечерам Дольская играла нам на фортепиано, и мы танцевали. Я предпочитал всегда мою Людмилу, а Юрьев, почтительной рукой издалека обвивая полный стан Маши, опускал глаза и, улыбаясь, галопировал с другой стороны.

Высокий, бледный, уже давно брившийся Юрьев казался платоническим мечтателем. Он судил о жизни по старым русским книжкам, и идеалом человека для него

были Рославлев и Леонид г Зотова. Когда взаимная по мощь, которую и мы друг другу оказывали по сумеркам у Салаевых, сблизила нас, я узнал, что он боготворит *женщину*, но *женщин* боится

– Они коварны, говорил он и рассказывал мне об одном Владимире и графине Владимир любил графиню страстно и безумно. Графиня любила тоже Владимира, но изменила ему. Владимир, затаив на время злобу, при шел ночью в *ее роскошный будуар* и раздавил над лицом ее склянку с такой едкой жидкостью, что она уже никому не могла после этого нравиться. В другой раз он прочел мне свои стихи:

> Когда блеснет востока луч
> И, грустный путь мой озаряя,
> Прогонит сонм зловещих туч,
> К тебе тогда, о грудь младая!
> Я припаду, желаний полн
> О, прочь сомнения, тревоги!
> Средь холода житейских волн
> Мы счастливы, как боги
> И что прелестнее отрады
> Душа с душой слиясь тонуть
> Прочь, света гнусные преграды,
> Прочь, тернии замкнувши путь!
> Но жди еще в тоске бесплодной!
> Минута счастья не близка,
> И голос разума холодный
> Грозит тебе издалека

Я покровительственно хвалил стихи, и скромный ги гант дал мне списать их; я тоже сочинил стихи для Людмилы на французском языке, и у меня остались в памяти только два стиха:

> Ta taille légère
> Comme une mince fougere [1]

Я пробовал читать их Юрьеву, но он сказал:

— Ничего нельзя понять; это не по-нашему. По том, вздохнувши и взяв меня за руку, прибавил: Не женись, Володя, на француженке; у них все фальши вое — и душа и тело. Возьми лучше русскую, добрую Господи, как подумаешь, какая это счастливая тебе доста нется! А мы-то, мы-то...

---

[1] Твой стан легок,
Как тонкий папоротник

— Отчего же,— возражал я,— и ты можешь нравиться женщинам. Надобно иметь только манеры. У тебя вовсе нет манер, но ты можешь их приобрести.

— Нет, уж без манер-то мы, благодаря Создателя, проживем!

Людмила не всегда кокетничала; иногда делала она за меня переводы или немецкие спряжения и приготовляла красивую тетрадку из голландской бумаги, сшивая ее голубым шелком, так что мне оставалось только переписать и подать учителю. Я мог бы долго так блаженствовать, если бы не увлекся и не вздумал обманывать дяди. Иногда не в субботу и не в праздник приходил я к Ревелье и уверял его, что дядя меня отпустил к Салаевым. Ревелье говорил, что ему нет до этого дела, puisque votre oncle est assez fou, pour autoriser la debauche[1]; однако это скоро дошло до дяди; меня кликнули к нему в ту минуту, как я только разоделся впрах и хотел идти.

Дядя осмотрел меня с ног до головы.

— Что ты это думаешь, что ты, в самом деле, какой-нибудь денди? Ты этого, любезный мой, не воображай. Дурак дураком! Булавку еще вздумал в галстук втыкать! И где ты видел, чтоб порядочный человек стал носить бронзовые булавки? Пожалуйста, брат Владимир, оставь подобный вздор. Посмотри на меня: я встаю в семь часов и не разгибаючи спины сижу над бумагами.

— Помилуй, Петр Николаевич! — заметила тетка,— разве ты не знаешь, что он влюблен в Людмилу? Сама Дольская говорила мне об них...

— Что-о-о?

— Ах, ma tante, что вы это? Какой я влюблен; неужели бы я лучше ничего не нашел!

Дядя презрительно засмеялся и встал.

— Каково? Браво! Да ты, я вижу, Дон Жуан! — кричал он, подступая ко мне,— а? говори, ты Дон Жуан?

Он смотрел мне прямо в глаза, точно смотрел на Терентия в день моего прибытия в его дом.

— Нет-с, я не Дон Жуан...

— Ну, как же нет! я теперь буду звать тебя Дон

[1] Так как ваш дядя совершенно безрассуден, раз позволяет распутство.

Жуан подлиповский, слышишь? А ходить туда и не смей. Ступай, денди, разденься. Булавки этой чтоб я не видал, Митрофан!

Целые полгода я не бывал у Салаевых.

XII

К весне тетушка Александра Никитишна занемогла смертельно. Сначала она не выходила из комнаты и кашляла, а потом перестала вставать с постели. Дядя все свободное время посвящал ей, читал громко, ухаживал за ней и на меня не обращал почти внимания. Однажды, в добрую минуту, Великим постом, он уступил мне свой билет в концерт. В зале дворянского собрания было довольно много народа, а я давно не выезжал никуда; глаза у меня разбежались — я заслушался музыкой и не заметил сначала, что в трех шагах от меня сидели Салаевы. Обернулся... Людмила! В розовом кисейном платье, подросшая и созревшая, она сверкала глазами. Она навела на меня лорнет и улыбнулась. Я робко подошел к ней и объяснил, что не мог бывать, потому что... потому что...

— Оставим это,— сказала Людмила, играя лорнетом,— когда вы к нам будете?

— Право, я не знаю.

Дня через два пришел ко мне Юрьев и принес записку; я прочел в ней следующее:

Я вас люблю; чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.

Я спросил у Юрьева, знает ли он содержание записки; он отвечал, что не знает, что, отдавая, она сказала ему: «Надеюсь на ваше благородство».

Я показал ему записку и не знал еще, радоваться ли мне или смеяться. Юрьев, кончив, грустно взглянул на меня и сказал, покачав головой:

— Зачем ты мне дал прочесть, Володя? Девочка любит тебя, а ты глумишься!

— Я ведь дал тебе только...

— Эх, Володя! Ветер, Володя!

Больше ничего не сказал Юрьев об этом. Я решился ходить к ней тайно от дяди. Весна приближалась, и я уже не раз и не два, а три и уже более раз в неделю спешил спуститься с горы, где, на углу небольшой площадки, стоял, почти на конце города, трехэтажный купеческий дом и где свет из окон бельэтажа уже издали обещал мне блаженство.

Юрьев, напротив того, около этого времени поссорился с Машей и, несмотря на то, что его в доме принимали хорошо, несмотря на то, что сам старик Салаев звал его всегда «муж разума и чести», стал ходить к ним гораздо реже.

— Отчего тебя не видать? — спросил я его однажды на улице.

— Все это дребедень. Я хочу написать стихи с припевом:

Дребедень, дребедень,
Твержу целый я день.

— Неужели ты мог так скоро разлюбить? Любовь такое отрадное чувство...

— Не знаю,— отвечал Юрьев.

— А платок?

— Какой платок?

— Помнишь, ты сам мне рассказывал, что раз в сумерки ты стал перед ней на одно колено, а она заплакала и уронила платок. В это время кто-то вошел, ты встал, поднял платок и подал ей.

— Ну-с, это я, должно быть, для форсу вам сказал. Поди-ка с вами! Ведь вы, шутка, вице-губернаторский племянник... Надо ж вам понравиться.

Причудливая Людмила теперь стала гораздо нежнее. Никто не препятствовал нам беседовать. Гувернантка Настя вздумает заметить ей иногда, зачем она слишком долго сидит со мной, но Людмила с полуулыбкой и косым взглядом посмотрит на нее и скажет:

— Что с вами? вы злы сегодня? Оставьте нас. Так что ж вы говорили, pardon... Она не будет больше злиться, продолжайте.

— Я говорю, что в мои года мужчины больше всего заслуживают любви.

— Почему это? Вы так молоды. Какая у вас славная цепочка! Покажите.

— В эти года все чувства свежее и сильнее. Eugène Sue[1] говорит...

— Разве вы недовольны? Чего ж вам еще? Ах, кстати, отдайте мне то... Вы знаете...

— Что такое?

— То, что́ я вам писала.

— Право, со мной нет. Я принесу вам в ту субботу.

— Как! Вы осмелитесь мне принести? Вы расстанетесь с ним? Подите прочь — у вас нет сердца! Вы лед. Я не хочу с вами сидеть... Паша! сыграй нам Анну-польку... Митя! пойдем.

— А со мною?

— Не хочу!

Иногда она бывала гораздо грустнее.

— Будешь ли ты верен? — спрашивала она шепотом, пожимая мне руку.

— Еще бы!

— Будь! Не забывай меня. Я без тебя жить не могу.

Согласитесь, что это было приятно. Но Митя отравлял все мои удовольствия. Я никогда в жизни не видал ничего отвратительнее его. Отец принужден был взять его из корпуса, потому что там беспрестанно наказывали за лень и шалости. Жирный, краснощекий, курносый, маленький, он совался везде в курточке и с отложным воротником, ездил везде на собрания, лез ко всем взрослым, вмешивался в разговоры. Дома затеивал шутки одну грубее другой; перепортит работу сестрам, нагрубит снисходительному отцу, зажарит живую кошку в печке, индюшке ни с того ни с сего отрубит голову — вот его любимые дела. Бедной старой француженке, гостившей у них одно время, он насыпал на голову целую коробочку с такими насекомыми, которых я назвать не хочу. Мне он всегда старался досаждать, хотя и говорил, что очень меня любит, звал меня Володей и подольщался иногда ко мне с гадкою улыбкой. Входишь, бывало, в гостиную... так славно идешь... На столе лампа, ковер. Старик сидит на диване с трубкой, такой красный, седой, почтенный; Маша и Людмила работают около него или читают громко; Дольская с кем-нибудь на эсе... Идешь, разодетый, причесанный, поклонишься — а он вдруг выскочит из уг-

[1] Эжен Сю.

ла и схватит за ногу, которую отставишь, чтоб шаркнуть. Раза два я чуть-чуть не упал. Иногда так ловко отстегнет штрипку, что я и не замечу и хожу — а штрипка болтается. Были у меня на одной курточке рельефные бронзовые пуговицы с кабаньими, олеными и собачьими головами; я их очень любил, а он измарал их мне потихоньку каким-то составом. Однако я был сильнее его, и он боялся меня, несмотря на всю свою наглость. Начнет рассказывать что-нибудь, непременно развратное, грязное, грубое: о том, как поступили офицеры или приказные с какой-нибудь несчастной женщиной, как жена мужа надула и что из этого вышло; показывает самые грязные картинки, которые называет почему-то соблазнительными... Меня никогда ничто подобное не могло соблазнить: я слишком высоко ставил чувственные наслаждения; я дорожил своею невинностью не для невинности, которую вовсе не ценил, а для того, чтоб быть достойным чего-нибудь изящного. И какие-нибудь пьяные стихи, особенно наши русские, какое-нибудь непристойное сочинение XVIII столетия, где мать, дочь и гувернантка предаются самой необузданной жизни, — все это возмущало меня, и все это нравилось Мите. Вероятно, он и сначала в душе не жаловал меня. Отец, сестры, зять — все ставили меня ему в пример, даже при мне беспрестанно говорили, что я умен, образован, так хорошо одет, так скромен и любезен... Он, вероятно, чувствовал ко мне то, что я чувствовал к Петруше дома. Это была зависть и досада более буйной натуры против сверстника более приличного, сдержанного и благоразумного. Но Митя не старался с намерением вредить мне, пока не приехал из Москвы погостить на лето к Салаевым двоюродный брат их Березин. Он был годом старше меня; бледное лицо его было довольно красиво, но постоянно выражало каприз и гордость. Родители его имели состояние и очень хорошо образовали его. Он слыл за дельного ученика; по-французски говорил не хуже меня, а по-немецки гораздо лучше, выписывал сам на карманные деньги русские журналы, много читал, а еще больше разрезывал листы и ставил книги на полку. Встретившись в первый раз, мы робко наблюдали друг друга и разговор начали так:

— Очень приятно познакомиться, — сказал я.

— Очень приятно.

— Вы в Москве живете?

— В Москве.

— Какие вести с Запада?

— Бюжо разбил марокканцев при Исле.

— А! Бюжо! я очень рад.

— Вы что теперь читаете?

— Les trois mousquetaires[1].

— Французская литература пуста! — воскликнул он.— Вот Шиллер, Гёте, наш Гоголь...

— Кто это Гоголь?

— Как, вы не знаете Гоголя? неужели? Это великий поэт; это молодой человек, красавец собой, с черными кудрями до сих пор. Ни одна женщина не может устоять против него, когда он посмотрит... вот так... Он теперь в самых близких сношениях с графиней Неверовской.

Как не взять поэта, против которого и графиня не имеет сил! Быть может, он научит меня, даст мне в руки неслыханное орудие! Березин дал мне Гоголя и указал на статьи Белинского. Благодаря ему, я вдруг погрузился в совершенно новый для меня поэтический мир, где о высоком говорилось таким своеобразным языком, где смех был неслыханного рода, но как-то непостижимо знаком и близок самым недрам моей души. Белинского я каждое послеобеда с педантической честностью клал на вышитый пюпитер и читал его, местами наслаждаясь, местами только уважая себя за способность смотреть на такие строчки. Бывало, в голове потемнеет, а на душе легко, и пройдешься раза три гордо по комнате или отворишь окно и показываешься прохожему: пусть, мол, знают, какой человек тут живет! В связи с этими драгоценными ощущениями во мне быстро вырастало расположение к начитанному сверстнику, и беседы с ними стали мне тем более дороги, что Юрьев, Бог знает почему, около этого времени стал отдаляться от меня. Ко мне он вовсе не ходил; у Салаевых был всего раз; когда я протянул ему руку, он осторожно дотронулся до нее концами пальцев, сжал губы, закрыл глаза, вежливо поклонился, пробыл несколько минут и ушел. Другой раз я встретил его на улице и остановил его; он улыбался и молчал.

— Ты не поверишь, как мне это больно, — сказал я

---

[1] «Три мушкетера».

ему. — Помнишь, как мы славно проводили время, гуляли по вечерам или у меня сидели на широком диване с сигарами! Приходи...

— Знаете ли, кого нынче называют образованным человеком? — спросил он.

— Кого?

— Вот стихи:

> Над всем смеяться кто умеет,
> Кто по-французски говорит,
> Карманы пухлые имеет,
> И к тому же сибарит...

— Прощайте, успехи вас ждут везде!

Опять коснулся пальцев и с холодным спокойствием лица ушел в своей длинной шинели. Волей-неволей я должен был оставить его и спешил наполнить пустоту сердца дружбой с Березиным. Мы читали вместе Купера, разговаривали о лианах и бананах, о молодых негритянках, о том, что какая-нибудь пышная креолка лежит теперь в кисейном платье на пестром диване и обмахивается веером... А нас-то нет там, где мы должны были быть. Не всегда, однако ж, мы были согласны. Он слишком высоко ценил ловкость, смелость и успех; когда прочтет книгу, только и слышишь от него: «А каков молодец! как он ему закатил! как он ее надул!» А я всегда жалел тех, кому не везло. Любезничать с дамами он считал делом презренным и дружескую выпивку предпочитал самому нежному свиданию, а рассказы о буйных и грубых приключениях любил не меньше Мити. Несмотря на это, я беспрестанно приглашал его к себе и еще чаще прежнего стал ходить к Салаевым, чтоб встречать его. И при нем стыдился слишком долго сидеть с Людмилою. Но в его душе уже зрела ненависть. Не знаю, что заставило его строить против меня ковы: предпочтение ли дам возбудило его зависть, желание ли куда-нибудь направить жажду таинственной, романтической деятельности, которая его пожирала, досада ли за то, что раз я поборол его при всех, а другой раз выиграл пари о том, кем написана «Цинна»: Корнелем или Расином... не знаю.

Вначале он писал ко мне такого рода немецкие записки, по два раз в день: «Душа моей души! Сердце моего

сердца! С тех пор, как я тебя узнал, я понял, что мне прежде недоставало друга. О, как я люблю тебя! Одно твое присутствие озаряет все. Приходи, приходи. Какие стихи я тебе прочту!»

Я отвечал в том же духе по-французски, потому что по-немецки хорошо не мог писать:

«Благодарю тебя, мой добрый и милый Евгений. В одинокой и печальной жизни, которую я принужден вести в суровом доме тирана, дружба твоя для меня неоцененна. В 6 часов мы будем вместе. О, не покидай меня! Ты знаешь, у меня только и есть на свете два существа невыразимо любимые: Людмила и ты».

Перед отправкой я раз или два всегда перечитывал свои записки, заботясь о слоге.

Каково же мне было видеть после этого, что Березин подучает Митю повторять надо мной свои проказы, называет меня иногда дамским угодником и полушутя заступается за Митю, когда я на того рассержусь.

Людмила смотрит иногда на него пристально и качает головой.

— Что вы? что с вами? — говорит он краснея.

— Молчите, молчите! — скажет Людмила.

А он покраснеет еще больше и отойдет.

Наконец, все разразилось. Однажды я пил у Салаевых чай вместе с Юрьевым и другим, весноватым, курносым и уже большим гимназистом. Стол для чаю был уже накрыт, но в зале никого из старших не было, кроме беспечной гувернантки Насти. Я предложил Березину и Мите прыгать из окна в сад (с Юрьевым мы едва поздоровались).

Березин насмешливо посмотрел на меня, махнул рукой и сказал:

— Куда нам, батюшка! Вы люди светские, ловкие; а мы труженики, книгоеды!

При последнем слове он дружески обнял Митю и потряс его, как бы возбуждая к отпору.

— Ну, уж Митя, — отвечал я, — совсем не книгоед! Он, скорее, дармоед!

Юрьев и другой гимназист захохотали.

— Если я дармоед, так я удивляюсь, зачем вы к дармоеду ходите? — возразил Митя.

И глаза его заблистали.

— Я совсем не к вам хожу, — неосторожно ответил я.

— Другие тоже не нуждаются, и вы можете прекратить ваши посещения.

В это время подошла Настя.

— Что вы говорите глупости! — сказала она Мите, — я скажу вашему папа́.

— Попробуй-ка! — возразил Митя, показывая ей кулак, — я всем расскажу про тебя такую штуку... помнишь, во вторник? Я тебя выучу у старика на коленях сидеть!

Настя покраснела, глаза ее помутились, и она быстро ушла. Я сел один к чайному столу в волнении и решился спросить у Дольской, следует ли мне обращать внимание на слова наглого ее брата; между тем враги мои беспрестанно входили и уходили, то спускались в сад, то шептались на балконе, и курносый гимназист был с ними. Юрьев тоже ушел из залы, но в их компании его не было видно. За чаем Людмила шепнула мне:

— Не ходи в сад, умоляю тебя, не ходи.

— Отчего?

— Прошу тебя, не ходи.

Однако я взял палку и пошел в сад. Едва я успел сделать два шага, как на меня из-за кустов полетели куски земли, щепки и даже обломки кирпича. Вслед за этим из-за куста выскочил Митя и схватил меня сзади. Я ударил его палкой, но он успел ее вырвать и сломал. Я кинулся на Березина и повалил его; но в эту минуту кто-то накинул мне на голову шинель, уронил меня наземь и изо всех сил ударил меня кулаком по спине. Я в бешенстве старался высвободиться и вдруг услыхал грозный голос Юрьева:

— Прочь, мужик!

И раздался громкий удар, за ним другой и третий; я высвободил голову и увидел, что весноватый гимназист лежал на земле, а Юрьев с презрением толкает его в бок ногою.

— Своих-то, своих-то, свинья! — жалобно говорил гимназист.

Но Юрьев был бледен и спокоен; он взял меня за руку, привел в пустую залу и, не говоря ни слова, отыскал мою фуражку. Я протянул ему руку с чувством; но он

строгими глазами посмотрел на меня, почтительно поклонился и указал на дверь. Я ушел.

Не стану описывать моих чувств, они понятны; но этим не ограничились преследования Березина.

XIII

Я, разумеется, решился не ходить к Салаевым; но в тот же вечер принесли мне записку от Людмилы. Человек сказал, что ее принес Юрьев, отдал и ушел. Вот что писала Людмила:

«Милый, милый мой Вольдемар!

Не обращай внимания на козни этих злых людей. Я не виновата и жду тебя. Я все сказала сестре, и они не осмелятся более вредить тебе. О, когда я прижму тебя к моей груди! Когда в объятиях твоих я забуду весь мир, верный мой друг! Уже полночь. Свеча моя догорает, но я ложусь с упоительной, страстной мечтой о тебе. Прощай! Прилагаю записку от Березина, из которой ты увидишь, за что он ненавидит тебя. О, если бы я могла тебя прижать к своему пылающему сердцу!»

Я нашел, что записка эта очень подходит к тому идеалу, который я составил себе для любви; но письмо Березина к Людмиле поразило меня и неожиданностью и горестью:

«И вы могли полюбить этого пустого, светского болтуна! Вы не способны ценить любовь глубокой, поэтической натуры! Но я отмщу; я неумолим. Характер мой похож на характер Люкреции Борджиа».

Я обождал несколько дней и пошел к Людмиле. С смущенным сердцем взялся я за ручку двери, отворил ее и спросил у слуги, дома ли господа.

— Дома, только вас не велено принимать.

Я посмотрел на него с удивлением и вышел. Оскорбление не мучило меня: помню, что я с спокойною решимостью шел домой, не чувствуя за собой никакой вины; об одном я молил Бога, чтоб не узнал никто о моем стыде, и пуще всего дядя.

Июнь был в исходе. Александра Никитишна немного поправилась, ходила по своей комнате и сидела иногда у открытого окна. Чтоб ей легче было сходить в сад, дядя

перевел ее на нижний этаж. Прошло не более двух дней после того, как Салаевы отказали мне от дома; я занимался с Ревелье, как вдруг Александра Никитишна прислала за мной.

— Что это за письмо,— сказала она,— я почти ничего не разобрала... Какие-то козни, бульвар! Кто-то подкинул, должно быть, ошибкою сюда; Лена нашла его на окне.

Я взял письмо. Оно было очень нечетко написано; но в изломанном с намерением почерке я узнал руку Березина. Тетка, утомленная и равнодушная ко всему, прилегла на постель и спрятала лицо в подушку, а я подошел к окну и прочел:

«Все ваши козни открыты. Все поняли, что вы хотите воспользоваться доверием невинного ребенка — девушки, которая любит вас. Но как вы ни коварны и сколько ни умели вы скрывать ваши иезуитские планы под маской скромности и светского приличия, нашлись люди хитрее и умнее вас. Они вас разгадали, и война будет безжалостна и беспощадна! Не советую вам ходить около 9 часов по бульвару. Вас хотят изувечить. Вы встретите там трех людей: двое будут в синих чуйках, а один в сером пальто».

— Не говорите дяде, прошу вас, ради Бога! — воскликнул я, обратясь к тетке.

— Ступай, ступай,— сказала она тихим голосом и указала на дверь исхудалою рукой.

Долго ходил я по зале, перечитывая письмо. Который час? Еще 8... Нет! я буду там... Они не посмеют тронуть меня; они знают, что будет им от дяди и от городского начальства! Но я пойду, не осрамлюсь, и пускай лучше буду избит, чем обвинен в трусости. Оружия нет со мной, трость даже сломана и осталась у Салаевых; но я возьму узловатую палку Ревелье, а в боковой карман положу большой циркуль вместо кинжала. Подойди тогда! В глаз так в глаз, в щеку так в щеку!

В половине девятого я уже был на бульваре. Сначала там не было никого; потом прошли двое рабочих; прошел пожилой офицер с маленькой девочкой; несколько пролеток проехало мимо, но моих синих чуек не было. До половины десятого ждал я их в торжественном волнении и, наконец,самодовольный вернулся домой. Но здесь уже

ждал меня дядя; он встретил меня в зале, и глаза его были огромны.

— А! господин искатель приключений! Подойдите-ка сюда.

— Что вам угодно?

— Что? что? Ты думаешь, что я тебя взял для того, чтоб в мой дом подкидывали письма, чтоб имя Ладневых позорилось по городу... чтоб тебя выгоняли?

Он сжал кулаки и подступил.

— На Кавказ! хочешь на Кавказ солдатом?

Но и я уже был вне себя, не находя нигде ни опоры, ни отрады. Дрожащим голосом, но с внутренней решимостью я отвечал, что он не опекун мне и на Кавказ солдатом никто меня не смеет сослать. Дядя поглядел на меня пристально; он вдруг охладел и утих.

— А! ты думаешь? Ну, хорошо...

Он позвал Ефима и велел запереть меня наверху в одной комнате, где, кроме дивана, двух стульев и столика, ничего не было.

— Постой, брат! тебе еще всего 17 лет,— сказал он.— Чтоб у него ни книги, ничего не было, ничего! Посидишь ты у меня на пище св. Антония.

Отвели меня в мой карцер; в нем я тяжко проспал ночь и провел мучительный день, который тянулся и тянулся без конца. Курить было нечего: кроме воды и хлеба, мне ничего не давали.

Стало уже немного смеркаться, вдруг кто-то подкрался, просунул под дверь несколько папирос и шепнул:

— Барин, а барин, молодой пленник...

Я узнал голос Лены.

— Ах, Лена! — сказал я,— спасибо, что хотя ты не забыла меня!

— Дядя ваш уехал в гости. Не хотите ли погулять?

— Какое тут гулянье! Мне бы вот как нужно было сходить к одному человеку...

— Ключ мы сейчас достанем; я знаю, где он лежит...

— Ах, Лена! спасибо, Лена! А ну как тебе от него будет беда?

— Вот еще! Он прежде полуночи не вернется.

Она убежала и немного погодя вернулась с ключом.

Я поцеловал ее от всей души и вышел на улицу. Целый день думал я о побеге в Подлипки, все в голове моей спуталось и притупилось, и только теперь, дохнувши вечерней свежестью, услышав со всех сторон стук и шум, почуяв везде пространство и свободу, овладел я сам собою. Надо было идти к Николаеву, молодому губернаторскому чиновнику, и просить у него денег взаймы; своих же не было ни гроша.

Николаев был для меня один из тех людей, которые только проходят по краю душевной жизни; связь между нами была чисто умственная, но, быть может, по этому-то самому он долго стоял передо мною на безукоризненном пьедестале. Когда я лет четырнадцати начал присматриваться к встречным мужчинам и искать между ними русского джентльмена, долго пестрые жилеты на карточных вечерах у дяди, покрой фраков и дух разговоров не подходили к тому, что я встречал в «Парижских тайнах». Наконец увидел я Николаева и сказал: «Вот он». Не только профиль его был сух и благородно-строг, не только белье его было превосходно, но даже он иногда надевал, подобно Родольфу, изящный синий фрак с бронзовыми пуговицами. На столе его лежали немецкие и английские книги, и, глядя на них, я смирялся. Чего, казалось, нельзя было ожидать от такого человека? Он нашел философский камень жизни. Как хороши были его бичи, его летние фуражки! Как он служил! Как его уважал губернатор! Как дядя его хвалил всегда при нас с Петрушей! Что за лошадь играла под ним, когда он выезжал в кавалькаде с старшей дочерью губернатора! И с ней он был так прост, беспечен, как будто бы она была такой же человек, как и все. А я не мог ни вести ее под руку, ни ехать с нею рядом верхом без священного ужаса; когда она обращала ко мне свое продолговатое и цветущее лицо, поднимая длинные ресницы томных и темных глаз, я так и ждал чего-то баснословного в будущем... Точно неслыханную невесту доставит она мне, какую-нибудь милую Мери или бледную Тати, точно права мои после двух ее слов уже будут не те, и сам я стану лучше, умнее, и все женщины будут жалеть меня. А он, железный человек, на одной вечерней прогулке за городом уступил ее другому, едет со мной и говорит: «Вы, верно, слышали, что я женюсь на ней?

Это неправда... На двоих у нас будет слишком мало! Я люблю в ней ее простоту». А сам сидит кое-как на седле и, холодно глядя вперед, слабою рукой болезненного кабинетного человека правит вороным конем, так что кирасир бы другой позавидовал! Всякому мужику на поклон он отвечает, снимая фуражку; ни к одной женщине, кроме губернаторской дочери, не подходит; не смотрит, кажется, никуда, а видит все. Он ходит согнувшись, а другой правовед, молодой прокурор, так сводит лопатки назад на ходу, что сюртук у него всегда продольно морщится. Что ж мне-то делать? Вперед или назад гнуть спину? Я делал иногда так, иногда этак, хотя и то и другое мне было не по натуре, и спина моя, как я после узнал, была лучше, чем у обоих образцов. Одно нехорошо в Николаеве — слишком хвалит бездушную скромность Петруши и ставит его часто в пример.

Я застал его дома; он лежал на диване в удивительном халате из черной шерстяной материи, который поразил меня скромной и строгой красотой. Дым гаванских сигар наполнял комнату, и в белой руке его был Бэкон.

— Вы читали Бэкона? — спросил он.

— Нет ...где же! не читал...

— Читайте его. Андрюша! — прибавил он тихим голосом. Вбежал грум.

— Я хочу одеваться.

Грум стал готовить, а я решился приступить к делу.

— Арсений Николаевич, — сказал я содрогаясь, — я к вам с просьбой...

— Очень приятно.

— Уж не знаю, как вам сказать...

Николаев не отвечал, сел к своему серебряному зеркалу и начал пробирать пробор.

— Галстук! — сказал он чуть слышно Андрюше.

Андрюша достал целую кучу шейных платков и подал ему один. Николаев помотал головой. Андрюша подал другой — опять то же.

— Не знаю, право, как уж мне вам сказать...

— Не хотите ли сигар? — спросил он холодно, — это трабукос.

— Мне нужны деньги...

— Что же галстук?

Наконец Андрюша нашел тот галстук, который ему был нужен.

Тогда он встал и сказал:

— Андрюша, я хочу ходить... Держи сзади халат, чтоб он не свалился с плеч. Грудь слаба — надо ходить... На что же вам деньги? Ваш дядюшка, вероятно, доставляет вам все необходимое.

— Я не могу просить у дяди денег.

— Верно, на шашни! Напрасно, напрасно это! И почтенный дядюшка ваш недоволен вами.

Время шло; надо было спешить.

— Вышлите Андрюшу,— сказал я.

Андрюша вышел.

— Вы не скажете дяде?.. Прошу вас; если вы мне не поможете, я пропал.

Николаев остановился передо мной и взглянул на потолок.

— Накутили? — спросил он.— Я уже слышал, что вы все на мироносицкую площадку ходите. Напрасно, напрасно: там вас добру не научат.

— Вот вы все наставления читаете... А надо помочь... Я уж вам все скажу...

И я рассказал ему все, не убавляя и не прибавляя ни слова; объявил также, что намерен бежать.

— Вот видите,— заметил он,— что значит разврат нравов!

— Какой разврат! что это? Мы любили друг друга, как Paul et Virginie[1].

— Вот то-то и беда, если б вы меньше читали Кювье... Кювье, кажется, это написал?

— Ну, вот вы притворяетесь, будто не знаете! Какой Кювье! Это Бернарден де-Сен-Пьер.

— Да. Вот если бы вы меньше читали этого Кювье, так не наделали бы столько беспокойства почтеннейшему вашему дядюшке.

— Мне очень нужно думать о его беспокойстве! Гнусный деспот!

— Будьте уклончивее, будьте уклончивее! Посмотрите на меня: я уклончив, и о нравственности моей никто дурно не скажет.

---

[1] Поль и Виргиния.

— Полноте, Арсений Николаевич! Вы нарочно взяли на себя эту роль. Я бы вам сказал, как я об вас думаю...

— Скажите; мне очень приятно (лицо его не изменилось ничуть).

- Имя ваше негромко, а вы и в Петербурге и здесь живете с знатными людьми. Чтоб отличить себя от других, вы и взяли на себя роль уклончивого оригинала и все этакое... А так как у вас много энергии...

— Да, энергии, это правда, у меня много. Вы правду сказали.

Я встал.

— Так вы не дадите мне денег?

— Не могу, никак не могу входить в такое дело. Я не могу идти против вашего дядюшки, которого очень уважаю.

Я протянул ему руку; он, дружески улыбаясь, пожал ее и заботливо прибавил:

— Петру Николаевичу передайте мое почтение и тетушке, пожалуйста. Заходите почаще...

— Как же заходить! Я уеду, убегу от дяди непременно.

— Напрасно! — продолжал он вежливо, провожая меня в прихожую.— Вы себя этим запутываете.

— Только прошу вас, не говорите дяде.

— Я никогда ничего не говорю. Только жаль, что этого Кювье так много читали. До свиданья... Заходите; мне очень приятно... Андрюша, сюртук мне тот, знаешь, и тильбюри!

Вот я опять на улице. Ничего не сладил и еще ухудшил свое положение. Кто его знает — вздумает и скажет дяде... Боже мой! Боже! научи меня! надоумь меня, к кому обратиться! Где найти опору? Тетушка, милая тетушка Марья Николаевна, где ты? У тебя легко жить, и никто там меня не обидит. Когда бы она знала, что ее Володя так грустит, так измучен... А в Подлипках теперь уж скоро ужинать сядут; окна отворены, в саду все благоухает, свежеет, шелестит, замирая, и темнеет... Что ж делать? Тут блеснула мысль обратиться к Юрьеву. Сегодня суббота: он, может быть, у всенощной, и мы поговорим свободно.

XIV

Юрьева я скоро нашел за колонной и, взяв его за локоть, прошептал: «Выйдем, ради Бога, поскорей! Со мной такие дела делаются, что это ужас; одна моя надежда на тебя». Он пошел за мной на церковный дворик и выслушал мой рассказ, смеясь и приговаривая изредка: «Каково! каково! Ну-ка! ну-ка!»

— Что ж? деньги нужны? — спросил он.

— Да. Мне очень совестно...

— Есть у меня пятнадцать рублей серебром да еще два двугривенных. Поезжай поэкономнее, так доедешь.

Он достал из бокового кармана старый голубой бисерный кошелек, которого вид меня глубоко тронул, и отсчитал деньги; оставил у себя рубль да на задаток ямщику еще взял рубль и сказал, что завтра к вечеру все будет готово. «Только смотри не ударь в грязь лицом — не раздумай!» — прибавил он.

На другой день я утром выпросил у дяди прощенья, и меня выпустили; а в сумерки я сунул из окна Юрьеву мой чемоданчик; Юрьев положил его на извозчика и уехал. Вслед за ним и я вышел в шинели на заднее крыльцо. Ефим увидал меня на дворе и ласково спросил:

— Куда вы это в такую теплынь в шинельке собрались?

— Сыро вечером,— отвечал я, почти бегом уходя к воротам, бросился на дрожки — и за Юрьевым.

Юрьев обделал все: дешево нанял долгих до нашего губернского города, условился, чтобы первые 60 верст ехать проселком (я все боялся погони и розысков). Нашлись и попутчики: хохлатый немец, аптекарь на всю дорогу и старая мещанка с сыном до первого уездного города. Все было готово; я протянул руки к моему избавителю.

— Прощай, прощай! Благодарю тебя, Андрюша! Я не забуду того... Я буду богат, и тогда приходи прямо ко мне за всем.

Юрьев прижал меня крепко, и слезы навернулись на его глазах.

— А ведь больно с этакой дрянью расставаться! — прошептал он.

Ехали мы проселком долго, рысцой и шагом; на стан-

циях мужичок кормил; мы с немцем раскрыли свои чемоданы, показывали друг другу жилеты, шарфы, фраки, рассказывали друг другу анекдоты, пили молоко — я с черным, а он с белым хлебом и сахаром, доказывали мещанке, что все христиане — христиане; она слушала, поводила глазами, кивала головой или отвечала: «Так-с»... А я гремел против нетерпимости!

Денег бы достало до Подлипок, если б я был благоразумен. Но вот выехали на большой тракт; народу стало попадаться больше; часто нас обгоняли лихие тройки; попалось и два-три большие экипажа. Выглядывая из своей колымаги, я мучился завистью и стыдом. Мне казалось, что проезжие смотрят с сожалением и презрением на меня. Оставалось еще 60 верст до нашего губернского города... Нет, это невозможно; нет сил...

Приезжаем на станцию к ночи.

— Есть здесь вольные ямщики с тарантасами? Живо!

Аптекарь уговаривал меня остаться; но с нами увязался, взамен старухи, из последнего города молодой лавочник; он взялся обработать все дело повыгоднее и поскорее, если я соглашусь довезти его. Дело слажено; но толстый хозяин приходит и спрашивает:

— А вы, баринушка, с стариком своим до губернии расплатились? Так полагается...

Эх, досада! останется всего два рубля, если отдать ему. Старик спит в другой избе, и мещанин выводит меня на крыльцо. Месяц светит; ночь свежа. Тарантас с лихой тройкой уж выехал из-под навеса.

— Садитесь, — шепчет мещанин. — Старый черт дрыхнет.

— Не могу. Это вздор! — отвечал я и пошел в другую избу.

Я не знаю, какое дать имя моему чувству. Это была не простая ясная твердость: это была дрожащая, стыдливая, но непреклонная решимость. Я не знал, с чем я доеду до Подлипок, если отдам, но принес и отдал три рубля старику, которого ямщики давно уже разбудили.

Сели; ворота стали отворять; вдруг выскочил мужик наш и загородил дорогу.

— Стой! стой! — кричал он мещанину, — мошенник, за тобой полтора рубля...

— Пошел! — кричал мещанин.

Тарантас не трогался; собрались ямщики.

— Хам ты! собака!.. — говорил старик, — вот барин честный, смотри.

— Пошел! Врешь ты: я тебе все отдал...

— Выходи вон! — сказал я мещанину, — ямщик, трогай... Выходи...

Мошенник вылез; мы тронулись, но едва только успели отъехать немного рысью от двора, как раздался топот и слова: «Стой! стой! Барин! барин!»

Мещанин догнал нас, вскочил на подножку и закричал: «Пошел!» Опять топот и опять крик: «Стой! стой! Полтинник... Стой!..»

Я принудил наконец своего спутника расчесться решительно, грозя выгнать его из тарантаса.

Одно дело кончено: поступлено честно; еду шибко, и встречные смотрят не с сожалением, а с завистью и почтением на меня. Как теперь добраться без беды до Подлипок? Ну! Бог поможет!.. Утром мы были уже в городе, и на постоялом дворе я узнал, что вице-губернатором здесь человек, давно знакомый с тетушкой. Что долго думать! Надел коричневый фрак à la Napoleon, галстук голубой с золотыми полосками, белый жилет и брюки дикие с широкими клетками; волосы à la polka — и готов.

— Ладнев, племянник Марьи Николаевны Солнцевой.

Вице-губернатор, полный, курчавый, добродушно-насмешливый человек со стеклышком в глазу. Он лорнирует меня снисходительно, жмет руку и ведет к жене.

Та еще добрее, еще приветливее. Оставшись с нею наедине, я прошу ее войти в мое положение, рассказываю ей с волнением, что я бежал от дяди, говорю о тетушке и Подлипках.

— Calmez vous, calmez vous, mon enfant![1] — говорит милая женщина и подает мне худую душистую руку, покрытую перстнями; я подношу ее к губам.

И я так понравился добрым супругам, что они не только снабдили меня деньгами, но даже на свой счет повезли вечером с собою в вокзал. Там я танцевал со

---

[1] Успокойтесь, успокойтесь, мое дитя!

всеми лучшими дамами и девицами, был скромен, любезен, не острил, не ломался; словом, до ужина вел себя отлично, но только до ужина! Ужинали мы в особой комнате. Вице-губернатор, жена его, я, пожилой путейский полковник-немец, предводитель, белый, высокий, толстый мужчина с синим шарфом и бриллиантовой булавкой; молодой белокурый адъютант и худощавый длинный доктор, который сидел против меня, все время качался на стуле и, катая шарики, сардонически смотрел на меня. С самого начала ужина сосед мой, предводитель, начал подливать в мой стакан замороженное шампанское, и я скоро завладел вниманием общества. Хвалили одну девушку, из бывших в вокзале; говорили, что у нее еврейско-библейский тип красоты.

— Да! — заметил я, отхлебывая понемногу шампанское,— я в этом роде воображал Иродиаду в «Juif errant»[1].

— В чем? в чем? — спросил вице-губернатор, наводя на меня глаз со стеклышком.— В «Juif errant»... Каков! Вы знаете, господа, он убежал ведь от дяди. Расскажи, пожалуйста, как это было...

Я поставил стакан и, откинувшись на спинку стула, начал:

— Да, я бежал. Но прежде всего надо сказать, что за человек мой дядя. Это тиран. К другим он очень строг — к себе не слишком...

Все захохотали. Я продолжал рассказ.

— Да это сокровище! — воскликнул, прерывая меня, адъютант,— нельзя ли что-нибудь из скандалезной хроники того города?

— Зачем развращать мальчика! — заметила вице-губернаторша,— ободрять его на глупости?..

— Ему и ободрений не надо,— возразил муж.

Доктор, который до той минуты молчал, ударил по столу кулаком и сказал:

— Нет, видно, дядя его тиран плохой! Плохо он его в руках держал! Я бы его не так...

Он опять сжал кулак и стиснул зубы.

— Надо же оставлять молодым людям немного поэзии,— мягко и склонив голову набок, возразил путейский полковник.

[1] «Странствующий жид».

— Да помилуйте, господа! Это какой-то нравственный урод! — закричал доктор.

— Ну, вот! Вы, Яков Иваныч, всегда trouble fête[1],— сказал вице-губернатор,— рассказывай, рассказывай что-нибудь про тамошнее общество.

Несмотря, однако, на то, что в голове моей сильно шумело, мне показалось, что желтый доктор прав: я смутился, решительно отказался рассказывать — и меня забыли.

После ужина я в углу простился с вице-губернатором и его милой женой, получил от них деньги и, проспав до полудня, выехал под вечер из города очень грустный. Погода испортилась; шел частый, мелкий дождь; мне было стыдно, и после этого случая я стал лучше понимать, и в чтении и в словах других людей, что значит чувство собственного достоинства и что такое благородная скромность.

Однако и до родины недалеко. Вот уже и большое торговое село миновали, переехали речку; вот горка, с которой сейчас я увижу то, чего не видал шесть лет. Вот оно! Вот они — мои милые, несравненные *мои, мои* Подлипки! Раскаяние, дядя, Людмила, строгий доктор, Березин — все мне нипочем; теперь я вскакиваю на облучок.

— Еще полтинник тебе на водку, пошел скорее! пошел, ради Бога!

Господи! как все мне здесь знакомо... Вот луг налево и три березки; как они выросли с тех пор! Здесь мы с мадам Бонне встретили страшную, рыжую, быть может, бешеную собаку, и добрая старушка сказала: «Беги, беги, Володя!» Мне было тогда 6 лет всего! Но собака не обратила на нас внимания.

Вот дорога расходится надвое около небольшого курганчика; вот ракиты, избы, пруд, сам рыжий Егор Иваныч с тачкой; зеленый двор еще зеленее от дождя. Ямщик несется во весь опор... Я могу сказать: вот что я видел, вот кого я встретил, могу даже вспомнить некоторые слова; но то, что я *чувствовал,* изобразить я не в силах.

---

[1] Окажетесь помехой веселью.

Часть вторая

I

Тетушка обещала не отправлять меня к дяде, обещала написать ему как можно скорее письмо, и я заснул крепко; но было еще очень рано, когда я проснулся в приятной тревоге. Первым делом было обегать, осмотреть все знакомые углы. Много переменилось в Подлипках и к худшему и к лучшему. И в саду, и в доме, и на дворе, и в людях, и во мне самом много перемен. Сад стал гораздо гуще; маленькие елки на куртинах прежде чуть были видны от земли, а теперь они гораздо выше меня; пруд со стороны двора заслонился целым рядом серебристых тополей... Дом осел; все комнаты мне казались малы, окна кривы и обои сморщены и стары. Великолепная угольная комната была уже не пунцовая, а зеленая; узоры на обоях новые, без жизни и значения в моих глазах. Аленушки нет на свете; мадам Бонне умерла; Паши Потапыч нет в Подлипках — она замужем за крестьянином в другой деревне; Верочка давно уехала с мужем; Катюша созрела; Клаша давно невеста; Ольга Ивановна здесь; ее племянница, Даша, тоже у нас. Амбар снесли; два новые сруба за людской. Только и остались по-старому: разодранный пополам дуб над вершиной, величавые вязы, купающие нижние ветви в пруду. Егор Иваныч все рыжий с сизым носом и дровами, да сама тетушка, в большом чепце, то на кресле у окна спальни, то на кресле у окна в угольной, то на кресле у окна в зале. Недели через три пришел ответ от Петра Николаевича: он писал, что видеть меня у себя более не может и «даже рад, что судьба избавила его от такого негодяя и пустоголового малого... Теперь мне не до него. Жена приговорена докторами, и жить ей осталось не более недели... Представь себе, Маша, что я должен чувствовать?..»

С того дня дядя уже не имел влияния на мою жизнь; Александра Никитишна умерла, и сам он прожил после нее недолго. Изредка получали мы от него письма; под конец своей жизни он простил мне и вспоминал иногда обо мне в своих приписках.

Скоро стал я всматриваться в наших девиц. К Дарье Владимировне уже я чувствовал некоторое недоброжела-

тельство за то, что она племянница Ольги Ивановны. Эта тридцатишестилетняя брюнетка с мелкими и правильными чертами лица, томными глазами, величественною походкой и тяжелым разговором не нравилась мне еще во время своего приезда с тетушкой к Петру Николаевичу. Здесь же она казалась мне совершенно не на своем месте. Во-первых, она беспрестанно говорила о нравственности, о религиозных обязанностях, о порядке мертвым и сухим языком; говорила целые тирады из Расина, а я тогда, признавая его гением на словах, не мог дочесть до конца ни «Федры», ни «Гофолии». Вместо «Айвенго», Ольга Ивановна говорила «Ивангое»; возьмет Делиля, подтянет подбородок, поднимет руку и глухо начнет: «Oh! comme en voyageant dans le vaste empyrée l'imagination parle à l'ame inspirée!»[1] Иногда, прохаживаясь вместе с Дашей по комнатам, вдруг скажет громко какую-нибудь фамилию: Roger de Rabutin comte de Bussy[2]. Всем она распоряжалась в доме и саду; с томною гордостью и молча смотрела на слуг и горничных, если пыль где-нибудь не была стерта; на садовника, если он не там посадил георгины, где она велела, не доделал, переделал... Медленно и систематически деятельная, точно нерусская, носилась она в черных, синих и коричневых платьях и с локонами везде, где ее не спрашивали... и даже (о Боже!) однажды, вошедши случайно в девичью, я увидел, что она дала громкую пощечину Катюше, которой было тогда уже семнадцать лет и которая тотчас же заплакала.

Но ничто так не отвратило меня от нее, как ее поступок с Пашей Потапыч. У нас был один беглец, Ефим; без меня он вернулся и просил прощения. Ефим был бледен, худ, одна рука была переломлена и плохо залечена. Тетушка сделала его лесником в той самой роще, в которой Палемон воспитывал Бенедикта и Леона и дрался на шпагах. Он скоро сблизился с Пашей. Рябины, худощавость и черная борода не мешали ему нравиться, а Паша была чувствительна. Я помню, как она задумчиво вздыхала, когда я читал ей из «Живописного Карамзи-

---

[1] О! как, странствуя в беспредельном эмпирее, воображение говорит душе вдохновенной!

[2] Роже де Рабютен, граф де Бюсси.

на» о борьбе Мстислава с Редедей. «Если ты меня победишь, возьми жену, детей и всю землю мою»,— говорил бедный великан. Я грустил в душе, а Паша, громко вздыхая и качая головой, повторяла за мной: «Возьми жену и детей!» Иногда она пела про девушку, которую на охоте встретил барин и взял за себя, и всякий раз плакала. В Петербурге, когда мы с тетушкой ездили к брату, она водила меня в Летний сад, в церковь, смотрела со мной вместе по вечерам в окна на Невском; на свой собственный бедный пятачок покупала мне яблок или пряников на лотках. Ее молодое, курносое и доброе лицо не выходило у меня из памяти. Едва ли бы у тетушки достало духу так строго наказать ее, если б не Ольга Ивановна. Узнавши, что Паша в тягости, она с негодованием прибежала к тетушке и сказала ей, что надо примерно наказать такую бесстыдницу, которая забыла, что в доме есть молодые барышни, забыла всю доброту Ольги Ивановны, два ситцевые платья, которые она давала ей в год, и даже старый мериносовый салоп! Паша осмелилась отвечать, что служит она не ей, а Марье Николаевне.

Я воображаю, что говорила Ольга Ивановна о разврате в доме и о слабости тетушки! И вот Пашу отдали за мужика, который недавно овдовел, а Ефима сослали в арестантскую роту. Ольга Ивановна хотела даже настоять, чтоб Паша носила не кичку, а сборник: пусть все видят, что она наказана; но тетушка не согласилась на это и, говорят, даже заплакала, услыхав из спальни рыдания Паши. Каково же мне было слышать все это! Еще долго строгие и дельные характеры будут у нас неприятны и неуважительны; а тогда-то каково было смотреть на все подобное и чуять неопытным умом, что одно спасение в снисходительной распущенности, даже в слабости!

Дарья Владимировна была приятнее тетки. Она, бесспорно, была красива собой: высокая, гибкая, черноволосая, с римским носом и живыми карими глазами, во мнении многих она могла слыть за красавицу; но я ненавидел тогда все монументальное, высокое и величавое и любил только доброе, свежее и простое. А она проста не была. Походка ее была еще величественнее теткиной, потому что, при росте ее и стройном стане, ей было

сподручнее и больше к лицу так ходить; но Клаша скоро сообщила мне тайком, что это вовсе не ее манера, а что она провела последнюю зиму в Петербурге у одной графини, которая так ходит и говорит даже всегда протяжно и слабым голосом, как Даша теперь, но что у Даши это скоро пройдет. Дарья Владимировна была гораздо образованнее Клаши; воспитывалась она в очень светском доме; по-французски говорила изящно, хотя иногда слишком игриво и изысканно для русской; знала немецкий язык и немного английский; читала множество романов; танцевала как сильфида, склоняясь слегка к кавалеру; могучим контральто исполняла самые знаменитые итальянские арии. Цыганские романсы пела она по-цыгански, с теми же движениями, с теми же неправильностями выговора; вместо силы употребляла всегда раздражительность; не скажет просто: *мы две цыганки черноброеые,* а всегда *черррнобрровыя.* Клаша удивлялась и завидовала ей.

— Посмотри,— говорила она мне,— какие у нее прекрасные руки.

— Что ж тут хорошего! Длинные, предлинные пальцы, большая, белая, мягкая рука... как мертвая! Твоя лучше,— отвечал я, поднося маленькую, сухую руку Клаши к своим губам.

— Как же! — возражала Клаша со злобой в глазах,— где нам с ней равняться! Она петербургская, а мы здешние. Она красавица, а я что?

— Красавица! — возражал я.— Терпеть не могу таких наглых глаз. Прыгают, прыгают, и руками жесты, и что за позы!

До поз Дарья Владимировна была большая охотница. Раскинется на диване, ноги подберет под себя или выставит слегка носок красивой ботинки, рука висит где-нибудь, а голова назад. Тетушка была не совсем довольна этой манерой и, заставая ее неожиданно в таком положении, любила сравнивать ее с Клашей.

— Я бы вас обеих в одной ступе столкла: тогда бы из вас, может быть, что-нибудь путное вышло. Ну, посмотрите: одна всегда толкачом сидит, как деревянная, а другая целый день кость костью по софам валяется.

Клаша была совсем иного рода. В те года чувственное избирательное сродство было сильнее всего, а преж-

няя вялая, бледная и полная девочка сделалась к этому времени тоже довольно полной и довольно медленной, но цветущей блондинкой. Глаза ее были бездушны; но над ними чернелись брови такие тонкие, ровные, точно нарисованные, и белый лоб был без малейшей морщины. Двигалась она робко, часто озиралась при чужих, боялась хоть на минуту подняться над самыми вседневными разговорами, считала себя неуклюжим существом, приходила в отчаяние от полноты своего стана, вальсировала тяжело, сгорая от робости и самолюбия. При чужих и в гостях я не любил ее; но я любил ее дома, в простом холстинковом платье, с нашей домашней речью, в роще за грибами, в саду на клубнике, в моей комнате на диване. Тут мы беседовали, шутили, смеялись без конца. Она, точно так же, как и я, любила Подлипки, знала до совершенства каждый закоулок, понимала меня, когда я говорил, что в Подлипках и умирать, должно быть, легче, что здесь самая трава имеет больше смысла, чем в других местах; знала по имени каждого крестьянина, каждого ребенка в деревне; знала, кто злой и бьет жену, кто добр и не бьет или бьет мало; любила ходить на свадьбы осенью и зимой, сидела там в почетном углу, и ее величали в песнях. С одного взгляда понимали мы друг друга; тетушка кашлянет от радости или гордости, когда я войду, Ольга Ивановна сделает тонкое или благородное лицо — мы переглянемся только, и знаем каждый, о чем думает другой.

По возвращении моем от дяди мы недолго церемонились с нею; через неделю стали на «ты», играли в фофаны, дураки, зеваки, пьяницы, даже в носки. Я гонялся за ней по комнатам, ловил, бил картами по носу, а Дарья Владимировна сказала мне, когда я хотел с ней сделать то же: «Нет-с! Уж меня оставьте. Une fois pour toutes je vous prie d'être poli[1]. Я не охотница до грубых манер. Я к ним не привыкла».

От Клаши узнал я все, что случилось без меня в Подлипках: узнал, как умирали мадам Бонне и Аленушка, как Степан женился на Наталье, как Наталья испугалась, что барыня будет гневаться, и убежала из Подлипок, как ее вернули, какой платок был у нее на голове в день

[1] Раз и навсегда прошу вас быть вежливым.

свадьбы, какой сюртук на Степане — все, одним словом, все в самых живых и забавных чертах. И доброты я в ней видел много самой утонченной. Еще прежде, в один из своих приездов к дяде, тетушка Марья Николаевна жаловалась, что Клаша сбирала всех закинутых, больных и некрасивых щенят, вырастила полон двор Жучек, Арапок, Крикс, Розок, кормила их сама в корыте у крыльца и целовала их всех в морды. Наконец принуждены были половину раздать, а половину перебить.

— Вздумала даже трехногого котенка воспитывать! Я его велела утопить. Такая гадость! — говорила тетушка.

Я был возмущен и, вспомнив об этом в Подлипках, спросил у Клаши, жалела ли она его.

— Еще бы! — отвечала очаровательная Клаша,— я ужасно плакала... Терпеть не могу этой злости. Как не хотят понять, что именно вот его-то и надо было взять, потому что у него только три ноги и его никто не любит...

Потом она вздохнула и прибавила:

— Да! сиротам и некрасивым всегда плохо!

II

Если б я мог всегда жалеть — жалеть не всех, не многих, а хотя бы одну и ту же!

— Что это вы, когда оденетесь, Даша, ходите, как Настастья Егоровна Ржевская... голову назад? — говорит Клаша.

Даша вспыхивает, и дело доходит до Ольги Ивановны.

— Что это, mesdames[1], вы опять грызетесь?

— Клавдия Семеновна не дает проходу с своими глупыми замечаниями.

— Видно, они не так глупы,— возражает Клаша,— когда вы обиделись.

— Молчите! у вас язык, как у змеи!

— Вы не можете запретить мне говорить...

Я одобряю Клашу взглядом. Ольга Ивановна обращается к племяннице:

---

[1] Сударыни.

— Я удивляюсь тебе. При твоем уме, при твоем серьезном воспитании, ты можешь доводить себя до этого! Это непростительная слабость. Ты должна презирать этот вздор и не забывать тон того общества, к которому ты привыкла с детства.

Дарья Владимировна совсем забыла этот тон. Она даже кричит теперь, когда сердится, а в сентябре она говорила таким певучим и нежным голосом...

Дарья Владимировна уничтожает полувзглядом; она продолжает гордо ходить по зале, и шелковое платье ее шумит. Клаша, лукаво улыбаясь, толкачиком сидит у окна; я рад, что наш деревенский принцип победил; но входит тетушка, и дело принимает новый оборот.

— Ты, мать моя, опять куролесишь? — говорит она Клаше. — Другая бы на твоем месте старалась лучше позаняться чем-нибудь хорошим от людей, которые больше свету видели... а ты только причудничаешь да жалишь всех. Не забудь, что ты сирота!

Клаша убегает в угольную; тетушка, которая была тогда еще бодра, следует за ней и флегматически точит ее еще с полчаса. Кончается тем, что Клаша, рыдая и заткнув себе уши, начинает биться головой об стену. Тетушка в испуге уходит, а я обнимаю сироту и утешаю ее ласками, словами, насмешками над нашими противниками. Она смеется, пьет воду, которую я ей подаю, припадает ко мне на грудь и потихоньку продолжает рыдать. Потом утихает вовсе, улыбается, и мы целуемся. Какой свежий поцелуй! Как не заступиться!

Опять целый ряд живых, по бессвязных картин... В часы страстного уединенья я любил воображать себе страну, где девушки просты и уступчивы, а мужчины невинны и молоды, как я. Не шутя забывался я иногда над мечтой о прелестном крае. Вот жертвенник; солнце заходит; пальмы и хлебные деревья осеняют чистые, прохладные хижины. Кругом океан; несколько простых земледельческих орудий... Десять молодых девушек в венках из листьев и цветов выходят из хижин и танцуют около алтаря. Никакие лишние украшения не скрывают их едва созревшего стана, простое ожерелье из береговых раковин на шеях и полосатая одежда около бедер... В числе их Клаша, Людмила и две губернаторские дочери, с которыми я когда-то танцевал. А мы, их верные и

преданные супруги, идем с охоты домой. И на нас нет ничего лишнего. Мы молоды, красивы и сильны. Здесь нет безвкусия, нет идеалов, бледности, страданий, злобы, холодного разврата обыкновенных мужчин; нет Ольги Ивановны; но есть книги и музыка, и выбор здесь основан на наивном влечении. Хотя и жалко мне было Дарьи Владимировны (все же она в Подлипках живет!), но я не мог ее допустить на этот остров, а бедного Юрьева допустил за голубой бисерный кошелек, сделанный, быть может, какой-нибудь непривлекательной, но любящей родственницей. Но мадрепоровые скалы, на которых должна расцвесть такая жизнь, еще не готовы; а страдания не ждут!

Не только пальм я не могу видеть, но не вижу давно груш и яблонь наших на близкой куртине, не слышу, как шелестит наш серебристый тополь под моим окном... Вот уже неделя, как я не встаю... Бесконечные дни, душные ночи, жар, жажда... боль!.. С какой страстной благодарностью обращаю я взгляды на дружескую руку, которая подает мне пить, поправляет подушки, освежает пылающую голову!

— Подержите мне голову,— говорю я сквозь сон,— у вас такая белая, прекрасная рука... Мне легче так!..

Тетушка растерялась, и ходить за больными она не умеет; Клаша все говорит: «Пройдет! Это он так только!» Она ведь, как я, не верит величественному, не любит трагедии, улыбается при виде хлопот, деятельного добра, которое редко обходится без неловкого напряжения... Но кто же это ухаживает за мной с педантическим рвением, кто ловит взгляды мои, кто сносит мои причуды? чей правильный профиль вижу я ночью при свете лампады на креслах в углу? Взгляну, заноет душа смутной благодарностью, и опять ночь и беспамятство... Долго не смыкала надо мной глаз Ольга Ивановна; только в последние дни сменяла ее племянница, и она не пренебрегала мною, холодные голые ноги мои грела в своих руках... Мучения мои невыносимы... Приходит священник... Я плачу и верю и не верю, что буду жив... Как мне, мне умереть? Нет, это невозможно! Для чего же я жил?.. Я плачу и говорю старику, который вздыхает, наклоняясь к моему изголовью: «Клянусь, ей-Богу, я зла никому не желал. Ах, помолитесь, помолитесь за меня!

Я развратен и очень грешен... Боже! прости меня... Я ведь никому зла не желал...»

Тогда и Клаша входит робко.

— Что? как ему? Даша, дайте я посижу, а вы отдохните...

— Нет, нет, Даша,— говорю я,— не надо мне ее, не надо никого, кроме вас... Скажите ей, чтоб она ушла...

Однако время бежит своим чередом, и я уже на ногах, понемножку выхожу в сад, осмелился и в поля, но так ослабел, что встречный мужик подвез меня на телеге. А там, глядишь, уж я и на лошади... Цвету опять, смотрю, как едет впереди Даша верхом и около нее молодой белокурый поляк с эспаньолкой, с нею ему веселее, чем с Клашей: Даша умеет говорить, Даша поет не одни пустые романсы, Даша молодецки ездит верхом, с Дашей он мог бы гордо гулять под руку по улицам...

Бедная Клаша едет сзади в коляске с старухой. Легким галопом я догоняю ездоков и прислушиваюсь.

— Чувство,— говорит он, играя концом мундштука и опуская глаза,— чувство может быть развито или приостановлено... как все другое, если хотите...

— Если хотите? — спрашивает Даша, оборачивается к нему и, гордо подняв голову, бросает на него насмешливый и томный взгляд.

— Конечно,— отвечает он, немного наклоняясь к ней,— о! конечно! все зависит от женщин... Qui est-tu Leli? Ange ou dèmon?[1] Вот в чем вопрос!

Еще гордый, но не гневный взгляд; удар хлыстом, и она понеслась. Мы за нею.

Бедная, бедная Клаша!

Я решился спросить у поляка откровенно, как он находит мою фаворитку.

— Она мне не родственница, и мне, право, все равно,— прибавил я.

— Что же... Если хотите откровенно... Белый хлеб!

Поляк может нравиться. Он строен и худ, был разжалован за что-то и носил солдатскую шинель; он читал Занда и Бальзака. Глядя на него, я думаю о чем-то лихом и свободном. Косцюшко, Хлопицкий, Баторий по-

[1] Кто ты, Лелия? Ангел или демон?

собили бы ему, если б он даже был и не строен, и не худощав, и не говорил бы ни слова из «Лелии». Но что сказать о нашем уездном судье? Видали ли вы подло — красивых денщиков с сережкою в ушах и с нафабренными усами, небольших ростом? Вот вам судья. На дворе зима, ночь и мороз; уездный городок наш справляет святки. Народ гуляет и поет на улицах; в светлых окнах мелькают тени; у предводителя маскарад. Тогда чувств не было никаких, кроме снисходительности, веселости и тщеславия; я не удивлялся ничему, но зарубил себе кое-что на память. Особенно то, что судья был одет в длинную черную мантию и на шляпе его колебались три огромные страусовые пера, и еще то, что дама его, испанка, в черном вуале, была гораздо выше его. Она сидела задумчиво в углу целый час, а он, сняв маску, долго говорил с нею. Вечер пролетел; исчез огромный секретарь, одетый султаном, и его худая султанша, исправница; исчезли все тирольцы, кучера, цыганки и путеводительницы нашего польского день и ночь — одна в белой кисее с золотыми блестками, другая — в черной кисее с золотыми звездами... Пришла и настоящая ночь. День наступил пасмурный и снежный. В Подлипках както лучше! Мне хорошо, и Клаша улыбается. Забравшись наверх, играем мы с нею в носки, и хохочем, и возимся... В минуту отдыха и молчания мы слышим громкий разговор внизу... Идем к лестнице; Ольга Ивановна сердится. Она ходит по зале, заложив руки за спину; тетушки нет, а Даша стоит, опершись на экран, у камина, и лицо ее обезображено рыданиями.

— Стыдитесь, стыдитесь! — говорит Ольга Ивановна.— Какая-нибудь секретарша смеет говорить про вас, смеет делать мне намеки. И что вы нашли в этом судье? Жалкое вы существо!..

Даша, все еще рыдая, всходит на лестницу, и мы с Клашей молча даем ей дорогу... Бедная красавица!

Годам к восемнадцати я успел, однако, составить себе план будущей жизни, и многое казалось в нем правдоподобным. Все прежнее мне не нравилось, представлялось чем-то суетным и беспорядочным. Я краснел, вспоминая о любезностях своих с дамами, о польках, об аплодисментах, о Фигаро и Розине; находил, что злобное презрение Березина и добродушное пренебрежение Юрьева были

основательны, и идеал мой стал ясен, хотя и не слишком прост.

Стать добросовестным чиновником вроде Николаева (его сделали, я слышал, камер-юнкером), входить куда-нибудь не шаркая, но серьезно и немного увальчиво, в виде молодого англичанина, скрывающего под суровой оболочкой пламенное сердце... Пусть будущий юноша вступает ко мне в комнату с таким же благоговением к незнакомому Бэкону или Юму, с каким входил я когда-то к Николаеву.

Судил я почти всех молодых людей строго.

— Помилуйте! Он ничего не знает, ничего не наблюдает, ничего не делает. У него нет никакой теории. Что это за человек!

Я давал себе слово не следовать примеру брата Николая, который, как я слышал, готов волочиться за всякой и недавно писал к нам из Петербурга, что он два раза сидел под арестом за какие-то шалости в немецком клубе. Я буду не таков; для чего это молодечество, этот глупый романтизм? Надо быть положительным человеком. Пусть говорит обо мне и начальник, и товарищ с теми надеждами и тем уважением, с каким говорят о Николаеве. Я также тверд и пренебрегаю женщинами; но он болезнен, а я здоров, крепок, я невинен, как Поль, и буду после умеренно — разгулен и добр, как Rogers — Bontemps[1]. Умна и счастлива та девушка, которая проживет вместе со мною (камер-юнкером, читающим английских мыслителей) этот переход от первого к последнему. Я трудился, учился, читал и думал, что открыл еще никому не известный путь к счастью.

Веселая доброта, комфорт, постоянный труд и постоянное наслаждение без вреда другим — вот мои девизы... что-то вроде Беранже; но думать об этом духе, высокой стороне французского характера, выработанном из животворного единения христианства, чувственной философии и гражданского равенства,— не значило, к несчастью, обладать этим духом... Самая внешняя сторона жизни, независимая от меня, не поддавалась подобному идеалу; я не видел около себя ни свободной Лизетты, ни сестры милосердия, увенчанной розами.

[1] Роже Бонтан.

Большой тополь, который осенял верхние окна и балкон нашего небольшого, но красивого каменного флигеля, сводил меня с ума. Он и зимою был живописен, когда весь покрывался инеем и на сучьях его дрѐмали галки, стряхая с него серебряную пыль. Внутри верхний этаж недавно отделали заново; никто еще не нанял его, и я решился обратиться к Ольге Ивановне, просить ее помощи для переселения в живописное и уединенное жилище. Одинокая самобытность сглаживает что-то, думал я. Евгений Онегин жил один; все герои французских романов жили одни; конечно, Бенедикт у Занда жил на ферме дяди; но разве не мешали ему там? Жак? тот был женат, но это все не то: выбранное им самим семейство, в котором все смотрели на него как на первого, в котором самые страдания были высшего разбора и откуда только *непрактический ум* вырвал его для неуместной смерти. Разве это то? Конечно, у нас в доме просторно, опрятно, даже богато; но у Доримедонта руки всегда так грязны, у него такое денщицкое лицо с огромными усами; тетушка до сих пор не позаботилась ввести перчаток для обеда, и люди навертывают салфетки на пальцы. Ольга Ивановна, Даша... какая скучная патриархальность! Еще недавно меня выгнали из моей комнаты, потому что Вера (моя бывшая няня) остановилась у нас с шестью детьми. Какая она стала толстая, ходит без воротничка, в ситцевой блузе... Не так бы я жил отдельно.

— Не скрывайте,— сказал я Ольге Ивановне,— что вы имеете огромное влияние на тетушку. Вы не виноваты; она имеет большое уважение к вам. Другая бы употребила во зло ее доверие, а вы... Маленькие все эти ссоры!.. Стоит ли на них обращать внимание. Устройте-ка мне это дело!

Ольга Ивановна пожала мне руку и засмеялась.

— Vous êtes un bon garçon[1]. Постараюсь и сделаю, что могу.

Через неделю я перебрался во флигель, несмотря на то, что Доримедонт остался при мне и по-прежнему говорил: «Лучше дам голову срезать, чем сбрить усы». Блаженство мое дошло до такой силы, до какой не доходило оно никогда уже после и на лучших квартирах.

---

[1] Вы славный мальчик.

Никакие поверхностые фантасмагории детства не могли сравниться с той глубокой теплотою, которою я тогда согревал и настоящее и мрак будущего; я доходил до страдальческой, незнакомой до того времени неги. Помню, как не раз, устав от работы, ходил я быстрыми шагами по комнате, и все, что попадалось мне на глаза, все волновало меня так сладко, так чудно, что подобных минут после я не помню. Все радовало меня в этот год: и то, что в камине совершается процесс горения, а не просто горят дрова, и то, что в Подлипках прозябают растения по всем правилам науки, выдыхая кислород и поглощая углекислоту (точно в Америке какой-нибудь!), и то, что в Москве в морозный и солнечный день на соседней стене пробегает тень от дыма; и реформация, и походы Александра, и Белинский, над которым я уже тогда не дремал... Куда ни оглянусь, везде меня ждет счастье!.. Книг у меня много, одна лучше другой; не говоря уже о содержании, какие есть переплеты! Роскошные сафьянные и скромные с белыми, голубыми и красными буквами на дикой и гороховой бумаге... В Москве вечером миллион огней, и сколько милых девушек ожидают меня со всех сторон — и за зеркальными окнами, и за радужным стеклом лачужек, в которых есть своя красота.

Тогда и Клаша часто прибегала ко мне в салопе по сумеркам. Вечер месячный; мы сядем с ней на диван или у окна; на улице мелькают сани, скрипят кареты. Обниму ее одной рукой; она приляжет ко мне и поет:

С ним одной любви довольно,
Чтобы век счастливой быть!..

Или:

Что затуманилась, зоренька ясная...

— Неужели, Клаша, все у нас с тобой так и кончится?

— Не знаю.

— А я знаю, что если я так часто буду ходить к тебе сюда, я влюблюсь в тебя...

— Что ты!..

Мы обнимаемся.

— Ты знаешь ли, что мне даже иногда неприятно, если ты начнешь вспоминать о своей Людмиле...

— Милая! милая! — говорю я...

Она уходит, а я, как возрожденный, бегаю по комнатам, пою, танцую; но не ее минутная любовь мне дорога — мне дорого право надежды на многое в будущем, если в восемнадцать лет я слышу такие речи.

III и IV

На эту же зиму приехал к нам брат из Петербурга. Он вышел в отставку, отпустил небольшую бороду, и статское платье шло к нему еще больше военного. Выражение лица его по-прежнему было привлекательно; он возмужал. На несколько времени он сделался для меня идеалом, противоположным Николаеву, полюсом его; они дополняли друг друга, оба годились бы в герои тех длинных романов, которые я рисовал у дяди на полулистах... Джентльмен и лев, блондин с короткими волосами, гладко выбритый, и брюнет с бородой, делец и вивёр, англичанин и француз. Впрочем, француз Николай был плохой и раз, немного растерявшись, при одной княгине сказал, вместо «un chien enragé» — «un chien arrangé»[1]. Такие промахи случалось делать ему нередко, и я скоро стал чувствовать смутно, что он не имел бы бóльшого успеха в том обществе, где мог иметь вес Николаев и где я надеялся со временем блистать. Особенно сильно, если и не ясно, почувствовал я это один раз, когда брат, рассматривая меня, сказал:

— Ты собой недурен; но ты никогда не будешь производить фурор между женщинами. Ходишь ты, как-то согнув колени, неловок...

Так стало досадно! И я с удовольствием подумал, что есть большая разница (не только качественная, но и количественная) между Николаевым и подобными ему людьми, трудолюбивыми, увальчивыми и небрежными в обществе, и братом, у которого и фрак всегда разлатее, и волосы завиты, и лицо уж слишком триумфально. Через несколько лет я узнал, что я тогда был прав; нашлись люди, которые сказали мне:

«У вашего брата много молодцеватости не совсем хорошего тона, и потом, к чему он, как разоденется, так

[1] «Бешеная собака» — «приведенная в порядок собака».

и шляпу уж не просто надевает, а локоть отведет, и все движения сделаются как будто риторические?»

Но все-таки Николай был поразительно красив; нельзя было не любоваться им, когда он входил, например, в собрание... Десятки взглядов обращались на него: рост, благородные черты лица, сила и легкость движений, фрак, сапоги — все было так хорошо, что почти все другие мужчины перед ним казались и хилы, и неловки, и дурно одеты. Зато же и нравился он женщинам! Его убили двадцати девяти лет на Кавказе, после того как он, проигравшись, поступил опять на службу, и в эти девять-десять лет, от восемнадцати до двадцати девяти, сколько приключений, успехов, романов! Были тут и молодые крестьянки, и девицы, и вдовы, и замужние женщины. Одна не хотела расстаться с ним, дней пять держала его на станции: сядет в возок — дурнота, надо еще подождать; другая, которой доктора запретили иметь детей, умерла в родах, скрыв от него свою тайну; богатые наследницы искали его руки. Но странно то, что все эти женщины бранили или ненавидели его потом, жаловались на него, презирали себя и его, и одна из них сказала своей приятельнице, за которой он тогда ухаживал: «Что тебе за охота?! J'ai eu aussi le malheur de m'encanailler jadis avec lui!»[1] Конечно, я все это узнал после, не в этот раз, мало-помалу; тогда же я видел в нем только изящного и доброго человека. Жаль только, думал я, что он ездит по ночам в какие-то темные, грязные, страшные места и смеется над постом и проч. Впрочем, это он, я думаю, не от души, а так перед другими показать... это все лучше.

Клаша была в восторге от него. Какие манеры! Как добр! Как танцует! Как одет! Как хорош! Брат обращался с нею снисходительно, весело и небрежно; скоро стал он ее называть просто «толстенькая».

— Эй вы, толстенькая! — кричал он иногда после обеда, развалившись на диване, — подите сюда! Рассказывайте мне сказку.

— Что я вам буду рассказывать? И с чего вы это взяли?

— Ну-ну, не сердитесь...

[1] Я тоже имела несчастье однажды связаться с ним!

— Да я не сержусь. Я не знаю ничего.

— Садитесь около меня на кресло и дайте мне вашу руку... Рука недурна! Владимир, рука ведь недурна? А? Ты, я думаю, с ней коротко знаком... Расскажите, толстенькая, в кого вы были влюблены прошлого года?..

Она молчала; а я, лишь бы только угодить Николаю, забывал дружбу и рассказывал ему про нее, как она ревновала поляка к Даше, как она выписывала из книги стихи... Она рвалась бежать; брат держал ее за руки, а я представлял все в лицах.

Однажды я застал Клашу в слезах.

— Что с тобою? Что с тобою?

— Оставь меня...

— Скажи, прошу тебя.

— Ах, оставь!..

— Ты не имеешь ко мне доверия. Ты скрытна со мной... А мне можно все сказать.

— Тебе-то и нельзя. Ты будешь смеяться...

— Если ты влюблена, так я не стану смеяться... Если б имела привычку *форсить*, я бы смеялся; но, когда такие люди, как мы с тобой, которые не форсят, влюбятся, тогда смеяться нельзя. Ты влюблена в Николая?

Клаша, не отводя рук с платком от лица, покраснела и кивнула головой...

— Так что ж за беда? — сказал я,— он может на тебе жениться...

— Никогда, никогда! — возразила Клаша.— Разве я пара ему?.. Он такой distingué![1] А я и мазурки порядочно танцевать не умею...

Я утешал ее, как мог; пробовал даже очернить брата для ее пользы и для своей выгоды.

— Он ничего не делает,— начал я...

— Ничего не наблюдает, ничего не читает,— докончила Клаша.— Ах, если б ты знал, как эта ученость в тебе противна... философ!

Ревновать и сокрушаться Клаша имела полное право. Брат веселился и кутил в Москве, и Ольга Ивановна донесла тетушке, что он страшно ухаживает за одной француженкой, которая живет у г. Тренина, богатого и

---

[1] Изысканный.

сильного человека. Г. Тренин почти не выпускает ее из дома; они видятся урывками в маскарадах, и, говорят, она хочет бежать с братом в Петербург от своего тирана. Слухи эти были основательны, и Amélie[1] была даже у меня один раз во флигеле. Вот как это случилось.

Однажды вечером брат приехал очень задумчивый и долго говорил с тетушкой в ее кабинете. Я слышал, что тетушка плакала, брат говорил что-то громко, потом вышел оттуда с расстроенным лицом и, обратясь к Ольге Ивановне, которая вышивала в зале, сказал ей:

— Это все ваши кляузы и доносы.

Ольга Ивановна вспыхнула и хотела отвечать, но брат перебил ее.

— Наслаждайтесь, наслаждайтесь тем, что старуху тревожите... Мне-то все равно. Помните только, что и на моей улице будет праздник.

— Вы с ума сошли! — сказала Ольга Ивановна.— Я вас не понимаю...

— Хорошо-с! Владимир, пойдем со мною.

Во флигеле брат несколько времени ходил скоро и угрюмо по комнате. Я, наконец, решился сказать ему:

— Послушай, Николай! зачем ты тетеньку сердишь?.. Может быть, это в самом деле тебе будет вредно...

— Что? И ты веришь этой старой ханже?

— Как тебе не грех говорить так! Тетенька почти святая женщина...

Брат сперва захохотал, потом вдруг, насупив брови, подступил ко мне:

— Святая? святая? Это почему? Потому что она эпитрахили и воздухи золотом заказывает по бархату вышивать?.. А помочь племяннику не надо? На это нет денег? А? Что? на это нет денег?.. Ханжа, скряга старая!..

Я молчал и хотя был сильно огорчен за бедную тетушку, но все-таки подумал: «Вот человек! Даже сердится-то красиво! как он согнется! как рукой махнет!..»

— Слушай, Владимир,— начал вдруг брат спокойнее.— Правду ты сказал тогда, что Клаша меня любит?

— Любит, любит... Она вчера плакала об этом...

Брат усмехнулся, сел к столу и начал писать записку, запечатал ее и просил меня отнести поскорее к Клаше.

---

[1] Амелия.

Клаша с трепетом открыла ее. Лицо ее выразило волнение, глаза блистали, щеки загорелись.

— На, прочти, — сказала она.

«Выручите меня из беды (писал Николай). Я проигрался... Сделайте, что можете, я вечно буду помнить вас. Умоляю вас, выручите меня!..»

Клаша, пока я читал записку, бросилась к своему туалету, достала оттуда сторублевую бумажку, потом жемчужное ожерелье с бирюзовым фермуаром, маленькие брильянтовые серьги и кольцо.

— Мало ведь? — сказала она. — Вот образа! Я не знаю, как быть... Ведь это грех.

— Грех, — отвечал я.

— Что ж делать? Ах, Боже мой!

Она села на диван и начала все это завертывать в бумагу. В эту минуту вошла Дарья Владимировна. Мы оба покраснели.

— Это что значит? — воскликнула Дарья Владимировна с изумлением. — И образа сняли. Для чего это?

— Так; это мы смотрели, — сказала Клаша.

— А вам что за дело? — спросил я строго.

— Знаю, знаю я зачем! — отвечала она. — Ах, Claudine![1] Какие глупости! Надо знать, для кого делать. Неужели тебе не стыдно жертвовать благословением матери и всем для какой-нибудь гадкой француженки?..

— Душенька! — сказала Клаша, — не говорите никому, умоляю вас.

— Да я тебе говорю, чтоб ты это оставила. Надо знать, стоит ли человек такой жертвы. Одна мысль, что это для этой отвратительной женщины!

— Вы ничего не понимаете после этого! — сказал я. — Чем эта француженка отвратительна? Вы, я думаю, читали «Лукрецию Флориани».

— Что за сравнение? Впрочем, и Лукреция ваша гадкая.

— Если б вы не жили у нас в доме, я доказал бы вам, кто хуже: вы или Лукреция Флориани!

Клаша умоляла меня глазами и жестами, но я топнул и прибавил с большой досадой:

— Подите, доносите. Вы всегда за старших!..

---

[1] Клодин.

— Я одному удивляюсь,— сказала Даша грустно,— как это я имею терпение жить в таком доме!

Она махнула слегка рукой и вышла. «И поделом,— думал я,— можно ли препятствовать таким делам?»

Когда я принес вещи брату, он точно воскрес: схватил их, бегло рассмотрел, надел шляпу, снял ее, бросился к одному шкапу, к другому; позвал человека, дружески взял его за плечо, отвел к углу и шепнул ему что-то... Человек вышел, сел в сани и уехал.

— Что, эта Амелия хороша? — спросил я, когда мы остались одни.

— Она не красавица, но так мила собой и так умна... Да вот, если хочешь, ты можешь увидать...

— Где?

— Здесь, сейчас... Она заедет сюда, если только умудрилась отпроситься к отцу часа на два сегодня... Вот ты увидишь, что это за женщина! Как она поет из Беранже... И еще одну песню:

Chicandard et balochard!
Fuyez la boutique,
Ou s'fabrique la politique.
Par un tâs d'bavards!..[1]

— Да вот ты увидишь.

Вообразите себе мой восторг, мое нетерпение. Амалия приехала часа через полтора с нашим человеком на извозчике, вбежала и бросилась на шею к брату. Я почтительно встал.

— А это что за херувим? — спросила она (она чисто говорила по-русски).

— Это мой младший брат. Он заранее был уже от тебя в восторге.

Амалия поцаловала и меня и сказала:

— Ah! mon petit chon![2] если б я не обожала твоего брата, я бы тебя любила.

После этого я их оставил одних...

Вечером перевез человек братнины вещи на другую

---

[1] Шикарный франт и беспечный гуляка!
Прочь от этой лавочки,
Где кучкой болтунов
Делается политика.

[2] Ах! душенька!

квартиру, а на другой день уже многие в Москве знали об успехе его. Амели вернулась к себе. Г. Тренин, подозревая, что она заезжала к брату, запер ее, но Амели выставила сама потихоньку внутреннюю раму, выскочила из окна, села на извозчика и уехала к брату. Через неделю Николай простился с нами и увез Амели. Клаша опять плакала; брат из Петербурга прислал ей письмо, в котором благодарил ее за все,— и ей стало легче.

Долго не решалась она быть откровенной; наконец сказала:

— Как приятно жертвовать тому, кого любишь! Ты видел эту Амели; какая она — скажи.

— Она очень недурна. Небольшая брюнетка; лицо белое, нос немного en bec d'oiseau...[1]

— Счастливая! — воскликнула Клаша.— Таким гадким всегда счастье. И как он может ее любить? Мне все женщины, для которых он делает что-нибудь, противны. Я целую неделю Катюшу видеть не могла, когда он ее в карету от дождя пустил, а сам сел на козлы...

— Он должен был это сделать...

— Вот еще! для всякой дряни...

При этих словах все сострадание мое к Клаше пропало. Катюша к этому времени уже была для меня не горничная, и не просто Катя, подруга детства, *а даровитая простолюдинка,* священный предмет.

V

На этот раз расскажу вам, мой друг, о том, как я познакомился с двоюродным братом моим, Модестом Ладневым. Я не раз и прежде слыхал о родном дяде, Иване Николаевиче, отверженце нашей родни. Говорили, что он женился на потаскушке, что она загубила его век, была ему неверна, родных всех ненавидела и, случайно упоминая об ней, называли ее *фигурой.*

— Ну, что ж, долго была там эта фигура?

Ольга Ивановна отзывалась о них всегда торжественно: «Это несчастное семейство!» или: «Я видела вчера на Никитской этого бедного Модеста Ладнева!» Тетушка

[1] Напоминает птичий клюв.

Марья Николаевна, выговаривая мне однажды за то, что встретила меня в прихожей с Катюшей (она, улыбаясь, глядела мне в глаза, а я держал ее за руку), прибавила:

— Смотри, мой дружок, не шали! Вот дядя твой Иван Николаевич очень был добрый, а век свой погубил через эти глупости. Ларису Онуфриевну помнишь? Вот ту самую даму, которая тебе игрушечную табакерку с пружиной подарила?

— Не помню.

— Эх, какой ты! Тебе уже тогда 7 лет было. Еще горбатый старик из табакерки выскакивал вдруг. Так эта тоже... Elle a été aussi son amante!..[1]

Мать Модеста была дочь бедного чиновника из духовного звания. Вся семья ее пользовалась очень худой славой; одна из сестер Аннушки заставила своего мужа дать себе письменное обещание жениться, при двух свидетелях; другая разъезжала по разным городам с мужчинами. Дядя сумел, однако, ввести Аннушку в дом своей матери; бабушка ничего не знала; она слегла года на два в постель и не вставала уже с нее. Аннушку пускали за стол, но после жаркого ей приказано было выходить, «чтоб не зазналась»; пирожное относили к ней наверх.

О любви Ивана Николаевича к Аннушке старуха узнала незадолго до своей смерти, призвала сына, плакала и заклинала его не жениться... Иван Николаевич тоже плакал и обещал, но через месяц, не дождавшись даже смерти матери, женился. Старуха лишила его наследства. Начался раздел. Петр Николаевич и мой отец взяли по 400 душ, а тетушка Марья Николаевна получила 300. Братья из жалости решились отдать Ивану Николаевичу 100 душ в отдельной деревне. Он начал усовещевать их, требовать, чтобы они выделили ему все сполна. Отец мой отвечал, что мать не велела.

— Ты и возьми себе, — отвечал Иван Николаевич, — а после от себя... хоть деньгами... Тебе особенно, Петр Николаевич, стыд... Ты холост и молод, а у меня, положим, двое детей умерли, да третий, Бог даст, будет жить!..

Петр Николаевич вспылил и сказал ему, что человек, опозоривший семью низким браком, должен за счастье считать, если братья и 100 душ уделят ему Христа-ради.

[1] Она тоже была его любовницей!

Вышла ссора, и отцу моему много стоило труда удержать братьев даже от поединка. Иван Николаевич взял свою деревеньку и прекратил все сношения с братьями и сестрой.

Все это я узнал после знакомства с Модестом; тетушка всегда, вспоминая с состраданием о бедном брате, никогда не винила ни себя, ни богатых братьев.

Я знал, что Модест в Москве, что он студент, и часто думал, как бы сойтись с ним, как бы помирить его с тетушкой и уступить ему (со слезами на глазах) половину своего наследства; спрашивал себя, умен ли, добр ли он, интересна ли его мать. Наконец один знакомый студент сказал мне, что Модест ему товарищ по курсу и что он нас сведет у себя, если я хочу. Я желал встретить бледного юношу, аристократически привлекательного, изящного даже посреди нужды, но встретил высокого, худого, весноватого, курчавого и толстогубого молодого человека, не совсем опрятного, с изменчивым взглядом и огромным чубуком в руке. Он холодно пожал мне руку и улыбнулся насмешливо. Когда хозяин дома зачем-то вышел, я взял Модеста за руку и предложил ему дружбу.

— Что нам за дело до наших отцов! — сказал я.

Модест откинулся назад, не выпуская моей руки, тускло и долго глядел на меня; губы его дрожали: потом, вдруг, он бросил трубку и обнял меня крепко, приговаривая: «Володя, милый Володя!»

Слово за слово, мы освоились друг с другом, и, еще раз обняв меня в сенях, он сказал: «Приходи, если ты не презираешь скромной жизни».

Он жил с матерью на бедной квартире. Желтый домишко с зелеными ставнями на одном из самых дальних и пустых бульваров, полинялая вывеска красильщика, навозный двор, девка, нечисто одетая, — вот что встретило меня на их пороге. Имение их было недавно взято под опеку, и старуха приехала к сыну в Москву. Бедный Модест содержал ее почти одними уроками. Я приехал к ним вечером в ненастный мартовский день. Меня повели на антресоли по узенькой лестнице, и там увидел я и мать, и сына, и комнату их, довольно опрятную, но тесную и жарко натопленную... На столе, покрытом голубой бумажной скатертью, кипел самовар. Модест сидел с трубкой; старуха разливала. На ней не было чепца, и

вообще она казалась растрепанною; но остатки красоты заметны были в смуглой коже, больших черных глазах, в густой косе, еще мало поседевшей. Глядела она тоскливо, говорила жалобно, нараспев, стонала, хотя и не громко, но беспрестанно склоняла голову то набок, то на грудь.

Когда Модест, с чувством глядя на меня, представил меня ей, я поцеловал у ней руку, но не сказал ни слова. Пустословить не хотелось, а с грустного прямо начать было неловко. Анна Сергеевна покачала головой и спросила:

— Как это вы нас вспомнили, миленький мой?

— Я давно желал, тетушка...

— Полноте, милый аристократик, полноте! Что за охота богатым родственникам с бедными знаться... Что в нас? Угостить нечем, разговоров у нас нет...

— Что же это вы, маменька,— кротко перебил Модест,— таким приветствием его встречаете?.. Это не любезно.

— Ах, Модестушка! Ах, дитя! Разве можно от больной старухи любезности требовать?.. Видишь, как ты неопытен, мой милый друг, а тоже судишь!..

Модест пожал плечами. Я был смущен и старался завести разговор с ним, чтобы не слышать стонов матери, но все шло с трудом. Я боялся говорить так, как говорил обыкновенно, боялся оскорбить их чем-нибудь, обдумывал каждую фразу, тянул, останавливался, беспрестанно мысленно оглядываясь назад... Модест был угрюм, часто поправлял волосы, беспокойно взглядывал на мать. Когда старуха ушла, нам стало легче.

— Да, Володя,— начал он, вставая и прохаживаясь с трубкой взад и вперед.— Не легка жизнь нашему брату... Боже! буди милостив, Боже! буди милостив!

— Тебе очень трудно? — спросил я тихо.

— Нет, ничего,— отвечал он, тряхнув головой,— сила нужна, воля крепкая, железное сердце, а меня не обидел этим Бог. Без этого, брат Володя, я давно бы зачах. Ходи пешком за три версты на лекции да по урокам езди на ваньках по таким ухабам, что живот надорвешь... Дома больная старуха, плохой обед... Мысли своим чередом, страсти кипят вот здесь! (он ударил себя в грудь кулаком)... Иногда грудь так заболит, что схватишься за при-

толку да изо всех сил к ней прижмешься... немного и отдохнешь!

Я облокотился на стол в волнении, снял локоть, опять облокотился, снял нагар со свечи (пусть видят, что я не презираю сальных свечей!). Модест продолжал ходить по комнате.

— Модест! — сказал я робко.

— Что, душа моя?

— Переезжай к нам с матерью... Я знаю тетушку Марью Николаевну. Она не откажет мне. Ты ей поговоришь что-нибудь о почтении к старшим, она растрогается...

Модест сжал мою руку.

— Нет, Володя, нельзя! Я не могу так легко мириться с людьми, которые отравили жизнь моим родителям... моей матери, лучше которой нет на свете. Володя, друг мой! Тетушка Марья Николаевна важная госпожа. Она стыдится нас. Мы позор ее родни. Она первая перестала переписываться с отцом моим после его женитьбы.

— Она добра. Позволь мне написать и просить у нее позволения.

— Пускай себе, пиши. Только я не повезу к ней свою старуху. Я знаю, ты благороден, Володя; но я чувствую такую ненависть при одном имени тех, которых преследования сократили жизнь моего отца и испортили здоровье бедной матери...

— Послушай, Модест, кто же их преследовал?

— А самолюбие, Володя? Ты еще не знаешь, что такое amour propre rentré[1]. Ты знаешь, на острове Св. Елены, когда Наполеону сказал доктор, что у него рак, вошедший внутрь, так он отвечал: «Нет, это Ватерлоо, вошедшее внутрь». Многие имеют такое Ватерлоо. И она имела! Несчастная женщина! что она сделала им! Вина ее была та, что она не говорила по-французски, что она была не дворянка, а обер-офицерская дочь. Отец доказал, что он благороден, женился на ней; но все-таки он был мужчина, обеспечен; он обольстил ее, увлек. А она виновата тем, что человек хотел загладить свою вину против нее. Да ведь это — черт их побери, всех гордецов, собак безмозглых — да ведь это свинство, наконец. Эх, я знаю... она

[1] Подавленное самолюбие.

была скрытна, скрытна, скрытна; и под простой оболочкой иногда живут сильные чувства. Обида глодала ее. А брось он ее, и если б она потерялась, бедная, ее же бы в грязь втоптал всякий. Хоть при нем поела сладко, голубушка, поспала покойно. Да! а им всем, этим ханжам и скотам, подобно покойному дядюшке Петру Николаевичу, что за дело? Так-то, батюшка мой! А тебе все-таки спасибо...

«Сколько прав на счастье!» — думал я, возвращаясь домой.

VI

Это новое знакомство внесло новый луч счастья в мою и без того полную жизнь. К новому жилищу моему, к морозным лунным вечерам, к тополю, к книгам, к Клаше и к Катюше, к антологическим стихам — прибавилась живая христианская черта. Конечно, я уже и прежде старался усовершенствовать свой дух; но все это было так легко, так мало пахло жертвой, так скоро забывалось, приедалось, как будто портилось на воздухе... В самом деле, что стоило мне не драться с людьми, не бранить их? Были редкие минуты, в которые удержаться точно было трудно; но ведь я говорю, они были редки. Зол я не был от природы, и у нас в доме не с кого брать дурного примера. Тетушка никогда не дралась; разве когда была больна и ей становилось скучно, она позовет девочку и скажет ей: «Поди сюда, Матреша; дай-ка я тебя толкну пальцем в живот». Ольга Ивановна... Хотя я и принимался несколько раз ненавидеть ее за пощечину, которую она дала Катюше, но в другой раз она ни с чем подобным не попадалась мне... Приказчик, как я после узнал, бил мужиков в поле, но до меня это не доходило. Перейдя во флигель, я дал себе слово не толкать камердинера назад в живот кулаками, когда он подает мне сюртук, не бранить его, не кричать: «Эй, вы! Кто там! Федька! Платошка!», не свистать. Но это было не столько из доброты, сколько из желания быть порядочным человеком, годиться со временем в герои романа. Милостыня? Но разве она дорого обходится мне? Тетушка дает мне двадцать рублей карманных денег; и что мне стоило уделить

гривенник слепому старику, который стоял на коленях на бульваре и бил себя в грудь, выслать что-нибудь савояру, который так хорошо говорит «pour l'amour de Dieu»[1], или помочь бедной женщине на Кузнецком Мосту (ее, должно быть, кто-нибудь научил вместо Христа-ради кричать: «Дайте мне денег — я голодна!»). Все это потрясало и радовало меня на минуту. «Нет,— говорил я,— сделайте такое добро, чтобы чувствовать боль... Вот случай тебе: Модест... Сведи его с тетушкой и потеряешь часть наследства!»...

Он стал часто ходить ко мне, наговорил столько за один раз, что мне становилось и скучно, и стыдно за него. То он отдал последний грош товарищу. «Фамилия его была Дуров,— говорил Модест,— я его звал *Дурашка,* а он меня *Барашка,* потому что у меня курчавые волосы; мы с ним встретились недавно в магазине. Дурашка! Барашка! и ну, обниматься при всех, как безумные». То он любил свою деревню больше жизни...

— Под окном у нас,— говорил он с большой теплотою,— стоит огромная береза на курганчике... Отец покойник любил это окно. Голубчик мой толст был очень в последнее время; все трубочку курит и глядит сюда... даже и зимой. Березу эту он в самый день моего рождения посадил... Мать была очень хороша собою. Бывало, утром придет маменька в эту гостиную с венчиком, знаешь, из индеичьих перьев, сама пыль с этажерок сметет, станет обед заказывать при отце или работает. А он сидит и смотрит на нее. Захочет она уйти, он ее остановит: «Аннушка ты моя, куда ты? Посиди. Смерть люблю, как ты тут около меня шушлишься!»

Он показывал мне миньятюр Анны Сергеевны на слоновой кости, обделанный в золото, и клялся, что только самая крайняя нищета, голод, доведет его до продажи этого медальона.

В старом шкафу у них стоял большой пестрый кофейник отличного старинного фарфора: я тотчас же узнал, что он из одного сервиза с нашими двумя старинными чашками, которые, как святыня, хранились у Марьи Николаевны за стеклом, и вы не поверите, что расшевелил во мне этот прелестный кофейник!..

---

[1] Из любви к Богу.

Модест рассказывал мне нежно, что у него в деревне есть молодая крестница...

— Поверишь ли, Володя, она так хороша, так грациозна, так деликатно сложена, что ей приличнее было бы сидеть за роялем в шелковом платье, чем в панёве и босиком за сохой ходить.

Эта красавица вышла замуж, по словам Модеста, два года назад, за самого богатого парня из всего селения.

— Ребенок, совершенный ребенок! — заметил Модест,— вообрази себе, он еще растет и так меня любит, что весь вспыхнет, когда меня увидит, на лошади едет, обернется и долго смотрит мне вслед... Батюшка, батюшка! — прибавил он страстно совсем не таким голосом, каким говорят крестьяне.

Все эти рассказы: крестница, береза, медальон, дедовский кофейник, стенящая старуха, желтый домик с грязным двором и бедный, благородный студент, ныряющий на ваньке из ухаба в ухаб из-за рубля серебром в час... Какова эта смесь? Какие картины сменяли одна другую! Сколько прав на счастье, сколько близкой возможности! Каких-нибудь три-четыре тысячи серебром, и имение спасено. Несколько раз я думал, не попросить ли тетушку, чтобы она отдала мне мое имение в руки, и дать ему тысяч пять? Но, во-первых, тетушка умоляла, заклинала меня не брать моих доходов до полного совершеннолетия; с другой стороны, надо же быть положительным человеком: никто так не поступает, так, верно, что-нибудь тут есть неладное, глупое, или смешное, или неудобное? Лучше просто сблизить его с Марьей Николаевной и, вместо того, чтоб делиться после нее только с Петрушей и Николаем, поделиться и с ним. Она же и теперь может дать ему деньги.

VII

Новый мир мыслей, который открывался тогда передо мной, заставил меня презирать всякое безотчетное влечение; я старался не поддаваться ему в поступках и в выборе друзей, становился все больше привержен ко всему тому, что вязалось с подобными мыслями, что хоть несколько напоминало их. Сколько ни шептало мне чувство в

пользу брата Николая, как ни было мне «по себе» при нем, я считал его ягодой не нашего поля и намерен был сблизиться с Модестом, который в первые два-три свидания разложил передо мной, как продавец, духовный товар свой. Товар этот как нельзя более подходил под мои потребности, и, когда во мне в присутствии Модеста возмущалось чувство оскорбленной гармонии, поэзии такта, я пренебрегал этим внутренним голосом, считая его самой гнусной несправедливостью к человеку, который на скверных ваньках ездит во всякую погоду давать уроки, носит одежду студента, кормит мать и жалеет простой народ.

Тотчас по возвращении в Подлипки я расхвалил его тетушке, Ольге Ивановне и девицам и выпросил у Марьи Николаевны позволение написать к нему от ее имени пригласительное письмо. Я задавал себе вопрос: полюбит ли он Подлипки, поймет ли тетушку? Перед новым лицом и Даша, и Ольга Ивановна становились уже своими, и ими даже я не прочь был блеснуть перед двоюродным братом. Особенно Даша... Она могла бы быть так представительна, могла говорить такие известные французские фразы; над этими фразами мы могли смеяться с Клашей; но разве тот, кого я жду, не должен плениться всем у меня? И он пленится, это верно! Тетушка согласилась без труда. Она не имела ничего личного против племянника. Враждебное чувство против отца и в старину, верно, не было сильно, а года и легкую память досады убили в ней. Модест приехал рано утром. Он не велел меня будить, а сам пошел гулять по саду. Я недаром надеялся на барышень; они показали себя в самом выгодном свете. Обе оделись к лицу: Даша в белом кисейном платье с оборками, с пунцовой лентой на шее, а Клаша — в голубом с белыми горошками. Ее пышный стан, щеки, не уступавшие в нежности и яркости тем розам, которые были еще в полном цвету в наших клумбах, бледная свежесть брюнетки Даши, гостеприимство тетушки, наш вкусный чай и крепкий кофе, растворенные окна, шум аллей в саду, пение птиц — все это обворожило Модеста.

— Счастливец, Володя! — сказал он, обнимая меня, когда мы остались одни.

Встреча его с тетушкой была очень любопытна. Я ввел его в гостиную; он бросился к ней и начал цало-

вать ее руки с жаром. И слезы даже показались на глазах. Тетушка засуетилась, совалась целовать его то в щеку, то в лоб...

— Здравствуй, здравствуй, дружок мой,— говорила она взволнованным голосом,— очень рада, что ты меня вспомнил. Здравствуй. Как ты на отца похож! Садись, садись... Я слышала, мой друг, о вашем несчастии. Что же делать... Богу было так угодно!

— Сам бы я ничего, ma chére tante[1], но моя старушка...

— Конечно, мой дружок... Une mère![2]

За обедом Модест был очень разговорчив. Начал рассказывать, как он играл в благородном спектакле в губернском городе год тому назад, смеялся над некоторыми провинциалами, выставляя себя в виде ловкого и светского человека, так что на меня под конец обеда из-за скромного труженика выглянуло вовсе не знакомое лицо. На другой день он уже стал совсем как дома, декламировал стихи, особенно «Последнее новоселье», по-каратыгински гремел, шипел и стлался по комнате; делал также и комические штуки, представлял на тени не только обыкновенного зайчика, но и жующую старуху, и немца из платка с узлами. По утрам выходил уже не в студенческом сюртуке, а в коричневой жакетке, с носовым пестрым фуляром на шее и в широких клетчатых шароварах; умел с разбегу перебрасываться на руках через перила балкона и старался быть как можно ровнее с девицами; во время прогулок подавал руку то одной, то другой, так что похвальная цель стала уже слишком заметна. Клаша просила меня брать всегда ее. «Он не в моем вкусе»,— прибавила она.

Рассказывая что-нибудь, он часто приходил в сильный пафос, и всегда было ясно, что он насилует, подгоняет себя и не знает даже, как выпутаться из своего рассказа. Мне тогда становилось совестно и страшно. Клаша сознавалась мне в том же самом. Особенно когда он рассказывал мне про дуэль, которую чуть-чуть было не имел в том губернском городе, где он украшал собою сцену год тому назад. Под конец рассказа он стал запинаться,

---

[1] Дорогая тетушка.
[2] Мать!

краснеть, вскакивал, махал рукой и говорил Бог знает что. К счастью, дуэль кончилась примирением; противник извинился, и мы с Клашей переглянулись и вздохнули свободнее.

Ольга Ивановна на подобные оттенки не обращала внимания и хвалила его во всех отношениях:

— Он очень должен быть добр. У него много познаний. Он некрасив, но у него значительное лицо.

Даше тоже:

— Он очень интересен,— говорила она и уже начинала кокетничать с ним.

Модест сочувствовал всему в Подлипках. Плотно поужинав и выпив по рюмке хереса, уходили мы в нашу комнату и ложились с трубками в постель. Тогда он мне говорил:

— Здесь у вас во всем видно довольство. Видно, что люди не угнетены, а баловство не сделало их надменными.

Другой раз:

— Мать твоя очень хороша собой была. Я с удовольствием сравнивал вчера ее портрет с портретом моей. Между ними большой контраст. Одна белокурая, нежная, настоящий аристократический цветок, а другая смуглая брюнетка, с свежим румянцем — народная кровь! В одной все нерв, в другой — все кровь!

Или:

— Тетушка, однако, важный малый, патриарх такой милый, bon enfant[1] в высшей степени! И, знаешь, у нее есть поэзия. Я заметил это сейчас: все сидит у окна и созерцает; ничего не пропустит. Самый выбор горничных показывает, что у ней есть вкус. Какой ты, однако, счастливец, Володя! Я думаю, ты тут как сыр в масле катаешься. А? признайся.

— Ну уж,— воскликнул я,— я так тебе завидовал. Здесь нет возможности позабавиться. Тетушке все доносят, и она за поведением смотрит строго. Как это глупо, не правда ли? Она как узнает про какую-нибудь из своих горничных, так сейчас предлагает человеку, который ее обольстил, в рекруты или жениться. Один такой осел пошел в рекруты прошлого года, не хотел жениться.

[1] Добродушный.

Удивляюсь! Я бы сейчас на его месте... Она была очень недурна. Вот хотя бы взять пример из нашего сословия... Неужели бы ты не женился с удовольствием на девушке, которая пожертвовала для тебя всем? Чего еще хотеть? Как люди балуют себя, я не понимаю!

— Это благородный идеализм еще в тебе не остыл, Володя!

— Какой идеализм! Нет, я очень просто говорю, что жениться приятно на той, которую уже знаешь. Да и жалко ее. Девушки бедные всегда от мужчин страдают.

— Ах, Володя, Володя! ты уж слишком ценишь женщин. Они сами не знают, чего хотят. Я был знаком с женой одного молодого чиновника. Муж был гораздо красивее меня, однако я успел без труда. Она писала мне самые страстные письма. Я бы тебе их прочел, да они остались в Москве.

Девиц он определял так:

— Какие два характера! Я сейчас понял их. У меня взгляд так проницателен, что самому иногда больно. Клаша мягче сердцем; она способна сильно любить, кротко и в молчании: это Rose Bradwardine Вальтера Скотта; а та вся дышит силой и энергией. Какой рост, какой профиль, какой огонь в глазах! Вчера мы долго говорили с ней в саду. Я чувствую, что мы сойдемся... Она напоминает мне Сильвию в Жорж Занде.

— А ты любишь Занда? — поспешил спросить я с жаром.

— Нет,— отвечал он,— некоторых лиц нельзя не любить — вот как Сильвия или Лелия; но вообще, что за пошлая у нее борьба женщины против мужчин!

Эта фраза очень огорчила меня; но я скоро забыл ее, благодаря похвалам, которые он расточал моей обстановке; за похвалы окружающему, за умение поднять это окружающее, придать ему высший смысл, я готов был простить все пороки, всякую мелочность, всякое отсутствие правдивости и чувства меры.

Кроме всего сказанного, я не мог не полюбить Модеста и за то, что он обращался со мной как с ценной и крупной вещью, беспрестанно повторяя мне: «Твоя невинность и умная неопытность пленяют меня». Он прожил у нас две недели и чуть не со слезами уехал в Москву.

— Побыл бы и больше, да старуху жаль: она больна.

Тетушка была очень довольна им и советовала мне подражать ему.

VIII

О Софье Ржевской я часто мечтал, еще не видав ее. Воображал я ее себе девушкой сильной, недоступной, прекрасно воспитанной, может быть умной. Иногда казалось мне, что Софья та самая подруга-сверстница, которая гуляет в локонах с книжкой, ожидая меня где-то далеко, в лесу, на берегу реки. Клаша и Даша познакомились с нею без меня у Колечицких, молодых супругов и родственников наших, которые любили жить весело в своей прекрасной деревне верст за 50 от нас. От Колечицких наши барышни с тетушкой ездили к самим Ржевским и прогостили там с неделю. Бесцветные похвалы, которые расточали Софье Даша и Клаша, не могли еще сами по себе сделать ей большую честь в моих глазах; напротив того, уже первая потребность отчуждения от своих для любви была знакома мне; уже мне нравилось особенно *то, о чем* не могли знать и говорить *наши*, когда я услыхал от Клавдии Семеновны, вместе с похвалами, и живые описания из домашнего быта небогатых, но блестящих Ржевских. Клаша рассказывала мне о неприятных отношениях Софьи с матерью. Заметно было, однако, что она, признавая их неприятностями, придавала общему духу жизни, в которых они зарождались, привлекательное значение. Никакой насмешки, никакого юмора не было в ее словах. У Колечицких Ржевская бранила свою дочь за то, что она встает беспрестанно за другими девицами, когда те, от нечего делать, целой вереницей то уходят, то входят, из залы в сад, из сада в залу. Ржевская увезла дочь в самый разгар удовольствий, не позволила ей играть роль помещицы в «Барской спеси и Анютиных глазках», сказала, что пьеса эта грязна... Она была, значит, скучной помехой молодости; но как она умна и начитанна! Как мил ее кабинет с резной дверью, за которой она собственным старанием разводила дорогие цветы!

— Даша, а как хорош рояль у Ржевских!

— Да... Помнишь, Клаша, вечером на балконе: темнота такая в саду и рояль?

— Мне нравится, Даша, походка Евгении Никитишны. Вот уж можно сказать une grande dame[1]. Заметили вы ее руки? Как хороши! У Софьи хуже, больше...

— У Софьи руки отцовские.

— Как это вы помните его руки?.. Я его боюсь и не гляжу на него. Какая жена и какой муж!

— В молодости он был гораздо лучше ее. Разве ты не видала его портрета? Соня напоминает его иногда.

— Вот, Володя, тебе предмет — влюбись в Софью. Она получше твоей Людмилы.

«Когда бы увидеть ее!» — думал я.

Желание мое исполнилось вскоре. Недели через две после отъезда Модеста из Подлипок Ржевские, мать, дочь и тетка, приехали к нам и провели у нас целые сутки.

Софьи не было в гостиной, когда я вошел: она ушла с барышнями на качели.

Тетушка сделала мне знак, чтобы я подошел к руке Евгении Никитишны, и меня немного обидело, что эта гордая дама поцеловала только воздух над головой моей. Боясь оскорбить неравенством Настасью Егоровну, я и к ее руке приложился — и она сделала то же, что Евгения Никитишна. Но к надменному лицу г-жи Ржевской это шло, а золовка ее показалась мне в эту минуту очень жалким существом: сухая, некрасивая, без чепца, веснушки... А туда же!

Поворачивая за деревья, за которыми стояли качели, я был немного взволнован.

Там за зеленью раздавался незнакомый женский голос.

Софья стояла на доске, схватясь руками за веревки, и я вдруг увидел в двух шагах перед собою ее цветущее лицо. Нет сомнения, это *она!* Она в локонах, в диком платье с белыми полосками; она покраснела, когда Даша (с той праздничной гордостью, с которой мы часто рекомендуем близких людей, вовсе не любя их) сказала:

— Вот наш Вольдемар!

На кого она похожа? Глаза темные, большие, как у отца на портрете, и губы такие же добродушные, как у

---

[1] Знатная дама.

него, а все остальное и все вместе как-то напоминает силу выражения и неправильные черты матери. Кудри темные, румянец мраморный: робка, говорит мало, а смеется мило. Что бы ей сказать? На этот раз не сказал ничего; но, когда она перед отъездом похвалила наши розы, я нарвал их целую кучу, исколол все руки второпях и поднес ей букет с почтительным поклоном. Она благодарила, не поднимая глаз.

В конце сентября мы с тетушкой собрались отдать им визит. Что за погода стояла тогда! Как хороша их деревня, я сказать не могу. Я уже описывал вам ее в главных чертах, а сколько живых подробностей я должен был упустить! Особенно помню я первый ясный и прохладный вечер; мы ходили гулять в лес и по берегу реки; Евгения Никитишна осталась дома с ленивой тетушкой; я повел Софью под руку, а за нами шла Настасья Егоровна с одной соседкой, про которую я могу сказать только, что она была девица, немолода, носила большой зеленый платок, а косу обвивала вокруг головы, как в старину маленькие девочки. Настасья Егоровна не спускала глаз с племянницы и изредка кричала ей: «Софи, иди потише». О чем мы говорили, не помню; помню, что я трепетал от радости. На возвратном пути, в овраге, увидели мы растерзанный, стоптанный труп белой кошки.

— Несчастная! — сказала Софья. — Вы видели серого котенка в зале? Это ее котенок.

— Вы, верно, любите котят? — спросил я.

— Ненавижу, — отвечала она с гримасой, — я всех этих животных ненавижу: котят, маленьких собачонок, мышей... Так гадко... Я люблю только больших собак и лошадей. Этих котят maman велела взять; они были голодны и кричали в хворосте тут... maman очень жалеет этих всех животных, а мне ничего; только пока крик слышу, жалко, а заниматься ими терпеть не могу.

Я вспоминаю, как я бранил Дашу одно время точно за такие вкусы, как я говорил, что она форсит, как язвили мы ее с Клашей за это, а тут совсем не то... Мне казалось, что это так и должно быть, что даже стыдно любить каких-нибудь котят... То ли дело конь, большой пес?.. В них есть сила — и в Софье есть сила.

После этого мы поднялись на пригорок и увидели Дмитрия Егоровича. Он лежал на траве один-оденеше-

нек. Заметив нас, толстяк засуетился, схватил свою трость и, поднявшись с трудом, медленно побрел к флигелю. Дочь следила за ним глазами. Он миновал дом, присел было на своем крыльце, но, увидав нас опять вблизи, опять заторопился, встал и, нагнувшись, ушел в свою низкую дверь. Софья, поблагодарив меня, тотчас же убежала к нему.

— Бедный Дмитрий Егорыч! — сказала тетка своей спутнице в зеленом платке,— как он, я думаю, счастлив теперь, что Соня пошла к нему. Он ее обожает...

Соседка глупо усмехнулась и заметила, что ведь и Софья Дмитриевна «очень жалеет папашу».

Тогда я не имел еще ни малейшего понятия о прачке, которую Дмитрий Егорович хотел когда-то засечь, нимало не думал о вредной расточительности его и знал только, что Евгения Никитишна — начало строгости, экономии в доме... Поэтому за ужином я ненавидел г-жу Ржевскую и не мог отвести глаз от бедной дочери и гонимого отца, который сидел все время молча, много ел и в промежутках между блюдами, облокачиваясь на стол, закрывал руками лицо. Я не жалел Софью; не знаю, как другие, а я никогда не умел сильно жалеть того, кто мне сильно нравился; но я уважал, уважал ее глубоко, когда она накладывала на тарелку отцу его любимые куски, шептала ему что-то на ухо, заставляя чудака улыбаться, или сама завязывала ему на шею салфетку.

«Мегера! Мегера!» — думал я, глядя на Евгению Никитишну, и с холодностью слушал ее умные рассказы о Петербурге, о графине N, о князе С, об итальянской опере, о m-me Alan и Virginie Bourbier[1].

Мы хотели ехать на следующее утро, но, проснувшись, увидали, что все небо обложило тучами и что дождь теперь не скоро перестанет идти.

Евгения Никитишна сказала тетушке:

— Куда вы спешите, Марья Николаевна? Я, право, так рада вас видеть и вспомнить с вами старину! Прежде мы видались часто. Посмотрите, что делается на дворе. Подождите, быть может, завтра будет лучше.

Тетушка взглянула на меня, я улыбнулся.

Евгения Никитишна обратилась к дочери:

[1] Госпоже Аллан и Вирджинии Бурбье.

— Это ваше дело, Софья Дмитриевна, занять молодого человека,— сказала она.

Софья покраснела, и я тоже.

Дождливый день прошел с приятной медленностью. Да, я был рад, что время между завтраком и обедом тянулось долго. Софья принесла сама в гостиную целую кипу книг с политипажами и гравюрами, и мы часа два рассматривали их, сидя рядом на диване против дверей, чтоб старшие могли нас видеть. Изредка входила к нам Настасья Егоровна и, наклонясь над столом, спрашивала:

— Это кто, бишь? я забыла...

— Это Godefroi de Bouillon[1],— отвечала Софья.

— А! да! Godefroi de Bouillon! — восклицала Настасья Егоровна и гордо отходила.

Софья показывала мне иногда пальцем на картинки; руки ее (правду сказала Клаша) были немного велики; но какими почтительными и вместе страстными глазами я впивался в них! После прекрасного обеда Софья, Настасья Егоровна и я играли в домино. Потом Настасья Егоровна села за рояль и играла нам танцы, и мы танцевали, с позволения матери... Вечером в гостиной затопили камин, и Евгения Никитишна вызвалась прочитать нам что-нибудь громко (карт тетушка не любила, а сказки слушала охотно). Выбрали «Ундину» Жуковского, и г-жа Ржевская читала с чувством и с умением. Печальный муж ее слушал тоже, в темном углу за камином.

— Как это свежо! — сказала Ржевская, закрывая книгу.— Вы верите этому, Марья Николаевна?

Тетушка не нашлась, развела руками, улыбнулась...

— Хотелось бы верить! — прибавила Ржевская, опустив глаза и рассматривая кольцо на своей прекрасной руке.

Она показалась мне очень молодой в эту минуту.

За ужином посмеялись и пошли спать. Я заснул в упоении. Нас хотели удержать еще на два дня, но тетушка справедливо думала, что дождя этого не переждешь.

— Что? не скучал? — спросила она дорогой.

— Какой скучать! Какая умная женщина Евгения Никитишна!

— Еще бы не умная! — воскликнула тетушка; потом

---

[1] Годфруа де Буйон.

прибавила, громко прищелкнув языком: — Жаль только, нравна очень! Катюша мне вчера, как я спать ложилась, рассказала, от девок слышала... не только дочь или муж, золовка пикнуть не смеет; как та голос поднимет, эта уж и дрожжи пролила от страха!

Тогда, дорогой, я узнал от тетушки всю историю Ржевских. Я не понимал, как могла женщина так круто поступить с красавцем мужем, как у нее достало духу. Ума и силы сколько! Какова-то дочь?

Умна Софья показалась мне с тех пор, как девицы наши написали мне в Москву, что Ржевские еще раз в ноябре по первому пути были у нас, что Софья в восторге от меня, говорит: «Какой милый!» — и даже целовала при них мой дагерротип (не забудьте, что она не более года тому назад оставила институт). Я говорю, что с этой минуты она показалась мне умною девушкой; и говорю я это без всякой насмешки над самим собой. К этой поре я уже любил и уважал в себе давно не то, что уважал и любил прежде, и мне все казалось, что она понимает это; казалось, что я бы ей не понравился, если б она не слыхала или не угадывала кой-чего; я думал: «До нее долетит благоухание *юноши-дельца*», так точно, как до меня долетал смутный дух ее домашних страданий!

IX

Я давно уже сказал вам, что Катюша выросла и похорошела. Свежее, не слишком белое лицо ее было продолговато, каштановые волосы густы и мягки, хотя и пахли немного ночником; руки невелики и всегда чисты; ростом она была невысока и смотрела весело и бегло. Она была стройна без корсета и могла бы выдержать сравнение с самой привлекательной субреткой, если бы в манерах ее было поменьше грубоватого простодушия. Она ходила иногда немного согнувшись, размахивала руками, была всегда занята и всегда добра; когда ей случалось смеяться при господах, она закрывала рот рукой, несмотря на то, что зубы у нее были гораздо лучше, чем у всех нас, и закрывать поэтому было нечего. Долго не решалась она заботиться о своей наружности, носила узкие, обтянутые рукава, как наши старые горничные, и стыдилась подра-

жать барыням в покрое платьев и прическе. Когда ей нужна была вода для чего-нибудь, она не посылала, как другие девушки, мужчин на колодец и не спорила с ними. а шла сама, сильной рукой вертела колесо, доставала бадью и потом тащила огромный кувшин домой, перегнувшись на один бок, оттопырив свободную руку и раскрывши иной раз в рассеянности рот. Зато все люди любили и уважали ее, никто на нее не жаловался, никто не бранил ее, никто даже не звал Катькой; один называл ее кума, другой — сватьюшка, третий — душечка-Катюшечка, четвертый — Катя. Стоит зайти ей на минуту в людскую, уже сейчас зазвенит там балалайка, затянется песня, заиграет гармония, заходят половицы... Сама тетушка говорила:

— Терпеть не могу этих расфуфыренных модниц! Вертит, вертит хвостом, только ветер поднимает, а толку ни на грош! Вот Катюша — девка как девка: и работящая, и безответная, и опрятная.

Я скоро стал обращать внимание на старую подругу моих игр: сначала возобновлял дружбу всякими шалостями, беготней по задним дворам, ловлей на чердаках, наконец, просто, борьбой, в которой я хотя и брал всегда верх, но не без труда, потому что она была смела, сильна и увертлива. Под влиянием детски грубых страстей я забывал иногда мужское самолюбие и. говорил ей в деревне: «Знаешь что... Пойди-ка со мной в сени; там огромная собака... я один с ней не слажу». Она поверит и пойдет, а собака выйду я сам и брошусь на нее. Иногда она была не прочь от проказ, но другой раз сурово отталкивала меня рукой в грудь и восклицала: «Ах, Господи! отстанете ли вы от меня? Я, право, тетеньке скажу». Я обижусь, уйду и после долго хожу по зале с гордым и холодным лицом.

Потом, около того времени, как я перешел во флигель, осененный серебристым тополем, и поклялся начать совсем новую жизнь, я и с ней переменил обращение: говорил с ней вежливо, дружески, разумно, покупал ей иногда дорогую французскую помаду, чтоб заглушить хоть немного скверный запах ночника, привозил ей конфеты и фунтами, и по две, по три в кармане, откуда-нибудь из гостей, дарил платки, косынки, перчатки, чай, сахар... Она принимала все с благодарностью и, припод-

нимаясь на цыпочки, целовала меня в губы с почтительной осторожностью.

— Эх, Катя! — говорил я грустно, — не так ты меня целуешь!

— Как же еще вам? Вы скажите. Я буду знать вдругорядь.

— Зачем вдругорядь? Ты теперь поцалуй меня так, как ты бы Авдошку или Григорья поцаловала, если бы любила его...

— Уж не знаю, право! Постойте-ка, я для пробы, на первый раз, хоть так...

И, взяв меня одной рукой за шею, нагибала к себе и целовала крепче прежнего.

Сколько раз обманывала она меня! Захочется мне видеть ее у себя, я приду в сумерки в девичью и скажу как нельзя суше и величавее: «Девушки! мне надо вот эту тетрадку сшить: кто свободен?.. хоть ты, Катюша». Уйду опять во флигель, жду, жду — она нейдет. Заверну в людскую... так и есть: Катя уже носится с платком по избе; кум Григорий играет на балалайке; двое-трое людей молча любуются на нее, а у нее глаза так и сверкают. Вздохнешь и пойдешь домой, задумчиво засунув руки в карман, и думаешь: «Что это женщины как странны! Чего они хотят? Как здесь во флигеле хорошо и удобно, все устроено как нарочно для самого обворожительного и скромного житья!.. И вдруг плясать в людской, где пахнет дегтем, щами и махоркой! Что за вкус!»

Доримедонт, должно быть, заметил мою слабость к ней. Всякий раз, как только она приходила при нем за каким-нибудь делом во флигель, он кричал на нее самым зверским голосом:

— Чего ходишь за пустяками? Нет того, чтобы вечерком завернуть, когда барин дома!..

— Молчи ты, грач! настоящий грач, как есть!

— То-то грач. Помни ты мое слово: умрешь, черви источат и крысы съедят. Ступай-ка, ступай-ка... не то вот я тебя щеткой отсюда пужну! При мне не показывайся на глаза; без меня ходи, говорят, слышишь?..

— Ах ты грач! Прямой грач!..

— Чего смеешься? Прямой грач... Известно, не кривой: оба глаза целы. Ну, ступай, ступай, пока жива!..

Я всегда слышал из своей комнаты, как они спорили в прихожей, и помирал со смеха.

Наконец судьба доставила мне случай мимоходом оказать ей довольно важную услугу.

У нее не было ни отца, ни матери; но родной дядя ее, вольноотпущенный, держал, верстах в двенадцати от нас, порядочный постоялый двор в большом торговом селе. С ним жила старуха мать его, родная бабушка Катюши, и она очень любила сироту. Давно уже собиралась она откупить ее и, не имея денег, уговаривала сына внести за племянницу сто рублей серебром. Раза три приезжала старуха в Подлипки, но тетушка не решалась отпустить Катюшу.

— Успеешь еще, матушка, успеешь... Я только что привыкла к ней, да и отпустить... Посуди сама...

— Знаю, матушка, Марья Николаевна, знаю. Да если ваша милость будет...

Толкуют-толкуют две старухи целый час, а Катя все крепостная.

Возвращаясь от Ржевских с тетушкой и Катей, мы заехали к дяде, покормить лошадей и напиться чаю. Надобно заметить, что тетушка была всю дорогу очень довольна Катей. Я, кажется, говорил уже, что за день до нашего отъезда красный сентябрь стал мрачным октябрем; небо обложило; шел мелкий, холодный дождь; дороги размокли и испортились. Мы ехали оттуда на вольных, в двуместной, очень высокой карете. Катюша сидела сзади в колясочке. Человеком с нами был красивый парикмахер Платошка; он забыл захватить с собою шинель, озяб, промок, раскис; на станциях бросался прежде всего на печку и, жалуясь на ломоту в руках и ногах, не хотел ничего выносить из экипажа. Катюша все делала за него.

— Где наш дуралей? — спрашивала тетушка.

— Он на печке... очень нездоров, — отвечала добрая Катя.

— Кто же нам чай подаст?

— Я подам.

А у самой ноги и все платье внизу мокрые. На Трех горах мы с ней вместе выходили, чтобы облегчить лошадей; лезли пешком, по грязной дороге, в гору, и я, признаюсь, выходил только потому, что перед ней было сове-

стно. На мне были калоши и большое ватное пальто, а она в легкой клетчатой кацавейке и козловых башмаках не только не отставала, но и перегоняла меня подчас.

— Возьми мое пальто,— говорил я.

— Вот еще что выдумали! Сейчас я так и взяла ваше пальто. Я еще этакое страшилище долгополое и не захочу надеть. Не бойтесь, не растаю. Жива буду, и с вами еще дома покутим.

А сама хохочет. Лицо мокрое, свежее; глаза блестят так, как, бывало, во время пляски блестели. Сама тетушка звала ее сесть в карету на ларчик, у нас в ногах; но она отказалась.

Когда тетушка, напившись чаю, легла отдохнуть, я вышел в сени, в надежде встретить Катюшу. И точно, она вдруг выскочила из избы и сказала мне очень торопливо:

— Подите-ка сюда; бабушка что-то хочет вам сказать.

На бабушку эту я смотреть не любил. Она была очень мала ростом, ужасно суха и сморщенна; по всему лицу и по рукам красные и синие жилки и шишки; глаза нечистые. Как увидит меня, так сейчас и запищит самым жалобным, тоненьким голосом, охает, вздыхает, стонет.

— Батюшка, батюшка! Здравствуйте, батюшка... Какой вы большой стали, какой красавец!..

А сама и направо нагнет голову, и налево — все любуется.

— Не можете ли вы, батюшка, попросить вашу тетеньку... тетеньку вашу попросить, батюшка... Просьбицу нашу передать потрудитесь...

— Да что такое?

— Катю, батюшка, внучку мою, Катю... откупить хотим.

Я пошел к тетушке, стал уговаривать ее, урезонивать, уверять, что Катя будет и после ей служить за умеренную плату. Два раза призывали Катюшу, два раза сама бабушка приходила и падала в ноги, утверждая, что Катя за малую цену рада будет хоть век служить, что «ей у вас хорошо, матушка, ей у вас очень хорошо!».

Наконец мне удалось тронуть тетушку. Я поцаловал ее руку и сказал: «Уж Бог с ней! Ведь старуха ее столько же любит, сколько вы меня... Старухе бедной немного жить осталось. Утешьте ее». Тетушка согласилась, взяла

у старухи сто рублей и обещала, тотчас по возвращении домой, приготовить отпускную.

Когда совсем стемнело и тетушка, загасив свечу, заснула в большой комнате на диване, я ушел за перегородку. Немного погодя дверь из сеней тихо скрипнула, и Катя вошла на цыпочках.

— Вы не спите? — спросила она.

Нет. Какой тут сон!

Что ж так не спится? — спросила она, садясь на мою кровать и наклоняясь ко мне, — дайте-ка мне вашу ручку...

— Когда ты отвыкнешь от этих ручек и ножек? Так противно... У другого барина рука в пол-аршина, а ты все «ручка!».

— Я хотела поблагодарить вас, — отвечала она шепотом и наклоняясь к самому лицу моему.

— Так благодари по-человечески, а не этак.

Катя прилегла к моему плечу, чтоб заглушить смех.

— Что это, какие вы нынче сердитые стали! И приступу к вам нет. Страсть, да и только!.. Я знаю, за что вы на меня сердитесь... Подождите — и на нашей улице будет праздник...

— Да; а до тех пор и Авдошка, и Платошка, и все тут будут!..

— С чего же вы это взяли, чтобы я на какую-нибудь дрянь да вас променяла? Я с вами... говорить если так... просто... с самого детства росла... И вот так же, как теперь, на кровати у вас ребенком сидела... Ах ты Господи! Помните, как я вам загадки-то задавала... Господи ты, Боже мой! чего-чего только не было...

Она вздохнула и обняла меня.

— Я завсегда даже буду за вас Бога молить. Вот вам мое слово!.. И замуж не хочу! За какого-нибудь дьявола, прости, Господи, пойдешь, еще бить меня будет... Ни за что! Ну-с, прощайте, покойной ночи, приятных снов вам желаю...

Я сладко уснул.

Тетушка, конечно, сдержала свое слово, и через месяц Катя была свободна. Я добросовестно ждал, изредка упрекая ее за холодность. Но она всегда находила оправдания.

— Что вы? беды мне, что ли, желаете? Я от вас

этого, признаюсь, даже не ожидала! Сказать теперича вам по правде: мы с вами вместе росли и всегда играли, и всю вашу доброту я помню... Дайте мне с деньгами справиться... Дядя даже бабушке все глаза мной колет...

X

Модест, конечно, рассказал тетушке о бедственном своем положении; не знаю, что отвечала ему тетушка, но он, уезжая, сказал мне:

— Добрая старушка, да не совсем! Эх, брат, не дай Бог тебе иметь мой дар предчувствовать и угадывать людей! Прощай.

После его отъезда мы с Ольгой Ивановной часа два ходили по зале и придумывали, как бы помочь бедным родственникам.

— Марья Николаевна,— сказала солидная весталка,— не в силах внести за них в опекунский совет или заплатить другие долги. Вы судите об этих вещах слишком легко и поверхностно, Вольдемар. Добро должно иметь свои пределы, как и все другое на свете. Ковалевы, может быть, будут у нас жить в доме эту зиму; за брата вашего заплачено 3000, урожаи плохи. Вы знаете ли, сколько копён стало на десятине?

— Пожалуйста, об копнах не говорите!

— Хорошо вам пренебрегать этим!..

— Будемте говорить, пожалуйста, о деле, о Модесте...

— Что же я могу сделать? Марья Николаевна, может быть, найдет им уголок в своем доме, хоть внизу во флигеле. В таком случае вам придется перейти опять на ваше старое пепелище, в зеленую комнату, а верх отдадим Ковалевым...

Она поглядела на меня с твердым и внимательным добродушием. Меня подрал мороз по коже. Опять за старое! Эта жертва казалась мне свыше сил. Опять дитя, ученик! Опять все на глазах, опять домашние девицы, маленькие ссоры, невозможность принять к себе когонибудь тайком... (хоть бы Катюшу, которая, может быть, отойдет от нас к этому времени, или что-нибудь вроде Amelie). Что делать? Почти дрожащим голосом, решившись устрашить себя собственным самолюбием, сказал я

Ольге Ивановне: «Что ж за беда? я готов на эту жертву», сказал для того, чтоб уж после нельзя было отступиться. Но один Бог знает, как унизила бы меня в собственных глазах эта жизнь в тесной зеленой комнате, в двух шагах от тетушкиной спальни. Так и решили. Но сама судьба наградила меня за это доброе намерение: через две недели после нашего возвращения от Ржевских Модест прислал письмо.

«Finita la comedia![1] — писал он.— Старухи нет, и нет имения! Я застал ее больною; все мои старания, все усилия врачей не повели ни к чему. У нее была водяная в груди. Молюсь и благодарю Бога за то, что он дал мне возможность успокоить ее последние дни и похоронить ее с честью. Ты понимаешь, Володя, кого я лишился в ней. Имение продано с публичного торга».

Модест ошибался, говоря, что я пойму его утрату. Я вздохнул свободнее и за себя и за него. Что ж делать! С мыслью о матери я привык соединять чувство изящного, глядя на белокурую женщину в голубом газовом шарфе и с букетом белых роз в руке, которая висела на стене тетушкина кабинета. А его старушка, казалось мне, только мешала ему жить оханьем и растрепанными волосами. Ни китайский кофейник, ни рассказы сына, ни миньятюр на слоновой кости нимало пе озаряли ее в моих глазах: все это только согревало какой-то темной душной теплотою.

В конце октября, когда я вернулся к моим учителям, Модест поселился у нас. Я с радостью уступил ему крайнюю комнату, и тетушка сама приходила во флигель, чтоб взглянуть, все ли там есть, что ему нужно.

Модест схватил ее за руку, сделал такое лицо, какое бывает у человека, изо всех сил старающегося удержать слезы, и сказал:

— Ma tante, ma tante![2] Я благодарю вас не за себя, а за бедного одинокого человека, которого вы утешаете.

Тетушка поцеловала его в лоб.

— Что ж делать, мой дружок?.. Богу так было угодно. Никто, конечно, не заменит матери.

Потом, помолчав, тетушка покачала головой и прибавила:

---

[1] Кончена комедия! *(ит.)*

[2] Тетушка, тетушка!

— Oui, les soins d'une mére...[1] Тебе рукомойник надобно поставить сюда.

В ноябре было ее рождение, и благодарный Модест в течение недели просиживал целые вечера за клейкой рабочего ящика, особенно за крышкой, где под стеклом была поставлена хорошая гравюра, тщательно и не без вкуса раскрашенная самим Модестом. На ней была изображена Мария Магдалина в пещере, полунагая, прикрытая голубой мантией; глаза ее были грустно опущены на человеческий череп.

— Какой он, в самом деле, скромный, искательный молодой человек! — сказала тетушка, показывая мне подарок.

Модест скоро сделался привычным лицом в нашем доме. Он долго еще был грустен; по лицу его, казалось, беспрестанно проносилась какая-то тень. Он мало говорил, большею частью ходил по зале, засунув одну руку за другую в рукава, изредка улыбался нам кротко и задумчиво, как опытный, добрый страдалец улыбается играм детей. С Клашей он не сошелся, но Дарье Владимировне оказывал много внимания. Они тихо беседовали в небрежных позах на диване, а мы с Клашей не прочь были посмеяться над ними.

— Может, это грех,— говорила Клаша,— только мне все кажется, что он вовсе об матери не грустит...

— Знаешь ли,— отвечал я,— мне то же кажется!

Мы робко поглядывали друг на друга и смеялись.

— И зачем это он отвертывает под вицмундиром такие огромные воротнички? Лицо такое худое, некрасивое, щеки такие длинные! Так гадко! — прибавляла она с легкою гримасой презрения.

— Не понимаю,— говорил мне с своей стороны Модест,— что ты нашел особенного в этой булке. Черт знает что такое! Я ведь ее насквозь вижу. Хитрит и подтрунивает, а посмотрела бы на себя! Я встречал такие характеры и знаю им цену. Язвить очень легко...

Однажды, вспомнив старые распри, барышни заспорили. Даша ходила по комнате и была вне себя; Клаша сидела, бледнела и улыбалась. Спор шел о ревности.

— Я никогда не унижусь до того, чтоб показать

---

[1] Да, материнские заботы...

свою ревность; я слишком гор-р-р-да! — воскликнула Даша.

— Вы, вы? А помните, как вы даже к женщине меня ревновали, помните?

— К женщине скорее! Мужчине всегда надо меньше показывать, чем чувствуешь. Бегать за мужчиной — это унижение!

— Ах, полноте, Даша! Терпеть не могу, как вы начинаете брать на себя. Вы воображаете, что вы никогда не унижались! Вы очень часто унижались!

— Когда-с? Потрудитесь объяснить, когда. Вот вы так подобострастны всегда с знатью. Как скоро какой-нибудь человек из beau monde[1], так вы и растаете.

Клаша покраснела.

— Ну что ж? Признаюсь, к знати я имею слабость и всегда буду иметь. Богатство, чины, красота — это все не так мне нравится как имя... и этакие манеры. Я про это и не говорю; я говорю про мужчин, которым вы всегда готовы покориться.

— Где вы видели этому пример? Что вы улыбаетесь?.. Ваша злость ничего не доказывает.

— Уж пожалуйста, не требуйте примера! Вам будет неприятно: я ведь вас знаю...

Модест в эту минуту вскочил, грозно согнувшись, подбежал к Клаше и, пронзив ее взглядом, закричал на весь дом:

— А я вас, сударыня, вижу насквозь!

Клаша немного испугалась, не скоро оправилась и отвечала:

— Что вы это? Я разве с вами говорю?

— А я хочу с вами говорить, и вы будете меня слушать.

— А если я не хочу?

— А! Значит, вы боитесь. Нет, позвольте!

— Что вам нужно?

— Я хочу доказать вам, что нрав ваш отвратителен. Вы обвиняете m-lle Dorothée[2], а сами как вы поступаете с ней? Когда вам нужно куда-нибудь ехать и у вас нет каких-нибудь туалетных финтифлюшек, вы сейчас подде-

---

[1] Высшего света.

[2] Мадмуазель Доротею.

лываетесь к ней, начинаете с ней говорить дружески до тех пор, пока она вам нужна. А после огорчаете ее вашими несправедливыми насмешками. Вы даже, я знаю, вздумали надо мной смеяться... Но предупреждаю вас, что я вас отбрею так, как вы и не ожидаете!

Клаша в негодовании встала. Даша, отдыхая, опустилась в кресла. Модест величаво отступил к дверям.

— Пустите меня к двери; я хочу пройти,— сказала Клаша.— Конечно, я в чужом доме, вы можете меня обижать.

В эту минуту Ольга Ивановна быстрыми шагами вошла в гостиную, остановилась и всплеснула руками.

— Mes ames![1] Что это? вы точно пуасардки, Fi. dacomme c'est vilain![2] Вы только подумайте, как бы это показалось тем мужчинам, которым вы желаете нравиться. Я жалею о ваших будущих мужьях!

Сказав это, пожилая девица красиво запахнулась в свою шелковую мантилью и вышла в зал. Модест грустно опустился в кресло около Даши. Клаша убежала к себе, а я пошел беседовать с Белинским, Бюффоном и другими учеными и мирными моими друзьями в мой несравненный поэтический флигель.

«Займусь часок-другой,— думал я, вздыхая,— а там, Бог даст, Катюша завернет. С ней что-то веселее!»

Заступничество это еще более скрепило дружбу Модеста и Даши. Они продолжали полулежать по разным углам и даже раза три уходили вдвоем на один пустынный бульвар, который был недалеко от нас. Тетушка начала беспокоиться и, предполагая, что они влюблены друг в друга, хотела запретить им эти прогулки. Но Даша сказала ей:

— Я хожу для моциона, и мне не с кем ходить...

— Ах, матушка! что, у тебя от него моциону, что ли, прибавится! — воскликнула тетушка и приказала брать с собою Платошку или Доримедонта; а если все мужчины заняты, так хоть девушку, которая должна, не показывая вида, что провожает их, сидеть где-нибудь на лавочке во время их прогулки. Не раз случалось, что маленькая Матрешка, в длинном ваточном шушуне, зябла на дальнем конце бульвара, пока они предавались мечтам.

---

[1] Сударыни!

[2] Фу, как это гадко!

XI

Но недолго продолжалась поэтическая дружба Модеста с Дашей. На святках стал Модест уже не так задумчив. Он весело спорит, смеется иногда, напевает романсы. Он ходит и ездит к прежним знакомым своим, к Фредовским и Пепшиковским. Фредовские живут в Садовой, за красивым палисадником, и там есть дочка лет семнадцати, Нина, немного рыжеватая, но свежая и причесанная дома à la chinoise[1]. Пепшиковские живут далеко, в Замоскворечье, но у них танцуют под фортепиано и за ужином всегда подают соус из тетеревей с вареным изюмом. Модест любит рассказывать про своих добрых знакомых, и за вечерним чаем в зале только и слышно: Нина Фредовская, Полина Пепшиковская.

— Как это ему не стыдно,— говорит Клаша,— беспрестанно повторять такие фамилии! При чужих я всегда боюсь за него, что он вдруг сейчас скажет.

В Нине он хвалил наивную откровенность и говорил с сожалением, что едва мог удержать страстного ребенка от переписки с собой; в Полине ему нравилась способность к живописи и замечательная физическая сила: по его словам, она подняла раз в сенях такой ушат с водой, который иные мужчины насилу сдвигали с места. Он был два раза в театре и говорил, что глупо со стороны людей хорошей фамилии стыдиться звания артиста, человека, который в живых образах передает нам борьбу людских страстей. Шесть лет тому назад он видел Каратыгина в «Гамлете» и знает много сцен наизусть.

Все просят его декламировать. Он соглашается и предлагает Даше сесть посреди комнаты на стул. Она будет королева, он Гамлет. Даша не в духе с утра. (Я после узнал от Модеста, что она давно сбиралась опровергнуть на деле обвинение Клаши, твердо запрещала Модесту ходить к Фредовским и взяла с него честное слово, что он не *пойдет*. Но Модест сострил: он взял извозчика и поехал к Нине.)

— Терпеть не могу представлять из себя какие-нибудь штуки,— шепчет Даша томно, вяло встает и садится посреди комнаты.

---

[1] На китайский манер.

Модест бежит в девичью, достает себе бархатную мантилью, отпарывает от черной летней фуражки козырек и надевает ее вместо берета.

Тетушка выходит из гостиной и занимает место на угловом диване; Ольга Ивановна оставляет работу; мы с Клашей смотрим на дверь. Настает молчание.

— Что же это? — восклицает вдруг Даша.— Я встану!

— Сидите, сидите!

Дверь из коридора отворяется, и Гамлет входит; мантилья на одном плече; берет немного надвинут на ухо. Взгляд его суров, руки скрещены на груди. Выставив подбородок, мерными, тяжелыми шагами и несколько боком подходит он к матери... останавливается, молчит, потом глухим басом:

— Что вам угодно, мать моя, скажите?

Даша глядит на него; Модест торопливо шепчет: «Гамлет, ты оскорбил меня ужасно!»

— Ты оскорбил меня ужасно! — произносит Даша с живым упреком в глазах.

Но Модест не замечает этого взгляда: артист поглотил человека. Он наклоняется к ней, дрожит и бешено шепчет:

— Мать моя, отец мой вами оскорблен ужасно!!!

В эту минуту в дверях показывается куча горничных и сам Степан из буфета с полотенцем в руке.

— Ах, сколько народу! Я не могу! — С этими словами Даша вскакивает, Гамлет закрывает лицо руками и топает ногой.

— Сядьте, сядьте! — просим мы все. Он опять уходит, притворяет дверь и возвращается снова.

— Что вам угодно, мать моя, скажите?

— Ты оскорбил меня... Ну как это там, все равно...

Модест вне себя.

— Что же это такое? так невозможно играть! Эх вы! У вас вовсе нет сценического таланта.

— Не всем же иметь ваши таланты,— отвечает Даша.— Актер! — произносит она потом вполголоса и гордо уходит.

Горничные расступаются перед ней; Гамлет в берете и мантилье с бессильным презрением глядит на опустелую дверь.

— Окрысилась! экие характерцы нам Бог послал! —

замечает тетушка, махнув рукой.— Пойти-ка свой камушек докончить.

На другой день между Модестом и Дашей было тайное объяснение, которое еще более рассорило их.

Пока двоюродный брат мой тратил свою энергию на распри с нашими домашними девицами, я по-старому втихомолку встречался с Катюшей, но она говорила все то же.

Я негодовал и жаловался, тоскуя, Модесту, что мне ни в чем нет успеха.

— Рано еще! Потерпи, Володя. Случая нет, уменья мало. Можно ли думать, что такой молодой человек, как ты, прожил бы без успехов?

Лесть услаждала мою слабость, и я решился ждать. Но Модест не ждал, а действовал, не сообщая мне сначала ничего.

Однажды все были у обедни; я читал в зале у окна; Катюша отворила дверь из коридора и, показывая яблоко, которое ела, сказала:

— Видите, вы все говорите, что я вас любить не хочу, а я вот ем яблоко ваше. Вы его обгрызли и бросили в девичьей, а я его ем. Вы вашему братцу любезному скажите, чтобы он ко мне не приставал. Даром что чужой барин, а я все равно тетеньке скажу, как есть на него прямо. Этакой сумасшедший, на лестнице вдруг вчера схватил целовать!

— Ты была очень рада, я думаю? — сказал я с горечью.

— Вон радость-то нашли! Он нехорош! Губастый такой, долговязый; лицо весноватое. Ну-с, до свидания-с! Прощенья просим! Не взыщите на нашей деревенской простоте-с!

Я говорил об этом Модесту, а он стал смеяться и признался, что хотел тоже испытать счастья, да, видно, она в самом деле строга и недоступна.

— А славная девушка! — прибавил он.

XII

Великий пост. На улицах тает. Модест ходит на лекции и готовится к выпускному экзамену. С Дашей он уже не сидит ни в столовой под окном, ни в угольной комнатке, где по вечерам горит малиновый фонарь.

Даша ходит по зале с видом человека, способного нести одиноко ношу самого страшного горя. Она курит, гордо поднимая голову, неприятно поджимая губы, чтоб не мочить папироску, и бросает на всех нас искоса взгляды мимолетного презрения. Особенно вид ее величав и грустен и лицо ее бледно, когда она выходит к обеду в черном пу-де-суа с ног до головы. Она сама даже говорит: «Я посвящаю себя навсегда черному цвету!» Потом опускается в глубокое кресло, качается на нем и шепчет томно: «Мне кажется... у меня спинная кость attaquée»[1].

— У княжны Тата, кажется, тоже болела спина? — спрашивает Клаша.

Дарья Владимировна забывает боль в спине, вскакивает и, стиснув зубы, уходит из комнаты. Вечером я сижу у себя один во флигеле и читаю. Вдруг дверь в прихожую растворяется с шумом, портьера откинута, и передо мною высокая, бледная женщина в черном платье! Она решилась вырвать из груди всякую нежность, любовь, жизнь, вырвать, кажется, самое сердце. Никто ей не нужен более! В руках ее два дагерротипа: на одном светло и смело смотрит Модест в расстегнутом вицмундире, на другом Клаша, пышно и не к лицу причесанная, в клетчатом платье. Даша не глядит на меня; она молча ставит портреты на мой стол и быстро уходит, не сказав ни слова. Но слов и не было нужно: я понял ее!

Приходит Модест; увидев портреты, он хохочет, валяясь по дивану, и говорит: «Умру, умру!»

Я хотел было сказать: «Как ты скверно хохочешь!» — но, вспомнив, что деревня его продана с публичного торга, что отец его был обижен Петром Николаевичем и моим отцом, что он некрасив и принужден ухаживать за Ниной Фредовской и Pauline[2] Пепшиковской, промолчал.

И с Клашей прервала все и навсегда злопамятная брюнетка. Но в конце поста, проходя по коридору большого дома, я слышу в комнате Клаши громкое чтение. Прислушиваюсь...

Что-то из «Графини Монсоро».

Ольга Ивановна встречает меня в зале.

Вы слышали? — спрашивает она.

[1] Заболела.
[2] Полиной.

— Что такое?

— Это чтение. Каково? Есть ли в ней хоть на волос самолюбия, в этой племяннице, которую послал мне Бог? Клавдия Семеновна полюбезничала с ней, потому что ей занадобился чтец, и она теперь надсаживается там... Какое отвращение!

Теперь за Ольгой Ивановной очередь бросать презрительные взгляды на девиц; но на пятой неделе поста дела принимают иной оборот. Приезжает из Петербурга г. Теряев. Он бывший товарищ брата по полку, недавно вышел в отставку и жил в имении отца своего верст за 500 от нас. Теперь отец дал ему 200 душ в шести верстах от Подлипок; он провел зиму в Петербурге и привез письмо от брата. Тетушка плакала, читая это письмо; я застал ее еще в слезах; глаза ее были тусклы, нижняя губа опустилась, руки как-то беспомощно висели на ручках кресел. Ольга Ивановна стояла около письменного стола и считала новые радужные ассигнации, вынимала их из папки и разглаживала рукой... Я бросил взгляд на них и подумал: «Сколько? Одна сотня, другая, третья, десять, двадцать сотен. Что же это такое?»

— Вот, дружок мой, полюбуйся на письмецо! — говорит тетушка.

«Ma très chère, mon adorable tante![1] (пишет Николай, тот самый Николай, который называл ее год тому назад несносной ханжой! Легкое, но неприятное чувство стыда мелькает у меня в душе. Не зная ему тогда имени, я, однако, не забываю его и продолжаю читать).

«К кому обратиться мне в несчастии, как не к вам? Скажу откровенно, я проигрался. Низкая женщина, которую я имел несчастье полюбить всеми силами моей души, бросила меня. Она блаженствует теперь, но не надолго. Я неумолим во мщении! Я отыщу ее на дне морском! Теперь ее нет в Петербурге: она за границей со старым своим волокитой, который известен здесь как дурак и отъявленный шут. О, ma tante! мне нечего говорить вам, как я несчастлив. Вы знаете сами, что я должен был продать свое рязанское имение, и этот новый долг сводит меня с ума. Летом я надеюсь отдохнуть в милых Подлипках».

[1] Моя дражайшая, моя восхитительная тетушка!

«В милых Подлипках! Он не совсем еще растратил душу...» — подумал я.

Деньги (4000 р. сер.) отосланы на почту. Теряев ездит к нам часто и употребляет все усилия, чтоб утешить тетушку и примирить ее с братом. Тетушке не нравится его бледное, изношенное лицо, его густые бакенбарды, выдавшийся подбородок и плоский нос.

— Такая адамова голова! — говорит она с досадой, но слушает его рассказы про брата и верит его почтительной лести.

— Поверьте, Марья Николаевна, он обожает вас! — уверяет Теряев.

— Добр-то он добр. У него всегда было золотое сердце, самое чувствительное сердце, — отвечает тетушка, задумчиво постукивая табакеркой.

Мне Теряев казался отвратительным. Если брат мой, почти красавец и цветущий мужчина, добродушный и любезный, мог наводить на меня ужас своими ночными поездками куда-то, небрежными отзывами о понедельничьи и постах, своими бесстыдными песнями, то каково же было слышать то же самое от адамовой головы? Он был гораздо образованнее брата, отлично говорил по-французски, немного по-немецки и благоговел перед гнусным Штраусом. Я затыкал уши и просил его молчать, когда он приходил во флигель и начинал излагать передо мной и Модестом свою энциклопедию.

— Вы молоды, господа, признайтесь, что вы молоды! Вы еще белый блох, а не черный, прыгать не умеете!

— Мы гордимся такой неопытностью! — возражал Модест, поднимая глаза к небу и улыбаясь искренно, вдохновенно.

Я жал ему руку.

Но не всем Теряев кажется адамовой головой. Ковалевы на эту зиму еще не переходили к нам: они живут на своей квартире и жить умеют не совсем дурно. Гостиная у них уютная, голубая; много недорогой мебели, на столах и стенах много гипсовых бюстов и небольших статуй на красивых подставках; есть и ковры, и рояль порядочный в столовой, и книги, а главное — много простоты и веселости. Сам Ковалев не веселит никого; он умеет только зарабатывать деньги и никому не мешать. Теперь он в статском платье, сбрил усы и стал еще

моложавее, женоподобнее прежнего; но взгляд его все так же сух и серьезен; он переменил службу и работает все утро до четырех часов. Бледная Олинька царствует дома. Она созывает гостей, угощает их во всякое время чаем и кофе, у нее можно сидеть, танцевать и дурачиться до двух часов ночи. Она любезна со всеми, и ей можно привесть кого угодно — графа, военного, лекаря, инженера, актера, учителя — лишь бы он не был слишком скучен. Все у нее как дома, непрошеные садятся за рояль, поют, танцуют, любезничают; она на всех смотрит пристально и томно, беспрестанно курит и делает резкие, проницательные замечания: «Вы никогда ни на чем не остановитесь в жизни, я вижу это по глазам»; «Вы должны быть очень влюбчивы»; «Вы не пишете ли стихов?» и т. п.

Даша очень дружна с ней Великим постом и часто, выпросив человека, проходит с ним мимо моего флигеля в новой шляпе, с муфтой, в шелковом салопе, распустив локоны; походка ее весело волниста и движения головы игривы, как походка и движения счастливой и блестящей женщины. Черное пу-де-суа висит в ее спальне. Однажды она подходит ко мне и, приветливо улыбаясь, берет за руку.

— Не сходить ли нам к Ковалевым? Погода славная...

Приходим. Теряев уже там, и Даша садится за рояль. Поет один романс, поет другой, и поет великолепно, помогая себе и глазами и легкими движениями стана, то лежит грудью на пюпитре, как будто она близорука, то откидывается назад, призывая всех к жизни и наслаждению. «Лови, лови часы любви!..» И Теряев, следуя ее совету, уходит с ней в кабинет хозяина.

Теряев либерал; он говорил, что крестьян необходимо освободить, еще тогда, когда одним это казалось бредом, другим мечтой, несбыточной по самой высоте своей, идеалом вроде вечной, страстной любви или бедного, но честного русского гражданина.

— Что такое народ? Народ — машина, грубая масса,— сказал однажды Ковалев, презрительно махнув чубуком.

— Нет, народ не машина,— возразил Теряев. И, сказавши это, он так выразительно передернул бровями и мельком взглянул на моего прежнего Аполлона, что

«адамова голова» озарилась вдруг передо мною минутным лучом самой высшей жизни.

— Нет, народ не машина, — повторил он еще теплее, — вы знаете, что сказал Гизо: «Здравый смысл есть гений толпы!»

«Вот какие он вещи говорит!» — подумал я.

Хотя я знал только, что Гизо — Гизо; но, вспомнив, что в «Иллюстрации» я видел рисунок медали, на которой были представлены головы и руки, простертые к маленькому человеку строгого вида на кафедре и во фраке, с надписью: «On peut epuiser ma force, mais on n'epuisera jamais mon courage!..»[1], вспомнив это, я извинил Даше ее легкомысленную ходьбу с локонами мимо моего флигеля. Они часто спорили при мне с Ковалевым. Ковалев не любил стихов; признавался, что не понимает ни Фета, ни Тютчева, ни антологических пьес Майкова, и, подло сгорбившись, как и следовало человеку, непонимающему стихов, восклицал:

— Ох уж мне все эти *охи* да *ахи*! Пора бы бросить это да заниматься делом!

Ни слова не возражая на это, Теряев прочел наизусть «Тройку» Некрасова с таким искренним одушевлением два раза сряду, что у меня мороз пробегал по спине, когда он доходил до слов:

Не нагнать тебе бешеной тройки!
Кони сыты, и крепки, и бойки,
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой.

После этого Теряев стал для меня *своим* человеком. Были минуты, в которые я даже не мог удержаться от улыбки легкой радости, когда он входил в комнату. Но в апреле, после святой, тетушка тронулась в путь с тремя девицами. Мы с Теряевым провожали их до первой станции на почтовой тройке в телеге. Он рассказывал мне о своей деревне, которая всего шесть верст от Подлипок, о том, как он умеет жить и как он будет угощать меня самым лучшим запрещенным плодом, и прибавил:

— У меня, батюшка, там такое древо познания добра

[1] Можно истощить мои силы, но никогда не истощится мое мужество!

и зла, что вы, отец, целый месяц облизываться будете. Superfine[1].

Древо познания добра и зла напомнило мне об «адамовой голове», и я невольно улыбнулся. Он принял это за улыбку ликующего заранее воображения и, с жаром схватив меня за колено, продолжал:

— Да-с, упою вас самой квинтэссенцией! Я люблю вас. Если б не ваше бабье воспитание, так вы были бы отличный малый. Да я вас переделаю!

Я был уверен, что переделка не удастся, потому что под словами «бабье воспитание» он разумеет, вероятно, самые заветные мысли и чувства мои, которые я любил и лелеял, как самые нежные, изящные цветы моей жизни, и только по врожденной неосторожности и детской суетности выставлял напоказ, всегда с внутренним упреком и болью. Но слова «я вас люблю» действовали сильно. Соединив их с воспоминанием о Гизо и волосах, откинутых за пылающие уши, я готов был сам полюбить его. Случай спас меня. Навстречу ехал обоз.

— Сворачивай, сворачивай, черт возьми!

Передний мужичок спит ничком на телеге. Еще мгновение — и кнут в руках Теряева. Ни одного не пропустил он так, задел, хотя слегка, или по крайней мере заставил откинуться в сторону. На возвратном пути я отвечал ему все только *да* и *нет*; он поглядел на меня пристально и угадал, в чем дело.

— А! вы не любите этого! — воскликнул он смеясь, — это правда; теперь оно скверно, но вот надо отпустить их всех и тогда можно будет тешиться. Это уже будет отношение одной свободной личности к другой...

XIII

Незадолго до моего отъезда в деревню, я ехал однажды в пролетке по Кузнецкому мосту. Вдруг смотрю, идет высокий мужчина в черном пальто и серой шляпе, под мышкою зонтик. Вглядываюсь: это мой спаситель — Юрьев!

— Стой! Стой!

Долго не забуду я выражения радости на его бледном лице.

[1] Высшего сорта.

Он сказал только: «Володя!» — и протянул мне руки. Мы сели в пролетку и не расставались до полуночи. Все было перебрано, пересказано; был и смех, была и невеселая беседа. Юрьев жил в Хамовниках, в красном домике с желтыми украшениями, у разбогатевшего чиновника и занимался его детьми. Ему не хотелось поступить на казенный счет в университет, а на свой без работы он не мог. Я стал звать его в Подлипки, но он заметил, что Подлипки не мои, «да и куда-де мужику в ваши антресоли забиваться!».

— Почему же антресоли? — спросил я смеясь. — Полно поедем!..

— Посмотрите, — отвечал он, — у нас и перчаток нет. И сейчас сымпровизировал:

С голыми студент руками
И с небритой бородой
Принужден был жить трудами
У чиновника зимой...

Дальше помню только игру слов «аристократ» — и «ори-стократ». И, несмотря на все мои мольбы, он остался непреклонен.

В день отъезда он пришел провожать меня, был серьевен, говорил мне: «Вернись же, Володя, скорее! при тебе все теплее». Но в ту минуту, когда я занес ногу на подножку тарантаса (Модест уже сидел в нем), он спросил:

— Позвольте мне всегда звать вас «Дон-Табаго́»?

— Хорошо, зови, — отвечал я, не обижаясь слишком, но все-таки поморщился и прибавил: — Что за бессмыслица!

— Он грубоват и, должно быть, эгоист, — заметил Модест, когда Юрьев скрылся из глаз.

Часть третья и последняя

I

Давно уже Подлипки не были так оживлены, как в последнее лето перед моим студенчеством. Со всех сторон съехались гости. Модест кончил курс, и мы выехали с ним из Москвы в июне. Вслед за нами приехали брат

и Ковалевы. Теряев был тоже в своем имении и начал ездить к нам беспрестанно.

Утром от 9 до 12 часов не снимали со стола скатерти, самовара, кофейников и чашек. Кто придет раньше, кто позднее. Позднее всех приходили брат и м-м Ковалева. Все шумели, спорили, смеялись, рассказывали. До трех часов рассыпались куда попало; всякий выбирал себе общество по вкусу; образовались небольшие кучки; после вечернего чая все ходили гулять пешком в поле или ездили верхом, в таратайке, в телеге, в беговых дрожках. Наши барышни, Ковалева и брат большею частию были вместе; сидели на антресоли у Клаши или шумели при тетушке в гостиной; Ковалев бродил по дому с трубкой, читал газеты тетушке и Ольге Ивановне или беседовал с капитаном, который в свободные минуты нередко приходил к нам, несмотря на жару, в форменном сюртуке без эполет и в высокой разлатой фуражке. Его Февроньюшка беспрестанно гостила у нас.

Мы с Модестом на этот раз поселились для простора в старом флигельке с изломанной печью и полинялыми обоями. Он стоял на заднем дворе, и перед окнами его был красивый широкий огород. Мы часто читали там с Модестом или разговаривали; уходили вдвоем в сад и в рощу.

Сначала не было заметно никакой враждебности между нами и остальным обществом.

Модест иногда, впрочем, скажет, уходя из гостиной, где все вместе рассказывали анекдот, смеялись и пели:

— Какая скука! Что за деревянное лицо у этого Ковалева! Сидит как кукла целый день с трубкой; а у жены такое выражение лица, что ее не следовало бы в порядочный дом пускать. Брат твой фат; он на весь мир смотрит как на орудие своих наслаждений. Аза в глаза не знает и кутит в Петербурге! Эта худая Дарья Владимировна сидит в углу со своим чахлым Теряевым... Что тут хорошего? Два скелета, две голодные кошки любезничают друг с другом! Одна только и есть порядочная душа, это Клавдия... Она по крайней мере не глупа.

Я не соглашался с ним и возражал ему искренно:

— К чему это разочарование? Я, признаюсь, не понимаю Байрона. Все это вздор!.. Надо уметь быть счастливым. Надо быть твердым и положительным... пользо-

ваться минутой. Все это *ходули и румяна*. Доброты и простоты нет — вот что! К чему Жак у Занда бросился в пропасть? Из-за какой-нибудь женщины? Разве нет других? Жак был очень умен в теории, но практически он был глуп.

Говоря так, я иногда стучал кулаком по столу и выходил из себя от досады на людей, не понимающих всю прелесть жизни.

— Ты судишь как богатый матушкин сынок. Тебе все улыбается,— отвечал Модест.

После этого мы становились на сутки, на двое суше друг с другом. Брат тоже делал иногда какие-нибудь замечания насчет Модеста, тоже за глаза.

— Что это у м-сье Модеста за привычка носить на шее носовые платки и при всех ходить в таких клетчатых шароварах, которые порядочный человек только по утрам под халат надевает?

Или:

— Давно что-то Модест Иваныч не рассказывал о Фредовских, Пепшиковских, Филипповских... Владимир, ты знаком с этими Филипповскими?..

— Филипповских нет вовсе...

— Ну, все равно... Как их там, его аристократия-то?

Но брат говорил все это без злобы; а у Модеста лицо искажалось от радости, когда он успевал что-нибудь подметить.

Один раз только вышла ссора посерьезнее. Мы все пошли гулять в поле и встретили крестьянина с возом сена. С нами были братнины борзые; за одним из возов бежала дворняжка среднего роста. Увидав борзых, она бросилась сперва под воз, потом выскочила оттуда и побежала полем к деревне. Борзые за нею. Барышни закричали: «Ах, Боже мой! разорвут!» Но брат захохотал и начал травить: «Ату его! ату его!»

Борзые наскакали, собачка завизжала и покатилась, вырвалась; опять наскакали, опять покатили ее; опять она вырвалась...

— Эх! — сказал кто-то около меня тихо.

Я обернулся. Хозяин собаки, снявши шапку, стоял около воза и жалобно смотрел туда. Выразить не могу, что я чувствовал в эту минуту. Даша и Клаша кричали:

— Отбейте, отбейте ее! Они ее растерзают!

Олинька, муж ее и Теряев смеялись над ними. Мы с Модестом бросились отбивать.

Собачке вырвали клок мяса из боку и искусали заднюю ногу: хромая и визжа, ушла она на деревню, а борзые вернулись к брату. В это время подошел к нему Модест.

— Это свинство! — сказал он, бледнея.

— Почему это, позвольте узнать? — спросил брат, вежливо склоняясь к нему.

— Потому что... Это понятно!.. Что тут (Модест задыхался от гнева) у мужика...

— А! — воскликнул брат, — понимаем! Это гуманность, — прибавил он немного в нос. — А? это гуманность! Так ли я произношу? Pardon!.. Я ведь человек не ученый...

Модест посмотрел на него с презрением и покачал головой.

— А если бы хозяин этой собаки да вас бы кнутом хорошенько или лицо бы вам все разбил?

Глаза у брата помутились; он схватил Модеста за руку и прошептал:

— Как? мужик? Да я бы его туда запрятал, куда ворон костей не заносит! Послушай ты, — продолжал он, обращаясь к мужику, который между тем побрел за своим возом, — ты как смеешь водить собак, когда господа ходят гулять?

Мужик поклонился:

— Я, батюшка, Николай Александрыч, не знал, что вы изволите гулять.

Брат остыл.

— Ступай, — сказал он, — вперед чтоб этого не было.

Мы ушли с Модестом домой. Остальные продолжали прогулку.

Но скоро новые впечатления заставили забыть историю бедной собачки.

II

Самой любимой partie de plaisir[1] нашего общества были прогулки пешком в Лобаново, к Копьевым. Лоба-

[1] Развлечением.

ново от нас всего полторы версты. Через деревню протекает ручей; есть березовая роща за овинами; много больших лугов; а домик капитана покрыт соломой и стоит за ракитами на склоне горы. У капитана есть небольшой сад. Теряев там часто гулял с Дашей по вечерам, уходил с нею в поле далеко. Клаша хохотала в углу с Февроньюшкой, а мы с Модестом слушали рассказы капитана о его походах, о том, как девки любили их в Украйне, как они раз с воем провожали полк, так что их палочьем солдаты вернули домой. Иногда все вместе играли в горелки, в четыре угла, пели хором, танцевали под капитанскую гитару.

Модест, впрочем, часто оставался дома или уходил прежде других домой. Ревность грызла меня иногда, но Катюша была мила со мной, повторяла старые обещания, и я верил ей. Однажды молодежь наша ужасно расходилась в Лобанове. Олинька Ковалева отлично умела представлять и передразнивать. Она то рассказывала про одного барина, который был влюблен в нее и говорил ей басом: «Я с этого дня с вами на другой ноге»; то представляла, как такая-то старая девушка танцует мазурку и хохочет в такт от радости. За ней поднялся Теряев; он тоже был мастер на эти дела; мы все просто задыхались и плакали от смеха. Модест долго был задумчив, но вдруг и он вздумал выйти на сцену, сел посреди комнаты и стал представлять какого-то учителя. Больно было смотреть на него, голос его дрожал, он забывал даже, что нужно говорить, тянул... все из учтивости улыбались. Наконец он вскочил со стула, захохотал один и, вскрикнув: «Преуморительная была фигура!» — вышел вон и скрылся.

Немного выждав, я поспешил домой; я полагал, что он страшно страдает. Во флигеле его не было; я пошел в сад, но, увидав издали на сажалке розовое платье Катюши, забыл о нем и бросился к ней.

Катюша мыла какие-то воротнички, присевши на плотике, и пела вполголоса очень грустно: *Ты поди, моя коровушка, домой.* Я раздвинул лозняк. Вообразите мое удивление, мою досаду: Модест лежал под кустом.

Он улыбнулся как счастливый соперник. Катюша обернулась, засмеялась тоже и сказала:

— Ну! все притащились!

— Ты будто и не рада? — неосторожно спросил Модест.

Катюша сурово посмотрела на него.

— Уж пожалуйста! Скучно слушать даже... Мало я вас отсюда гнала. Об одном вас прошу: отстаньте от меня. Вы все лезете ко мне, а не я к вам. Мне, может быть, целый день от одних людей покоя нет, все ко мне с вами пристают. Черт знает, что плетут... Рада! Есть чему радоваться, скажите пожалуйста! Какую радость нашел!

— Ну, матушка, понесла ахинею! — возразил Модест, с пренебрежением взглянул на нее и встал.

Мы вышли с ним из лозняка.

— Груба! — сказал Модест,— не будет из нее толку!..

— Какого же ты хочешь от нее толку?..

— А ты?

— Я? Я бы желал только иметь ее любовницей...

— А ты находишь подобное желание нравственным?

— Года через два я буду в состоянии обеспечить ее...

— Нет! — продолжал Модест, и лицо его прояснилось,— я не так понимаю нравственность. Ах, если б я мог всех судить по моему благородству!..

— Для чего же ты уходишь рано из Лобанова или остаешься здесь, когда мы идем?

— Делай свое дело,— отвечал он,— а я свое. На чьей улице будет праздник, увидим после. Я не сержусь на тебя, и ты не сердись.

Такое условие было в моем вкусе, и мы остались друзьями.

Но мне противна была настойчивость: я находил ее унизительным делом; то по целым неделям не говорил с Катюшей, то, собираясь остаться вечером в Подлипках и мешать Модесту, не мог устоять против улыбки брата и его голоса, когда он говорил мне:

— Ну, ну, бери фуражку! Едем к Теряеву.

Или:

— Володя, что ж ты в Лобаново с нами?

А Модест шел своей дорогой, и хоть многие замечали, что у него есть что-то с Катюшей, хотя сама тетушка сделала ей выговор за то, что она мало принесла грибов из рощи, и прибавила даже: «Не грибы на уме, мать моя, не грибы!» — но скандала не было еще никакого.

III

Ковалев уехал в Москву, обещая вернуться в половине августа за женой. Без него еще стало заметнее, что брат ухаживает за Олинькой. Даже и я, не умевший тогда ничего подозревать, начал обращать на них внимание. Модест, который был и опытнее, и меньше занят собою, чем я, и тут пособил мне.

— Уехала кукла,— сказал он,— теперь лев наш потешится!

И точно. Николай ходил гораздо чаще прежнего с Олинькой по зале и по саду; в рощах они старались удаляться от других; вечером на балконе просиживали по целым часам вдвоем, и все остальные старались не мешать им, уходили с балкона, не вмешивались в их разговоры. С другой стороны, Теряев все настойчивее и настойчивее увивался за Дашей, привозил ей ноты, книги, ездил с ней верхом в наших маленьких кавалькадах. Они часто все четверо удалялись в комнату Ковалевой, и мы слышали там смех и пение хором страстных или грустных романсов: «Когда все пирует и блещет вокруг» или «Что затуманилась, зоренька ясная». Ольга Ивановна не следила за племянницей, она надеялась на Теряева и говорила о нем так:

— Мне кажется, что в этой голове сосредоточивается весь человек нашего времени!

Клаша иногда принимала участие в этих сборищах, иногда сидела у себя наверху с Февроньюшкой, вышивала с нею вместе в пяльцах бархатным швом великолепный дорожный мешок для брата и в часы отдыха ела с ней толокно и землянику со сливками. Мы с Модестом чаще бывали у нее, чем у Ковалевой.

— Знаешь,— сказал он мне однажды,— Николай Александрович сегодня ночью в халате пробрался через девичью к Ковалевым.

— Неужели?

— Спроси у Катюши. Половицы скрипят в коридоре. Она проснулась и смотрит: крадется в туфлях и в своем львином халате. Надобно будет поздравить мосье Ковалева с куафюрой! А что бы брякнуть ему хоть письмецо: так, мол, и так?

— Не может быть. У нее ребенок спит в комнате; девочка уж велика...

— Э! пустое! Захотят, так девочка ничего не узнает. Уж не хватить ли письмом?

Лицо его опять исказилось.

— Нет, не делай этого. Ковалев хоть и маленький, а сердитый, как бы он не наделал чего-нибудь брату.

— Не беспокойся! Дуэли не будет: все фанфароны, подобные твоему брату, серковаты.

— Перестань, ты уж слишком на него нападаешь. Что ты, завидуешь ему, что ли?

— Мне и даром это привидение не нужно,— гневно возразил Модест, взял арапник и ушел в поле.

В течение нескольких минут он был мне противен; но часа через два после этого я случайно увидал его через садовый забор на лугу около рощи; опершись на забор, я долго смотрел, как он уходил не торопясь по дороге в орешник. Он шел, повеся голову, так одиноко, невинно и безвредно, твиновое пальто его было так не ново и не модно, луг так зелен и свеж, что я помирился с ним.

Я рассказал Клаше про ночное приключение брата. Она ахнула, покраснела, но сказала, что не верит и что на сплетни этих горничных нельзя полагаться; но потом задумалась что-то и загрустила.

Между тем враждебность обозначалась все яснее и яснее. Брат называл нас с Модестом прямо в глаза министерством народного просвещения. Выйдем поутру к чаю, он раскланяется с нами, подаст нам обе руки разом и скажет:

— А! министерство народного просвещения!

Мне это не нравилось, но я улыбался, потому что не мог устоять против его улыбки, которую мне бы хотелось назвать цветущей улыбкой. Модест отвечал ему молчанием и презрением. Для ссор и разногласий было много случаев. Во всем мы расходились. Вкус, мнения, понятия — все было разное. Поехали, положим, ко всенощной. Тетушка и Ольга Ивановна стали на обыкновенных местах своих в большой церкви. Наши девицы, м-м Ковалева и Теряев остались в заднем приделе нарочно, чтоб удобнее разговаривать. Сначала и мы с Модестом стояли около них; Теряев что-то шептал дамам, а те давились от смеха и закрывались платками. В приделе было мало народу, только изредка сильный взрыв смеха заставлял оборачиваться назад седого и сухого старика,

который молился громко и усердно в темном углублении окна. Модест толкнул меня локтем и, показав на них глазами, покачал головой и сказал:

— Отойдем к окну, туда, к старику.

Я сначала не послушался, но, когда брат, развалившись на кресле, за которым он нарочно посылал старика, вынул из кармана какую-то книгу и начал читать громко то место, где отец и мать героини занимаются наверху мозолями, я тоже отошел от них. Теряеву и брату и этого было мало; под конец всенощной они пошли в большую церковь, при всем народе серьезно и набожно становились на колени перед налоем, на котором лежал образ, крестились, падали ниц и прикладывались. Дамы едва-едва удерживались от смеха.

— Стоит все это рассказать тетушке! — заметил я Модесту.

— Бог с ними! — отвечал Модест. — Старухе будет больно, а мерзавцев не исправишь.

Капитанова Февроньюшка была очень смешлива, робка и добродушна. Испугать ее можно было всем: прыгнул вдруг кто-нибудь около нее, стукнул, ахнул из угла, тронул ее сзади — довольно, Февроньюшка уже кричит благим матом. Стоит сделать гримасу перед ней или рассказать ей на ухо что-нибудь не совсем пристойное и забавное — Февроньюшка и пошла киснуть и кататься. Брат любил ее, или, лучше сказать, любил забавляться ею. Он при всех целовал ее насильно, звал ее всячески: «Ховринька, Февра, Февруар, Януар!» Играл с ней в карты, в фофаны, в дураки, в зеваки; если она проигрывала, он надевал на нее колпак из сахарной бумаги или кричал ей прямо в лицо, как будто зевая: «Зев-а-а-ка, зев-а-а-ка».

Раз в дождливый вечер вздумали мы вместе играть в зале в горелки, в жмурки, в четыре угла. Потом уже начали возиться и бегать как попало. Даже Модест разыгрался. Мы гонялись за дамами по всем комнатам; они прятались от нас в шкафы, за кровати. Тетушка и Ольга Ивановна сидели в зале, любуясь на нас. Февронья села на пол за спинку тетушкина кресла и прикрылась концом оконной занавески. Брат вытащил ее оттуда и закричал:

— А, Ховря, Ховря! вы смеете меня так мучить... Вот вам за это.

И он толкнул ее к Теряеву, Теряев к нему, он опять к Теряеву... Ховря сначала смеялась, потом просила перестать, потом вдруг присела на пол и заплакала. Брат поднял ее и хотел поцаловать, но она отклонилась и тихо сказала:

— Разве так шутят? Еще какие люди!

Закрылась платком и пошла к коридору. Даша подбежала к ней, обняла ее и увела наверх.

Брат долго смотрел ей вслед и воскликнул:

— Вот тебе раз! Каков Февруар? и, равнодушно напевая что-то, стал ходить по зале.

— Напрасно, Коля, ты так неосторожен, — начала тетушка...

Но в эту минуту вышел из угла Модест и обратился к брату:

— А ведь вы, Николай Александрыч, не сделали бы этого с княжной Н. или с графиней В.?

— Что-с? — спросил брат, сбираясь, должно быть, с мыслями.

— Вы слышали, что я сказал...

— Что-с? княжна? Я полагаю, что здесь дело зависит не от княжны, а от понятий, от manière d'être...[1] Поверьте, она все это простит и очень будет довольна мной...

— А если б у нее был брат, который бы... — закричал Модест громовым голосом и сделал движение рукою...

— Ах, мать моя! — воскликнула тетушка. — Как закричал!.. Что с тобой?

Модест стоял бледный и зверски смотрел на брата. Брат был спокойнее; не вынимая рук из карманов, он отвечал:

— Тот, кто бы это сделал, не был бы жив.

И ушел в свою комнату.

После я узнал, что брат накануне предлагал Катюше деньги и золотую брошку; она отказалась от них и потом, когда проходила без нас с Модестом и без тетушки через залу, брат при Ковалевой и девицах сперва заставил ее поцаловать у себя руку, а потом подставил ей ногу так, что она растянулась как нельзя грубее и ушибла себе колено.

---

[1] Образа жизни.

IV

Февронья так оскорбилась, что на другой день ушла рано утром домой. За чаем все стали делать выговоры брату.

— Во время шутки надо удерживать себя в границах,— заметила Ольга Ивановна.

— Она очень долго плакала,— прибавила Даша.

Клаша сказала, что не могла уговорить ее остаться; Модест молчал, а я советовал брату сходить в Лобаново извиниться.

Николай засмеялся и отвечал:

— Теперь жарко, а ужо пойдемте все вместе.

Часов около восьми вечера привели Ховриньку из Лобанова: Николай шел с ней под руку впереди всех.

— Вот она, сердитая Ховря! — воскликнул брат, вводя ее в гостиную к тетушке.

— Что это ты, мой дружок Ховря, вздумала капризничать? — спросила тетушка, когда та подошла к ее руке.— Ведь ты знаешь, здесь все тебя любят.

— Да они-то не всех одинаково любят,— заметил Теряев.— Они обуреваемы страстью к одному...

Все захохотали... Ховря тоже засмеялась и покраснела... Брат пристал к ней:

— Как? Как, Ховря? Вы влюблены?..

— Ей-Богу, ей-Богу — нет... ей-Богу нет! Это...

— Значит, я лгу? — перебил Теряев,— а наволочка?

— Что, что? что такое наволочка? какая наволочка?

— Не говорите! Ей-Богу! Ах! Василий Петрович... как это можно... Это неправда...

— Позвольте, позвольте,— продолжал Теряев,— Февронья Максимовна сшила себе, Николай Александрыч, подушку из шелковой подкладки вашего старого халата, покрыла ее белой, самой белой наволочкой и ни за что на другой подушке заснуть не может.

Все опять хохочут.

— Ах, Ховря! Ах, Ховря!!

— Неправда, ей-Богу, неправда...

В это время Клаша с Ковалевой вошла в залу; я за ними; скоро и Даша с Модестом пришли туда же...

— Как я не люблю, когда так пристают! — сказала Клаша Ковалевой.

— Вот сострадательная душа! — воскликнула Ковалева. — Ховря очень рада; она готова все перенести, чтобы только бывать здесь. Ты, Клаша, уж слишком чувствительна. А еще соперница!

Клаша вспыхнула.

— Не знаю, кто больше соперница, вы или я!

— Это почему же?

Ковалева переменилась в лице.

— Полноте, полноте! — продолжала Клаша, — все понятно, все видно... очень видно (я дернул ее за рукав).

Но у нее уже сделались те злые глаза, которые я не любил; она начала потирать и пожимать одну руку другой (у нее это верный признак сильного волнения) и продолжала:

— Поверьте, я знаю и понимаю больше, чем вы думаете.

Ковалева устремила на нее неподвижный, наглый взор, скаредно вытянула вперед свое поблекшее и правильное лицо и, помогая себе движениями рук, отвечала быстрым полушепотом:

— Что вы? что вы хотите этим сказать? Вы думаете испугать меня? Нет, вы меня не испугаете! Знаю, знаю я. Вы хотите уверить всех, что я влюблена в Николая Александрыча, что он за мной ухаживает. Так что же в этом? Здесь тайны нет никакой. Я вольна делать, что хочу. Один муж может судить меня.

— Что вы раскричались! — возразила Клаша улыбаясь. — Вы сами все сказали теперь.

— Полноте, mesdames, — заметила Даша. — Что за ссоры! Fi, comme c'est vulgaire![1]

— Я уж не знаю, что там vulgaire, — грубо продолжала Ковалева, — а я не хочу, чтоб она говорила вздор. Ну, можно ли так глупо смешивать позволительное кокетство Бог знает с чем!

Она махнула рукой и ушла.

Модест все время ходил по зале и был, казалось, очень рад; он то жался к стене как человек, который боится, то подмигивал мне, то притравливал шепотом,

[1] Фу, как это вульгарно!

то молча закидывался назад, схватившись за бока, как помирающий со смеха. Даша, напротив того, была очень недовольна.

— Все от зависти ты это, Клаша...— сказала она.

— Ах! пожалуйста, вы не мешайтесь! — возразила Клаша.— Вы все за одно! Теряев и Николай Александрыч помогают друг другу.

— Интриганка! дрянь этакая!

С этим словом Даша ушла за Ковалевой... Меня занимала тогда эта распря; без всякой горечи смотрел я на них; но на другой день дело приняло серьезный оборот.

V

Сплетня дошла до тетушки. Мы с Модестом упросили Клашу еще раз побожиться, что она не выдаст Катюшу, и она сдержала свое слово при всех объяснениях, так что ясно ничего не было высказано о ночной прогулке брата... Но объяснения следовали за объяснением... Сперва объяснялись en tête-à-tête[1] брат в саду с Ковалевой; брат вернулся угрюмый, крутил усы и, встретив меня, спросил:

— Где эта толстая сплетница?

— Кто?

— Клавдия Семеновна.

— Клаша у себя наверху,— ответил я кротко,— не ходи к ней, Николай, пожалуйста... не брани её. Она, право, тебя любит.

Я хотел взять его руку, но он отдернул ее и сказал:

— Нельзя ли без тандрес? Я до них не охотник. Ты об ней, впрочем, не беспокойся, я не стану вступать в объяснения с этакой горничной девкой!

Даша вызвала Ольгу Ивановну на балкон и шепталась с нею; обе шептались с тетушкой в спальне. Модест пропал куда-то; я сбирался тоже пошнырять где-нибудь по задам, в надежде встретить Катюшу у пруда или за людской и завести ее хоть на минуту во флигель. Вдруг, слышу, меня ищут, зовут. Что такое?

— Клавдия Семеновна просит вас к себе.

[1] Наедине.

Прихожу. Клаша с письмом в руке сидит у окна; глаза ее красны.

— Прощай! — говорит она мне, протягивая руку.

— Что с тобой?

— Вот письмо, — продолжает Клаша, — это к Марье Николаевне... Читай...

«Я вижу, что я в вашем доме лишняя. Здесь никто меня не любит, все пренебрегают мною; может быть, я сама этому виной... мой неприятный характер. Я никого не виню и благодарю вас тысячу раз за все то, что вы для меня сделали... Вас, chère maman[1], я никогда не забуду; но позвольте мне ехать к сестре. Там мое настоящее место. Я буду там жить небогато, но что ж делать! Всякому своя судьба...»

Тетушка согласилась, и все стихли.

Было ли мне жалко расставаться с Клашей? Сначала нет. Я любил еще ее по старой привычке; но она судила иногда убийственно, и, будь она еще во сто раз свежее, добрее к котятам и щенкам, я все бы не простил ей многого. Еще недавно унизилась она в моих глазах похвалами Теряеву.

— Он очень некрасив, но я понимаю, что в него можно влюбиться, — сказала она, и ничем я не мог выбить из нее этого мнения.

— Истаскан, бледен, худ, — говорил я...

Она отвечала, что румянец приличен только мальчишкам.

— Дурно одевается: панталоны натянуты на штрипках и морщат кругом...

— Женщины в такие тонкости вашего туалета не входят.

— Мужиков бил кнутом...

— Да разве больно? Это он шутя...

— Развратен.

— Все мужчины такие... И ты сам... сколько раз я тебя встречала с Катюшей!

Ну можно ли любить ее после этого? Поди объясни ей разницу между моими сношениями с чуть расцветшей, полудикой подругой детства и какими-нибудь происками бледного атеиста!

---

[1] Дорогая матушка.

VI

За день или за два до отъезда Клаши все смягчилось, повеселело; за вечерним чаем, вернувшись с прогулки, все много смеялись и разговаривали. Я смотрел на самовар, на тени знакомой формы на стене, смотрел на выразительное лицо брата, на Олиньку и Клашу, и мне становилось вдруг так жалко, так обидно за Подлипки, что все их покидают... Клаша по-старинному взглянула на меня пристально и улыбнулась; я думал — она поняла меня, и вздохнул.

После чая Ольга Ивановна села за рояль, и начались танцы. Брат канканировал; он был моим визави, а дамой моей была Клаша. Он как ни в чем не бывало брал ее за руки, за стан, кружился с ней, когда приходилось; мне казалось, что она была смущена. Когда кончились танцы, я вышел на балкон посмотреть на звездное небо и освежиться. Не успел я облокотиться на перила, как кто-то подошел и взял меня ласково и тихо обеими руками за голову. Я обернулся и увидал Клашу. Взгляд ее, обращенный к небу, казался выразительнее обыкновенного. Потом она прилегла к моему плечу; в первый раз позволила она себе такую сердечную ласку. Я обнял ее молча. В эту минуту большой серебристый тополь, который стоит у нас в палисаднике перед балконом, зашевелился, зашумел вдруг как живой и смолк.

— Прощай, прощай, Подлипки! — сказала Клаша.

— Не уезжай. Полно... Разве тебе моей любви не довольно?..

— Твоя любовь — не любовь, а дружба... Прощай, прощай, Подлипки!..

Модест вышел на балкон.

— Уговори ее остаться,— сказал я ему.

Модест подошел медленно, нагнулся к Клаше, посмотрел ей в лицо и пожал ей руку.

— Ты судишь так потому, что слишком молод,— сказал он.— Ехать надо во что бы то ни стало. Знаешь ли ты, что такое презрение к самому себе, к собственной слабости, Владимир?..

— Э! все это вздор! романтизм! Надо быть просто веселым...

— Легко сказать! Нет, душа, это не романтизм; уз-

наешь ты и сам когда-нибудь обо всем этом. Видишь, она молчит? Клавдия Семеновна! (Клаша закрылась платком.) Видишь, она лучше твоего понимает жизнь. Плачьте, но помните, что Бог нам дал волю! — прибавил он и ушел.

Низенькая светло-лиловая комната на антресолях опустела... Кровать Клаши была без тюфяка; кисейные занавески сняты с окон; темная шифоньерка с медными кольцами и полосами пуста; только несколько обрывков кисеи и холстинок, старые башмаки и разбитая мыльница напоминали о Клаше. На стене осталась большая картина в старинной деревянной рамке — огромная бородатая голова Леонида Спартанского в каске, над которой черным карандашом трудился когда-то брат, еще кадет.

Мы с Модестом только что проводили Клашу до первой станции. Мы ехали верхами около тарантаса; Клаша, спрятавшись в подушки, плакала. Старушка Аксинья провожала ее до города.

Последний раз, привстав, посмотрела Клаша с горы на сад и рощу: они слились уже в одну зеленую полосу.

Я стоял один в ее пустой комнате и глядел на Леонида, как вдруг вошла туда Ковалева.

— Я тебя везде ищу,— сказала она,— а ты здесь грустишь. Пойдем-ка в сад... У меня до тебя есть просьба...

Никто не мог быть мне так противен в эту минуту, как эта наглая, бледная львица. Чувство мое было поругано ее приходом. Нечего делать, однако,— подал ей руку, и мы пошли в сад.

— Попроси тетушку,— начала она,— чтоб она уговорила твоего брата уехать отсюда... Это для его пользы. Мне самой, согласись, неловко... Приедет мой муж... Приятельница твоя наплела...

— Разве он ревнив?..

— И да, и нет... Мы давно предоставили друг другу полную свободу... Кто из нас первый был виноват — Бог знает... Я кокетничала, он кутил исподтишка. Мы живем дружно, ты знаешь; но он ненавидит сплетни и скандалы. И кто это любит, посуди сам? На него находят минуты, он такой вспыльчивый, что я ни за что не поручусь...

Через неделю или две брат уехал, а Ковалев вернулся в половине августа.

VII

С Катюшей у нас во все это время было ни то ни сё... Однажды я зашел в чулан, где за перегородкой висели платья наших горничных и хранились их пожитки. Я видел, что Катюша прошла туда. Она сидела на полу перед сундуком.

— Вот,— сказала она,— платочек, который вы мне третьего года подарили... Шутка сказать, сколько времени я вас вожу!..

— Да, пора бы образумиться,— отвечал я,— пойдем сегодня после ужина в сад...

Катюша задумалась; лицо ее стало грустно; она взяла меня за руку и молчала, опустив глаза... Я продолжал убеждать ее... Она все молчала, изредка вздыхая... Вдруг дверь скрипнула; мы обернулись — Модест стоял перед нами, Катюша встала и покраснела...

— Нет,— сказал Модест,— она не пойдет гулять с тобою.

— Отчего это?

Модест посмотрел на Катюшу и опять повторил:

— Нет, она не пойдет!

Катюша стояла у стены и, опустив глаза, перебирала руками фартук...

— Не правда ли, Катя, ты не пойдешь? — спросил он.

Они обменялись взглядами; она вздохнула...

— Пойдем отсюда,— сказал мне Модест,— зачем ей делать вред?.. Кто-нибудь увидит нас. И без того много болтовни и грязи...

Я не понимал, в чем дело, и прямо оттуда, сгоряча, пошел к тетушке просить денег.

«Двести рублей довольно,— думал я,— заплачу дяде за ее выкуп... Остальное на подарки. Устрою ее в Москве...»

Слово за словом, дошло у нас с тетушкой до ссоры.

— На что тебе такая куча денег?

— Это мое дело, тетушка, на что...

— Погубишь, погубишь ты себя! Уж случится с тобой что-нибудь как с дядей, с Модестовым отцом!.. Я вижу давно, что у тебя вкусы низкие... Все больше с простонародьем...

— Не всем иметь благородные вкусы: надо кому-нибудь и низкие иметь... Все мои знакомые, Синевский, Яницкий, Киреев, сами получают доходы со своих имений. Я один только до тридцати лет буду в пеленках ходить. И не требую даже всего, а вот пустую сумму прошу, и ту затрудняетесь дать. Вы говорите всегда, что я не могу еще сам заниматься хозяйством... Хорошо... А вы сами знаете ли, что делается в моей деревне? Вы верите приказчику и никогда туда не ездите.

Тетушка заплакала.

— Выйди отсюда, оставь меня,— сказала она кротко,— выйди, прошу тебя.

На дворе я встретил Модеста.

— Что с тобой? — спросил он.

— Так, ничего; оставь меня.

— А я хотел поговорить с тобой.

— Нельзя ли после?

— Мне тяжело ждать... Это дело важное... Пойдем в сад.

В саду он долго собирался с духом, наконец взял меня за руку и начал:

— Послушай, не оставить ли тебе Катюшу в покое? Ты напрасно себя тревожишь. Деньгами ты ее не купишь, Владимир: она выше этого, гораздо выше. А самого тебя... ты не обидься, смотри... Она еще вчера мне говорила, что считает тебя мальчишкой, что ты еще слишком молод.

— Не верится мне что-то,— возразил я с досадой,— на нее это непохоже. Она взята с деревни; я уверен, что свежесть и добродушие ей нравятся больше, чем все эти гнусности, которые выдумали барышни,— опыт, сила, бледность, страданье... чтоб их черт побрал!.. Давно ли она про тебя говорила, что ты губастый, весноватый, худой...

Модест сперва покраснел, потом долго шел молча, вздохнул и продолжал:

— Быть может, она обоих нас проводит. Ошибиться можно всегда, особенно тому, кто благороден... Однако странно!..

Помолчав еще, он вдруг обернулся ко мне с выражением торжества и веселья на лице и сказал:

— А что, если я тебе скажу, что все уже кончено? Если я тебе скажу, что она принадлежит уже мне... что

ты скажешь? Послушай, Володя (он взял мою руку), для тебя она была бы игрушкой, а для меня она — святыня! Я никогда не говорил тебе так. Я знаю, что все это останется между нами. Я все скажу тебе... я хочу на ней жениться...

— После этого,— отвечал я грустно,— мне нечего тут мешаться... Я не буду вам мешать.

— Ты будешь так благороден, Володя? — воскликнул он.

— Еще бы! Это уж не то. Вот тебе мое честное слово, что я не буду подходить к ней, если ты этого не захочешь...

Оставшись один во флигеле, я долго думал об этой развязке. Я был сам не свой; потрясен, удивлен, огорчен и обрадован вместе...

Итак, уж эти умные глаза, эти губы, молодой стан, знакомые руки — все это не мое? Больно... Но как вспомнишь, что дикарка наша будет «дамой», что она наденет шелковое платье, что Ольга Ивановна принуждена будет говорить ей «вы» и «Катерина Осиповна», так станет легче... Вот какие вещи делаются у нас в Подлипках! Ольга Ивановна легка на помине: человек принес мне от нее запечатанную записку с деньгами:

«Тетушка ваша очень расстроена; она поручила мне написать вам, что двухсот рублей у нее в эту минуту нет, а посылает она 170. Завтра приказчик отдаст вам 30. Не ходите к ней: она нездорова и не желает вас видеть...»

На что мне теперь эти деньги? Я бросил их на стол и думал, что Бог меня очень скоро наказал за бедную тетушку.

— Я еще не успел прийти в себя и сновал из угла в угол по флигелю, когда сама Катюша отворила дверь и шепотом спросила:

— Одни?

— Один,— отвечал я.

Катюша обняла меня и прослезилась.

— Я виновата перед вами,— сказала она,— знаю я сама... А я вас всегда больше чем его любила... Как это случилось — не знаю сама... Простите мне, что я вас обманывала... Духу не хватило вам сказать; как увижу вас, то есть просто так жалко станет... Господи!

— Что же, Катя? — отвечал я,— это к лучшему. Я бы

никогда не женился на тебе, а он... Ты будешь Катерина Осиповна Ладнева...

— Как же! сейчас так я и поверила этому! Ну, да такая моя судьба... Узнает он, что я здесь была...

Она хотела бежать, но было уже поздно. Модест застал ее. Он не сказал ей ни слова, но, едва только она затворила за собой дверь, он кинулся как безумный на кровать, потом вскочил, заплакал и, прижав платок к глазам, сказал:

— Она тебя, тебя любит! Все пропало!

Я уговаривал, упрашивал его, клялся ему, что не прикоснулся к ней, что она пришла сама, из сострадания ко мне.

Но долго еще ревность его не остывала; он бегал по комнате, божился, плакал, растерялся до того, что чуть-чуть было не уронил этажерку с книгами, опершись на нее с размаху локтями. Видно было, что он искренен, что не знает, куда деться. Я увел его в поле. День был тихий, осенний, везде блестела и неслась паутина; бедный Модест умилился и успокоился... Я вспомнил о тетушкиных деньгах и предложил ему 100 рублей.

— Спасибо,— сказал он.— Деньги нужны... Надо уговорить ее уехать отсюда. Я не могу еще выбить из нее привычек низкопоклонства, ей ничего самая грязная служба, а я подумать об этом не могу без ужаса. Впрочем, к концу сентября увезу ее непременно...

После этого Катюша не раз приходила к нам во флигель по сумеркам; Модест сам ставил самовар и поил ее чаем; он был очень внимателен к ней, даже нежен, и я старался избегать их общества, потому что он был неинтересен, а она холодно весела, и мне все казалось, что ей противно, что она его не любит.

Немного спустя вышла в доме история, которая принудила Катюшу оставить Подлипки. До тех пор она все не соглашалась уехать, боялась чего-то. Сама говорила мне: «Страшно что-то! Вы не поверите, ей-Богу!..»

VIII

Дня через три после этого, в скотной, ночью был пир. Тетушка, с тех пор, как к нам занесли падеж приятели скотника, запретила ему раз навсегда принимать

гостей; но Филипп любил поиграть в карты и выпить, а жена у него была молодая и плясунья. Я еще спал, когда Модест на цыпочках и совсем одетый вошел в нашу общую комнату. Я открыл глаза.

— Ты проснулся?

— А что?

— Проснись, проснись. Ради Бога, слушай... Она поедет, теперь — я уверен — она поедет!.. Молодец Филипп! Молодчина! Я видел ее сейчас. Как она грустна, как мила!

Наконец-то я понял, в чем дело. Когда мы кончили чай, в столовую позвали всех девушек; тетушка села на кресло, у окна. Ковалев (он недавно вернулся), с чубуком в руке, расхаживал по зале. Приказчик докладывал, кто был на пиру и как. Девушки молчали; курносая Матрена, Маша, московская швея, с острой головой и большими коками, стояли рядом; из-за них, презрительно улыбаясь, выглядывала Мавруша, горничная Ковалевых, высокая, цветущая, толстая, черноглазая и разодетая в прах. Впереди всех вытягивала шею наша простуша Катюша. Модест отвернулся к садовому окну и барабанил по стеклу.

— Воля ваша, я в скотной не была,— сказала Маша.

— Как же ты отпираешься? — продолжал приказчик.— У тебя и подол весь загвоздан... Прасковья-стряпуха сама видела, как ты через забор лезла, чтоб мимо моих окон не идти... Вот что!..

Ковалев в эту минуту вдруг остановился перед Маврой и спросил:

— А ты была? Смотри, не лгать, не лгать! — И грозно поднял руку.

— Была, была,— сказал приказчик,— в барской шали была... молчи уж!

Ковалев еще ближе подступил к Мавре.

— Говори, была?

Мавра презрительно улыбнулась.

— Отчего ж и нам иногда не погулять? Ведь господа гуляют... А барской шали я не брала.

Ковалев изо всех сил ударил ее по щеке. Мавра заплакала.

— Serge! — закричала жена.

Даша ахнула. Модест взглянул на меня и поднял гла-

за к небу. Сама тетушка покачала головой и обратилась к Катюше:

— И ты, мать моя, туда же?

— Куда люди, туда и я-с,— отвечала Катюша и поклонилась ей в ноги.

Модест взбесился и вышел вон.

Девушек отпустили.

— Все эти беспорядки от вашей слабости, тетушка,— заметил Ковалев.

Тетушка, грустно прищелкнув языком, отвечала:

— Мужчины нет в доме, нет мужчины — вот беда...

— А Володя? — спросил Ковалев улыбаясь.

— Э! батюшка...

Вечером мы с Катюшей в последний раз беседовали в Подлипках. Я уговаривал ее уехать с Модестом. Она была бледна, горько плакала, но говорила: «Здесь я привыкла; родные есть... будет ли лучше с ним?»

При всем моем желании быть благородным, я не умел тогда быть благородным по-своему, не имел находчивости для отдельных случаев и больше боялся прослыть за бесчестного человека, чем быть им в самом деле. Правду говорит Катюша, ехать страшно; но, если я буду молчать, если не истощу всех доводов, чтоб заставить ее ехать, Модест вдруг взглянет на меня с сожалением, улыбнется и скажет: «Позавидовал, позавидовал, Володя!» — скажет тем убийственным тоном, которым Юрьев сказал когда-то: «Ветер, Володя, ветер!»

— Поезжай, поезжай, Катюша! Он тебя любит, он не оставит тебя... Охота тебе черной работой эти милые руки портить... Поезжай, не бойся!

На другой день Модест пришел ко мне опять поутру и, ставши передо мной, сказал томно:

— Она решилась. Мы едем.

— Когда?

— Послезавтра. Сегодня она будет просить расчета. Я уеду завтра, вечером, и буду ждать ее в городе. Володя! — прибавил он, взяв меня за обе руки.— Поедем с нами. Я надеюсь на тебя и на Юрьева. Вы будете у меня свидетелями... Где-нибудь в деревне, на Воробьиных горах... Поедем; мы будем кататься в лодке, ездить за город... Как теперь хорошо в Москве! Все листья в садах падают, прохлада...

— Я очень рад, Модест, быть тебе полезным,— отвечал я со вздохом.

Мне тяжело было раз навсегда расстаться с мыслями о чепчиках, мантильях, кружевах, на которые я смотрел, бывало, проходя по Кузнецкому мосту и думая о том, как бы я мог одеть в них перерожденную Катюшу.

Деньги были, и я пришел, на следующий вечер, прощаться с тетушкой.

Старуха огорчилась и просила меня остаться.

— Все тебя этот Модест смущает... Такой фальшивый!.. Проживи с нами еще... Или старуха тебе надоела?..

Стоит ли жалеть женщину, которая называет меня мокрой курицей, и за что же? За доброту к людям! Если б она еще тридцать раз больше любила меня, так все-таки этого я не простил бы ей.

Мы все уже сели за вечерний чай, когда Ольга Ивановна вошла и сказала:

— Вообразите, Катюша сейчас упала в ноги Марье Николаевне и просила расчесть ее... Затвердила одно: разочтите да разочтите!

Все переглянулись. Но Модест довольно натурально спросил:

— Неужели? Что это за фантазия?..

— Уж не похищение ли это, Володя? — спросила, смеясь, Ковалева.

— Да! пожалуй... От него все станется,— заметил бесстрашный Модест и поглядел мне прямо в лицо.

Настала свежая ночь, и мы выехали с Модестом, оба очень грустные. Модест не притворялся. В голосе его, на лице, озаренном месяцем, я читал смущение и полноту чувств человека, приступающего к решительному и благородному делу, от которого нет уже возврата к прежнему. Не жениться, мне казалось, он не мог после своих слез, своих слов и клятв. Не жалей он простой народ, будь он человеком вроде брата — обмануть Катюшу было бы в порядке вещей. Но он одинокий и мыслящий бедняк, он понимает, что такое бесчестие.

Мы мчались с бубенчиками по тихому проселку, мимо сжатых полей ржи, мимо теплых деревень, уснувших над прудами, опускались в прохладные овраги, въезжали

в рощи. Багровая луна долго стояла на краю неба; в полях пахло горелым. Модест первый прервал молчание.

— У нее очень сильный голос и верный слух,— начал он.— Третьего дня, ты знаешь, я долго убеждал ее оставить Подлипки. После этого я ушел в сад и проходил мимо окна, у которого она плакала и пела. Сколько души! Я сделаю из нее актрису.

— Ты думаешь, у нее есть сценический талант?

— Есть, поверь мне, что есть,— задумчиво отвечал он и прибавил, помолчав: — Я и сам пойду в актеры. Что мне имя!

— Что имя!

Целый следующий день ждали мы Катюшу в городе. Наконец она приехала на телеге одиночкой, пересела в наш тарантас, и мы поскакали на почтовых.

Через сутки, рано утром, я проснулся перед въездом в Москву. Город блистал вдали, и трава, по сторонам шоссе, была седая от холодной росы. Я поглядел на своих спутников. Модест, угрюмо насупившись, дремал, прислонясь к углу; а Катюша, в чепчике, румяная, раскрыв немного рот, сладко спала между нами на подушке. Я благословил их молча на новый и трудный путь и дал себе еще раз слово помогать им и дружбою, и деньгами, сколько можно, за то, что они у меня на глазах, в России, исполняли один из моих идеалов — идеал соединения образованного человека с простолюдинкой высокой души. Толстогубое, неприятное лицо Модеста немного портило мой идеал... Если бы он бы посимпатичнее или покрасивее! Вот если б я был на его месте! Тут я вспомнил ревность его ко мне и его слова: «Я буду отдалять ее от тебя, когда женюсь».

И вдруг передо мной явилась самая яркая картина, как будто не из будущего, а из прожитого. Сумерки. Его нет дома. Молодая женщина в диком шелковом платье сидит за роялем. На руках у нее кольца, браслеты, кружева. Я молчу и слушаю. Вдруг она наклоняется, берет мою руку, припадает к ней — и слезы текут у нее градом. Она любит меня, новая, неизвестная еще мне Катюша! А я?.. Об этом я не думал, и через час или полтора подъехали мы к гостинице.

В Подлипках поднялась без нас страшная суматоха, когда все узнали, что Катюша уехала с нами. Тетушка

была в отчаянии и проклинала Модеста за то, что он помогает в подобных делах. Она даже решилась сесть в коляску и ездила сама на станцию, в город, узнавать всю правду.

— Погубит, погубит он его! — говорила она.

— Да не беспокойтесь, Марья Николаевна, — сказал ей Теряев, — она уехала с Модестом, а Володя помощник... студент, защитник невинности.

Тетушка написала мне длинное наставление, просила не принимать распутника и прибавила, что Ольга Ивановна прозвала его Дон-Кишотом, а меня Санхо-Пансой.

Я разорвал это письмо с негодованием.

IX

Сначала все идет хорошо у Модеста с Катюшей. Она одета со вкусом, весела, пополнела, выучилась как раз играть кистью на блузе (она ли это?); нумер у них светлый, чистый; на дверях окно с красной шерстяной занавеской; стучусь в него...

— Кто там?

— Я, я.

— Ах! это он!..

С веселыми лицами они отворяют мне дверь. Где моя зависть? Я не грущу и вздыхаю у них не тяжко, а легко... Модест не тужит о будущем. Деньги есть. О чем мы только не говорим! Все их смешит, все занимает; они рассказывают мне о своих соседях по нумерам: как француз в зеленом халате жалобно просит самовар каждое утро у коридорного; как молодой немец щиплет свою жену; как армянский купец любит белокурую Шарлотту, которая живет против них. Приходит к нам часто старая чепечница Серафима Петровна, которая в свое время так пожила, что до сих пор забыть не может, и говорит мне: «Поверьте, Владимир Александрыч, незаконная любовь всегда слаще законной!» Мы ее зовем просто «чепечница Петровна» и хохочем всегда, когда она тут. Модест провожает меня всегда с лестницы и говорит с чувством:

— Прощай, Володя... Заходи...

Прощай, Модест! (говорю я сам себе). Прощай, и

верь, что я не обману тебя! Сколько раз случалось мне проводить с ней целые часы без него, отдыхать вместе с ней после обеда — она на кровати, я на диване — и никогда никакая непозволительная мысль не закрадывалась мне в душу... Братский поцалуй на прощанье, и только.

Он беспрестанно хвалит ее; самые шутки его стали веселее и проще, смех искреннее, голосистее... И какому вздору они смеются!.. Однажды подхожу к окну: там на штукатурке написано карандашом рукою Модеста:

«Что у меня за ножка, как купеческая дрожка!»

«В. Отчего ты болтаешь как сорока?»

«О. Оттого я сорока, что на лестницу летаю высоко!» (Их нумер в третьем этаже.)

Это счастливый Модест записывает остроты Катюши. Мы гуляем вместе; ездим в Кунцево, в Нескучное, в Кусково; везде падают листья, и погода стоит ясная. Они жалеют меня, и Катюша нарочно приглашает потихоньку от армянина Шарлотту. Немка свежа, и глаза у нее совсем голубые; к тому же тень Лермонтова носится надо мной, когда я вспомню о черных усах армянина (армянин, грузин, черкес — не все ли равно?). Он даже может убить меня... жутко немного, но все-таки хорошо. Я бы и не прочь полюбить ее, но как только она сожмет сердцем губы и скажет: «Herr je! Herr je!»[1] — так меня холодом и обдаст. И я опять один.

Здесь в Москве недурно, но из Подлипок вести нехороши. Теряев уехал. Тетушка пишет мне:

«Бедная Ольга Ивановна много плачет. Она доверилась этому негодяю. Даже глаза разболелись от слез. От Клаши весть пришла добрая: за нее сватается хороший человек, ты его видел — г. Щелин».

Как не видать г. Щелина! Он еще прежде, бывая у нас, засматривался на Клашу. Хороша весть! Быть невестой человека, у которого бакенбарды идут по середине щеки к носу, лицо жирное и белое, Станислав на шее, живот большой, руки сырые... Нет, не пойдет она за него, как может она решиться пойти за него, когда она сама слышала, как и что он говорил! Значит, он говорил хорошо, если из всех слов его мы с нею запомнили только одно:

[1] Боже мой! Боже мой! *(нем.)*

— Когда я был посылан на Кавказ для узнания порядка службы, граф Андрей Арсеньевич...

И ведь читала же она «Нос» и знает, что Ковалев был кавказский коллежский асессор точно так же, как и Щелин! Этого одного, кажется, довольно. Нет, это бредни: она не пойдет за него.

Я пишу ей лихорадочное письмо; но она отвечает мне кротко:

«Что ж делать, Володя? Я бедна; сестра моя тяготится мной; а он добр и души во мне не слышит».

У меня и письмо из рук выпало! Жалеть или презирать? Боже, как жизнь что-то становится темна и страшна!

X и XI

В эту зиму дом наш в первый раз опустел: не было ни Модеста, ни брата, ни Клаши, ни Катюши. Ольга Ивановна глядела сурово из-под зеленого зонтика. Даша похудела, много читала и мало говорила, часто брала простого ваньку и уезжала к Ковалевым, без локонов, без игривости... Придешь вечером в большой дом; только что отработал, расправил спину, душа полна, совесть спокойна... Хорошо жить на свете! Кажется, и всем должно быть хорошо... Что-то наши? Весело ли им, как мне? Нет, им не весело *(они не умеют жить!)*. Тетушка сидит в большом кресле, в простенке, перед столиком с двумя подсвечниками, и щелкает картами. Приостановится, побарабанит пальцами и запоет:

— Эх... двойка!.. Где моя двойка... двойка, двойка... тузик, где ты, тузик?..

Ольга Ивановна около круглого стола тоже щелкает картами или вяжет, почти не глядя. Даша читает, вышивает или ходит по зале взад и вперед одна. Скучно! Разве кто-нибудь зайдет... Да и кому зайти?.. Гости почти все бывали у нас по утрам с визитом или поздравлением, а вечером что им у нас делать? Москва велика, люди живут врозь; кому охота из Харитония в Огородниках к нам в Старую Конюшенную ехать?.. По утрам еще можно было встретить у нас кого угодно: и старого князя***, и пехотного офицера, маленького, скромного, который от

робости попадал большим пальцем не в ту сторону, где его можно было запустить за борт, и только трогал им поочередно все пуговицы, и гвардейцев, прежних братниных товарищей, и богатых родственниц с дочерьми и сыновьями, и толстую, красную жену мелкого помадного мастера, которая, вышедши замуж, привезла к нам мужа и сказала: «Вот мы хоть и плохи, а нас люди любят!» Приезжал и архимандрит; он останавливался в прихожей, вынимал склянку с духами и наливал их себе на руки; монахини приносили просфоры; старичок Хорохоров, тетушкин chargé d'affaires[1], распространял иногда при всех свой любимый запах — смесь лимонной помады и вина.

Ходил еще к нам один молодой архитектор; печальным басом пел он у нас романсы, избоченясь у рояля, не только во фраке и рубашках, расшитых гладью, но даже в полубархатной жакетке, как дома. Он был очень смугл и красив, носил широкие, круглые бакенбарды, как те испанцы, которые сражаются с быками, и в мягкой медленной улыбке его, в задумчивых глазах, казалось, скрыта была какая-то тайна. Даша вела одно время с ним секретную переписку (в промежутках между поляком и Модестом), но потом бросила его и говорила, что он толст, груб и скучен, что он похож на самовар. И, несмотря на лимонную помаду Хорохорова, на вышитые рубашки и плисовый сюртук архитектора, на жену помадного торговца, по большим праздникам на круглом столе нашем встречались, в груде визитных карточек, имена таких людей, о которых стоит только подумать, чтоб стало легче жить на свете! У одного балкон с золотыми перилами, слуги в штиблетах и ливрейных фраках стоят на драпированном подъезде; другому государь, месяц назад, рескрипт в газетах писал; иному уж восемьдесят лет, а он в голубой ленте, звездах, ездит на все акты и заседания каких-то ученых обществ (к которым я ни за что на свете не хотел бы принадлежать, но рад, что они существуют; у третьего обедал два раза d'Arlincourt[2]; у четвертого племянница за немецким графом, в отечестве Шиллера и Гёте, а двоюродный брат ездил в Индию, от-

[1] Поверенный в делах.
[2] д'Арленкур.

куда один мысленный шаг до того необитаемого острова, где мужчины молоды и невинны, а девушки просты и страстны. Но в будни и по вечерам у нас редко бывали гости.

Тетушка щелкает, щелкает картами, потом смешает их, постучит табакеркой и вдруг скажет: «Посмотрите, как эта тень от люстры похожа на черепаху!» Все давным-давно знают, что она похожа; я даже знаю, в который угол смотрит голова, а в который хвост, однако все мы глядим на потолок и говорим: «Да, это правда!»

Молчим минут с десять. Опять раздается голос тетушки:

— А холодно на дворе?

— Давеча я смотрела,— отвечает Ольга Ивановна,— около одиннадцати градусов мороза.

— Одиннадцать градусов! Вот и зима прикатила опять.

Кому вздохнется, кто зевнет, и опять все молчим.

Даша все еще суха с теткой; тетка сурова с ней. «Подите, возьмите, прочтите мне это громко!» — «Хорошо, сейчас!» Больше ничего не услышишь от них. Мне так жаль иногда стареющую Дашу, что я даже избегаю ее. О чем бы она ни заговорила, мне слышится в словах ее отчаяние. «Мне двадцать семь лет! Я покинута. Меня никто не любит... Я старая девушка, бедна и презираю себя!»

Жестокая, грубая Клаша! И я бездушный человек! Зачем мы говорили ей, что она ходит как Настасья Егоровна Ржевская! Она вяжет мне одеяло теперь; я привожу ей билеты в стали и говорю: «Поедемте с Ковалевой в стали; давайте кутить!» — а у самого сердце так и щемит, и улыбнуться даже больно.

Собственная моя личность в эту зиму бледнее прежнего. Я уже не помню тех научно-поэтических восторгов, которые заставляли меня бегать по флигелю в священном безумии; не помню той душевной неги при одной мысли о том, что я — *именно я*, а не кто другой, что *я* живу, дышу, ем и мыслю, буду любить и буду любим. Подобные чувства, конечно, были и теперь, но сознание привыкло, должно быть, к ним, не удивлялось им, и память о них ослабела. Я жил разнообразно; был уже студентом, сибаритствовал, хохотал и мыслил с Юрьевым, жалел Дашу, презирал Клашу, посещал нумер Модеста и Катюши,

ездил в театр, танцевал изредка, изумлялся, делал мелкие открытия — но почва подо всем этим была старая. Я донашивал прежнюю кожу положительно идеального эклектизма, не замечая, что к средине зимы она уже сквозила во многих местах. Я начинал чувствовать в себе что-то тоскующее, трепетное; но желчного было еще мало. Юрьев нанес мне несколько легких ударов. Юрьев первый заговорил со мной языком, от которого пробудились все струны моей души. В оригинальной, беспорядочной шутке его не только не было натяжки, как у Модеста, но от нее становилось легче, даже тогда, когда он глумился или кощунствовал. А он это делал часто. Бедный Вольтер, которого оклеветала тетушка, показался мне, когда я познакомился с ним, безвредным ребенком, сухим и поверхностным перед моим домашним Мефистофелем. Куда девался тот скромный юноша делец, прилежный, идеальный, тот «муж разума и чести», который говорил мне о женщинах с волнением, с задумчивым взором, который умолял меня жениться на русской? Стоило только вспомнить всенощные в городе, где дядя был вице-губернатором, чтоб видеть, как он переменился. Я любил тогда ходить ко всенощной больше, чем к обедне. Темные своды, блеск старого иконостаса, лампады и густой голос Юрьева располагали меня к такой пламенной молитве, которой сладости и чистота не повторялись другой раз в моей жизни. Юрьев пел задумчиво и страстно, прислонясь головой к стене и скрестив на груди руки. Хор гимназистов был складен; у двух братьев, мальчиков одиннадцати или двенадцати лет, были небесно-кроткие голоса; слушая их из-за колонны в темном углу, я верил в ангелов уже не по привычке, а по внезапному сердечному вдохновению; скрывшись от народа, я становился на колени и не вставал долго, плакал и не стыдился простирать руки к небу, когда октава Юрьева и нежные голоса двух мальчиков согласно покрывали все остальные и пели об этом страшном «житейском море», которое волнуется и в которое я так бы хотел тогда безнаказанно погрузиться!.. Легче было жить тогда!

Отойдет служба; народ станет сходить с паперти, а я уже жду его на церковном дворике. Встречаемся: он рад и жмет мне руку. Мы оба улыбаемся.

— Ну, что?

— Ничего — хорошо.

— А ведь сладко, когда помолишься?

— Конечно, сладко!

И пойдем вместе или ко мне, в мою веселую комнату, или, если погода хороша, пойдем бродить по улицам, на бульвар; вздыхаем легко, задумчиво и бодро и, «предав себя весело Богу добрых людей», говорим о женщинах — он о своей Маше, я о Людмиле.

Теперь он уже не тот. Я скоро заметил, что склонность к осуждению и насмешке стали в нем сильнее, что ему во мне не нравилось многое. Меня это удивило. Я не умел распознать тогда ту летучую сумму приемов, которая зовется натурой человека; я не видел никакой разницы между ним и собою — видел только одно общее направление. Голова моя была так полна литературными мыслями о женщинах, любви, дружбе, Боге и природе, тонкой путаницей неопытного самолюбия, лекциями, мелкими и новыми встречами с теми людьми, которые играют в нашей жизни роль гостей, сенаторов, дам, воинов и народа, что для умения ясно узнавать цельных людей во мне не хватало места; я не успевал и не умел отчетливо следить за чужими движениями, тоном и взглядами; «серая теория», по выражению Мефистофеля, все более и более приобретала мое уважение, и «золотое дерево жизни» представлялось уже менее «зеленым», блекло нечувствительно с каждым месяцем. «Голос разума», которого когда-то боялся Юрьев в своих стихах, уж не издалека грозил мне! Занятый этими теоретическими вопросами, я забывал о Юрьеве, как о полном человеке, и видел в нем только струны ума, однозвучные с моими, хотя и признавал добросовестно (это я помню), что мои далеко не равносильны. Лет через пять, не прежде, я раз, проснувшись поутру на станции, догадался, что Владимир Ладнев для Юрьева был почти тем же, чем была Даша для меня: добра, безвредна, даже не лишена по временам нервной энергии, но неловка духовно и часто напоминала играющего щенка, который смотрит не туда, куда надо смотреть, прыгает не туда, куда надо прыгать, поскачет, поскользнется, тут же задремлет на минуту и, проснувшись, дрожит и пищит жалобно. Юрьев, быть может, не всегда был прав в сущности, но всегда был силен и ловок приемом...

— Куда нам за вами, *граф!* — сказал он мне однажды, — вы даже и в лошадях знаете толк... Вы любите лошадей, *граф?* Что ж вы молчите?

— Разве я могу тебе сказать правду? Я даже не могу объяснить тебе, отчего я не могу сказать этой правды.

— Говорите, говорите... Вот вам оба уха разом... Ни одна волна воздуха, можно сказать, не пропадет...

— Не могу! — отвечал я, задыхаясь.

— Ну, прошу тебя, скажи, чудак!..

Я начал медленно:

— Видишь ли! Я имею состояние, а ты беден... Наша фамилия...

Но Юрьев не дал мне кончить: он уже лежал на земле, закрыв глаза и без движения, как в глубоком обмороке. Все кончилось смехом, но я был прав. Лошади у меня бывали свои, и хорошие; я знал их и любил иногда заниматься ими от всей души. У Юрьева лошадей не бывало, и он мне не верил. Вздумал он также звать меня *сила воли,* особенно когда заставал за работой.

— Господи! — говорил он,— Господи ты, Боже мой! Что это за человек! На все руки! И лекции изучают, и на балы в какие места ездят, и частной благотворительностью отличаются. Нищим, как Чичиков, никогда не преминут... «Левая, говорит, рука чтоб не знала»... Оттого они левую руку в кармане всегда и держат. И пером иной раз могут владеть! Вы думаете, кто это Мильтона раскритиковал?.. Они! Правительство даже как в одном месте политично задел! «Мильтон, говорит, так и так...» Вот они! Вот они...— кричал он изо всех сил и, с беспокойством в лице, обращаясь вдруг к пустому углу, закрывался от меня рукой и шептал: — Вы знаете, как *ихнее* имя? *Сила воли! Сила воли!*

Я просил перестать и часа на два становился печальнее; но по-прежнему всякая тоска, всякое страдание казались мне ошибкой, слабостью, неправильным состоянием души. В этих минутах сердечного дрожания (если можно так выразиться) я не умел еще видеть первые черты того, над чем я так смеялся, чего не понимал и что считал постыдной маской, давно оставленной лучшими людьми,— первые черты *разочарования...* Я и не подозревал, что во мне повторится то, что давно съедало моло-

дость многих, приготовляя их к лучшему, и что я всякую радость года через полтора или два стану считать слабостью, неправильностью и самообольщением. Но пока еще я по-прежнему не понимал «Думы», относил ее к людям, подобным брату,— и Печорин был мне противен.

XII

Сентябрь давно прошел, и филипповки были уже близки, а Модест с Катюшей не были еще обвенчаны. Тетушка, несмотря на презрение свое к Модесту, поручила своему Хорохорову поискать для него место, но Модест отказался от ее помощи.

— Не надо! Гнусность! — воскликнул он сурово; потом прибавил: — Поедем-ка сегодня в купоны, «Горе от ума» смотреть, и Катюшу возьмем. Сперва у меня в нумере чаю напьемся. Помнишь, как она в Подлипках плясала и пела: «Ах, жизнь не мила, в трактире не была»... Поедем! а?

Мы напились чаю в нумере и поехали в театр все трое в наших парных санях. Тетушка не знала, для чего я взял ее сани, и я с удовольствием *осквернил их Катюшей.*

Когда она стала садиться в них, кучер, отстегивая полость, не обратил на нее внимания, но она сама сказала ему со смехом (без которого она даже и плакать не могла):

— Здравствуйте, Григорий Кондратьич... Вы, никак, загордели уж ноньче?

— Ах ты Господи! Катерина Осиповна! Здравствуйте, кума, здравствуйте! Как поживаете? Ах ты Господи! Не узнал, не узнал!

— Садись, садись,— сказал Модест,— дорогой можно любезничать.

И точно, дорогой, когда приходилось проезжать по площадкам и переулкам, в которых встречалось мало экипажей и пешеходов, кучер придерживал лошадей, беспрестанно оборачивался к ней и отвечал на все ее вопросы о Подлипках, о дворовых людях, о родных из других деревень. Она была вне себя от радости: то смеялась, то ахала, когда кучер говорил о чем-нибудь пе-

чальном: «Старик Герасим на пчельнике у себя помер» или: «В Петровском десять дворов сгорело...»

— Скажите, какая жалость! — говорила Катюша, покачивая головой.

— Ну, а скажите, пожалуйста, как теперь у вас...— начинала она вдруг совсем другим голосом и опять хохотала.

Мы с Модестом любовались на них.

В театре Катя сперва заметила про Щепкина:

— Ну, уж старик!.. пошел старое время хвалить!

Потом занялась Лизой и на возвратном пути не раз вскрикивала в санях: «Ну, как не полюбить буфетчика Петрушу! Так она это говорила?»

Модест беспрестанно смотрел на нее во время представления, ловил игру впечатлений на ее лице и подмигивал мне на нее так кстати, что я опять увидал перед собою того искренно влюбленного и счастливого человека, которого знал месяца два-три назад.

Если б они всегда были так милы оба! Какой сладкой обязанностью счел бы я вести за них войну с тетушкой и Ольгой Ивановной.

Да! если б у Модеста с Катей все было хорошо! Но Бог с ними! Уже в январе призналась мне Катюша, что она беременна, и Боже! сколько теплоты проснулось во мне!

— Душа, душа моя Катя! — сказал я ей, обняв ее с самой чистой, священной нежностью брата.

— Ах, прощай, моя молодость! — прошептала она, припала ко мне и плакала.

Я смотрел на обезображенный стан ее и на красные пятна, которых я прежде не замечал на ее лице, и что со мной сталось в эту минуту, никакими понятными словами передать не могу!

Мало ли беременных на свете? Уже и от мужа Клаши пришло к тетушке письмо, в котором он говорит, что «мой ангел, Клаша, не совсем здорова, и сердце убеждает меня, что я отец!» Отец! Щелин — отец, и Клаша, надворная советница,— мать; Модест, почти студент,— отец, и Катюша, наша деревенская девственница, мать, мать тайная, мать-страдалица, в бедном нумере, посреди чужой и незнакомой толпы!

Я вернулся домой — и над судьбой ее задернулась

тогда для меня непроницаемая завеса. Над Клашей тоже опустил я занавес, но совсем другого рода, и, когда тетушка сказала мне: «Что-то от друга твоего нет вестей. Здорова ли она?» — я спросил:

— Кто этот друг?

— Клаша... Муж хотел еще написать что-нибудь повернее об ее положении.

— Стоит ли интересоваться этим! — воскликнул я.

Все это так, конечно: Катюша выше Клаши; но когда Модест пришел ко мне и повторил ту самую новость, которая так сильно поразила меня, лицо его было скучно, и я не решился спросить: «А что же свадьба?» Я думал, ему будет больно от этого вопроса.

И ссоры у них начались. Модест вздумал вдруг ревновать ко мне. Однажды я долго стучался к ним в дверь — никто не отпирал, а коридорный сказал, что Катерина Осиповна дома.

Наконец показалась Катя. Она была невесела.

— Что́ с тобою?

— Ах, уж что́ толковать! Веселиться не́чему... Не на веселье родилась... вот что...

— Отчего ты меня так долго не пускала?

— Оттого, что ваш милый братец не велел без себя вам отворять дверь. Пусть при мне, говорит, ходит... Да не то что к вам: с монахом вчера на паперти два слова сказала, так и то он такой крик поднял... И зачем это я послушалась вас?.. Все вы виноваты... Зачем я поехала с ним! На свою погибель... Молодость и здоровье с ним потеряю... Несчастная я, несчастная!..

Она долго плакала, и я с трудом на этот раз рассмешил ее.

Модест застал нас, но был очень весел и любезен со мной и ни малейшего признака ревности не показывал ни в этот раз, ни после.

Они то ссорились, то ласкали друг друга; ссоры огорчали, а ласки смущали меня; особенно мне было противно, когда она раз поцеловала у него руку, и поцеловала без страсти, так, чуть-чуть прикоснулась: видно было, что потребности к этому у ней вовсе не было. Еще одним идеалом меньше!

— Да, брат, человеку не угодишь! — заметил Юрьев, когда я ему жаловался на них.

И мне вдруг казалось, что я виноват, что я многого требую, а что они счастливы и ссоры у них, как перец и соль в кушанье, улучшают вкус.

XIII

Юрьев бывал у меня почти каждый день, обедал, уходил часа на три к своим воспитанникам и вечером приходил опять; ночевал, просиживал у меня до поздней ночи. Я забывал всякое горе, когда поднималась занавеска на моих дверях и он приветствовал меня всякий раз на новый лад: «Дон Табаго, а дон Табаго?!» Или: «Замечательная натура, как ваше здоровье?»

Как бы ни было мне грустно, но, стоило только услыхать его голос, и становилось весело. От улыбки я ни за что в свете не был в силах тогда удержаться!

Мало-помалу я утрачивал всякую способность мыслить самобытно; я только думал мимолетно, но доканчивал работу мысли он за меня; услыхав его приговор, я откладывал в сторону вопрос, как навсегда решенный. Запас живых и научных фактов рос в моей памяти с каждым днем; взгляды расширялись; благодаря ему я начинал понимать форму в искусстве; но сам я, как умственный производитель, как личность, живущая сама собой, падал все ниже и ниже. Взгляда его черных глаз, улыбки, покачиванья головы было достаточно, чтобы заставить меня переменить намерение, оставить всякое начинание, утратить веру в собственное мнение. Я не испытывал еще ничего подобного; я думал теперь, что без него жизнь не жизнь, что никакое богатство, никакая любовь, никакая слава не будут полны, если вечером нельзя будет рассказать о своем счастье ему, услыхать его изящную похвалу, его неумолимую критику, умирать со смеха от его импровизаций в стихах и прозе. Его прикосновение никого не оскверняло в моих глазах. Смеяться над тетушкой я не позволил бы никому; другой бы не над тем смеялся, над чем можно, и не так, как надо; но на него я не сердился, когда он называл Марью Николаевну «рыдваном» или рассказывал мне, как она ездила с Ноем в ковчеге.

— «Ты ступай, говорит, на Арарат!» — «Нет, я на Ги-

малай уж пойду!» — «На Арарат», — закричит, да как топнет; ну, Ной и сробел. «На Арарат, говорит, так на Арарат!» Он уж пыл, пыл... С тех пор и стали его звать *Ной*...

Надо было видеть, как он это рассказывал! И всем он дал у нас в доме прозвания такие удачные, что я и объяснить не могу. Ольгу Ивановну он звал «набалдашник», и это очень к ней шло; Дашу — «стебель, колыхаемый ветром», но прибавлял, «что и стебель может быть благоуханен и что им можно заменить славную страницу в жизни»; Модеста он видеть не мог спокойно и называл его то «жеребцом-водовозом» за худобу, то просто «весной» за веснушки. «Весна, весна идет!» — кричал он, увидав Модеста на улице. Однажды Модест сказал при нем, что Гоголь — русский Поль-де-Кок. Юрьев вскочил, сгорбился, схватился руками за живот и начал с ужасом, выпучив глаза, бросаться по всем углам комнаты, как будто не мог найти дверей. Надо было знать его страстную любовь к Гоголю, надо было видеть его фигуру и выражение тонкого, благовоспитанного презрения на лице Модеста, чтобы понять мое блаженство.

— Что за шут гороховый! — прошептал Модест.

Только узнавши от меня, что Катюша уже мать, Юрьев стал мягче смотреть на Модеста и сказал тогда, задумчиво вздохнув:

— Тоже человек ведь, поди!

О чем мы только не говорили с ним! Никогда у нас не умолкали чтение и беседа. Говорили о науке, о любви, о домашних делах; от него узнавал я такие вещи, о которых и в книгах тогда не читывал.

— А как ты думаешь, Володя, ведь обезьянка какая-нибудь славная сидит теперь на пальме около Бенареса какого-нибудь и думает! Как по-твоему, думает она или нет?

— Еще бы! Разве у нее нет души...

Потом, помолчав, я прибавлял:

— А ведь это страшно, если вдуматься!

— Нет, именно если вдуматься, так и страх пройдет. Впрочем, ты, Володя, живи верой: к тебе идет, идет к твоей комнате и ко всему твоему.

Но к чему вел такой совет? Прежде наука только согревала для меня мир: она беспрестанно напоминала

мне то о чем-то творящем, добром, то о чувственном, страстном; я думал, что за доброту мою и за мое знание наградит меня Бог и в этой жизни и в той; а в его словах наука приобретала такое разлагающее, ядовитое свойство, что меня бросало иногда и в жар и в холод во время наших ночных и послеобеденных бесед. То он уверял меня, что человек весь состоит из каких-то пузырьков, что на низшей степени нет никакой существенной разницы между человеком, растительной ячейкой и инфузорией; то рассказывал, что можно составить такую ванну, в которой разойдется весь человек, как сахар в воде (и сам хохочет!); то говорит, что *все условно;* зависть, корысть, тщеславие называет «общечеловеческими чувствами», уверяет, что у всякого человека есть все то, что есть у других. И если бы еще он строил системы, ясные, увлекательные, а то сказал два-три слова и пошел — а тут обдумывай и терзайся!

Я все чаще и чаще начинал грустить и думал уже изредка о серьезной любви, об утешении, а не о забавах с женщиной.

Насчет этого он меня ободрял.

— Не бойся,— говорил он,— не та, так другая полюбит... С твоею развязностью, с твоим профилем и страстью на конце языка...

— Только на конце?

— Немного разве дальше... Да что тебе за дело? Любили бы тебя!

XIV

Не удалось мне избежать переселения в нижний этаж флигеля, где не было ни чугунной решетки с бронзовыми звездами на балконе, ни камина, ни арки с полуколоннами, ни обоев. Ковалевы переехали, наконец, к нам. Я не буду рассказывать, как я был взбешен, как я долго не хотел даже отделывать нижних, мертвых для меня комнат, и на деньги, которыми старалась утешить меня тетушка, накупил множество подарков сестре моей перед Богом — Катюше. Радость ее и теплая благодарность Модеста немного развлекли меня; потом пришел Юрьев и сказал:

— Дон Табаго! Я столько раз бывал турим в моей жизни из хороших мест, что нынче понимаю вас! Вдругорядь будете знать, что все не прочно... не скажу в свете, потому что в настоящем свете не бывал, а хоть бы и в том полумраке, в котором вы, Дон Табаго, играете такую значительную роль!..

— Перестань! — отвечал я,— тетушка не понимает, как это для меня важно! Я работать здесь буду меньше и ей этого никогда не прощу!

— Владимир Ладнев! Владимир Ладнев! — возразил Юрьев кротко,— будь с доброй теткой не только *Ладнев,* но и *Покорский!* (У нас был знакомый студент Покорский, очень тихий, бледный и добрый человек.)

Я смягчился, скоро привык к новому жилью и убрал получше нижний этаж. Через неделю, не больше, судьба наградила меня: Ржевские, мать и дочь, приехали в Москву.

Они остановились у одной богатой родственницы. Муж этой дамы был двоюродный брат самой Евгении Никитишны; он умер генералом лет за шесть до этого времени и оставил ей взрослого сына и трех дочерей, из которых старшей было 16 лет, а младшей 10. Тетушка делала г-же Карецкой два-три раза в год визиты, и Карецкая приезжала к нам изредка, в большой карете, четверней с форейтором. Она внушала мне небольшую робость и большое уважение. Ее томный вид, медленная, слабая походка, большие, черные, задумчивые глаза, удивительный вкус и роскошь ее одежды и сан ее покойного мужа, который с обнаженной саблей скакал верхом через трупы (в пышной раме на красных обоях гостиной),— все это располагало меня к ней.

Говорили, что дела ее расстроены, что она не умеет хозяйничать, что она не в силах поддерживать огромный дом, который достался ей после отца, что она все деньги издерживает на сына, потому ли, что он любимец ее, или потому, что флигель-адъютант; говорили также, что на долю дочерей придется не более двадцати тысяч серебром. Иные смеялись над ней, звали ее старой мечтательницей и рассказывали, что она в Париже отыскала сестру милосердия, soeur Marthe[1], ездила с ней к боль-

[1] Сестру Марту.

ным и варила с ней вместе *тизаны*. Но я молча сочувствовал ей и любил, небрежно взбивая волосы, взбегать по узорчатой чугунной лестнице в ее больших сенях... Две большие бронзовые нимфы на высоких пьедесталах, качнувшись вперед, встречали меня на верхней площадке и простирали ко мне руки с подсвечниками. По ту сторону бездны, над лестницей перед другой площадкой, стоял ряд белых колонн коринфского ордена, и за золоченым балюстрадом видна была таинственная дверь внутренних покоев. Дочери, все три белокурые и стройные, были робки и стыдливы; они редко ездили в гости, много учились и много занимались музыкой. Я желал со временем жениться на второй дочери, Лизе; она больше других нравилась мне лицом. Этим браком я мечтал завершить пир моей молодости. Тетушка случайно укрепила во мне эту мысль; прошедшим летом она сказала мне: «Вот бы тебе, Володя, со временем невеста. Мать тебя очень любит: такой, говорит, он славный!»

«Почтенная женщина! — подумал я, содрогаясь от радости,— какое у нее доброе лицо!..»

Я даже спрашивал себя не раз, какой жилет я буду носить дома, под толстым синим пальто, когда буду мужем этой хорошенькой Лизы, которая так наивно отставляет локти от стана, и, краснея, приседает в ответ на мой почтительный поклон?

Короткие посещения по праздникам не могли насытить меня, а бывать чаще меня не приглашали, и незачем было приглашать.

Когда Ржевские приехали, мы стали чаще ездить к Карецким, и Софья с матерью бывали у нас по нескольку раз в неделю.

Софья выросла и немного похудела, но мраморный румянец все еще играл на ее щеках; она стала смелее прежнего, разговорчивее, танцевала так легко, что даже становилось иногда неловко: не знаешь, один ли танцуешь или с ней. Я долго раздумывал, как решить дело: объясниться ли ей прямо в любви или сойтись с ней просто дружески и просить ее помощи для влияния на Лизу, на будущую невесту. Случай заставил меня выбрать первое... Лизе было только четырнадцать лет, а мне ждать уж надоело. Однажды все мы: тетушка, Ольга Ивановна, Даша и я — были у Карецких. Даша пела

песнь Орсино в маленькой гостиной около балкона над лестницей. По балкону ходили взад и вперед Ольга Ивановна с одним приятелем моим, Яницким (с которым я вас еще познакомлю), а мы с Софьей прохаживались по сю сторону бездны. Песнь Орсино, белое платье Софьи и великолепная тень на стене от сквозных узоров лестницы расположили меня к решительности.

— Вы верите,— спросил я,— что можно полюбить человека, почти не говоривши с ним?..

— Верю.

— Вы помните пашу встречу на качелях?..

— Помню.

Она опустила глаза и улыбнулась.

— Вам смешно,— продолжал я,— а я никогда этого не забуду. Не знаю, как для вас, а для меня эта встреча... Я ничего не требую взамен. Я прошу только одного: могу ли я говорить вперед так прямо, как я говорю вам теперь?

— Вы могли заметить сами, что я нахожу удовольствие с вами и еще, кроме того...

Она задумалась. Я встал и сказал ей:

— Я уйду. Нельзя так долго оставаться нам одним. Прошу вас, скажите мне что-нибудь...

— Вы еще очень молоды,— сказала она.

Я стал уверять ее, что она сама не имела случая убедиться, кто раньше созревает — девушка или юноша, и повторяет это за старшими, а старики судят по прежним молодым людям.

— Может быть, это правда,— отвечала она и, посмотревши на меня пристально, подала мне руку, которую я крепко пожал и поднес к губам...

Тайный союз был заключен, и через полчаса, проходя за шляпой через площадку, я увидал ее по ту сторону лестницы. Она сидела на балюстраде, прислонясь головой к колонне, и казалась задумчивой. Увидев меня, она обернулась ко мне лицом, медленно и многозначительно покачала головой; потом встала и ушла во внутренние комнаты; но белого платья ее за золотым балконом я никогда не забуду!

Через несколько дней я опять увиделся с нею и успел оставить в руке ее записку. Я начинал так:

«Вам может показаться странным, что я без всякого

такта напоминаю вам о вещи, о которой многие сочли бы нужным умолчать. Я говорю о *моем портрете* и о том, как вы были у нас в деревне. Вы были, конечно, институтка тогда, и я, поверьте, не хочу употреблять во зло вашу тогдашнюю наивность; но я бы хотел знать только, на что мне надеяться? Страсти я еще не слышу в себе, но думаю беспрестанно об вас. Скажите мне что-нибудь и не примите эту записку за дерзкую самоуверенность: это только искренность!»

Я показал записку Юрьеву; он похвалил ее, особенно за слова «страсти я еще не слышу в себе».

— Ничего, ничего,— сказал он,— легко, душисто и гладко, как сама бумажка, на которой вы набросали, граф, эти плоды вашего воображения... Если она вас не полюбит, значит, у нее вкуса нет, и она глупа, Дон Табаго, поверьте!

Я хотел бы, чтоб он объяснил мне, как согласить такой лестный отзыв с его насмешками, но он взял шляпу, рассмеялся и ушел, промолвив:

— Живите, живите!..

Я долго ждал ответа. Ответа не было. Я заезжал к Карецким, но Софьи не было дома. Наконец однажды, часов около двух, перед обедом, на двор наш въехала карета с форейтором; мадам Карецкая вышла на тетушкино крыльцо, а за нею Софья в черном атласном салопе и розовой шляпе. Она обернулась, поискала меня глазами по окнам флигеля и, увидав меня, мельком поклонилась и ушла за своей теткой. Я нарочно не шел в дом и, волнуясь, думал: «Что-то будет!» Через полчаса Карецкая уехала; я догадался, что Софья останется у нас обедать, и собрался идти в дом, как вдруг она сама в салопе и без шляпки перебежала через двор к Ковалевым. Я растворил свою дверь молча.

Она остановилась; лицо ее было весело.

— Вы здесь живете? — спросила она.

— Здесь...

— Дайте, я посмотрю в дверь. Как мило!

— Оно будет еще милее, если вы войдете туда хоть на секунду.

Она не отвечала, смотрела на меня, но не в глаза, а рассматривала, казалось, мое лицо, лоб, волосы, как рассматривают вещь.

— Нагнитесь,— сказала она и, взяв меня за шею той рукой, на которой не было муфты, поцеловала меня в лоб...

Я хотел схватить ее за руку, но она блеснула глазами, указывая наверх с веселым страхом в лице, и убежала на лестницу к Ковалевым.

После обеда, когда она уехала, я послал записку к Юрьеву и донес ему обо всем.

— Вперед, вперед! — воскликнул он.— Наша взяла! Только смотри не зевай. Она должна быть плутовка.

— Не проведет!

Вскоре после этого Евгения Никитишна уехала в Петербург. Прощаясь, она сказала тетушке: «Ta cousine[1] Карецкая просила оставить Соню с ее дочерьми до весны. Не забывайте и вы ее, Марья Николаевна! Я вам буду очень благодарна».

Без нее мне стало легче, сам не знаю отчего. Она всегда была любезна; лицо ее при встречах со мной казалось приветливым; она даже целовала теперь не воздух над головой моей, как прежде, а самую щеку или волосы мои, когда я робкими губами прикасался к ее прекрасной руке, покрытой кольцами. «Cher Voldemar![2] — говорила она.— Ваша походка, ваши манеры очень напоминают мне покойного Петра Николаича. Дай Бог вам быть счастливее его». Кто знает? Быть может, она чувствовала ко мне живую симпатию; быть может, в самом деле она во взгляде, в голосе моем, в походке узнавала Петра Николаевича, не того, которого я знал, а другого Петра Николаевича, того, которого отдельные, мгновенные образы в ее памяти были светлы и согреты ее собственной молодостью, были так чисты, как те образы, в которых являлся мне добрый отец Василий. Я слышал, что ей трудно жить: дома муж — больной, неопрятный и убитый, хозяйство, умеренные средства при изящных вкусах и богатом родстве, дочь, поездки по делам в далекий Петербург. Она не боялась говорить о Петре Николаевиче при всех, как о лучшем друге своем, и однажды, когда у Карецких Даша запела не новую тройку, а самую старую: «Вот мчится...» — мадам Карецкая вдруг подошла к роялю и сказала резко:

[1] Моя кузина.
[2] Дорогой Вольдемар!

— Оставьте этот романс! Кто это выдумал его петь? Бедная кузина плачет. Дядя ваш любил этот романс,— прибавила она, обращаясь ко мне.

Но как бы то ни было, мне всегда казалось, что она вот-вот сейчас спросит: «А что ты делаешь с моей дочерью?» — и без нее стало лучше. Сама Софья повеселела без матери. Она находила множество средств бывать у нас: то англичанка завезет ее к нам обедать, то Ольга Ивановна съездит за ней, то она одна приедет в карете Карецких. Мне было раздолье! Я узнал после, что она к Ковалевым бегала тайком от матери и теперь каждый раз просиживала у них целые часы вместе с Дашей. Проходя мимо моих дверей, они всякий раз или тронут замок, или позвонят, или стукнут. Я уж и знаю; посмотрелся в зеркало, оправился — и за ними.

Юрьеву она не слишком понравилась.

— Не по нас она что-то,— говорил он.— Я люблю больше что-нибудь тихое и кроткое, прозрачное, как хрусталь...

Софья находила, что у Юрьева умное лицо, и спросила раз:

— Вы очень с ним дружны?

— Очень...

— Очень, очень?..

— Очень, очень!

— Кого вы больше любите, его или меня?..

Я подумал и спросил:

— Правду говорить?

— Разумеется, правду...

— Правду?.. Его... Разве молодая девушка может понимать то, что он понимает?.. И разве на вас можно надеяться? Заболел, подурнел, поглупел, сделал ошибку — вы и разлюбите.

Пока я говорил, она по-прежнему рассматривала меня внимательно; глаза наши встретились; мы угрюмо помолчали оба; наконец она встала и, сказавши: «Хорошо, если так, я этого не забуду!» — отошла от меня. Ссоры, однако, не вышло никакой.

По-прежнему она жала мне руку крепче, чем принято, и в темных углах позволяла мне покрывать ее самыми страстными поцалуями. К несчастию, вначале, не имея как-то раз под рукою Юрьева и не считая еще дела

важным, я рассказал Модесту о тайном пожатии руки; но о поцалуе в дверях не сказал ему ни слова. Для такого доверия он, по-моему, уже не годился; а об руке необходимо было сказать, чтоб он не считал меня за слишком жалкого человека.

XV

Иногда, блаженствуя и любуясь самим собой, я сравнивал себя с лиловым цветом, и вот почему. Не слишком далеко от нас, на углу тихого переулка, стоял за чугунной решеткой и палисадником небольшой дом, белый, каменный, одноэтажный, и в нем жил знакомец и ровесник мой — Яницкий, сначала с отцом и с матерью, а потом один, когда ему минуло девятнадцать лет. Палисадник нравился мне даже зимою: растения, обернутые рогожей, чистый снег без следов на земле, на полукруглой террасе, на белых вазах балюстрады... По вечерам за готическими окнами спускались тяжелые занавесы; у террасы в углу росла молодая ель, такая густая и бархатистая издали, что я всегда вздыхал, проезжая мимо. Сам Яницкий был некрасив и болезнен, но строен и ловок; глядя на профиль его, несколько африканский, на доброе выражение его одушевленного лица, на его курчавую голову, я часто вспоминал то о Пушкине, то об Онегине. Долго даже не мог я решить, кто больше — Онегин, он или я. Кабинет и спальня его, казалось, были украшены женской рукой. Ни тени беспорядка, сора, ни одной грубой черты, ни одного тяжелого предмета! Дорогая мебель, ковры, французские книги в сафьяновых и бархатных переплетах с золотыми обрезами...

> Фарфор и бронза на столе,
> И, чувств изнеженных отрада,
> Духи в граненом хрустале...

Стихи эти против воли шептались в его жилище.

Чудная жизнь! Обедает в пятом часу; заедешь к нему поутру, он играет на превосходном рояле; мать пройдет вдали по большим комнатам, вся в бархате и горностае... Зайдет отец: как вежлив! как сед! какой здоровый цвет лица! На черном фраке кульмский крест и звезда; сапоги

мягкие; улыбка еще мягче. Пожмет руку мне, поговорит с нами и уйдет.

С Яницким я не мыслил; но зато во мне пробуждались такие легкие надежды, такие воздушные думы!

О чем мы говорили с ним?

— Здравствуй!

— Здравствуй!

— Ты был вчера *там?* Видел *ту*?

— Приезжай ко мне обедать en tête-a-tête...

— Я покажу тебе статуэтку, которую привезли мне из Парижа.

— Поедем! Пойдем...

Все факты да факты!.. Утомишься, наконец, и пойдешь к Юрьеву.

«Зачем,— думал я,— не найду я до сих пор ни одного человека, который был бы и Яницкий и Юрьев вместе? Где этот человек? Да не я ли уж этот избранник? Конечно, я не так умен, как Юрьев, и не так блестящ и не так грациозен духовно, как Яницкий... Что ж, тем лучше! Если они выше меня на двух концах, то я полнее их... Я как лиловый цвет — смесь розового с глубокосиним!»

Яницкий нередко бывал у Карецкой; я думал, что он имеет виды на одну из дочерей, и, охотно уступая ему старшую или младшую, когда она подрастет, не раз завидовал их доброй матери: «Какие у тебя будут зятья! Счастливая женщина!»

Однажды вечером я вздумал пойти пешком к Карецким. Юрьев провожал меня. Когда передо мной растворилась дубовая дверь огромного дома и оттуда блеснули лампы, узорная лестница и колонны, Юрьев сказал: «Прощай, Володя. Иди туда, где светло! да будь смелее... успех тебя ждет везде!»

Я с чувством благородной радости пожал его руку и вошел. Из дальних комнат слышна была музыка. Лиза сидела за роялем; Елена пела, стоя около нее; Софья ходила под руку с Дашей; около них был Яницкий.

Даша сказала, что от ее волос сыплются искры в темноте, и предложила испытать это па деле. Англичанка позволила. Все были очень рады. Лиза побежала за гребнем, принесла его, и мы пошли в небольшую темную комнату, около парадной лестницы. Стали в кучку;

Даша распустила прядь передних волос и начала чесать их гребнем. Искры посыпались — все были в восторге.

— Что это значит? — спросила меньшая (Мария), — это не значит ли, что вы сердиты, Даша? Дайте, я попробую...

Я стоял рядом с Софьей; плечо ее, покрытое чем-то легким, было около моего лица. Я осмотрелся: все заняты волосами Мари — нагнулся и поцеловал милое плечо. Плечо дрогнуло, но сама она не шевельнулась. У Мари не было искр.

— Нет ли у Сони? — сказал кто-то.

— У меня нет, — отвечала Софья. — И что это за скука! Пойдемте отсюда.

Яницкий в следующей комнате остановил меня и, пристально посмотрев на меня, покачал головой.

— Зачем при всех! — сказал он. — Это слишком смело.

Я покраснел и отвечал:

— Молчи, ради Бога! Я сам не рад жизни, что сделал эту глупость!

— Во мне ты можешь быть уверен, — продолжал добрый Онегин, — а другие? Впрочем, это твое дело...

Он начал тогда хвалить Дашу, говорил, что она напоминает ему Marie Stuart[1], и спросил, сколько ей лет.

— Мне двадцать; значит, ей двадцать пять, двадцать шесть...

— Я думал, она еще старше. Но это ничего. Что хорошего в этих ingénues![2] Не правда ли, они скучны? Опытная женщина гораздо лучше. Меня звали к этим Ковалевым. Что это такое? Впрочем, извини: они, кажется твои родные?

Я сказал ему прямо, как думал о Ковалевых.

— Это очень удобно, — сказал он, — не все же ездить в общество! Когда ты будешь у них?

— Я? Я могу у них бывать, когда хочу... Даша завтра будет там. Во всяком случае, — прибавил я, сжав его руку, — молчи, прошу тебя; а я постараюсь помочь тебе во всем... Мои комнаты, если нужно, и я сам.

Софьи не было, когда мы вернулись с ним в ту гостиную, где собрались все девицы. Она жаловалась на головную боль и ушла к себе.

---

[1] Марию Стюарт.

[2] Простушках.

С этого дня Яницкий стал ездить к Ковалевым. Он держал себя у них так же просто и развязно, как дома и в том кругу, к которому с детства приучила его мать... Только одна разница: у Ковалевых он казался скромнее обыкновенного. С удивлением увидал я, что напрасно так жалел Дашу; я думал, что для нее все кончено, а вышло наоборот: лучшая пора жизни ее только что начиналась... И мне суждено было увидать ее любимой... Кем же?.. Яницким, кудрявым Онегиным; суждено было видеть ее в роскоши, видеть, как потом она вырастала нравственно, по мере ее общественного падения, и как последние дни ее были облагорожены материнским чувством. Но до того еще было далеко...

Пока мое дело шло хорошо. Софья недолго сердилась за мой неосторожный поцалуй. Вниманием, искренним раскаянием, лестью я успел загладить вину, и даже об старой угрозе «не забыть, что я Юрьева больше люблю», не было и слов.

Мы все четверо — Онегин, племянница Ольги Ивановны, другой Онегин и Софья — бывали часто у Коваленых или ходили все четверо с Олинькой на тот пустынный бульвар, где еще не так давно зябла Матреша, наблюдая за Модестом и Дашей. Олинька была занята в это время одним высоким блондином с рыжей бородой и не мешала нам. Мы с Дашей понимали друг друга с полувзгляда, не называя ничего словами. Яницкий иногда, прощаясь, говорил мне:

— Bonne chance![1] Понимаешь?..

Все было хорошо; Модест все испортил!..

XVI

Я давно уже перестал говорить Модесту о Софье. Юрьев — другое дело: он мой духовный отец; в нем я не видал почти ничего мирского, не считал бесчестным обращаться к воплощенному разуму, советоваться с ним, говорить ему, что вчера я задал себе вопрос: «У кого больше чувственности — у женщины, которая знает, каким страданиям она подвергается даже и тогда, когда ее ограж-

[1] Желаю успеха!

дает закон, или у мужчины?» И это я подумал потому, что Софья, дочь строгой матери, отворила мою дверь и обняла меня... Юрьев мог слышать все, знать не только мои, но и чужие тайны; он никем не занимался, ни за кем не ухаживал, не имел ни семьи, ни привязанности; он был не человек, а мой собственный дух, возвышенный в квадрат. Но Модеста я очень боялся с тех пор, как Софья доверилась мне.

— Что твоя Софья? — спрашивал он,— все так же дает руку в темной комнате? Или еще больше?..

— Бог с ней,— отвечал я,— я об ней не думаю.

Модест улыбался и молчал. Он видел ее изредка у Ковалевых, но ни разу еще долго не разговаривал с нею; я тревожился, вспоминая о моей прежней откровенности, но он мало обращал на нее внимания, и я успокаивался.

Раз мы встретились с Софьей неожиданно на вечере. Она была весела, моими приглашениями не дорожила, потому что все кадрили ее были разобраны, едва отвечала мне, и, когда я хотел отвести ее от форточки, под которой она села, разгоревшись и едва дыша, она сказала мне сурово:

— Оставьте ваши заботы. Вы, вероятно, хотите показать всем, что между нами что-нибудь есть...

Я был неприятно удивлен и в негодовании уехал домой. На другой день перед обедом Софья перебежала через двор и взошла на мое крыльцо. Замок не шевелился на моей двери... Я прибежал наверх и, улучив минуту, сказал ей:

— Вы суровы? Вы сердитесь за мою вчерашнюю заботливость?

Мраморный румянец заиграл на щеках, и в тех самых глазах, которые недавно глядели на меня ласково, выразились надменность и гнев.

— Ваши поступки меня обидеть не могут...— сказала она.

— Вы хотите унизить меня... Но моя совесть не упрекает меня ни в чем, и я знаю, чего я стою...

— Чего вы стоите — не знаю. Я знаю, что я сама ничего не стою. Я была глупа, поверила вам. И кому вы сказали, кому!

— Кому? — спросил я с изумлением.

— Вашему cousin[1] Модесту. Он, дня четыре тому назад, делал такие намеки... улыбался. Платье ему мое понравилось; он сказал: «Оно к вам идет» — и так противно спросил: «Il vous l'a dit?»[2]

— Клянусь вам Богом! Вот моя рука... Ему! Я ни слова. Вы не верите... Хорошо! Так вам же будет хуже!..

Она молча обвела меня глазами с ног до головы. (Как нехороша показалась она мне в эту минуту!) Я чувствовал, как кровь у меня подступила к лицу, как злоба стеснила мне дыхание.

— Если бы вы знали,— возразил я ей, дрожа от бешенства,— как нейдут к вам эти гордые взгляды, вы бы сами отказались от них. Советую вам быть скромнее.

Она отошла от меня, а я велел запрячь сани и послал за Юрьевым.

Он хохотал, когда я жаловался, хохотал добродушно; но я прочел в этом смехе презрение.

— Я ее так сильно начинал любить! — сказал я.

— Насчет этого,— заметил Юрьев,— мы еще подумаем, любил ли ты ее или нет?..

— Я чувствовал к ней большую нежность, я жалел ее уже давно... Мать ее строга, отец больной, она небогата.

Юрьев вздохнул и покачал головой.

— Умный человек,— продолжал я,— не может не быть любящ: он знает, что любовь лучшее украшение молодости!

— Это что-то слишком глубоко для меня,— отвечал Юрьев,— нет, ни ум, ни доброта, ни нежность не нужны для любви. Нужна любовь... Любовь может быть зла, груба... Она кусается иногда. Не поэзия любви нужна любящему — нужен сам человек, как воздух, как кусок хлеба... Высокое, брат, часто близко к грубому и меряется им, граф!..

— Зачем же она обвинила меня даром? зачем не дослушала... Чтоб я Модесту... Сначала точно об руке, но после!..

— Ой ли, брат? уж не сказал ли ты ему всего... Ой, сказал! Ой, сказал!..

— Молчи! Молчи, или я...

---

[1] Кузену.
[2] Он вам это сказал?

В исступлении я показал ему руку. Он вынул свою из кармана.

— За чем же дело? я готов.

— Ступай вон... вот двери...

Юрьев не торопясь взял шляпу, сдул с нее пыль, надел перед зеркалом, отыскал трость в углу. Я чувствовал, однако, что он взволнован. Наконец он ушел; я проводил его глазами из окна. Губы его были сжаты, но он шел спокойно, только что-то бойчее обыкновенного глядел на прохожих.

Я не мог остаться дома и уехал в кондитерскую. Но и там преследовало меня презрение моих двух лучших друзей.

XVII

Омерзение, жестокое омерзение чувствовал я при одной мысли о духовной нищете моей! Эти два существа, которые только что начинали вырастать перед нищенской душою,— они оба отвергали меня. На что мне флигель мой, шелковый халат нового покроя? На меня пахнуло мертвым холодом от этих немых стен, от всей семьи, от мира, от себя. Разве того, на кого, изнывая в бессилии, глядела теперь совесть моя, того хотел я ввести в эту обитель, по воле одинокую и по воле шумную? Нет, не презренного мальчишку и не вдруг одряхлевшего без зрелости человека... Мой Володя Ладнев был не таков! Он был скромно мыслящ, осторожен и тверд в делах, а на добро и защиту слабого отважен, как тигр... Конечно, он любил себя — это ничего; но он мелок не был, он был спокойно горд, под наружной небрежностью скрывал пламенную душу и высокий ум; он разумел «ручья лепетанье, была ему звездная книга ясна», и хотя не было у него близко «морской волны», но он умел видеть тайную жизнь везде — и зеленая плесень пруда дышала перед ним. О Володя мой, Володя мой! Милый Володя! Где ты? И вот, едва только открылась перед ним дверь жизни, едва пахнул на него свежий воздух любви, он разлетелся в прах, как старый труп, как одежда трупа, давно без движения лежащего в склепе! И как мог противопоставлять я себя тем легкомысленным людям, которых прома-

хи без полной кротости и страдания без достоинства наводили улыбку на мое лицо? Непоследовательная Даша, Модест — актер перед самим собою, с которыми еще непостижимо для грубого рассудка связана была Настасья Егоровна Ржевская... Все люди громких слов и жалкого исполнения, люди эффекта и позорных слез, и опять эффекта и снова слез! Где вы, мои собраты? Зачем я покинул вас и задумал было идти одним шагом с теми, от которых веяло на меня осторожностью и силой? Разве товарищ я Юрьеву, «мужу разума и чести», у которого самая лень царственна? Товарищ ли я ему оттого, что страдательно быстрый ум мой удобен для стока его мыслей? Разве пара я энергической Софье? В ней связно живут и такт и решимость, доходя то до хитрости, то до благородной удали... Сама Ольга Ивановна! Пускай она скучна, пускай до сих пор говорит Ивангое, а не Айвенго (мелочь моя и в этой придирке видна!), но разве не подаст она руку совсем иному разряду личностей? Правда, ходит она, как племянница, с забавной гордостью, и псевдоклассик в душе, но во всем другом разве она Даша? Разве она не работала всю жизнь свою, разве она не постояла бы за себя, как делец, не поборолась бы хоть с самой Ржевской — матерью? А Даша? По крайней мере, она была обманута Теряевым, страдала от благородного доверия; ему стыдно, а не ей... Теперь она любима привлекательным Яницким, она украшена им. И он сам, Яницкий?.. Золотообрезные книги, пустые разговоры, бальный идеал!.. А как он аккуратно ведет свои любовные дела! Никто над ним не смеется; и как честен и верен!.. Не только Софья не слыхала от него ни одного лишнего слова, мне он не делал намеков; кроме «bonne chance!», ничего не говорил, даже не произносил ее имени с лукавой улыбкой! Итак, из высокого эклектика, соединявшего в себе жар неопытности с мудрой теорией жизни, легкость с благоразумием, доброту с здравым эгоизмом, религию с наукой, — что вышло? Исчезло живое воплощение его — поэтический, воздушный Владимир Ладнев, и остался на место его не труп, конечно (боль была страшно сильна), а так, какая-то формула, понимающая все, но без всякой личности, без всякой самобытной, движущей силы инстинктов. Не Онегина уже я видел перед собою, не Ральфа, не Бенедикта, даже не лов-

кого Раймонда де-Серси, а Ноздрева, Ноздрева, трижды Ноздрева!.. Хоть и шевельнется иногда в душе мысль; а может быть, они оба, и Юрьев и Софья, не правы? Может быть, один просто глумился, а другая капризничала? Она не дала мне объясниться оскорбительным тоном, отбила охоту подробно оправдываться. Он оскорбил меня дьявольским смехом, не дождался доказательств, не поверил мне, и что за манера: «Ой, сказал! ой, сказал!»

Но можно ли доверять себе? Факты за меня; да это все вздор! Скажи я это Юрьеву, он засмеется и ответит; считать себя правее других — общечеловеческая штука! Этак, пожалуй, будешь черт знает с кем наравне и никогда до нравственной высоты не дойдешь!

И кого бранить? Везде горе, слезы; на улицах грязь, и снег все тает и бежит, на дворах все гниет. Дома тетушка зевает так долго и крикливо; веки у Ольги Ивановны все еще красны; Даша печальна; Модест ищет места. Деньги у него все почти вышли; в плече ревматизм; сам еще больше прежнего исхудал... Я не могу бранить его за неудачную любезность с Софьей; он еще раз отказался от денег, которые я хотел выпросить для него у тетушки. Он принужден целые дни ходить по Москве; он бегал даже, заплетая ноги, за маленьким сыном богатого блондина с рыжей бородой, который гуляет по бульварам с Олинькой Ковалевой. У этого блондина родной брат откупщиком и по откупу есть места; и Модест не только бегал за сыном его по гостиной у Ковалевых, он пищал, картавил, играя с ним, так что я принужден был встретить его взгляд строгим взглядом. Да то ли еще делается! Он еще находит себе и обеды у знакомых, и ужины. А бедная Катюша? Она ест одно простое блюдо дома, и целый день одна. С тех пор, как Софья стала реже к нам ездить и не говорить со мной, с тех пор, как Юрьева я вовсе не вижу, я бегу из дома. Ссоры нельзя скрыть, а вопросы, шутки и сострадание ужасны! Куда бежать? Поеду в нумера, к бедной Кате, вспомнить с нею старину за стаканом чая. А чтобы ей было веселее, куплю ей шелковый платок и возьму фунт сахарного печенья на Кузнецком мосту.

Стучусь в дверь нумера...

Катюша отворяет... Волосы ее мокры и распущены; она худа и бледна. Она даже не улыбается мне.

— Здравствуйте,— говорит она сурово,— а я только что из бани.

— Ты что-то переменилась, разве все кончено? — спрашиваю я.

— Давно уж! А вы не знали? Девочка...

Лицо ее на минуту просветлело, но потом она опять стала грустна и продолжала:

— Отнесли ее в воспитательный дом.

Она отходит к окну и, откинув назад голову, чешет сама свою длинную косу и красиво взмахивает ею.

— Однако есть еще охота нравиться,— замечаю я шутя.— Вот косой как!..

Надо было видеть, как она рассердилась.

— Оставьте меня, пожалуйста, я ни в ком не нуждаюсь... Вам легко смотреть... Да знаете ли вы, что он говорил? Он говорил, что никогда не позволит отдать ребенка в воспитательный дом, что он будет оборванный сам ходить, а мне и ребенку хорошо будет. Вишь ведь какой чувствительный — скажите!.. А теперь скажи-ка ему... Как ведь закричит!.. «Ты меня не понимаешь!» Зачем же он такую необразованную брал?.. Я ведь к нему не просилась.

— Да я-то чем виноват?

— Ах, оставьте меня!.. Вы смеетесь, а я здоровье все свое потеряла с ним тут... Вот что!

Приходит Модест. Он очень весел, поет, заигрывает с Катюшей, но она не отвечает ему.

— Une petite coquetterie, fort gentille[1],— шепчет мне Модест.— А мы вот скоро с Катериной Осиповной уедем, Владимир Александрыч... да-с, уедем! Не будет нас в Москве; не за кем вам будет ухаживать, Владимир Александрыч!.. И прекрасно! отбивать жен у своих друзей не годится!

Катя молчит.

— Ты скоро едешь? — спрашиваю я.

— Да, место есть... на днях все решится. А ты полюбуйся, душа, на характерец Катерины Осиповны... Вот так-то она меня каждый день угощает!

— Стыдились бы, стыдились бы говорить!..— начала было Катюша; но, встретив его холодный, презрительный и даже угрожающий взгляд, отвернулась молча к окну.

[1] Маленькое кокетство, чрезвычайно мило.

XVIII

Я вытерпел около двух недель: не ехал ни к Юрьеву, ни к Софье, обедал каждый день то у Мореля, то у Шевалье, проиграл рублей сто на бильярде; пил шампанское с такими молодыми людьми, которых имена даже не всегда верно знал,— а все не было легче. Яницкий отказывался от всех этих пиров и партий: все сидел дома по вечерам. Один раз, впрочем, он позвал меня к себе обедать. Мы ели вдвоем: я был неразговорчив в этот день, он задумчив.

— Послушай,— сказал он наконец,— ты влюблен в Софью Ржевскую и поссорился с ней? Мне говорила Dorothée.

(Прежде он говорил *ваша Dorothée,* а теперь просто Dorothée.)

Я, разумеется, не мог объяснить ему, что ссора с Юрьевым для меня ужаснее всех любовных ссор.

— Да, она мне нравится, и мы поссорились, а что? — спросил я.

— Если ты не хочешь быть откровенным, так я покажу тебе пример... Ты знаешь, что я хочу увезти Dorothée. Уж мы условились. Она сбирается.

— Как! Что ты? Когда?

Яницкий засмеялся и взял меня за руку.

— Когда она хочет... Сегодня, завтра... Я подорожную взял. Дорога теперь ужасная, но это не беда...

Я долго не мог прийти в себя от удивления, радости, жалости и уважения к Даше.

Хитрец дал мне распечатанную записку и позволил прочесть ее:

«У меня все готово. Если хотите, придите сегодня вечером с Вольдемаром ко мне».

Я после догадался, что он, открывши мне секрет, заставил ее быть решительнее. Я примчался домой и отдал записку.

Даша и улыбалась, и вздыхала, и глядела с таким наивным беспокойством, что я вдруг полюбил ее.

— Идем,— сказала она наконец.

Тут уж и я испугался за нее.

— Не остаться ли? — спросил я.— Подумайте, Даша, что вы делаете?

— Что делать! Уж я думала, думала...

И сама торопится, надевает шляпку, руки дрожат; я беру узелок; она прячет шкатулку под салоп. Сделала шага два и села опять на диван.

— Ноги дрожат...— сказала она.

— Идти так идти, а то будет поздно.

— Пойдемте.

Спустились с лестницы. На дворе подмерзло, и первые звезды уже блестят. В переулке тихо; извозчиков нет. Я смотрю на свою бледную, высокую спутницу и не верю глазам своим.

— Да как же это у вас так скоро?..

— Ах,— отвечает она улыбаясь,— какое скоро! Давно уже об этом речь... С того маскарада, в котором вы так долго меня искали...

— И вы не боитесь?

— Сама не знаю: и боюсь и не боюсь! Я его так люблю... Не правда ли, как он мил!

— Я уважаю вас, Даша!

Даша замолчала и до самого угла шла молча, с светлой гордостью в лице.

Остановились.

— Прощайте, Вольдемар! Простите мне, если я чем-нибудь...

— Вы... вы мне простите,— отвечал я, с жаром обнимая ее и поднося потом к губам ее душистую перчатку...— А как быть дома?..

— Никак... скажите, что ушла, что уж уехала с Яницким... и только... Что мне за дело!.. Прощайте!

— Прощайте!

Она спустила вуаль, и я видел сам издали, как она вошла к Яницкому в ворота. Выждав еще минут с пять, я прошел мимо дома: сквозь сторы светился огонь в его кабинете; остальное все было темно.

Такой факт нельзя не передать Юрьеву! Ссора забыта, о достоинстве и помина нет; дело в том, чтобы узнать его мнение; а остальное все вздор, и мы с ним под дюжинные законы не подходим!

Он принял меня очень любезно, и о старом не было и помина.

— Я говорил тебе, что она молодец! — сказал он про Дашу.— И выбор ничего, даже хорош... А Ольга Ивановна что? Ее, бедную, жаль как-то стало...

На другой день я еще раз убедился, что Юрьев всегда прав: Ольгу Ивановну точно жаль. Я не стану описывать, что делалось с нею и отчасти с тетушкой, когда они узнали об отъезде Даши; вспомню только, что говорила мне Ольга Ивановна, стоя передо мной в своей спальне. Она говорила без жестов, без натяжки, тихо и самым искренним голосом:

— Вот до чего мы дожили, Вольдемар! Вот до чего я, бедная, дожила! Обмануть меня! Зачем? Что я ей за злодейка была?.. Да если уже страсть ее увлекла, приди, признайся... Обмануть! И как бездушно! Третьего дня — смотрю: она свои вещицы фарфоровые в шкатулку укладывает. Я ей говорю: «Даша, что ты это делаешь?» — «Я хочу подарить их». Мне стало больно. Половину их я отдала ей, когда она еще ребенком была; старинные вещи... Ведь и мой отец, Вольдемар, имел состояние, и мы бы могли жить, как другие, если бы не несчастная страсть его к картам... Да, о чем я говорила?..

— О фарфоровых вещах,— отвечал я. И мне вздохнулось.

— Да... мне очень стало больно смотреть на эти вещи... Как будто сердце мое чуяло! Бог же с ней, если так... Желаю ей счастья, а обо мне не услышит больше! Я свое дело делала, и неблагодарность для меня гнуснее всего... Сколько занятий, сколько труда, сколько ходьбы было за ней, когда ее несчастная мать умерла!.. Да знаете ли вы, что если она жива, так она обязана этим мне... А потом сколько пренебрежения от богатых людей, от их лакеев я перетерпела, выводя ее в люди! А? Вы понимаете это... Ведь вы думаете, что я всегда была бездушная, старая девка? Нет, и я была молода, да знала стыд и в долге, в труде находила отраду... Да не стоит об ней и говорить!..

Глаза Ольги Ивановны после Теряева болели, а теперь стали еще хуже.

Тетушка на другой день призвала меня к себе после обеда. Она лежала на диване и, когда я вошел, развела только руками и сказала:

— Ну, домок мой стал, нечего сказать, домок! Притон разврата, а не дом! Ты-то, батюшка, как туда замешался? Везде твоя срезь... Расскажи, как все это было.

Я начал говорить, что знал о знакомстве Даши с

Яницким, старался оставлять в стороне Ковалевых, потому что они были мне нужны для свиданий с Софьей, но тетушка поняла, что Даша виделась свободно с Яницким у них, и воскликнула:

— Ох уж эта мне халдейка, Олинька!

Потом стала дремать, и я еще не кончил, как она уже заснула.

Одна новость сменяет другую. Модест решительно едет служить по откупам и Катюшу пока не берет с собою. Он устроил ее у чепечницы Петровны и обещает выписать после к себе. Серафима Петровна живет в самом нижнем этаже деревянного домика, живет бедно и не очень чисто, почти под землею... У Модеста две жакетки, много цветных летних галстуков, два сюртука, бич, новая трость, зеленый халат с красной оторочкой и кистями. Ездит он на дорогих извозчиках. Ни на лице, ни в словах его я не могу прочесть угрызений совести. Светел и тверд! Он случайно угощает меня чаем в трактире, сидит на диване так прямо, разливает чай так ловко и весело, синее трико на пальто его так толсто и дорого, что я решаюсь спросить у него: «Значит, ты на ней не женишься?»

Он улыбается так, как будто давно ждал этого вопроса.

— Пусть меня осуждают,— говорил он,— я знаю, кто, и как, и за что меня осудит. Наизусть знаю. Но у нее характер стал невыносим... Спроси у нее, пусть она по совести тебе скажет: обязан ли я на ней жениться... Она знает мой образ мыслей и свой характер.

Проводив его, я заехал к Катюше и спросил у нее, каково ей здесь?

— Да ничего. Мало только денег оставил. Мне-то Бог бы с ними. Да вот женщина эта очень зла, со свету сживает, если недостанет...

— Что ты? Чепечница Петровна зла?

— А вы думаете что? Бедовая! Ее муж через ндрав ее даже бросил... Да где ему обо мне думать, когда он об родной дочери об своей, поверите ли, и не спросит! Видите ли, платья себе нашил? Вот она, любовь-то его... Застрелиться хотел... Я даже, вам скажу, себя нисколько не жалею; меня Бог уж за одного за вас должен наказать, за то, как я вас обманывала... А только обидно видеть, как благородный человек, а носки цветные в магазине французские купил, да самому уж, видно, стыдно стало,

спрятал их от меня потихоньку в чемодан.

Она встала и принесла из другой комнаты четыре пары носков.

— Вот это я вязала — так не взял. Не может толстых носить... Вдруг кожа нежная стала... Не возьмете ли вы?.. Возьмите-ка на здоровье, в память старой дружбы!..

XIX

Я не помню ясно нашей встречи с Софьей после ссоры и первых слов, которыми мы обменялись. Но недаром же у меня осталась память об упрямстве ее... Верно, мне было очень трудно возвратить ее к добрым отношениям.

Весна приближалась; пришла и Пасха; Евгения Никитишна воротилась из Петербурга; Даши не было; не для кого было и Софье ездить часто к нам в дом. Мать ее узнала, что она познакомилась без нее с Ковалевыми, и сказала ей, как я после узнал: «Бывать у них можно, но чем реже, тем лучше, и долго не сидеть!» Раз, однако, после обеда Ольга Ивановна заехала к Карецким и привезла оттуда Софью. У Ковалевых были гости. Все пошли в наш маленький домик, где зелень еще не распустилась, но было уже сухо и тепло.

Начали играть в горелки. Юрьева не было, и я был очень рад. Хотя я уже давно был развлечен работой к экзамену и мечтами о новых встречах летом, однако все-таки видел в Софье что-то родственное и привычное и пригласил ее бегать со мною. Я долго не уступал ее никому, старался быть вежливым, предупредительным и скромным, чтобы обновить себя в ее глазах, и ей, кажется, это нравилось.

Я помню ее ласковые взгляды, дружескую улыбку и слова: «Я вас давно не видала!» Я веселился, играл от всей души. Гореть пришлось Ковалеву; мы с Софьей бежали. Ковалев, споткнувшись, стал на оба колена; Софья зацепилась за него и со всего размаха упала ничком. Я бросился к ней и поднял ее. Она смеялась, но была смущена, и шелковое платье ее разорвалось. С содроганием увидал я, что одна из ладоней ее сильно ссажена. Я хотел бежать за водой, но Ольга Ивановна увела ее в дом, обмыла ей платье и обвязала руку. Они вернулись, и мы продолжали играть. Вечер был прекрасный. Ко-

валевы предложили проводить Софью пешком, когда другие гости уедут. Пошли; Ковалев шел впереди с женою и Ольгой Ивановной, я за ними вел Софью под руку.

Я помню, что спросил у нее: «Болит ли рука?» — а она спросила: «Вам жалко разве?»

— Нет, я рад,— отвечал я,— потому что теперь жалею вас... Я смелее на вас смотрю... Я бы желал, чтобы вы почаще были несчастливы, тогда я мог бы доказать вам чем-нибудь мою дружбу.

— Я тоже бы хотела доказать вам мою дружбу...

— Право?..

— Право. Научите, что мне для вас сделать?..

Я подумал...

— Что сделать?.. Знаете ли что? Вы можете сделать для меня много. Я буду с вами откровенен. Ваша кузина Лиза мне очень нравится... Я всегда был склонен к семейной жизни. Если бы года через три, когда я кончу курс, жениться на ней... Она, кажется, такая тихая, добрая, и за ней тысяч двадцать серебром дадут... Надо быть положительным...

Софья засмеялась.

— Она вам нравится? Что ж вы мне давно не сказали?.. Лиза очень добрая... Я бы очень желала для Лизы такого мужа, как вы... Все-таки вы, я думаю, лучше многих... Кто, кроме вас, скажет такие вещи! Какие вы смешные!..

Она с очаровательной веселостью заглянула мне в лицо.

— А меня уж совсем не надо? — и слегка так мило махнула рукой, что я пришел в восторг.

— Вас не надо? — отвечал я, прижимая к себе ту руку, которая лежала на моей... — Послушайте... Не будем гоняться за многим... Вы помогайте мне у Лизы и не бойтесь, я буду ей верный и добрый муж... божусь вам! А пока отчего не пожить? Любви, разумеется, не надо... Но вы так умны, так милы, что с вами и без любви хорошо!

— Вот если бы вы всегда были так откровенны! Как это к вам идет!.. Как же мы будем с вами теперь?.. Дружба это будет?..

— Зачем эти названия... Будем так себе... Будем рады, когда встретимся, не будем мешать друг другу; вот это иногда...

Я указал на губы.

— Нет, это уж не дружба...

— Это не простая дружба... Это amitie poétisée...[1] Умоляю вас...

— Редко, очень редко...

— А как?

— Раз в год.

— Нет... два раза в неделю.

— Раз в месяц... Ни за что чаще не хочу...

— Хорошо и это, — отвечал я, подавая ей руку.

Мы расстались весело, и я задыхался от умиления, радости, гордости, возвращаясь домой. Через неделю она уехала с матерью в деревню и, прощаясь, звала меня в августе к Колечицким.

— Я постараюсь быть там непременно, если меня пустят... Будем танцевать там и ездить верхом.

Я взял слово с нее, что в кавалькадах она будет моей дамой, и пригласил ее на мазурку.

Юрьев тоже скоро после этого уехал с своими хозяевами в деревню, а дня через два после него и тетушка с Ольгой Ивановной пустились в путь.

Мне оставалось кончить экзамен и ехать в Подлипки.

Хорошо было тогда!..

XX

Теперь я рассказал вам все, что со мной было до встречи с Пашей. Вы понимаете, как мне было и грустно, и просторно в Подлипках; как я отдыхал с Пашей, после Софьи Ржевской и Юрьева... Когда Паша уехала, я не то чтобы забыл ее, а думал, что все уже кончено, и погрузился в чтение, прогулки, лень и с удовольствием собрался в конце июля к молодым супругам Колечицким, к которым звала меня Софья. У них и без нее было приятно. Дом у них двухэтажный, каменный, белый, старинный сад, пруды, много лошадей, лихая псарня. Приглашали они только молодежь. Хозяин дома — отставной конногвардеец, белокурый, красивый и насмешливый; жена собой похуже его, но стройна и мило капризна; лицо ее может очень нравиться. Одевается она отлично; очень

[1] Опоэтизированная дружба.

радушна и любезна у себя в доме. Муж образованнее ее; с ним и поговорить не скучно, и сам он сказал один раз при мне:

— Главное, надо любить все... Я все страстно люблю... Читать мне предложат — я умру над книгой; охоту обожаю, верховую езду — тоже... Политика, хозяйство... Я все, все люблю!..

Лучше всего было то, что они не стесняли и друг другу не мешали, как Ковалевы, только в другой форме. Одно время они были моим идеалом, именно тогда, когда я с Клашей сиживал на диване и уговаривал ее идти за другого, а меня сделать счастливым.

Отпуская меня к Колечицким, тетушка приказала мне заехать в монастырь, который был верстах в пяти оттуда, и отслужить панихиду по родным: там были похоронены отец мой, дед, мать и дядя, муж Марьи Николаевны! Часов в одиннадцать утра я приехал к молодым супругам.

— Все господа у обедни,— сказал слуга.

Переодевшись, я вышел в пустую биллиардную, постоял на балконе, пересмотрел картины на стенах, потом начал от скуки толкать кием шары. Вдруг стеклянная дверь из сада за спиной моей отворилась со звоном... Софья стояла на пороге. Никогда, ни прежде, ни после, не была она так хороша! Она пополнела за лето; на лице легкий загар и румянец; темные волосы острижены в кружок и завиты; глаза расширились и заблистали, когда я, онемев от радости, обернулся к ней. Платье на ней легкое, пестрое (с удивительным вкусом пестрое!), везде оборки, кружева... Она сложила зонтик и улыбнулась, когда я бросился к ней.

— Как это вы здесь? — спросила она.

— И вы могли думать, что я не приеду, когда вы сами звали меня!

— Разве звала? Я не помню.

— А я не забыл,— отвечал я грустно.

Она села на диван и, встряхнув кудрями, сказала:

— Как я голодна, если б вы знали! Скоро ли это есть дадут? Обедня эта такая долгая; я насилу ушла.

В эту минуту все общество со смехом поднялось на крыльцо за стеклянной дверью. Первый вошел м-сье Сальвари, бледный и худой москвич, с густыми рыжими бакенбардами. Он вел под руку Колечицкую... Я встре-

чал этого Сальвари в Москве, и мне всегда не нравились его ничтожные черты, немного кривой нос и все движенья, развязные без простоты. Если он шел с тростью по улице, то непременно судорожно, сурово и наискось подавшись вперед; или зяб, когда не было холодно, поднимал воротник у пальто; в кругу мужчин клал ноги на стол или упирал их в окно, в мазурке, сидя около дамы, старался поставить стул как-нибудь спинкой к ней, руки положит на спинку, а бороду на руки; станет у притолоки, стеклышко в глаз, большие пальцы засунет под мышки, за жилет, ногу заплетет за ногу; противно «фредонирует», в танцах прижимает даму к себе донельзя, чуть не кладет ей лицо на голову, если она мала (сам он среднего роста), на плечо, если высока. Я видал его и пьяным в маскарадах, и знал, что он развратен, и не говорил с ним ни слова, ненавидел его.

Входя в биллиардную, Сальвари и хозяйка дома продолжали начатый спор...

— Не говорите мне о правильных чертах! — воскликнул Сальвари.

— Я бы желала быть красавицей! — отвечала Колечицкая.

— Вот для примера, — продолжал Сальвари, — вы и m-lee Sophie[1]: и у вас и у m-lle Sophie нет ни одной порядочной, строгой черты, а ensemble[2] ваш может свести с ума. Не правда ли, m-lle Sophie?

Он подошел к Софье, а я к хозяйке дома.

За завтраком и за обедом он сидел около Софьи, болтал без умолку по-французски, наливал ей воду и не сводил с нее глаз.

После обеда шел небольшой дождь, и вздумали танцевать. Софья была приглашена на две кадрили; я взял ее на третью. Танцуя с Колечицкой, я старался не показывать вида, что грущу; но она все-таки заметила.

— Вы рассеянны, — сказала она. — Не влюблены ли вы?

— Нет, — отвечал я, — я даже не знаю, верить ли или нет в существование любви...

— Вы разочарованы? — спросила она с материнской улыбкой.

---

[1] Мадемуазель Софи.
[2] Ансамбль.

— О, нет... Я только *безочарован!*

И вздохнулось что-то.

Проклятый Сальвари танцевал с Софьей. Наконец очередь дошла и до меня.

— Я очень рада, что вы здесь, — сказала она, подала мне руку, когда можно было сделать это незаметно, и ушла на другую сторону.

Я дождался и, покружившись с ней, отвечал:

— На что я вам?

— Как на что? Я рада...

— Как другу?

Глаза ее лукаво улыбнулись.

— Как вы сами хотите...

— А этот господин?

— Какой господин?

— Этот бледный и кривоносый господин с отвратительным шиком?..

— Чем же он вам не нравится?.. Он очень умен и интересен. Я сейчас говорила ему, что я желала бы влюбиться, что так жить скучно. А он мне говорит: «Влюбитесь в меня, я буду очень рад».

Я стиснул зубы и, помолчав, сказал:

— Значит, я напрасно приезжал?

Софья взглянула строго.

— Вы, кажется, обещали не иметь никаких претензий?

— Я не имею их... Но, впрочем, это в самом деле глупо с моей стороны! Извините... Скажите, будут здесь кавалькады?

— Верно, будут... Я буду с вами ездить... Сдержу обещание, сдержите и вы...

Часов около девяти взошла полная луна и так ярко осветила все, что одна из дам предложила всем ехать верхом. Колечицкий стал отговаривать, уверял, что лошади будут пугаться и бить. Вообще мужчины неохотно поддавались на это, но воля женщин взяла верх. Колечицкая сказала мужу:

— У тебя много лошадей; выбери смирных для нас, а ces messieurs[1] могут ехать на каких хотят.

Спрашивали, кто из женщин хочет непременно ехать... Хотели все. Сальвари обратился к Софье и спросил:

— Могу я ехать с вами?

[1] Эти господа.

Во мне все замерло.

— Я обещала m-r Ладневу,— отвечала она,— я с ним уже ездила прежде...

Сальвари шаркнул и, отступая, сделал мне рукой в сторону Софьи, как будто хотел сказать: честь и место! Я сухо поклонился. Такой отвратительный!

Шестнадцать лошадей стояли у крыльца. От радости я едва сошел с лестницы; луна светила еще ярче прежнего. Дорога была видна, как днем; каждая рытвина, каждая кочка отделялись на лугу перед домом.

Пустились в путь. Что за блаженство! Я выбрал нарочно лошадь побойчее; она три раза встала на дыбы около Софьи, когда я садился на нее.

«Постой же,— думал я,— теперь ты не будешь презирать меня! Не подумаешь, что у меня нет характера».

Сначала все шло прекрасно. Мы ехали с Софьей впереди; за ними Сальвари и Колечицкая; за ними остальные. Мы изредка перебрасывались словами и шутками с другими, но между собой почти не говорили. Софья немного боялась; она смотрела то на уши лошади, то на дорогу; я не хотел начать первый. Выехав за чудный еловый лесок, мы стали спускаться с горы. Дорога была вся в промоинах. Лошадь Софьи вдруг заупрямилась и повернула назад. Я хотел схватить ее повод, но мой вороной пятился в сторону и приподнялся слегка опять на дыбы. Наконец я справился с ним, бешено взял его в шенкеля, ударил и подскочил к Софье.

— Оставьте! оставьте! — закричала она,— ваша лошадь пугает мою... оставьте! Я уеду назад. M-r Salvary!

Больше всего боялся я срама. Когда тут доказывать ей, что я гораздо лучше знаком с эквитацией, чем мерзавец Salvary?.. Схватил за повод, рванул за собой; мой конь перескочил через рытвину, ее лошадь за ним... Софья вскрикнула.

— Нет, это ни на что не похоже! — сказала она,— такая страшная лошадь. Я уеду... M-r Salvary!

— Молчите,— возразил я,— молчите, не зовите этого... Мы спустимся! Sophie! Ради Бога!

— M-r Salvary!

— Боже! Какой пронзительный ваш голос! Не тяните поводьев. Да молчите же. Я позову вам его...

— Я боюсь остаться одна.

Но я не слушал ее, поскакал и встретил в роще Salvary, который уже сам спешил к ней на помощь (Колечицкая услала его от себя). Мы поменялись дамами. Печально и постыдно кончился для меня этот вечер. Я не мог владеть собою и ни слова не говорил с Колечицкой.

— Вы поссорились с Соней, я это вижу,— сказала она.

— Нимало! А вот что... Я завтра рано уеду...

Она упрашивала, умоляла меня, называла mon charmant cousin[1], дразнила Софьей, но я решился ехать и после шумного ужина, который для меня был и длинен и несносен, простился с доброй кузиной и ее мужем и ушел спать потихоньку, умоляя их не мешать моему отъезду...

XXI

На всех окнах были спущены маркизы и сторы, и все в доме еще спало, когда я сел в коляску.

— Домой! — сказал я кучеру.

Мы поравнялись с церковью; кучер снял шляпу и помолился, и я вспомнил о панихиде, которую мне велела тетушка отслужить мимоездом над могилою родителей.

— Нет, не домой, Григорий, а прежде в монастырь заезжай.

Я сказал вам уже, что монастырь этот в пяти верстах от имения Колечицких. Старая кирпичная ограда, церковь с большой и звонкой лестницей под сводами, березовая роща за стеной — все здесь было давно мне знакомо. Я послал за иеромонахом и бесчувственно оперся на решетку родительской могилы... Над отцом лежала плита, над матерью стоял большой крест из черного камня, и он обращен был ко мне не той стороной, где написано имя ее, год и звание, а той, где золотыми буквами вырезаны (по желанию самой покойницы) слова: «Господи! прости грехи молодости моей и незнания». Слова эти я давно знал, но они были до той минуты бездушны для меня.

Солнце начинало греть. Пришел отец Мельхиседек и начал... Он пел тихо, слабым, старым голосом; дьякон густо и грустно вторил ему; кадильный дым быстро

[1] Мой очаровательный кузен.

исчезал в воздухе; стрижи визжали; кладбище зеленело... Я зарыдал, припав к решетке, плакал долго, до тех пор плакал, пока отец Мельхиседек не кончил.

Тогда я подал ему деньги и благодарил его; монах взглянул на меня печально и спросил:

— Домой к тетушке отселе?

— Домой, отец Мельхиседек...

— Почаить не зайдете ко мне?..

— Нет, уж надо домой...

— Ну, с Богом!

И старик благословил меня. Мы ехали тихо; лошади утомились от зноя.

Солнце было уже невысоко, когда мы стали подъезжать к Подлипкам.

«Что, если б Паша была здесь?» — подумал я.

Слезы на могиле родных смягчили меня, и эта близость смерти снова пробуждала жажду наслаждений...

Вместе с тем я видел немой упрек на всех знакомых предметах, попадавшихся мне по мере приближения к усадьбе с северной стороны, где рощи долго скрывают ее от глаз. Дуб, наклоненный над вершиной, у пруда... второй раз скошенное сено лежало мирными рядами на зелени, как бы помолодевшей от покоса. Прачка Фекла, которая, нагнувшись над водою в том месте, где стояли опрокинутые наши вязы, била вальком... послеобеденная пустота двора... все молча взывало ко мне: «Зачем ты покинул нас для тщеславных забав? И за то, что ты предпочел жизнь чужую жизни всегда тебе родной и даже подвластной тебе во многом, за это Бог наказал тебя!..» Мы быстро въехали на двор. Ольга Ивановна в белом капоте работала на балконе; около нее сидела Паша. Они обе встали и сошли с балкона ко мне навстречу. Улыбки на всех лицах! Здесь-то я царь!

Я поцаловался с Ольгой Ивановной, поздоровался с Пашей и бросился к тетке. За чаем заставили меня рассказывать все подробно; и я рассказывал, но умолчал о своем уроне. Немного погодя я проходил через коридор, встретил Пашу и погладил мимоходом ее по голове, а она схватила мою руку и крепко ее поцаловала...

И вот с этой минуты я влюбился в нее.

Мы разошлись, но я весь вечер был рассеян и отвечал тетушке невпопад.

Она даже бранила меня матерински за это и хотела «настукать лоб».

И как шли к Паше маленькие косы в этот вечер!.. Милая моя Паша! Я долго не мог заснуть!

На другой день утром я, заставши ее одну в диванной за пяльцами, умолял прийти ночью в аллею.

— Страшно! — отвечала она.— Вы разве не слыхали, как сова всю ночь вчера кричала?.. У нее есть дитя в дупле, в яблоне направо.

Я обещался убить сову; зарядил ружье и, не найдя самой совы, вынул совенка, посадил его на ветку и безо всякой нужды расстрелял на 10 шагах.

Паша обещалась выйти в аллею. Я сгорал от нетерпения и, чтоб сократить время между чаем и ужином, поехал кататься верхом. Месяц светил ярко, и было очень свежо и грустно вокруг, когда я вернулся домой.

До ужина оставался еще час.

Тетушка, Ольга Ивановна, Паша и Февроньюшка сидели на балконе.

В саду раздирающим голосом кричала старая сова; я ушел к себе и, не умея писать стихов, выразил в прозе сам не знаю что!

Я недавно читал Шатобриана и помнил ночную песню молодого краснокожего, который говорит, что он оплодотворит чрево своей милой (je fertiliserai son sein)[1].

Сова, месяц и сырость, Паша и ее мать, коварная Сонечка и ее мать... все это порхало около меня. Я сел и писал как бы от лица девушки к себе.

Листок этой рукописи цел до сих пор, и помарок в нем почти нет. Я никогда не мог решиться ни сжечь, ни разорвать его.

«Друг мой! зачем это бледное облако на краю неба? Уже темно, и воздух в поле полон влажного холода. — Друг мой! душа моя ноет!

Я ушла далеко от своих, ушла из дому в поле, а душа все ноет!

Как назову я тебя, брат мой, как назову я чувство, от которого млею?

Я назвала бы его музыкой дальней смерти, милый

[1] Я оплодотворю ее лоно.

мой; но рукам моим так холодно, в лицо из рощи прилетает такой оживленный воздух...

Что делать, я не знаю слов!

Всю ночь вчера кричала сова в саду... Брат мой, зачем ты убил ее дитя?.. дитя еще невинно, милый брат... Помнишь, и твоя мать была сурова и нелюбима людьми, и отчего же ты так вздохнул, когда услыхал вчера вечером жалобный плач совы над яблоней, под которой лежало разбитое до крови, еще нехорошо оперившееся тело ребенка?

Я слышала, друг мой, как ты вздохнул; прости же мои слова, бедные слова одинокой сестры твоей...

Вот видишь свет сквозь поблекшие осенние кусты? Это дом мой, милый брат.

Пойдем ко мне... В поле холодно!..

Я согрею тебя у камина, и озябшие руки твои отойдут под дыханием моей любви...

Пойдем же, пойдем, милый избранник мой. Пойдем; душа моя ноет! Там мы долго будем одни в светлой комнате, а в поле так темно, и кругом везде сырость и ночь!»

XXII

Я лег в тревоге. Пока в доме все шевелилось, я был еще терпелив; но скоро в буфете перестал звонить Степан; из дальней девичьей тоже не слышалось шума; в окне Ольги Ивановны еще светился огонь. Наконец и он погас... Тогда я весь обратился в слух, дрожал, вскакивал... Вот вдали скрипнула дверь и замолкла, еще скрипнула и опять замолкла (я знал по звуку, какая это дверь). Я ожидал, что наконец эта дверь заскрипит вдруг и коротко, потому что Паше надоест нерешительность. Так и случилось через минуту. Если б она пошла тотчас же смело в девичью, то за этим знакомым мне скрипом щелкнул бы замок на коридорных дверях, потом в сенях завизжал бы блок; но видно, она пробиралась осторожно; между первым звуком и вторым прошло так много времени, что я стал думать: «Верно, это не она!» Один Бог знает, как я мучился, но на всякий случай был готов. Наконец стукнул замок, завизжала и хлопнула сенная дверь... Нет сомнения, это она! Она

бросилась скорее мимо горничных, чтоб не успели ее рассмотреть, если которая и проснется. Я схватил фуражку, отворил окно, выскочил в сад и поспешил по темной аллее к огороду. За воротами на мостике показалась Паша; она была покрыта большим платком. Я дождался ее в аллее в темноте, и она бросилась ко мне на шею...

— Ах, мой миленький, это вы! как я дверей боялась, как они скрипят! это просто страсть!

Мы решились идти в поле, к холмам, где был кирпичный сарай. И недалеко, и пусто, и в сарай можно спрятаться — а в саду караульщики. Паша боялась и зябла, но была на все согласна. Как очаровательно казалось мне ее послушание, ее детская кротость, какое-то уважение ко мне, которое я замечал и в словах, и в робких взорах, обращенных ко мне! Как все это мне нравилось после кокетства и обманов Катюши, после причуд и безвкусия Клаши, после дерзостей Софьи! Когда мы шли с ней по пустой дороге мимо болота и смотрели на огромные поля, покрытые туманом, бедный и бледный ребенок становился как бы священным для меня... Самая чувственность моя была проникнута такой искренной нежностью, таким умилением, что я вдруг захотел не расставаться с ней ни на миг, завернул ее в свою шинель, и мы скоро дошли до кирпичного сарая. Здесь, обнявшись крепко, сидели мы долго на пригорке и молчали. Я смотрел на это кроткое, отроческое лицо, на этот детский чепчик, на белокурые косички, которые выставлялись из-под него, смотрел на ее глаза, переходившие с тумана и полей на меня, а с меня опять на туман и поля, и все не мог произнести ни слова. Что я скажу ей: «Я люблю тебя!» Да, я точно люблю в эту минуту всей душою. А дальше, а жертвы? Я заранее отказался от них. О Паша, милая Паша! Ты не знаешь, с какими аккуратными расчетами начал ухаживать за тобой тот, с которым ты не боишься ходить в поле!

Однако я сжал ее руку и, вопреки себе, с усилием сказал:

— Так ты согласна, Паша, полюбить меня совсем?

— Как совсем? Да я просто удивляюсь, как это даже можно чужого мужчину так полюбить, как я вас люблю!

— Нет, Паша... ты не то... Совсем, совсем...

Я боялся произнести оскорбительное слово или позволить себе немую вольность.

Паша поняла, однако, и задумалась.

— Вот что,— начала она, помолчав,— а что будет? Страшно подумать, душенька! Маменька моя, вы знаете, какая строгая. Она меня не любит, я не знаю за что. Вот теперь, как мы в город ездили, то и дело, то и дело твердит: «От тебя, от пакостницы, ничего путного не добьешься». Зачем вот не понравилась жениху?

— А ты бы пошла, если б понравилась?

— Конечно бы пошла. Как же не идти? Хоть он и гадкий, очень даже гадкий, а что ж делать — пошла бы! Заверните-ка меня получше, так холодно...

Вздохнув глубоко, Паша продолжала:

— Да. Я не знаю, за что маменька меня не любит. Вот тятенька покойный — тот меня любил. Бывало, возьмет меня на колени, приласкает, и я его совсем не боялась. Раз маменька взяла и заперла меня в чулан, уж не помню за что. Господи! душенька, вот страх-то был! Темно; крысы визжат, дерутся... А я так и плачу, так и плачу. Только тятенька пришли из церкви, узнали и отперли мне. «Не плачь,— говорит,— Пашенька». Я и перестала плакать. И сам бледный тятенька! Очень он меня жалел... О чем вы задумались?

Что мне было сказать ей? О чем я задумался! Я был в невыразимом смущении; я смотрел на туманные поля: это были те самые поля, по которым, за непроходимым зимним садом, *шел когда-то жених во полуночи*. Когда-то! Когда я верил всей душой, когда отец Василий пел у нас вечером в облаках дыма. И я оскверню шаткой страстью этот чистый образ, я обману его? Нет, я этого не сделаю! Я встал и сказал ей: «Пойдем домой».— «Пойдемте»,— отвечала она, вздохнувши. И мы пошли назад. Ей не хотелось еще скоро расстаться со мной; она проводила меня в аллею, и тут мы простились и обнялись в темноте. Сова, как и вчера, кричала жалобным, страшно жалобным голосом. Паша уходила, шумя сухими листьями. Я провожал ее глазами; она тоже остановилась на конце аллеи перед огородом, и на светлом месте между деревьями я еще раз рассмотрел ее клетчатый платок и детский ее чепчик.

— Прощайте, миленький, прощайте! — сказала она мне оттуда.

XXIII

Спать я не мог; зажег свечу и долго ходил по комнате, но все было душно; я вышел в залу и ходил по зале.

«Что делать? Оставить ее? Но как оставить, когда она перед глазами? А охлажденье... А Модест с Катюшей?.. Обеспечить — разве все?.. А вся эта неловкость, недоразумения, фальшивые слова разлюбившего?.. А ужас быть хоть наедине с самим собою, хоть раз в жизни похожим на Модеста? И что скажет Юрьев?.. Он говорил, что именно тихую, робкую и физически холодную девушку грех обольстить, что она не найдет в страсти той отрады, которую находит пламенная женщина. Мне было страшно жаль ее, но самое сострадание только удвоивало желание обладать ею. Бедная моя Греция, где ты? Где же тот благословенный угол, где я могу найти любовницу без упреков и без разврата, бескорыстную и бесстрашную жрицу любви? Неужели жизнь моя должна идти так, как жизнь всех? Да это лучше б и не родиться! Да лучше страстный порок, чем гнусная посредственность! Страстный порок — так! Но если связь с этой бедной девушкой приведет меня к другого рода пошлой посредственности, к дряхлым колебаниям чувства, к стесняющему дыхание страху низости и страху жертвы? Если мне суждено будет вызвать в чьей-нибудь душе, в каком-нибудь, даже далеком отсутствующем, положим в душе Юрьева или Софьи... если мне суждено будет вызвать презрительное сожаление, не лучше ли отказаться от всего, от Греции, от самой жизни... Снесу ли я всю тяжесть ответа? Жениться после? Душно! Страшна худоба после родов, синие жилки на поблекших руках; но это все не так ужасно, как моя собственная слабость... Но если мне суждено, упившись разом и сладострастием и состраданием, насладившись ее отроческим телом и мягкой душою, если мне суждено слышать или только подозревать, что кто-нибудь осмелился сравнить меня с Модестом, если кто-нибудь скажет про меня: *да! он думал, что любит; он любил свое воображение, а не ее!..* О Боже мой! не лучше ли стать схимником или монахом, но монахом твердым, светлым, знающим, чего хочет душа, свободным, прозрачным, как свежий осенний день?.. Не лучше ли это отваги с пятном на душе, той отваги, которой увлекся Модест, почуяв во-

круг себя презрение самых близких людей? Эта светлая, одинокая жизнь не лучше ли и душного брака, где должны так трагически мешаться и жалость, и скука, и бедные проблески последней пропадающей любви, и дети, и однообразие?.. Уж не лучше ли жениться, дать имя и бросить после? Тогда опять один и свободен! Но все порицают это... быть может, оно и в самом деле гадко. И неужели вся жизнь такова? Или это только моя? Но чья же лучше... чья? Куда ни обернусь я, везде вижу слезы, и слезы пошло утертые, и опять слезы... Чью жизнь я предпочту моей? Тетушка не жила и не живет, приближаясь к могиле... Юрьева ждут только лишения и одиночество; недаром же говорит он, дьявольски весело смеясь: «Терпи, казак, атаманом *не* будешь!» Яницким быть стыдно, потому что он не мыслит, мало знает; Клашей — стыдно, потому что она жена Щелина; Дашей — потому что слаба и неверна самой себе, как я; но я по крайней мере мыслю, а у ней и того нет! Софья? Вот это что? Да что! Приданого мало, мать строга, тетка глупа, отца жаль, грустит, может быть, что руки велики и не так хороши, как у других, платьев мало, грустит, что не встретила еще никого, кто бы поработил ее любовью... В этом кривоносом Сальвари она скоро разочаруется... И как бы это было хорошо! Она, быть может, к зиме поймет всю разницу между им и мною... Чему ж я рад?.. Вот мои права на Пашу!..

И как душно везде! Даже великие люди... как кончили они? Смертью и смертью... К чему же привела их жизнь?.. Как жива передо мною картинка, где Наполеон в круглой широкой шляпе и сюртуке стоит, заложив руки за спину!.. Перед ним какая-то дама и негр, обремененный ношей... Как ему скучно! И еще картинка: m-me Bertrand[1] с высоким гребнем, рак внутри, раскрытый рот и смерть! Еще я вижу Гёте в старомодном сюртуке, старого Гёте, женатого на кухарке... как душно в его комнате! Шиллер изнурен ночным трудом и умирает рано; Руссо муж Терезы, которая не понимает, кто ее муж... И это еще все великие люди! Не ужас ли это, не ужас ли со всех сторон?..»

Я схватил наконец фуражку и бросился вон из дома;

[1] Мадам Бертран.

шел, шел, шел до речки по дороге к селу, походил в холодном тумане по берегу и вернулся домой усталый и прозябший, но укрепясь дорогой в намерении сделать первый истинный опыт воли и отречься от Паши. Я скажу ей: уезжай отсюда!..

Все понемногу утихло в душе моей, и я заснул.

XXIV

На другой день поутру я написал записку самой Паше: «Если ты, Паша, себя жалеешь и меня любишь, отпросись ты к матери сегодня же, потом у родных просись к тетке в город и пробудь там до тех пор, пока я уеду в Москву. Если же моя просьба ничего для тебя не значит, так я скажу Ольге Ивановне, что мы с тобой гуляем по ночам, и попрошу отправить тебя, чтоб не вышло тебе вреда».

Паша тотчас же стала проситься домой, и велено было для нее приготовить тележку к вечеру.

После обеда, когда старухи наши легли отдыхать, я долго ходил один, убитый и бессильный, по зале. Дверь отворилась, и Паша вошла, взяла свою чашку из буфета, надувшись и молча прошла мимо меня два раза, и хоть бы оглянулась!..

Я было хотел идти за нею, но, вспомнив, что Юрьев назвал бы такое движение *общечеловеческим,* смутился и ушел в свою комнату. Не успел я сесть у стола и закрыть лицо, как дверь скрипнула, и Паша печальная, тихая вошла ко мне.

Не говоря ни слова, она припала ко мне на грудь, подала мне детскую вилочку из слоновой кости и зарыдала...

— Возьмите, возьмите,— говорила она,— возьмите на память, миленький мой, ангел мой, возьмите на память. Я не нашла ничего другого... Прощайте, прощайте, прощайте! — повторила она с необыкновенной силой и громким плачем, обливая мои руки слезами и цалуя их...

И я цаловал ее руки... И чего бы я не дал в эту минуту, чтоб она осталась еще хоть на одни сутки!

Через час какой-нибудь тележка загремела по мосту. И я опять не спал всю ночь.

Пашу не отвезли еще в город на другой день, не от-

везли и на третий. Февроньюшка была у нас и сказала мне тихо, не называя ее по имени: «Плачет очень!» Я ходил, как безумный, по дому, по саду; ни о ком и ни о чем, кроме ее, не мог думать, не спал ночей до рассвета, стонал один, хватал себя за голову. «Зачем, зачем я упустил ее? Вот она, кроткая, невинная!.. Что бы было! что бы могло быть!..» В саду иногда я брал толстый сук и бил им себя по ногам, по рукам, по спине до тех пор, пока кожа краснела; аппетит потерял; язык и глаза пожелтели.

На четвертый день я велел оседлать лошадь и поехал в то село, где жили родные Паши.

Как войти в дом? Невозможно! Мать, сестра! Все знают! Все увидят и догадаются. Объехал за овинами, чтоб кто-нибудь из церковников не увидал меня, постоял в роще поодаль; наконец решился и выехал на улицу.

— Поди сюда,— сказал я одной старушке.— Не знаешь ли ты, увезли Пашу-поповну в город?.. Меня барыня из Подлипок прислала...

— Сегодня утром увезли...

Я повернул лошадь и скакал, не переводя духа, до дома...

Но и дома было не лучше. Нет, бежать, бежать отсюда!..

Два дня еще колебался. Потом сказал тетушке робко (страшно было ее огорчать — все разъехались от нее):

— Я уеду.

— Что ж, дружок, поезжай; развлекись, моя радость... отдохни...

Куда ехать? В Москву еще рано: Москва пуста. Юрьев в деревне; Катюша с месяц тому назад уехала к Модесту. К Яницкому? Недавно Даша звала меня в письме так радушно, говорила, что у них так хорошо, так много тени, цветов и книг; писала, что он день ото дня больше любит ее... Туда, туда, где живут не так, как все, в убежище противозаконной любви! Правду говорила чепечница Петровна: «Незаконная любовь слаще законной!» Не нужно мне слуги: я хочу быть один! В 20 верстах от нас шоссе идет на Москву, а там опять шоссе почти вплоть до Яницкого. В мальпост, и туда!..

— Я еду к ней,— шепнул я Ольге Ивановне.

Ольга Ивановна отвернулась к окну и отвечала:

— Посмотрите, каково ей... И скажите ей, что напрас-

но она меня обманула; я и теперь готова ей помочь, если она будет в горе... Прощайте!..

Мальпост пришел на рассвете. Погода была ясная, и я взял наружное место. Громада покатилась под гору, промчалась по мягкому мосту, в гору... и городок наш скрылся. Солнце вставало; мы скакали шестериком во весь опор; кондуктор трубил. Рощи, зелень, деревни, обозы — встречались и пропадали...

Образ Паши бледнел все больше и больше, и спокойное сознание честного, удобного поступка начинало занимать его место.

«Что ж,— думал я,— если я не могу играть и блистать перед людьми, как лихой конь, потащу в гору воз, как деревенская лошадка! Юрьев сказал же мне однажды: «Надо много, много дарований иметь, чтоб частыми успехами не опротиветь людям». Впереди такая бездна дней! И не одни Подлипки, не одна Москва на свете!.. Прощай, прощай, Подлипки! прощай, милая Паша! благослови тебя Бог на спокойный и добрый путь, а я теперь залечу далеко от всех вас и забуду все старое!»

Вперед, вперед, молодая жизнь!

XXV

Шаг за шагом светлела моя мысль... Как легко казалось тогда справиться с будущим!.. За одну картину будущего можно было отдать совесть на вечный позор... как отдал ее Модест... Ведь и он не заслуживал одних только упреков! Когда лет через пять после всего рассказанного случай опять свел меня с Катей, поблекшей, больной и павшей, и я узнал незадолго до этого с содроганием, что она умирает, с каким негодованием закипел я на Модеста!

— Зачем вы ездите всегда в карете? — спрашивает его одна дама.

— На воздухе так портится прическа... Я принужден завиваться, потому что у меня мало волос.

А я вдали вижу курган, покрытый кленом и рябиной, лозняк на берегу круглой сажалки... Розовое ситцевое платье и синяя лента на шее и цветущее лицо... Душа, быть может, полная простых надежд... Ему было отдано все. А он? Старая история — полная для меня всей но-

визны пережитого! Он гремит в карете, купленной на жениины деньги; зеленые концы черного галстука вовсе нейдут к бледному, жиреющему лицу, сюртук от лучшего портного и скучная, как сказывают, *добрая* жена!

Это все издалека. Но вот я в давно знакомом переулке. Смеркалось, когда я вошел к ней... Перед этим узнал я, что она жива и поправилась. Поправилась, да... мне казалось даже, что она выросла!.. Хотя это уже не та Катя, что плясала по вечерам в людской, не та, что плакала по детям, отданным в воспитательный дом и умершим потом, не та, что бегала дикой девочкой по рощам и коноплям... Но все тот же очерк продолговатого лица, все та же болтливость и радость при встрече со мной.

Она вызвалась провожать меня.

— Откуда у тебя это такой салоп и шляпка славная?

— Сама купила. Модест Иваныч не забывает меня. Господи! Ведь прикатил, когда я заболела. Он был в Москве, узнал, что я больна, и сейчас ко мне. Я ему тут сгоряча, знаете, этак... Уж конечно! у меня кровь даже горлом шла перед этим! Я ему, как есть, все начистую. Конечно, говорю, вы можете на меня сердиться, как вам угодно, а ведь вам не следует оставлять меня. Что вы со мной сделали? Разве я такая была? С тех пор аккуратно высылает деньги и пишет, что нужно...

— А с женою как они?

— Он говорит, что она ангел. А я слышала, что она на него прикрикивает. Что ж, мудрости большой тут нет: имение ее! Поверите ли, волокита такой же, как был... Уж он ведь и не так молод теперь... Толстый такой стал, здоровенный, а в деревне спуску никому не дает. А всетаки, если по-божески судить, он не мог на мне жениться... Я не верила этому... Пусть не забывает только, а то трудной службы я теперь нести не могу: грудь все болит... Ах, Господи, вспомнишь молодость-то! Помните, как я вас обманывала? Обещаю прийти во флигель, а сама в людскую, да под балалайку и пляшу! Вот бы, кажется, Бог знает что дала, чтоб в Подлипки в наши опять...

Мы простились под фонарем, и хотя в поблекшем лице, в игривости, уже напоминающей изученность, не видится мне та простодушная, деятельная и грубоватая Катя, которая с такой силой вертела колесо на колодце тетушкина двора, чтоб не утруждать других людей, одна-

ко, благодаря щедротам Модеста, живет она спокойно пока, отдыхая от порочных необходимостей, ввергнувших ее в болезнь...

Жертва не возбудила вблизи глубокого сострадания, а он предстал в смягченном виде. И я не удивлюсь, если завтра же или через три года, пробудившись на минуту от духоты семейного эгоизма, стеснит он себя в чем-нибудь и обеспечит судьбу Катюши!

Я благодарен ему за пример: память об отце Василье одна не спасла бы Пашу...

Не поступок мой особенно дорог мне, но мне дорого то, что хоть одно лицо из первой молодости моей осталось в неподвижной чистоте; все обманули, все разочаровали меня хоть чем-нибудь — одна Паша навсегда осталась белокурым, кротким и невинным ребенком. Она недолго жила после встречи со мной.

Капитан немного постарел, хотя и повторяет двадцать раз совсем не смешно, что он *на точке замерзания,* и мало уже теперь меняется; он часто ходит по вечерам ко мне, пьет чай и курит трубку. Февроньюшка стала получше; лицо перестало предупреждать года, и виски примазаны все так же колечком. Она замужем за одним управителем из дворян, говорят, смирным человеком, иногда гостит у отца и все хочет, чтоб он продал мне свой клочок и переселился к ней. Капитан вчера заходил ко мне и вспоминал о Паше.

— Важная девушка была! — сказал он.— Простота была, ей-Богу, просто удивительная! Он ведь пил и теперь сильно пьет!

— Кто это пил?

— Муж-то ее. Он ведь, знаете, крестник мне... Тимофея Гаврилыча Ерохина сын. Знакомый человек был, в уездном суде служил. А мне к тому времени пришлось в городе быть... Я и крестил сынка-то! ей-Богу! Через это он и знакомство с Пашей свел. Да. Вот извольте... Как тетушка ваша померла... вас не было... ну, он ко мне и приезжай на Петровки. Я, признаться, думал Февру за него пристроить. Ну, где ж! Увидал ту... Она о ту пору гостила у нас. Такая, ей-Богу, задумчивая была; нет-нет да и заплачет, а он и расходись вдруг: «Я, говорит, жизнь за нее отдам!..» Ей-Богу! Такой разгульный был человек. Сейчас гитару это и все, да и ну

стонать: «С ней любви одной довольно!» И стонет, и стонет... А она пуще плачет. Мать лиха больно была, шельмовская попадья!.. «Эй, говорю, Митя, полно стонать... душу всю вытянуло».— «Эх, говорит, дай пожить». И моя тоже руку держит им. Что вы смеетесь? не шутя. Вот и женился. Приехали мы к ним в город через годик, так осенью. Ничего. Худа только больно она стала. Я говорю: «Что это ты, Прасковья Васильевна, такая выдрочка стала?» А она засмеялась... «Что это вы, Максим Григорьич, говорит: я не худа». Вечером уже пришел на втором взводе. Сапоги все и голенища в глине. «Ну, кричит, Паша! снимай с меня сапоги сейчас! Ты моя раба!» — и понес... «Полно, говорю, Дмитрий, видишь, человек больной, нежный... оставь ее».— «Нет, она, я знаю, пренебрегает мною!» А та, голубушка моя, ни словечка, агнец этакой! и ну тащить сапоги. «Подожди, говорит, Митя, я сейчас за чистыми носками схожу; а ты на диван пока ноги поставь!» Хоть бы что! А он как закричит: «Не надо мне носков, кричит, не надо! Я, говорит, скот! Подобие скота! Скотина носков не носит!» Да как были ее руки в глине — ну их целовать... «Ты, говорит, моя жена! ангел небесный, а не раба!..» Такое свойство у него... нравен уж очень, а ее любит. Вы думаете, это его Гаков, Семен Алексеевич, споил? Ни! Боже мой! Не верю. Грусть, тоска одолела: после ее смерти спился; в родах умерла. Пятеро суток страдала. Февра моя у ней тогда была. Через Дмитрия и замуж она вышла, Февра-то. Он посватал Николая Филипповича. «Благодарю, говорит, вас, Февронья Максимовна!» Шут его знает! пропал малый, а веселый молодой парень! Право! В комиссии тоже его все любили, и начальство им было довольно. Приедет, бывало, еще женихом, ко мне сюда. Увидит — мужики молотят у меня на гумнишке. Цеп — да и давай крестить!..

Я узнаю в рассказе капитана мою милую Пашу, и хотя муж ее, как видите, служил в комиссии и любим был начальством, но он для меня больше человек, чем многие честные и умные люди...

Исповедь мужа

1850, май. Ай-Бурун, на южном берегу Крыма.

Слава Богу, я не беден! Морской ветерок веет в моем саду; кипарисы мои печальны и безжизненны вблизи, но прекрасны между другой зеленью. По морю тихо идут корабли к пустынным берегам Азовского моря... Паруса белеют вдали. Я с утра слежу за ними. Они выходят из-за последних скал громады, которая отделила нас от Балаклавы: а к обеду они уже скрылись за мысок, где растет столько мелкого дуба и где я один гуляю по вечерам. Чего я хочу? я покоен. Никто не возьмет моих кипарисов, моего дома, обвитого виноградом; никто не мешает мне прививать новые прививы и ездить верхом до самого Аю-Дага и дальше... Да! я покоен. Здесь хорошо; зимы нет, рабства нашего нет. Татары веселы, не бедны, живописны и независимы. Общества здесь нет — и слава Богу! Я не люблю общества, на что оно мне? Успехи? они у меня были; но жизнь так создана, что в ту минуту, когда жаждешь успеха, он не приходит, а пришел — его почти не чувствуешь.

Когда я один, я могу думать о себе и быть довольным; при других, как бы хорошо со мной ни обращались, мне все недостаточно. Разве бы триумфальное вступление в город при криках народа, в прекрасную погоду, на ло-

шади, которая играла бы подо мной, и не в нынешнем мундире, а в одежде, которую я сам бы создал и за которую женщины боготворили бы меня столько же, сколько и за подвиги мои; боготворили бы и шептали: «Зачем мы его не знали прежде, когда он был молод!» Это я понимаю. Иначе о чем заботиться? Не лучше ли следить за медленным бегом кораблей отсюда и думать: «Везде люди! везде они борются и спешат. А я не борюсь и не спешу! Вам на палубе жарко, а в каюте душно, а мне прохладно и под этой Pavlovia Imperialis, которая цветет так пышно и в кабинете моем с разноцветными окнами!» Гораздо лучше.

Да, кстати о стеклах. Я люблю иногда по очереди глядеть то в желтое, то в синее, то в красное стекло, то в обыкновенное белое, из моих окон в сад. И вот что мне приходит в голову: отчего же именно белое представляет все в настоящем виде? В желтом стекле все веселее, как небывалым солнцем облита и озолочена зелень сада; веселье доходит до боли, до крика! В красное — все зловеще и блистательно, как зарево большого пожара, как первое действие всемирного конца. Не знаю, в которое из двух, в синее или в лиловое, — все ужаснее и мертвее: сад, море и скалы; все угасло и оцепенело... Так ли мы видим все? И почему мы думаем, что *мы* именно правы? что деревья зелены, заря красна, скала черна? Никем не виданный эфир волнуется в беспредельности; его размеренные волны ударяют в нерв глаза... Но что такое нерв? Проводник электричества до ячейки? Но что такое электричество? Но что такое ячейка? И кто поклянется, что стенки ее, не шутя, уже без ткани и что в недрах ее не кипит бездонная пропасть жизни? И тем более почему мы думаем о нравственных предметах с такой самоуверенностью? Почему человек должен жить в обществе? Почему здравый смысл в этом деле здрав, а не повальная ошибка? Ведь мы смотрим на средние века как на безумие веры, а XXI век не взглянет ли на наш как на безумие положительности, здравого смысла и пользолюбия? Был же один человек (Дальтон, кажется), который не видал никогда никаких красок, и весь ландшафт вселенной был для него непокрашенной гравюрой. Почему же он не прав? Потому что не так, как все? Да и Сократ был не так, как все, и Авраама соседи, верно, счи-

тали безумным, когда он ушел от отца, чтобы развить единобожие!

О, Боже! Боже! тебе, великий творец наш, угодно, чтобы было так! И если благодарность земного червя тебе слышна... о! как я благодарю тебя и за покой, и за скалы эти, и за виноград мой, и за мою смоковницу!

1852, 15-го июля, Там же.

Там же! Там же! Какое счастье! Я потерял счет однообразным дням. И если бы мне не сказали вчера, что сегодня 15-е июля, я бы забыл, что это мои именины. Было время, когда я не был один! Было время горя и радостей! Все уснуло! Люди в гробах на разных концах России; над забытой могилой не служат и не плачут родные. Где у нас молиться! все бегут в разные стороны, и не отыщешь родной гробницы! Велю себя здесь похоронить, над мысом перед дубовой рощей, и чтобы огромный каменный крест простирал объятья к морю и кораблям, которые медленно бегут вдали. Зачем? Зачем? Кто придет на эту красивую могилу? К дерновому валику над телом бедной тетки в глухом русском селе все, быть может, прокрадется молодая племянница или добрый племянник-офицер велит отслужить панихиду и скажет: «Бедная тетушка! помню, как ты певала надо мной по зимним вечерам: «Котик беленький, хвостик серенький, приди Волю покачать». Ах! голубушка ты моя родная!» — и зальется святыми слезами, забыв и карты, и буйство, и чины, и любовниц! И прибредет гордый грошовым знанием студент, и тот зарыдает, когда русский поп скажет: «Упокой, Господи, душу...» А над моей красивой, не русской могилой кто прольет хоть одну слезу? Татары? Они добрые соседи — они честны; они всегда были свободны и не только к своим дворянам, они и ко мне подходят с доверчивой улыбкой. Но что же я могу им сделать? Чем могу осчастливить их? Просвещать по-нашему? Избави Бог! Это ужасное посягновение на жизнь мирную и молодецкую. Освободить свободных я не могу, как мог бы освободить русских рабов, от которых бежал сюда. За что же мохамедане будут вспоминать обо мне, глядя мимоходом на мой величавый крест?

17-го июля.

Да, здесь все прекрасно: море синее, небо голубое, белые паруса таинственных судов, рисунок строгих скал, облака розовые и белые, которые ползут у плоских горных вершин по темным полосам далеких сосновых лесов; холмы свежей виноградной зелени, яркие одежды татарок и татар, пустые замки, а хижины, как гнезда, и над головой путника, и под ногами у дороги... Да! все здесь прекрасно! Но во всем нет для меня здесь той музыки, того плача и стона, который тихо носится по сырым и горьким полям нашим! О, когда бы чем-нибудь согреть мне душу посреди этой роскоши неба и земли! Не мог согреть, не мог один! Но ты бежал от горя и радостей, безумец! Зачем же ты призываешь их? Зачем? Зачем я умираю от полноты душевной? Вчера я плакал, лежа ниц лицом на траве, сегодня я сломал толстую трость о деревья вдребезги... в самые мелкие щепки...

Иногда я думал, нельзя ли окрестить дочь моего приятеля Мустафы-Оглу или самому стать мусульманином? Она бледна и черноброва; бархатная шапочка; русые косы на спине; платочком подпоясана; взгляд добрый — я ее ребенком знал. Читает коран у окна и от меня не прячется. Какой избыток любви в бесполезной душе — любви чистой, бескорыстной, родительской любви!

20-го июля.

Конечно, я бы мог жениться. Не далее как в Ялте есть молодая девушка. Я очень люблю, когда она в розовом холстинковом платье качается на большом кресле. Она небогата; русская; глаза у нее игривые, темные; щеки нежные и румяные; стройна; к музыке способна; умна. В комнатах у них много цветов; почти под окнами кипит море; чай она делает прекрасно, масло свежее; мебель скромная. Раз кто-то играл на гармони, а солнце садилось за горами; она качалась, а я смотрел на нее — и думал... Я выходил от них не раз умиленным и возвращался с радостью. Так мирно и сладко у них! Дочь шьет, мать шьет, отец вздыхает; часы и те без звука идут и бьют глухо... Какая она хозяйка! Как шьет все сама! Какие дельные книги читает и как мила, кудрява, молода!.. Но у них много родных, и все недалеко отсюда. Я перестал

ездить. Да и стар я и душою и на лицо; жаль губить девушку; жаль соблазнять садом, кипарисами, мраморными ступеньками, коврами. И недостало бы у меня никогда жестокости оторвать ее от родных и друзей, — так пусть хоть достанет твердости удалиться. Теперь я почти дух; я не дворянин, о чине своем никогда не слышу; едва ли изредка слышу имя и отчество. А с ней и с родными вернулось бы все. Надо платить иногда тоской за свободу!

1-го сентября 1853. Ай-Бурун.

Вчера я получил письмо от Катерины Платоновны С.., моей двоюродной сестры, которая была замужем за итальянцем. Не знаю, как ее назвать, — странная женщина, или бедная, или счастливая женщина? Муж ее был красавец и буян; он прожил все ее имение, был на нашей службе и убит три года тому назад на Кавказе; она осталась в бедности с пятнадцатилетней дочерью. Присутствие ли этой дочери возбуждает ее силы, или она рождена так, но, во всяком случае, она строит такие широкие планы, которые бы многих испугали. Она знает мой Ай-Бурун и предлагает мне предпринять вместе дело: настроить домиков по саду и долинкам, завести водолечебное заведение, купальни морские, гимнастику и открыть гигиенический пансион для слабых детей. Она будет директрисой этого училища. Дети будут и учиться, и купаться, и здоровье укреплять, и привыкать к хозяйству. Мы будем им показывать полезные травы; они будут работать; они будут счастливы, честны, богобоязненны и свежи. Хорошая мысль! И на это дело я должен положить, по ее расчету, всего тысячи три. Понемногу, говорит она, заведем все.

«Вы, — пишет она, — нашли бы, наконец, случай приложить к делу ваши познания, вашу небесную (?!?) доброту; ваше одиночество и бездействие погубят в вас все живые начала, которыми так щедро одарил вас Бог».

Бедная! (как же не назвать ее теперь бедной?) она льстит мне, чтобы заставить меня войти в ее планы. Если б моя доброта была так небесна, я бы не продал своих крепостных крестьян Бог знает в какие руки, чтоб избавиться от них и купить эти кипарисы, этот берег, эти безответные камни. Но пусть я добр, — только с чего она

взяла, что я решусь наполнить мой сад детьми, которые будут кричать, ссориться, лениться; своенравной прислугой, родителями, которые будут приезжать и любоваться на своих детей? Если бы даже это дело дало нам после десятки тысяч дохода, так я за эту цену не продам свою свободную скуку!

2-го сентября 1853.

Однако надо бы ей помочь. Я люблю женщин, которые любовью испортили свои дела. Покажу ей, что она не ошибалась, когда назвала меня добрым. Пошлю ей 500 рублей? Нет! больше пошлю; разочту средства и пошлю больше. В Малую Азию или опять в Вену хотел съездить? Не съезжу. Тем лучше!

А ведь в доброту нельзя не верить: она единственная вещь несомненной цены и для той и для другой стороны. Шевелит так сладко, когда подумаешь: «У нее и кофе не на что было купить вчера; на дочери рубашки порвались; прислуга уже грубит». И вдруг с почты объявление — 500 рублей. Нет, 800! Это еще лучше, еще веселее!

25-го сентября того же года.

Я наказан за порыв. Катерина Платоновна заплатила долги, оделась, одела дочь и приехала сюда. Она хочет обратиться к княгине К*** (которой белый дворец с башнями в шести верстах от меня) с просьбой выхлопотать ей казенное пособие и землю для идеального училища. И вместе с тем благодарить меня!.. Слава Богу, она остановилась в городе.

30-го сентября.

Был в городе. Ездил верхом и заехал к ним. Кроткая, милая женщина. Мне нравится даже ее сентиментальность и простодушная риторика ее речей. Дочь хороша. Жалко! Пригласил их к себе, пока ей надо хлопотать у княгини. Княгиня обошлась с ней грубо. Та приехала на татарской телеге, насилу добралась к вечеру; сошла с горы вниз в сад одна по незнакомой дороге, в темноте;

а княгиня выслала ей сказать, что сегодня принять не может. На южном берегу в 25 верстах от города! в 10 часов вечера! Катерина Платоновна поднялась в гору без провожатого, отыскала татарскую деревню, ночевала там и на другой день ее еще заставили ждать до полудня. Княгиня велела ей написать свой проект, и я, хотя и не верю в успех, взялся помочь ей. Пусть поживут у меня пока: и к княгине ближе, и даром.

15-го октября.

Княгиня обещала хлопотать. Катерина Платоновна мне нравится теперь. Лиза (дочь зовут Лизой; славное, доброе, русское имя) занимает меня игрой на рояле и пением... Мне нравится также, что у нее углы глаза наружные опущены книзу, глаза мрачные и глубокие. Дай Бог ей счастья! А мать не раскаивается в своем прошедшем. «И я, говорит, рвала розы без шипов — было время!» К ней эта чувствительность идет. Привычка к зависимости от чужих оставила навек на добром лице ее любезную улыбку; за обедом она на маленький кусок хлеба, который нежно отложила, смотрит с чувством, и стакан квасу, который скромно налила, она не подносит спереди прямо ко рту, а обернется вбок и как бы спешит сама вежливо навстречу. Что ж, это оригинально! Вчера Катерина Платоновна рассказывала мне много про Лизу. Она, по ее словам, друг слабых и гроза притеснителей. Рассказывала, как Лиза разбила большую алебастровую куклу об любовницу отца, которая вздумала грубить матери. Отец хотел ее высечь. Она не скрывает от меня поведения своего покойного мужа; она видит, что я без того все почти про них знаю; может быть даже, она думает, что я слышал об нем хуже, чем было, и часто повторяет: «Несмотря на все эти пороки, в нем было столько души и благородства!»

И в самом деле, что за заслуга любить хорошего человека? То ли дело, вовпреки всем, любить порочного, но обворожительного!

Пока мы с ней толкуем о пансионе, Лиза сидит с моей старой Христиной, и отсюда слышно, как они громко смеются. Дом мой оживился, и слуги стали веселее. Мать боится, чтобы Лиза не вышла слишком груба: «Посмотри-

те, какие у нее волосатые, сильные руки, какой толстый голос! Как она скачет на всякой лошади и с камней бросается в море плавать. Душа у меня замирает!» Я ее утешаю. Я думаю, что расти Лиза больше не будет; она стройна; голос, правда, иногда немного груб; но зато каким она поет контральто! Вчера я еще слышал из дубовой рощи, как она пела:

Друг! молодость наша не вечна!

Славный Орсини она могла бы быть на сцене. У нее красивый тонкий нос и лицо продолговатое. А глаза мрачные — чудо!

7-го ноября.

Княгиня уехала в Петербург. Я пригласил Катерину Платоновну остаться до весны. Зачем ей ехать? теперь там грязь и снег. Пусть отдохнут. Я к ним привык. Она предложила было мне смотреть за моей провизией — нашла, что у меня много выходит. Но я не хочу, чтобы люди не любили их. Пусть лучше еще больше выходит; другие тратят на театр, на карты, а я хочу, чтобы все у меня в доме друг друга любили. Они остаются. Или быть одному, или чтобы все друг друга любили.

10-го ноября.

Катерина Платоновна сокрушается опять о том, что Лиза слишком храбра и сегодня ушла одна на горы в лес. Я говорил ей, что мужу смелая жена приятна, что нет ничего хуже женщин, которые кричат дорогой и с которыми страшно отойти погулять далеко от дома. «Муж! Кто ее бедную возьмет?» — воскликнула Катерина Платоновна. Я не отвечал и сам подумал: *кто?* и вспомнил о цветных стеклах. Вся беда оттого, что на одно заведено смотреть в белые стекла, а на другое заведено смотреть в синие. И смотрят все!..

В самом деле — женихов разных очень много. Но я бы не желал, чтобы Лиза вышла за мелкого чиновника или за бедного учителя в старом фраке. А из богатых редкий возьмет; многие побоятся уже того, что она дурно и мало говорит по-французски. И если б нашелся обеспеченный,

привлекательный и умный молодой человек из *нашего* общества, так ему надо оценить ее, сблизиться. А где встретить? где сблизиться, где найти случай открыть те прекрасные семена, которые, я уверен, зарождены в ее сердце?

Но есть совсем, совсем другой мир, о котором и не думают, благодаря стеклам. Например, у управителя в Сегилисе есть сын. Он вольноотпущенный, обучался садоводству в казенном саду, неглуп, пишет с небольшими ошибками, знает кое-что из ботаники, красив — настоящая русская кровь с молоком, 21 год, ловкий, глаза синие, сердце хорошее. Я его знаю: не раз вместе ездили верхом на Яйлу и в нагорные сосновые леса. Он наблюдателен и делает очень приятные замечания. «Видите, здесь наверху только теперь пион расцвел, а внизу давно отцвели. Много ли проехали, а климат другой». От него я узнал, что большие розовые цветы, которые здесь летом в таком множестве распускаются по необработанным холмам, называются Cistus taurica; «это, говорит, с черными косточками — Melia Azederach, а это дерево хвойное из Японии: Salisburia Adiantifolia или Gincko biloba; сразу совсем и не похоже на хвойное, а оно хвойное».

Разумеется, сидя в петербургском кабинете, читать в книге эти имена тяжело. Но я люблю сочетание природы и науки, когда гуляю в казенном саду, где собраны деревья из Италии, Японии, Китая, Африки, Кавказа, или когда в тишине поднимаешься по нагорному бору, и сквозь сосны, вдали, мелькает море с каймой немой пены у берега. Вообразим же себе, что они обе — и мать, и дочь, решились посмотреть в другие стекла. И вот в соседстве белый домик с плющом и виноградом, маленький дом, каких здесь много; он получает хорошее жалованье у какого-нибудь вельможи за садоводство; в доме чисто (у отца его, я знаю — чисто), воздух кругом дивный; она вечером на крыльце поет: «Друзья! молодость наша не вечна!» Дети растут... Да я бы с радостью своих дал две-три тысячи ей на приданое. Это эгоизм своего рода. Я люблю прекрасное. Если бы они и поссорились между собой... так что ж? Это забавно, а не грустно. И разве у нее такие высшие потребности ума, чтобы она искала товарища для мысли? Нет! Что же мешает? Стекла, стекла и стекла! А я и предложить этого не смею

ни матери, ни дочери, хотя знаю, что это могло бы устроиться. Для Алеши это было бы неожиданное счастье; он, когда они еще жили в Ялте, встретился мне на дороге и спросил: «Кто это такая славная барышня приехала в город? Красотка!»

Как? Дочь полковника и образованная девица выйдет за вольноотпущенного садовника? Да поймите вы, если этот вольноотпущенный образован нисколько не менее вашей дочери? (Лиза делает много орфографических ошибок и вообще знает мало; мать учила других, а ею заняться, при своих разъездах и хлопотах, не имела ни времени, ни умения.) Она знает по-итальянски и немного по-французски, а он по-татарски и по-немецки немного. А будь он не садовник, отдай его отец в гражданскую службу и стань он губернский секретарь и вместо синей блузы надень форменный фрак — был бы жених в минуту крайности... Волос дыбом становится!

А мне на милую и возможную идиллию было бы отраднее смотреть, чем на других моих соседей. Например, хер Зильхмиллер — управитель г. Ш-ва, румянится, носит то розовый, то голубой галстук; красит усы; женат на зубатой англичанке; бьет дворовых, читает Дюма и Поля Феваля и мне советует прочесть «Les crimes célébres»[1].

— Вы, говорит, увидите всю человеческую черноту.

— Я, говорю, и без этого ее вижу.

11-го ноября.

Соберусь с духом и попробую поговорить. Не знаю, с кем бы прежде, с дочерью или с матерью? Я думаю, прежде с Лизой. Что же они мне сделают за это? Ничего. Первые слова только тяжелы, а потом я разовью свой взгляд. Или не поговорить ли прежде с Алешей? «Что, Алеша, если бы я дал за этой девицей две тысячи, ты бы женился на ней?..» Посмотрим, что будет!

13-го ноября.

Алеша сгорел, когда я сделал ему тот вопрос. «Вы шутите, говорит. Где нам!» Не только лицо, уши, шея —

[1] «Знаменитые преступления».

все покраснело! Я сказал: все возможно, когда Бог захочет. А он: «Бог захочет, да люди не захотят». Ведь какую великую мысль нечаянно сказал! Если уже сметь придавать высшему существу наши свойства, так я бы скорей всего решился придать ему неизмеримое, полное чувство прекрасного.

А прекрасное бывает трех главных родов: красота живописная, пластическая; красота драматическая, или действия, и красота чувств, или музыкальная. Здесь было бы все. Горы, море, сады и леса; собственная красота лиц; красота их добрых, радостных чувств; красота предварительной борьбы с сословными неудобствами. Да! это один из главных моментов красоты — сословное неравенство. Будь они равны друг другу — дело утратило бы полцены.

Все, что я говорю, не совсем согласно с философией здравого смысла. Один мой прежний знакомец, ученый и дельный человек, говорит, что для философии мироздания здравый смысл никуда не годится, но для философии жизни он одно спасение. Нет правила без исключений; я здесь, в горах, удалился от жизни и приблизился к мирозданию.

14-го ноября.

Мы с Лизой ездили сегодня к обедне. Катерина Платоновна нездорова. Лиза еще очень дика. С ней говорить трудно.

6-го января 1854.

Что за день сегодня! Я ездил утром верхом. Море бледно-фиолетовое и как зеркало. Тишина. На шоссе холодно, на Яйле снег, а внизу в садах как майский день в России. Я встретил в своей роще татарку, которая сбирала хворост. Она из бедной семьи, но здесь и бедность не страшна. Что за мир, что за живое забвение! Какие слова изобразят то, что я чувствовал? Только прекрасные стихи могли бы сравняться и с природой этой, и с тихой жизнью здешних людей, и с тем ощущением восторженного покоя, которым я упивался сегодня, когда лошадь моя то осторожно спускалась с камня на камень по вы-

сохшему руслу ручья, то бежала с горы на горку по гладкой дороге. Какое счастливое сочетание диких картин с изящными следами просвещения! Здесь надо мной сосна поднялась из голого камня и на такой отвесной громаде, что смотреть на нее от подошвы трудно, а у подножья этого гигантского камня шоссе; а прямо с шоссе один шаг в поблекший за зиму цветник и на чистый двор готической дачи. Иные деревья в саду оброняли листья, а другие — лавр, кипарис и лавровишневый куст зелени — как летом. К ограде, по которой сам собою ползет плющ, привязаны две прекрасные оседланные лошади. Высокая девушка в легком платье гуляет с книгой между миртами. Еще шаг — и дача волшебно скрылась за куполом черной сланцевой скалы, округленной, как хребет скорченного зверя. Страшные глыбы серых камней в вековечной неподвижности как бы катятся с гор в море. Татарка на плоской крыше стелет ковер; из трубы дымок; красный перец висит у дверей... Мулы тонут в зелени... Нет, один Пушкин достоин был этой жизни...

> Кто видел край, где роскошью природы
> Оживлены дубравы и луга,
> Где весело синеют, блещут воды,
> Роскошные лаская берега;
> Где на холмы, под ковровые своды
> Не смеют лечь угрюмые снега?
> Все живо там: кудрявых рощ прохлада,
> В тени олив уснувшие стада,
> Вокруг домов решетки винограда,
> Монастыри, селенья, города,
> И моря шум, и говор водопада,
> И средь валов бегущие суда.

Мне было очень досадно, когда я давеча вышел в гостиную и застал у дам Маринаки. Он опять стал чаще ездить!

Сначала (не с самого начала, когда я никого не хотел видеть, а на второй год) я немного сблизился с ними. Странно! Склад его ума и род его образования не внушают доверия, а характера он хорошего и, кажется, честного. Я тогда мало знал Крым. Когда он мне говорил, что на северном склоне Таврического хребта, тенистом и прохладном, были колонии готов и что в Ман-гун-Кале жил их герцог, побежденный и убитый турками, приводил, не помню как, по этому поводу «Слово о полку Игореве» и половцев,— все мне казалось, что он выдумывает. С удив-

лением узнал я потом, что в его словах было много правды; конечно, он не учен, не археолог и мог ошибиться в частностях, но ведь и ученые оспаривают друг друга и обличают друг друга в ошибках. Одним словом, он оказался гораздо правдивее, чем я ожидал. Но что бы вы подумали о человеке, который никогда из своей губернии не выезжал, который и говорит тихо, и глядит томно; тихо и томно волочится за женщинами, носит щегольское платье и стриженые бакенбарды, страдает всегда грудью и спинным хребтом, проводит дни за французскими романами в большом кресле, пишет сам, наконец, и говорит: «У меня написано во всяких родах столько, чтобы запрудить на два года все периодические издания; но редакторы хитры, я боюсь их; они ценят имя автора, а не достоинство вещи». Напечатал на свой счет в Харькове роман под заглавием «Глухое горе» и раздает его даром кому угодно. Я прочел. Изысканный язык и ничего живого. «Этот нравственный эмбрион»; «пошлая кратность светских отношений». Множество французских, татарских и греческих слов без нужды.

Однако он ровного характера и добр, я имею на это доказательства; не то чтобы необыкновенно добр, а добр, как многие, и женщина невзыскательная могла бы с ним ужиться. Мы приелись друг другу во время путешествия и все реже и реже стали видеться. Кажется, его привлекает сюда Лиза. Но он ей не пара.

9-го января.

Катерина Платоновна не совсем моего мнения. Она как будто считает Маринаки и опасным обольстителем, и выгодным женихом. Он, надо отдать ему справедливость, ездит сносно верхом. Вчера велел привести из города лошадь и пригласил Лизу прокатиться. «Я не могу тридцать верст ехать верхом,— сказал он ей чуть слышным голосом,— приехал в пролетке; и лошадь моя и я к вашим услугам». Лиза согласилась, посмотрела на мать и пошла в конюшню. Я недавно подарил ей славную лошадку. Я вышел как будто по делу, а в самом деле потому, что меня испугала мысль: а что, если Лиза сделается madame Marinaky!» Это ужасно! Я не шутя люблю ее любовью отца или воспитателя, и мне бы не хотелось, чтобы она стала madame Маринаки. Катерина Платоновна догнала меня и просила ехать с ними.

— Я боюсь этого льва,— сказала она.

— Лев он не очень кровожадный,— отвечал я.— И зачем я с ними поеду? Пусть Лиза развлекается. Время ей жизнью дохнуть слегка. И может, он посватается за нее?

— Когда бы так! Об этом еще можно бы подумать,— сказала она.— Лиза неопытна, а он... Кто его знает, какой он!

Я собрался ехать и пошел в конюшню. Лиза сама взнуздывала своего коня, пока кучер седлал.

— Меня твоя мать посылает с тобой гувернером; она боится любезности Маринаки.

— Чего же она боится? — отвечает Лиза.— Она хочет меня замуж отдать. Я за него и выйду, когда захочу.

— Захочет ли он? — спросил я.

— Я знаю, что говорю! — возразила Лиза и вывела лошадь.

Я подержал ее под уздцы; Лиза стала на большой камень, вскочила на седло, сказала только «пустите!» и ускакала. Я поехал за ней. Маринаки ждал нас за поворотом, играл концом уздечки, улыбался и гордо и сладко.

Я всю дорогу был задумчив. Я никогда не умел хорошо скрывать своих чувств, а на южном берегу отвык от всяких усилий над собой. И не все ли равно? Скрытность имеет свои выгоды, откровенность свои. А самолюбие еще не умерло... Слава Богу, думал я, что сделали шоссе; можно троим рядом ехать. Я ехал с ними и молчал. Пожалел, что не умею холодно язвить. Этим, как известно, старым средством умеют иные ронять других при женщинах. А я не умею; рассердиться и, рассердясь, нагрубить,— это я понимаю. Но как-то все жалко трогать спокойно самолюбие другого. Хотел для пользы Лизы попробовать подтрунить над Маринаки, и вышло неудачно. Я у него спросил:

— А что, это про вас написали стихи:

Маринаки
Поел все раки и т. д.

А он отвечал без гнева и смущения:

— Нет, это про Манираки. Вы видите, и рифма лучше:

Манираки
Поел все раки.

Маринаки говорит вообще немного. Лиза часто молчалива и угрюма. Прогулка наша была нескучна (езда по таким местам и в такую погоду все-таки приятна); но грустная-прегрустная была эта прогулка! Я предался вопросам — как назвать, как определить мое собственное чувство? Ревность? О, нет! Отчего же я не ревновал, когда Алеша принес Лизе букет? Лиза приняла букет и сказала с улыбкой: «Спасибо, Алеша!» И посмотрела на него пристально этими пылкими глазами, которые так пугают мать и так нравятся мне. Потом заняла у меня рубль серебром и хотела дать ему на чай, но я остановил ее. Почему же начало этой встречи порадовало меня, а конец огорчил? Где же ревность? Или это оттого, что я нахожу Алешу лучше себя, а Маринаки хуже? Что за странная роль! Отец? Но отец сравнивает только Алешу и Маринаки, А и В. А у меня еще является между ними С, и это С — я сам.

2-го февраля 1854.

Катерина Платоновна нездорова. Сверх того, ее огорчила скрытность дочери; мы недавно только узнали, что Маринаки делал ей предложение и она отказала. Она боялась, что мать будет жалеть об этом, и скрывала до сих пор. Я долго журил Лизу за эгоизм и объяснил ей, что от такой доброй и несчастной матери можно перенести замечания, что принуждать ее никто бы не стал, а если любишь мать, не надо скрываться от нее. Они помирились. Лиза просила у нее прощения. Она слушается меня, я это давно вижу. И мне захотелось признаться Катерине Платоновне, что я не раз смеялся над Маринаки и доказывал Лизе, насколько она выше такого жениха. «Хорошо ли вы это сделали?» — спросила бедная мать с таким чувством, что я на минуту смутился. Но потом напомнил ей, что она сама, однако, предпочла бы своего мужа господину Маринаки.

— То я,— сказала она.— Свои страданья не так еще страшны. А сокровище мое, дочь родную, не вернее ли по гладкому пути ввести в хаос жизни?

Я возразил ей на это, что она, верно бы, не желала, чтобы сын ее покупал покой и право идти по гладкому пути в «хаос жизни» ценою чести?

— La vertu conjugale est le courage et l'honneur de la femme![1] — заметила мать.

Я с этим не согласился. Надо еще знать, с *кем* соблюдается vertu conjugale![2]

11-го апреля.

Катерине Платоновне хуже и хуже; она, кажется, не переживет весны. Сегодня она одна сидела на скамье в тени; я подошел к ней.

— В дальний путь собираюсь! — сказала она печально.

Я молчал.

— Благодарить вас или нет? — спросила она.

— Не благодарите,— отвечал я,— мы квиты. Мне было легче этот год. И вас и Лизу я очень люблю.

— Ах, Лиза! Лиза! — воскликнула бедная мать и заплакала.— Лиза, дитя мое родное! Отрада, жизнь моя! Что я с тобою сделаю, дочь моя милая? Куда я дену тебя?

— Куда? — сказал я,— никуда. Пусть здесь живет.

— А языки?

— Я сделаю ее наследницей моей. Встретится жених и получше Маринаки. Кого вы боитесь? Мнений Зильхмиллера, который румянится, и ему подобных?

Катерина Платоновна думала, а мне хотелось поглубже войти в ее душу, и я продолжал:

— И, наконец, всякий знает, что я ей двоюродный дядя, плешив, сорок пять лет, отжил. Поставьте себя на место других и судите — чем я не опекун?

— Ваше открытое чело всем нравится; на нем печать мысли,— отвечала она.— У вас лицо приятное, выразительное. Вы бодры и здоровы... Поверьте, найдутся низкие люди... и наконец вы сами не бессмертны; а чтó она будет и без вас, и без меня!

Я отклонился от разговора, желая подумать. Когда Катерина Платоновна уснула, я позвал Лизу гулять. Вечер был прохладный. Она повязалась по-русски белым платком, а этот убор смягчал ее строгое лицо.

— Лиза! — сказал я,— если твоя мать умрет, что ты будешь делать?..

[1] Супружеская добродетель дает смелость женщине и составляет ее честь.

[2] Супружеская добродетель.

Она просила не говорить о матери, но я настаивал.

— Я знаю, ты целый день плачешь, когда одна. Ты знаешь, она сильно больна. Любя ее, подумай о себе...

— Я у вас останусь. Буду на ее могилу ходить, буду вам служить, буду вас любить...

— Мать твоя боится людей. Скажут, что она тебя продала мне.

— Я не боюсь.

— Но она боится и с этой боязнью в гроб уйдет.

— Уеду, определюсь куда-нибудь. Одна она у меня; ее не будет, что мне!

— Лиза,— сказал я ей,— что быть любовницей нелюбимого человека, что женой — все равно для души. Но для жизни все ловчее быть женой. Мне тебя жалко!

— Кусок хлеба найду, если вы не хотите, чтобы я у вас осталась! — перебила она.

— Я не хочу? я не хочу? Да я буду умирать от тоски без тебя и без твоей матери! (Я чувствовал, как вся моя душа уходила в мои слова.) Я сочту себя несчастным, если дам тебе погибнуть.

— Что такое «погибнуть»?

— Что такое «погибнуть»? Это очень длинное объяснение. Проще всего «погибнуть» — значит унизиться, упасть. Не то чтобы нужду терпеть или страдать. Если нужда тебя не унизила, если, напротив того, ты стала выше и прекраснее от ее тяжести — тогда ты не погибла. Если ты умерла от нужды в честной борьбе, ты тоже не погибла. С другой стороны: если ты ведешь богатую и разгульную жизнь, но при этом добра, великодушна, пряма, умна, даровита и пленительна, как одна из тех знаменитых артисток, монархинь и других женщин, имена которых дошли до нас, тогда ты не погибла, по-моему. А если беспорядочная жизнь обезобразила твою душу — ты погибла! Или, если ты можешь быть счастливой с Маринаки — ты погибла!

— Вот как! — сказала Лиза.— Вот вы что говорите! А с вами быть счастливой — это не погибнуть?

— Нет,— отвечал я смело,— влюбиться в меня, обнищавшего духом, с лицом старым, с сердцем бесстрастным — это своего рода гибель или жалкая ошибка. А выйти за меня замуж, чтобы быть независимой, порадовать больную мать, чтобы иметь в руках средства помогать другим

страдальцам, чтобы жить вольно и широко, когда захочется, и в запасе иметь верного друга для черных дней, для дней болезни, отвращения и обманов — это не гибель, это улучшение!

— Так, значит, кончено? — спросила она.

— Кончено, мой друг, — отвечал я.

Она, быть может, думала, что я обниму ее в этот вечер, прижму ее к сердцу, и готовилась это снести; но я, как случалось и прежде, поцеловал ее в лоб и перекрестил три раза, вместо матери, которая уснула и не успела благословить ее.

Я спал ночь хорошо и не чувствовал в себе никакой перемены.

Я думаю, она привыкла ко мне; любит Ай-Бурун, пожалуй, и Христинья тут замешалась; никогда Лиза прежде так привольно не жила; и в сердце столько движений! Спроси у нее, она и не сумеет отделить меня от Ай-Буруна. И не надо. Зачем требовать невозможного и неуместного в таком деле бескорыстия? Она не сознает своего детского расчета, и довольно! Будет ей привольно, будет и мне не стыдно.

15-го апреля.

Вчера мы обвенчались.

Мы возвращались домой по шоссе в коляске; ехали рысью и молчали. Я не знаю, отчего Лиза молчала, а я молчал от радости. Лиза бывала почти всегда одета не только бедно, но иногда не совсем опрятно: с матерью за это у нее бывали ссоры. Но в день свадьбы она была дама как дама! Белое кисейное платье, пышное, новое; палевые перчатки, букет цветов в руке и в косе белая роза, бриллиантовые серьги (это я выписал для нее еще прежде). В первый раз я ее видел в душистых палевых перчатках! Лиза — дама! Моя Лиза — дама, и еще богаче многих! Из-за этого одного стоило жениться. Верст за пять не доезжая до Ай-Буруна, мы увидели на горке толпу молодых татарских всадников в праздничных одеждах. Они крикнули все разом, бросились с горы вскачь, окружили нашу коляску, осыпали нас цветами и проводили на рысях до самого крыльца.

Мы благодарили их, угощали кофеем и фруктами, жалели, что они не пьют вина. Зато вина вдоволь выпили рус-

ские дворовые, которых собралось меня поздравить человек до двенадцати из соседних экономий. Они пели и плясали, и татары плясали на площадке перед домом, а русские смотрели. Море опять было тихое, бледно-лиловое; луна начинала слабо светить в стороне; по решетке и колоннам нашего балкона уже распускались ползучие цветы, а за морем чуть был виден розовый отблеск зари. Добрая мать наша, полуживая от умиления, сидела на балконе; Лиза внизу на ступеньках пела с русскими девушками «Во лузях, во зеленыих лузях»; татары собрались кучкой под кипарисами; а я? Я — что чувствовал в этот миг!

17-го апреля.

Однако небольшое облако набежало на мое счастье. Пока пели и плясали люди, пока мы ехали в коляске, пока я смотрел на мать и любовался (клянусь, только любовался!) на Лизу, я был счастлив чуть ли не чужим счастьем. Да! радость моя смутилась при одной мысли, что я в самом деле муж, а не только покровитель. Лиза моя! Когда ты вчера принимала покорно и серьезно мои презренные, нерешительные ласки, ты не знала, моя дочь, что твой друг отступает в ужасе от своих святотатственных прав!

Мне ли следует окончить весну ее жизни? Мне ли сделать ее матерью! Мне ли?!

Что я приношу ей, кроме теплой дружбы? Законные права? Отдать первые чувства девы не божественной страсти, а печальной дружбе и правам... Боже! дай мне силы быть счастливым!

20-го апреля.

Сегодня поутру я вышел рано на крыльцо и спросил себя еще раз: зачем я женился? Но Провидению угодно было вразумить меня. Около крыльца распустился роскошный махровый мак. Еще вчера весь цветок был завернут в зеленые листья бутона. Я знаю, зеленые листки эти отпадают, когда цвет распустится в полной красоте. Такими листиками для нее буду я со всем моим до поры до времени. Придет время, и отпаду и высохну!

25-го июня.

И за то благодарю, что она не показывает мне любви. В ней ничего как будто не изменилось. Все та же Лиза. Слава Богу! Что бы я должен был думать, если бы она хоть раз обняла меня страстно или бы томно прижалась к моему плечу? Дурной вкус? Притворство? Презренное получувство привычки? И то, и другое, и третье! Один раз она рассеянно поднесла мою руку к губам своим. Я оттолкнул ее и сказал ей с таким гневом: «Никогда, Лиза, никогда!», что она смутилась и ушла. Я выждал минуту и просил у нее извинения за мою грубость.

— Я не буду, если я вам так противна,— сказала она.

— Не ты противна, дитя мое, а я сам себе противен! Придет время, когда ты поймешь меня.

Она просила меня говорить ей всегда, чем я недоволен; я отвечал ей:

— Я, Лиза, всем доволен. Довольна ли ты?

— Живу,— сказала она угрюмо.— Я еще никогда так не жила... Что мне? Сад есть, гуляю; рояль есть, играю и пою; корова есть — дою корову... Верхом катаюсь.

О матери ни слова. А мать угасает так, как я бы желал угаснуть. Счастье и покой дышат во всех ее словах, во всех движениях. Сама недавно мне сказала: «Так умирать еще можно, как я умираю у вас, глядя на Лизу. Лиза не думает, что смерть так близка». Свадьба наша сначала оживила немного Катерину Платоновну, и это обманывает дочь. К тому же у Лизы есть та благородная детская стыдливость, которая избегает говорить о высоких чувствах. Но надо видеть, как она служит матери, как веселит ее своими отрывистыми шутками, пением; читает громко целые часы; ночью сколько раз встает и прислуживает ей.

28-го июня.

Да! она довольна. Она незнакома с лучшим и не знает, что есть лучшее на свете и что мы не только имеем право, но обязаны иногда узнавать (не искать ли?) это лучшее, если оно не покупается ценою унижения и духовной гибели. Она, кажется, довольна. Наряжаться не ищет и не умеет. Но когда я прошу, чтобы она оделась в новое платье,— оденется. Один раз сама оделась наряднее в

длинное шелковое платье, вышла (а мы с матерью пили кофе поутру), посмотрела на нас, покраснела, не своим голосом сказала: «Дама сегодня пришла!» Ушла и переоделась. Лошадей любит; на конюшне беспрестанно; вышивает кучерам пояса; за орехами ходит с девушками в верхние рощи; в саду работает; зимою сажает деревья сама, вдвоем со стариком Ахметом. Корову я ей отличную подарил; доит, кормит ее. Последнее время газеты интересны; грозятся высадкой в Крым; Лиза иногда читает нам их громко и делает свои замечания.

— Как уж мне этот фельдцехмейстер фон Гесс надоел! Все куда-то ездит! Вот в Вену опять поехал.

Мы с Катериной Платоновной этой выходке очень смеялись.

Иногда ее суровые мужские вкусы смягчаются; недавно она завела котят. Один черный котенок вышел такой забавный, что я и в жизни такого не видал. Только мы собрались все вместе, он на сцену и давай штуки выделывать, кубарем так и катается, без нужды заберется везде... Лиза его полюбила; а за ней и мне он стал как будто родной.

В гости она любит ходить только к татарам и к простым русским и всегда приносит оттуда любопытные рассказы: как Эмине, дочь Занд-Сейдамета-Оглу, делала в бумажном окне отверстие, чтобы видеть своего жениха; как он ее увез; как отвез к русской помещице в степь; как гнались за ним двадцать человек; как молодые немецкие колонисты помогали им; мать ездила жаловаться губернатору, а дочь в кабинете по-русски сказала: «Я его люблю; я за него и пойду!» Рассказывает, как убирают золотом лоб невесты на свадьбе, как ее раз самое всю раздели татарки, чтобы видеть и платье и белье со всех сторон.

Находим изредка случай делать добро. Недавно Лиза выручила из рук Зильхмиллера (чтеца Дюма) Парашу, крепостную девушку соседа нашего Ш-ва, у которого Зильхмиллер управителем. Она ходила за г-жею Зильхмиллер, а муж ухаживал за нею. Madame Зильхмиллер прибила ее по щекам раз; Параша перенесла; но на другой раз прибежала к нам вся в слезах. Помещик Ш., человек умный и хороший; я написал ему в Петербург об этом, а Лиза встретила в Ялте ревнивую управительницу, заспорила с ней о Параше и разгорячилась до того, что наговорила грубостей. Madame Зильхмиллер сказала как-то:

«Всякая порядочная женщина...» А Лиза скрипнула зубами и говорит (из бархатных глаз ее как будто посыпались искры): «Да разве вы женщина!» — отвернулась и ушла.

Мы взяли Парашу внаймы к себе.

29-го июня.

Я каждый день купаюсь за грудой больших камней, за которыми ничего не видно, кроме неба и моря. И прежде я тут же купался, но все было не то. Волны те же; каждый день, каждый миг бьют они точно так же, как прежде, в те же камни... Та же пена кипит... И я по-старому сижу долго один на песке, смотрю на зеленую и малиновую морскую траву... Все то же... Но я не тот! Все кругом поет тебе долголетие и мир. Возможна ли здесь мысль о смерти?

11-го июля.

Давно я не брал пера в руки. Катерина Платоновна скончалась. Мы ее похоронили.

23-го июля.

Мне понравилось, что Лиза в первые дни не плакала, а стала плакать потом. Могила Катерины Платоновны на круге, к которому ведет миртовая дорожка; весь круг тоже обсажен стрижеными миртами; дорожка вдруг заворачивает в ту сторону. А посредине круга старый, огромный дуб, и под дубом скамья. Не раз уже мы на ней молча сидели вдвоем. Памятник покойнице еще не готов, но в душах наших воздвигнут вечный памятник ее кротости и горю!

25-го июля.

Газеты продолжают говорить о будущих бомбардировках. Я не верю, чтобы французы решились высадиться в Крым. В Варне был большой пожар. Приписывают его грекам и их преданности России.

22-го сентября 1854.

Как это вдруг все сделалось! Высадка; несчастное сражение под Альмой; Севастополь осажден. Мы слышим отсюда грохот артиллерии. По морю уже ходят большие неприятельские суда. Что делать? Уехать или нет? Уехать — ограбят все. Не уехать — Лиза, башибузуки... быть может, и татары... Конечно, они почти все знакомы нам и любят нас; но слышно со всех сторон, что они расположены к измене и грабежу. Какие неожиданные чувства разгораются у народа мирного и честного под влиянием широких исторических эпидемий! Лиза думает остаться; я вижу, ее интересует близость войны; она ничего не боится, и по незнанию, и по природной отваге.

10-го октября 1854.

Говорят, турок в этой стороне не будет. Англичане занимают Балаклаву. Поэтому лучше остаться и стеречь имение. Ее никто, Бог даст, не тронет; а те средства, которые дают нам возможность жить по-своему, могут пострадать, если мы уедем. Христинья боится больше всего татар; Ахмед-садовник нарочно стращает ее, а она проклинает его на тот свет. Лизу все это занимает до крайности. И у меня душа выросла... Все сильнее, все слышнее стало чувствоваться! Ловишь каждый миг своей жизни, каждый слух... Все исполнилось кругом как бы иным, высшим смыслом...

Останемся.

2-го марта 1855.

Что за зиму мы провели здесь с Лизой! У нас здесь мир и еще безлюднее прежнего. Из прекрасных экономий уехали последние помещики; зайдешь или заедешь в которую-нибудь — ни души! Для кого эти столпообразные скалы Орианды (самые прекрасные из всех здешних скал)? Для кого бурый исполин Аю-Даг с начала веков купает свою медвежью голову в море? Эти сады террасами, с растеньями всех стран и дивными домиками, разноцветными в разноцветной зелени? С непостижимым чувством смотришь вечером с высот на огонек, мерцающий далеко в русском окне. Одинокий сторож из Тулы или Пензы дрожит и желтеет от лихорадки в хате, чуть видной за пышными кустами...

На плоских вершинах гор сходит снег.

В верхних сосновых лесах и пониже, в орешниках и рощах, которые лепятся по склонам, — все уже в цвету.

Цветут нежные орхидеи; фиалки уже кончились. Недавно ходили мы вдвоем с Лизой в рощи собирать фиалки для белья. Боже мой, вблизи ни звука, ни голоса... Все распускается, все душисто, а севастопольская пушка ревет вдали и день, и ночь!.. Лиза говорит: «Ах! если б туда!» Всякий раз, как грянет знакомый гром, она бледнеет и краснеет, а глаза искрятся... Какие разнообразные силы в ее душе!

3-го апреля.

И у нас показались признаки войны. Заезжали донские казаки со стороны Ялты. Со стороны Балаклавы показываются иногда неприятели. Французы сходили в Алупку, но ничего не испортили. Было человек десять и в трех верстах от нас. Вообще они ведут себя хорошо, и солдаты и офицеры. Однако прекрасный мраморный дом соседа Ш. сгорел, и церковь его ограбили; один русский работник заболел от страха и недавно умер; мимо него промчался французский кавалерист: на голове один свадебный венец из церкви, а в руке другой. Я думаю, француз вообразил себе, что это какие-нибудь «couronnes ducales»![1]

Говорят, что они нашлись в погребе Ш-ва; другие обвиняют татар, которые поселены на земле Ш. Мне трудно поверить, что это сделали французы; это на них не похоже. Однако на одной из обгорелых стен написано: «Le 47 de ligne a passé par là! Adieu messieurs les russes!»[2] По дороге вокруг дома валяются пружины из диванов и кресел. Погибла картина Айвазовского «Вид Керчи в пасмурный день».

Может быть, вино и в самом деле довело их до поступка, который не в нравах их честной армии.

Хорошо, что мы остались, хотя иногда и страшно за Лизу.

Да! между прочим, за ней ухаживает казацкий юнкер, который приезжает иногда сюда. Красивый и лихой каза-

---

[1] Герцогские короны.

[2] Сорок седьмой пехотный проходил тут! Прощайте, господа русские!

чок двадцати пяти лет; говорит высокопарно. «Когда б,— говорит,— вы посмотрели наш народ на тихом Дону! Народ чистый, угодливый! А дончиха в Новочеркасске идет — так ее ветром колышет; словно пташка на дереве!»

Лизу он занимает; она ездит с ним верхом, крутит ему папиросы, поет ему «Колыбельную песню» Лермонтова, ходит с ним под руку. Раз надела его папаху и шапку, подтянулась поясом, стала перед нами и ударила себя молодецки кулаком в грудь: «Каков казак?» Юнкер с радости захлопал в ладоши. Неужели она в него влюбится?

2-го мая.

Параша пришла объявить Лизе, что юнкер предлагал ей пять рублей и просил научить, в какое окно надо влезть ночью в спальню Лизы. «Я,— говорит,— одурел от твоей барыни. Ну, такая любовь, такая любовь — просто заключение!» Меня удивило особенно, что Параша запомнила последние слова.

Лиза пришла и рассказала мне все это. Она смеялась и вместе с тем была смущена. Я успокоил ее и сказал: «Если ты сама не влюблена в него, будь только как можно суше в следующий раз... А если влюблена — это твое дело. Предупреждаю тебя только, что он очень груб и развратен»...

(Раз мне пришлось ужинать в Ялте с ним и другими казаками; он напился и стал рассказывать, как он любит (стыдно даже повторить) «баб и девок розгами и плетьми драть». Я спросил: «За что?» — «На вот — знай наших Гаврилычей!» Жаль было слышать такие речи от лихого русского молодчика.)

Через три дня он приехал; но Лиза едва показалась ему, не сказала почти ни слова, и он перестал заезжать к нам.

Июль.

Вдали все слышен страшный гул с небольшими роздыхами. Недавно штурм отбит от Малахова кургана. Отличился один генерал Хрулев, о котором я прежде не слыхал. Дай Бог нам побольше военных дарований!

Нас, крымских жителей, затрагивает не только честь

русского оружия; нам грозят самые глубокие потери. Если, от чего Боже сохрани, Крым возьмут весь и отдадут Турции или — еще хуже — сами союзники завладеют им? Прощай тогда горный рай! Куда мы поедем с Лизой? В Россию, внутрь, где бродит столько старых теней, где как из гробов восстанут близкие и давно чужие люди? А больше некуда. Еще лучше остаться у турок. Французы и англичане заведут везде здесь железные дороги и фабрики, от пароходов отбоя не будет; будут топтать в грязь все русское; оденут как раз татар в жакетки и фраки; распространится зловоние местных газет...

«Courrier de la Tauride»![1] Прощай тогда дикая, забытая поэзия Крыма! Боже, избави нас от завоевания! Мы так тут сжились — Лиза,я и южный берег! В другом месте (кто знает) и я, и Лиза будем не те!

Июля 16-го, 1855.

Сейчас Лиза умоляла меня свозить ее хоть на северную сторону в Севастополь; хоть издали посмотреть на войну; видеть, как громят бедный город, как ночью по небу летают ракеты и каленые ядра. Но я решительно отказался взять ее... Лучше, чтобы развлечь ее, съезжу с ней в Симферополь. Теперь там все кипит. Я знаю, что я там встречу много знакомых из Москвы и Петербурга; но на войне они будут и лучше и новее, да и разве, если станет больно, не могу я тотчас убежать от них сюда?

Июля 29-го, 1855.

Что за шум! Что за движение в Симферополе! При въезде в город и на большой улице дороги нет. Мы беспрестанно останавливались. Гремят городские экипажи; офицеры мчатся на перекладных; немазаные шаграры скрипят; верблюды ревут... Визг, брань, лай собак! Лошади, буйволы, казаки, пленные в фесках, пленные в синих и красных мундирах; дамы, ополченцы с песнями, пики, каски с перьями, патриотические сарафаны, папахи, шляпки с цветами, генералы, татары, цыгане, небритые греки, армяне, евреи, чернобровые гречанки у калиток...

[1] «Курьер Тавриды».

Насилу отыскали мы порядочный номер — и то за 20 рублей в день! Все лучшие, большие дома, и казенные и частные, заняты ранеными и больными. Беспартийно приходят и уходят новые отряды; девицы ловят женихов, молодые люди увлекают девиц и спешат уехать; в городе тиф и холера.

Рядом два дома: в одном сотни людей изнемогают на койках, в другом — танцы и музыка далеко за полночь. Не скучно, когда опомнишься... Ночи теперь лунные, и на бульваре около Салгира каждый вечер музыка. Мне приятно было видеть, как все оглядывались на Лизу, когда она шла со мной в белом кашемировом бурнусе и белой шляпке. Я думаю, жалеют, что у нее муж уже немолод и немолодцеват. Впрочем, все эти прохожие смотрят, вероятно, в белые стекла и разделяют мнение, что «мужчина, если немного получше черта, так и хорош!» (Что за смрадное мнение!)

Вышли раз на бульвар и встретили полковника барона Пильнау, моего старого знакомого; он командует гусарским полком. У него большие дочери, ровесницы Лизе (а он мне почти ровесник), и они приехали из самарского имения с ним повидаться. Он нанял прекрасную дачу за Салгиром и тут же пригласил нас на бал.

Дочери его, высокие и гордые блондинки, с Лизой обошлись очень любезно.

— Что ж, поедем? — спросил я, когда мы остались одни.

— Как вы хотите.

— Я хочу... А ты?

— И я хочу, — сказала она.

Я спросил, училась ли она танцевать? Она отвечала, что учиться — не училась, а *так* знает.

Я решился, конечно, одеть ее сам, потому что она ничего не знает. Послал за француженкой для моды, а вкус предоставил себе. Белый тарлатан, широкий черный бархат где нужно и бледно-розовые маргаритки превосходной работы — вот и все... Веер купил хороший, француженка говорила все «ah! bah! vous n'êtes pas dégouté!"[1], когда я ей говорил, как сделать cache-peigne[2] из черного бархата и маргариток.

[1] Вот как! вы неприхотливы!

[2] Кашпень.

Хоть куда вышла моя Лиза!..

Сели в коляску и спустились за Салгир к пышным и тихим садам, из которых дул влажный, упитанный запахом горького миндаля ветерок. (В это время всегда цветет здесь множество белой повилики.) Сквозь чащу старых тополей и каштанов уж видны были разноцветные фонари, и музыка играла восхитительный вальс. Лиза молчала, и я молчал. Вошли. Зала была полна. Гвардейцы, гусары, уланы, моряки, чиновники, щеголи, несколько шотландских пленных красавцев, дам множество. Дочери барона взяли Лизу, а меня повели играть в карты. Я насилу вытерпел два роббера и вышел в залу. Смотрю, моя дочь танцует больше других: то с тем, то с другим, и говорит довольно свободно. Я от радости проигрался в пух!

Заря занималась, когда мы уехали. Лиза заснула, заснула в коляске; а я был так взволнован печальными воспоминаниями, мыслями об ней и о моей собственной судьбе, что и дома уснуть уже не мог.

Лиза встала поздно и целый день была грустна; после обеда она позвала меня за город. Мы уехали в сад Княжевича, один из лучших в этом зеленом поясе садов, который широко вьется за Салгиром — посреди нагой степи. Лиза не отходила ни на минуту от меня, держала меня за руку и все твердила:

— Тут лучше! Тут лучше! Поедемте домой, к Христинье.

— Зачем так скоро? — спросил я с удивлением, — еще потанцуешь, еще увидишь народ.

— Не хочу. Я не буду больше по вечерам ездить... Душно потом.

— Это в первый раз, Лиза; попробуем еще. Таких случаев долго не будет. Южный берег опустел и когда-то оживится!

— Нет. Уедем домой!

Я знаю, что значит, когда она твердит одно и то же. Она редко противоречит мне, и наша жизнь была так устроенна и однообразна, что и спорам не было причин. Я убеждал ее в чем-нибудь, и она слушалась; но если она стала так твердо на этом «уедем! уедем!» — надо ехать. Иначе целую неделю будет молчать, тосковать и отдаляться от меня.

И в самом деле, здесь и мне тяжело.

Пока Лиза утром еще спала, я пошел проведать одного пожилого ополченца, разоренного помещика той губернии, в которой я родился. Я на днях, мельком, увидал его больного и обвязанного в пролетке, по дороге к госпиталю. Было время, я проводил у него дни и ночи. У него было пять дочерей и три сына; дочери были почти все недурны, а я был студент. Потом я узнал, что он разорился и поступил с горя в ополчение 50-ти слишком лет.

Прихожу я в главный госпиталь. Говорят, «кажется, сегодня ночью или утром умер; посмотрите в часовне». Зашел в часовню. Стоят целым рядом солдатские гроба закрытые; свечи горят пред иконами. В соседней комнате вскрывают кого-то доктора; один говорит другому: «Вот селезенка так селезенка! Посмотрите! Это идеал селезенки! Что значит свежий человек из России. А наши-то селезенки на береговой линии, что за объем, что за консистенция!.. Я забыл там, какая это бывает нормальная селезенка!»

Я заглянул туда; один из них, молодой, почти дитя, белый, розовый, кудрявый, дерзко облокотился на труп, держит в руке что-то черное и кровавое и любуется; другой пилит череп мертвецу и кричит на фельдшера, чтобы крепче держал, чтобы не моталась голова туда и сюда. Я спросил, не капитана ли К-го они вскрывают.

— Нет. Что вам угодно? — надменно отвечал кровожадный хирург.

Я хотел уйти; но в ту минуту два солдата внесли труп моего капитана и положили его в угол на землю. Какое желтое, налитое лицо! Знакомые морщины были как будто разглажены... И, что ужаснее всего, челюсти его были подвязаны пестрым шарфом, который был мне знаком 20 лет тому назад. Шарф тот дала мне тогда вторая дочь его; мы любили друг друга; особенно она меня, но я был ветрен тогда и, уезжая, позабыл ее подарок у них в доме. Говорят, она неутешно плакала при одном взгляде на этот шарф.

Нет, скорей домой! Лиза права. И зато что за блаженство, когда мы опять поехали мимо Салгира и душистых садов, потом по лесам к Таушан-Базару! Смотрели на аспидную стену Чатыр-Дага, который был у нас вправо.

В Алуште мы кормили лошадей, гуляли у моря по песку, любовались на старую башню, вокруг которой ступенями лепятся татарские хижины с навесами и колонками и вьется виноград.

Уже было совсем поздно, когда мы увидали наши огоньки под горою, и Христинью, и кошечку, и все то, что мы обожаем...

4-го августа 1855.

Однако и здесь не без приключений!

Третьего дня в соседнюю татарскую деревню приехали вечером четыре казака, напились и заснули. Поутру их нашли на дороге убитыми и ограбленными. Татары клянутся, что ночью наехали неприятели и убили их. Это вздор. Я, конечно, не пристрастен к французам; но армия их, надо сознаться, первая в мире не только по храбрости, но и по привычке к рыцарскому поведению.

На самих трупах есть признаки, что убийцы азиатского происхождения: трупы обезображены. Издеваться над врагом, убитым во сне, не станут, конечно, ни французы, ни англичане.

Странно, а в мирное время куда как татары приятнее для меня и тех и других!

5-го августа.

Узнали об этом деле за Байдарскими Воротами. Приехало сегодня утром несколько французов и сардинцев. С ними два офицера и еще один молодой грек, лет 20-ти или 22-х, в феске; пальто подпоясано красным кушаком, за кушаком пистолеты. Красив и доброе лицо. Зачем он с ними? Как переводчик? Он ни по-турецки, ни по-русски не знает. Он грек не крымский; это было заметно с первого раза и по феске, и по прекрасному произношению греческого языка. М-сьё Бертран, начальник этого небольшого отряда, представил его мне; он родом с Ионических островов, из хорошей тамошней фамилии — *Маноли Маврогенис*, или Маврогени. Я пригласил их всех на завтрак. Маврогени с замечательной жадностью

смотрел на меня, на Лизу, на все наши вещи. Я не успел спросить у него ничего, и ни разу не пришлось мне с ним быть наедине.

М-сьё Бертран пришел в негодование, когда узнал, что татары осмелились обвинить французов в изменническом убийстве казаков; созвал их, напомнил кстати о пожаре в имении Ш-ва и пригрозил им так, что они обомлели и объявили имена убийц, утверждая, что они скрылись куда-то. Бертран предоставил розыски русским властям, велел при себе прилично похоронить убитых; сказал татарам, что подобные поступки равно противны обеим воюющим сторонам и что при малейшей попытке их к грабежу и разбою он сам заберет их, свяжет и отвезет в союзный лагерь, а там их расстреляют или повесят.

После завтрака он благодарил нас с Лизой и прибавил, «что если он еще не так тронут и удивлен, как бы следовало, так это сами русские виноваты — l'on s'yattend toujours! L'hospitalité russe est connue!»[1]. Мы пошли провожать их в гору; Бертран шел с женою моею впереди под руку и вел изысканный разговор о Париже, о театре, который они устроили в Камыше, о львиной храбрости русских и о дружеском обращении неприятелей во время перемирий. Лиза отвечала ему довольно сухо, и между прочим я слышал, как она сказала: «Танцев я не люблю, а в театре никогда не бывала».

Я думаю, он об ней отзовется как о красивой дуре, или, если у него побольше толку, как о полудикой козочке с грубым голосом. И она не слишком хорошего мнения об нем.

15-го августа.

М-сьё Бертран и Маврогени уехали сегодня на рассвете. Они провели у нас опять целый день. Какой славный этот грек! Лихой француз с острыми усами, как нарочно, ездит с ним, чтобы тот казался еще лучше. Как будто и не глуп, и любезен, и, должно быть, честный малый, и, верно, храбр под Севастополем, знает много — *все* у него есть... Но отчего же это *все* так сухо, так казенно, так истаскано?

---

[1] Ведь всегда этого и ждешь! Русское гостеприимство известно!

На деле все это силы несомненные, до того несомненные, что этими силами, разлитыми в их полках, они победят стойкую и небрежную отвагу наших войск. И м-сьё Бертран — француз... француз и только! Все качества его нации налицо и многие из недостатков. Своего, *бертрановского,* нет ни искры! Бертран ли он, или Дюмон, или Дюпюи — не все ли равно? Зачем таким людям имена? Их бы звать француз № 31-й, француз № 1, 568-й и т. д. Какая разница — Маврогени! Какое простодушие, какая искренняя, пламенная молодость во всем, в улыбке, в блеске синих очей, в черных коротких кудрях, которые падают на лоб, в жажде жить и веселиться! Еще прежде я хвалил его наружность Бертрану, особенно бледно-золотой цвет его лица, и кроткого, и лукавого, и веселого; Бертран согласился со мной и сказал: «Надо уговорить его, чтобы он привез с собою свой албанский костюм: тогда посмотрите!» И точно, пришлось мне подивиться, как может быть красив человек, когда он одет по-человечески, а не по-нашему! Вошел он в густой белой чистой фустанелле, в малиновой расшитой обуви с кисточками на загнутых носках; золотой широкий пояс, полный оружия; синяя куртка разукрашена тонкими золотыми разводами; длинная красная феска набекрень, и с плеча на грудь падает пышная голубая кисть!

Я вслух пожалел, что не родился живописцем. Бертран обратился к Лизе и сказал: «А я, madame, жалею, что я не женщина, когда вижу его албанцем!»

Лиза покраснела и не отвечала ему. Маврогени был необыкновенно естествен, пока мы его рассматривали. Не скрывал своего удовольствия, смеялся и не был смущен. Понравилось мне также то, что он мало знает и не скрывает своего невежества; на словах как будто стыдится, а лицо веселое. Увидал у меня на стене портреты знаменитых людей и спрашивает: «Это кто?» — «Это Лист».— «Кто такой Лист?» — «А тут подписано *Ройе-Коллар;* что он сделал, Ройе-Коллар?.. Кто такой Бальзак?» — «Странно,— отвечал я,— что вы не знаете ни Листа, ни Бальзака. Про Роей-Коллара я не говорю — это лицо скромное и серьезное, не для молодых повес...» — «Не знаю, говорит, извините! Мне так совестно...»

А сам и не думает совеститься...

— Mavroguéni est un brave garçon, mais c'ešt une

tête un peu fêlée[1],— говорит о нем Бертран с высокомерием старшего и глубокомысленного друга.

«А ты каков? (думаю я про себя): если бы твоя голова треснула, оттуда, пожалуй, кроме математики, ничего бы не вытекло?»

Стали петь хором по-итальянски; Маврогени фальшивит, смеется и кричит:

— У греков, говорит, мало хороших голосов; для этого надо ехать в Италию.

Увидел мой халат. «Позвольте мне надеть?» Надел, смотрится в зеркало и доволен.

Потом рассказывает, что он никогда халатов не носил и не носит. «Когда был на родине, проснусь поутру — и в море. И плаваю, и плаваю, ныряю, ныряю! Некогда халат надевать!» И, несмотря на все свое ребячество, как он смело и строго остановил Бертрана, когда у того сорвалась одна, быть может, необдуманная невежливость. Я стал рассматривать штуцер одного из их солдат, а Бертран сказал:

— Voilà, monsieur, la bajonette française gui fait tremdler toute l'Europe![2]

Я не отвечал ни слова и поставил штуцер в угол..

Маврогени пожал плечами и заметил ему:

— Здесь не бастион, я думаю... идет ли это говорить?..

Бертран покраснел.

Потом я из другой комнаты слышал, как они спорили.

— Ты приверженец русских... это известно! Ты слишком молод, чтобы давать мне уроки приличий.

— Да! я русских люблю и тебя люблю. И скажу тебе, нехорошо говорить это русским, когда и без того у них больше тысячи человек выбывает каждый день из строя в Севастополе. Не сердись! ведь мы друзья?

— Прекрасно... мы друзья; но именно из дружбы можно бы было воздержаться от подобных замечаний, пока мы не одни с глазу на глаз...

— Мне было жаль,— сказал Маврогени.

Наконец Бертран воскликнул:

— Eh bien! j'aieutort! Je l'avoue![3]

[1] Маврогени славный малый, но немного сумасброд (буквально: «это немного треснутая голова»).

[2] Вот, сударь, французский штык, который заставил дрожать всю Европу!

[3] Ну ладно! я виноват! Признаю!

Маврогени искал случая быть со мной наедине и, когда добился этого, с жаром стал рассказывать мне о своей жажде видеть русских, о своем побеге на войну от родных, об ошибке, которую он сделал.

— Я решился вдруг,— сказал он,— отец и мать мои жили тогда в Галлиполи... я собрал, что мог, денег, сел на первое купеческое судно, и оно привезло меня в Балаклаву к союзникам. Я все думал — лишь бы доехать, а там убегу... Я воображал всех русских великанами, силачами; думал, что они все строгие, набожные; я с ума сходил, чтобы попасть в ваш лагерь. Но пришла мне мысль ехать в Крым только тогда, когда некому было меня довезти, кроме французов и англичан. Попал я на большое купеческое судно. Волов на нем везли для войска. Поднялась буря, и шесть дней носило нас по Черному морю. Я не унывал: мачты сломались, руль испортился, капитан головой об стену бился; а я все ел, пил и смеялся... и ни разу не подумал, что могу утонуть. Французы за мной следили; бежать не знаю куда, по-русски не знаю; надеялся хоть издали увидеть русских. И когда видел я вдали огни в севастопольских домах, когда пушки ваши стреляли, когда союзники бежали или были разбиты, я был вне себя. Привезли пленных, кричат около меня: «Русские! русские!» Я бегу... Вижу — трое. Один казак и два солдата: нехороши собой, ростом невелики. Досадно мне было, что они такие; а еще досаднее, что ни слова не могу им сказать! Все заметили, как я на них смотрел и теперь шагу не могу один сделать. Бертран боялся, чтобы я не пробовал бежать и чтобы меня не расстреляли; взял меня на поруки, а я дал ему честное слово не перебегать к русским. Но если бы я мог!

— И в Бертрана бы вы стреляли, если бы были свободны?— спросил я у него.

— Нет,— отвечал он,— в него бы не стал стрелять, а в других с удовольствием, особенно в красных дьяволов, в англичан!

Я разочаровал его немного тем, что сказал:

— Между русскими и русскими есть большая разница. Народ, правда, набожен, но нравами не слишком строг; а общество вовсе уж не строгого нрава, и, к сожалению, не слишком религиозно. Если и есть где строгость семейных нравов, так это скорей в богатом дворянстве,—

прибавил я,— а средний круг наш, который образовался не столько выработкой снизу, сколько распадением сверху, скорей страдает распущенностью, чем излишней суровостью семейного начала.

— Как это странно! Как это странно!— повторял Маврогени.— А у нас, греков, нравы строги. Говорят, это турецкое иго очистило народ. Я не знаю. Так думают другие.

— Не знаю,— отвечал я,— иго ли это очистило или что другое. И крымские греки в семьях строже русских. Если ссор у них меньше, чем у нас, так порядка внутреннего, наверное, больше. Все мужья у них, во-первых, ревнивы, если не по натуре, так по обязанности и для приличия.

— Разве можно не ревновать жену, если ей кто-нибудь нравится?— спросил он с лукавым любопытством.

— Можно!— отвечал я,— у нас многие не ревнуют, а только притворятся из страха чужих разговоров. А есть изредка такие, которые не ревнуют и не притворяются!

Он задумался, и мы простились.

29-го августа 1855.

Севастополь отдан. Иные говорят: чем хуже, тем лучше. Может быть, для России они и правы; но мне, крымскому жителю, страшно за Крым.

30-го августа.

Вчера приезжал Бертран. Он был деликатен; опустил глаза и сказал между прочим: «Это было дело военной удачи, поворот фортуны. Русские были так же мужественны, как и во время первого штурма!»

Второстепенное лицо из французского романа второй руки — какой-то верный, твердый друг!

Маврогени был с Лизой в саду. Я слышал, как они смеялись, играя в мяч.

Мы вышли на балкон посмотреть на них, и они нас не заметили.

Как они оба хороши! Как бы они были созданы друг для друга, достойны друг друга, если бы судьба соединила их, вместо того чтобы послать меня навстречу Лизе!

Как она была сурова и мила! На голове у нее был тот самый белый платок, в котором она ходила со мной в дубовую рощу в тот вечер, когда мы решились обвенчаться.

А какой он молодец! Как молод душой и как ловок! Главное, как молод душой! Как мало в нем той ужасной осмотрительности, которая, как печать проклятия, легла на всю умную часть нашей молодежи; и бертрановская деревянная живость не похожа на то исступление жизни и веселости, которыми дышит Маврогени. Играя, он прыгает и смеется; схватил острую палку и проколол резиновый мяч.

Лиза требует за него деньги; он уверяет и божится, что деньги у него все французские, которые у нас не будут ходить.

Я ушел с балкона и заперся у себя; наедине мне стало еще грустнее.

15-го октября 1855.

Больше месяца не приезжал Маврогени; он был нездоров. Лиза не скрывала, что ей скучно без него. Раз она подумала, что он пробовал перейти к русским и что его расстреляли. Подумала, побледнела, начала спрашивать, как я думаю, и голоса нет. Однако вчера пришла записка от него. Хочет идти сам к генералу Боске проситься к нам на две недели и дать честное слово, что он не перебежит.

10-го октября.

Приехал. Все ожило у нас. Дай Бог здоровья Боске! Лиза громко поет по утрам, когда выйдет к чаю в залу. Он клянется, что скоро будет мир. Прыгает от радости, твердит: «Мир! мир!»

Октября 25-го.

Уж скоро две недели, как Маврогени у нас. Мы возили его везде по горам, в Ялту, в Алупку. Он все хвалит; иногда как будто без внимания, иногда с восторгом. Беспрестанно говорит о русских: он видел еще русских пленных; он любит русское кушанье; это русская церковь,

в русском вкусе; а сам в первый раз видел под Севастополем русский монастырь.

Наших бородатых дворовых, кучеров, извозчиков в Ялте принимает за монахов, потому что у греков все, кроме монахов и священников, бреют бороды.

В нем странное соединение грека с итальянцем. Греческой сухости в нем нет, и лицом он больше на итальянца походит. Во французском языке он ошибается как итальянец, а когда хочет выучиться русским словам, произносит их как грек. Меня это смешит, но Лиза не может слышать этого и говорит: «Уж лучше бы не учился по-русски! Точно еврей» (портной из Ялты). Политические убеждения в нем крепки, и в них он истинный грек героического взгляда. Россию обожает, хотя и не знает ее; горой за православие, хотя сам ленится ехать к обедне; с наслаждением рассказывает о турецких несправедливостях, о грубости англичан; ни в Македонии, ни даже в Румелии не хочет и слышать о славянах — все греки. Мечтает о том, как было бы хорошо, если бы составились две большие православные земли — сухопутная Россия и морская, большая Греция, которая бы вытеснила английский флаг из Средиземного моря и просветила бы даже мохамеданскую Азию. Я на этом всегда его останавливаю и говорю, что новая Греция, особенно та ее часть, которая зовет себя передовой и образованной, не носит в себе никакого оригинального исторического начала и что коммерциальные способности одни не дают еще права просвещать по-своему мусульманский Восток. Это просвещение будет губительно для духовного богатства на земном шаре; мусульманизм, по-моему, способен к обновлению самобытному, лишь бы он покинул Европу и, оставляя другим волю развиваться, избавился бы сам от опасности стать жалким лакеем Запада. Я думаю даже (хоть и не совсем слепо), что в Коране есть начала, сходные и с фатализмом новой статистики, и с пышностью самого мироздания. Коран говорит: «Богу угодно, чтоб были и добрые и злые, и грешные и праведные. Он знает, что нужно!» Не сообразно ли это с историей, с жизнью растительного и животного мира, поэтическими противоположностями вселенной? Может быть, я ошибаюсь. Если так — пусть простит мне Бог; но в мыслях наших мы не властны!

Маврогени не понимает этих возражений. Продолжаю о нем. Сегодня мне и весело и душно, как будто я помолодел; хочу писать.

По привычке или по обязанности, он хвалит строгость домашней жизни у греков; хотя и сознается, что нередко гречанки обманывают мужей, но пусть принцип стоит!

А итальянская натура и жизнь в Италии тоже не остались в нем без следов. Добродушие, легкомыслие, невольное желание изменить этому греческому принципу домашней жизни, но только не в ущерб себе, а в ущерб ближнему...

Он рассказывал Лизе, что в Неаполе у одной дамы был муж и был «человек, которого она любила» (так он сам выразился). «Человек, которого она любила», продал хорошее имение около Флоренции и переселился в Неаполь, чтоб быть всегда с нею. Муж был осужден на изгнание за политический заговор; неаполитанке стало так жаль мужа, что она уехала с ним. И что же? Родные этой дамы порицали ее и брали сторону любовника, который из любви к ней разорился!

— Вот как строго судят в Италии! — сказал Маврогени.

И, по всему видно, рад, что судят так! Он знает наизусть много любовных греческих песен, и хотя сам поет дурно, но для верного музыкального чувства Лизы достаточно было его намеков на музыку, с которой их поют. Не знаю, поет ли она их верно, но слышу, что поет хорошо. Из героических мне нравится особенно одна:

«С мечом за поясом
И на коне моем
Я лечу, как птица!
Когда стреляю из ружья,
Я не забочусь о том,
Что мне сулит судьба.
Я пою и смеюсь, когда свищет свинец, льется кровь.
И верхом на моем коне по темной дороге
Скачу через пропасти.
Не плачь, красивая девушка!
Путь мой лежит за горы...
Я везде найду красавиц, но долго не останусь ни с одной
Из них нигде и назад не вернусь».

Недурна также другая грустная песня, которая начинается:

> Ты ангел мой!
> И в руках ты держишь меч,
> Который погубит мою голову...

Какое прекрасное соединение страсти и суровых таинственных впечатлений! Я зову эту песню вечерней, и Лиза всегда поет ее под вечер.

Октября 27-го.

Вчера вечером мы долго говорили с Маврогени с глазу на глаз. Он беспокоится о том, что ему делать, если мир не будет заключен. Как попасть к русским, не нарушая честного слова?.. Он думает уехать в Турцию и возвратиться через месяц совсем сызнова через Молдавию и сухим путем, через Перекоп, в наш лагерь. Слово сдержано,— он не бежал; он уехал на родину. А после — это уже нечто вовсе новое. Это умно придумано.

2-го ноября 1855.

Все кончено! все решено! Утром я пошел, по обыкновению, осмотреть сад и возвратился довольно усталый со стороны той лужайки за домом, за которой полукруг кипарисов. Надо заметить, что дом наш прислонен к этому лугу задом, и прямо с него можно шагнуть на балкон. Я так и хотел сделать. Подхожу — Маврогени стоит спиной ко мне у перил, а Лиза сидит перед ним на стуле: лицо ее скрыто в его руках, а ее руки обняли его колени. Они не слыхали, как я шел по траве, и я поспешно удалился. Остался я один, и все во мне было и полно, и взволнованно. И жалость непонятная, и радость, что ей весело и хорошо... Не так ли волнуется и блаженствует мать, когда сын покидает ее для успехов и наслажденья? Хотел идти... ищу шляпу — она на мне... Хотел идти к морю,— не мог. Сел опять к столу, закрылся руками, чтобы свет Божий забыть, и спросил себя:

«Зачем ты не ревнуешь? Как смеешь ты не ревновать? Но что же делать мне, если во мне нет ни искры

ревности? Что делать мне, если она мне давно не жена, а моя дочь, мое создание?..»

«Но твоя дочь, твое создание *гибнет*! Она падает!.. Протяни ей крепкую руку старого друга... Удержи ее на краю!..»

Нет, пышный мак расцвел, и хранительные зеленые листья пусть сохнут и отпадают!.. Кто сказал вам, глупцы, что она гибнет? Кто сказал вам, глупцы, что тот, чья рука покрыла землю коврами цветов; тот, кто научил человека воздвигать узорные дворцы и храмы и списывать на полотно благородно-дряхлые хижины; чей дух вдохнул и в нашу жизнь громы музыки, громы бурь и громы сражений; по чьей воле мы в сумерки поем грустную песню про страшного ангела с мечом и про степь, по которой веет вечерний ветер,— кто из вас решил, что волнения чувств и страстей не плодотворны и не угодны ему так же, как и узоры храмов, и узоры цветов, и волнения моря, и волнения музыки?..

Чем упала, чем унизилась она? Она не была и не будет счастливой женой ничтожного Маринаки, она ко мне, обветшалому и отжившему, пе питала глупой страсти. Она не влюбилась в безличного Бертрана; странная речь молодого казака, его выразительные узкие глаза и белокурая скобка волос, его грубое русское удальство ей нравилось больше, но за мигом страсти могли грозить ей униженье и обида дикаря. Она остановилась. Привычка ко мне, глубокое уважение, дружба, покойная роскошь наших будней не убили в ней бездонных сил для новой жизни и любви... Живи, живи, моя Лиза! Живи, моя дочь, живи и расцветай, мое божество!..

4-го ноября.

Уехал. Я не видал ее в минуту его отъезда.

5-го ноября.

Вечером я сидел один в темном кабинете. Вошла Лиза, села у стола, вздохнула раза два, сказала: «Ну...» — и замолчала и опять вздохнула. Лица ее мне не было видно.

Я молча взял ее руку. Она начала опять:

— Ну... я пришла!

— Знаю! — сказал я, — знаю. Не тревожься... забудь обо мне...

Она упала передо мной на колени и горько заплакала, повторяя тихо:

— Вас забыть?.. Ангел мой! Добрый... добрый...

Я видел, что эти слезы были слезы невыносимого счастья, теплый майский дождь между двумя сверкающими днями.

Я не был так чисто счастлив, когда сам любил юношею!

Прочь сомнения! Прочь рабство общих мнений! Пусть питается дешевой и безвредной пищей тот, кто не в силах вынести божественных напитков!

20-го ноября.

Мы ждем его с нетерпением. Днем Лиза избегает произносить его имя; но когда вечером мы гуляем по скалам и в рощах над морем, тогда мы говорим о нем.

— Однако вам больно что-то? — спросила она вчера. — Вы чаще вздыхаете.

— Разве я не вздыхал часто, когда мы с тобой ехали, после бала, по лесам у подошвы Чатыр-Дага? Разве я не был счастлив тогда?

— Нет у меня слов, чтобы вам все сказать как было, — продолжала Лиза, — когда я одна — все во мне кипит как будто... Готовлю вам столько... А пришла — не могу! Это-то и есть любовь или еще нет?

— Это и есть любовь, — отвечал я.

— Отчего же душно и при нем и без него?

— Оттого, что истинное, глубокое счастье не по силам нам; мы к нему не привыкли.

— Это правда! — отвечала Лиза.

— Это правда! Видите? Это правда; значит, мы к счастью не привыкли!...

Должен ли я, смею ли я мешать ее блаженству и умерять неразрывную с ним благодатную тоску? Не со мной же испытывать ей эти чувства! не со мной же озаряться на миг райским лучом за то только, что я честен, добр для нее и прочел сотни две разных книг!

Последняя заслуга дешевеет с каждым днем и лет через 50 станет пороком, если люди не образумятся.

22-го ноября.

Все это время Лиза весела; она ждет его с нетерпением. Известия о мире становятся вероятнее.

26-го ноября.

Поеду сам за ним. Лиза тоскует. Теперь перемирие; да и кому нужно брать в плен мирного помещика?

5-го декабря.

Вернулся один. Он больше трех недель как уехал домой. Что это значит? Он слышал со всех сторон, что ждут мира... Неужели он легок до того, что прикоснулся к цветку и умчался? Остыть, — я понимаю. Но есть мера и время на все!.. Легкомыслие не исключает глубины чувств, и я думаю, тут кроется что-нибудь другое. Впрочем, не раз я видал, как прекрасные люди поступали дурно и ничтожные вели себя хорошо.

Едва только я выехал на наше шоссе из Байдарских Ворот, как увидал Лизу одну на камне. Было уже поздно, а от нас этот камень верст пять или шесть. Вот за это бы стоило вызвать и убить его! И как он мог быть так близок с ней и не полюбить ее, не увлечься сильно, по крайней мере, на время? Не понимаю! Это его унижает.

Я увидел ее на камне и вскрикнул:

— Лиза!

А она подошла, глядит в коляску...

— Вы одни?

Только и сказала.

Когда она узнала, что он уехал на родину, она прибавила только:

— Ну, Бог с ним. Как все было прежде, так и будет!

8-го декабря 1855.

Хорошо, если бы прежнее было возможно! Но я боюсь. Она бледна, и Христинья жалуется, что она по ночам плачет на кровати.

26-го апреля 1856.

Наконец! Мир заключен, и пришли письма. Приезжал Бертран и мне отдал одно, а Лизе другое, — тайна. О мо-

ем я не говорю,— пустые оправдания, просьбы сделать для него что-нибудь, чтобы он мог служить России, благодарность за дружбу и т. п. Но когда Бертран, простившись с нами навсегда, уехал,— Лиза принесла мне свое и переводила слово за словом с итальянского. Ей не нравился риторический язык этого страстного письма. Она часто повторяла: «К чему это?» Иные места она вовсе пропускала (от стыдливости, я думаю, а она говорит, что не умеет перевести).

«Как мог я (пишет Маврогени) долго наслаждаться в земном раю вашем, когда совесть моя поднимала ежедневно во мне ужасную бурю? О, мой кумир! О! зачем я лишен света, который озарял мой путь? Но могли ли мы с тобой, моя вечерняя звездочка, быть врагами нашего доброго, почтенного друга? Я разве не помню тот вечер, когда в шуме гигантских волн, в шепоте деревьев роскошного сада, в коротком взгляде луны с небес я слышал и видел упреки?.. Я бы не мог выносить прикосновения соперника к тебе, моя прекрасная, хотя бы ему даны права на тебя перед жертвенником. Я понял: некоторые из *слов его* были желанием испытать меня... Я это понял и не мог сам выносить долго его близости. Зачем же и я с своей стороны буду терзать сердце того, кого чту, как отца? Зачем буду вносить в его дом бесчестие и раздор? Прощай, моя прекрасная! Краткий миг блаженства нашего был выше, прекраснее всяких слов... Но не лучше ли было бежать от тебя?»

Он думал, что я не могу не ревновать! Он называет это — вносить бесчестие в дом! Он видел впереди раздоры, воображая, что я ничего не знал и что, притворяясь доверчивым, испытывал его честность!

Благородно,— но какая ошибка!

Я спросил у Лизы, как она не сумела объяснить ему мой взгляд; говорила,— он не верит: а мне тогда много говорить не хотелось...

Нет, он ее любит, и я мирюсь с ним. Цветистый слог письма меня не удивляет и не внушает мне отвращения. Многие люди прошлого века не умели иначе писать, умирая от страсти. Именно потому, что цветистость эта *не своя,* а школьная, привычная; я верю, что она не придумана и, зная его, слышу в ней чувство.

Я знал и других греков, которые, как он, просты на

словах, но на бумаге изысканны, сами того не замечая. Это могло зависеть от учителя; а он учился где попало. Мы, русские нашего времени, тоже не умеем говорить просто и впадаем в другую крайность: без юмористического крючкотворства ни строки! У другого и улыбки на лице никогда не бывает; сел писать и не слышит, что каждое слово его гримаса, и на читателя, вместо смеха, нападает тоска. Я сам так писал письма к той, которую любил когда-то... Что за ядовитые отступления! Сколько оговорок! Какие глупые насмешки над романтизмом!

Однако, несмотря на все это зловоние гоголевских обносков, я был влюблен до безумия.

Я верю, что он любит ее; но что делать теперь? Писать ему или нет?

30-го апреля 1856.

Лиза ответила ему; но звать его сюда еще не хочет. Она хочет победить свою тоску. Хочет жить по-прежнему. Не будет этого!

Мая 20-го.

Напрасны попытки забыть его! Страсть не совершила полного своего круга. Ни кошка, ни лошади не занимают ее. Напрасные усилия! Все стало мрачно у нас в доме.

20-го октября 1856.

Целый месяц мы ездили по Крыму, смотрели новые места... Я старался всеми силами развлечь ее. И все напрасно! А сколько любопытного мы видели с ней! Видели белые безмолвные обломки большого города на холмах и языки синих бухт, которые входят в пустынные берега погибшей крепости; видели французские бараки над русскими развалинами; входили на Малахов курган: видели картечь, вбитую в землю, как горох на току после молотьбы; вывески: «Bazar de la Gloire!»[1]; на северной стороне просыпается жизнь: трактиры, жилище в бараках, толпятся женщины в платочках, пляшут и поют матросы.

[1] «Базар Славы!».

Смотрели землянки сардинского лагеря с кирпичными печами и голубым домиком главного штаба; кругом сотни старых деревянных острых башмаков, изломанные жестянки от сардинок. У дороги мы нашли грядку ископанной земли и лежащий большой белый каменный крест на конце грядки, с надписью, которая нас тронула: «Jci reposent des soldats français»[1].

В Чаргуне кормили лошадей и ночевали. На покинутой батарее растут садовые цветы. Деревня в зеленой сочной долинке, а кругом лесистые холмы; татары распластывают кучи жестяных банок, на которых еще видно: «boeuf bouilli, 16 rations»[2], и обивают ими крыши; отели в деревянных стенах оклеивают листами «Times»[3]. Черноглазый мальчик принес нам на блюдечке разные сухари.

— Все тут были! — сказал отец, — это хлеб сардинский, а это турецкий, а это энглэз, а это француз. И Коран был; все были!..

В Бахчисарае мы слушали, как журчит фонтан Марии; ходили по звонким комнатам дворца, любовались на пестрые стены. Ездили на судах, спускались с огнем в огромную пещеру: ее дно усеяно черепами и костями мужскими, женскими и детскими. Когда-то давно здесь множество народа было задушено дымом костров, которые враг разложил у входа. Морской берег у горной деревни Коктебель славится красивыми разноцветными камешками, и многие собирают их. Лиза хотела давно туда съездить; мы пошли одни и долго собирали у моря; собрали, но она забыла их на первом ночлеге! «Ей уже и дом не мил, и нести она в него ничего не хочет!..» — подумал я; но ни эти забытые камешки, ни равнодушие, с которым она смотрела на красноречивые остатки великой борьбы, не поразили меня так, как одно ее слово у камина в доме старого приятеля, муллы Османа. Мы ночевали у него. Прекраснее этой деревни, похороненной в ущелье и в лесу огромных деревьев грецкого ореха, трудно вообразить... Старик и старуха угощали нас как своих детей. Почтенные люди! Он в чалме, седая борода до пояса; веселый, ласковый; она построже, погордее; черты нежные, бледные как воск, одета в маленькую

---

[1] Здесь покоятся французские солдаты.
[2] Говядина вареная, 16 порций.
[3] «Таймс» — английская газета.

длинную шубку, а покрывало, чистое и белое, подколоно и прибрано вокруг лица с замечательной заботливостью. В здешних горах уже холодно под вечер. Мы сели у широкого камина на подушках, и Лиза сама стала варить кофе. Я говорил с Османом; рассказывал ему о войне, которая до них не доходила, а глаза мои и мысли не могли оторваться от нее. Как она наклонялась к огню, как падала через плечо на грудь черная коса ее, как она держала кофейник — все мне хотелось видеть сто раз, и каждый взгляд терзал мое сердце жалостью... Отцветает невидимкой, бедная, горная травка! В сакле становилось все темнее и темнее; Осман вышел, а старушка молча гремела самопрялкой.

— Чем у них дурно? — сказала Лиза, осматривая комнату,— на полу сукно; сундуки хорошие; шкапчики и полочки, все выкрашено зелеными и красными фигурами. Полотенца по стенам висят золотом шитые... Сколько подушек разных... можно здесь жить.

Я хотел было спросить: «Да, но не со мной, а с ним», но удержался. Между тем старушка приблизилась к нам и, разговаривая, удивлялась, отчего у нас нет до сих пор детей!

— У нас,— продолжала она,— родилось девять в этой комнате. Трое умерло, а другие живут и своих детей имеют. Эта комната счастливая. Переночуешь у нас, Аанум (обратилась она к Лизе), и будешь беременна.

Мы долго еще молча сидели одни у камина, и Лиза, наконец, первая прервала молчание:

— В самом деле, как это дурно, что у нас нет детей! — сказала она.

— Тем лучше,— отвечал я,— дольше будешь молода.

— На что мне молодость?

Вот ее ответ!

Могу ли я после этого не требовать, чтобы она звала его сюда?

Ноябрь 1-го.

Написали ему письма. Лиза своего мне не показала, и я, конечно, не просил посмотреть. Что касается до меня, то я всеми силами старался убедить его, чтобы он забыл обо мне, как о муже, и видел бы во мне только старшего брата ее и неизменного своего друга.

Ноябрь 5-го.

Отправили. Что-то будет!

Декабрь 1856.

Лиза сначала стыдилась немного показывать свою радость и свое беспокойство; но не может более скрывать. Спрашивает, сколько времени пойдут наши письма, не тонут ли пароходы в это время года. Вечером сна нет; утром встает до света; ко мне стала еще внимательнее, ласковее прежнего; чаще стала играть на рояле. Повторяет забытые греческие песни; лицом еще бледна, но глаза помолодели и сверкают.

Декабря 26-го.

Получили ответ. Он будет скоро. Что за радость! Она уже не владеет собой... Прыгала, плакала, ноги мои обнимала... И я был как безумный; не мог более сносить волнения и ушел на горы один.

Меня радовало, что она ни разу не сказала: «Простите!» — как говорила иногда прежде.

На горе я нашел глубокий снег, и влажные летом леса стояли теперь как на родине моей, немые и без листьев; у ног моих, далеко внизу, вилась дорога; за ней зеленели сады, стесненные у моря, и дом наш, чуть видный у берега, белел и блистал на холодном солнце. Море отсюда казалось еще бесконечнее.

Есть монастырь далеко отсюда, на горах; там всего семь или восемь монахов; они сами работают в огороде; красные скалы, над которыми виден его крест, — татары зовут Кизиль-Ташь. Каждое лето с гужем идут туда толпы на богомолье, а потом опять ни души чужой.

Не скрыться ли мне туда, а им двоим оставить все мое имение? Пусть сперва поживут в исступлении полного блаженства, а потом тихо, как честные и дружные супруги.

Января 2-го, 1857.

Лиза не отходит от окна и все смотрит на море. Два раза мы ездили в город встречать пароход... Она опять

начинает тосковать. Опять плакала на кровати. И вчера сказала: «Что же это такое будет? Все только и думаю: как он смеялся, каким голосом говорил! И все мне кажется, что я не так помню... что и голос, и лицо, и смех у него не тот...»

Января 19-го.

Наконец! Вчера приехал... С утра море было бурно, и мы издали видели, как качало пароход от носа к корме и от кормы к носу.

Мы оделись тепло, потому что на шоссе падал снег и дул холодный ветер, и пошли пешком часа через три после того, как показался пароход. Я хотел отпустить Лизу одну, но она сама пригласила меня.

Дорогой она была очень бледна и не раз останавливалась, чтобы перевести дух.

Мы прошли версты четыре не без труда, все в гору и против ветра; она хотела идти дальше, но я не согласился, и мы присели отдохнуть на ступенях одной из тех маленьких и чистых казарм, в которых живут солдаты для присмотра за шоссе... Сидели долго; Лиза не сводила глаз с дороги... Вдруг видим, скачет кто-то на татарской лошади, и сзади тоже верхом едва поспевает татарин с чемоданом в руках.

Мы отошли за поворот дороги, чтобы солдаты не видали нашей встречи. Один миг еще — и он доскакал.

Как он обнял меня! Как он был рад! Как он у нее целовал руку! Как хохотал!

Мы взяли его с обеих сторон под руки и спустились вниз. Надо было согреть его, накормить, хотели дать ему отдохнуть, но он ни за что!..

Прошел обед веселый, при огнях, и вечер пролетел далеко за полночь.

Расспросы, рассказы, смех, его восторг открытый, ее полусмущенное блаженство.

Возможно ли мешать им?

О Боже! ты, который видишь сердца наши, «прав я или нет?».

Прав или нет, не знаю; но я счастлив, и долгое прошедшее мое мне уже не кажется бесплодным. И в нем я вижу тысячу встреч, мыслей, причин и впечатлений,

которые привели меня к уменью жить так, как я живу.

Что за вечер! Что за длинный, что за дивный вечер... Что за счастье видеть их вместе!

Море ревело к ночи все страшнее и страшнее; стекла наши дрожали от ветра. Сегодня утром я увидел, что за ночь волна кой-где подняла стоймя большие каменные глыбы, а другие зарыла в песок. Весь ряд молодых деревьев, которые Лиза посадила довольно далеко от берега, сломан и смыт. Морская трава и мелкие раковины летели с пеной до цветника. А у нас пылал камин в гостиной, ковер пестрый и густой как бархат, и лампа горела на столе.

Лиза сидела с ногами на диване, и незнакомое мне теплое сияние озаряло каждую черту ее лица. Он то расспрашивал нас обо всем, о моих занятиях, о пении Лизы, о Христинье, о кошечке, о лошадях наших, то рассказывал нам, как переезд по Черному морю был труден. Пароход невелик, и его с одной стороны беспрестанно заливало волной. Вода в одну минуту мерзла; пароход от тяжести льда на одном боку мог пойти ко дну, и только тем и спаслись, что матросы окоченелыми руками рубили этот лед.

— Я прежде не боялся моря и не думал,— заметил Маврогени,— а в этот раз мне было очень страшно! Я и теперь не верю, что я у вас...

Наконец простились. Когда я остался опять один, еще раз мелькнуло какое-то сомнение... Но я сказал себе: «Зачем я буду гнать от себя чувство, которое ощущаю? Что же делать, если я рад их счастью?»

Через два дня.

Лиза поет с утра в зале, и все веселые песни и танцы. Она опять прежняя Лиза, но с высшим значением! Море утихло; тепло так, что мы окна открыли. *Они* ездили долго верхом, а я сводил счеты за прошлый месяц. Хотел пойти далеко гулять; но без них долго быть скучно; вернулся и застал их за картами.

Через месяц.

Маврогени начинает немного читать по-русски. Лиза его учит сама; мне азбука показалась скучной; я после

с ним займусь. Он думает выучиться по-русски и поступить где-нибудь здесь на службу. Посмотрим. Говорят, скоро откроется место смотрителя при одном из дворцов. Конечно, для нас он будет не смотритель, а Яни Маврогени в одежде албанского волонтера!

Еще через полтора месяца.

Вот этого я никак не ожидал! Сегодня утром я позвал к себе Лизу, чтобы вместе с ней составить записку о том, что нам нужно из города. Я был в большом кресле перед столом, а она села на ручку кресел, и я, чтоб ей было ловчее, обнял ее, и мы вместе считали.

Вдруг отворилась дверь, и он вошел. Вошел и вышел. Выходим и мы. Где он? Говорят, оседлал себе лошадь и уехал в Ялту.

Лиза с большим смущением объяснила мне, что он ревнует и беспрестанно ей твердит: «Никогда не поверю, чтобы ты в мужа не была влюблена! Его нельзя не любить! И я его люблю, а ты влюблена в него!»

Я и сам замечал раза два, что он не в духе; но подумал, что без таких минут никто не проживает, и молчал, и не расспрашивал.

Это странно! Есть, наконец, мера на все! Послал за ним и написал ему самое строгое письмо. Между прочим сказал ему: «Ты не стоишь уважения, если не умеешь верить такой женщине, как Лиза. Если она говорит тебе: «Он мне не муж, а друг», как смеешь ты не верить? Разве она из тех прелестниц, с которыми ты вместе, в Италии или где-нибудь еще, обманывал влюбленных стариков или строгих мужей? У нее душа суровая, страстная и прямая. И если ты этого не понимаешь, то склад ума твоего самый презренный».

В самом деле, выдумал что! Не бежать же мне отсюда!

Марта 5-го.

Возвратился и раскаялся. Не знаю, что было между ними, но со мной он объяснялся долго.

— Послушай! — сказал я ему с досадой, — нет трудного положения, в котором характеры благородные и добродушные не могли бы честно ужиться. Что естественнее всеми принятых отношений мужа и жены, брата и

сестры, родителей и детей?.. А разве эти отношения не извращаются беспрестанно дурными натурами этих лиц? И если б мы еще могли всегда найти большую разницу в политических, религиозных мнениях и т. п. ... Чаще и этого нет! Я не спорю, наше положение странно; но от нас зависит сделать его счастливым... Вбей себе только в голову, что она меня уважает, а влюблена в тебя...

— Как этому поверить,— сказал Маврогени,— что она не влюблена в вас! Вы с ней так кротки, вы так образованны... я сам каждый день умнею от разговоров с вами... И за что вы так добры ко мне? Что я перед вами?..

— У тебя много качеств, которых у меня никогда не было,— отвечал я и объяснил ему, как я смотрю на счастье и на развитие любимого существа и почему я добр к нему, а не был бы добр к другому, который унижал бы Лизу своей прозаической близостью; сказал ему, как я люблю, чтобы молодость не пролетала даром; растолковал также, что я старался бы всеми силами, советами, удалением излечить Лизу от дурно направленной страсти, и если бы она не вняла моим увещаниям, я бы скрывался от нее с тоской, с отчаянием, но и тогда мешать не стал бы свободному чувству. А его я и сам люблю и нахожу вполне достойным Лизы, несмотря на кой-какие ошибки и на беспутное его воспитание.

Надеюсь, что он понял.

Мая 2-го.

Нет, он неисправим! Разорвал себе жилет; ходит как убитый.

Когда мне было 22 года и я был влюблен в Зинаиду К... Я помню, как меня тоже душило платье в минуту ревности; я убежал с танцевального вечера, не спал всю ночь, курил и затягивался насильно до тех пор, пока кровь показалась горлом; хотел стреляться с соперником; написал ей ночью письмо до такой степени пылкое и грустное, что она сама на другой день бросилась ко мне в объятия... И отчего вся эта буря? Оттого, что она на вечере была в черном платье с голубыми бантами на голове; оттого, что нежная бледность ее в этот вечер доводила меня до безумия; оттого, что она, любя меня от всей души, захотела немного только повеселиться с Т..., улыбалась, смотрела ему пристально в глаза, то подавала ему

конфетку, то не давала, то опять подавала. А он ей говорил:

— Такое-то у вас сердце? Такое-то?

Если я, «больной сын больного века», русский студент, переживал такие бури, так что же он должен чувствовать?

Ревность — чувство благородное, если она сильна, бурна и нестерпима.

Лиза в негодовании на него. Во время прогулки, назло ему, взяла меня под руку, зовет его в глаза мальчишкой, сказала:

— Довольно дурачиться! Пусть убирается, куда хочет!

Поцаловала меня три раза сряду при нем против моего желания. Глядит ему прямо в глаза; довела его до того, что он вчера в темном коридоре схватил ее за руку выше локтя с такой силой и злостью, что у нее синие пятна остались.

Не надо бы мешаться... Однако я призвал его и сказал ему:

— Стреляться я с тобой не стану. Во-первых, я тебя самого очень люблю; а потом я не хочу, чтобы она еще страдала: ей и меня, и тебя будет жаль. Но я тебя попрошу уехать, если ты будешь так тревожить ее.

— Хорошо! — отвечал он с жаром, — я делить с другим женщину не могу. Я когда люблю или пока люблю — хочу быть деспотом, царем. Захочу — прибью, убью ее, и тогда пусть меня никто не смеет судить! Утешу после, но утешу я, а не кто другой! И если она сама меня страстно любит, она не должна считать это унижением, а стать на колени и целовать руку, которая ее бьет... Вот как я люблю! А если не я один ей царь, так я уеду и ее увезу с собой!

— А! если так, — сказал я, — увидим! Увезти тебе, безумному, ее не дадут. И я буду деспотом, и она скорее покорится мне, чем тебе...

Он побледнел, не отвечал и уехал в Ялту, чтобы опять там ждать парохода целую неделю, а я тотчас же к ней...

Мы долго говорили. Куда пропала ее сила! Пока он был здесь, она до грубости строго обращалась с ним дней пять сряду; но с тех пор, как он уехал — она упала духом.

Через неделю.

Ужасное мученье! Что за ужасная неделя! Вчера вышли к обеду и ничего не ели; я закрыл лицо руками и молча ждал конца — она не дождалась и ушла. Глаза ее мутны... Но отпустить ее с ним я не в силах!

15-го мая.

Он еще здесь. Прислал ей письмо; умоляет ехать с ним. Она говорит — ни за что меня не оставит и твердит: «Довольно шалостей!»

17-го мая.

Исхудала в эту неделю; не ест, не спит. Я вижу, она хочет ехать и жалеет меня...

Не дать ли ей допить чашу до дна?

21-го мая.

Долго умолял я ее сказать правду. Говорил о недоконченных чувствах; признавался ей, что легкомыслие его и молодость меня утешают в том смысле, что, быть может, они скоро утолят друг друга, и она, спокойная, с радостью воро́тится ко мне. Они только и ждали моего одобрения! А я чуть не упал в обморок, когда она спросила у меня:

— Я поеду; а вы-то? как вы-то вытерпите без меня?

Послали за ним.

22-го мая.

Едва не упал мне в ноги, обнял мои колени: «Она мое сокровище! Я ее буду беречь! Верьте мне! Не бойтесь! Дайте мне хоть месяц прожить с ней наедине и тогда возьмите ее хоть силой... Я вас обоих вместе видеть не буду. Простите мне! Я буду служить ей как раб... Простите мне!»

Я думаю, он поцаловал бы мою руку, если бы стыд не удерживал его.

Слава Богу — море теперь тихое, не зимнее. Об одном буду молить ее, чтобы она сохранила себя для меня, если он изменит ей, если он разлюбит ее. Этой жертвы я требую во что бы то ни стало! Пусть приедет больная, обезображенная, желчная, сленая, но лишь бы вернулась!

27-го мая.

Проводил ее до города. На пароход не пошел. (Он вне себя от радости и ехал заранее с вещами.) Мы вышли у Ливадии из коляски, и я в последний раз обнял ее. Она не плакала. Я сказал ей: «Больше отживешь, и мы будем ровнее; не бойся — годов тихих еще много впереди».

28-го мая.

Что писать? Долго вчера видел я, как быстро шел их пароход к Балаклаве. Как ни мчали мои лошади, но мы еще не сделали и половины дороги, а он уже пропал из виду...

1-го июля.

Писать нечего. Все тошно, все пусто! Христинья ходит печальная. «Где наше солнышко?» — сказал я вчера, а она зарыдала. О, Лиза, Лиза, где ты?

15-го июля.

Пишет. Во всех словах видны боль и угрызения. К чему это? Надо ее утешить и опять повторять, чтобы она была веселее и только берегла бы для меня свое существование.

7-го августа.

Еще письмо, и длинное, из Венеции. Веселее первого. Она пишет гораздо лучше, чем говорит, и сделала большие успехи в этот год. Целовал письмо и обливал его слезами, о которых она не узнает!

Одного молю, чтобы ее медовый месяц был без горечи и отравы, и еще об одном... чтобы он поскорее ее разлюбил!

Сентябрь.

Ездил один в горы, в Кречь, в степное имение.

Последнее письмо опять из Венеции. Она пишет мало, но я чувствую, что она веселится, ездит в гондолах. Меня бы это уж не заняло. Какое дело мне до Венеции, до древности, до всего мира, когда Лизы нет со мной.

Октябрь.

Письмо Лизы к мужу из Рима.

«Я было совсем уехала к вам. Он вздумал меня дразнить и ухаживать за другими. Я удивляюсь, как это вы не ревнуете! Это ужасное мученье! Здесь много недурных девиц и дам, и простые на улицах прекрасивые. Особенно хороши англичанки, такие они нежные; мне перед ними все кажется, что я груба. Прежде я не смотрела на свои руки, а здесь все смотрю и прячу их. Извините, что я пишу вам такой вздор, мой друг, мой милый друг! Пишу — что пишется. Знаете ли что? вы не поверите — *он* иногда утомляет меня. При вас у него было больше охоты заниматься; а здесь что-нибудь одно — или веселится, или дома сидит и скучает. Недавно сказал мне: «О чем мне с тобой говорить? Обо всем уж говорили!» Я вижу все-таки, что он меня любит, как прежде. Уйдет на минуту — опять поскорей ко мне домой. Попробует говорить с другой, в любви ей объяснится, а на другой день, если волю ему дашь, терпишь молча — он не отходит от меня. А я слаба! очень слаба. Я не знаю, где вы во мне видели твердость. Иногда я за ветреность его или за лень и за беззаботность выхожу из себя; а он улыбается, за руку меня возьмет — я все и простила. Одно я люблю в нем всегда — это то, что он и не старается казаться лучше, чем есть, а какой есть, так и показывает. Скажу ему: «Зачем ты себя не принудишь в чем-нибудь?» Один ответ: «А если мне скучно принуждать себя?» Я еще люблю его, по правде сказать, от всей души и недавно чуть не умерла от страха, когда ему пришлось драться на шпагах с одним итальянцем. Из-за пустого поспорили: тот назвал его фанариотом, а он его по лицу ударил. От дуэли я удерживать его не стала (настолько у меня есть характера, чтобы дорожить самолюбием любимого человека). Но уж зато денек это был, мой друг! Слава Богу, он ранил итальянца; проколол ему шпагой всю руку от кисти до локтя. После этого так нам обоим было весело; целую неделю все вдвоем гуляли и за город ездили. Прощайте, милый друг, отец мой и друг, которого мне Бог послал. Отслужите за меня панихиду на могиле матушки, поцелуйте Христинью и помолитесь за вашу неблагодарную, низкую и слабую Лизу».

10-го ноября.

Вот уже полгода, как ее нет! В рабочем столике с места не сдвинулась ни одна мелочь. Я сам сметаю пыль со всех ее вещей, сам объезжаю ее лошадь. О, моя дочь! о, моя Лиза! Ты уже не приносишь мне сама на балкон поутру кофе с суровым взглядом и улыбкой! Где ты? Что думаешь? Что чувствуешь? Как ходишь? Как сидишь? Где ты? Где ты? Если бы ты знала, какую сладкую благодать, какой волшебный напиток я пью, когда гуляю один около полукруга кипарисов, за которыми скрыта миртовая дорожка к гробу нашей матери, и шепчу сто раз твое имя: Лиза! Лиза! дочь моя! моя Лиза! Письма твои кратки, как бывали кратки твои речи, но я всякому слову в них знаю цену!

Нужен ли я тебе — ты не пишешь; жалко ли меня — ясно не говоришь; боишься обидеть? О, жалей, жалей меня! Не бойся обидеть: горечь сострадания в твоих руках для меня будет рай! Еще раз повторяю, еще раз напишу твое имя: «Лиза моя, Лиза, Лиза!»

Письмо мужа к жене (от того же числа).

«Не бойся философии, мой друг: она невидимая основа жизни. Каждый из нас, каждый человек, каждый простолюдин — философ, сам того не зная. Я тебе повторю еще раз: не покидай его, пока не захочется; меня не жалей; даю тебе честное слово — я счастлив тем, что случай, встреча с ним спасла твою молодость, обогатила не только внутренний мир твоей, моей и его души новыми ощущениями и силами, но обогатила и внешний мир рядом таких прекрасных явлений, как ваша встреча, ваша и бурная, и веселая любовь, ваше, редкое в подобных случаях, уважение ко мне, ваши странствия и т. п.

Знай это все про себя; знай, что ты прекрасна, а я счастлив и горжусь тобой, как гордились спартанки храбрыми сыновьями, как гордятся наши матери службой своих детей, как гордятся наставники блестящими делами и умом учеников.

Повторяю, что я хочу тебя видеть только тогда, когда ты с радостью оставишь его. Если же ваша любовь навек, то упроси его вернуться сюда с тобой и взять себе все мое имение; а я пойду в монахи и только раз в месяц буду навещать вас. Он знает, что я сдержу слово.

Прощай, пожми его руку за меня.

Твой друг К...»

Декабря 6-го.

Вот уже больше трех недель нет слухов! Как дни идут медленно! А ночью нет сна...

Декабря 21-го.

Письмо Лизы к мужу из Палермо.

«Нет сил без вас и без всего нашего. Все мне здесь чужое. Что хорошего в этих лимонных и померанцевых деревьях! Точно они нарочно сделаны в магазине! То ли дело, наши сосны на горах и орешник! Он умоляет меня остаться. Вчера умолял, умолял. Я дала ему еще слово на два месяца. Мы поедем в Афины и в Египет, а оттуда я скоро уеду в Одессу. До свиданья, мой друг!»

Января 17-го 1858.

Письмо Лизы к мужу из Александрии.

«Я не дождалась вашего ответа. Я скоро буду. Я не виню его; я знаю, что у него такой характер — ревнивый и ветреный. Здесь есть теперь цирк, и он все ночи проводит у одной француженки. А мне никогда не давал шага сделать от ревности. Я готова была сносить его бешенство, пока он был верен. А теперь я утомилась; я хочу вас видеть; мне страшно иногда, как будто я грех большой сделала, не тем, что я его люблю (я понимаю теперь вашу философию), а тем, что вы одни, что к матушке на могилу я не хожу, что все родное бросила!

Видите, я прежде вам не все писала, чтобы вас не огорчить, да и стыдно было; а теперь уж все скажу. Раз я встретила молодого русского моряка, познакомилась с ним, обрадовалась русскому, говорила с ним долго, вечером по саду ходила под руку; а на другой день этот моряк прислал мне букет. Вечером Маврогени пришел домой, выбросил букет из окна, а меня схватил за волосы обеими руками и бил головой об стену. Я читала и слыхала о достоинстве женщин; только как ни старалась об этом вспомнить, не могла притворяться. Скажу даже (ради Бога, сожгите вы это письмо) — мне было что-то хорошо; очень было больно, но я не плакала и молча терпела и (не огорчайтесь же, Боже мой!) целовала не только руки, ноги его целовала после этого. А он, он был как безум-

ный от любви. Да, тогда он меня одну любил душою; шутил с другими, иногда дразнил меня, но он был верен. И тогда, если бы он всю кожу на руках изрезал бы мне ножом (как один простой римлянин сделал это с женой недавно), мне было бы это приятно! А теперь нет. Если бы вы видели, что за манеры у этой француженки! Худая, смелая такая! Вот убить-то не жалко такую тварь! А он наслаждается! Я не виню его и помню ваши слова — беречь себя для вас. О! зачем, зачем он себя так унизил! Ну, Бог с ним, довольно! Я чувствую в себе больше сил против прошлогоднего; я хочу домой, к вам, мой друг! Он опять просит остаться; бросил ее, как узнал, что я еду; но я не уступлю. Не хочу даже, чтобы он провожал меня до Одессы; я боюсь, что от Одессы и до Ялты он не расстанется со мной. Из Константинополя уеду одна потихоньку от него. Одно средство!

До свиданья. Скоро я отдохну с вами, мой добрый друг! Увижу и Христинью, и могилку... Благословите меня на дорогу,

Ваша Лиза»...

Января 18-го.

Я без ума от радости! Только одно меня тревожит — море дурно. Вчера разбилось одно судно; люди едва спаслись, двое утонули. Впрочем, пароход не парусное судно. Еще бы месяц не напиши она, что едет, и я сам бы полетел за ней.

Января 19-го.

Велел Христинье помолиться у обедни за Лизу; что моя нерешительная молитва!

И вдруг через две-три недели — она здесь! Опять здесь; одна со мной; усталая, с перегоревшим сердцем, она рвется к отдыху и забвению. О, радость! О, жизнь моя! Как я тебя обниму! Каким благодарным рабом я поцелую следы твоих ног на песке, на том самом песке, который стал и живее и новее с тех пор, как твоя скромная мать спустилась с тобой с горы и сказала мне: «Вот вам моя Лиза!»

30-го марта.

Вот уже около двух месяцев нет слухов. Все смотрю на море. Когда пароход идет, я рвусь на лошадь и скачу в город. Нет моей Лизы!

5-го апреля.

Еще один пароход, а ее нет, и нет писем. Напишу к Г-и в Одессу; не знает ли он чего: он имеет дела и в Турции и в Египте.

29-го апреля.

Ответ одесского купца Г-и мужу Лизы.

«Как ни больно мне быть печальным вестником, однако что же делать! Я удивляюсь, как вы не прочли в газетах о гибели турецкого парохода «Багдад» в Средиземном море. Родной мой племянник был на нем и спасся благодаря своему уменью плавать и еще благодаря просьбам одного поляка (как вы увидите дальше). Лизавета Иосифовна погибла и г. Маврогени тоже. Простите! Чем же я виноват, что должен, наконец, написать эти строки? Племянник мой с большим удивлением увидал вашу супругу на этом турецком пароходе, который шел из Александрии в Константинополь. Он говорил с Лизаветой Иосифовной и нашел ее очень похудевшею, но веселою. Ехали двое суток, как вдруг, по незнанию или небрежности капитана, машина остановилась, и в то же время открылась течь. Турецкие матросы не хотели качать воду, заставили пассажиров и, пользуясь смятением, крали вещи. Капитан был пьян. Племянник мой говорит, что супруга ваша, сняв шаль и шляпку, работала лучше многих мужчин; г. Маврогени также обнаружил много энергии. Стреляли из пушек, требуя помощи. Наконец показался один египетский корабль. Увидев, в чем дело, египетский капитан потребовал себе 300 000 пиастров (около 48 000 р.) за спасение пассажиров и экипажа. Он полагал, что на пароходе много богатых негоциантов. Пока спорили, собирали деньги, плакали, кричали, пароход стал тонуть. Капитан корабля послал небольшую шлюпку, чтобы взять гарем одного паши; с этими турчанками спаслась, по их настояниям, жена одного здешнего купца;

кроме нее и турчанок спаслись еще двое: мой племянник и один, как я сказывал, молодой польский эмигрант. Последний доплыл до корабля, влез туда и упал к ногам капитана, умоляя спасти моего племянника, с которым он подружился дорогой. И его взяли на шлюпку. Племянник мой говорит, что, бросаясь в море, он как во сне видел мельком вашу несчастную супругу. Она стояла у борта и, кажется, разрывала на себе платье, чтобы тоже плыть. Корабль быстро ушел, и все остальные погибли: пьяный капитан турецкий, матросы, множество пассажиров. Нет сомнения, что и г. Маврогени утонул. Вице-король приказал отрубить голову египетскому капитану.

Еще раз выразив вам мое глубокое сожаление о потере, которую вы понесли, имею честь быть с глубоким почтением милостивый государь,

Ваш покорный слуга Г-и».

* * *

(Последние листки исповеди)

3-го сентября 1858.

Уж осень. На горах опять похоже на Россию. Не гуляется, и не сидится, и не спится!

5-го сентября.

Удивляюсь, почему люди стреляются всегда в голову. Гораздо покойнее прямо в сердце. И не так страшно... Нажал пружину — и все кончено. Я думаю, выстрела не слышно самому.

10-го сентября.

Что мне говорит совесть? Что мне говорит могила матери, которая вручила мне свою дочь? Ничего! Она была прекрасна, и она жила. Она не упала, и она наслаждалась. Не таковы ли две великие и редко совместимые задачи жизни? Я прав. Смерть ее была случайна. Я исполнил мой долг против твоей дочери, бедная мать... Да, я сто раз прав... Но *мне — мне-то* что же делать? Я-то раз-

ве не погиб дотла? О! если бы, по крайней мере, могила нашей Лизы была здесь, около твоей могилы, родная мать! я бы сидел на скамье с утра до ночи там и рыдал бы над вами. А теперь на что я? Что я? Зачем я? Не она погибла — я, я погиб без нее. Прошел бы год и два, я бы ждал, и она бы вернулась. Может быть, даже она вернулась бы матерью, и я бы обожал их ребенка.

Разве их дитя могло быть бездарно, или ничтожно, или некрасиво? На эту пышную почву я бы посеял свои поздние семена, и то, что во мне было только цветистыми мыслями, в их роскошном ребенке стало бы кровью и делом с ранних лет. Я подарил бы миру прекрасную душу и слышал бы голос Лизы, ее пение, видел бы ее улыбку, упивался бы ее радостью на мою любовь к ее ребенку...

О Лиза! Где ты? Где твои руки, твои глаза, твой голос? О, Лиза, дочь, отрада моя, ненаглядная! Лиза, Лиза моя! О, мое сокровище!

* * *

Здесь конец исповеди мужа.

Христинья услыхала на рассвете выстрел и нашла его мертвым на кровати. В ногах было привязано ружье, и курок он, должно быть, спустил снурком, который был проведен от правой ноги к пружине. Дуло было у сердца.

Нашлись наследники, и один из них, отдавая мне эту рукопись, сказал:

— И давно пора! Что за мерзавец! Погубил молодую жену!

Другой возразил на это:

— Мерзавцем его жалко звать. Но он был давно не в своем уме; не раз, еще до женитьбы его, люди видели, как он один в саду палки ломал об деревья. Закон бы надо построже для таких людей, опеку, предупредительные средства...

Египетский голубь

Рассказ русского

Рукопись эту я получил недавно. Автор ее скончался около года тому назад в своем имении. Он поручил одному из своих родственников передать ее мне вместе с другими отрывками из своих воспоминаний. Хотя мы с покойным Ладневым друзьями не были и встретил я его в жизни моей всего два раза, но обе эти встречи были самые благоприятные для сближения. Я не стану подробно описывать ни нашего первого знакомства в том самом Константинополе, где начинается его рассказ, ни нашего второго свидания на Дунае. Между этими двумя встречами прошло около десяти лет, и Ладнев за это время совсем изменился: он постарел и стал очень печален.

В письме его родственника, между прочим, сказано вот что: «Покойный незадолго до смерти своей, чувствуя себя нездоровым, однажды отпер ящик своего письменного стола, показал мне эту рукопись и сказал: «Когда я умру, пожалуйста, пошли это К. Н. Ему это доставит удовольствие, и напиши, что я даю ему право даже и напечатать этот рассказ. Пусть вспомнит он наши долгие беседы на палубе дунайского парохода «София» и наши прогулки зимними днями по улицам Царьграда».

Ладнев угадал! Я вспомнил *очень* многое!..

Быть может, я решусь прибавить еще несколько слов и от себя в заключение рассказа.

I

Когда я жил в Андрианополе, в турецком (восхитительном для меня) квартале, на моем дворе, в углу у высокой и сырой стены было большое персиковое дерево. Оно росло у самого окна моей маленькой гостиной, и на ветках его часто ворковал голубь.

Люди мне сказали, что это не простой голубь, а египетский. И в самом деле, я помню, голубь этот не был синеватый, как обыкновенные голуби, а больше был похож цветом на горлицу. Воркованье его было тоже иное, короткое, густое и с каким-то особым внезапным возгласом, который мне казался исполненным томительной любви и почти болезненной радости.

Солнце поутру вставало с той стороны, где рос под окном персик и где тосковал и радовался, воркуя, мой голубь. Как часто это солнце утром освещало ярким светом мою гостиную, в остальное время дня темную и прохладную! Я входил в нее рано; голубь из-за окошка приветствовал меня своим милым приветствием. Я задергивал занавески, садился на длинный, кругом всей комнаты диван мой, покрытый простою и темною материей, задумывался, глядел на стены и деревянный резной потолок аспидного цвета с белыми бордюрами и клеточками, в которых были нарисованы розы, тоже белые. Сидел я и думал, думал, думал... Никто меня не тревожил и не развлекал. Я сидел и думал, и все ждал *чего-то*. А голубь мой все ворковал и ворковал, все громче и громче, любовнее и любовнее. Что за счастье, что за мучительное счастье! Что за тоска! Что за ожидание!

Я ожидал, ожидал и *дождался*! *Все это* случилось почти в одно время; я влюбился в Машу Антониади и узнал, что и она меня любит, именно тогда, когда Велико, молодой болгарин, бежал из казацкого полка Садык-паши и скрылся у меня в доме. Тогда и персик у высокой стены моей покрылся весь розовыми цветами, потому что настала весна; в то время и я сам стал все лучше и лучше понимать, *что* воркует, *что* говорит и пророчит мне мой египетский голубок!

Маша Антониади была очень мила и красива собой. Глаза большие, черные, «бархатные», ласковые, хитрые; и что за цвет лица, золотистый и «теплый»!.. Правда,

самое лицо это было немного узко, немного длинно; так, по крайней мере, говорили многие... Но недостатки в женщинах я всегда любил; мне казалось всегда, что женщина чувствует этот недостаток сама, если даже он и мал; что ей страшно хочется нравиться (точно так, как и мне самому тогда хотелось нравиться) и что ей от этого немного, чуть-чуть больно; я думал об этом, я это чувствовал, даже и не думая, и меня влекло к ней уже потому, что мне становилось ее жалко...

Я смолоду очень любил *жалеть*... Жалеть было в то время для меня наслаждением...

И хотя Маша была и молода, и очень красива, и богата, и здорова, однако мне при первом же знакомстве пришлось слегка *пожалеть* ее, не только потому, что у нее лицо было *немножко* узко: этот недостаток так мало портил ее красоту, что я его долго вовсе и не замечал; но и по другой причине.

Вот как это было. В первый раз мы встретились в Буюк-Дере.

Мы все были у обедни в посольской церкви. Дамы посольские стояли на своих местах, мы на своих. Посланницы не было; тогда только ждали со дня на день нового посла; но на месте посланницы стояла молодая советница, жена поверенного в делах.

Отошла уже половина обедни; растворили царские врата, запели Херувимскую песнь. Все стояли тихо; многие из дам опустились на колени...

Как вдруг она вошла (в белом платье и прекрасных синих лентах). Вошла и, не стесняясь нимало, не смущаясь, стала выше советницы, тоже преклонила колени и стала молиться...

Пока пели Херувимскую песнь, пока архимандрит стоял перед алтарем с дарами, никто не обнаружил ни малейшего недовольства, но, как только притворили царские врата, советница оглянулась и на нас, и на других посольских дам и слегка с досадой пожала плечами. Один из секретарей сделал два-три шага. Он хотел тотчас же сделать вежливое замечание неизвестной даме, нарушившей обычаи нашей посольской церкви; но советница остановила его взглядом и сказала ему тихо: «Потом...»

Мне стало почти страшно за эту бедную, красивую и так хорошо одетую незнакомку... Кто она, я не знал...

Обедня кончилась. Я все следил за интересною дамой и пошел вслед за ней. На крыльце меня обогнал секретарь и, подойдя к незнакомке, начал говорить ей почтительно:

— Я должен извиниться перед вами; у нас в церкви заведен такой порядок, что посторонние лица выше посланника и посланницы и вместе с тем ближе к алтарю, чем служащие при посольстве, становиться не могут... Я прошу тысячу раз извинить меня...

Милая незнакомка покраснела так быстро и так сильно, как только может покраснеть человек...

Я стоял очень близко на лестнице за секретарем... Я поспешил так встать, чтобы видеть лицо молодой женщины, чтобы слышать ее ответ...

Она покраснела очень сильно, это правда (бедная!), но взглянула на нас тихими глазами... Нет! простое слово «глаза» нейдет к прелестному и кроткому взгляду ее черных, больших и бархатных *очей*!.. Это были именно те черные *очи*, которые воспевались поэтами в стихах.

Она взглянула так кротко и так томно и так просто отвечала на самом чистом русском языке:

— Я не знала, виновата. Другой раз я буду становиться сзади. Благодарю вас за то, что вы сказали мне.

Ни гнева, ни смешной обидчивости, ни натянутой гримасы, так называемого достоинства. Так просто и естественно!.. Покраснела только. Немножко стыдно, чуть-чуть больно от неожиданности, и такой находчивый в своей простоте и скромности ответ!

Мне показалось, что не я один был этим тронут. Молодой человек, на которого было возложено это щекотливое поручение, по фамилии Блуменфельд, всегда почти дерзкий, капризный и насмешливый, на этот раз рассыпался в извинениях. Выражение лица его стало не только любезно, но в высшей степени добродушно.

— Извините меня,— воскликнул он с ударением на слове *меня*.— Это порядок, дамами заведенный, и мне очень жаль за такой неприятный случай.

Она уходила по дорожке, ответив ему что-то, чего я уже расслышать не мог. Блуменфельд все время не надевал шляпы и кланялся ей слегка, но беспрестанно; наконец он надел шляпу и подал ей руку, которую она приняла. Они скрылись за деревьями.

В эту минуту из коридора вышел на лестницу другой наш товарищ, камер-юнкер, франт и формалист в светском отношении. По службе человек основательный и трудолюбивый, но во всем остальном до невозможности скучный. Хотя с виду мы жили с ним очень мирно, потому что он был характера ровного, серьезного даже и в светских мелочах, и очень обязателен, как товарищ, но я его что-то не любил; другой член посольства, очень язвительный, насмешник и выдумщик разных прозвищ, прозвал его (за глаза, разумеется) «вестовым»: это очень было удачно, потому что у него были черты лица очень грубые, лицо красное, белокурые и густые солдатские усы, без бороды. Я где-то видел таких солдат.

Он вышел на лестницу в ту минуту, когда Блуменфельд и милая незнакомка не завернули еще за поворот дорожки. Я оглянулся на него; он поглядел им вслед и равнодушно сказал:

— Я ее знаю; это жена одного здешнего *банабака,* Антониади.

Что́ значит банабак, я уже знал тогда. *Бана-бак* значит по-турецки: «Эй ты! смотри на меня!», т. е. «Слушай, я тебя зову!..» Простые люди в Турции беспрестанно кричат друг другу: «Эй! бана-бак!»

Поэтому и сделали из этого особое название *банабак:* простой, «*здешний* восточный человек»; вроде нашего русского *хам,* только с менее злым и подлым смыслом... Просто: человек *здешний...* и больше ничего.

— Она не похожа на жену банабака,—сказал я галантерейному и раздушенному *вестовому.*

— Не похожа, а жена,— отвечал он.— И почему ж не похожа! Что ж в ней особенного... Эти синие ленты у ней, правда, очень хороши (вестовой был тонкий знаток в женской одежде), заметили вы на них тонкие бордюры соломенного цвета? Это очень мило; очень мило. И шляпка хороша. Она, впрочем, воспитывалась в Одессе; из порядочной семьи негоциантов. А он *банабак.* Впрочем, был долго в Англии... Не пойдете ли и вы вместе завтракать в Бельвю?

— Пойдемте.

Мы спустились вместе с лестницы и встретили Блуменфельда. Проводив так любезно «жену банабака» до ворот, он вернулся с лицом уже недобрым, недовольным

и насмешливым, и с первого слова начал передразнивать эту женщину, перед которой он только что так искренно, казалось, рассыпался.

— «Виновата, я другой раз буду становиться сзади...» — говорил он с гримасой и немного картавя (она правда немного картавила или, вернее сказать, «пришепетывала», я должен употребить это слово, хоть и ненавижу его; мне кажется оно слишком грубо для Маши и для ее тонкого и едва заметного недостатка).

— Pardon, chére maman![1] — продолжал Блуменфельд, глядя на меня и на камер-юнкера с насмешливою улыбкой. — Pardon, chére maman... Я буду умница... Ingénue![2]... каналья... бестия!.. Молодой человек! (так любил он звать меня, хоть сам был еще года на три моложе меня), а! Молодой человек... Умоляю вас, не влюбитесь в эту бестию... Я уже по глазам вижу, что эта баба шельма, которая вас сделает на всю жизнь несчастным.

— Хорошо, я не буду влюбляться в нее, — отвечал я смеясь. — Да и где же мне ее найти.

— Вы хотите найти... Что вы мне сделаете, даром не скажу вам адреса!

— А! Блуменфельд уж узнал сам... справился там за кустами! — воскликнул камер-юнкер. — Не огорчайтесь (прибавил он, обращаясь ко мне) и не уступайте Блуменфельду ничего, я знаю ее адрес и скажу вам: Grande rue de Péra. Потом к маленькому Кампу, в первый переулок.

— К швее-то ты не заходи, — перебил Блуменфельд из Гоголя.

— Не зайдет, не зайдет к швее; он прямо к ней, — сказал добрый «вестовой» и продолжал объяснять мне адрес madame Антониади, которого я и не спрашивал, потому что не имел никакого приличного повода сделать ей визит.

— Оставьте, оставьте эту опасную женщину! — воскликнул Блуменфельд. — Не развращайте молодого человека. Пойдемте поскорей есть.

Мы пошли вместе завтракать в Бельвю; переменили разговор; и о красивой madame Антониади в этот день не было более и речи.

[1] Простите, милая мамочка!

[2] Простушка!

II

Прошло, может быть, с неделю, не помню. В посольстве все скучали; ждали нового посла, опасались перемен по службе; не знали, как уживутся с ним. Несмотря на то, что близилась осень, жара была нестерпимая. Меня задержало в Константинополе одно личное дело, одна «неприятность», одно столкновение с иностранцем, из которого я вышел очень удачно и лестно для моего самолюбия, но за эту *удачу* все-таки по службе нужно было отвечать «формально»... Переписка с *иностранцами* тянулась. Мне уже становилось скучно и тяжело быть так долго здесь, в столице, *не у дел,* жить четыре месяца не то гостем, не то подсудимым за слишком смелое самоуправство, и очень хотелось вернуться скорее в провинцию, к освежающей и деловой борьбе. Я сидел одним жарким полуднем в прекрасном посольском саду, на скамье в тени, и ужасно скучал. Я не могу на словах ни передать, ни изобразить то место, где я сидел, но скажу, что направо от меня был недалеко боковой флигель, где наверху помещалась канцелярия, а под канцелярией, в нижнем этаже, проходные ворота; а налево, за деревьями и кустами был скрыт от глаз большой павильон, которого нижний этаж занимал М. Х-в, один из драгоманов посольства. У него была молодая, умная и очень милая жена. И я и с мужем и с нею был дружен и часто бывал у них; дойти до них было легко, но в эту минуту я даже и этого не желал.

Так сидел я очень долго под тенью огромного дерева и все тосковал и скучал, глядя то на синее небо и пышную зелень сада, то на белую каменную ограду, которая прямо передо мной отделяла сад от набережной и Босфора и заслоняла совершенно вид на них. О мадам Антониади у меня и помысла не было никакого. Как вдруг она явилась из проходных ворот; вышла и остановилась. Опять она была хорошо одета; опять мой светский «вестовой» похвалил бы ее туалет. Я не буду описывать его подробно; боюсь, чтобы надо мной не смеялись, боюсь напомнить «модные» рассказы в «Современнике» покойного Панаева.

Однако, как ни боюсь я этого, мне этот миг ее неожиданного появления в воротах был до того приятен, что

мне хотелось бы передать другим все, все до самых пустых мелочей... Да! она опять была одета так мило, так изящно. На ней было в это утро такое хорошее желтоватое батистовое платье, а пояс был черный... очень широкий и длинный; шляпка была совсем кругленькая и низкая, обшитая черным бархатом, с двумя перьями из крыльев неизвестной мне птицы: жесткие, рыжие, какие-то вроде орлиных, но с большими белыми горошинами... Она остановилась и огляделась; я встал и поклонился не совсем кстати даже, потому что никто меня ей не представлял и она меня вовсе не знала...

Несмотря на эту необдуманную и не совсем сообразную с приличиями вежливость мою, она обратилась ко мне очень приветливо и спросила, как пройти к мадам X., к жене драгомана; я поспешил указать ей на дорожку вдоль стены, и мы, расставаясь, молча поклонились друг другу. Я опять сел на ту же скамью и стал смотреть все на те же прекрасные деревья и кусты и на ту же белую стену, которая была предо мной так близко. Но эта скучная стена теперь не была уже так безжизненна и пуста ослепительною белизною своей. От меня зависело вызвать из моей собственной души милую тень, прошедшую мимо. И я видел ее перед собою. Я видел взгляд черных глаз, ласковый и кроткий, но с тонким лучом почти неуловимого лукавства. «Что-то умоляющее и доброе...» казалось мне иногда; «что-то странное и немного коварное» казалось мне в другие минуты...

Я сидел на скамье не просто: поверенный в делах обещал мне прислать за мной в сад своего камердинера, как только он кончит переговоры с толстым и несносным советником той западной нации, с чиновником которой я имел *слишком удачное* столкновение, до беззаконности удачное. Западный советник приехал к нам за окончательным объяснением по тому делу, по которому меня вызвали в Царьград. Он сидел уже давно, и я понимал, что борьба между двумя дипломатами идет за меня... Но я был довольно покоен. Я давно уже решил, какие уступки я могу сделать по приказанию начальства и каких не сделаю ни за что...

Меня позвали, наконец, и я оставил скамью вскоре после появления милого призрака в батистовом платье. Наш поверенный в делах видимо был доволен, что перего-

воры кончились ничем и что сам иностранец предпочитал отложить решение до приезда нашего нового посла и до возвращения из отпуска его собственного начальника.

— Ваше дело ладится,— сказал мне поверенный в делах.— «Неприятель» делает уступки. Надобно и вам быть немного податливее. Я понимаю ваш поступок, но ведь согласитесь, что он неправилен!

— Я, конечно, не искал формальной правильности, поступая так,— отвечал я.— Я нахожу, что *по чести* русской я поступил правильно, проучив этого негодяя... Я прошу помнить, что он сказал мне (или вернее сказал *не мне,* а *русскому*): «Извольте выйти вон и чтобы нога ваша не была более на пороге нашей канцелярии...» Разве можно было не ударить его?

— Что *эти господа* нестерпимы, в этом нет никакого сомнения,— сказал поверенный в делах и отпустил меня.

Я был свободен в эту минуту и пошел тотчас же к той самой русской даме, жене драгомана, к которой мадам Антониади ходила с визитом. Я думал, что я застану ее там, однако нет: ее уже там не было. Но я застал там «вестового» и Блуменфельда. Они оба у X. бывали очень часто.

Разговор у них шел о посторонних предметах, совсем не о том, что́ меня интересовало в эту минуту. Дверь из гостиной в нижнем этаже была растворена прямо в сад, и за этою дверью была видна та широкая и чистая дорожка, по которой она, вероятно, только что ушла. Но никто не упоминал об ней ни слова!..

Говорили о том, что надо ждать со дня на день нового посла, и об его прежних дипломатических успехах; еще о том, как ловко острит по-французски один русский генерал. Недавно он гулял по набережной, и большая светящаяся муха села на его густую и красивую рыжую бороду. Одна Перотка (она сильно *румянилась*), встретив его, сказала: «Mon général, vous portez un *phare* dans votre barbe!» — «Pourvu, madame, gue je n'en aie pas sur la figure (du *fard*)»[1],— отвечал генерал.

---

[1] «Генерал, вы носите маяк в своей бороде!» — «Лишь бы, сударыня, я не имел его на лице». (Генерал играет созвучием слов phare — «маяк» и fard — «румяна»).

Я сам очень любил остроты этого генерала; но теперь я все ждал *иной беседы...* Потом рассказали, как директор оттоманского банка запретил своей молодой жене знакомиться без его разрешения с новыми неизвестными ему лицами и что она, повинуясь ему, не позволила кому-то представить себе португальского посланника, а когда испанский посланник вызвал за это мужа на дуэль, то директор банка (человек, впрочем, исполненный энергии и храбрости) нашел, что жена его виновата тем, что не умела различить представителя европейской державы от здешних *банабаков...* и воскликнул даже: «Ma femme n'est après tout qu'une jeune fille!»[1]. И они помирились.

Я обрадовался этому слову *«банабак»...* Я думал: вот кто-нибудь из них скажет: «А как вы находите жену банабака Антониади, которая сегодня была у вас с визитом?» Сам я с *не совсем уже чистою* совестью не хотел спросить об этом. Но никто не упомянул о ней. Так прошло около часа. Вдруг на дорожке, против дверей, показалась наша молодая, но вовсе не красивая и тихо надменная советница. Она шла не спеша своею спокойною и прекрасною походкой. Хозяйка дома вышла к ней навстречу.

Они поздоровались и пришли вместе. Мы все встретили их на балконе. Советница, ответив нам всем едва заметным движением головы, больше снизу вверх, чем сверху вниз, сказала:

— Может быть, кто-нибудь из вас объяснит мне, *чтó такое* мадам Антониади? Вот ее карточка. Она была у меня, только мне не хотелось ее принять... Почему она явилась ко мне?..

Жена драгомана поглядела на визитную карточку и, засмеявшись, сказала:

— Это та самая дама, которую попросили в прошлое воскресенье не становиться впереди всех... Она была сегодня у меня с визитом. Она довольно мила...

— Все это прекрасно,— возразила советница,— но почему же она делает мне визит...

Жена драгомана, видимо, хотела заступиться за мадам Антониади и сказала:

— Она родом из Одессы, из довольно порядочного

[1] В конце концов, моя жена всего лишь девушка!

дома одесского негоцианта, русская подданная. Путешествовала и жила в Англии... Ну вот приехала сюда, хочет быть принята у нас...

Советница слегка пожала плечами, положила карточку на стол, как будто она до нее не касалась, как будто она не удостоивала даже и принять ее на свой счет, села и переменила разговор. Она просидела довольно долго и, собираясь уходить, подошла к столу, взяла снова карточку, поднесла ее близко к глазам и прочла громко еще раз:

— Madame Antoniadi, tout court...[1]

Потом, обращаясь ко всем нам, спросила еще раз, почти с досадой:

— Я бы желала знать, зачем же эта дама мне сделала визит?

На это ответил Блуменфельд с пренебрежением, по-русски:

— Наглая бабенка... Ей хочется втереться в посольство...

— Что ж, она из таких дам, которым платят визиты, или нет? — спросила опять советница.

— Я думаю, нужно, — сказала жена драгомана. — Впрочем, вот monsieur Несвицкий ее знает, кажется, лучше нас.

— Да, я ее знаю немного, — сказал «вестовой». — Я имел случай ужинать с ней у ***. Она довольно мила, это правда. Но она не светская женщина. Вообразите, на этом ужине она ела в перчатках... Все обратили внимание...

— Ведь в Англии многие, я слышала, делают так, — возразила жена драгомана. — Я несогласна с этим; я нахожу, что она женщина хорошего общества et qu'elle a l'air très distingué...[2]

Несвицкий на это заметил следующее, с значительною и основательною, почти научною точностью:

— Я позволю себе различить понятие «светская женщина» от понятия женщина «distinguée»[3]. Она может быть «distinguée», мила и все, что̀ вам угодно, но я не позволю себе назвать «светскою» женщиной женщину, которая не знает приличий и принятых в свете обычаев.

---

[1] Мадам Антониади, всего-навсего...

[2] И что у нее весьма изящный вид...

[3] Изящная.

Местные обычаи в Англии не могут везде быть приложимы... Это смешно здесь, где высшее общество вполне космополитического характера...

— Может быть,— отвечала хозяйка дома, и на этом *ученом* замечании скучного камер-юнкера разговор о мадам Антониади опять прекратился.

Но сношениям моим с Машей Антониади еще не суждено было ограничиться этими двумя встречами.

Мне очень было обидно за нее, и я досадовал на эту сухость советницы, тем более что считал все это напускным и даже глупым.

Я понимал всегда необходимость общественной иерархии и даже любил ее; но я находил, что человек с умом должен делать исключения; а константинопольское общество к тому же такого смешанного и оригинального состава, что делать эти исключения, мне казалось, здесь было легче, чем где-нибудь. Я очень беспокоился за эту бедную мадам Антониади, с которой мне не пришлось даже и говорить ни разу как следует. Нельзя же было назвать разговором то, что она спросила у меня, как пройти к жене драгомана, что я вывел ее на дорогу и сказал: «Вот здесь, прямо». А она поблагодарила меня и ушла. Несмотря на это, ее миловидность и, как мне казалось, что-то вроде ее беспомощности в нашей посольской среде привлекало меня к ней, и мне хотелось непременно достичь того, чтобы наши дамы отдали ей визиты. Она воспитывалась и выросла в Одессе, говорила по-русски так же чисто, как мы все, молилась усердно в нашей церкви, была, может быть, так рада, по возвращении из Англии и Франции, видеть стольких русских, и еще таких порядочных, умных, образованных, хорошего тона... Зачем же ее оскорблять?

С женой первого драгомана мне было бы легко объясниться; она держала себя очень просто; я сказал уже, что с мужем ее и с ней самою я был в дружеских отношениях. Рассуждать и спорить тонко и умно она очень любила... Но у нее были свои недостатки; она была иностранка, и родная сестра ее была замужем в Германии за самым простым, хоть и богатым шляпным фабрикантом. Несмотря на такое неизящное родство, она сама выросла в высшем петербургском обществе и могла бы быть в этих случаях вполне самостоятельною; но она при боль-

шой независимости ума была очень непостоянна в своих принципах и вкусах и вообще по характеру как-то не слишком надежна; я знал, что ей гораздо приятнее и легче будет побывать у мадам Антониади после советницы, чем первой показать пример. Поэтому я решился убедить прежде всего советницу. Это было не совсем легко; она, как я уже не раз говорил, была женщина очень тихая и вежливая, но очень недоступная (быть может, и оттого, что лицом была дурна), и, несмотря на то, что муж ее любил меня, часто звал к себе обедать и обращался со мной почти по-товарищески, она едва-едва протягивала мне руку и все как будто чего-то опасалась. Однако, если человек чего-нибудь захочет, он выждет случая и воспользуется им.

III

Не более как дня через три после нашей встречи с мадам Антониади в саду я обедал у советника и остался по его приглашению на целый вечер. Мадам X. пришла запросто после обеда. Скоро совсем стемнело; утихший Босфор был покоен, и на азиатском берегу прямо против нашего балкона светился на каком-то судне пунцовый огонь. Советник с Блуменфельдом и генеральным консулом сели играть в зале в карты, а я остался на балконе один с обеими дамами. Мы все сначала то молчали, то говорили о ничтожных предметах, потому что все трое были задумчивы и всем хотелось смотреть на тихий пролив и на красный огонь. Мадам X. первая прервала наше задумчивое молчание.

— Вы мечтаете сегодня? — спросила она у советницы.

— Нет,— ответила та,— я не мечтаю; я смотрю на этот красный огонь и вспоминаю другой такой же огонь в Бейруте... Во время этих сирийских ужасов... на такой огонь я смотрела тоже одним вечером... Это ужасно вспоминать... Какая жестокость у людей этих, какое варварство!.. И сама я выучилась такой жестокости... Как я была рада, когда Фуад-паша приехал и начал расстреливать этих начальников!..

— Я думаю! — заметила на это мадам X.,— вы только что приехали тогда в Турцию, и первые впечатления ваши были такие страшные!..

Советница, вообще неразговорчивая, на мое счастие,

в этот вечер была возбуждена и общительна. Она рассказала, как кто-то (не помню кто; я, должно быть, не слишком внимательно слушал) давал бал в Бейруте незадолго до начала борьбы между друзами и маронитами, перешедшей в повсеместное избиение христиан. На этот большой бал были приглашены и главные вожди друзов, великолепные воины в оригинальных одеждах. Никто в этот вечер не предвидел, что руки этих красивых людей, которые держали себя на мирном балу с таким простодушным достоинством, так скоро обагрятся кровью... «Один из них (говорила советница) очень наивно заснул на диване, и многие из мужчин ходили любоваться на него... Он спал и ничего не слышал...»

Окончив этот рассказ, советница прибавила:

— Да, когда вспомнишь весь этот страх, этот ужас!.. Вообразите, один из самых богатых негоциантов, француз... он имел какую-то фабрику или что-то в этом роде около Бейрута, и у него были три дочери, большие и очень красивые... Этот человек тайно от жены и дочерей подложил под дом свой бочонки с порохом... Понимаете, чтобы взорвать всех их на воздух, если бы друзы или мусульмане напали бы на их жилище. Вообразите, эти несчастные жили столько дней над этим «волканом», ничего не подозревая!.. И эти ежедневные известия!.. И нельзя бежать!.. Мужу нельзя оставить своей должности, и с моей стороны было бы низко оставить его одного в такие минуты!.. После, когда все это кончилось, мне не раз казалось, что это все неправда, что этого никогда не бывало, не могло быть.

Советница одушевилась и говорила еще долго и все так же хорошо.

Я молчал пока, но тотчас же сообразил, что можно воспользоваться этим предметом разговора на пользу мадам Антониади «tout court». Дамы продолжали рассуждать о варварстве и жестокости. Наконец, выждав время, я сказал:

— Мне хочется по этому поводу сделать несколько очень откровенных замечаний, но мадам Н. (советница) всегда своим спокойствием и недоступностью наводит на меня такой «священный ужас», что я иногда не решаюсь заговорить с ней, как бы не испортить себе карьеру и все дела.

— Écoutez[1],— возразила она мне на это довольно резко,— какое мне дело до вашей карьеры, согласитесь сами?

— Вот видите, как я прав,— воскликнул я.— Я еще и мнения своего не собрался сказать, а вы уже спешите уничтожить меня... Я ведь не говорил вам, что я прав в моей боязни... Я хотел сказать только, что «священный ужас» мой так велик при взгляде на вас, что я теряюсь и думаю всякий вздор, например, о карьере и т. п.; особенно когда изредка я сижу так близко от вас, как теперь... Чин у меня не велик еще... знаете...

— Вы очень дурно начинаете... Вы говорите обидные вещи... Эти чины!— прервала меня Елена Х. (она, замечу между прочим, очень была довольна, что муж ее такой еще молодой и уже статский советник).

— Ну да, разумеется,— сказала советница.

Однако я был прав; я заставил ее в первый раз обратить внимание на то, что она уж слишком сухо держит себя не со мною одним, а со многими. (Незадолго пред этим один молодой товарищ наш поднял с полу платок, который она уронила, и хотел ей отдать, но она не взяла из рук в руки, а показала ему движением головы на стол и сказала: «Туда».) Мой приступ был уж тем хорош, что немного смягчил и как бы пристыдил ее. После этого я продолжал:

— Разве вы хотите, чтоб я не «трепетал», а был бы откровенен?

Она сказала:

— Смотря по откровенности...

— Моя откровенность будет вот в чем: я нахожу, что есть случаи, в которых и вы, и мадам Х-а обнаруживаете больше жестокости, чем начальники друзов и мусульмане Дамаска. Что ж прикажете: *трепетать* или не трепетать?

— Не трепещите... Впрочем, вы все притворяетесь... Трепещут совсем иначе... не так, как вы...

— C'est très curieux![2] — воскликнула мадам Х-а.— Где же это варварство наше?

— Жестокость, жестокость, а не варварство; это раз-

[1] Послушайте.
[2] Это очень интересно!

ница,— сказал я.— Извольте, вот в чем. Я понимаю, что толпы людей, возбужденные идеей, совершают ужасы во время войны или междоусобий. Я понимаю также вполне вашу радость, когда расстреливали тех, которые ужасам потворствовали или руководили фанатиков... Это война, кровопролитие... Пожар страстей... Но зачем тонкая жестокость в мирное время?... Зачем эти «общественные обиды»? Les variations insolentes de la politesse[1] (это не мое, это слово одного французского публициста)...

— Что такое! Что такое! Какие variations?[2] — воскликнули дамы с любопытством.

— А вот какие... Отчего вы не захотели заплатить визит молодой женщине, русской, которая выросла в Одессе и рада русских видеть; которая очень мила и прилична; а посланницу, леди Б., хромую, скучную, глупую, по-моему, с красным носом, которая похожа на пьяницу-кухарку, вы принимаете почтительно и спешите сами к ней... Это жестокость... и вместе с тем, простите, я не смею сказать...

— Говорите уж все...

— Недостаток вкуса!

— А! — перебила Елена X.,— он влюбился в эту мадам Антониади и жалеет ее. Но если так, то нам нужно платить визиты и жене Боско, нашего portier[3], чтоб и она была довольна?

— Вы сами знаете, что это не так,— сказал я.— Жена Боско не претендует на это. А если у вас много доброты и мало жестокости, то надо и невинные претензии в других щадить... Разве у нас всех трех нет вовсе претензий?

— У вас их даже много,— заметила советница, только очень добродушным тоном.

Я постарался также придать моему голосу и тону величайшую почтительность, почти молящую и детскую кротость и сказал:

— Ну, так сделайте на этот раз исключение. Вы так обе поставлены выгодно, что вы этим не унизитесь, потворствуя на этот раз моим претензиям... Прошу вас...

---

[1] Оскорбительные различия в соблюдении учтивости.

[2] Различия.

[3] Швейцара.

— Что же, вы в самом деле влюблены? — спросила мадам Х-а; а советница сказала ей:

— Послушайте, исполним его желание; только с тем условием, чтоб он впредь хоть немножко «трепетал», а то он именно потому и говорит о «священном ужасе», что он ничего такого не чувствует...

— Согласен, — отвечал я, — я дам вам слово, что несколько месяцев, если угодно, я буду уходить куда-нибудь в дальний угол, как вы только войдете в комнату...

— Хорошо...

— Но это ведь ко мне не относится, — возразила жена первого драгомана. — Это вы его можете ужасать, а я для него нипочем... Он даже бранит меня иногда. Мое условие для визита другое. Я поеду с тем условием, что я при всех, и при Блуменфельде и при других, расскажу, как он влюблен в мадам Антониади...

— Извольте, — согласился я. — Я не боюсь... Все эти молодые люди были когда-нибудь и сами влюблены; и будут еще. Что ж такое!..

Но в самом деле мне это было очень неприятно. Я согласился только для того, чтобы достигнуть цели; но я решился просто упросить после мадам Х., чтоб она этого не делала. А теперь надо было ей уступить...

Разумеется, все это было дело случая. Мадам Антониади была такого рода и такого положения женщина, что они обе могли бы сделать ей визит без моего ходатайства, могли и не сделать... Если бы муж ее был и хуже, но был бы одним из русских подданных, торгующих в Царьграде, русский *примат* (un primat russe)[1], то сделать ей визит раз или два в год было бы, пожалуй, даже обязанностью для наших чиновных дам. Но Антониади имел французский паспорт, и жена его никакого *политического* значения для посольства иметь не могла, а имела только *общественное*, которое казалось недостаточно велико... Сама же по себе мадам Антониади была достойна их общества, и главное затруднение, мне казалось, происходило оттого, что советница была сама *не в духе* в это время. Она надеялась, что муж ее после долгого управления останется тут посланником; назначение нового раздражи-

[1] Здесь: первое лицо среди русских.

ло ее, и она, предвидя скорый отсюда отъезд свой, была ко всему окружающему равнодушна и не хотела взять на себя ни малейшего труда.

Однако она сдержала свое слово. Чрез несколько дней я опять обедал у них. Она вышла к обеду и, увидав меня в толпе других, назвала меня по имени и, указывая на дальний темный угол, сказала:

— Идите туда... Понимаете?

— Понимаю, — сказал я и покорно пошел в этот угол.

— Что такое? что такое? — спросили все.

— Ничего, — отвечала она. — У нас такой уговор есть... Пари.

— Нам нельзя знать? — спросил муж.

— Можно. Я скажу после.

И отвернулась от меня.

Я посидел, разумеется, недолго в углу, встал и хотел выйти на балкон; но она позвала меня и сказала:

— Я исполнила... она в самом деле *ничего!..* Elle est très bien, quoique un peu prétentieuse un peu précieuse...[1]. Вы были в углу; теперь остается при всех обнаружить, что вы к ней неравнодушны, но я предоставляю это Елене Х., она собиралась обличить вас...

— Как вам угодно! — сказал я очень сухо, и она, увидав на лице моем досаду и боль, была так добра и деликатна, что за обедом даже ни слова не упомянула о мадам Антониади.

Что касается до Елены Х. (она тоже была у мадам Антониади с визитом в этот же день), то я пошел к ней вечером, поцеловал у ней за это руку и откровенно и убедительно просил ее не «дразнить» меня и не говорить ни при ком *об этом.*

— Вы разве в самом деле влюблены? — спросила она меня с искренним участием.

— Нет еще, — отвечал я, — но если вы будете так шутить при всех, а потом я сам познакомлюсь и начну в доме бывать, то это ей повредит со временем... вы так добры сами и честны... зачем же вы будете делать зло молодой женщине, которая сама вам понравилась...

— Это правда, — сказала добрая Елена, дала мне слово не шутить этим и тоже сдержала его.

---

[1] Она очень мила, хотя немного претенциозна, немного жеманна...

IV

После этого я стал искать случая познакомиться с семейством Антониади. Я мог бы достичь этого легко через Блуменфельда, который хотя и бранил их за глаза и смеялся над ними, однако был у них несколько раз, как я узнал от камер-юнкера. Но разве этот человек мог к чему-нибудь подобному отнестись просто? Его-то именно я и не хотел просить ввести меня в этот дом. Во всякий другой, только не в этот!

Было еще и другое затруднение... я был очень дурно одет. У меня был очень хороший новый фрак, в котором я часто обедал в посольстве, но ежедневное мое платье было не хорошо. Почти все мои знакомые и товарищи были такие щеголи, а я ходил по набережной Буюк-Дере в каких-то белых летних сюртуках вроде военных кителей. Не скажу, чтобы меня это слишком огорчало или стесняло, я был спокоен и не стыдился; а сослуживцы мои, надо отдать им эту справедливость, при всем щегольстве своем, связях и богатстве вели себя со мной совершенно по-товарищески и сами приглашали меня на такие прогулки и сборища, в которых принимали участие и самые знатные, самые чиновные иностранцы. Раз только один из секретарей посольства сделал мне замечание по поводу моего костюма, но такое дружеское, что оно обидеть никак не могло. Он сказал мне с участием и грустью:

— Когда это, милый Владимир Александрович, я увижу вас хорошо одетым? Эти белые штуки ваши мне ужасно надоели!..

— Если они надоели вам, то каково же мне?— отвечал я ему.— Что ж делать!.. Надо иметь терпение. Дайте денег взаймы, я сошью себе платье у Мира.

— Проиграл много; а то бы дал с радостью!— печально сказал на это секретарь...

Однако это замечание принесло свои плоды...

Я стал думать о том, как бы мне устроить это дело и явиться пред милою Антониади; я не говорю чем-нибудь особенным, а хоть таким, *как все*... Нужно было занять. Но где? У кого?

Я стал было просить вперед мое жалованье у нашего казначея Т., добродушного, толстого грека-католика.

Он иногда давал. Но на мою беду, Т. был в то время под самым неблагоприятным для меня впечатлением.

Один из небогатых сослуживцев наших, родом болгарин, незадолго пред этим взял у него вперед жалованье за два месяца, заболел и умер. Толстый Т. топал ногами и с мрачным видом кричал:

— Вообразите, какой фарс разыграл со мной «ce diable de Stoyanoff?»[1]. Взял деньги и умер! И я теперь плачу казне свои... Я не буду больше никому давать ни копейки.

Что мне было делать? Мера терпения моего истощилась; та внутренняя самоуверенность, та гордость, которая до этой минуты *возвышалась над белыми старомодными и странными кителями,* начала почему-то слабеть... мне становилось больно, скучно...

Счастливая случайность выручила меня неожиданно. Тоскуя о новом платье, я зашел к Вячеславу Нагибину, молодому чиновнику русского почтового ведомства в Константинополе.

Он был юноша богатый; расчетливый до скупости; по службе аккуратный; маленького роста, свежий и красивый, как куколка; охотник до хороших вещей, до древностей, до восточных ковров, до кипсеков. Я с ним был в хороших отношениях; во время приездов моих в столицу находил всегда пристанище на прекрасном диване его приемной, и даже, признаюсь (я дал себе слово во всем признаваться в этом рассказе), удивлял всех тем, что умел, несмотря на его чрезвычайную расчетливость, занимать под его археологические вкусы. На этот раз мне опять удалось то же самое, и в гораздо больших размерах. Нагибин достал где-то очень редкое иллюстрированное издание «Секретный Помпейский Музей». Я начал объяснять ему, почему эти, по-видимому, бесстыдные изображения помпейских жилищ не производят на человека со вкусом и нравственным чувством того возмутительного впечатления, которое производят на него цинические картины нашего времени. Я доказывал ему (конечно, не без основания), что *сравнительное* целомудрие и изящество древнего сладострастия происходило от того, что было освещено как бы косвенными лучами са-

[1] Этот дьявол Стоянов!

мого религиозного начала, господствовавшего в греко-римской жизни, и потому самые бесстыдные изображения были чужды того цинического юмора и той грязной грубости, с которою приступают ко всему подобному люди нашего времени (и особенно дикие эти французы) вопреки христианству...

— Растлением античного мира,— сказал я,— как будто бы правили благородные демоны Мильтона и Лермонтова; современным развратом правит отвратительный Мефистофель. В нравственном отношении,— прибавил я,— быть может, это и лучше, так как есть умы и сердца, которые, отвращаясь от грязи и цинизма, легко поддаются тонкому обаянию плотской эстетики. Но в отношении искусства — совсем иначе.

Вячеслав Петрович был в восторге от моего объяснения и спросил:

— Отчего вы об этом не напишите?

— Куда мне писать!— отвечал я.— Я мог бы писать в хорошей обстановке, я не хочу быть похожим на газетного скромного труженика... Это очень обидно. А тут денег нет никогда! (Я еще раз сознаюсь, что у меня тогда были большие и самые разнородные претензии.)

— Сколько вам теперь нужно? — спросил Нагибин,— скажите откровенно...

— Рублей двести,— отвечал я,— но вы мне столько раз уже давали; про вас говорят все; что вы скупы на все, кроме ваших этих редкостей...

— Вы тоже редкость! Я и еще вам дам; вы мне те заплатили,— сказал он любезно и пошел доставать из своего бюро деньги, которые я долго, очень долго потом не в силах был ему возвратить.

За эту вину мою Нагибин был одно время на меня основательно сердит; но это случилось гораздо позднее, а в те дни, которые последовали за моим неожиданным и столь удачным займом, Нагибин был доволен мною, а я совершенно счастлив.

Я оделся хорошо, так хорошо, что переход от «белых кителей» был уж слишком резок и бросался всем в глаза.

Товарищи шутили, но так мило и не зло, что их ласковые насмешки не только не оскорбляли меня, но даже усиливали мое удовольствие.

Первый секретарь посольства сообщил мне с улыбкой, будто бы все иностранцы спрашивают:

— Кто этот молодой и элегантный консул, который давеча вышел из ворот русского посольства? Кто это? Кто это?

— Непременно консул. Отчего ж не секретарь посольства?— спросил я. И прибавил: — Вы, верно, не находите меня этого звания достойным? Какой-нибудь оттенок?..

— Мы, секретари, люди мирные, люди пера,— отвечал с улыбкой первый секретарь,— а у вас усики так припомажены и подкручены, что всякий примет вас за консула. Ex ungue leonem!..[1] Консула люди воинственные; они считают долгом все разносить, чтобы доказать величие русского призвания на Востоке...

Меня это объяснение восхитило своею тонкою ядовитостью... Один из драгоманов (тот самый, который так жаждал видеть меня хорошо одетым) обнял меня и воскликнул:

— Наконец-то моя мечта осуществилась... Молодцом! молодцом... Поздравляю, голубчик... Поздравляю!

Янинский консул Благов, с которым мы были на «ты» и знакомы с детства и который только что приехал в отпуск, хотел сочинить стихи на мое новое платье... (Он писал иногда очень хорошие эпиграммы и сатиры.) Но, по его собственному уверению, было так нестерпимо жарко, что злая муза его дремала и он дальше одного стиха не пошел:

Тому цвету *Bi smârc* изумлялся народ...

Замечу, что я, по всегдашнему расположению моему подозревать в людях скорее доброе, чем худое, не поверил, что Благов изнемогает от жары, приписал неудачу его стихов высокому чувству самой тонкой доброты; я думал, что он не хочет даже и легкою горечью приятельской насмешки отравить ту почти отроческую радость, которую он мог предполагать во мне... Да я ее и не скрывал!

Самой надменной советнице нашей я сказал:

— *Теперь* я вас буду меньше бояться!

[1] По когтям ⟨узнают⟩ льва!.. *(лат.)*

— Смотрите не ошибитесь, не будет ли хуже? — возразила она довольно благосклонно.

Однако ничего *худшего* не вышло ни от нее, ни от других, и мне оставалось только найти случай познакомиться с мужем Антониади. Этот случай представился сам собою раньше, чем я ожидал. Дело было вот как. Мы ждали приезда нового посланника в Буюк-Дере. Два дня продолжалась ужасная буря. Страшно было подумать, как плывет он теперь по Черному морю из Одессы с семьей?.. Но в самый день вступления маленькой «Тамани» в Босфор погода разгулялась; пролив стал синий и ровный; все утихло и приняло праздничный вид. Стало так хорошо, что один из сослуживцев наших с завистью воскликнул: «*Этому человеку* (посланнику) на роду написано счастье! Даже и погода для него разгулялась!»

Поверенный в делах и все чиновники посольства готовились встретить начальника, надели фраки. Было дано уже как-то знать, что «Тамань» вступила в пролив. Я не принадлежал к посольству, не искал присоединиться к этой свите, хотя бы мне никто, конечно, этого бы не запретил.

Не знаю и не помню почему, я предпочел пойти на квартиру того казначея Т., который так сердился на неожиданно умершего болгарина, и смотреть оттуда на въезд и встречу из окна. Т., сам приглашая меня воспользоваться его окнами, отворенными прямо на прекрасную набережную Буюк-Дере, предупредил меня, что я найду у него гостей.

— Un certain Antoniadi Chiote. Brave homme quant ae fond; mais anglomane comme un sot![1] — сказал он с мрачною энергией и прибавил, подмигивая: — Possédant du reste une femme, une jolie femme, dont vous me donnerez des nouvelles, je veux bien l'espérer!»[2] И, притопнув значительно ногой, толстяк надел круглую шляпу и удалился поспешно, потому что поверенный в делах его давно ждал.

---

[1] Некий Антониади, хиосец. Славный человек, в сущности; но англоман до нелепости!

[2] Имеющий к тому же жену, хорошенькую женщину, о которой вы мне сообщите что-нибудь интересное, хотел бы надеяться!

Я пошел к нему на квартиру и увидал там этих «гостей».

Была тут одна пожилая, почтенная дама; гречанка тоже и, как сам хозяин, римского исповедания; двоюродная ему сестра; не знаю, почему-то она давно уже носила траур. Я ее знал и прежде, и мне очень нравилась ее приятная и благородная наружность. Седые волосы и бледное лицо; плавная и величавая походка, черная одежда печали и тонкие черты лица, милая моложавая улыбка, несколько лукавая,— все это вместе располагало меня к ней, хотя я встречал ее редко и еще реже имел случай с ней говорить.

Она сидела на диване рядом с другой дамой, тоже не молодою.

Эта другая дама была совсем иного рода. Я ее видел в первый раз. Одета она была недурно и сообразно с годами и держала себя очень скромно. И, несмотря на все это, в ее наружности было что-то подозрительное, притворное и отталкивающее. Она была очень бела, бледна и несвежа; волосы ее были светлы, как лен, черты лица неправильны и некрасивы; губы тонки, а веки очень красны. Она придавала себе сантиментальный вид. Взглянув на нее, я разом вспомнил о трех очень далеких друг от друга образах — о белом кролике с розовыми глазами, о какой-нибудь несчастной, никем на свете не любимой и некрасивой старой девушке и еще о начальнике султанских не черных, а *белых* евнухов... мне хотелось поклониться ей и сказать:

— Здравствуйте, m-lle *Кызлар-агаси!*..

Но она была не девица, а вдова из Одессы, приятельница г-жи Антониади, безо всякого определенного общественного положения.

— Madame Игнатович, ваша соотечественница, из Одессы, приятельница madame Антониади,— сказала кузина хозяина, знакомя меня с ней.

И фамилия эта самая, Игнатович, была такая неопределенная, она могла быть и польскою, и сербскою, и малороссийскою, и даже великорусскою, все равно.

Эта женщина возбудила во мне к себе сразу отвращение...

Пред этими двумя дамами, привлекательною и ужасною, сидевшими рядом на диване, качался тихонько на

качалке бледный как воск брюнет с густыми и длинными черными бакенбардами и с цилиндром в руке. Это был сам Антониади — «Chiote; bon homme, quant an fond...»[1]

Жена его сидела у окна и, облокотясь на подоконник, смотрела на Босфор, за которым зеленел азиатский берег.

Она сидела, одною рукой облокотившись на окно, а другою обнимала дочь свою, девочку лет семи. И в одежде дочери была видна душа изящной матери. Девочка была одета очень мило, в белом кисейном с зелеными горошками платье и в шляпке, украшенной колосьями, васильками и пунцовым маком; но лицом она была нехороша и больше походила на отца, чем на мать.

Кузина хозяина подала мне руку и познакомила меня со всеми.

Когда мадам Антониади обернулась и глаза наши встретились, не знаю почему, я до сих пор не в силах объяснить этого... не знаю почему, сердце мне сказало что-то особое...

«Она будет любить тебя».

Или: «Она тебе не будет чужою...»

Не знаю хорошо, что́ именно, но что-то особое...

Я сел и начал о чем-то говорить с привлекательною кузиной... О чем мы говорили, не помню; но помню только приятные движения *ее* головы и ее улыбки, ее одобрения. Я говорил, должно быть, недурно; хотя и не помню о чем, но я знаю, что, обращаясь к ней, я говорил не для нее, а для той, *которая сидела у окна.*

Мадам Антониади шептала в это время что-то дочери, показывая ей на Босфор.

Кузина хозяина обратилась к ней и спросила:

— Вы начинаете свыкаться с нашим Востоком?

Я еще не слыхал в это утро ее музыкального голоса и ждал, что она скажет; но она сказала очень обыкновенную вещь:

— Природа здесь восхитительна; но общество здешнее я недостаточно еще знаю, чтоб об нем судить.

— Здесь не одно общество, а двадцать разных,— отвечала кузина.

В эту минуту раздались пушечные выстрелы... «Тамань» была уже близко...

[1] Хиосец; славный человек, в сущности...

Мадам Антониади вздрогнула: девочка запрыгала у окошка, спрашивая:

— C'est le ministre, maman? c'est le ministre?..[1]

Мы все поспешили к окнам...

Выстрелы раздавались один за другим; стреляли турецкие пушки и с одного русского военного, случайно зашедшего в Босфор...

«Тамань» уже была видна из наших окон... Пред деревянною пристанью, против ворот миссии, качалась лодка, готовая везти весь персонал посольский навстречу послу. «Тамань» остановилась. Выстрелы не умолкали... Чиновники наши толпой во фраках и цилиндрах спешили к пристани вослед за поверенным в делах. Они сели в лодки и поплыли к пароходу.

— Mon gros cousin est tout essoufflé, je suppose[2],— сказала мне с улыбкой мадам Калерджи, кузина хозяина.

— Какой прекрасный, почтенный человек ваш cousin! — заметил ни с того ни с сего г. Антониади с натянутым восторгом.

— Да он очень добр,— прибавила жена его равнодушно и потом вдруг, обращаясь ко мне, спросила: — Отчего вы не участвуете в этой церемонии?

— Я не принадлежу к посольству. Я здесь в гостях, на время. Я только могу быть зрителем.

— Восток вам нравится? — спросила она еще.

— Ужасно,— отвечал я с жаром.

— Что ж вам именно нравится, я бы желала знать? Это очень любопытно...

Я пожал только плечами и ответил, что для меня непонятно, как может Восток не нравиться...

— Вас удивляет, кажется, мой вопрос? — сказала она.

— Да, удивляет,— сказал я. — Здесь все... или почти все хорошо.

— Это не объяснение,— возразила она с милою улыбкой.

Дочь ее перебила нас в эту минуту; она хотела знать, что теперь будет? Отчего le ministre не едет сюда? Что он теперь делает?.. Есть ли у него жена и дети?

---

[1] Это посланник, мама? это посланник?..

[2] Мой толстый кузен совсем запыхался, мне кажется.

Мне пришлось с досадой объяснить все этой девочке, так как мать сказала ей, что я все это лучше ее знаю... Я сказал, что у посланника есть жена очень молодая, красивая и богатая, что есть пока еще один только маленький сын и что посланник принимает теперь на пароход поверенного в делах и будущих подчиненных своих, но, вероятно, скоро будет на берег... Я говорил все это терпеливо и вежливым голосом, но глядел на девочку очень сухо и внушительно, чтоб отнять у нее охоту обращаться еще раз ко мне.

Мать заметила эту досаду и, улыбнувшись, сказала дочери по-гречески:

— Не надоедай своими вопросами.

Освободившись на минуту от докучного ребенка, я начал так:

— О Востоке надо или говорить много и основательно, или отделываться такими фразами, что природа хороша, что все это очень оригинально, но что общества здесь нет.

Я хотел развить мою мысль дальше, но за спиной моей, и очень близко, раздался голос вставшего со своего места мужа:

— Вы называете это фразами? Но ведь это истины о Востоке... Почему же вы называете это фразами?

Я не заметил, как он приблизился, и чуть не вздрогнул от этой неприятной неожиданности.

Он, улыбаясь немного, щипал одной рукой свои черные, длинные и смолистые бакенбарды...

Одну секунду от новой и мгновенной досады я не знал, что отвечать, но тотчас же справился с собой и сказал:

— Да, я считаю это фразами, потому что все это говорится без мысли и безо всякого живого, личного чувства. Слышат это друг от друга; вкуса мало, идеалы жизни ложные, какие-то парижские...

— Почему же парижские,— возразил муж.— Люди и сами могут судить. А если жители Парижа делают верные замечания, почему же отвергать истину по предубеждению...

— Что такое *истина*?— спросил я, как Пилат, не найдя на первую минуту ничего лучшего (мне хотелось отвечать ему дерзко и грубо, хотелось сказать, как сказал недавно еще при целом обществе, очень высоком, один

из наших консулов, человек очень горячий по характеру: «Кто ж ездит в Париж теперь? *Разве какие-нибудь свиньи?*» Но, конечно, я воздержался)...

— Во всем сомнения? *Пирронизм*?! — с легким и почти насмешливым поклоном заметил хиосский торговец и, прекращая спор, прибавил, глядя в сторону «Тамани»: — Вот, кажется, посланник съезжает на берег...

Все глаза (кроме моих) опять устремились на синие и тихие воды прекрасного пролива... Я говорю: кроме моих, потому что в эту минуту чета Антониади интересовала меня больше всего и эти несколько язвительные возражения мужа, и моя собственная, как мне казалось, ненаходчивость меня взволновали больше, чем я мог ожидать при первой встрече с людьми незнакомыми, к которым я должен был бы быть совершенно равнодушным...

Но... увы, я уже с первого взгляда вполне равнодушен не был...

V

Я не помню, как и на чем ехал посланник с парохода до пристани, на посольском ли каике или на военном каком-нибудь катере, я не помню, была ли и в это время пушечная пальба или нет. Я не помню даже, глядел ли я в окно в эти минуты или нет. Вероятно, глядел; но был до того равнодушен ко всему церемониалу, что у меня не осталось в памяти никакого впечатления. Я помню только одно, что я был не в духе. «Пирронизм! Пирронизм!» Зачем хиосскому купцу, и такому неприятному, знать так твердо названия философских систем!..

Посланник приближался к пристани.

— Жена его с ним! жена! — говорила бледная девочка, прыгая у окна.

Старшие все молчали.

Посланник и посланница вышли на берег.

Посланница шла одна впереди. Посланник следовал за нею. Посланница была одета очень скромно, в чем-то сером и в круглой шляпе.

— Она очень молода! — заметила кузина хозяина.

— Но отчего она так бледна? — спросила нежно и жалостно белая дама с красными веками.

— Вчера была буря; она, вероятно, страдала, — сказала Антониади.

— Это ужасно! — воскликнула еще сентиментальнее дама с общеславянскою фамилией.

Маленькая дочь Антониади недоумевала.

— Разве она очень хороша? — спросила она про красивую посланницу.

— Ты ничего не понимаешь, Акриви[1], она красавица, — возразила ей мать. — Ты не воображай, что ты сама хороша. Ты будешь гораздо хуже ее.

— Я знаю, что я не хороша, — прошептала Акриви и спрятала лицо на груди у матери.

Последнее замечание меня обрадовало; маленькая Акриви напоминала отца, такие же тихие черные глаза, покойные, скучные; цвет лица вовсе не такой золотистый, как у матери, а бледно-восковой, как у *него*... Это строгое замечание матери, по-видимому любящей и ласковой, было не лестно для *того*, на кого дочь ее была больше похожа... Вот что меня обрадовало немножко, вот что подавало мне хорошее мнение о вкусе мадам Антониади. Я не желал зла ни ей, ни мужу... За что́ же! Я в первый раз их видел... Я вовсе не желал бы узнать, что они живут между собой дурно и в раздоре. Нужно быть негодяем, чтобы радоваться несчастию чужой семьи... Я всегда чтил семью, и супружеский мир казался мне всегда одним из высших благ земной жизни... Пусть они уважают друг друга! Пусть они живут мирно и дружно, я очень рад... Но что ж мне делать!.. Я хочу быть правдив и откровенен, как на исповеди, в этом рассказе! Что ж мне было делать! Она меня заинтересовала; она мне сразу понравилась, а муж и дочь, его напоминавшая, были мне вовсе не по вкусу... Поэтому в строгом замечании, которое мадам Антониади сделала девочке, я прочел что-то особенное... Какую-то, казалось мне, тонкую преднамеренность... Ведь защитить несомненную красоту посланницы она могла бы и другими словами, не говоря девочке, что она сама вовсе не будет красива. Положим, это полезно «смирять» ребенка и убивать в нем рано заро-

[1] Дорогая, греческое собственное имя.

дыши гордости и тщеславия. Но сама молодая мать показалась мне с первого взгляда, с первых слов расположенною к тщеславию, и едва ли она была наклонна к строгости с этой точки зрения.

Одним словом, мне как-то и почему-то понравилось ее несколько жестокое замечание дочери... Я поспешил взглянуть украдкой в сторону *того*, на кого дочь была похожа и которого *тон* в разговоре со мной был мне так не по душе. Он все стоял у другого окна рядом с мадам Калерджи и хладнокровно глядел, как вслед за новым посланником причалила к пристани лодка возвращающихся поверенного в делах и всех других членов посольства. Они вышли все и исчезли за воротами.

Когда вся эта небольшая толпа людей в цилиндрических шляпах, во фраках и летних пальто поверх фрака исчезла из глаз, Антониади тихо повернулся на каблуках и, отойдя от окна, сказал спокойно:

— Finita la comedia!..[1]

Жена его возразила ему слегка и с очень милым движением головы:

— Почему же комедия? Это слишком резко... Я нахожу,— продолжала она,— что прибытие русского посланника в Константинополь имеет слишком большое политическое значение, чтобы называть все это комедией. Я, напротив того, нахожу, что это все так величественно и вместе с тем так просто.

Она не кончила своей мысли и сделала только и рукою и головой премилое движение.

— Простое всегда величественно,— прошептала белая дама.

В первый раз мне пришлось согласиться не с *ней*, а с *ним*.

Я поспешил вмешаться в разговор.

— Нельзя согласиться ни с тем, что это комедия, ни с тем, что это величественно. Это именно очень просто, вот и все. Вот вы спросили у меня, чем мне нравится Восток; теперь я вам объясню это лучше. Восток живописен; Европа в самом дурном смысле проста. Посмотрите на все эти одежды, как штатские, так и военные, на эти цилиндры и кепи... Я не виню никого...

[1] Комедия окончена!.. (*ит.*)

За что же? Они все платят дань времени... «La simplicite»...[1] Знаете эту скуку, «la simplicite»!.. Они *вынуждены* носить эти уродливые и смешные головные уборы, выдуманные во Франции. Они подчиняются тем убийственным (даже для развития у нас в России пластических искусств убийственным) вкусам, которые господствуют у нас со времен великого голландца Петра, исказивших образ и подобие Божие в русской земле...

— Вы не шутите! ваши выражения сильны,— перебила меня мадам Антониади.

Но я не хотел уже останавливаться.

— Я не только не шучу, я не нахожу слов от обилия мыслей, доказательств и примеров... Я затрудняюсь в выборе... Я понимаю величие вот как: когда Бёкингам представлялся Людовику XIII, и жемчуг нарочно был пришит слегка, но во множестве к его бархатной мантии... и при каждом шаге и поклоне его сыпался на пол, и французские дворяне подбирали его... Или когда польское посольство, не помню при каком султане, въезжало в Константинополь на лошадях, которые все были так слабо подкованы серебром, что эти подковы спадали с копыт... Это величие!.. Или когда я вижу теперь еще здесь, на Востоке, пеструю толпу этих людей, не по-европейски одетых, я признаюсь, что я каждым проявлением души и ума в них невольно больше дорожу, чем несравненно более сильными чувствами и достоинствами, скрытыми под этим гадким сюртуком и сак-пальто... Эти символы падения, эта безобразная *мода*!.. Это — смерть, это траур!.. Вот мое мнение.

Все слушали меня внимательно. Антониади был серьезен и счел долгом заметить:

— Есть значительная доля правды в ваших словах... Восток еще живописен; это, впрочем, знают все...

При этих последних словах он сделал какой-то знак плечами и головой, как будто хотел дать мне понять, что я говорю не новые, а очень известные вещи.

Уже почти взбешенный, я торопился возразить и начал так:

— Конечно, все путешественники надоели даже, говоря о живописном Востоке. Но дело не в маскараде

[1] Простота...

каком-то, а в том, что европейская цивилизация мало-помалу сбывает все изящное, живописное, поэтическое в музеи и на страницы книг, а в самую жизнь вносит везде прозу, телесное безобразие, однообразие и смерть...

— Это очень смело,— заметила мадам Антониади.

— Mais c'est de la vraie poésie! Monsieur est poète![1] — томно пропела белая Кызлар-агаси. Меня немножко покоробило, и я, обратясь к ней, сказал вежливо, но очень сухо:

— Madame (не знаю, как перевести слово: madame. Положим — «сударыня»)... Сударыня, поэзия всегда истинна... Поэзия — это сама истина, облеченная в плоть.

Антониади молчал, но интересная кузина предложила мне вопрос, который заставил меня на минуту задуматься.

— Неужели вам в Турции все нравится, все без исключения? Это невозможно...— спросила она.

— Ах да, да! — воскликнула madame Антониади,— вот интересный вопрос... Я жалею, что я сама не догадалась предложить его.

Я сказал, что вопрос этот заставил меня задуматься. Я знал очень хорошо, *чтó именно* мне не нравится на Востоке... Мне не нравилась тогда сухость единоверцев наших в любви. Мне ненавистно было отсутствие в их сердечной жизни того романтизма, к которому я дома в России с самого детства привык. С этой и только с одной этой стороны я был «европеец» до крайности. Я обожал все оттенки романтизма: от самого чистого аскетического романтизма Тогенбурга, который довольствовался только тем, что изредка видел, как вдали «ангел красоты отворял окно кельи», и до того тонкого и облагороженного обоготворения изящной плоти, которой культом так проникнуты стихи Гёте, Альфреда де Мюссе, Пушкина и Фета.

Ничего подобного я в среде местных христиан не видал и тем более в среде, которую зовут почему-то «интеллигентною»... Скорее у горцев и простых горожан заметны проблески подобной поэзии; но она исчезает бесследно, как только болгарин, грек или серб снимает национальную одежду свою и начинает считать себя «об-

[1] Но это настоящая поэзия! Сударь — поэт!

разованным». Утрата бытового стиля и эпической простоты не вознаграждается на Востоке, как нередко вознаграждается она у нас, глубиной и тонким благоуханием возвышенных чувств, которыми я дышал под дедовскими липами еще тогда, «когда мне были новы все впечатленья бытия». На место умолкнувшей и милой пастушеской песни не поется у христиан Востока блестящая ария страстной любви... Вот *что* мне не нравилось в Турции; вот *что* возмущало меня на Востоке и наводило тоску. Если бы к прелести и пестроте картины окружающих нравов возможно было бы прибавить потрясающую музыку страстных чувств и наслажденья живой и тонкой мысли, то мне казалось, что лучше жизни нельзя бы было во всем мире найти.

Вот о чем я *задумался,* даже несколько тревожно, когда мне предложили эти дамы весьма естественный вопрос: «Неужели вам здесь все нравится, все без исключения?» Есть и другая сторона жизни, тесно связанная с вопросом о романтизме в сердечных делах: это вопрос о семье... Всякий знает, как отношения между христианскою семьей и сердечным романтизмом многосложны, противоречивы и вместе с тем неразрывны и глубоки. То дополняя друг друга в разнообразной и широкой жизни обществ истинно развитых и возводя семейный идеал до высшей степени чистоты изящества и поэзии, то вступая в раздирающую и трагическую борьбу, как в сердцах несчастной Анны Карениной и благородного Вронского, романтический культ нежных страстей и, быть может, несколько сухой с первого взгляда (я говорю: *только с первого взгляда*) спиритуализм христианского воздержания проникают духом своим издавна всю историю западных обществ, господствуя даже и в бессознательных сердцах, то в полном согласии, увенчанные благодатью церкви, то вступая в эту страшную и всем нам так близко, так болезненно знакомую коллизию, в ту коллизию, которой и драма, и поэзия, и роман, и музыка, и живопись обязаны столькими великими и вдохновенными моментами...

На Востоке, у христиан образованного класса, я этого ничего не видал... В их сердечной жизни нет ни пафоса, ни музыки, ни грации, ни ума; я встречал у них только две крайности: или сухую нравственность при-

вычки и боязни, или тайный, грубый и бесчестный разврат...

Для меня все это было уже давно ясно; все это было обдумано давно, подведено в уме моем под те ясные границы, чрез которые, положим, жизнь всегда переступает тонкими оттенками, но без умственного начертания которых невозможно было бы ни мыслить, ни наблюдать, ни даже говорить серьезно с другими людьми.

И вот, пользуясь тем, что для меня все это было уже ясно, что всему были найдены уже в уме моем место и степень заслуги, — я бы мог все объяснить безобидно, толково, может быть даже и с некоторым блеском, если бы дал себе волю высказать все и если бы остался верен сам себе и своему внутреннему миру. Я бы мог начать чуть не целую диссертацию, занимательную, живописную и правдивую, если бы не заразился несколько от большинства посольских знакомых моих тою сдержанностью речи и тою иной раз *искусственною бедностью* мысли, которою они подчас даже щеголяли... Да!.. щеголяли; потому что наверное многие из них были умнее и серьезнее, чем казались, и понимали гораздо больше, чем хотели высказывать... Светская осторожность, иногда даже своего рода светское остроумие заставляли их показывать меньше чувства и мысли, чем у них было на самом деле, или, еще точнее выражаясь, у многих из этих дам и кавалеров один род ума, более язвительный или более мелкий, изгонял или заключал в оковы другой род — род более задушевный и серьезный. Серьезность свою мужчины берегли для службы, а дамы для минут некоторого «abandon»[1] с друзьями или с теми, кто им особенно нравился. Все это я так долго и подробно объясняю для того только, чтобы сказать, что я в этот раз поступил ужасно бестактно, чтобы сознаться, как я грубо ошибся, именно тем, что не остался верен себе и не начал длинного рассуждения, которое удовлетворило бы, может быть, до известной степени всех и никого бы не оскорбило! Но я по какому-то роковому движению души вдруг вздумал быть сдержанным и кратким и на повторенный дамами вопрос: «Что ж вы задумались? Что вам на Востоке не нравится, скажите?» — ответил с неуместным на

[1] Непринужденности.

этот раз лаконизмом так: «Мне ужасно не нравится христианская семья на Востоке...»

Сказал эту глупость и замолчал.

— Ah! c'est bien drôle[1]! — воскликнула кузина несколько сухо.

Антониади ровно ничего не сказал, но глаза у него сделались злые. Мадам Антониади с удивлением заметила:

— Мне кажется, напротив, если есть что-нибудь очень хорошее на Востоке, так это именно чистота семейной нравственности... Не правда ли? — спросила она, обращаясь к мужу.

Антониади с чуть заметною улыбкой ответил на это, пожимая слегка плечами:

— О вкусах спорить нельзя!

Я чувствовал, что он мог думать о чем-то несравненно худшем, чем *странный* вкус, мог счесть меня до невозможности безнравственным человеком, не пустить к себе в дом. Я опомнился, догадался, что начал совсем не с того конца, и поспешил поправиться:

— Позвольте, уговоримся прежде: entendons-nous... Я начну, извините, издалека... Когда я в критской деревне или в Балканах вступаю на глиняный пол греческой или болгарской хижины, то вид этой почтенной, солидной и вместе с тем поэтической семьи...

Я хотел было продолжать так: «Я исполняюсь почти благоговения пред непритворною, наивною чистотой их нравов, пред их религиозным чувством... Вся эта простодушная, высокая святыня домашнего очага, в соединении с своеобразными нравами и прелестью картинного быта, действует на меня почти так же, как действует храм... Я сам становлюсь строго нравственным человеком, и...»

Но судьба решила иначе! Я даже и этого не успел сказать... Я едва успел вспомнить все это; эти образы и воспоминания едва успели мелькнуть в уме моем, как вдруг раздался в прихожей шум шагов и говор нескольких людей. Хозяин квартиры громко кричал слуге своему:

— Эй, Кеворк... завтракать! завтракать! Ради Бога завтракать, мы голодны как собаки!..

[1] Ах, это очень странно!

— Кеворк, ах, любезный Кеворк! — раздался голос злого Блуменфельда... — Любезный Кеворк!.. Это правда, что мы голодны. Пожалуйста, накормите нас!..

Прием у посланника был кончен, и казначей зазвал к себе еще нескольких человек на завтрак.

Не скрою, я был уже раздосадован, что мне, как нарочно, не дали кончить мою «диссертацию», полудидактическую, полуоправдательную, и, сверх того, я еще был несколько испуган во глубине моего сердца... Я боялся, чтобы которая-нибудь из этих дам не возобновила этого разговора в присутствии наших дипломатов (и особенно при Блуменфельде). Я боялся, чтобы мне не пришлось выбрать одно из двух: или вынести кротко какие-нибудь дерзкие насмешки, или, не уступая ни шага, довести дело до какого-нибудь резкого столкновения, после которого могли бы даже и в Петербурге сказать: «С ним нельзя дела иметь. Он не только оскорбляет чиновных иностранцев; он и со своими доходит до всевозможных крайностей». Но, одушевленный присутствием женщины, которая мне начинала нравиться, я, подумав немного, решился в случае какой-нибудь необходимости предпочесть опасный путь дерзости — постыдному, мне казалось тогда, ресурсу уступчивости и добродушия.

Решившись на это, я успокоился и тотчас же опять повеселел.

VI

Мы слышали только голоса хозяина нашего и Блуменфельда; но кроме их в гостиную вошло еще трое гостей: неизбежный наш Несвицкий, Нагибин, тот самый молодой чиновник почтового русского ведомства в Царьграде, который сшил мне платье, и третий, тоже очень еще молодой вице-консул наш в Варне, просто Петров. Вячеслава Нагибина я уже описал в нескольких словах.

Петров был человек совсем другого рода. Он был пламенный панславист; для России охранитель, революционер для Востока, вечно занятый болгарскими или сербскими делами; горячий, стремительный, прямой до неосторожности (это он сказал, при дамах, на обеде, что только свиньи ездят в Париж); со всеми фамильярный,

почти без различия звания и чина; нервный, худой и бледный, одетый всегда небрежно, как попало, он, казалось, ничего вокруг себя не замечал и почти ничего не хотел знать, кроме политических интересов и политических дел. Волоса у него были всегда острижены под гребенку и приподняты щеткой; он был постоянно возбужден, постоянно как бы вне себя; говоря, то наступал на собеседника, то отскакивал от него, широко раскрывая глаза и излагая свои любимые мысли бесстрашно, пламенно, часто слишком даже нерасчетливо-прямо; вот каков был Петров. Турки любили его за доброту и простоту обращения, но постоянно жаловались, что его *пармак* (палец) везде, где не надо, и уверяли, что он чуть не с тарелкой ходит собирать на восстание христиан и т. д.

Петров делал множество ошибок, но зато был незаменим во многих случаях; в среде христиан он был чрезвычайно популярен, и начальство принуждено было многое ему прощать. С течением годов характер его выровнялся; он устоялся, достиг высших должностей, и его имя останется навсегда в истории последних дней Оттоманской империи.

Но в это время над ним много подтрунивали товарищи; он только что поссорился с пашой из-за одной пленной славянки, которая его обманула, по согласию с турками; приехал в Царьград жаловаться и хлопотать об удовлетворении; удовлетворения ему не дали и основательно признали его неправым. Легкомысленные товарищи смеялись над его пылкими и сантиментальными отношениями к «угнетенным братьям, славянам» и сочинили, будто одно из его донесений начиналось так:

«Милостивый государь,

Ее имя было Милена! Она была сирота...»

Петров горячился, отбивался, ссорился, но все так прямодушно, честно и просто, что его продолжали любить и уважать.

Все четверо — Блуменфельд, «вестовой», Петров и Вячеслав — вошли в гостиную вслед за хозяином.

Блуменфельд с первых минут уже обнаружил свою придирчивость. Когда хозяин дома представил Вячеслава Нагибина мадам Антониади и ее *белой с красным*

подруге, Блуменфельд не мог оставить в покое молодого человека и тотчас же, вслед за хозяином, сказавшим просто: «Monsieur Нагибин!» — воскликнул: «Известный всем более под именем l'irrésistible *boyard russe Wenceslas...*»[1]

Скромный *боярин* ничего на это не возразил.

Потом Блуменфельд обратился ко мне и с видом особенно стремительным сказал:

— А! молодой человек, и вы здесь... Очень рад, очень счастлив...

На это я ничего не ответил, но тотчас же «вооружился» внутренно и сказал себе: «Я сам его первый затрону...» И ждал случая.

Завтрак был оживленный. Хозяин сам ел много, пил и нам всем подливал хорошего вина.

Несвицкий сел около мадам Антониади и очень скучным тоном, как всегда, начал что-то тянуть про встречу нового посланника, про знатное родство и генеалогию его супруги и про то, кому и как ехать в Порту для исполнения некоторых формальностей; идет теперь спор: первый драгоман посольства говорит, что он едет в Порту и берет с собой первого секретаря; а первый секретарь, на основании точных справок у Мартенса, Валлата, Пинейро-Феррейро и других, доказывал, что в Порту едет *он, первый секретарь, и берет с собой первого драгомана.*

Я ничего не имел против этих формальностей; но раздушенный «вестовой» умел придать всему, до чего он только ни касался, такую несносную пустоту и скуку и солдатское лицо его представляло такой изящный контраст с галантерейным ничтожеством его речей, что не только я, но и сам лукавый простак, хозяин наш, вдруг прервал его возгласом:

— А! Ба! Voyons![2] Оставим это... все эти дьявольские формальности... Я замечу с моей стороны, что новая посланница прекрасна...

— У нее профиль камеи, — сказала его почтенная кузина.

Хозяин обратился к Блуменфельду:

— А вы, угрюмый человек, оставьте вашу суровость и скажите нам что-нибудь... что-нибудь приятное, любез-

---

[1] Неотразимый русский боярин Венсесла...

[2] Довольно!

ное, интересное... Как вы умеете, когда вы в духе... Скажите даже что-нибудь злое, если хотите...

Блуменфельд улыбнулся и отвечал:

— Я скажу нечто любезное, а не злое. Ваш армянин делает прекрасные котлеты... Я так ими занят, что не нахожу времени ни для чего другого...

— Кто и что вам больше всего понравилось при сегодняшней встрече?— спросила у Блуменфельда мадам Антониади.

Блуменфельд усмехнулся и сказал:

— Мне больше всего понравилась маленькая китайская собачка...

Все засмеялись.

«Вестовой» поморщился; он был недоволен, что хозяин и Блуменфельд прервали таким взором его глубокие рассуждения о дипломатических церемониях... Потом спохватился и, принужденно улыбнувшись, начал рассказывать об этой самой собачке.

— Да, это собака историческая. Когда союзные войска взяли Пекин и китайский император, как известно, бежал в Монголию,— во дворце не нашли ни души... Только маленькие собачки бегали по залам и лаяли. Одну из таких собачек...

Но Блуменфельд, насытившись котлетами, уже опять с двусмысленным взглядом и с раздражающею улыбкой взглянул в эту минуту по очереди на меня и на Нагибина.

Я снова готовился защитить боярина Вячеслава или дать отпор за себя, но он почему-то заблагорассудил оставить нас пока в покое; я спрашивал себя, на кого он теперь накинется. Жребий выпал Петрову.

— А! Петров, я забыл вам сказать новость. В канцелярию пришла бумага из Порты: турки требуют белье Милены, которое осталось у вас в чемодане...

Добрый и умный Петров не сконфузился и отвечал очень просто:

— Неужели? Они требуют?.. Ну что же... Я все доставлю. Там, кажется, лишь несколько платков и два фартука...

— Вы бы хоть один платочек сохранили на память,— сказал Блуменфельд как только мог нежнее.

— На что мне платок,— возразил Петров,— я и так

этой истории не забуду; я чрез нее имел столько неприятностей! Разве можно забыть, когда со стороны своих русских ничего не видишь, кроме предательства... Если бы меня поддержали вовремя, то все бы кончилось хорошо...

— Je demande une reparation èclatante![1] — воскликнул Блуменфельд с комическою важностью.

Петров ничего не отвечал на эту последнюю выходку и, желая, вероятно, переменить разговор, обратился к хозяину с вопросом:

— Я давеча поутру забыл у вас несколько болгарских книжек, связанных вместе... Где они? Мне они очень нужны...

Хозяин указал на окно, где лежала связка... Но Блуменфельд не унимался:

— Отдайте, отдайте их скорее Петрову. Очистите поскорее воздух нашего жилища... «Блъгрски читанки»... «Блъгрски читанки»... Не правда ли, какой благозвучный язык этих братьев-славян...

Мне захотелось поддержать Петрова; я вмешался и сказал:

— Это правда, что все эти языки: и сербский, и чешский, и даже польский, нам с непривычки кажутся чуть не карикатурами на русский... «Стрелять — пуцать»... «Человек, чилек-от»... Конечно, это смешно. Но надо определить все это точнее и отдать себе ясный отчет. Звуки других языков, совершенно нам чуждых по корню... не могут так оскорблять наш слух... например, французский, турецкий или греческий... Хлеб — экмек, псóми, du pain... Здесь мы встречаемся со звуками совершенно новыми, которые могут показаться странными, но ничего смешного или глупого не могут нам представлять.

Нетерпеливый Петров, которого я вздумал защищать, вдруг перебил, напал на меня и начал обвинять меня в расположении ко всему иностранному, в какой-то «великосветской», как он выразился, причудливости вкусов.

— Это один предрассудок, женский каприз: почему «пуцать» хуже, чем «стрелять»,— я не знаю... Это распущенность ума, кокетство, вроде женского!..— выходил он из себя... расширяя на меня глаза, как будто он хотел перепрыгнуть чрез стол и растерзать меня...

[1] Я требую полного удовлетворения!

— Постойте, — сказал я, — постойте, дайте мне уяснить, мою мысль...

Но в ту минуту, когда Петров обвинял меня в великосветских претензиях и умственном капризе, Блуменфельд, найдя, что я предаюсь педантизму и довожу основательность моего тона до смешного, не дал мне договорить и с лукавым взглядом, наклоняя немного голову набок, произнес насмешливо, не своим голосом, с какою-то особенною грацией, как какая-нибудь плохая дама, растаявшая пред плохим писателем:

— Отчего же вы обо всем этом не напишите диссертации, статьи, этюда, молодой человек... очерка, чтоб это все определить точнее и отдать ясный отчет, если не другим, потому что это невозможно, то хоть самому себе...

Это было слишком! Прошла минута молчания, и я ответил на это так:

— Теперь я занят другим. Я хочу написать что-нибудь о жизни в Буюк-Дере и описать вас... Знаете, как нынче пишут: «Дверь отворилась. Вошел молодой человек высокого роста и с небрежными движениями; лицо его, довольно, впрочем, приятное, несмотря на частые улыбочки, выражало какую-то скуку и претензию на разочарование и пренебрежение ко всему... Хотя никто не мог понять, какие он на это имеет права...»

— Это недурно, — заметил Блуменфельд, немного краснея. — А как же вы меня назовете... Пожалуйста, не нужно этого немецкого *фельд*. Я хочу русскую фамилию...

Я нашелся:

— Надо, однако, чтобы что-нибудь напоминающее хоть *цветы*... Блумен... Блумен... Ну хорошо, я назову вас по-русски Пустоцветов!

Все опять засмеялись, но гораздо неудержимее и громче, чем тогда, когда Блуменфельд сострил про собаку.

Лицо Блуменфельда потемнело от досады, но он, впрочем, вышел из этого очень умно и просто. Он сказал по-товарищески и вовсе не сердито:

— Ах вы! Как вы смеете мне такие вещи говорить... Погодите, я вам после за это задам.

(Я думал, что тем все и кончится, но Блуменфельд после этого долго избегал говорить со мной.)

Я взглянул мельком в сторону мадам Антониади и прочел на лице ее тихое и дружеское одобрение...

Я был вне себя от радости, и мысль, что сердитый Блуменфельд, который был, конечно, не робкого десятка, пришлет мне секунданта, хотя и представилась моему уму тотчас же, но ничуть не смутила меня. У меня в то время было какое-то мистическое (хотя и вовсе, каюсь, не православного происхождения) чувство, что меня хранит для чего-то высокого невидимая и Всемогущая сила... и все будет служить моим выгодам, даже и опасности...

Завтрак кончился, но приятное возбуждение у всех только усилилось после него за чашкой кофе; образовались группы: хозяин, Антониади, Петров и камер-юнкер спорили о будущности Турции, и в особенности Босфора. «Боярин Вячеслав» занялся (на мое счастье) девочкой Антониади и показывал ей у стола картинки в кипсеке. Около них пристроился сантиментальный белый евнух в юбке и тоже глядел в кипсек. Я желал, чтоб *она* подошла и села бы около меня, но не смел надеяться на такую отважность со стороны гречанки, или, вернее сказать, жены грека. Однако и эта почти несбыточная и мгновенная мечта моя тотчас же осуществилась.

Блуменфельд «толкнулся» было к *ней* и что-то спросил у нее, но она, ответив ему очень любезно слова два, отошла и села опять на том же кресле, у того же окна, где сидела пред завтраком. Я забыл сказать, что я нарочно подошел еще прежде к этому самому окну. О чем мы говорили с ней под шум веселых голосов, не знаю.

Я помню свое чувство, веселое, праздничное, победное и мечтательное; я помню ее взгляды... Слов почти не помню... О «любви» мы, конечно, и не говорили... Мы говорили, я помню, о совсем посторонних предметах, быть может, даже о самых сухих... Но беседа наша была похожа на пустое либретто восхитительной оперы, на ничтожные слова прекрасной музыки чувств...

Из слов я помню очень немногие... Я помню только вот что из нашей беседы.

— Вы хвалите Восток,— сказала она,— а я терплю здесь большие умственные лишения. Одесса в России считается торговым городом; однако там университет, библиотеки... там есть умственная жизнь, а здесь этой жизни нет, и мне очень скучно...

— На что вам университет...— воскликнул я с удивле-

нием.— На что вам библиотеки... Я бежал ото всего этого и счастлив. Книги хорошие и здесь можно найти... Но вы напрасно думаете, что в местах более, так сказать, *ученых* больше мыслят... Почитайте газеты наши... Разве это мысль... Думайте сами больше, если это вам приятно...

— Однако!— возразила она робко и почти с удивлением.

Долго ли мы говорили или нет, я, право, не помню. Я помню дивный вид из окна, ветерок с пролива, благоухание ее одежды, ее глаза, шум голосов вокруг и даже крики в спорах... Я слышу и теперь еще всегда влачащуюся речь Несвицкого, который говорил:

— Что касается меня, то я нахожу, что Босфор должен считаться международным портом в самом широком смысле этого выражения. Что мне за дело, если будет принадлежать Босфор грекам, англичанам или никому,— лишь бы развели как можно больше садов, чтобы сделали хорошую мостовую, чтобы была хорошая опера, цирки и публичные лекции... Чтобы можно было, например, слушать популярные чтения физики и химии с опытами... Помните этот милый анекдот про химика Тенара и про герцога Орлеанского? «Теперь эти два газа, кислород и водород, будут *иметь честь соединиться в присутствии* вашего высочества...»

Эту речь я слышал ясно, потому что при моих антиевропейских культурно-патриотических мнениях она была ударом кинжала в мое сердце, но я и на нее *решился* не возражать, несмотря на *физическую* боль, которую мне причиняли подобные мысли русских людей,— до того я был занят *ею* в эту минуту. Далее ничего не помню из нашей беседы у окна...

Все, наконец, стали расходиться; ушел и я. Я видел, как супруги Антониади вышли под руку; видел, как они наняли на набережной каик.

Маша села первая; муж поднял дочь и передал ее жене, потом спустился за ней сам и сел с ней рядом на дне каика.

Сильный каикчи ударил веслами, и они скоро удалились от берега.

Я долго глядел им вслед, и мне целый день после этого было очень скучно.

VII

И на следующий день мне опять было как будто грустно. Я все думал о *ней*.

Как познакомиться с нею покороче? сделать или не сделать ей визит? Ни она сама, ни этот ледяной ужасный муж ничего мне не сказали об этом. А между тем я что-то чувствовал, что-то прочел в ее взглядах, в ее недосказанных словах, в ее движениях. Мне казалось, что во всем этом есть нечто большее, чем простое желание видеть меня у себя в доме... Но как она мила и свежа и как он несносен! Как он прилично, опрятно, казенно ужасен! Я видел таких бледных восковых кукол с приделанными черными как смоль бородами.

Я, кажется, уже говорил, что не имел никакой определенной и непременно безнравственной *цели*. Я заранее готов был *отречься* от полной победы. Я не стану в этом рассказе ни очернять, ни оправдывать свое давнее прошедшее, на что́ это? Я не стану унижать себя нравственно чрез меру и не стану возноситься. Я не был тогда каким-нибудь невинным, чистым и «духовным» юношей, но не был и во всех случаях безнравственным человеком. У меня были правила личной чести; у меня было великодушие, у меня было желание наслаждаться «поэзией жизни», не причиняя никому страданий и обид, даже, если возможно, не оскорблять и восковую куклу с «приклеенною черною бородой».

Скажу еще проще: я был по природе *добр*, и если б я знал наверное, что мои сношения с мадам Антониади расстроят семейное счастье ее мужа, то я ни за что не пошел бы к ней. Но с другой стороны, мне до того хотелось изящных наслаждений, меня так сильно и почти ежеминутно томила жажда новых впечатлений и какое-то боготворение полуплотской, полуидеальной любви... Мне так вздыхалось часто, так нравились любовные стихи... Я с таким невыразимым восторгом перечитывал и повторял наизусть то Пушкина, то Фета:

> Свеж и душист твой роскошный венок...

Вот что́ мне было нужно, вот чего я искал, вот о чем думал в свободные от дел часы! В Маше Антониади бы-

ло именно то, что́ мне было нужно. В ней было нечто такое, что́ меня томило; в ней как будто таилось что-то изящно-растлевающее, нечто тонко и сдержанно безнравственное, нечто едкое и душистое, доброе и лукавое, тщеславно милое, — одним словом, что-то такое, что́ заставляло меня глубоко «вздыхать», вздыхать *счастливо*, вздыхать от той сладкой сосредоточенности, которая теснит грудь и открывает пред влюбленною мыслью бесконечные и восхитительные, в самой неясности своей, перспективы...

Так вздыхал я в этот день, бродя по набережной Буюк-Дере. В этот час еще не играла тут музыка и не начиналось ежедневное «европейское» гулянье, которое я терпеть не мог, не находя в нем ни личного интереса, ни той живописной и этнографической, так сказать, прелести, которая восхищала меня в истинно народных скопищах Востока. Круговая пляска болгарских мужиков под резкую музыку волынки или толпа задумчивых и пестрых турок, провожающих мертвое тело какого-нибудь собрата своего на кладбище, где многие сотни белых мраморных столбов, увенчанных чалмами, теснятся, как привидения, в густой и безмолвной роще исполинских кипарисов, — казались мне гораздо благороднее и многозначительнее этого «европейского» снования цилиндров и жакеток, туда и сюда, взад и вперед по одному и тому же направлению, под звуки вальсов, пустых кадрилей и слишком уже знакомых оперных отрывков, напоминавших мне ненавистный и тошный Петербург, из которого я бежал в Турцию, чтобы хоть здесь скрыться от этого наносного и одуряющего «прогресса».

И вот я ходил по пустой набережной и «вздыхал». Воздух был жаркий и тяжелый; ветер дул с юга, и синие волны Босфора пенились и кипели. Я не знал, что мне делать с бездельем своим, как вдруг из переулка вышла моя седая и столь уважаемая мною мадам Калерджи. Она шла к кому-то с визитом; она шла своею удивительно красивою и благородною поступью, на которую я всегда так любовался. Она издали первая поклонилась мне с приветливою улыбкой. Я счел ее в эту минуту посланницей небес: она лучше всякого другого могла разрешить мои сомнения насчет того, делать ли мне визит супругам Антониади или нет?

Я подошел к ней и, еще раз почтительно поклонившись, предложил ей руку.

Она сказала мне, куда ее вести, и, к счастью, я услышал, что расстояние будет настолько велико, что мне можно будет объясниться с нею.

Опершись на руку мою, эта милая женщина обратилась ко мне с самым ласковым, дружески насмешливым выражением лица и сказала коротко и выразительно: «Seul, avec sa pensée!»[1]

— Да,— отвечал я ей,— вы угадали: seul avec *une* pensée...[2] С одной мыслью, с одним тяжелым сомнением, которое вы, именно вы лучше всякого другого человека можете разрешить.

— Чтó такое? Боже мой, чтó такое? — спросила она с притворным и веселым страхом.

— Вот беспокоюсь, колеблюсь и т. д., делать ли мне визит супругам Антониади или нет?.. Они мне ни слова не сказали, ни тот, ни другой; но ведь нас познакомили, и она была довольно внимательна ко мне; а он?.. ну, он был только вежлив; впрочем, я заметил на завтраке, что он со всеми таков.

Седая красавица моя задумалась и опустила на минуту глаза вниз.

Я чувствовал, что не ошибся в ней и что каяться не буду в том, что обратился к ней так прямо. Ни намека, ни нескромного вопроса, ни улыбки бестактной или недоброй!.. Она тотчас же поняла, в *чем дело*, и поняла, что я желал бы серьезно отнестись к этому, по-видимому, несерьезному делу, и поступила именно так, как я того желал и как сам счел бы долгом на ее месте поступить с другим. После всех этих неизбежных и все-таки не совсем приятных шуточек наших посольских кавалеров и дам ее прием казался мне небесно добрым и рыцарски честным.

Ни намека, говорю я, ни улыбки, ни вопроса!

Она задумалась и опустила глаза.

С благоговением я ждал.

Она подняла на меня светлые, честные, но очень зоркие очи свои и сказала серьезно:

---

[1] Один, со своей мыслью!

[2] Один с одной мыслью...

— Сделайте визит... Сделайте визит дня через два-три, потому что они теперь уехали в гости на Принцевы острова. Я и без того хотела вам сказать, что мадам Антониади в восторге от вас и не скрывает этого. Не скрывает даже и от мужа. Она восхищается вашим умом, вашим красноречием. Она узнала все подробности той истории, благодаря которой вы живете здесь, и называет вас *паликаром*. Этот удар хлыста! этот возглас: «Et vous n'êtes qu'un triste européen!»[1] в ответ на крик оскорбленного противника «miserable!»[2] Это, говорит она, так своеобразно, так дышит крепким убеждением. Это крик души: «Vous n'êtes qu'un triste européen!..» Я повторяю ее слова...

Я молчал несколько секунд, подавленный счастьем; потом спросил:

— А муж?

— Ах да, муж! — сказал моя фея с серебряными волосами. — Муж... Он и доволен, и недоволен, даже очень недоволен вами, как грек, и грек России не враждебный... Знаете, он, кажется, не глуп; он англоман в привычках, а в политике русофил, ведь это очень умно, не правда ли?

— Еще бы. Чрезвычайно умно! — воскликнул я... — Что́ ж дальше? Я слушаю... Я весь внимание...

— Ну вот что, из этих вкусов ясно, как он должен к вам отнестись: как грек — очень хорошо, как муж — прескверно...

Я невольно остановился и в недоумении спросил:

— Почему ж?

— Разве это не ясно? что вы проговорили про семью христианскую...

— Да! эти несчастные слова мои; они меня до сих пор мучат. Если б я мог предвидеть, что меня так скоро прервут и не дадут мне изложить пространно мой взгляд, то я ни за что́ бы этого не сказал! Я вас умоляю, позвольте мне вам теперь все это объяснить. И если вы найдете, что в моих словах есть доля истины, оправдайте меня пред ними.

И я постарался изложить ей как можно осязательнее

[1] А вы всего лишь жалкий европеец!
[2] Негодяй!

все, о чем я *тогда*, пред завтраком, едва успел подумать и вспомнить. Мадам Калерджи выслушала меня со вниманием и нарочно замедлила свой шаг. Когда я кончил, она сказала:

— Вы сами виноваты, что начали с конца. Теперь переносите наказание за вашу ошибку. Антониади как муж, повторяю, негодует на вас, но как грек, как ваш единоверец, понимаете, он очень доволен вашим поступком с известным вам «печальным европейцем». Об этом ведь так много писали в греческих газетах, и ваше имя в греческой печати известнее, чем вы думаете. Он не любит ту нацию, представитель которой пострадал от русской руки... Поэтому подите все-таки и сделайте им визит. Он примет вас внимательно и сам, конечно, отдаст вам его.

— Я пойду дня через три, но как же вы так изучили его мнение обо мне? — спросил я с любопытством.

— Я не изучала. Он сам все это говорил. Он при мне вчера в одном доме просто ужасался вашей заметке о семье и говорил даже: «C'est inouï... c'est souverainement immoral ce que ce jeune homme a la hardiesse de prêcher...»[1] А ваше дело с***, ваш «удар хлыста» хвалил и рад, что начальство ваше выдает вас не вполне, а только отчасти...

Мы были уже близко от дома, куда она шла, но она была так снисходительна, что продолжала идти всё тише и тише, полагая, что я имел еще что-нибудь сказать.

Но я был уже погружен в безмолвие тихого блаженства... И с чувством пожав ей руку, простился с ней у ворот богатого армянского дома...

Я прожил после этого два дня в приятном ожиданье, и мне уже не было теперь скучно. На третий день я должен был сесть на пароход и ехать в город, чтобы сделать им визит.

Но все мечты мои, вся моя радость разлетелась в прах! Я был человек подневольный. На второй день вечером меня призвал начальник и сказал:

— Собирайтесь *непременно завтра* в Андрианополь. Консул Богатырев ждет вас с нетерпением; ему необ-

[1] «Это неслыханно... это в высшей степени безнравственно, что имеет смелость проповедовать этот молодой человек»

ходимо сейчас ехать в отпуск. Он умоляет меня не задерживать вас. К тому же это и для вас выгодно: вы сейчас же вступите в управление консульством, и ваши противники, понимаете (он показал с улыбкой, как бьют хлыстом), увидят, что мы исполнили против них весь долг дипломатической вежливости, перевели вас, как будто в угоду им, из места столкновения в другой город; но вместе с тем не выдали вас, потому что тотчас же поручили вам очень серьезный пост. Вы понимаете, что совершенно без уступки, хотя видимой, нельзя. Всякий русский может быть рад, что вы его съездили (чтоб он не смел русским грубить); но ведь нельзя *открывать новую эру* дипломатии побоев на основании вашего прецедента, который лично, положим, может все-таки нравиться. Держите русское знамя высоко; я буду, верьте, помогать вам; но старайтесь не прибегать уж слишком часто к таким voies de fait...[1]

Я был и обрадован, и немного смущен этою речью молодого и молодцеватого нашего начальника: тут было столько и лестного, и ободрительного, и слегка насмешливого, и повелительного, и товарищеского.

Я, краснея, поклонился и пошел сбираться.

Службой своею я дорожил; скажу яснее: я ужасно любил ее, эту службу, совсем не похожую на нашу домашнюю обыкновенную службу. В этой деятельности было столько именно не европейского, не «буржуазного», не «прогрессивного», не нынешнего; в этой службе было тогда столько простора личной воле, личному выбору добра и зла, столько доверия со стороны национальной нашей русской власти! Столько простора самоуправству и вдохновению, столько возможности делать добра политическим «друзьям», а противникам безнаказанно и без зазрения совести вредить!.. Жизнь турецкой провинции была так пасторальна с одной стороны, так феодальна — с другой!..

Итак, я уехал из Царьграда и не успел *ей* сделать визита. Я хотел служить хорошо, хотел наслаждаться борьбой за русскую идею на Востоке, и, конечно, в эту минуту наш посланник, сам молодой, сам лихой и чрезвычайно ласковый и умный, был мне нужнее загадочной

---

[1] Насильственным действиям.

и лукавой этой Маши, полугречанки, полурусской...

Я спешил повиноваться и уехал, не видав ее больше. Но всю дорогу я беспрестанно думал о ней и пожимал плечами с удивлением:

«На что́ такая ненужная встреча? такой мгновенный просвет незрелого чувства; такие пустые и бесследные вспышки бесполезного огня? Из взглядов ее, чуть заметных, положим, из чего-то еще очень тайного, очень издалека ободряющего в словах и едва уловимых движениях (я не могу даже выразить всего этого) и еще более из рассказов мадам Калерджи о том, что она восхищается мною, я видел, что эти мгновенные просветы были не в моей только душе, но и в ее, что огонь загорелся не во мне одном, но и в ней, быть может, еще больше...

Так ехал я верхом по скучной степи южной Фракии и думал: «На что́ это?» Я думал об этом, завернувшись в бурку под осенним дождем; я вспомнил о ней на ночлегах в грязных *ханах*; я видел, как она входит в церковь, как она идет мимо белой стены посольского сада, как она держит дочь, обнявши, сидя у окна... Я помнил ее ленты, ее позы, ее перчатки, ее голос и опять спрашивал себя: «На что́ все это?»

Наконец мне показалось, что я понял! Дождь перестал лить. Осеннее солнце снова тепло и весело освещало мелкую, сырую зеленую травку на пригорке, где мы с Цыганом суруджи[1] и турецкими жандармами остановились на минуту, чтобы дать вздохнуть лошадям. Я сошел с лошади и ходил взад и вперед. Эта сырая зеленая трава напомнила мне родину. И вдруг представился мне один островок посреди круглой сажалки в заброшенном и опустелом дедовском имении. Я гулял однажды совсем еще юношей по этому забытому саду, в мае месяце, и увидел, что на этом острове в чаще густого и грубого лозняка цветет куст черемухи... Осыпанный белыми цветами, он цвел и благоухал в этой чаще; я его видел, но ни я, ни кто другой дойти до него не могли: на болотистой заброшенной, но глубокой еще сажалке не было ни плота, ни мостика, ни простой перекладинки... Черемуха цвела как будто сама для себя; я не мог дойти до нее *и ни разу после того* и не видал ни этого сада, ни этого

[1] Верховой ямщик вольной турецкой почты.

именья, ни сажалки этой, ни цветущего куста; но я *не забыл его и не могу забыть*... И только...

Вот так и эта милая женщина останется навек в памяти моей; я ее больше, вероятно, и не встречу, но образ ее будет благоухать и цвести в моем воображении, как цветет до сих пор в нем этот только издали мною виденный куст душистой черемухи!..

VIII

В Адрианополе я стал забывать о *ней*. Мне было некогда; иных впечатлений было так много, что думать часто о молодой женщине, которая явилась предо мной только как «мимолетное виденье», было невозможно и неестественно. К тому же я был не только очень занят, я был доволен, постоянно возбужден и вместе спокоен духом.

Я давно мечтал жить в Турции, на Востоке, и вот мечты мои исполнились: я в Турции. Я хотел видеть кипарисы, минареты и чалмы: я вижу их. Я хотел быть дальше, как можно дальше от этих ненавистных, прямых, широких улиц Петербурга... я был далеко от них.

Занятия мои были мне по вкусу — неспешные, обдуманные, по смыслу не пустые, с легким и приятным жалом честолюбия... со щитом патриотического долга...

Ответственность на мне лежала большая; я был один *русский* на целую обширную иноземную область с населением смешанным, политически впечатлительным. Мой молодой начальник Богатырев уехал на родину в Москву, в отпуск; я управлял за него очень долго. Мне нужно было ежеминутно бодрствовать и трудиться. О службе моей я здесь рассказывать не буду; скажу только, что мной были довольны, и когда Богатырев, возвращаясь из Одессы, проездом был в посольстве, то сам посланник сказал ему полушутя за обедом:

— При вас было хорошо, но и без вас у Ладнева не хуже.

На это Богатырев великодушно отвечал:

— Я готов сам о нем на крышах кричать!

Месяцев через десять Богатырев возвратился и принял снова все дела в свои искусные и опытные руки. По воз-

вращении его жизнь моя совсем переменилась. Ответственности уже не было при нем; заботы меньше; нужно было только помогать ему, исполнять его волю. Я меньше стал думать о подробностях службы, о мелочах текущей жизни моего одинокого тогда сердца и в мире моей фантазии, в то время еще необузданной и смелой. И мне опять было и так *сначала* хорошо, пожалуй даже лучше... Я умел быть деятельным, предприимчивым и заботливым, когда того требовал мой долг и мое самолюбие (все это знают), но жизнь созерцательная и свободное мышление мне еще больше нравились... Я понимал всем сердцем прежнего турка, воинственного и вместе с тем ленивого, который, вставая с широкого дивана, садился бодро на коня и мчался в далекий набег, где терпеливо переносил жестокие лишения, но, возвратившись домой, опять спускался на этот «цветной диван» и «в дыму кальяна» думал свободно свою тихую думу, о чем хотел и как хотел.

Да, мне сначала эта жизнь понравилась... Исполнив в канцелярии все то, что требовала от меня служба, я уходил домой, предоставляя Богатыреву заботиться о том, чтобы знамя русское стояло во Фракии честно и грозно. Как *гражданин* я был спокоен; я знал, что Богатырев еще гораздо лучше меня будет держать это знамя чести, потому что он был молодец.

Я только что нанял себе квартиру. Пока Богатырев был в долгом отпуску, я жил у него в консульстве. Теперь я завелся своим хозяйством. Жилище мое мне очень нравилось... Оно совсем было не похоже на доводившие меня до отчаяния белые и желтые европейские дома, в шесть этажей и с медными дощечками на дверях соседей, вовсе не знающих друг друга... Дом моего старого турка в белой чалме, сердитого и с красным носом, был совсем иной; он был небольшой, двухэтажный, снаружи выкрашенный темно-красным цветом, с двумя галереями внизу и вверху. Все маленькие комнаты рядом и двери все на галереи; перед домом двор, как цветник, убранный мозаичными дорожками из серых, белых и черных камешков, и по бокам дорожек все стриженые мирты кругами и изгибами. Между этими миртами цвели желтый фиоль и фиалки во множестве раннею весной (когда у нас в России еще снег и холод), благоухали

по всему двору, около дорожек и даже в расселинах между каменными плитами старой лестницы, которая спускалась от дверей моих к воротам.

Дом стоял высоко над двором, а желтая стена, ограда от улицы, была построена еще ниже, но сама она была высока. С улицы тому, кто стучался в мои ворота, едва видна была крыша дома; а с моей верхней галереи был прекрасный и широкий вид на город.

Всё дома и дома, разноцветные, голубые, белые, розовые, и бледно-красного цвета, и зеленого, и желтого, и темно-коричневого, или темно-кровного, цвета «terre de Sienne brûlée»[1].

Между домами в Адрианополе много зелени; шелковица, листья которой так блестят на солнце, и высокие пирамидные тополи. С ними рядом высится много тонких минаретов. Вид из окон моих был так обширен; были видны даже и поля за городом, и изгибы реки Марицы, песок на берегу, и дальние каменные мосты на реках, и сады шелковицы по полям. Там, налево, за последним, кажется, мостом на Тунджe, стояло большое коричневого цвета строение, кажется, чей-то деревянный *беджеклык*[2] для развода шелковичных червей. Я и это мрачное, одинокое строение помню. И оно было видно из моих окон. Прелестный вид! Пестрый и веселый... Часто солнце светило ярко над этою картиной, и дым домашнего труда поднимался изо всех очагов.

Я вел очень уединенную жизнь. Общество болгарских и греческих старшин, сухих, лукавых, скучных, однообразных купцов, докторов и учителей — мне не нравилось, и кому могло нравиться? Со времени возвращения Богатырева я продолжал посещать их изредка для того только, чтобы не слишком их оскорбить. Во время управления моего для целей политических я принужден был видаться с ними беспрестанно, так как именно в этом ужасном *полуевропейском* и деловом классе людей мы находили теперь главную опору нашим действиям; от них получали и лучшие сведения наши; и если б я *теперь* перестал вовсе видаться с ними, то они поняли бы, до чего я тягощусь ими, и это впоследствии могло бы не-

[1] Жженой сиены.
[2] Сарай.

выгодно отозваться на службе моей. Особенно их *жены,* церемонные, неподвижные, хитрые, крикливые, неизящно по-европейски одетые, приводили меня в отчаяние.

Итак, я жил один, или почти один, наедине с моими мыслями...

Прогулки пешком или на коне, книги, иногда оживленные беседы с консулом о России и о здешних делах, его интересные рассказы о нашей старой дипломатии, историю которой он знал лучше меня,— вот моя жизнь, вот мои утешения в то время...

Я очень полюбил одинокие прогулки по дальним и тихим кварталам. Пока я управлял, я был *обязан* ходить с кавассом, чтобы меня не оскорбили на улице под предлогом того, что не знают, «кто я», чтоб уступали мне на улице дорогу, чтобы часовые турецкие отдавали мне честь ружьем. Теперь я мог ходить один, и эта перемена мне временно понравилась; я чувствовал себя свободнее; теперь я не обязан был требовать внимания от часовых; оскорблений личных я не боялся; я надеялся на собственную смелость и на крепкую палку, с которою ходил.

Я помню много хороших дней за это время.

В бумагах моих цел отрывок, написанный мною по возвращении с одной восхитительной прогулки.

Вот он:

«Я не могу изобразить хорошо моих чувств.

Если бы в прозе нашей русской можно бы писать так, как мне хочется! Мне бы хотелось вот как писать:

«О, дымок, дымок мой! серый дымок над нагими садами зимы!.. Как ты мил мне, зимний дымок турецкого пестрого города. Иду я, одинокий, вдоль речки от живописного Михаль-Кэпрю, иду домой под вечер и думаю: «Как я счастлив, о Боже!» Мне так ловко и тепло в моей меховой русской шубке, крытой голубым сукном. Как я рад, что я русский. Как я рад, что я еще молод! Как я рад, что я живу в Турции! О, дымок ты мой, милый и серый дымок домашнего труда! О, как кротко и гостеприимно восходишь ты предо мной над черепицами многолюдного тихого города! Я иду по берегу речки от Михаль-Кэпрю, а заря вечерняя все краснее и прекраснее. Я смотрю вперед и вздыхаю, и счастлив... И как не быть мне счастливым? По берегу речки, по любимой моей этой прелестной дороге от Михаль-Кэпрю к городским воро-

там растут кусты черной ежевики... Вот здесь, по восхитительной *для меня* (да, *для меня* только, *для моего* исполненного радости сердца), на восхитительном изгибе берега на кусте три листочка, три листочка поблекших, все они белые с одной стороны и такие темно-бархатные, такие черные — с другой. И на черном этом бархате я вижу серебряные пятна — звездочки зимней красоты... А заря все краснее и краснее разгорается вдали за городом, и на алом небе этом все нежнее и нежнее мне кажутся тонкие и темные узоры обнаженных и бесчисленных ветвей. Я счастлив... Я страдаю... Я влюблен без ума... влюблен... Но в кого? Я влюблен в здешнюю жизнь; я люблю всех встречных мне по дороге; я люблю без ума этого старого бедного болгарина с седыми усами, в синей чалме, который мне сейчас низко поклонился; я влюблен в этого сердитого, тонкого и высокого турка, который идет предо мною в пунцовых шальварах... Мне хотелось обоих их обнять; я их люблю одинаково!..»

Вот как желал бы я долго и много писать. Так писать мне приятно. Но кто станет читать меня, если я так напишу длинную повесть любви и буду мечтать безо всякого порядка и правил?

Никто!

IX

Но нельзя было, к несчастью, вечно жить одинокими прогулками к Михаль-Кэпрю, нельзя было дышать, лишь восхищаясь вечернею зарей и узором зимних ветвей, вдали сливавшихся во что-то туманное и до того прекрасное и родное, что оно было для меня милее самой летней зелени рощ и садов. Я не мог и не имел даже права с беспристрастием художника всегда равно любить и «старого болгарина в синей чалме, который мне поклонился, и пунцового турка, который, проходя мимо, так мрачно взглянул на меня». *Мне* все равно, это правда!.. Но я не затем, увы, тут живу, чтобы воспевать природу и поэзию восточной жизни.

Я принужден видеться с разными людьми, иметь сношения с ними; соображаться не со вкусами, а с делами моими. Я часто бывал, например, у богатого болгарина

Чобан-оглу. Он был из тех немногих болгар, которые и в *то еще* время (лет более пятнадцати тому назад) говорили так:

«Оставьте все эти разнообразные проекты разрешения Восточного вопроса! Оставьте! Это все хаос. Надо разрешить дело просто: Адрианопольская *губерния*. Филиппопольская *губерния*... Понимаешь: присоединение к России...»

Простой сердцем, прямой, с виду угрюмый и осторожный, но пылкий в сочувствиях своих, религиозный вместе с тем не для *политики* одной, не с виду и для влияния на простой народ, как многие славянские и греческие старшины, Чобан-оглу был одним из самых надежных и полезных помощников русской политики в тех странах. Недостаток в этом отношении у него был только один: он был plus royaliste que le roi[1]. Ни один из дипломатов наших, ни один из консулов, действовавших во Фракии, никогда не считали для России выгодным присоединение этой страны; большинство русских, служивших на Востоке, не безусловно восхищались нашею домашнею организацией и нашими порядками. Одни из них находили, что у нас уже слишком все по-европейски; другие — что недостаточно по-западному, и многие из этих деятелей наших на Востоке (может быть, и ошибочно) ожидали, напротив, чего-то освежающего и вполне славянского от жителей этих стран, освобожденных из-под турецкой власти.

Доктор Чобан-оглу смотрел на дело проще. «Сила России,— говорил он,— государь и войско, которым я восхищался в Петербурге на майском параде; собор св. Исаакия... Чего же лучше?»

Чобан-оглу получил медицинское свое воспитание в Италии, но красоты св. Петра в Риме и св. Марка в Венеции не затмили в глазах его красот Исаакиевского собора и Кремля.

«Пускай себе они лучше, эти католические храмы!— говорил он угрюмо, поправляя очки свои.— Хороши и наши, ничего! Подожди, дай России в Босфор поплавать. Мы еще лучше построим что-нибудь. Мы св. Софию подновим! Увидишь!..»

---

[1] Больший роялист, чем сам король.

Конечно, нам, русским, это пристрастие нравилось. И энтузиазм в нашу пользу, если мы даже и не со всеми его мечтами и проектами согласны, вредить не может. Энтузиазм можно охладить, когда того требует нужда. Как пробудить его, когда его мало,— вот что трудно.

Такие взгляды располагали нас, русских, к Чобан-оглу. Не стану уверять, однако, чтобы общество его было особенно занимательно, чтобы в доме его и в его семейной жизни была какая-нибудь особенная привлекательность. Дом его нравился мне потому только, что это был старинный дом в турецком вкусе, с обширными сенями, занимавшими почти весь нижний этаж, и большою широкою лестницей, снизу раскрашенною радужными зигзагами. Но этот дом был мрачен, и в самом Адрианополе можно было найти много жилищ в том же самом восточном вкусе, но несравненно более красивых и приятных.

Кофе подавали у доктора какой-то невкусный, у горничной, гречанки, которая стояла с подносом, пока гости пили кофе, я помню, были такие широкие, красные, отвратительные руки! Жена доктора была тоже гречанка, не старая еще и лицом недурная, но жеманная и громогласная; все с самолюбивою улыбкой на устах, одетая по-европейски, но дурно и с претензиями на отсталую моду. Я ее не любил и бывал в отчаянии, когда заставал ее одну дома. Со стыдом добавлю: мне кажется, я ей нравился. Эта обидная для моего самолюбия склонность ужасной докторши еще больше стесняла меня с глазу на глаз с нею. Она говорила мне комплименты; я страдал и оскорблялся, что нравлюсь такой неприятной и ничего не понимающей женщине. Сам Чобан-оглу тоже был довольно скучен. В медицинской науке он был недалек, в политических взглядах, как мы видели, немногосложен. Италия, в которой он учился медицине, не оставила почти никаких следов на вкусах его или, вернее, только направила их к худшему. Чобан-оглу настолько стал европейцем, насколько нужно греку или болгарину, чтобы стать пошлее и, утратив оригинальность, не приобрести ничего того высшего, что может дать истинная образованность.

Единственный человек, который мне сам по себе (а не по взглядам своим) нравился в семье и родстве доброго и скучного Чобан-оглу,— это был отец его, сам ста-

рый Чобан[1]. Он приходил иногда по праздникам к сыну, в темной одежде из толстого сукна домашней работы, в бараньей шапке; входил, садился на диван и кланялся оттуда по-турецки. Разговаривал о чем-то (о чем, не помню; все-таки и его речи были довольно скучны); шутил с младшим внуком своим, приговаривая с улыбкой любви все бранные и даже неприличные слова: «Рогач ты такой! Сводник, негодяй» — и еще хуже. Изо всех его речей это еще было занимательнее всего. При старике хоть и не становилось веселее, но по крайней мере все делалось в доме доктора на миг характернее. Эта шапка баранья на диване в таком почете! Эти грубые ласки внуку! Сама докторша как будто приобретала иное, как бы «историческое» значение. Она почтительно вставала пред старым пастухом, подавала ему чубук, сама, нагибаясь, ставила ему под трубку чистое медное блюдечко (чтобы не жечь ковра) и сама же приносила ему щипцами уголь из жаровни, чтобы он раскуривал. В эту минуту я ее уважал, и будь на ней самой не плохая какая-то зуавка и кринолин, а будь надето что-нибудь тоже старинное, я был бы совсем доволен ею, и она, может быть, хоть на минуту и понравилась бы мне...

Что еще сказать о доме и родстве доктора Чобан-оглу? Был у него сын старший, отрок еще, лет пятнадцати — шестнадцати... Не дурен, но обезображен всегда каким-то медвежьим долгополым сюртуком.

У жены доктора был еще брат, отвратительный собой грек, лет двадцати трех. Лицо у него было серое, очень круглое, все в мелких дырках (я этого терпеть не могу). Пузырь какой-то пучеглазый, чернозубый и еще более крикливый, чем сестра... Он учился в Афинах и не давал никому слова сказать, чтобы не вмешаться, не закричать на весь дом, не показать свою ученость и «воспитание».

Один гость говорит, я помню:

— Там были эти танцовщицы...

— Да! балерины! — кричит серый пузырь.

Я говорю однажды доктору:

— Вы долго были в Италии?

---

[1] *Чобан* значит пастух; Чобап-оглу — сын пастуха, фамилия вроде *Пастухова. (Примеч. авт.)*

— Он был в Риме,— перебивает тот,— видел святейшего непогрешимого отца... ха! ха! ха! Непогрешимый. Боже мой! при виде такого молодого человека даже единоверию с ним своему я был не рад... и готов был назло ему и пред папой склоняться в прах...

Впрочем, все это так несносно... И если я вспоминаю и говорю об этом, то только для того, чтобы было виднее, *почему именно* оно было скучно.

Однажды мы с Михалаки Канкеларио зашли к Чобан-оглу в праздник, после обедни. Православная обедня в Турции служится очень рано,— тотчас по восхождении солнца, и зимой, и летом. Это было зимой, и было около 8 часов по-европейски (кажется, около трех по-турецки), когда мы сидели у доктора. В обширных сенях его старинного дома была наверху галерея с колоннами и балюстрадой, и с галереи этой открывалось много дверей во внутренние покои. Внизу, в самых сенях, мощенных плитками, была построена особая маленькая комнатка, вроде беседки, вся в стеклах и с деревянным потолком, очень пестрым и веселым, как персидский коврик. Кругом трех стен шел турецкий диван, а на полу ковер; зимой там ставили медную жаровню, притворив крепко стеклянную дверь в сени, и тогда в этой беседке становилось очень тепло, и в стекла все было видно, что происходит в сенях: кто выходил и входил.

Мы сидели, курили и пили кофе. Докторша в беличьей шубке, крытой атласом, играла золотою цепочкой своею и рассказывала нам о том, как она испугалась, когда французские солдаты в пятьдесят четвертом году, увидав ее с улицы из окна, вздумали стучаться в дверь, и как муж ее пошел потом жаловаться к Боске.

— Дураки вообразили себе,— прервал ее муж,— что порядочная женщина на Востоке у окна не сидит! Увидали ее и подумали, что они имеют право сюда войти! Где ж и сидеть нашим женщинам, как не у окна? У нас развлечений нет.

Мы все согласно начали бранить французов, и мало-помалу разговор перешел в рассуждение о католической пропаганде, с которою мы в эти годы во Фракии ежедневно боролись.

Около этого времени мы начали пересиливать. На нашей стороне был и Куру-Кафа, болгарский простолюдин,

самый хитрый и ловкий из стольких хитрых и ловких болгар.

В болгарскую школу, основанную нами в предместье Киречь-Хане́, стали в то время из униатской школы десятками переходить болгарские дати, и целые семьи болгарские, увлеченные на миг теми вещественными выгодами, которые обещала им пропаганда, приходили беспрепятственно просить прощения у греческого митрополита и возвращались толпами под духовную власть православной церкви. Мы говорили об этом и радовались.

Михалаки Канкеларио сказал:

— Говорят, что польские попы ввели незаметно для народа filiogue при чтении Символа веры в униатской церкви?

Госпожа Чобан-оглу прибавила:

— А я слышала, что они распятие сделали в церкви католическое, выпуклое...

— Погодите! — сказал доктор с таинственной улыбкой,— все это рассыплется в прах. Это все пустяки. Папа ничего не может сделать; нужно только, чтобы между православными было согласие. Я и сегодня жду кой-кого... Подождите, еще есть кающиеся... Вот они,— воскликнул он, вставая и глядя через стеклянную дверь в сени.

Кто-то осторожно стучал кольцом с улицы в большую дверь.

Служанка отворила.

И я встал посмотреть и увидал двух очень молодых людей в европейском платье и фесках.

Один из них был повыше и покрасивее, другой пониже и очень дурен собой.

Они довольно робко стали у дверей и осматривались...

Доктор отворил дверь из беседки и позвал их. Имена их были болгарские. Одного (красивого) звали Стоян Найденов, а другого, дурного собой — Иован-оглу.

Они оба были около года униатами и служили чем-то при униатской церкви в Киречь-Хане́.

Теперь они решили отказаться от унии и пришли к доктору, чтоб он помог им как-нибудь, чтоб он научил их, *чем им жить* в новом их положении, когда уж ни польские священники, ни французский консул помогать им не будут.

Стоян был не только выше и красивее, он был одет получше: у него сюртук был не стар и феска красная и свежая, а на шее был ярко-малиновый шарф, заколотый стразовою булавкой, которую он беспрестанно поправлял, чуть-чуть краснея...

На Иован-оглу короткая жакетка оливкового цвета едва держалась. Белья на нем не было вовсе видно; а лицо его, широкое, грубое, но доброе, было очень желто и старообразно. Он сначала ничего почти не говорил, предоставляя все объяснения Стояну Найденову.

Присутствие грека Михалаки в первую минуту как будто стеснило молодых людей, но доктор сказал им *по-гречески:*

— Что вы боитесь? Господин Михалаки Канкеларио друг наш и человек православный. Что вы такое делаете, чтобы вам бояться? Не против турецкого правительства вы идете: вы только оставляете ваши религиозные заблуждения.

— Это так, господин доктор, конечно, мы только возвратились на правый путь отеческой веры...

— Что же вы думаете теперь делать? — спросил я.

— Что случится, — продолжал Стоян. — Нам стала ненавистна иезуитская ложь. И что добрые люди для нас сделают, то пусть и будет.

Желтый Иован-оглу все молчал; выражение лица его оставалось неприятным, черные огневые глаза его только изредка вовсе недружелюбно взглядывали то на Канкеларио, то на меня.

Я сказал, что можно на первый раз найти им занятие в православной школе Киречь-Хане́.

Молодые люди молчали.

Михалаки после этого простился и ушел.

Мы думали, что без него эти юноши станут смелее разговаривать, но они и без него были все так же сдержанны, как и при нем.

Желая слышать что-нибудь от Иована-оглу, доктор обращался несколько раз к нему с расспросами о родных его, о том селе, в котором он родился, об училище, где обучался грамоте, о том, кто убедил их пойти в унию.

На вопрос о селе и родных Иован-оглу отвечал кратко и просто; когда же доктор спросил у него о первом его совращении в униатство, он ответил так:

— Зачем мне слушать людей? Я сам не глупый. Я сам могу понять пользу народа нашего... Над нами два ига — турецкое и греческое... Надо прежде свергнуть то, которое слабее. Надо нам отделиться от греческого *Патрика!* Если бы все так делали, как мы, то болгарский народ был бы всегда свободен.

Религиозному доктору эти речи не могли нравиться.

— Какой такой греческий патриарх? Я никакого не знаю. Есть патриарх вселенский, константинопольский, и вера у нас одна, что в Петербурге, что в Тырнове, что в Афинах... Ее портить нельзя... И греков надо вам оставить в покое... Надо потерпеть! Падет Турция, и все тогда сделается само собою. Найдутся люди сильнее и справедливее нас, которые все это поделят как надо...

Молодые люди ничего не возразили на это.

Я тогда спросил Иован-оглу:

— Если вы находили католическую пропаганду полезною для вашей родины, для чего же вы оставили униатство?

Иован-оглу, немного смутясь, отвечал:

— Обстоятельства изменились.

— Какие обстоятельства?— спросил я.— Если вы желаете, чтобы вам дали должность, вы должны быть откровенны и внушить доверие.

Иован-оглу молчал.

Стоян, посмотрев на него, сказал ему:

— Отчего ты не говоришь? Говори.

— Что я буду говорить,— возразил угрюмый Иован-оглу, пожимая плечами.

Стоян поправил свой малиновый галстук и уклончивым тоном отвечал за него:

— Если бы весь народ стал униатом, то болгары сразу бы отделились от вселенской церкви, и Болгария могла бы стать особым царством, даже не восставая против турок. Вот так, как теперь будет Венгрия в Австрии. Султан назывался бы царем болгарским, Болгария имела бы свою конституцию, свое войско и свою автономию.

Доктор вспыхнул в лице и воскликнул с жаром:

— Мечтания! Детские мечтания... Какая глупость! Я эту глупость слыхал. Турки всех вас в куски изрубят прежде, чем вам дать автономию... Какая глупость!..

Стоян поспешил продолжать свои объяснения.

— Позвольте, господин доктор, так и мы думаем. Я излагал взгляды тех, кто старался обратить нас в униатство. Но мы поняли, что это все ложь и невозможно. Униатство, вместо того, чтоб отделить нас от греков, в самом народе производит разделение и раздор.

— Вот это умно! Вот это прекрасно! — заметил доктор. — И вы прекрасно сделали, что поспешили оставить это заблуждение. Мы все постараемся что-нибудь для вас сделать...

Я тоже обещал рекомендовать их консулу и, желая еще больше привлечь этих юношей, пригласил их к себе обедать на следующий день.

Они благодарили нас и ушли.

Доктор был недоволен моим радушием и находил, что я увлекся на этот раз слишком добрым чувством. Он говорил об этих молодых соотечественниках своих так:

— Понамари! *Кандильанафты*[1] и больше ничего!.. Зачем их приглашать обедать? Это слишком много чести для них. Развращенные мальчишки! Им, верно, показалось что-нибудь невыгодно у католиков; они ожидали для *себя*, а не для народа от пропаганды золотые горы; и им надоело зажигать свечи в униатской церкви. Я не приглашу их обедать.

Я, впрочем, был несогласен с доктором и находил, что нам необходимо видеть и привлекать к себе разных людей... Ему, рожденному во Фракии, по привычке уже многое кажется ясным и все ему знакомо; а я хочу сам видеть как можно больше и понять окружающую меня жизнь со всех сторон яснее. Мне нужно видеть разных людей и слышать разные речи.

На другой день Стоян пришел ко мне один; Иован-оглу не явился. Стоян сказал мне, что товарищ его нездоров. Через неделю я узнал, что Иован-оглу возвратился к униатам и что ему французский консул выдал особое пособие. Я до сих пор не понимаю, что был такое этот молодой человек; фанатик ли своего народного дела, который не мог выносить даже и доброжелательных возражений своего соотечественника-доктора, или жадный мальчишка, который хотел только постращать католиков, чтоб они дали ему денег. Я его после этого ни-

[1] Люди, которые зажигают свечи и лампады.

когда более не встречал и слышал, что он погиб во время последних беспорядков. Он был учителем в каком-то небольшом городе, и турки, как слышно, утопили его в реке с камнем на шее.

Стоян обедал у меня один. Он держал себя очень порядочно и скромно; говорил хорошо. Он сказал мне, что *filioque* не прибавили еще в Символ веры, что он сам читал его и что всю литургию польские священники служат очень правильно и хорошо по православному обряду. Но распятие выпуклое есть, это правда.

— Но они, то есть священники польские,— передавал он,— сказали нам, что такие выпуклые изображения употребляются и в России.

Под конец обеда он, дождавшись, чтобы вышел слуга (слуга был грек), обратился ко мне с одной просьбой:

— Со мной,— сказал он,— делайте как угодно. Рекомендуйте меня в школу, если это возможно, я буду очень благодарен. Как вам угодно, так со мной и поступайте, я не пропаду; я знаю грамоте. Но я вас убедительно прошу за брата моего родного. Спасите его. Он еще моложе меня и служит в полку Садык-паши. Он хочет бежать оттуда теперь. Он мальчик простой души и не желает больше служить в этом войске. Слышно, что казаков и драгун скоро пошлют в Балканы для усмирения болгар. Он не может сражаться против своих, и я умоляю вас спасти его как-нибудь. Он убежит, но надо скрыть его до тех пор, пока не уедут из Адрианополя все польские офицеры.

Я с готовностью согласился сделать, что могу, и Стоян сказал мне, что брат его придет ко мне вечером. История этого юноши заинтересовала меня, и я ждал его с нетерпением.

Настал вечер. Я предупредил слугу моего, человека очень верного, чтоб он не вводил прямо ко мне *одного болгарского мальчика* (который должен по секретному делу прийти ко мне) в том случае, если у меня будут посторонние люди, а только бы спрятал его и дал бы мне тотчас знать как-нибудь.

Когда совсем стемнело, беглец постучался в мою дверь, и так как гостей у меня не было, то его и привели прямо ко мне.

С первого взгляда я увидал, что лицо этого красавца мне знакомо: я случайно однажды видел его верхом

на базаре. Он ехал без седла и стремян. На рукавах его или под ними было что-то красное... что — не помню... Помню, на голове его была феска; он был полка Садык-паши. Помню также, что лошадь то взвивалась на дыбы, то шла боком, горячась и играя, и народ на базаре расступался, любуясь конем и всадником. Но какой масти была лошадь, не помню и не могу сказать теперь, что был такое сам Ве́лико, драгун или казак полка Чайковского. Не хочу и заботиться об этих подробностях и буду звать его казаком. Я успел заметить еще, что Ве́лико был очень молод и улыбался, от радости, вероятно, что на него любуется народ.

И я постоял, и я полюбовался, и хотел уже идти дальше; но один прохожий грек фамильярно обратился ко мне и воскликнул, может быть, с насмешкой, а может быть, и с радостью:

— Вот христианское войско!

Я сказал ему в ответ на это: да, и ушел. Я ушел, а молодец этот с красными рукавами проехал дальше и скрылся, и я перестал думать о нем. Теперь он был не в казацком мундире с откидными красными рукавами; он переменил одежду, и на нем были куртка и шальвары из толстого болгарского домашнего сукна какого-то бледно-розового цвета, чуть-чуть с фиолетовым оттенком. Я не раз видел на молодых болгарах такое сукно, и оно очень мне нравилось. В этой одежде Ве́лико был еще красивее. Он казался спокойным и даже веселым и протянул мне руку; я думал, что он хочет пожать мне ее, и подал ему свою; но он нагнулся, поцеловал мою руку почтительно и сказал:

— Эффенди, спасите душу мою от напрасной смерти. Теперь поляки и турки могут убить меня, если они меня поймают.

Я ответил ему, чтоб он не беспокоился и что мы его ни за что не выдадим ни полякам, ни туркам. Пока есть русский флаг в Адрианополе, такого позора и такой жестокости случиться не может.

Ве́лико был очень рад, и я велел его накормить внизу и устроить ему в доме такое место для ночлега и житья, где бы он не мог легко попадаться на глаза каждому приходящему.

И Ве́лико остался жить у меня.

X

Первые дни я все радовался на моего беглеца. Ве́лико был очень ровен характером, послушен; серые большие глаза его с длинными черными ресницами вначале сияли радостным светом; он не мог взглянуть на меня без приятной и почтительной улыбки. Но скоро он стал скучать взаперти. Брат его, Стоян, был всего только раз у него на минуту; он жил далеко и был очень занят в той школе, куда мы его с Богатыревым определили.

Должности для Ве́лико у меня в доме не было никакой. Прислуживал мне его же лет юноша, критский грек Яни; верный, добрый, умный, преданный как сын, я не мог и подумать удалить его, чтобы найти занятие для Ве́лико. Посылать его по городу с комиссиями и за покупками было невозможно: он мог бы попасться кому-нибудь.

Я придумал, наконец, посылать Яни, который уже знал немного грамоте, каждый день в греческую школу, а Ве́лико должен был прислуживать мне вместо него. Он очень скоро привык; делал все с большим усердием, мел весь дом и двор. Увидав, что в доме есть оружие — пара пистолетов у меня и охотничье ружье у повара, — он очень обрадовался и вычистил их тотчас же; выпрашивал и у консульских кавасов, турок, их оружие и его чистил. Но самая лучшая его отрада была моя лошадка, вороная, с прекрасной иноходью, с такою иноходью, про которую местные люди говорили: «Вот *рахван* (иноходь)! Это такой рахва́н, что можно ехать и в одной руке держать чубук, а в другой кофе: и кофе не разольется, и огонь не просыплется».

Эту лошадку Ве́лико чистил, холил, водил по двору, кормил из своих рук и сокрушался несказанно, что не может на ней прокатиться.

Как он мне завидовал, когда я, вскочив на нее за отворенными воротами, пускал прямо почти от двора вскачь. Я слышал сам, как он восклицал громко мне вслед по-турецки: «Э! Аман! Аман! Что мне делать...»

Мне было иногда ужасно трудно удержать его дома...

Темным вечером его легче было бы с осторожностью выпускать; но вечером-то именно ему никуда и не хотелось. Милый Кандиот Яни, с которым он подружился,

бывал тогда дома; приходил часто по вечерам же консульский повар, тоже молодой грек фракийский, Кариот Паскаль. Веселый, лукавый, ловкий плут и щеголь; он был постарше и поопытнее обоих; певец и немножко донжуан, носил шелковые курточки, суконные шальвары, богато расшитые шнуром, и часы на красивой серебряной цепочке во всю грудь. Заходил иногда и один из кавасов, Али, добрейший турок, глупый и простодушный, смирный, честный, бледный и худой как щепка... Все мои молодые христиане очень любили этого турка, и ловкий Паскаль даже подтрунивал над ним по-приятельски... Если мне случалось самому быть дома, я только и слышал, что песни турецкие, славянские и греческие, *тамбуру*[1], смех, крик за картами.

На сон грядущий Яни рассказывал мне потом всякие новости, и анекдоты, и сплетни.

Вот он-то, жалея Ве́лико, и сказал мне, что молодой болгарин нестерпимо тоскует; что ему хочется на волю, хочется в поле, на коня или домой в деревню...

Что мне было с ним делать!

Михалаки Канкеларио, с которым я советовался, в деревню к родным пускать его не советовал. Село их слишком было близко от города; безопасности нельзя было ожидать. И сам Ве́лико казался еще недостаточно благоразумным.

Я призвал его и сказал ему:

— Ты все скучаешь? В полку было веселее?

Ве́лико застыдился как девушка. Он припал одним плечом к стене, отвернулся, краснея, к ней лицом и сначала молча чертил что-то пальцем по этой стене, а потом, когда я повторил мой вопрос, начал так горько плакать, что я не знал, как его утешить...

Кое-как уговорил я его потерпеть еще, пока мы все, покровители его — консул наш, я сам и наш изобретательный Михалаки Канкеларио,— что-нибудь для него придумаем. Сходил я потом нарочно в город, купил ему шерстяной, самой яркой желтой с малиновыми цветами материи на новую куртку, отдал ему и велел тотчас же сшить. Он бросился целовать мою руку и как будто на время забыл свою тоску.

---

[1] Балалайку. *(Примеч. авт.)*

Но потом явились все новые и новые затруднения. Меня посещали разные люди; всякого рода христиане, греки, болгары, армяне; бывали иногда евреи и турки; изредка и консулы делали мне визиты. Нельзя сказать, чтобы посетители эти бывали у меня часто; напротив того, они бывали очень редко. Я тогда не управлял консульством; не было нужды никому у меня часто бывать; но *все*, однако, изредка бывали. Всякий *мог* прийти. С тех же пор, как Яни стал ходить в школу, кому было, кроме Вéлико, отворять ворота, когда раздавался стук железного кольца?

Так и случилось раза три. Вéлико вынужден был отворять. Я не был покоен и за него, и за «принцип» консульских «приличий».

Перестать посылать Яни в школу? Нельзя. Зачем же приносить в жертву его выгоду безопасности другого?

Вéлико я берег и жалел; он был так кроток, так беззащитен, представлял такое поразительное юношеское сочетание душевного младенчества и телесного мужества.

Вéлико я берег и жалел; Яни я любил, я был почти обязан ему: он был так верен и так предан мне. Я решился войти поэтому в новые расходы и нанять особого человека нарочно, чтобы только было кому раза три, четыре в неделю отпирать калитку и показываться в ней.

Мне нашли для этого болгарина, старичка, низенького, боязливого и очень бедного, обремененного большою семьей. Звали его Христо.

Кажется, можно было успокоиться! Вéлико стал привыкать к красивой темнице своей и стал меньше скучать; так докладывали мне и Яни, и старик Христо. Сам он на мои вопросы отвечал, все стыдясь и краснея:

— Теперь ничего. Теперь мне хорошо, эффенди мой.

Так мы применились наконец понемногу к обстоятельствам, и за Вéлико я стал покойнее; но зато около этого же времени сам я начал тосковать нестерпимо. Все то, что было для меня около года тому назад и даже еще не так давно источником блаженства, стало теперь орудием пытки. Мечтательное одиночество мое, живописный пестрый вид из окна, безмолвные переулки и таинственные дома с решетками на окнах, крик муэззинов на круглых балконах минаретов, разноцветные одежды жителей, громкие стоны голубя моего (я их около этого времени

стал впервые замечать), хозяйственный приветливый дымок из труб, огненные вензеля из висячих плошек Байрама на страшном мраке зимней ночи,— все это начинало раздражать и томить меня до истинной муки. Посреди всего того, что мне так нравилось, я скитался как сказочный принц, запертый навеки в волшебном саду, без ответа и любви!

Созерцать и вечно созерцать, ожидать и томиться чем-то и о ком-то без конца, это невозможно! Это нестерпимая пытка!...

Однажды я не мог заснуть всю ночь и почти до рассвета провел на галерее, то сидя у открытого окна, то лежа на диване. Ночь была темна, и я различал только небо и город; небо было немного светлее; город чернее неба. О, что за мучительная была эта ночь!

Как пели петухи в эту ужасную, в эту темную ночь! как они пели! как они мучительно пели! Я думал о множестве женских молодых сердец, которые, казалось мне, бьются счастьем и тоской под столькими кровлями этого чужого города, черневшего так широко у ног моих. Я думал о «жаре моей души, истраченном в пустыне». Я был бы счастлив здесь одной дружбой, в этой живописной пустыне сердца, я был бы счастлив даже кокетством одним. Мне нужно сердце, нужно чувство, а не плоть.

Я заснул на рассвете, и, когда проснулся, солнце опять освещало весь город, и узорный дворик мой, и дикий с белыми розами потолок моей гостиной. На персиковом дереве в углу под окном, около глухой и высокой стены опять кричал, ворковал и стонал мой мучитель — египетский светлый голубок, напрасно призывая меня к жизни сердца, к сладким и восторженным мукам взаимной любви.

Когда я вспоминаю эти дни бесплодного и нестерпимого томления, я рад иногда, что я уже не молод и что теперь мои мучения совсем иного рода. Они гораздо слабее уже потому, что я давно привык страдать, и потому, что скорбь считаю теперь настоящим назначением человека на земле. Тогда я считал ее обидой и неправдой. Я верил тогда в *какие-то мои права* на блаженство земное и на *высокие идеальные радости* жизни!

Мне было тяжело еще и оттого, что даже и поделиться чувствами моими было не с кем.

Богатырев тоже скучал. Дела по службе его шли прекрасно. Основанная на русские деньги болгарская школа начинала процветать; греческий митрополит сносился, под влиянием Богатырева, с эллинским консулом и с местными старшинами из болгар и греков для общей борьбы против католичества. Униаты-болгары целыми сотнями возвращались в лоно церкви и приходили просить прощения и разрешения у греческого владыки. Влияние английского консула Виллартона в самом конаке паши падало так низко, что Виллартон приходил почти в отчаяние и беспрестанно бегал к Богатыреву, стараясь его всячески задобрить. Но Богатырев был равнодушен ко всему и, управляя чужими интересами и слабостями привычною и ловкою рукою, почти шутя, был в сердце занят совсем иным. Он возвратился в Адрианополь женихом и жил, скучая, от почты до почты. Невеста его была очень молода, красива, благовоспитанна и богата. Она была влюблена в него и с позволения матери писала ему длинные письма, читая которые он блаженствовал. Свадьба по каким-то расчетам родителей была отложена на полгода. Вот почему Богатырев был не весел и жил только надеждой, как я сказал, от почты до почты.

С кем же говорить, с кем поделиться моею сладкою и ядовитою скорбью?

Раз мы стояли на моей галерее с Михалаки Канкеларио и смотрели на знакомый прелестный вид. Михалаки Канкеларио был человек очень злой и очень умный, очень верный *нам* (русским) и очень *мне* (Ладневу) противный... В семье своей почти злодей; в политическом деле никем не заменимый друг и помощник. Около года я виделся с ним почти каждый день, и целый год подряд я то ненавидел его всем сердцем, то восхищался им.

Мы стояли и смотрели оба молча. Михалаки Канкеларио сказал наконец:

— Как это красиво, не правда ли?

А я отвечал ему вздыхая:

— Да! только красиво!

— Что такое? — спросил он, стараясь угадать мою мысль, — что такое? Верно, для вас вся эта прекрасная картина отравлена мыслью, *что это Турция?* что христианство под игом?

Я поколебался. Положение мое в городе, как русского,

заставляло меня быть осторожным; я опасался оскорбить политическое чувство этого человека, столь нужного нам, столь незаменимого даже. Поколебавшись немного, я, однако, решился немного раздосадовать его и сказал откровенно:

— О, нет! Я не думал теперь ни о Турции, ни о рабстве; я думал вовсе о другом... По-вашему, быть может,— пустом и легкомысленном. Вид восхитительный, конечно; но фантазия людей, особенно фантазия христиан, здесь так безжизненна и жизнь сердца невыразимо скучна.

Михалаки обернулся ко мне вдруг лицом и поглядел на меня молча и внимательно. Хитрые, злые глаза его стали веселее; он долго улыбался. Он не скорбился, он был чему-то рад.

— Романы? Вы любите романы. Э! что делать! Мы, правда, дочерям своим и женам романов не даем читать... Мы рвем такие книги, когда находим их. Но...

Он еще раз приостановился, все улыбаясь и все сияя какою-то адскою веселостью, все глядя на меня, как бы желая проникнуть взглядом своим до глубины моего сердца, и наконец сказал по-французски, значительно качая головой:

— Cependant.. il nous arrive, il nous arrive quelque chose...[1] И здесь *бывают дела.* Надо только знать, *где что́* найти,— прибавил он таинственно.

И опять коварный человек умолк на мгновение, все не сводя с меня глаз... Он будто собирался с силами, готовясь открыть мне тайну величайшей важности. (Он умер теперь, этот Михалаки Канкеларио, но в моей душе живут и до сих пор эти сверкающие лучи его пронзительных глаз! Что это были за глаза, ядовитые, упорные!)

Я подозревал, однако, что он при всем своем уме, по грубости сердца и по нищенству фантазии вовсе не понял меня и говорит не о том, о чем я думал, не о любви «мучительной и сладкой», а о каком-нибудь тайном, грубом и купечески расчетливом разврате. Я не мог сказать ему прямо то, что думал: «Вы ошибаетесь. Я не о том говорю, что вы, например, женатый, и пожилой, и вовсе не красивый человек, соблюдая для вида некоторые посты и посещая нередко храм Божий, почти каждые два-три

[1] Между тем... у нас бывает, у нас бывает кое-что...

года выдаете замуж с приданым молодых беременных служанок... И всем известно, что вы чахоточную смирную жену вашу, которая едва ходит по комнате, драли за косы еще недавно...» Связанный расчетами службы, я не мог ему этого сказать. Я отвечал короче:

— Вы ошибаетесь. Вы. конечно, говорите о каком-нибудь тайном растлении, я же говорю о романтической любви, которая искренностью своей может облагородить многие проступки...

Михалаки Канкеларио рассмеялся и сказал гораздо добродушнее и даже со вздохом:

— Нет. Я понял вас... И повторяю... Бывает и это... Бывает и любовь... Бывает, уверяю вас.

И, еще раз многозначительно улыбнувшись, ненавистный переводчик ушел, а я остался у окна один, все скучая, все тоскуя!

XI

Прошло еще недели две. Я почти утратил все простые и приятные ощущения жизни. Сон был тревожный; голод слабее; птички для меня уже не пели; ветерок прохладный не освежал меня. А если случайно и видел или слышал что-нибудь хорошее, если невольное впечатление пробуждалось во мне на миг и неожиданно,— то становилось еще больнее. Зачем я не чувствую так сильно, как следовало бы чувствовать? Зачем я не радуюсь тому, что должно бы меня радовать...

Я дошел наконец до того шаг за шагом, что задумал одно очень худое и постыдное дело; я обратил внимание на одну молодую девушку, болгарку пятнадцати лет... Я хотел... не то чтоб обольстить... не то чтоб обмануть ее как-нибудь... О! нет. Избави Боже! На это я был вовсе не способен; нет! до этого никакие муки и страдания не могли бы меня довести. Я никогда не понимал, чтобы скука или какое бы то ни было страдание могло бы довести человека до низкой жестокости и до гадкого преступления; мои намерения хотя были и безнравственны, но не до такой презренной степени. Она мне понравилась, и я деньгами, подарками и ласками хотел привязать ее к себе, обеспечить ее и жить с ней в любовной

связи, как живут многие и долго, стараясь ее не обидеть. Я, кажется, сказал уже, что, к сожалению, воспитание мое не было *действительно христианским*. Как я избавился от этого греха и проступка — я скажу после... В такие минуты труд самый нелюбимый и общество людей самых неприятных — лучшее средство забыть на время убийственное уныние сердечной пустоты...

На мое счастье, явились новые дела. Консул поручил мне собрать сведения о ценах съестных и тому подобных припасов на адрианопольском рынке для отсылки этих сведений в департамент торговли и мануфактур. Я прямо из канцелярии пошел в контору нашего Канкеларио, чтобы сообщить ему о желании консула. Контора Михалаки вместе с конторами других негоциантов (католиков местных и греков) помещалась в большом каменном здании, которое звали «ханом». Вероятно, в старину здесь был богатый караван-сарай. Все двери и окна контор в этом большом, темном и довольно величавом здании были обращены на просторный, мощеный двор. Контора Канкеларио была в верхнем этаже, кругом которого шла галерея. Я вошел на двор. Из-под темных ворот взглянул случайно наверх в ту сторону... Взглянул и вздрогнул... На галерее, у дверей Михалаки, разговаривая с ним, стоял Антониади. Я до того обрадовался, до того смутился, до того испугался вместе с тем, что он, вероятно, *один* и приехал сюда на самое короткое время по какому-нибудь коммерческому делу, что у меня как-то слабее стали ноги.

Я должен был сделать над собой большое усилие, чтобы никто ничего не мог заметить, и, слава Богу, очень скоро справился с этим неуместным и досадным волнением.

К счастью, я, по мере того, как восходил на лестницу, настолько овладел собой и одумался, что без труда воздержался и от другой крайности — от неестественной и ненужной в подобном случае сухости... Мы встретились просто и хорошо, как добрые знакомые, и вернулись вместе в контору Михалаки. Антониади возвратился, понятно, только для меня; с Канкеларио его дело было кончено.

Беседовали мы с г. Антониади недолго. Я все ждал, что он, как англоман и человек все-таки довольно пошлый, скажет: «Время — деньги». И сам удивился, что уга-

дал такую мелкую подробность. *Он сказал это...* Да! Он встал и с улыбкой сказал, покачиваясь слегка с носков на каблуки и с каблуков опять вперед (у него была такая привычка): «Однако время де́ньги... Мне пора расстаться с вами!» И мы простились.! Но и эти десять минут меня переродили!

Вскоре после него и я ушел, счастливый и бодрый. Я узнал, что *она* приедет через две недели, и надолго, быть может, навсегда... Антониади переселялся во Фракию для торговли шелковыми коконами и пшеницей.

Он уже наводил справки о ценах квартир и отопления.

Чего мне было большего желать? Через две недели она в самом деле приехала.

Антониади еще до приезда ее сделал визиты, и Богатыреву, и мне. Богатырев не спешил; но я тотчас заплатил ему визит, и на этот раз мы побеседовали побольше и порадушнее.

Все шло хорошо. И когда мы узнали, что Маша уже здесь, то я упросил Богатырева поехать к ней вместе. Скрывать от Богатырева, что я знаком с Машей, было бы неуместно, и я не только не скрыл этого, но даже рассказал ему всю историю константинопольских визитов и изобразил ему все оттенки в отношениях к ней наших посольских дам и кавалеров. Уронить ее это не могло в его глазах. Напротив. Хотя они ее бранили *там*, хотя на нее нападали, но все-таки имели с ней *общественные* сношения: *признавали* ее. Из адрианопольских дам ни *одну* бы *там* в этом смысле не признали.

Итак, мы сели на коней и поехали. Рыжая лошадь Богатырева была виднее, крупнее и дороже моей, но у нее не было тех живых и в высшей степени приятных аллюров, которыми одарен был мой милый вороной иноходец, восхищавший всех и галопом, и «рахвапом» своим! К тому же молодой консул гораздо хуже моего ездил верхом; он только в Адрианополе стал учиться и был еще робок на седле; а я чувствовал себя на нем совершенно свободным.

Мы эффектно подскакали ко крыльцу того греческого дома, где у родственников своих остановились супруги Антониади временно, пока найдут себе хорошую квартиру.

Ни хозяина этого жилища, ни Антониади не было до-

ма. Они были заняты с утра по торговле. Нас встретила хозяйка, старая гречанка; худая, немного горбатая, очень опрятная с виду и очень ядовитая женщина, про которую сам муж, плохо, но очень смело говоривший по-французски, отзывался с ужасом: «Ah! ma femme! ma femme! c'est un mauvais sujet... Elle est très mechante, très mauvais sujet»[1].

Богатырев, сухо поздоровавшись с нею, поспешил заявить с самым серьезным и официальным видом, что мы желаем видеть мадам Антониади и приехали именно для нее. Богатырев по-гречески знал очень мало, и я служил ему переводчиком.

— Знаю, очень хорошо знаю это!— не без значительности сказала старуха.— Госпожа Антониади сейчас придет.

Маша, в самом деле, не заставила себя долго ждать; она пришла, и я представил ей Богатырева. Мне очень хотелось, чтобы Богатырев потом похвалил ее или, по крайней мере, чтоб он хотя бы *молча*, не сообщая мне ничего, в сердце своем одобрил бы ее. Здесь, в Адрианополе, в этой среде, имевшей для меня лишь *объективное* значение, она мне показалась вдруг совсем *моею.* Как моею? Как бы то ни было, но *моею* близкою душой; душою, которой самолюбие — мое самолюбие, которой успех — мой успех и неудача — моя неудача... Сестрою, другом, дочерью, матерью, женою, любовницей, русскою знакомой на чужбине. Словом, *моею.*

Богатырев был очень уважителен, любезен и весел. И он давно уже не говорил с женщиной, имевшей *известного рода* понятия и привычки; и ему, видимо, стало вдруг легче.

Маша сумела очень хорошо удовлетворить нас обоих; она была одинаково к нам обоим любезна, и разговор ее на этот раз был очень занимателен.

— С вами,— сказала она мне, крепко и долго пожимая мне руку,— мы уж старые знакомые.

И потом, с несколько преувеличенным энтузиазмом, поднимая глаза к небу, прибавила:

— А! вы не знаете, до чего я люблю русских и все русское!.. И как я рада... встретить здесь русских людей...

[1] Ах! моя жена! моя жена! это ужасно... Она очень зла, ужасно.

Богатырев, вставив в глаз свой монокль, отвечал на это небольшим поклоном и сказал:

— Да, здесь скучно иногда... Это правда...

Потом они начали говорить о посольстве нашем, и Маша чрезвычайно хвалила наших дам: «Как они любезны, просты, как умны». (Она и не подозревала... бедная, что в истории *ее визитов* они были и не любезны, и не просты, а разве только не глупы в том отношении, что меня послушались и отдали ей визиты.)

Богатырев, поддерживая разговор, и хвалил, и порицал, и рассказывал кой-что про этих же самых дам.

Я слушал и почти не вмешивался в их оживленный разговор и из вежливости, глубоко страдая и принуждая себя, расспрашивал что-то по-гречески у ядовитой хозяйки. Но, наконец, усилия эти истощили меня, и я, сказав себе мысленно: «Довольно!» и точно вырвавшись на свежий воздух, отвернулся от нее и спросил у Маши:

— Как же вы совершили ваше путешествие по Фракии? Вот это любопытно...

— А! мое путешествие?— сказала Маша весело.— Лучше, чем ожидала... Эти фуры, как их зовут здесь... кажется, *брошов?*... Они покойны... Мы с моею горничной все время лежали там.

Потом, помолчав немного, Маша прибавила:

— Я часто вас вспоминала дорогой... Особенно в одном греческом доме, где мне пришлось ночевать.

— Почему ж это вы меня так часто вспоминали?— спросил я с любопытством. (Я почувствовал в ту же минуту, что сильно краснею; но, заметив, что Богатырев на меня не глядит, а она, напротив, *видит* и *понимает,* до чего сильно ее слова на меня подействовали, я остался доволен этим невольно обличенным волнением самолюбия. Маша едва заметно, самым быстрым и только мне, прямо заинтересованному, уловимым выражением лица дала как будто почувствовать, что она *видит* и *поняла.* Какая-то тень удовольствия, какое-то подобие улыбки. Чуть заметная искра в глазах. Я не знаю, что такое, не умею описать.)

— Почему я вас вспоминала? Разве вы забыли наш разговор в Буюк-Дере? «La couleur locale»[1], которую вы так любите.

[1] Местный колорит.

И она рассказала прежде о грязных ханах, которые, однако, занимали ее своею оригинальностью. Потом о ночлеге и вечере, проведенном ею в городке Баба-Эски у одного богатого грека, русского подданного, которого мы оба с Богатыревым знали хорошо и сами не раз ночевали у него проездом.

Рассказ ее был очень жив и мил. Она хвалила чистоту и порядок этого дома: «На этом ночлеге она *поняла меня лучше прежнего»*.

— Это в самом деле хорошо,— сказала она.

Ей понравился этот большой двухэтажный дом, выкрашенный темно-синею краской с белыми цветами и разводами вокруг окон и дверей; понравились необыкновенно чистые, некрашеные полы просторных комнат; большие медные *мангалы*[1]; простые, широкие, покойные диваны сплошь вокруг комнат. В главной приемной диван был красный, шерстяной ворс все петельками, сотканный дочерьми хозяина, молодыми девушками, одетыми по-местному, с пунцовыми толстыми шерстяными фартуками; в другой большой комнате, там, где ночевала madame Антониади, диван также был домашней работы, весь из шестиугольников разноцветного ситца.

— Как хорошо они подобраны — эти кусочки, с каким вкусом,— говорила Маша и потом спросила: — Я только не могу понять, на что это у них на стене висит что́-то плетеное из соломы и даже колосья пшеницы оставлены, как бахрома, с одной стороны?

Богатырев не помнил этого украшения, а я помнил его, но тоже не мог объяснить его значения.

— Вы поленились спросить у самих хозяев,— сказал я ей.— Я вас понимаю. И я всегда этим грешу во время путешествия. Наблюдаю только то, что само напрашивается на внимание. Со стыдом я должен сознаться, что я систематически и терпеливо изучать страну могу только по долгу службы; тогда я делаю это охотно; а для себя все спрашивать, записывать, всего доискиваться, как делают европейские туристы и некоторые наши ученые,— я не умею. Лень!

Богатырев прибавил к этому:

— А я еще хуже вас. Я не только не спрашиваю, ког-

[1] Жаровни для согревания комнат. *(Примеч. авт.)*

да дело не касается службы, но просто не обращаю внимания... и вижу гораздо меньше вас. Вы, по крайней мере, любите все то, что видите здесь, а я даже и не люблю. Вот хоть бы эти классические диваны вокруг стен; они покойны, конечно, но в них есть большое неудобство.

— Какое? — спросила Маша.

Богатырев, улыбаясь лукаво, отвечал:

— С ним невозможны в обществе никакие tête-à-tête[1]. Разговор должен быть непременно общим... если нет особых кресел и разных *уголков*. Здесь женщинам слишком не доверяют, чтобы допустить такие уголки...

— Можно соединить, я думаю, и то, и другое: и диваны, и эти уголки. Я на своей квартире постараюсь так сделать, — сказала madame Антониади.

Так она, разнообразя беседу, «занимала» нас, и в самом деле «заняла»! Богатырев и не заметил, как просидел у нее около двух часов, и собрался ехать, видимо, не совсем охотно.

Прощаясь с нами, madame Антониади сказала нам, что надеется обоих нас видеть у себя часто. Мы поблагодарили, обещали, сели на наших лошадей и уехали.

Домой мы прямо не поехали. В тот день была прелестная зимняя погода: было прохладно, светло, дул легкий ветерок; мелкая травка кое-где зеленела.

Богатырев предложил мне прокатиться за город, и мы весело поскакали по берегу Тунджи в ту самую сторону, откуда лет сорок тому назад пришли победоносные войска Дибича.

Мы долго ехали рядом по сухой и гладкой дороге. В воздухе было что-то ободряющее... хотелось какой-то веселой битвы, чего-то не то лихого, не то задумчивого и музыкального. Я был невыразимо счастлив и думал о том — каким раем земным *при ней* будет теперь Адрианополь.

Я с особою любовью смотрел в этот раз на встречающиеся нам длинные болгарские обозы. Мне нравились всегда эти тяжелые арбы, медленно влекомые могучими, тихими буйволами; усатые, худые и крепкие хозяева в синих чалмах и бараньих шапках; их дочери и жены, покрытые чистыми белыми платочками, в темно-синих

[1] Здесь: уединения.

одеждах с беловатыми или бледно-розовыми (как мне казалось) мелкими отделками на юбках. Все это было так здоро́во, свежо, все это имело на себе печать такого эпически мощного однообразия, что нельзя было не любоваться на подобную картину, в одно и то же время и родственную нам, русским, и совсем для нас новую.

Любовался я всегда, но теперь я предвидел, *я знал*, что мне будет с кем делиться мыслями и чувствами. Ни Богатырев, ни люди, подобные Чобан-оглу и Михалаки, ценить по-моему этих картин не умели. Для Богатырева и эта была такая же «скука», как и общество по-европейски одетых старшин, необходимых нам для политики; для самих же этих старшин быт простых болгар и греков (из среды которых они сами вышли) был только «полезною для политических целей наивностью» и больше ничего. Богатырев проходил мимо всего подобного с равнодушием и презрением; старшины смотрели на всю эту гомерическую поэзию с глупою улыбкой цивилизованного снисхождения и разве-разве с ощущением привычной с детства теплоты.

Иначе ценил все это я тогда; я с восторгом во всем местном, окружающем меня, прозревал залоги недозревшей, неразвитой, еще греко-славянской, самобытной культуры, полной силы, величия, красоты и страшной угрозы для Запада, ниспавшего до обыкновенного мещанского либерализма, до культа «машин», до господства газет и адвокатов, до *сюртука* и *кепи*, до канкана, ненавистных табльд'отов, и шансонетки...

Я надеялся обо всем этом говорить *теперь* с нею и ехал долго молча в тихом упоении.

Богатырев тоже очень долго не говорил ни слова; вероятно, он думал о шестнадцатилетней невесте своей.

Наконец мы повернули коней домой.

— Пора обедать,— воскликнул консул и, подумав еще немного, сказал мне особенно густым басом и как-то мрачно: — Однако ваша одесская Марья Спиридоновна не дурна... Только у нее язычок все «между зубами».

— Вы этого не любите?— спросил я.

— Что́ ж тут хорошего?— отвечал Богатырев.— Вы, кажется, уж «втрескались» в нее сразу; вот вам все и нравится.

Несмотря на этот пеблагопрпятпый отзыв и на грубо-

ватый тон, с которым Богатырев отозвался о Маше Антониади, я бы не поверил ему при других обстоятельствах. Я принял бы эту выходку его за хитрость и считал бы его очень опасным соперником, если б у меня были тогда какие-нибудь, я не говорю, непременно порочные цели, но и просто определенные цели. Богатырев был молод, моложе меня; красив, мужествен, ростом очень высок, одевался изящно и со вкусом. Борода у него была темно-русая, густая, глаза какие-то *купеческие*, томные и хитрые; бас его был очень приятен; держал себя он гордо; имел огромное влияние в стране, был тверд и лукав; серьезной образованности или начитанности у него было, положим, очень мало, но в моих собственных глазах этот недостаток не был недостатком; мне в Петербурге уж наскучили «вполне современные» люди, и мне очень нравился этот богатый и надменный московский «матушкин сынок», в котором так хорошо и «национально» сочеталась какая-то помещичья, сознательная и преднамеренная грубоватость с самыми утонченными европейскими преданиями. Читал он, до знакомства со мною, это правда, очень мало, и товарищи в посольстве говорили про него со злостью (из зависти к его успехам по службе): «Он этой дурной привычки — читать книжки не имеет». Я уговорил его, однако, немного побольше читать, чтоб и в этом не быть вовсе уж хуже других, и заставал его иногда над Гизо или Маколеем, и он, вставляя в глаз монокль, взглядывал на меня с надменною улыбкой и говорил: «Слушаюсь вас, слушаюсь, видите... читать начал!»

И я замечал, что он все прочитанное понимал скоро и верно, лучше многих, постоянно читающих.

Богатырев был бы ужасным и непобедимым соперником, если б он не был так занят в это время невестой. Он все досуги свои от службы употреблял на переписку с нею и с ее матерью. По целым часам разглядывал ее портрет и перечитывал по нескольку раз ее французские письма. «Écoutez donc!» — так начинала она одно из своих последних писем. И Богатырев восхищался, смеялся и повторял при мне: «Как она пишет: Écoutez donc! Какая она милая и смешная!»

Я, конечно, думал про себя, что тут нет ничего особенного и что «язычок на зубах» гораздо обворожитель-

нее, чем это вступление: «Écoutez donc!», но молчал и очень радовался, что Богатырев так увлекается другою. Если б он занялся Машей и сумел бы усыпить как-нибудь своею чрезвычайною ловкостью бдительность мужа, то, кто знает, чтó могло бы случиться!

Но при том настроении, в котором тогда был мой молодой начальник, он был мне очень полезен. Он мог ходить *туда* вместе со мной и занимать разговором мужа.

Соображая все это, я и сказал ему тут же:

— Однако согласитесь, что дом Антониади будет большим для нас здесь ресурсом?..

Богатырев в ответ на это улыбнулся и заметил:

— Ну смотрите, батюшка...

— Чтó ж смотрите. Разве нельзя к ним ходить? Она сама зовет нас.

— Ходить можно, только осторожно! Я на самого Антониади сильно рассчитываю pour les affaires du pays...[1] Надо мирить теперь греков с болгарами, чтобы западные товарищи наши не удили рыбу в мутной воде. Антониади — человек, видимо, умеренный и в местные интриги и страсти еще не запутанный. Понимаете? *Ходить* не только можно, даже должно. Виллартон (так звали английского консула) уже начал ухаживать за ним... Наш Михалаки все это проведал и донес мне сегодня... Виллартон начал что-то опять бегать по купеческим конторам, у самого Антониади был два раза и угощал его уж обедом... Soyons vigilants, mon cher![2] А если вы увлечетесь слишком Марьей Спиридоновною, вы вооружите его против себя и лишитесь, на случай моего скорого отъезда, хорошего и влиятельного союзника... Распря между греками и болгарами здесь, слава Богу, не так уж сильна, как в Филиппополе, где сам русский консул из болгар, и его, несмотря на все мои старания, почему-то не хотят удалить оттуда... Поэтому мы не должны портить нашего здесь личного положения...

— Я все это, кажется, понимаю и сам,— отвечал я немного раздражительно.— Но от удовольствия беседовать с порядочною женщиной, которая говорит по-русски и даже русских поэтов читает, до увлечений любви и до промахов по службе еще очень далеко...

[1] Ради интересов страны...
[2] Будьте бдительны, мой дорогой!

— Знаем мы эти «чтения» русских поэтов! Мне, впрочем, ведь все равно; я для вашей пользы... Поскачемте лучше опять, пора нам домой. А бывать можно, конечно Мы опять, если хотите, вместе пойдем к ним. Я на него даже имею особые виды!

Тем кончился разговор наш в этот день с Богатыревым.

XII

Советы Богатырева быть поосторожнее возбуждали во мне досаду, потому именно, что я и без него намерен был не позволять себе ничего лишнего.

— Зачем учить меня тому, что́ я сам знаю не хуже его? Он очень лукав, и я готов подозревать его во всякой хитрости... Посмотрим еще, как он сам будет вести себя! Разве мало людей, которые позволяют себе развлечения в ожидании отложенной надолго свадьбы, даже и с девушкой, любимою до некоторой степени?.. Я буду следить за ним... И уступать ему ни шагу не намерен! Другое дело — чтить права мужа; другое дело — уступать его претензиям.

Но подозрения мои оказались напрасными; Богатырев действительно думал больше о том, чтобы расположить мужа к русской политике, чем о том, как бы понравиться жене. После первого нашего визита супругам Антониади он в течение целого месяца ни разу у них в доме не был; но вместе с Канкеларио был у Антониади в конторе раза два, и Антониади один раз у него завтракал.

Я на этом завтраке не присутствовал и не знаю, о чем они говорили; но Богатырев остался доволен хиосским торговцем.

— Антониади очень порядочный человек,— сказал он мне потом.— Он своею порядочностью больше похож на фанариота, чем на этих провинциальных греков. Я даже заметил, что он, должно быть, каждый день меняет белье... Вы заметили?..

— Да, заметил,— отвечал я,— он всегда хорошо одет и, кажется, даже *саше* кладет на свои вещи... Хорошо пахнет от него...

Богатырев засмеялся и, поспешно вставив в глаз монокль, чтобы лучше меня видеть, воскликнул:

— А! Ну уж это, поверьте, *она!.. Она* сама кладет ему *саше!* Марья Спиридоновна! Поверьте, что она... где бы ему!

— Верю, верю! — сказал я весело.— Что ж за беда?.. Пусть кладет!

Я не только не досадовал на Богатырева за подобные шутки, я почти наслаждался ими: при невозможности часто видеться с Машей для меня было истинною радостью слышать ее имя и иметь самому возможность упомянуть о ней в безвредной и случайной, не мною даже вызванной беседе.

Этот первый месяц мы виделись с ней всего три раза, и первые два раза почти мельком. Она была все это время очень занята: делала визиты женам консулов и разным адрианопольским «коконам» в платочках и плохих шляпках, вроде г-жи Чобан-оглу или той язвительной родственницы мужа, у которой они остановились по приезде своем. Их было так много! Кокона Евгенко, кокона Катинко, кокона Локсандра, кокона Клеопатра... Все скучные, завистливые, крикливые, однообразные, церемонные супруги торговцев, медиков, консульских драгоманов и вообще членов той христианской «интеллигенции», которая первенствует в коммерческих делах турецких городов, деятельно правит местною политикой в спокойное время и почти вся куда-то скрывается, когда события принимают более грозный и хотя сколько-нибудь опасный для жизни характер... Я понимал, как все это было несносно и тяжело для бедной madame Антониади; я знал по опыту, какой это подвиг, какое это несносное общественное тягло — беседа этих дам!.. Кончила она визиты,— сами дамы эти с мужьями как поток полились к ней обратно!.. Их надо было ждать, им надо было улыбаться, их необходимо было задобривать для пользы мужниных сношений...

Антониади сам, встретившись со мной на улице, сказал мне:

— Жена моя очень устала.— И прибавил с небольшою, чуть заметною гримасой досады: — Эти визиты!.. Вы знаете!..

О «людях» он не позволил себе ничего сказать.

Обремененная этими посещениями и беспокойством о том, как бы не оскорбить кого-нибудь и не создать му-

жу врагов, madame Антониади была в то же время до огорчения озабочена хлопотами о будущей квартире своей. С мужем у нее по этому поводу были несогласия.

Я долго надеялся, что они поселятся неподалеку от нас.

И моя квартира, и консульство были в турецком предместье *Кыик*, высоком, просторном и красивом, недалеко от восхитительной мечети Султан-Селима и от выхода за город к старому турецкому кладбищу на краю высокого обрыва, за которым река Тунджа вилась по тучному лугу, где высились полуразрушенные башни и шумели пышные, вековые вязы и тополи Старого Серая.

Мы предпочитали чистый воздух этого живописного мусульманского предместья; но Антониади, хотя и жил долго в Англии и с виду, как справедливо заметил Богатырев, напоминал благовоспитанного фанариота, был всетаки хиосский грек-купец, и без своих греков (и даже без болгар торгующих) ему, должно быть, было скучно. Ему нужно было быть поближе к ним ежеминутно, и он нанял большой и довольно хороший дом в самом тесном и людном месте старой цитадели, в Кастро, где гнездится православная «интеллигенция» города, вместе с евреями и армянами, подальше от турок и потеснее. Напрасно жена просила его нанять дом богатого бея недалеко от нас; дом этот был ярко-голубого цвета, на большом дворе, за решеткой и палисадником, и на одном конце палисадника был окнами на улицу построен очень милый киоск с разноцветными стеклами. Может быть, в этом киоске бедная Маша хотела бы читать какую-нибудь увлекательную книгу в ожидании, что вот-вот раздастся стук копыт и выеду я из-за угла на вороной моей лошадке, которая бежала такою красивою иноходью и с таким возбуждающим звоном подков по грубой мостовой,— выеду я на вороной этой лошадке, в круглой шапочке набекрень и в шубке, лихо подтянутый ремнем, в шубке лисьей, в шубке русской такой, в шубке такого же ярко-голубого цвета, как дом этого бея с киоском или как июльское небо теплых стран. И выеду я, и подскачу к киоску со скромною лихостью, и прищелкну, пристукну чем-нибудь, чем придется, и остановлюсь и скажу: я в русской шубке, в русской шапке, в турецком квартале, у киоска турецкого, скажу ей... милой... Что я скажу ей? Что-нибудь самое

простое сначала, приподнимая шапку: «La matinée est bien belle, n'est-ce pas?»[1]

Но Антониади сказал себе: «Это невозможно! Дела мои требуют, чтоб я в Кастро нанял квартиру...» И не только жена убеждала его нанять небесный дом бея с пестрым киоском; его уговаривали нанять дом поближе к нам и французский консул, и английский, у которого был тоже в Канке собственный дом, и тот говорил ему, «что здесь воздух лучше и мы все (то есть консульское общество) ближе». Но упрямый и хладнокровный Антониади никого не слушался. Раскачиваясь по привычке слегка и чуть заметно с каблуков на носки и опять назад, он гладил черные бакенбарды свои большою и красивою рукой и отвечал на все доводы почти одно и то же... Не знаю, что он говорил дома жене... не вооружался ли он в прозорливо-ревнивом сердце своем немножко и против той *бель-вю* с пестрым стеклом, где восхитительная Маша могла, мечтая, возводить к небу хитрые, глубокие и черные очи свои и снова опускать их долу, прислушиваясь к топоту копыт. Не знаю, не знаю, что́ он ей говорил. Может быть, он ей сказал: «Не хочу, чтобы ты была близко...» Нет, нет, не знаю, что́ он мог ей сказать. Но французскому консулу он отвечал при мне очень вежливо, почтительно и твердо:

— Это невозможно. Дела мои требуют, чтоб я в Кастро нанял квартиру.

— Здесь ближе ко всем нам,— возразила еще раз жена французского консула.— Madame Антониади — женщина европейского воспитания; она никогда не сойдется со здешними дамами. Ей будет скучно в Кастро.

— Мы будем ходить сюда... она любит ходить пешком... мы будем часто ходить сюда.

Французский консул сказал тогда Маше:

— Что ж мы будем делать с пословицей: «Женщина хочет — Бог хочет»?

— Эта пословица сделана для всех, кроме г. Антониади,— отвечала Маша с такою явною и даже неуместною досадой, с таким движением самого дурного чувства, что всем стало неловко. Все замолчали и переменили разговор.

---

[1] Превосходное утро, не правда ли?

В первый раз я видел тогда, что Антониади смутился, покраснел и почти потерянно улыбнулся. Мне показалось в этот день, что они очень несчастны и почти ненавидят друг друга.

Я не настолько был низок, чтоб обрадоваться этому корыстною радостью. Напротив того, мне стало вдруг очень грустно, глядя на них. Эта «невыдержка», эта бестактная и неприличная, хотя и минутная ссора с мужем при людях совершенно чужих и вовсе, быть может, недоброжелательных возбудила во мне какой-то стыд за нее и вместе с тем опять ту братскую жалость, которая была мне так знакома еще с Буюк-Дере.

Итак, насчет выбора местности Антониади был непоколебим, и снисходительность его к жене выразилась только тем, что он (как я узнал от нее после) ни словом, ни взглядом, ни намеком не упрекнул ее за немного грубую выходку в доме французского консула, а, напротив того, объявил ей очень любезно, что она может искать дом в Кастро, не стесняясь в цене, не думая о расходах.

Маша нашла немного старый, но удобный дом в одном особенно тихом переулке. Он был снаружи белого цвета, с какими-то турецкими изображениями и надписями в виде золотисто-желтых круглых щитов около окон и над воротами. Белый цвет стен этого дома, который казался бы столь несносным в Афинах, Корфу или в наших новороссийских городах, где все почти дома белые или желтые, здесь в этом адрианопольском Кастро, почти сплошь красноватом, кирпичном, розовом, темно-кровавом, производил приятное и веселое впечатление. Маша, у которой потребность тонкого вкуса и тщеславие были гораздо сильнее «экономии», очень обрадовалась позволению мужа не думать о расходах и велела все подновить, выкрасить, починить, побелить снаружи; убрала внутри как можно милее, и немного ветхий дом стал красив и свеж, как «бомбоньерка». Снаружи не было и следов осыпавшейся штукатурки; внутри стало тепло и пестро; резные и цветные деревянные потолки сияли новыми красками. Везде запахло духами и свежим тесом. На дворе, где прежде посреди высокого бурьяна было видно лишь несколько кустов «Божьего дерева», теперь проводились дорожки и намечались клумбы в ожидании весенних цветов. Вот тут-то, недалеко от ее нового жилища, мы с ней

встретились второй раз случайно на улице и, остановившись, поговорили не больше двух минут; она была расположена продолжать разговор и предложила идти вместе, но я позволил себе отказаться и сказал ей так:

— Вы еще не знаете здешних нравов. Если бы мы встретились в турецком квартале, то можно было бы вместе пройтись: турки живут в особом мире, и отношения их к женщинам до того не похожи на наши, что они едва ли могут и понять, что́ у христиан прилично и что́ неприлично. Я думаю, им *все* кажется неприличным. Мимо турецких домов я бы охотно прошелся с вами. Но здесь, в центре города, это невозможно. Здесь живут все гречанки, армянки, болгарки. Им скучно, в жизни их только и есть что хозяйство и любопытство, полное зложелательства. Они сами не умеют ни говорить с мужчинами, ни чувствовать ничего идеального и потому самую простую вещь объясняют по-своему. Я слишком дорожу вами и вашим обществом, чтобы не беречь вас... *Поймите!*

Я в самом деле был уверен, что эти пять минут, в которые мы с madame Антониади простояли друг пред другом на узкой улице Адрианопольского ка́стро[1], не прошли для нас совершенно безнаказанно. Я был убежден, что из окошек всех этих домов, высоких и тесно построенных, уже смотрят на нас десятки женских глаз с болезненным любопытством, завистью и с готовностью даже на клевету.

Маша поблагодарила меня, *поняла* и ушла поскорей в одну сторону, а я в другую.

Третий раз мы поговорили с ней подольше и посвободнее.

Богатырев остался верен своему намерению ухаживать за мужем, и мы вместе, выждав время, приехали к ним с визитом в праздник до обеда, нарочно в такой день, когда торговые конторы были заперты и Антониади был дома.

Богатырев много говорил с ним, а я с ней; были и общие разговоры.

Богатырев старался доказать мужу, до чего Виллартон вреден здешним христианам.

---

[1] Кастро — крепость, центр города, населенный христианским и европейским достаточным, торговым классом. *(Примеч. авт.)*

— Он на все способен,— говорил консул,— с ним надо соблюдать величайшую осторожность. Он целый день живет в конаке паши, даже роняет этим свое достоинство; он фамильярно сходится со всеми и потом готов доносить туркам на всякого; он держался за греков, пока думал, что все болгарские старшины очень преданы России, но, как только стали ясно обозначаться в болгарской среде разные партии, он стал потворствовать униатству, несмотря на то, что он как протестант должен бороться здесь против римской пропаганды. И теперь он друг всем тем болгарам, которые против греков и против нас...

Антониади слушал его почтительно, но, казалось мне, не совсем доверчиво, и даже возражал иногда с большою осторожностью, как будто бы он больше справлялся и поучался, чем возражал.

— А нельзя ли подумать,— говорил он, например,— что под этим г. Виллартон скрывает свою настоящую игру? Не таится ли тут еще что-то?

Богатырев, недовольный, краснел, лицо его делалось мрачным и надменным, и он отвечал почти грубым тоном:

— Я его знаю! Я это говорю... Ничего больше, кроме того, чт́о я знаю, не может у него таиться. Виллартон дипломат плохой и чувств своих скрыть не умеет. Обманывать и быть шпионом у турок — это еще не дипломатия.

Антониади спешил, по-видимому, уступить.

— О! Я не спорю. Я политикой вообще мало занимаюсь, а потому я не компетентен в подобных делах. Вы, конечно, господин консул, посвящены во все тайны и лучше можете судить, чем я. Я только позволяю себе спросить.

Богатырев, успокоившись, начинал опять объяснять ему, как необходимо теперь, особенно при новом учреждении здесь вилайетов и при новых пашах, крепко сплотить христианскую общину, не различая болгар от греков, и всем православным стать заодно против совокупного действия Виллартона и католических консулов. Надо прекратить эти распри между болгарами и греками за церковь в предместье Киречь-Хане, где во время богослужения еще на днях один грек по имени Калпас обнажил нож для устрашения болгар и т. д.

— C'est affreux![1] Какое поругание святыни! — хладнокровно покачивая головой, сокрушался Антониади.

А мы между тем с нею в другом углу комнаты говорили о другом. Мы говорили о «множестве миров» и о «загробной жизни».

Я взял случайно в руки книгу Фламмариона, которую Маша положила около себя на столик в ту минуту, когда мы вошли, и, рассеянно взглянув, раскрыл ее на том месте, где она загнула угол. Это было на той странице, где описывались особого рода люди, вечно плавающие в жидкой розовой атмосфере небесного тела.

Маша заглянула тоже в книгу и сказала:

— Да, вы застали меня в хорошую минуту... Я читала о людях, которые все должны видеть в розовом свете.

— А есть еще тут и другие люди, у которых всегда «ушки на макушке», — заметил я и напомнил ей о тех обитателях иных миров, у которых одно ухо на верху головы.

— Что значит «ушки на макушке»? — спросила с удивлением madame Антониади, — это, верно, русская поговорка? Я ее не знаю... Что она значит? У русских так много хороших поговорок... Они мне нравятся по инстинкту даже и тогда, когда я плохо понимаю их.

— «Ушки на макушке» — значит, сколько я понимаю, осторожность, — ответил я.

— Вот как! — сказала Маша с особою значительностью и потом продолжала серьезным и почти печальным тоном: — Не знаю, прав ли этот Фламмарион, хороший ли он астроном или нет. Но мне так приятно думать, что мы не одни на свете и что на других звездах может быть жизнь счастливее нашей.

— Ведь вы сказали, — перебил я, — что вы сегодня расположены видеть все в розовом свете...

— Да, только эта книга напоминает мне очень тяжелые дни в моей жизни. Когда я потеряла своего старшего сына (это был мой первый ребенок), я долго не могла молиться и только все читала астрономические книги...

Признаюсь, мне показалось немного смешным и неловким это выражение «des livres d'astronomie» (она очень скоро переменила русский язык на французский,

[1] Это ужасно!

нарочно, мне кажется, для мужа, который по-русски знал очень мало и у которого были, может быть, в это время именно «ушки на макушке», и не оттого ли, кто знает... он так сухо относится к политическим внушениям Богатырева?) «Des livres d'astronomie!», «Не могла молиться!» А между тем она говорит о таком важном событии в жизни женщины, о такой святыне материнского сердца, как смерть любимого сына и первого ребенка! Я нашел эти слова бестактными; но счастье мое было в том, что я вовсе не идеализировал мадам Антониади... Она мне нравилась такою, какою она мне представлялась, и все маленькие слабости ее тщеславия, как светского, так и книжного, мне казались привлекательными недостатками, без которых она была бы хуже и скучнее.

Поэтому и эта неловкая «книжность», в которой самолюбие мое прочло прежде всего желание и этим между прочим понравиться мне, не отвратили меня от нее, а только расположили поскорей переменить разговор. Я спросил:

— А ваша дочь?.. Я ее не вижу. Где ж она?

— Моя дочь была не совсем здорова, она осталась у бабушки своей в Константинополе, у родной тетки моего мужа... Но она скоро будет сюда с гувернанткой... Я их жду с нетерпением...

Потом, помолчав, Маша спросила меня по-русски и потише:

— Прошу вас, ответьте мне откровенно на один очень трудный вопрос... Вы согласны?

— Постараюсь...

— Верите ли вы в будущую жизнь? В жизнь за гробом...

Я остановился в недоумении. Такого решительного, такого громоносного вопроса я не мог никак предвидеть!

Не говоря уже о неожиданности такого вопроса (и тем более в присутствии двух деловых людей, которые могли обоих нас с ней осмеять, прислушавшись к нашим словам). Я еще и потому не вдруг собрался ей ответить, что сам в то время (как далеко оно теперь! Как оно чуждо мне — это время!) я сам еще не постиг, как именно и в каком смысле я верю в мир невидимых духов и в загробную жизнь. Правда, в Бога я верил пламенно и разумом

и сердцем: разумом я верил прежде всего в том смысле, что не мог понять, как бессознательная природа могла бы без полного и высшего сознания сотворить неполное и низшее наше личное сознание? Какпм образом слепой творец-природа может быть ниже познающего эту природу — человека? Сердцем я тоже верил; в иные минуты я молился; я обращал с глубоким вздохом взгляды мои к небу, к распятию или к родной иконе во дни горести слишком сильной, или в часы радости внезапной и живой, или в минуты страха за мою жизнь и за мое земное будущее... Но это случалось редко, очень редко! Церковь православную я чтил, я любил ее всеми силами души моей; но я любил ее больше русским и поэтическим чувством, чем духовным или нравственным. Обряд ее, ее пышность, ее предания, утварь и одежды, ее пение — вот что влекло меня к ней; но моими поступками и моими суждениями о людях в то время, всею моею нравственною жизнью тогда руководило не учение православия и не заповеди Божии, а кодекс моей собственной гордости, система моей произвольной морали, иногда, может быть, и благородной, но нередко в высшей степени безнравственной. Если я скажу, что я не только думал, но и говорил тогда часто: «Лучший критериум поступков — это что к кому идет», то этим я, кажется, скажу все!

Понятно после этого, до чего смутны были мои представления об отношениях загробной жизни к земной и как мало «небесные венцы» принимались мной в расчет тогда при решениях моей нравственной жизни. Венец самолюбия довольно строгого, который я сам возлагал на себя, когда находил себя этого достойным, был мне дороже рая, о котором я (несчастный!) и не умел тогда думать; и внутреннее самоуничтожение или заслуженная злая насмешка людей были мне страшнее гнева Господнего...

И если теперь, когда я совсем переменился и так много обо всем подобном передумал, когда я верю совсем иначе, мне надо многое вспомнить и о многом помыслить, чтобы быть в силах написать и эти немногие строки, что я мог ответить ей тогда и так внезапно, как она этого требовала?

Я ответил, однако.

— Верю ли я в загробную жизнь? — переспросил

я.— Да, не верить в нее глупо. Материализм — философия слишком уж простая, пустая, грубая. Однако турок верит в загробную жизнь по-своему, христианин по-своему, ваш Фламмарион опять иначе.

— Нет, подождите,— перебила меня madame Антониади,— я спросила не так: верите ли вы, что души, которые здесь на земле не могли соединиться, потому что им в этом препятствовало очень многое, за гробом будут наслаждаться симпатией своею безо всяких препятствий, безо всяких тогда стеснений? — повторила она с жаром.— Вот я что хотела спросить...

Говоря это, она смотрела на меня, как всегда, или, вернее сказать, равнодушнее обыкновенного; она как будто нарочно старалась придать милому лицу своему самое покойное и бесстрастное выражение...

Несмотря на этот оттенок (казалось мне — преднамеренный), я принял этот вопрос хотя и не за прямое объяснение в любви, но за ободрение слишком явное и, внутренно смутясь от радости, ответил так:

— Не знаю, имею ли я право верить в такого рода симпатию; но до чего желал бы верить в нее, это я знаю хорошо!

Мы поглядели друг на друга молча, и Маша первая из нас опустила глаза. В эту минуту опять раздался громкий бас Богатырева, я не расслышал всех его слов... Я слышал только:..

— ...Никогда! О, никогда!.. (он даже громко и с негодованием засмеялся).— Россия не может держаться в греко-болгарском вопросе и ни в каком другом односторонней славянской политики. Если вы вспомните, что есть на свете поляки и другие католические славяне, то вы поймете, что я прав...

Сказав это, молодой консул встал и подошел к нам. Мужественное и серьезное лицо его озарилось лукавою веселостью.

— Мосье Ладнев вам проповедует что-то?.. Какую-нибудь свою ужасную ересь? Я угадал?

— Нет, вы не угадали! Напротив того, я исповедую мосье Ладнева,— сказала madame Антониади с ударением на *я*...

— И что ж, он кается?

— Кается...

— Нельзя узнать — в чем? — спросил, в свою очередь улыбаясь, Антониади.

— Разве духовник имеет право передавать эти тайны?.. — отвечала Маша.

Антониади шутя извинился.

Богатырев между тем взял со стола книгу Фламмариона, поднес ее как можно ближе к своим близоруким глазам и, всмотревшись, воскликнул:

— А! высшая философия!.. Миры... миры иные...

— Жена моя всегда «в пространствах» (dans les espaces), — заметил Антониади не без язвительности, как мне показалось.

Маша ничего на это не ответила. Она как будто была чем-то недовольна.

Богатырев взялся за свою боярку, но Антониади точно как будто только этого и ждал.

— Monsieur le consul[1], — сказал он с легким оттенком искательности в лице и манерах (с очень легким, впрочем), — я виноват, не желая прерывать ход тех в высшей степени интересных политических соображений, которые вы излагали мне сейчас, не успел сделать вам одного весьма нужного для меня вопроса. Я желал бы знать, могу ли я, имея паспорт греческого подданного, пользоваться в делах коммерческих и вашею защитой в случае нужды? Без лести скажу вам, я ото всех слышу о преобладании здесь русского влияния.

Богатырев сильно покраснел. Я догадался, что он вспыхнул от радости. Дорогая и редкая коммерческая птица сама рвалась в его консульские силки.

— Мы подумаем, как это устроить, — ответил он задумчиво и значительно, потом, улыбнувшись, обратился к Маше и прибавил: — В Турции нет ничего невозможного. Это составляет единственную прелесть нашего здесь существования.

После этого мы простились и ушли. Дорогой у нас с Богатыревым был оживленный разговор о супругах Антониади. Богатырев сказал мне:

— Вот вы там в углу совращали жену с пути истинного, а я мужа обращал на путь истинный. У вас все

[1] Господин консул.

звезды там да небеса... А мы люди terre à terre[1], знаете! Посмотрим, кто из нас скорее успеет!

— Вы все о моих успехах,— отвечал я с жаром искренности,— могу вас уверить... я готов божиться и честное слово вам дать, что я никаких целей не имею. Я бы и мужу самому готов был бы присягнуть всем священным в том же, лишь бы он мне позволил почаще проводить время и разговаривать с этою милою женщиной.

— Позволит, погодите, позволит... Я за вас постараюсь. Дайте мне забрать его в руки в делах, и тогда он сам будет приглашать вас читать жене «про звезды».

Богатырев говорил все это с большим добродушием; его, видимо, несколько тронула та нота искренности и честного чувства, которые звучали в моих словах...

— Что же вы думаете сделать, чтоб доставить ему русскую протекцию на случай надобности? — спросил я.

— Подумаю,— отвечал консул,— поговорю с нашим адрианопольским Меттернихом, Михалаки Канкеларио. Надо вырвать непременно Антониади из рук Виллартона. Антониади не дурак; в политике умеренного взгляда; богат, довольно сведущ... Он будет нам очень полезен для умиротворения христианской общины. Михалаки наш придумает, измыслит!..

И Богатырев был прав; Михалаки придумал!

XIII

После этого последнего визита нашего, после этих речей о симпатии сердец и загробном соединении душ, на земле разделенных неодолимыми преградами, настал для меня невыразимо светлый праздник жизни. Он длился долго, всю остальную часть зимы, всю весну и все лето...

Были препятствия, была борьба, наставали тяжелые дни. «Скорби, нужды, гнев», об устранении или смягчении которых мы так постоянно молим Бога в христианском храме, конечно, не исчезли на все это время мне в угоду с лица земли. Были и скорби, томили нужды, и гнев обуревал не раз; случалось, и самый тяжкий род гнева — гнев бессильный.

[1] Земные, практические.

Я не знаю, мог ли хоть один человек когда-нибудь и где-нибудь прожить полгода, месяц даже, без этой переходящей боли тонких и тайных ощущений.

Конечно, все это *было,* и о многих я помню живо и с болью до сих пор. Но чтобы даже и мне самому стало яснее теперь, почему я считаю счастливым этот год, я скажу вот что: хотя я был и молод в то время, но молод не опытом, а только годами и еще более характером. В лета самой первой юности, при самом вступлении моем в сознательную жизнь, тогда еще,

> Когда мне были новы
> Все впечатленья бытия...

я испытал много душевных лишений, мук и обид; но жизнь мне нравилась. Я стал учиться пользоваться ею.

После первых удач, сообразных с моими идеалами, я полюбил жизнь со всеми ее противоречиями, непримиримыми вовеки, и стал считать почти священнодействием мое страстное участие в этой живописной драме земного бытия, которой глубокий смысл мне казался невыразимо таинственным, мистически неразгаданным.

Приучая себя к борьбе, я вместе с тем учился как можно сильнее и сознательнее наслаждаться тем, что посылала мне судьба. Немногие умели так, как я умел, восхищаться розами, не забывая ни на миг ту боль, которую причиняли мне тогда же даже и самые мелкие шипы!

Люди любят рассказывать о том, как они нестерпимо страдали, я же хочу здесь рассказать о том, как и чем я был счастлив в то время.

Малым ли я был доволен, или я требовал многого разом — я не знаю; об этом судить не мне.

Я не забуду, конечно, в рассказе моем и этих «шипов па ветках розы», но, право, они были так ничтожны!

Так все ладилось тогда само собою, так удавалось! Так счастливо вырастало из самых ничтожных обстоятельств. Все возбуждало меня идти смело на битву и на радость.

Опять ожили вокруг меня картины любимого Востока; опять защебетали птички; лица на улицах повеселели; обнаженные зимние сады стали еще узорнее и милее прежнего, движение пестрых и грязных базаров осмыс-

леннее и живописнее. Прежде всего, это было похоже на драгоценную, прекрасную рамку, в которой еще нет полотна или на полотне которой нет милого образа; теперь на меня из разноцветной рамы этой взирают добрые, большие, черные «очи» и светит мне знакомым светом лукавая улыбка — не то небесная по кротости, не то заманчиво и неуловимо растлевающая — не знаю какая, но знаю, *как* она светит мне. И все мне кажется, что только мне одному!

Стояли теплые дни, и солнце было ярко; я восхищался тем, что я на юге. Начинал падать снег, и становилось холодно; я рад был огню печей и мечтательно вспоминал о милой и бедной родине моей, так недавно и так жестоко покинутой мною! Все силы мои удвоились; я стал и деятельнее по службе, и приятно-ленивее во время отдыха; я стал и добрее, и в то же время до злости смелее; я больше мыслил (мне казалось так), чаще пел и декламировал стихи и дома (погромче), и в дальних кварталах на прогулке (вполголоса и оглядываясь):

Свеж и душист твой роскошный венок.
Всех в нем цветов благовонья слышны;
Кудри твои так обильны и пышны,
Свеж и душист твой роскошный венок.
    Свеж и душист твой роскошный венок.
Ясного взора губительна сила.
Нет, я не верю, чтоб ты не любила:
Свеж и душист твой роскошный венок.
    Свеж и душист твой роскошный венок.
Счастию сердце легко предается,
Мне близ тебя хорошо и поется.
Свеж и душист твой роскошный венок!..

Я пел и декламировал. Я делал новые подарки Велико и другим домочадцам своим, чтоб и они чувствовали, до чего мне хорошо теперь, чтоб и они всегда помнили меня *именно в это время!*

Конечно, одно только присутствие Маши Антониади в городе, один только осторожный намек ее *на любовь* не могли бы так очаровательно и сильно, сразу и надолго вдохновить меня. Нет, кроме чувства ее близости, кроме ее намеков, были и другие поводы к веселому напряжению душевных сил моих. Сама по себе адрианопольская жизнь к средине этой зимы стала гораздо занимательнее и оживленнее. Всеобщий подъем духа на Востоке и в Ев-

ропе отзывался и здесь. В Крите уже давно геройски бились греки; в центре Европы подымалась новая грозная сила — униженная Австрия облачалась для прикрытия своей политической нищеты в подавленную и поношенную мадьярскую одежду; в Балканах ждали волнений; в дальнем Петербурге давали балы в пользу критян; славяне сбирались пировать на съезде в России. Сербия грозила вступить с Элладой в союз против султана, и некоторые из фракийских болгар, преувеличивая себе расстройство Турции и силу княжества (впоследствии оказавшейся столь малою), уже начали бояться, что сербы пройдут беспрепятственно чуть не до Царьграда и захватят себе часть их земель.

Другие в городе опасались вспышки мусульманского фанатизма. В то время еще были живы многие люди двадцатых годов; они помнили со свежестью детской памяти прежние казни, помнили слезы, крики женщин, видали кровь и бледные лица отцов и родных своих.

Христиане и в городе, и в ближних селах были робки; восстания никто здесь не ждал, но боязнь избиений, подобных сирийским, была от времени до времени сильна.

Турки со своей стороны принимали меры, спешили реформами, передвигали войска. Прибыли с этой целью из Константинополя вместе двое пашей: Хамид-паша — генерал-губернатор всей области, худой, высокий, важный и почтенный, губернатор округа Ариф, толстый, низенький босняк, игравший в славянскую популярность, умный, просвещенный, но лукавый до низости и бесстыдства. Учреждались новые области — вилайеты и новые суды.

Адрианополь в то же время наполнился поляками. Сначала, когда я еще в первый раз видел Велико верхом на базаре, в городе стояла небольшая часть этой кавалерии.

Молодцеватые белокурые офицеры в фесках и с кривыми саблями гордо ходили по городу, встречались с нами в обществе; явились и дамы полковые; показались лишние против прежнего кареты; всадники, драгуны и казаки гарцевали по улицам. Высокий, энергический, полный и красивый Мурад-бей, граф Доливо-Ландцковский был заметнее всех; Вехби-бей, пожилой и почтенный

полковник (когда-то просто — Вержбицкий, офицер русской службы на Кавказе), приехал с женой еще довольно молодою и двумя белокурыми дочерьми, у которых волосы были необыкновенно густы, светлы и красивы.

Все вокруг меня, и вблизи, и в отдалении, было возбуждено и взволновано, тревожно. Все становилось крупнее и как бы осмысленнее; все ждали общего пожара национальных и религиозных страстей. Все спешило куда-то вдаль, все было в движении. Все отражалось и на мне: все меня возбуждало, веселило: все придавало боевой и многозначительный характер даже нашему письменному с Богатыревым труду. Я помню, однажды я сидел ночью в канцелярии консульства и кончал большой, срочный труд к проезду из Рущука в Царьград русского верхового курьера. Богатырев, который вообще готов был заниматься делами еще больше моего, на этот раз устал и удалился на покой. На дворе была оттепель; ночь была не морозная, а только прохладная, какие бывают у нас в сентябре. Железную печку натопили слишком жарко, докрасна, и я, раскрыв окно, чтобы освежить и увлажить слишком высохший, горячий воздух комнаты, продолжал с одушевлением трудиться. Канцелярия была в нижнем этаже, но окна были настолько высоки, что пешеходы не могли меня видеть. Да их почти и не было; было уже очень поздно, и темная улица была безмолвна. Как вдруг раздался крик и громкий свист; застучали по мостовой конские копыта... Я слушал. Стук копыт приближался; раздался свист еще громче и ближе... Верховые поравнялись с окнами моими... Я не знаю до сих пор, что это было — запоздалая турецкая верховая почта или верховой какой-нибудь объезд... Я продолжал писать.

Всадники, поравнявшись с окнами нашими, примолкли; они, должно быть, придержав лошадей, смотрели на меня. Я был ярко освещен свечами.

— Пишет! — сказал один из них громко.

— Кто это? — спросил другой, и они проехали.

Топот и крики опять на мгновение усилились и потом мало-помалу затихли. Я вообразил себе чувства этих мусульман (а может быть, и поляков) при виде пишущего русского. «Что он может писать, кроме вредного нам?» И хотя мне лично и турки, и польские офицеры очень нравились, я с удовольствием и с улыбкой гордо-

сти вспомнил об их политической ненависти и сказал себе:

«Как бы, может быть, было им приятно бросить теперь мне в голову большой камень или даже прицелиться в меня!»

И правда, писал я в эту ночь вещи невыгодные и для турок, и для римской пропаганды, которою так справедливо со своей точки зрения должны были дорожить лихие наездники лихого пана и поэта Садык-паши.

Я наслаждался внутренним сознанием той полуоткрытой, почти ежеминутной борьбы, в которую все сильнее и сильнее вовлекались и мы среди всеобщего брожения умов; я был бы рад, если бы борьба эта приняла и здесь открытый и страшный вид войны или восстания. Самолюбие мое внушало мне, что я сумел бы выйти хорошо из тех затруднений и опасностей, которые всегда могли предстоять здесь русскому в такие дни...

Конечно, все это ощущать, всем этим наслаждаться я мог бы и в отсутствие Маши, но мне приятно было иметь близко «даму сердца», которая могла бы оценить и беседу мою «о мирах» и «загробной жизни», и голубую шубку русского покроя, и шапочку набекрень, и лошадку вороную, и доброту души (которой я тогда, между прочим, тоже гордился), и политический такт на службе, и какой-нибудь удар хлыста, вроде того, за который меня, наказуя для вида, перевели сюда и повысили, поручив сразу серьезный и деятельный пост.

Куст «весенней черему́хи» цвел теперь уже близко от меня, и я мог надеяться когда-нибудь, срывая цветы его, сплесть из них себе «душистый и свежий» венок победы. Какой победы? над кем? над чем победы? Я не знал и не жаждал знать. Мне было весело; мне было приятно жить тогда на свете; мне стало приятнее прежнего и гулять, и трудиться, и есть, и пить, и спать, и бодрствовать, и мыслить, и смеяться, и не только любить,— мне ненавидеть даже стало как-то слаще.

Я ненавидел, например, нового драгомана австрийского консульства: фамилия его была Бояджиев; он был болгарин-униат, отъявленный враг России и поклонник всего европейского. Серьезный, солидный, черный как цыган, с большим горбатым носом, всегда в феске и каком-то грубом сак-пальто лилового цвета, сшитом из

местной «абы», для покровительства национальному рукоделию. Он воображал себя образованным и позволял себе от времени до времени судить обо всем с гордым, стойким и язвительным видом. Я ненавидел его солидность и презирал его пошлость. Мне казалось почему-то, что он в душе презирает меня...

И вот (я сказал, что многое само собой слагалось в этот год лиризма и удачи)... и вот пришлось мне сразу в один день и почти в один час проучить надолго этого ненавистного мне человека,— и узнать кое-что о таких делах, которые могли иметь большое влияние на положение в городе мужа милой моему сердцу женщины.

Проучить глупца и врага России и остаться правым! Узнать секрет и тотчас же воспользоваться им с немедленным успехом для себя и для консульских дел — разве это не весело? разве не надо ценить такие ясные дни?

Я их ценил и веселился!

XIV

Случилось все это вот как.

Дня через два, через три, может быть, после того «чреватого будущим» визита в «белый» дом, *среди домов розовых и темно-красных,* я увидал поутру, что на дворе туман и сырость, и мне это очень понравилось.

Я спросил себя: «Куда бы мне пойти?» — и решил, что лучше всего пойти к тому самому человеку, под начальством которого состоит ненавистный мне «в принципе» униат и ученый мужик Бояджиев,— к австрийскому консулу *Остеррейхеру.*

Да, его фамилия была такая странная — *Остеррейхер*[1], хотя родом он был, напротив того, вовсе не из Австрии, а баварец, и только после целого ряда замечательных приключений поступил па службу империи Габсбургов.

Остеррейхера я любил. Он нравился не мне одному своею удивительной оригинальностью. Хороший, благонравный семьянин лет около сорока; худой, сухой, высокий, сильный, лицом безобразный, краснокожий; взором мрачный, в иные минуты даже страшный с виду, но,

[1] Австриец. *(Примеч. авт.)*

в сущности, веселый и общительный. Вспыльчивый нередко до исступления, до дерзости, он, горячась, имел привычку щипать себя ногтями со злости за лицо так сильно, что на лбу и щеках его оставались надолго небольшие пятна. Большею частью любезный и до изысканности вежливый, пока его не раздражали. Танцор, с большими шпорами, всегда в какой-то полувоенной форме, в каких-то чуть не курточках залихватского покроя; серьезно начитанный, воинственный, и в политике и лично; драчун и добрый малый; атеист и покровитель римской пропаганды, в ее действиях против нас и православия. Родом баварец (как я сказал), австриец по службе, по духу действий на Востоке, пруссак по общегерманским сочувствиям, смолоду он был революционером, социалистом; едва не был взят с оружием в руках прусскими войсками; бежал и спасся; служил, кажется, матросом на купеческом корабле, который привез его в Царьград; здесь он жил сначала письменным трудом, сумел обратить на себя внимание интернунция и поступил на австрийскую службу. Жена его, смирная, беленькая, простоватая, полная, многодетная, всегда не по моде и без вкуса одетая, — была ему кузина; он ее когда-то и где-то увлек, похитил, а теперь кричал на нее даже при нас грозно: «Schlechte Kuh!»[1], когда она ему чем-нибудь надоедала, и танцевал с нею какую-то особенно лихую польку или *шотишь* на консульских вечерах; бряцая шпорами, он нежно улыбался ей сначала, потом внезапно отталкивал ее от себя с грозным видом, чтобы она танцевала особо, и, подперев руки в боки, опять умильно улыбался и снова рыцарски бряцал, наскакивал на бедную женщину, которая танцевала, может быть, и гораздо лучше, если бы не была так напугана им. Как было не любить такого занимательного человека?

Я бывал у Остеррейхера нередко прежде, и мы за кружкой пива иногда до поздней ночи беседовали с ним о всевозможных предметах, но любимым его разговором был разговор о развитии германской нации в отношениях: политическом, экономическом, *этическом.* Он кричал об этом по-французски, произнося *дэ* как *тэ,* а *j* и *g* как *ша.*

[1] Негодная корова! *(нем.)*

— Вот, вот наше призвание на Востоке: распространять в среде здешнего славянства германскую культуру. Вот наше призвание, вот оно!

И потом начинал хохотать и, хватая меня за руку, восклицал:

— О! вы молчите, вы улыбаетесь... Знаю, знаю. Я знаю, что вы, представители этой бюрократической и самодержавной нации, вы нам самые опасные соперники... Vous êtes des compétiteurs habiles et terribles, mais terribles...[1] Schlechte Kuh! — кричал он вдруг грозно на мадам Остеррейхер, которая после полуночи начинала обыкновенно дремать, слушая нас с работой в руках. — Ты спишь, Donnerwetter[2], вели подать нам еще пива!

И, проводив жену взглядом минутной ненависти, он обращался снова ко мне вежливо и спокойно, с улыбкой любезной тонкости на раскрасневшемся от пива больше обыкновенного худом и суровом лице:

— Но простите, если вам я скажу: вы делаете одну ошибку, да!

— Какую? просветите нас.

— Эта *ортодоксия* ваша! И вы, и ваш Богатырев люди образованные; он человек, привыкший к высшему свету, вы человек с большой начитанностью. И вы встаете рано, ходите к *мессе* в это Иерусалимское подворье. Ба! (он топал ногой)... Все эти здешние греки и болгары старшины, они ни в Бога, ни в дьявола не верят, так же, как и я. Богатырев читает сам Сен-Поля и Сен-Пьерра в церкви. Donnerwetter!.. Поэтому и мы должны противодействовать вашей препотенции на той же почве. Эти польские попы в одежде восточного клира! это не плохая выдумка. А? Qu'en dites-vous?..[3]

— Желаю вам успеха! — говорил я смеясь...

— А! какая фраза!.. Амалия, где ты? Где пиво, черт возьми!.. Пиво!.. Да, в настоящем вы здесь очень сильны, но будущее наше... Ха-ха! Вы не верите? Вы верите в призвание de la Sainte Russie[4]. Ну что ж, история покажет, поборемся. Цивилизация за нас! Le développement économique, éthique et éthnique est notre force, vous ne

[1] Вы искусные и опасные конкуренты, но опасные...
[2] Черт возьми *(нем.)*.
[3] Что вы об этом скажете?
[4] Святой Руси.

possedez que la force politique![1] Амалия!.. Черт возьми! Еще пива...

Я очень любил его патриотическое хвастовство и, нимало не сомневаясь в благоприятном для России исходе борьбы за преобладание на Балканском полуострове, забавлялся только тем, что еще более возбуждал его высказываться, и потом, конечно, передавал все Богатыреву, который тоже очень утешался его выходками и восклицал иногда: «Бедный Остеррейхер!» И действительно, в то время Австрия очень мало значила во Фракии; род службы Остеррейхера был более наблюдательный, чем деятельный в самом деле. В деятельную и серьезную борьбу были вовлечены четыре консульства: французское, великобританское, греческое и наше. Может быть, и в самом деле этот умный, энергический чудак выдумал выписать польских священников и одеть их по-православному в черные рясы и камилавки, но осуществить все это, устроить и поддержать денежною помощью мог только французский консул, а никак не австрийский, бедный даже и материальными средствами. Поэтому-то вся лихость Остеррейхера казалась нам больше занимательною, чем опасною, и в самой его манере говорить и хвастаться было что-то добродушное и забавное, которое нас не только не оскорбляло, но заставило даже искать его общества.

Во время продолжительного и убийственного уныния, в каком я находился, я перестал к нему ходить. Я исполнял тогда лишь мои служебные обязанности, но беседа мне в то время нужна была иная, мне нужны были тогда стоны сердца, томления неудовлетворенного романтизма. Только такой человек, с которым бы я мог вместе томиться, изливая всю душу мою, который мог бы оживить меня и, понимая мою тоску, заставить меня ее забыть!.. Но этого я не встречал даже и в московском нашем Богатыреве. Мы с ним никогда не заходили далеко в откровенности, и приязнь наша была только внешнею приязнью удачно ужившихся сослуживцев. Какая же была возможность сказать австрийскому консулу (в особенности такому, каков был Остеррейхер), что я тоскую оттого, что мне

---

[1] Развитие экономическое, этическое и этническое — это наша сила, вы обладаете только силой политической.

не в кого влюбиться и не с кем тосковать? Он бы топнул ногой и закричал:

— «А! ба!.. Старый романтизм, от которого давно пора отказаться!..»

Или прибавил бы, может быть, в добрую минуту:

— Vous êtes encore *cheune*, mon cher. La *cheunesse* est un *téfaut* dont on se *corriche chaque chour*!..[1]

Или, наконец, подумал бы или сказал бы мне с восторгом:

— C'est que romantisme *chermanique*![2] Это доказывает, как я прав, утверждая, что мы, южные немцы, должны надеяться на полное торжество германского духа в этой податливой славянской среде, на распространение и в здешних странах des principes politiques, economiques; éthiques et éthniques, pour ainsi dire, du *chénie chermanique*...[3] Амалия, вели дать еще пива!

И к тому же какая возможность говорить об идеальных чувствах сердца, о том, что меня терзает «жар души, истраченной в пустыне» человеку, который при мне кричит на жену свою: «Schlechte Kuh!»

Вот почему я так долго не был у Остеррейхера. Теперь, когда все силы души моей были возбуждены и утроены, я захотел и с ним повидаться и опять слышать его крик и топот вперемежку с разумною, тихою и вежливою речью.

Задумал и пошел...

XV

Я застал Остеррейхера на этот раз не за пивом и не в обществе дремлющей Амалии, а в обществе Бояджиева и за бутылкой местного красного вина.

Остеррейхер, казалось, очень мне обрадовался и начал расспрашивать меня: почему я так долго у него не был? чем я теперь занимаюсь в часы досуга? и т. п.

Я нарочно (несмотря на присутствие «интеллигент-

---

[1] Вы еще молоды, мой дорогой. Молодость — это недостаток, от которого избавляешься с каждым днем.

[2] Вот германский романтизм!

[3] Политических, экономических, этических и этнических принципов, так сказать, германского гения...

ного» идола в феске и показывая вид, что «игнорирую» его), с целью слышать какой-нибудь оригинальный и резкий возглас, сказал австрийцу если не всю правду, то почти.

— Все унывал, все скучал,— отвечал я,— а в часы досуга читал Чайльд-Гарольда...

— А! прежде я угадал! parbleu![1] — воскликнул Остеррейхер,— Шайльд-Гарольд!.. Все старина!.. все поэзия! Ха-ха-ха!..

Но потом он на минуту призадумался и, отпив немного вина, сказал:

— Без сомнения, поэзия есть великая вещь. Но в наше время она должна служить иным интересам. Времена Байрона прошли и не вернутся. Вы имеете понятие о Кинкеле?

— О Кинкеле? Кто такое Кинкель? Ни малейшего понятия,— отвечал я с удивлением.

Остеррейхер с негодованием затопал ногами и, воздев руки к небу, яростно вскрикнул:

— Кинкель! Кинкель! Не знать Кинкеля!.. Кинкель, это был один из самых замечательных деятелей германской революции 48 года! Он был заключен в тюрьму и посажен за ткацкий станок.

С этими словами австрийский консул вскочил и, бряцая шпорами, кинулся к дверям столовой.

— Амалия! Амалия! —закричал он пронзительно,— где мои перстни? Перстни! Пришли мне перстни мои, белый эмалевый с яхонтом и другой маленький... Амалия, где ты?..

— Я слышу, слышу, сейчас,— отвечал голос Амалии.

— И еще пришли мне ту маленькую книжку, желтую, где Кинкелевы песни... Слышишь ты или нет?..

— Сейчас, сейчас.

Бояджиев все это время молчал и с достоинством курил и пил понемногу вино.

Турок кавас скоро прибежал и принес перстни и книжку, в которой воспевались страдания Кинкеля за ткацким станком.

Остеррейхер радостно схватил книжку, надел перстни и начал читать мне стихи с большим чувством.

---

[1] Черт возьми!

Я не помню ни одного слова, ни одной мысли из этого чтения. Едва ли я и тогда внимательно слушал. Я был до того равнодушен к несчастной судьбе «великого» Кинкеля, что, вероятно, все, что и слышал, невольно тотчас же забыл. И даже теперь я пишу наобум и не совсем уверен, твердо ли я запомнил имя этого героя социальной революции. Кинкель он был или иначе звался, признаюсь, не знаю и не интересуюсь знать. Почитатель «мученика революции» занимал меня несравненно больше, чем сам мученик; а мое отвращение к безмолвному Бояджиеву все росло и становилось мало-помалу гораздо живее, чем все остальные чувства.

(Мне показалось, что он позволил себе насмешливо улыбнуться, когда я заговорил о Байроне!)

Остеррейхер прочел еще два-три стихотворения и, остановившись, спросил меня:

— Как вы это находите?

— Извините, я нахожу это очень скучным... Ваш Кинкель и все подобные ему люди не внушают мне ни малейшей симпатии. Я очень рад, что его засадили. Я не понимаю, что́ именно подобные люди чувствуют, и удивляюсь, как могут такие утилитарные мечтатели вдохновить истинного поэта!.. Вот несчастная судьба вашего же Бенедека меня трогает. Я люблю ваших молодцов в белых мундирах, и хотя вы нам соперники в политике, как вы сами говорили мне не раз, но какое-то живое чувство заставляет меня всегда жалеть, когда их побеждают или убивают. Еще прусский юнкертум может мне внушить то же сочувствие; все эти Штейнмецы и Мантейфели напоминают мне мое детство и русских генералов хорошего старого стиля... Слышится что-то содержательное, крепкое, глубокое, не до дна еще исчерпанное, но я ведь не понимаю штатских, бунтующих с утилитарною целью.

Остеррейхер слушал с большим вниманием; он был, видимо, тронут и, покачав головой, ответил задумчиво и кротко:

— *Ché* vous comprends! *Ché* vous comprends... (Я вас понимаю, я вас понимаю!) Это в своем роде ясно и последовательно...

Бояджиев в эту мину́ту разверз уста:

— Сочувствие милитаризму и аристократии очень по-

нятно в русских, которые так недавно принуждены были отказаться от рабства,— сказал он.

Я вспыхнул, но на первый раз ограничился только тем, что спросил его тихо:

— Вы так думаете?

— Да,— отвечал Бояджиев,— таково мое убеждение!

Остеррейхер насупил брови; он был недоволен этою выходкой своего переводчика и, слегка притопнув, сказал ему, впрочем, более уговаривающим, чем сердитым, тоном:

— Милитаризм, аристократизм! Надо эти понятия отличать... Англия, например, страна аристократии, но милитаризма в ней нет; Франция напротив.

Но Бояджиев настаивал:

— Это так, *г.* консул, но я говорю о России. К ней применимы оба термина. Привилегированное дворянство и военный деспотизм императора.

— Не совсем так,— возразил я уже с большим раздражением.— Привилегий у дворянства уже нет, а тот деспотизм, который вам так не нравится, судя по вашему тону, теперь я нахожу, недостаточно строг ко всякой сволочи, воображающей себя вправе рассуждать, оттого, что она, эта сволочь (cette canaille), кой-чему обучилась. И у нас в России развелось, к несчастью, много рассуждающей и пишущей дряни.

Бояджиев снисходительно улыбнулся и заметил совершенно спокойно:

— Я не думаю, чтобы в России очень много писали! Чтобы литература была развита, необходимы многочисленные читатели, а в России их не может быть много. Русские, это всем известно, почти так же необразованны, как и наши болгары.

Эта последняя дерзость, высказанная решительно и твердо гадким славянином, никогда даже в России не бывавшим, до того поразила меня, что я внезапно впал, не знаю, как и выразить, во что́,— скорее всего, в тихое и в своем роде непоколебимое спокойствие отчаяния — и, обратясь к Бояджиеву, сказал:

— Вот видите, г. Бояджиев, выслушайте меня внимательно,— это вам будет полезно. Когда рассуждает о России, даже и не зная ее хорошо, такой, например, человек, как г. Остеррейхер, это еще не беда. С ним я могу спо-

рить: он сын, действительно, великой германской цивилизации, которой и мы, русские, очень многим обязаны. Но вы? Ваши какие права? Вы даже не понимаете, что вежливо и что нет... Русскому, конечно, нет обиды в том, что вы ничего не понимаете,— и вы можете без нас обнаружить сколько угодно вашу плачевную образованность; пока я здесь, я прошу вас в разговор не мешаться и со мной не говорить вообще ничего и никогда. Слышали?

Бояджиев покраснел и не сказал на это ни слова. Я думал, что по крайней мере уйдет, но он остался, продолжая молча пить и курить.

Остеррейхер был несколько смущен. Он что-то чертил пальцами по столу и принужденно улыбался.

Вероятно, он был обуреваем разными противоположными чувствами: желанием заступиться за драгомана, который как униат был ему очень нужен по делам пропаганды; восхищением по поводу того, что я признал так торжественно его собственные великие культурные права; досадой на то, что я так смело позволяю себе командовать у него в доме; сочувствием своему брату консульскому чиновнику, умеющему обрывать «этих банабаков». Donnerwetter!.. Это иногда необходимо для консульского *престижа* (pour conserver le *prestiche* des *achents* consulaires)[1]. Черт возьми! Поколебавшись с минуту, он, однако, поспешил переменить разговор.

— Так вы скучаете здесь,— сказал он мне с участием.

— Я не говорю, что я скучаю всегда. Теперь мне опять весело; но было время уныния.

— Это от недостатка общества.

— На что мне это общество! — возразил я с досадой.— Вы ошибаетесь. Все зависит от нашего внутреннего чувства.

— Нет, нет, настаивал Остеррейхер,— это недостаток общества. Нет театров, нет балов, литературных чтений.

Я хотел еще раз протестовать, но Остеррейхер возвысил голос, чтобы перекричать меня, и продолжал:

— Да, теперь стало в Адрианополе скучнее, но года два тому назад было очень весело. Тут были и некоторые условия местной политики, которые благоприятствовали общественному оживлению. Генерал-губернатор был зна-

[1] Для сохранения престижа консульских агентов.

менитый Ахмед-Киритли. Вы знаете, это настоящий grand seigneur[1]. Он сам был не раз великим визирем и послом при европейских дворах. Он был послом при коронации вашего императора в Москве, имеет ленту св. Анны, образован, умен, у него множество энергии, и вместе с тем он скорее принадлежит к старотурецкой партии по убеждениям, чем к партии Мидхад-паши, который теперь в Рущуке. Перед приездом Богатырева все было в разладе, господствовал один Виллартон, потому что он пресмыкался (Остеррейхер с пренебрежением пожал плечами и топнул ногой; он не любил английского вице-консула) перед Киритли-пашой. С предместником Богатырева, Шамшиным, Киритли был на ножах за переселение болгар в Россию; с французским консулом еще хуже, за то, что велел схватить по подозрению французского каваса-албанца на улице,— по подозрению в укрывательстве одного из тех арнаутов-разбойников, которые на Филиппопольской дороге убили американского миссионера. А, Боже мой, что тут было! телеграммы к Тувенелю, телеграммы от Тувенеля сюда. Последняя от Тувенеля была такая: «Пошлите секретаря вашего сказать Ахмед-Киритли-паше, что его поступок недобросовестен и что он будет иметь дело со мной самим, если не освободит сейчас же каваса!..» А! каково это было вынести Ахмед-Киритли?.. Конечно, все это поселяло холодность и раздражение, и местная власть всегда может найти тысячу случаев «класть палки в колеса» тем консулам, которые ей досадили. Мы были трое — Шамшин, французский консул Мульяр и я — почти всегда заодно, но этот дьявол Виллартон помогал всячески паше парализовать наши усилия; когда же приехали почти в одно и то же время Богатырев и де-Шервиль, тогда все переменилось в общественной нашей жизни... Богатырев сумел расположить к себе пашу и сблизился с Виллартоном...

Тут Остеррейхер приостановился и, чуть-чуть улыбнувшись, спросил:

— Вы видели мадам Виллартон?

— Да, я познакомился с нею всего дней за пять до ее отъезда в Вену.

— Это женщина довольно умная... довольно умная,

[1] Вельможа.

да! — продолжал австриец. — Она больше дипломат, чем ее муж!.. Богатырев стал чаще и чаще бывать у них. Они у него. Начались вечера, балы, пикники, театры. Кирит-ли-паша принимал во всем участие... Мы веселились тогда.

Однажды, в вашем консульстве, после ужина, когда паша уехал, мы даже затеяли драку... Тогда только что кончились шлезвиг-голштинские дела, и Виллартон любил дразнить меня, как немца, геройством датчан. Он предложил представить в лицах шлезвиг-голштинскую войну. Вообразите, он влез в зале у Богатырева на угловой диван, схватил подушку и кричал: «Я Дания, я Дания!.. Кто со мной против немцев?..» Де-Шервиль схватывает другую подушку и тоже прыгает на диван и кричит: «Я против немцев». Богатырев со мною; он изображал Пруссию... Мадам де-Шервиль испугалась и спряталась за молодого человека, за Джемса, вы знаете его. Она говорила потом, что никогда не видала, чтобы такие взрослые, серьезные мужчины дрались и кидались подушками... Это был штурм... Parbleu! настоящий штурм... Я повалил Виллартона, сам упал... Жаль, что вы не знаете мадам Виллартон, — это интересная женщина...

Я ждал еще новых занимательных подробностей, тем более что Остеррейхер выпил много вина, но нас прервали.

Вошел кавас и почтительно остановился у дверей. Остеррейхер опять нахмурился.

— Что такое? что тебе нужно? — спросил он тихо и сурово.

— Один суддит[1] пришел, наш суддит.

— Который?

— Азариан, армянин.

Остеррейхер произнес вполголоса, сдерживая гнев свой, несколько самых непристойных турецких ругательных слов: «Кера́та! пезевенг!» и потом прибавил громко и спокойно: «Зови!»

Азариан вошел. Он был одет по-восточному, в феске, в длинной шубе на легком меху, с широкими рукавами,

[1] Суддит — sujet, так зовут турки *иностранных подданных,* преимущественно местных уроженцев, снабженных иностранным паспортом в отличие от подданных султана — *райя. (Примеч. авт.)*

как у монашеской рясы, и в полосатом халате снизу, подпоясанном кушаком.

— Садись,— сказал ему консул по-турецки довольно скромно и кротко. (Вероятно, он вспомнил в эту минуту или об этическом принципе германского гения, или об экономическом строе местной жизни, так как Азариан был богат и мог поэтому пригодиться.)

Азариан сел почтительно на край дивана и уже сидя раскланялся со всеми нами по-турецки.

Консул вежливо, и даже с маленькою улыбкой, ответил ему; но я чувствовал, что он волнуется, и, зная его, ожидал грозы.

Азариан глядел на всех нас и лукаво, и весело, и глупо, ожидая нового вопроса.

Э, что нового? — спросил Остеррейхер все еще вежливо.

— Гюзельлик[1]! — равнодушно произнес армянин.

Долг восточных приличий требовал, чтобы он не начинал прямо с изложения своего дела, а вел бы сначала с господином консулом приятные общие разговоры о здоровье, погоде, о взаимной дружбе и т. д.

Но это слово «гюзельлик» было искрой, воспламенившею австрийский порох. Остеррейхер затопал, зазвенел шпорами, застучал кулаком по столу, закричал как бешеный:

— Гюзельлик! а! гюзельлик! мне нет времени твоими гюзельликами заниматься! Говори дело, начинай прямо с дела... что у тебя там?.. Гюзельлик! гюзельлик! — повторил он с ненавистью.

Азариан, вероятно уже привычный к таким вспышкам, не особенно испугался, но, смиренно и спокойно склонив голову, даже улыбнулся и сказал:

— Ну, хорошо, хорошо. Начнем с дела.

Остеррейхер утих и слушал.

Дело было несложное: о недоплате денег другим армянином, турецким подданным, за проданного ему Азарианом буйвола, который у нового хозяина тотчас же издох.

Остеррейхер велел Бояджиеву пойти с Азарианом в

---

[1] Гюзельлик — все прекрасно! «Красота, тишина». Все равно что у нас «слава Богу!» *(Примеч. авт.)*

канцелярию и записать для памяти имя противника и сущность дела и прибавил ласково:

— Бояджев, mon cher, вы займитесь там, а мы пока побеседуем с мосье Ладпевым.

Оставшись со мной наедине, Остеррейхер почти тотчас же заговорил об Антониади и Виллартоне.

XVI

Как только Бояджев исчез за дверями вместе с Азарианом, мне захотелось поскорее и вполне увериться, что Остеррейхер не сердится на меня, и я сказал ему:

— Мне, право, очень жаль, что я был вынужден дать вашему драгоману такое строгое наставление. Я считаю себя правым, но мне неприятно, что это случилось у вас в доме и при вас. Впрочем, уверяю вас, что мое искреннее уважение к вам заставило меня придать всему этому более мягкую форму. В другом месте я позволил бы себе большее.

Остеррейхер принужденно улыбнулся и отвечал:

— Да, он немножко груб и не знает, что можно сказать и чего нельзя.

Потом он дружески подлил мне еще вина и продолжал:

— Эти драгоманы — большое затруднение. Я в одном завидую вам, русским, что вам так давно служит такой несравненный человек, как Михалаки Канкеларио. Это сокровище. И с каким удовольствием отнял бы я его у вас! Но я знаю, что это невозможно. Он не расстанется с русским консульством.

Остеррейхер был прав; положение нашего драгомана было совсем не похоже на положение других драгоманов в городе. Михалаки Канкеларио, даже и не служа при русском консульстве, по состоянию своему, по чрезвычайно тонкому уму и по некоторой образованности своей имел бы видное место в городе. У него был в Кастро хороший дом (мне нравилось то, что он был ярко-синего цвета); была прекрасная дача в подгородном селе Карагач, с садом, беседками, обвитыми душистым жасмином, с небольшим фонтаном; были свои лошади; торговал он счастливо разным мелким и грубым товаром, стеклянною посудой,

гвоздями, замками, железными печами, дешевыми коврами европейской подделки. Безвозмездная служба при русском консульстве в соединении с его независимыми средствами, при способностях и такте, удваивала его силу и значение в среде христиан Адрианополя. В консульских домах он был бы принят и не служа, как «архонт» или «примат», как один из представителей местной плутократии. Консульские жены платили визиты его старой и болезненной жене, которая ходила в коротких платьях и повязывалась платочками. Михалаки бывал по торговым делам в Париже и в Вене, и практическое знание французского языка еще больше облегчало ему сношения запросто с консулами. Совсем иначе были поставлены в обществе драгоманы других консульств. Драгоман французского консульства был в то время поляк Менжинский, энергический фанатик польского дела, галицийский эмигрант, бедный, бездомный скиталец, враг русских до такой явной степени, до такой личной дерзости, что Богатырев вынужден был официально отказать ему от входа в консульство даже и по делам, встречаясь, не говорил и не кланялся с ним и мне приказывал поступать так же. Французские консулы протестовали, выставляя на вид официальное значение Менжинского, но тщетно. Богатырев не уступал. Бояджиева я уже описал; он тоже сам по себе, без австрийского драгомана, мало бы значил в обществе. Бедный болгарин, народный учитель из дальнего и глухого города, перешедший из политических видов и корысти в униатство,— что́ мог он значить в обществе, если бы не служил у Остеррейхера? При этом, как видно было всякому сразу, грубый, невежливый, напыщенный кой-каким знанием языков и воображаемою ученостью. Его консулы принимали только по делам и в торжественные дни царских именин и королевских рождений. Визитов ему не платили. Богатырев руку подавал ему, но всегда сурово и стараясь не глядеть на него. У Виллартона по мелким делам в Порте и в других консульствах хлопотал скромный, небогатый, робкий, низенький, невзрачный и умом ограниченный грек Сотираки. Он имел небольшой домик в дальнем предместьи Ильдирим; в общество консульское и высшее торговое сам втираться не старался, на него тоже мало обращали внимание, но скорее по какому-то забвению, чем по недобро-

желательству. Я сказал, что он был человек скромный и почтительный; у Виллартона при почетных гостях он сидел на кончике стула, в углу, и очень скоро куда-то скрывался. Словом, если применить приблизительно впечатление, которое производили все эти четыре драгомана, к оттенкам нашей русской провинциальной жизни, то выйдет так, что в приемной Богатырева, Виллартона и де-Шарвиля (весьма благовоспитанного человека) Сотираки производил впечатление скромного и дельного управляющего имением; Менжинский — отставного майора, бедного, но гордого и сердитого, с которым многие боятся сблизиться, чтобы он не прибил или не вызвал на дуэль, Бояджиев был похож на твердого и ничего (даже и вежливости) не признающего нигилиста, который, обедая случайно с дворянами, думает о том, как бы хорошо было их всех перевешать или зарыть живыми в землю, орошенную потом и слезами «меньшей братии». И только один наш Михалаки напоминал не совсем благообразного, вовсе не изящного, но все-таки равноправного с богатыми и светскими хозяевами дома соседа-землевладельца. Немного mauvais genre[1], немного подлец, очень скверно одет, но чрезвычайно умен, всякому очень нужен по положению своему и умеет держать себя в обществе независимо и почтительно.

Понятно поэтому, что австрийский консул был прав, сокрушаясь о том, что у него нет такого Михалаки (вдобавок около двенадцати лет служащего бесплатно верой и правдой только из идеи и самолюбия).

— Да! — продолжал австрийский консул.— Бояджиев мне необходимый человек, и я очень им дорожу. Но мне бы хотелось иметь еще другого, собственно почетного драгомана ad honores, для представительства в Порте и для общественных сношений. Бояджиев райя, это его иногда стесняет, и, кроме того, ce n'est pas un homme du monde![2]. Я обратил недавно внимание на одного человека. Но Виллартон предлагает ему то же самое. Я вчера узнал это из самого верного источника. Вы угадываете?

Остеррейхер сделал плутовское лицо. Я догадался, смутился до чрезвычайности, сам не знаю почему, и поспешил ответить, как бы недоумевая:

---

[1] Дурного тона.
[2] Это не светский человек!

— Нет, право, не могу догадаться!.. Не могу!

— Ба! это так легко! Конечно, я говорю об этом хиосском купце, об Антониади. Он человек богатый и представительный; я доверяю вам эти планы по личной приязни и еще потому, что он, кажется, вам давно знаком. Жена его русская. Быть может, вы поддержите меня и даже возьмете на себя труд узнать мысли Антониади. На чью сторону он склоняется, на сторону Виллартона или на мою? Берегитесь, Виллартон большой интриган. Вам Антониади не нужен, у вас есть Михалаки.

Что мне было отвечать на такую речь? Я отвечал так:

— Я очень рад вам сделать услугу, но вы знаете, что я не могу себе позволить никакого подобного шага без разрешения г. Богатырева. Хотя я уверен, конечно, что и он не меньше моего будет рад быть вам полезным. Он очень любит и уважает вас.

— О! Богатырев прекрасный коллега! — с восторгом воскликнул Остеррейхер.— Это истинный джентльмен! Я всегда говорю, что именно для дипломатии необходимо сохранить аристократический оттенок воспитания. Есть нечто неуловимое у людей такого типа! Однако согласитесь, что этот элемент рыцарской власти, известный оттенок привычной препотенции внесен первоначально в европейскую жизнь все тем же германским завоевательным и устроящим гением (*touchours* par ce *chénie chermanique* conquerant et organisateur!). Однако оставим это и обратимся к Антониади. Если можно будет вам взять на себя это дело, прошу вас внушить Антониади, что я для каких-нибудь коммерческих тяжб отрывать его от личных дел не буду. Цель моя, повторяю, только одно представительство в Порте и в консульствах. Бояджиев не умеет держать себя ни в конаке, ни в обществе консульств.

— Все это так,— отвечал я,— но услуга за услугу. Вы говорите, что узнали именно о таких видах Виллартона на Антониади из самого верного источника. Мне приятно было бы знать от кого? Доверьтесь мне.

Австрийский консул засмеялся.

От самого Виллартона, конечно. Вы знаете, когда он поставит пред собой маленький турецкий столик, начнет подливать воду в *раки,* вы знаете, после этого он... говорит...

— Да, это бывает с ним,— сказал я, радуясь такому положительному сведению.

Я обещал австрийскому консулу мое содействие в пределах возможности; он горячо поблагодарил меня, и я собрался идти. Я спешил к Богатыреву, чтобы отдать ему во всем этом отчет и вместе с тем чтобы поскорее узнать, что придумал Михалаки сделать с нашей стороны, все для той же цели — для привлечения «хиосского купца».

Остеррейхер проводил меня до самого крыльца со множеством лестных дружеских слов и добрых пожеланий, а в заключение всего сказал:

— Нет, послушайте меня, оставьте ваше уныние. Vous êtes *cheune, ropuste, choli* garçon. *Chouissez*![1] Заходите по-прежнему вечером, мы опять займемся за кружкой пива вопросами высшей цивилизации. Помните, как мы с вами хорошо спорили, чуть не до рассвета, а жена моя дремала и меня это бесило?

Все это Остеррейхер сказал так весело и мило, как будто он находил, что так и надо, что кричать при мне на Амалию «Schlechte Kuh!» есть одно из необходимых и наилучших проявлений культурной германской этики.

Распростившись с ним, я немедленно пошел к Богатыреву и застал его с Михалаки за завтраком. Они оба очень мне обрадовались, и Богатырев воскликнул:

— Вот, вот, посоветуйте! разрешите один очень трудный вопрос! Иван, подай скорее прибор.

Я сел и приготовился отвечать на этот трудный вопрос.

XVII

Важный вопрос был вот в чем: Богатырев хотел дать обед по случаю учреждения вилайета во Фракии и в честь приезда обоих новых пашей, Вали-Хамида и Каймакама-паши-Арифа. Надо было все решить и кончить скорее, чтобы кто-нибудь из других консулов не предупредил нас.

Богатырев так увлекся этою затеей, что, не кончив еще завтрака, спросил лист бумаги и тут же стал каран-

[1] Вы молодой, здоровый, красивый молодой человек. Пользуйтесь жизнью!

дашом чертить нечто вроде плана обеденного стола, чтоб яснее было, где кого рассадить по чинам и по правам дипломатического старшинства.

Он начертил длинный четырехугольник; на одном конце написал: Вали-паша, на другом: le Cons. de Russie. Потом стал ставить крестики и начальные буквы: le C. d. F. (французский консул), M. L. (господин Ладнев) и т. д. Число персон выходило нечетное, девять человек, считая с Михалаки Канкеларио... Между мною и Каймакам-пашой некого было посадить... Выходило с одной стороны стола пусто и некрасиво.

Богатырев был очень этим недоволен...

— Посоветуйте, как же быть? — сказал он мне.

— Пригласите нового австрийского драгомана и посадите его vis-à-vis с monsieur Михалаки, — отвечал я с улыбкой.

Михалаки вспыхнул, и глаза его засверкали.

— Как? — воскликнул он. — Бояджиева? униата! Этого босоногого негодяя!.. В таком случае я прошу г. Богатырева лишить меня чести обедать в таком высоком обществе... Мне легче отказаться.

В негодовании Михалаки готов был, кажется, и сейчас даже выйти из-за стола. Его обычная сдержанность и почтительность пред нами, представителями русской власти, которую он почти страстно любил, не могли устоять против такого оскорбления... Одного «плутократического» чувства его было бы достаточно, чтобы возмутиться таким предложением. «Этот *босоногий* негодяй» станет на одну с ним доску!

— Постойте, monsieur Ладнев, верно, шутит, — сказал Богатырев. — Сам Халим-паша оскорбился бы, если б учителя и райя Бояджиева посадили с ним за один стол...

— Я не Бояджиева имел в виду, а другого почетного драгомана, Антониади, — отвечал я и поспешил успокоить Михалаки, рассказав обо всем том, что случилось сегодня в австрийском консульстве.

Слушатели мои были очень довольны. Михалаки негодовал на Бояджиева и с любовью глядел на меня, когда я рассказывал о том, как я проучил грубого униата.

— Quel animal, quel animal![1] — повторял он, качая

---

[1] Какая скотина, какая скотина!

головой.— Отзываться так о великой России, о святой России!.. *Кюпек-оглы* (собачий сын)! — прибавил он еще по-турецки.

Богатырев тоже одобрил мое поведение.

— Это вы отлично сделали, что этому болвану нотацию прочли,— сказал он.— И счастливо сошло вам это с рук! Остеррейхер, верно, к вам за вашу «философию» очень благоволит, а то бы другому он показал дверь или бы еще что-нибудь хуже... Ну, а что ж мы будем делать теперь с Антониади? Как вы скажете, господа? Где нам выгоднее его видеть — в английском консульстве или в австрийском?

— Он не пойдет служить в австрийское консульство,— сказал Михалаки.

— Отчего?

— Греки вообще австрийцам служить не любят. Есть какой-то на это инстинкт! — заметил адрианопольский политик.— Это очень глубоко. Я не могу даже объяснить это,— прибавил он скромно, как бы кокетничая и желая вызова на дальнейшие рассуждения.

— Нет! — сказал весело Богатырев.— Пожалуйста, объясните... Для нас сделайте это, monsieur Михалаки. Вот вам для подкрепления еще немножко.

И он налил ему еще вина.

Михалаки, приняв тогда снова тот твердый и вместе с тем ядовито-проницательный вид, который был ему обыкновенно свойствен, пристально глядя то на консула, то на меня, начал так:

— *Il y a quelque chose!*[1] В интересах и преданиях греков есть нечто такое, что больше их располагает служить России и Англии, чем католическим державам. Относительно Англии и Австрии я скажу, что тут, быть может, сохраняется чувство еще со времен Меттерниха и Каннинга. Но, кроме того, вообще следует заметить, что славяне гораздо легче, чем греки, располагаются искренно к державам католическим, и это очень натурально: у греков нет ни в Австрии, ни в Польше миллионов католических братьев. Греки *одни* на свете; их четыре миллиона с небольшим, и вся сила их в православных преданиях, а не в племени. Россия и греки — вот столпы пра-

[1] Есть кое-что!

вославия. А славяне могут измениться. Интересы и России и греков требуют прежде всего, чтобы православие было крепко, а у славян могут быть и другие наклонности.

— Так что же Англия? — спросил я, хотя и сам почти предугадывал ответ Михалаки.

— Англия,— сказал он,— может вредить грекам только поверхностно. Она может что-нибудь отнять, присоединить; но она не может развратить ни греков, ни славян так, как могут развратить их католические державы. *Религия* при англичанах, так же как и при турках, не в опасности. Вы знаете, что греки Ионических островов религиознее, чем греки свободной Эллады.

— Поэтому Антониади... — подсказал Богатырев.

— ...не пойдет в драгоманы к австрийскому консулу, а к Виллартону, может быть, согласится.

— Но я вас спрашиваю, что́ выгоднее нам, нам? — еще раз спросил Богатырев.

Михалаки помолчал с минуту и потом сказал:

— Вы знаете, турки говорят *дели-базар, бок-базар*![1] Пусть Антониади служит у Виллартона; нам будет лучше.

Богатырев засмеялся от удовольствия.

— Вы думаете,— спросил он,— что так как Виллартон *дели* и слишком обнаруживает свою игру, то Антониади будет все знать и будет передавать нам?

— Зачем *нам!* — скромно съежившись, возразил Михалаки.— Это слишком прямо, и Антониади, кажется, не такой человек. Ему это покажется низким... что-то вроде шпиона. Но я найду другие пути. Есть косвенные сношения, есть разные пути!

При этом Михалаки делал такие убедительные и извилистые жесты руками, что было ясно — он знает эти *пути*.

— Однако,— заметил Богатырев,— прежде всего не надо забывать, что Антониади желает пользоваться русскою протекцией. Он ведь сам заявил мне. Хорошо ли это будет, если мы его предоставим Виллартону вполне?

— Зачем вполне! Для Антониади выгодно иметь защиту и протекцию в турецких судах с разных сторон.

---

[1] *Дели* — безумный; *бок* — навоз, грязь или еще хуже. *(Примеч. авт.)*

В иных случаях ему пригодятся привилегии, которые ему даст английский драгоманат, а в других — наша помощь.

— Если б у него была здесь собственность, — прервал Богатырев, — но ведь жена его русская подданная, и он мог бы все записать каким-нибудь образом на ее имя... да и это очень сложно. Но ведь у него все дела будут в коммерческом суде, и какой способ придумать, чтобы в случае нужды нам защищать его интересы, — я и не знаю...

Михалаки опять принял смиренный вид. Хитрое лицо его выражало в эту минуту спокойную, почти до равнодушия доходящую уверенность подчиненного в том, что начальник (и еще какой начальник... Богатырев!) знает и понимает все лучше его.

Богатырев прибег к своему моноклю и, рассмотрев хорошо это выражение лукавого грека, засмеялся.

— Ne faites donc pas l'innocent, mon cher monsieur Mikhalaki!..[1] Мы ждем всего от вашей изобретательности. Вы сами давно догадались.

— Что сделать? я не знаю, — отвечал Михалаки задумчиво. — Я желал, чтоб он и у нас служил, и у Виллартона. Мне так больше нравится. Я целый день вчера об этом думал. Нельзя ли сделать Антониади одним из членов тиджарета[2] от русского консульства. Наш банкир Москов-Самуил все стареет и мало приносит пользы. Только мне жаль старика обидеть. Хотя и жид, но он такой добрый и невинный!

— О! это ничего! — воскликнул с радостью Богатырев. — Мы найдем, чем утешить Самуила. Можно его будет сделать вторым после вас почетным драгоманом и брать иногда с собой в Порту для виду. Это доставит ему прекрасный случай надеть свою рысью шубку, повязать феску хорошим шелковым платком, *сидеть* пред генерал-губернатором и разговаривать с ним! Он будет счастлив этим... Вы начните с этого поскорей, monsieur Михалаки, предложите ему быть вашим помощником. А насчет Ан-

---

[1] Не прикидывайтесь простачком, мой дорогой господин Михалаки!..

[2] *Тиджарет* — коммерческий суд в Турции, в нем каждое консульство имело двух своих представителей для тяжебных дел между турецкими подданными и иностранными. *(Примеч. авт.)*

тониади мы тоже постараемся. Отлично! — И, обратясь ко мне, консул еще раз спросил: — Владимир Александрович, не правда ли, отлично?

— Очень хорошо,— сказал я.

— А не позволите ли вы мне,— спросил Михалаки вкрадчиво,— подать бедному Самуилу надежду на золотую медаль на ленте св. Анны? Так, от себя, только надежду. Он так долго и усердно служил консульству банкиром и членом тиджарета. Это расположит к нам всю здешнюю еврейскую общину, евреи скажут: «Вот служи англичанам, что за корысть! У них и орденов вовсе нет. То ли дело Россия!»

— Очень рад! Очень рад! — воскликнул Богатырев.— Подайте ему эту надежду не только от себя, но и прямо от меня. Я выхлопочу ему это непременно. Итак, дело решено, по крайней мере в принципе... А об обеде мы и забыли. Я тороплюсь, боюсь, чтобы Виллартоны... Кого же нам посадить, я все-таки не знаю. Если бы к тому дню даже и был назначен Антониади английским драгоманом, то я не вижу никакого основания делать Виллартону такую особую честь: приглашать только его драгомана. Какие основания? И что за *прецедент* для будущего? Вы, monsieur Михалаки, другое дело, вы *наш,* вы почти принадлежите к хозяевам консульства; и к тому же я хочу, чтоб и сами паши видели, как мы вас ценим. Но чужой драгоман?.. Подумайте и об этом, прошу вас.

Михалаки уже стоял в эту минуту с фуражкой в руке; он спешил в Порту и должен был еще зайти к Самуилу. Слыша такие речи от гордого консула, он, не совладав с собой и покраснев от блаженства, как молодая девушка, слабым голосом прошептал: «Je vous remercie, monsieur le consul!»[1] — и поспешно ушел, приговаривая: «Поищу, поищу и для обеда кого посадить...»

Богатырев, проводив его глазами, глухо и тихо сказал:

— Рад-то как! — и потом, обратясь уже прямо ко мне, начал, весело и плутовски смеясь: — Теперь я вас обрадую.

— Как?

— Да уж обрадую,— продолжал мой молодой началь-

[1] Благодарю вас, господин консул!

ник все так же лукаво и добродушно.— Уж все пущу в ход. Мне нужно, чтобы христиане здешние не воображали, что мы нуждаемся в содействии и дружбе английского консула. Идите-ка вы, батюшка, знаете куда? Идите к Марье Спиридоновне. Да! к *самой* к Марье Спиридоновне... А! как вы обрадовались! Да, вы влюблены. Это ясно. Вы влюблены. Вы больше обрадовались, чем Михалаки моим комплиментам...

— Перестаньте,— сказал я, конфузясь невольно.— Прошу вас... ну рад, ну влюблен, что вам до этого!..

— Да ничего, ничего. Я сочувствую вам. Дело житейское. Так вы идите скорее. Сейчас. Муж небось в конторе теперь, считает деньги. А вы к ней. Начните по-здешнему издалека... «La pluralité des mondes...»[1], например, «l'immensité de l'éspace; l'amitié; l'amour avant tout, le devoir conjugal après...»[2] А потом и поручите ей все узнать, чего муж хочет. Скажите прямо, что Остеррейхер просил вас действовать в его пользу, но что вы не знаете, как это, и зачем, и что с политической точки зрения консульству *все равно,* понимаете?.. Это главное — *все равно...* Вот оттенок. Поговорите от меня и от себя о тиджарете и о Виллартоне узнайте... Я не совсем в этом отношении с Михалаки согласен. Все было бы лучше и проще, если б Антониади был подальше от Виллартона и зависел бы в делах только от нас.— И, приостановившись, Богатырев прибавил опять шуточно: — Ведь и для ваших будущих благ было бы лучше, если б Антониади зависел только от вас, в случае моего отъезда?

Этот новый оттенок шутки мне не понравился, и я ответил Богатыреву серьезно:

— Послушайте, мне ваши шутки вообще нравятся. Вы не Блуменфельд, я знаю... У него самое простое слово дышит злостью, раздражением и обидой. Я понимаю, что у вас совсем другой оттенок. Но еще раз я вас прошу, умоляю даже, шутите надо мной сколько вам угодно,— над моим чувством, что я влюблен, что я страдаю, что вы хотите; но не придавайте, ради Бога, никакого грязного характера вашим речам об этой женщине... Какое она

[1] Множество миров...

[2] Беспредельность пространства; дружба; любовь прежде всего, а супружеский долг потом...

зло вам сделала? И если я хочу уважать ее, почему же вам не щадить моего чувства? К чему эта мысль о какой-то чиновничьей эксплуатации, о начальстве над мужем... Какая гадкая мысль!

Богатырев сильно нахмурился и очень грубым голосом сказал:

— Вас не разберешь. Вы сами защитник женской свободы в любви. Поклонник Жорж Занд. А тут обижаетесь за одно слово! Я буду вперед...

И, не кончив с досады фразы, он все с рассерженным лицом встал и пошел к дверям канцелярии.

Я взял шапку с окна и собрался идти, но консул, остановившись в дверях, оборотился ко мне и заметил холодно и строго:

— Вы, впрочем, там не слишком распространяйтесь. Я хочу знать скорее о результате. И еще предупреждаю вас, что завтра курьер: у меня четыре большие донесения, и я сам не намерен сегодня переписывать. У вас работы будет на целый вечер, тем более что вы скоро и красиво писать не можете.

— Потрудитесь прислать мне на дом. Все будет готово,— отвечал я так же сухо и холодно.

Мы расстались, и я, раздосадованный и смущенный, пошел к Антониади.

Погода становилась все хуже и хуже. Утренний туман, в котором была своя поэзия, рассеялся; теперь шел мелкий и частый дождик, напоминавший мне Петербург (я ненавидел все то, что́ мне напоминало эту язву России). Грубая адрианопольская мостовая была покрыта слоем липкой грязи, по которой бродили худые и покрытые сыпью бесприютные собаки базара.

«Что за низость эти выходки. (думал я в величайшей досаде). «Дела мужа будут в ваших руках!» Ведь если бы послу или министру нравилась какая-нибудь женщина, он не позволил бы себе так шутить. Отчего же бы я в этом случае не сделал различия между чувством министра и моего собственного слуги? Мне было бы стыдно. Или я лучше многих создан? Или я больше их понимаю?.. Но чего тут не понять Богатыреву? Он не Михалаки какой-нибудь здешний. Это отвратительно! И эта детская какая-то месть чиновника: «переписывай же сегодня все донесения до поздней ночи за то, что ты от началь-

ства не выносишь каких попало шуток». И неужели он и этого не стыдится?.. Не понимаю! не понимаю!»

В таких неприятных размышлениях провел я всю дорогу от консульства до дверей *белого* дома в *Кастро.*

XVIII

Стучал я долго железным кольцом в дверь и с ужасом думал: «А вдруг ее дома нет!» И в ту же минуту я вспомнил почти с отчаянием, что это именно свидание было бы первым нашим свиданием с глазу на глаз. В первый раз мы были бы с ней одни, и не на улице, а в доме. Ни мужа, ни Богатырева, ни посольских товарищей, как было в Константинополе на завтраке.

Я был так осторожен, так терпелив (быть может, и вопреки моей природе), так берег ее репутацию (например, при встрече нашей на улице)! Теперь моя совесть оправдана даже поручением по службе. Все было бы так хорошо! А эту дверь не отпирают, и ее, быть может, нет дома!

Наконец послышались шаги, и эта дверь отворилась.

Предо мной предстала смуглая Елена, гречанка с острова Чериго, верная и давнишняя горничная Маши.

— Пожалуйте, пожалуйте,— приветливо сказала она.

Она как будто рада была меня видеть.

Печаль моя тотчас же облегчилась, и я пошел наверх.

Елена шла за мной и говорила мне:

— Вы нас извините, что мы опоздали отворить вам дверь. У нас все вверх дном.

— Отчего?

— Маленькая наша Акриви вчера приехала с учительницей своей из Константинополя. Привезли много вещей... Мы все теперь приводим в порядок, и госпожа Мария наша не хотела никого принимать, но, когда увидала вас из окна, сказала: «Беги, беги, Елена, скажи, что прошу его. Как я рада, что он пришел». Очень она любит русских!

Так говорила добрая Елена, не зная, до чего ее слова для меня радостны. В зале я увидал и *ее,* и дочь, и гувернантку, ту самую *белую с красным Кизляр-Агаси* Иг-

натович, которую я встретил на завтраке у Т. полтора года тому назад. Акриви выросла; Кизляр-Агаси была все та же.

В зале, правда, был в эту минуту большой беспорядок. На полу было много сена, валялись доски от больших ящиков; столы были загромождены посудой, и стояло много попарно связанных вниз и вверх ногами стульев, тщательно обернутых бумагой.

Маша радостно встретила меня, крепко пожала мне руку и сказала:

— Ах, как я рада вас видеть! как вы давно у нас не были, что́ с вами?

Я не знал, что́ ответить на это (она должна же была понимать, что я не был давно именно потому, что слишком желал быть ежеминутно с нею!)

— Акриви! — продолжала Маша, — ты помнишь monsieur Ладнева? Здоровайся же с ним скорее!

— Нет! не помню, — отвечала девочка с недоумением, приседая.

С г-жой Игнатович мы поздоровались, как старые знакомые, и вот как меняется человек! Эта сентиментальная, неприятно увядшая женщина с красными губами и красными веками, которая в Царьграде тогда показалась мне ужасною, здесь произвела на меня совсем другое впечатление; то есть не она сама, не лицо ее, не вся ее особа, а только присутствие ее здесь показалось мне благоприятным. По какому-то тайному, сердечному инстинкту, по какому-то невыразимому сразу физиологическому соображению я предугадал в ней будущую усердную мне потворщицу и дружески пожал ей руку, говоря:

— Вот неожиданная и приятная встреча!

Легкий румянец удовольствия покрыл щеки г-жи Игнатович, и жалкое лицо ее выразило такое смущение, что сердце мое сжалось внезапно от сострадания. Если встретить ее я не ожидал, то еще менее ожидал чувствовать все то, что́ я почувствовал в эту минуту. Не прав ли я был, говоря, что драма жизни нашей со всеми ее тайными и тонкими ощущениями полна мистической неразгаданности!

Питать такое отвращение, и вдруг!

Маша велела продолжать Елене уборку вещей в зале; увела меня в другую небольшую приемную свою, кото-

рую я еще не видал, и, извинившись, оставила меня одного.

Я сел и любовался. Гостиная эта была только что заново отделана и украшена с удивительным вкусом. Резной деревянный потолок, стены и дулапы[1] в стенах были выкрашены светло-оливковою краской во всех углублениях, а выпуклые узоры, карнизы и бордюры — бледно-красным цветом. Гостиная эта, вроде киоска, освещалась с улицы тесным рядом окон, почти без простенков, и под этими окнами во всю длину шел один простой и широкий турецкий диван. Он был обит тонким сукном темно-красного цвета, а все кантики на его швах, на длинном ряде подушек, какие-то полукруглые уголки на этих подушках и тяжелая бахрома внизу — все это было ярко-палевого цвета,— странное сочетание, которое, однако, очень любимо турками и к которому скоро привыкает русский глаз, тоскующий по столь родственной ему пестроте. Скатерть на круглом столе посреди комнаты была черная бархатная, по заказу в Царьграде, расшитая великолепными разноцветными турецкими надписями и вензелями, ковер на полу смирнский, темно-зеленый, с густым ворсом; там и сям стояло несколько покойных кресел европейского фасона, обитых также сукном, только не красным, как диван, а каким-то почти оливковым, подходящим под цвет стен и потолка. Чугунная американская фигурная печь топилась направо. Налево, у другой стены, на белом мраморе узкого стола стояли две большие вазы... японские или китайские, не знаю, и названия этого фарфора не помню, только он весь нарочно делается как бы мелко истресканным. Но чуть ли не лучшим украшением этой странной и прекрасной комнаты были четыре стула, из числа тех, которые я обвязанными видел в зале. Дерево на них все было заново позолочено, а подушки, как на сиденье, так и овальные на спинках, были вышитые по канве; на фоне белого шелка были изображены пастушеские сцены, деревья, зелень, овечки. Пастушка прядет, пастух-юноша берет ее за подбородок; пастух играет на свирели один, пастушка ласкает собаку. Этот белый шелк и золото! Прелестно.

---

[1] Углубления в стенах, с дверцами, наподобие шкафов. *(Примеч. авт.)*

Видно было, впрочем, что эту комнату только что обновили; в ней было все, так сказать, свежо, изящно, но еще пусто, с ней еще не сжился никто: не было ни книги на столе, ни женской работы, ни забытой детской игрушки. «Но это придет само собой!» — думал я и, осматриваясь кругом, продолжал восхищаться.

Когда мадам Антониади вернулась с работой в руках и села, я выразил ей свой восторг.

— И эти стулья, шелком шитые! это так кстати! — сказал я,— овечки, пастушки рококо посреди всей этой турецкой пестроты. Точно какой-нибудь великий визирь прошлого века купил их как редкость для своего гарема или даже привез их как добычу из какого-нибудь австрийского ограбленного замка!

— Эти стулья мое создание; я сама вышивала их,— сказала Маша.

— Нет! — продолжал я,— визирь прошлого века не сумел бы так убрать свой гарем! Для этого нужно именно то, о чем я так напрасно мечтаю для нас, русских,— смелое соединение восточных вкусов с европейскою тонкостью понимания!

И я опять то любовался на милые эклоги золотых стульев, то рассматривал скатерть, то удивлялся удачному в смелости своей сочетанию красок в этом убранстве, то хвалил резьбу потолка.

Мадам Антониади, улыбаясь, следила за моими движениями и, наконец, сказала:

— Я все время думала об вас, когда убирала. Мне хотелось угодить вам. Кажется, удалось?

— Я не могу на это отвечать,— сказал я даже с досадой.— Что́ тут слово! Впрочем, оставим это. Я должен вам сказать, что я пришел к вам с поручением.

— От кого это? — с любопытством спросила она.

— От двоих консулов.

Любопытство ее возрастало; она оставила работу и с живостью переспросила:

— Ко мне — от консулов? От каких? От каких? Что́ такое?

Но нас прервали. Дверь из залы тихонько отворилась, и вошла Акриви. Она была одета так, как одеваются турецкие девочки, только лучше их. На черных и смолистых (как у отца) волосах ее, остриженных в кружок,

был небольшой белый газовый платочек, обшитый мелкою и пестрою бахромой; платочек был пришпилен с одного боку двумя бриллиантовыми звездами на витой проволоке, и звезды эти дрожали и блистали при каждом движении маленькой Акриви. Одежда на ней была вся из палевого яркого шелка, с какими-то небольшими черно-лиловыми и белыми фигурками. Верхний кафтанчик был перехвачен поясом с серебряными круглыми пряжками, а шальвары очень пышны и широки, до земли, но сшиты так, что они нисколько не мешали ей ступать и даже бегать, если б она захотела. В руках Акриви держала небольшой серебряный поднос с двумя прекрасными *зарфиками* черного фарфора.

В ту минуту, когда дверь отворилась, показалась в ней Елена. Она отворяла эту дверь и, пропуская вперед барышню с подносом, сказала громко и весело:

— Иди, иди, *туркуда* наша. Иди, милая, весели русского нашего *челибея*[1].

Акриви шла ко мне с кофеем не спеша. Ее бледное, восковое личико было серезно, и черные, тихие, покойные глаза удивительно напоминали отцовские.

Принимая из рук ее кофе, я сказал вполголоса, как бы не обращаясь ни к кому:

— Что́ ж это такое?.. Это можно с ума сойти!

Девочка взглянула на меня с удивлением и вдруг спросила все с тем же серьезным и почти печальным лицом:

— Отчего?

Мать громко засмеялась; а я, взяв за руку Акриви, притянул ее к себе и сказал.

— Оттого, что ты так мила в этой одежде, что мне хочется расцеловать тебя.

Акриви немного попятилась и, пожав плечами, сделала небольшую гримасу и опять так же кратко и резко воскликнула по-французски:

— Pourquoi m'embrasser?..[2] — А потом, обратясь к матери, спросила по-гречески: — Поцеловать его или нет?

Мадам Антониади очень забавлялась этими выходками дочери и велела ей меня поцеловать. Тогда Акриви

---

[1] *Челибей* — господин. *(Примеч. авт.)*

[2] Зачем меня поцеловать?

обняла меня прямо рукой за шею и поцеловала крепко и радушно прямо в губы.

Я был очень тронут этим простым движением серьезного и задумчивого ребенка.

После этого Акриви спросила у матери:

— Что мне, сесть теперь или стоять с подносом, пока monsieur будет пить кофе?

— Сядь, сядь,— сказала ей мать.— Теперь мне не до тебя, подожди... Какой же консул дал вам ко мне поручения? *Ко мне!* как это странно.

— Во-первых, Остеррейхер. Он очень желает, чтобы ваш муж служил у него почтенным драгоманом, и вместе с тем боится, что Виллартон пересилит. Виллартон сам признался Остеррейхеру в своих видах на вашего мужа... И Остеррейхер просил меня выведать как-нибудь, которое из двух консульств он предпочитает.

— Вот как! — сказала мадам Антониади,— мой муж здесь, я вижу, словно хорошенькая женщина: его разрывают на части!

— Это понятно,— заметил я,— ваш муж богатый негоциант, образованный, дельный, основательный. Соединение таких качеств — редкость в Адрианополе, и я понимаю консулов; они хотят украсить, так сказать, вашим мужем свои консульства.

Мадам Антониади задумалась над своею работой. Она долго молчала и потом, пожав плечами, сказала довольно сухо:

— Чтó же я тут? Это воля monsieur Антониади. Вы бы обратились к нему.

— Я не мог наверное знать, что он теперь в конторе,— солгал я,— разумеется, если б он был дома, я бы обратился к нему самому. А теперь я вынужден спешить, потому что я не говорил еще о третьем сопернике, который тоже имеет претензии завладеть сердцем monsieur Антониади.

— Это еще кто? Неужели monsieur де-Шервиль?! У него этот страшный Менжинский. Разве он с ним расстается?

— Нет, не де-Шервиль, а наш Богатырев!

— Богатырев?! — с удивлением спросила Маша и даже покраснела отчего-то (я думаю, от тщеславной радости, что за ее мужем так ухаживают).

— А что́ вы делаете с вашим знаменитым Канкеларио?

— Ничего мы с ним нового не делаем. Все то же. Богатырев нуждается в хорошем представителе для тиджарета: вот что хочет он предложить вашему мужу, так как он сам желал пользоваться русскою протекцией.

— Да, вот что! — воскликнула m-me Антониади и опять задумалась, продолжая прилежно вышивать свой вензель на батистовом платке.

Акриви во все это время, пока мы разговаривали, сидела смирно и ждала, чтоб я допил кофе.

Я кончил; Акриви привстала, поднялась на цыпочки, поглядела издали в мою чашку и сказала матери:

— Monsieur Ладнев кончил свой кофе. Могу ли я уйти теперь?

— Иди.

— Я разденусь, — прибавила Акриви, — я должна еще помогать Елене разбирать вещи. Я боюсь испортить платье.

— Хорошо, хорошо, иди, — сказала мать с нетерпением. Видимо, ей хотелось что-то наедине мне сказать.

Когда мы остались одни, m-me Антониади начала так, пожимая плечами и не без смущения:

— Послушайте, вы меня ставите в трудное положение. Я здесь еще ничего не знаю. Вы, верно, хотите, чтоб я как-нибудь подействовала на мужа. Я боюсь сделать вред его интересам, и потом (она стала очень серьезна и опустила глаза), потом я на него имею очень мало влияния. Мы с ним никогда не сходимся в понятиях. Это иногда очень скучно!

Я молчал и ждал, что́ она дальше скажет.

Она продолжала опять пристально и серьезно взглядывать мне в глаза:

— Я ничего не понимаю еще в здешних делах — что́ опасно, что́ выгодно. Теперь такие волнения. Может быть, английский консул может лучше нас оберегать от какой-нибудь турецкой несправедливости. Я говорю вам, что́ я ничего, ничего этого не знаю, и потом я так ненавижу всю эту коммерцию, все эти суды, все эти *дела!* Отец мой, правда, занимался тоже торговлей в России и Молдавии. Но я на все это не обращала никакого внимания! Понимаете?

— Понимаю.

А вместе с тем я не могу взять на себя какую-нибудь ответственность в таких делах. Как я решусь влиять на мужа! Я, может быть, сделаю что-нибудь не так, *чтобы понравиться русским, которых я так люблю*. А это будет вредно! Понимаете?

Говоря это, она чуть-чуть покраснела, и я, отвечая ей «понимаю», тоже смутился от радости.

— Постойте, я еще не кончила, — сказала она с жаром. — Я хочу быть откровенною с вами сегодня. Видите, я терпеть не могу коммерции, но ведь я этой его коммерции обязана всеми удобствами моей жизни. Он приобрел свое богатство большою энергией и большими лишениями. Да! я вам обо всем этом когда-нибудь расскажу. Он много перенес, и при этом он честный человек, верьте мне! А у меня ничего не было, кроме кой-каких вещей. Des petits riens![1] И вот что́ еще, слушайте — вот я эту турецкую одежду сшила моей девочке еще в Константинополе. Я знала, что *вам* это понравится. Ну? Вы понимаете, на чьи труды, на какие деньги я доставляю себе такие удовольствия. Да, поймите. Я трачу много на себя и на дочь для моего удовольствия, потому что люблю так же, как и вы, чтобы все было красиво. Что́ ж мне делать, если без этого мне тоска. Я скучаю нестерпимо в том коммерческом кругу, в котором принуждена жить с ним. И терплю это, а он выносит мои расходы. Я говорю, что мы иногда бываем несогласны, и вы видели пример, как я глупо рассердилась у monsieur де-Шервиля в доме, когда мы спорили, где нанимать квартиру. Нет, лучше об этом не говорить. Я была очень глупа и противна тогда. Мой муж был прав. Но это бывает очень редко. Прошу вас, не думайте, что ссоры у нас бывают часто. Мне было бы очень стыдно. Их почти никогда не бывает: мы оба вовсе не вспыльчивы. Простите, я так много наговорила, что сама теперь не знаю, что́ вам сказать.

— Вы хотели объяснить, — сказал я, — почему вы не можете вмешаться в те дела, о которых я вам говорил. Но вы, кажется, не ясно поняли, о чем речь. Ваш муж сам, вы помните, при вас спрашивал у Богатырева, нет ли какого-нибудь средства пользоваться русскою протек-

[1] Безделушки!

цией в тяжебных делах и вообще в торговых. Мы придумали сделать его русским представителем в тиджарете.

— Чтó такое тиджарет? я забыла.

— Тиджарет — коммерческий суд. Все дела по распискам, векселям и т. п. судятся в этом тиджарете, и каждое консульство имеет в нем двух представителей из каких угодно подданных и какой угодно веры, лишь бы знали дела. Правда, что положение такого *азы* (они называются *аза*) не дает права на такое безусловное покровительство со стороны русского, например, консула, каким пользуется русский подданный, русский драгоман, русский кавас. Но все-таки это способствует...

Маша покачала печально головой и вздохнула.

— Чтó с вами? — спросил я с удивлением.

— Это ужасно скучно все, чтó вы говорите! Чтó мне до этого за дело? Вы мне скажите просто, чего вы от меня хотите: хотите вы, чтобы муж мой был австрийским драгоманом или английским или чтоб он у других вовсе не служил, так и скажите.

Я смотрел на нее. Выражение лица ее было все-таки такое хитрое! Чтó мне ей ответить? Я отвечал искренно:

— Я? Я чего хочу? Я хочу прежде всего, чтобы вам было хорошо и чтобы вы не могли на меня жаловаться. А насчет того, будет ли у кого-нибудь ваш муж драгоманом или нет, по правде сказать, мне все равно. Конечно, как-то лучше, чтоб он не служил ни у Виллартона, ни у Остеррейхера. Обманывать он едва ли их станет, а без обмана будет раздвоение, хотя, простите... и без вашего мужа наши главные интересы в стране будут соблюдены. Я не знаю, чтó думает об этом консул. Но если б я был консулом, я не желал бы, чтоб он служил у Виллартона.

— Почему?

— Виллартон старается во всем нам мешать. Приятно ли будет вашему мужу служить нам в тиджарете и обделывать под нашим флагом свои личные дела у турок; а потом делать с Виллартоном совсем другое — или нас обманывать, или его.

— Скажите какой-нибудь пример, чтоб я поняла,— сказала она.

Я не долго затруднялся представить ей живой пример. Я рассказал ей историю моего Вéлико; объяснил ей, что держать в своем консульстве его было бы неудобно,

так как там бывает множество посетителей, и беглец, незаконно у нас скрывшийся, может быть легко узнан, и поэтому он живет у меня, пока я не управляю и многих принимать не обязан.

— Итак,— сказал я ей,— вообразите себе, что ваш муж служит у Остеррейхера или у Виллартона. До них доходят, положим, смутные слухи о каком-то молодом болгарине, скрытом у меня в доме. Виллартон поручает вашему мужу нарочно посещать меня почаще и выведать истину. Он возбуждает пашу протестовать; положим, мы, не стесняясь ничуть, отрекаемся, отвечаем даже очень дерзко на это, а сами тайком отправляем Ве́лико куда-нибудь в безопасное место. Все это так; мы его не выдадим. Но приятно ли будет вашему мужу стать таким сыщиком, и против кого же? Против той России, которую *вы* так любите и которой протекцией он сам желает пользоваться? К тому же, вы знаете, Богатырев не сегодня-завтра уедет в отпуск, чтоб обвенчаться со своею невестой, и без него все дела будут опять в моих руках. А мне положительно было бы неприятно, если бы ваш муж был драгоманом у Виллартона. Про австрийского консула я не говорю: к нему он, вероятно, сам не пойдет.

— Благодарю вас,— сказала Маша,— мне больше ничего не нужно. Я постараюсь, чтобы мой муж Виллартону не служил. Я докажу вам сейчас, как я вам верю!

Она вышла на минуту и воротилась с небольшою запиской, которую и дала мне прочесть.

Записка была от Виллартона к ее мужу, на французском языке.

«Дорогой мой monsieur Антониади, зайдите сегодня ко мне попозднее. Я сообщу вам много интересного, и к тому же нам необходимо решить поскорее, будете ли вы у меня драгоманом или нет? То, что́ вы мне говорили о множестве забот ваших и недостатке времени, меня беспокоит. Я надеюсь убедить вас и положить конец вашим колебаниям. *Нет ли тут каких-нибудь враждебных мне влияний?*

Весь ваш Виллартон».

Я прочел записку, поблагодарил m-me Антониади за такое доверие и, взглянув на часы, решился с ней расстаться, хотя это было мне очень тяжело.

— Ну, прощайте,— сказала она, взяв мою руку.— Когда ж мы увидимся?

Раздосадованный уже тем, что надо еще раз уходить, не дождавшись еще и на этот раз прямого, ясного до грубости объяснения в любви, я ответил ей с небольшим раздражением:

— Это странно, что вы не хотите понять меня! Прикажите, и я буду ходить каждый день. Я не смею.

Маше мое раздражение понравилось.

Она опять вспомнила Фламмариона и сказала:

— Надо все видеть *в розовом свете,* «надо плавать в розовой атмосфере», и вместе с тем...

Она остановилась.

— Что́ вместе с тем?.. Это мученье!

— И вместе с тем, помните: держать «ушки на макушке». Я все *понимаю,* не беспокойтесь. Пожалуйста, постарайтесь и вы понять все, как должно.

— *Как должно?* Я не знаю.

— Поймите, поймите,— настаивала она.— Да, я забыла вам сказать: мадам Чобан-оглу, вы знаете, мне соседка. Я с ней хочу подружиться; она очень неинтересна, бедная. Но она держит себя посвободнее других здешних дам. Мы будем с ней часто, может быть, гулять по утрам в Эски-Сарай и к Михаль-Кёпрю. Имейте и это в виду. А сюда ходить... как вам сказать? Надо наградить ваше терпение. Я очень, очень вам за него благодарна. Ходите иногда раз в неделю, иногда два, всегда вечером, а иногда *так, как сегодня,*— до обеда. Понимаете?

— Конечно, понимаю! — воскликнул я.

— Я сказала вам, что вы все поймете понемногу.

И опять, приостановившись на миг, она вдруг испортила всю мою эгоистическую радость такого рода неожиданными словами:

— Поймите лучше и мужа моего, и мои к нему отношения. Они не совсем такие, как вы, кажется, думаете. Если я не ошибаюсь, они гораздо лучше! Ну, идите, идите теперь.

Я опять ушел, смущенный и взволнованный, не зная, радоваться ли мне *чему-то* или огорчаться?

XIX

В консульстве я застал Виллартона. Они оба с Богатыревым сидели посреди большой залы у стола на качалках и молча качались. Богатырев задумчиво вертел в руках какую-то записку, а лицо его было очень серьезно.

Виллартон, всегда очень подвижный и впечатлительный, быстро вскочил со своего места, чтобы поздороваться со мной, и приветливо сказал:

— Что́ с вами? Вас совсем не видно! Вы так давно и у меня не были.

Я заметил на лице его, в его выпуклых и беспокойных глазах какие-то неопределенные, но очень знакомые мне следы недавнего волнения.

Виллартон был один из тех людей, у которых при всех сильных ощущениях к глазам приливает кровь и готовы даже навернуться слезы.

Вот нечто подобное я уловил на его лице в ту минуту, как мы здоровались.

Я догадывался, что между двумя, прежде столь дружными, а теперь враждующими представителями Англии и России был пред моим приходом какой-то тяжелый разговор. Я не ошибся.

Виллартон побыл при мне недолго. Он был все в волнении; вставал, садился, кидался на качалку, опрокидываясь назад и высоко поднимая ноги, шутил со мной. Но все не весело. И потом вдруг надел шляпу и, протягивая Богатыреву руку, сказал:

— Так до свидания. До завтра? Я буду ждать!

Богатырев ответил что-то глухо, очень глухо, едва привставая с кресла, и оба сильно покраснели в ту минуту.

Виллартон ушел, и Богатырев не потрудился даже проводить его до дверей.

— Ну, что же, какое решение вы принесли? — спросил у меня консул, когда мы остались одни.

— Мадам Антониади берется повлиять на мужа, чтоб он у Виллартона не служил. Она показала мне записку Виллартона.

Я передал Богатыреву содержание записки и не забыл, конечно, сказать «о враждебных влияниях».

Это хорошо,— сказал хладнокровно консул,— вот и другая его же записка ко мне. Прочтите.

Говоря это, он подал мне ту бумажку, которою он так долго молча играл.

Я читал с изумлением. Это был вопль о пощаде.

«Cher ami[1],— писал Виллартон,— я не знаю, почему вы так переменились ко мне. Я теперь один в Адрианополе, без семьи: мне очень грустно, а вы ко мне вовсе не ходите».

Следовали воспоминания о прежних днях дружбы и веселости, при Ахмет-Киритли-паше, о домашних спектаклях, словом, о том веселом времени пиров и умного дурачества, о котором так сожалел и Остеррейхер этим же самым утром в разговоре со мной. Письмо кончалось убедительною просьбой отобедать завтра tête-à-tête в английском консульстве.

— Бедный Виллартон! — сказал я, возвращая записку.

Богатырев весело и безжалостно улыбнулся и сказал:

— Он тут сидел и почти плакал. Вот до чего он доведен. Il se sent complètement isolé[2]; де-Шервиль ему не доверяет; у греков и болгар здешних он не популярен, хотя и ухаживает за ними. Один наш Михалаки сколько ему вреда сделает в христианской общине, он его лично за разные прежние шуточки и насмешки ненавидит. Остеррейхер — тоже. Этому уж одно то досадно, что Виллартон лучше его жить умеет и что мадам Виллартон никогда с его Амалией не могла быть дружна,— скучно с нею.

— Все это хорошо,— сказал я,— но неужели необходимо теперь совсем забросить его и не бывать у него вовсе и всячески раздражать его? Вы можете действовать против него в политике, продолжая быть с ним лично любезным, если ему это приятно.

— Нет,— решительно воскликнул Богатырев, вставая,— с ним это невозможно. Разве вы не помните, что тотчас по приезде моем он начал ежедневно с утра ходить ко мне и следить за всем, что́ я делаю, много ли пишу, кого принимаю? Надо довести его до того, чтоб он отвадился от нашей двери и перестал бы за нами следить!

---

[1] Дорогой друг.

[2] Он чувствует себя совершенно изолированным.

И действительно, я вспомнил один случай, на который я не обратил сначала большого внимания. У Богатырева был званый обед для одних только православных. Это было одно из тех сборищ, посредством которых консулу удалось примирить и укрепить не так давно расстроенную и обессиленную раздором православную общину. Председал на этом пиру сам митрополит Кирилл; был греческий консул, перешедший тогда на нашу сторону; были все самые влиятельные и умеренные по образу мыслей греческие и болгарские старшины. Конечно, присутствие всякого иностранного консула было бы неуместным на сборище чисто православного духа. Но Виллартону непременно хотелось знать, что́ у нас делается, и он, не приглашенный никем, под предлогом давней дружбы и фамильярности с Богатыревым, пришел в консульство в самый разгар пирования.

Обед был в нижнем этаже, в столовой; я сидел против стеклянной двери, выходившей в большие сени. Доктор Чобан-оглу только что встал с бокалом, возбужденный, раскрасневшийся, пламенный, феска назад, и начал так:

— Я пью за здоровье и долгоденствие русского Императора! Я пью за процветание великой православной России нашей. Я говорю *нашей,* потому что без нее все мы, и греки, и болгары, и сербы, и молдовалахи, давно бы исчезли без следа и погибли бы под пятою врагов. *Ура!*

Все отвечали ему восторженным криком.

В эту самую минуту в освещенных сенях, за стеклянною дверью, явился Виллартон в круглой шляпе. Он приостановился как бы на одно мгновение и, озираясь, почти бегом кинулся наверх по лестнице. Мы слышали его быстрые шаги по ступенькам. Все переглянулись, кто в смущении, кто с улыбкой.

— Пускай его себе! — сказал Богатырев и, встав, начал еще громче, чем Чобап-оглу, говорить по-турецки (так как по-гречески он, не приготовленный, не мог говорить, а по-французски не все понимали). Он провозгласил на турецком языке тост за единение и силу христианской общины во Фракии.

Когда обед кончился, Виллартопа уже не было наверху. Он как-то прошел назад незамеченным.

Поступок этот, почти ребяческий и, конечно, агенту

великой державы не совсем приличный, объяснялся чрезвычайно нетерпеливым и беспокойным нравом Виллартона. Он узнал, вероятно, что у нас пируют друзья России, не утерпел, чтобы не взглянуть, под предлогом того, что все привыкли его видеть прежде беспрестанно в русском консульстве запросто; прибежал, как будто нечаянно, увидал, услыхал кой-что и скрылся!

Все это так, но что́ же мне делать, если даже эта выходка веселого англичанина более забавляла, чем возмущала меня?

— Вы правы, может быть,— заметил я Богатыреву.— Но я придал бы всему этому на вашем месте другой оттенок. Общество Виллартона все-таки приятно, и сам он такой все-таки славный малый, особенно здесь, где каждый день выносишь сношения, и даже очень близкие, с торговцами, подобными нашему Михалаки.

Богатырев рассердился:

— Я сколько раз просил вас о Михалаки при мне худо не говорить,— воскликнул он,— не только вы, но и я без него здесь бы ничего не значил. Нельзя...

Спор наш был прерван слугой, который позвал нас обедать; у дверей столовой мы встретились с Михалаки. Он вошел в нее вслед за нами и остался обедать. Лицо его сияло.

— Eh bien?[1] — спросил его консул.

— Eh bien,— повторил драгоман самодовольно и весело,— des succès, des succès et encore des succès!..[2]

— Говорите, говорите...

— Антониади рад, Москов-Самуил рад. Пропаганде новый удар: десятого гостя для пустого места нашел... С чего начать прикажете мой отчет?

— С гостя, с десятого гостя! — весело закричал консул.

— Осман-паша из города Эноса приехал за инструкциями к Вали-паше. Un bon Turc, un vrai Turc![3] *старый*, такой, каких нам нужно. Ничего не понимает. *Калос Христиано́с*, как мы здесь говорим; я уже велел стороной предупредить его, чтобы он не уезжал; извините, я позволил себе сказать, что вы завтра сделаете ему визит.

---

[1] Итак?

[2] Итак, успехи, успехи и еще раз успехи!

[3] Добрый турок, настоящий турок!

— Непременно, непременно! благодарю вас... Какой вы молодец, monsieur Михалаки, вы все умеете сделать. Ну дальше чтó?

— Теперь о пропаганде. На днях пришел ко мне Куру-Кафа[1]. Я пока молчал об этом. В этом деле было нечто щекотливое, и потому я молчал и предпочел принять все на себя. Приходит ко мне Куру-Кафа и говорит: «Есть еще у нас в Кирéчь-Ханé несколько униатских семейств. Они хоронили своих покойников в одном пустом месте, на котором был прежде, давно, виноградник одного грека. Я задумал искоренить все это и предложил этому человеку обратиться в Порту с прошением, чтобы кости этих болгар приказали перенести, куда хотят. Земля его. Народ у нас, вы знаете, простой, скажут: нет, мы в самом деле, верно, согрешили, что стали униатами, вот и кости наших родителей повыкидали! И перейдут все опять в православие». Это Куру-Кафа мне все говорит и просит доложить вам.

— Чтó же вы ему на это сказали? — спросил Богатырев.

Михалаки придал своему лицу особого рода серьезный оттенок, который был нам уже очень хорошо известен. Оттенок этот означал: «Теперь я притворяюсь».

— Я сказал Куру-Кафе, — продолжал Канкеларио невинно, — что консулу докладывать об этом боюсь, что русские не то чтó здешние люди. Они очень все религиозны и сочтут такое дело за поругание святыни... А надо как-нибудь иначе. Чтó ж, конечно, хозяин виноградника — одно слово, «хозяин», имеет право! Мешать этому нельзя.

— Ну и что ж?

— Кости выкинули, и униаты были у митрополита и покаялись: возвратились в православие. Только неприятно то, что отцов этих семейств посадили теперь турки в тюрьму. Пропаганда платила за них подати, и польские священники имеют от них расписки, как всегда. Их предоставили, и этот толстый Ариф-Каймакам-паша посадил их в тюрьму. Надо их выкупить. Мы с доктором Чобан-оглу немного собрали. Но надо еще. Я уверен, что это

[1] Очень известный в свое время вождь болгар-униатов, возвратившийся потом в православие. Простой лавочник, но очень способный. *(Примеч. авт.)*

все интриги Виллартона; он очень сближается с Арифом и действует даже в пользу католиков, чтобы только повредить православию и нам.

— Вот видите! — воскликнул Богатырев, обращаясь ко мне.— Разве можно его щадить!.. Мы завтра же выкупим этих болгар. Дайте знать им туда, чтоб они были покойны. Я сам поеду к митрополиту и к паше. А сколько нужно еще денег?

— Не так много,— отвечал Канкеларио,— пять-шесть лир, не более.

Богатырев тотчас же достал свой портмоне и положил золото пред торжествующим драгоманом.

После этого Михалаки приступил к отчету о своих свиданиях с Антониади и Москов-Самуилом.

— Самуил, бедный, очень рад. Он в восхищении от мысли, что у него будет золотая медаль, тогда как даже у меня серебряная. Антониади тоже, кажется, доволен. Впрочем, о службе у Виллартона или у Остеррейхера я ему ничего не говорил. Я не был на то уполномочен.

Богатырев заметил, что этим уже я занялся и что с одной стороны мы, кажется, обеспечены. Потом он рассказал ему о записке и об огорчении английского консула, и мне опять стало жаль Виллартона и стало досадно, зачем это Богатырев предает уже до такой степени этого *джентльмена* на поругание... И кому же! Этому злому *хаму?*.. Михалаки слушал с умилением и потом, обратясь ко мне, воскликнул:

— Des succès! Partout des succès?! N'est-ce pas, monsieur Ladnew?[1] Я издали увидал вас, как вы поворачивали в Кастро, и тогда же подумал: Антониади наш!.. И *там,* вероятно, был успех...

Рассуждая теперь, через столько лет, я думаю, что слова Михалаки были очень просты и что в них не было ни малейшего яду; но тогда, под влиянием других впечатлений, я прочел в них какую-то фамильярность, какое-то поползновение на *что-то,* которое меня несколько раздражило.

Я пожал только слегка плечами и молчал.

— Как! — с удивлением спросил Михалаки,— вы не находите, что у нас во всем теперь успех и беспрестан-

[1] Успехи! Везде успехи?! Не так ли, господин Ладнев?

ные, хотя и небольшие, но очень важные по своим последствиям, победы?

Мне захотелось сказать ему что-нибудь неприятное. Я всегда удивлялся, как это может Богатырев так тесно и неразрывно сливать в поведении своем свои политические сочувствия с личными: про ненавистного Михалаки он даже и мне, даже с глазу на глаз не давал сказать ничего худого; а к Виллартону, лично столь приятному и доброму, он был беспощаден; я до сих пор не знаю, чему приписать это, крайней ли жестокости сердца и фальшивости Богатырева или чему-нибудь лучшему, иному — не знаю.

Я, разумеется, понимал, что действовать по службе надо в тесном союзе с Михалаки, против Виллартона; но зачем же быть *точно как бы в самом деле искренним* в своей дружбе к политическому союзнику и в отвращении к политическому врагу? Мне казалась такая односторонность всегда чем-то лишним и чуть не глупым.

И на этот раз мне захотелось отравить хоть немного радость нашего гадкого союзника, и на второй его вопрос я отвечал так:

— Я согласен, что удач много; но я нахожу, что ругаться над могилами униатов все-таки не следовало. Уж лучше просто бы пообещать, что заплатят за них подати. Как можно принимать на себя такую ужасную ответственность из-за таких пустяков. Если бы здешние приматы, как болгары, так и греки, претендующие на образованность, имели более искренности в религиозном чувстве своем и не делали бы тайком всяких мерзостей, не обманывали бы народ, так не нужно было бы прибегать ни к каким «sacrilèges»[1]. А то какой-нибудь *архонт* православный ест дома постное для детей и прислуги и потом тихонько бежит в локанду и жрет там мясо (Михалаки это делал). Нет, это не только ужасно, это низко и мелко!.. И народ не обманешь... Он остается верен своей святыне, но в вождей своих он утрачивает веру, и прямые пути обращения и проповеди теряют свою силу.

Я попал метко... Михалаки покраснел и смутился; он отвечал довольно мягко:

— Меня это удивляет в вас,— сказал он.— Конечно,

---

[1] Кощунствам.

я из деликатности должен был простому лавочнику болгарину Куру-Кафе упомянуть о религиозности русских; но позвольте... Разве, monsieur Ладнев, человек столь начитанный и ученый... философ, можно сказать, — разве он может верить, что *есть душа?* Чтó такое эта *душа?*

Я засмеялся и возразил:

— Один русский писатель... Вы ведь здесь русских писателей не знаете... Он описывает, что у его отца был крепостной лакей, которого посылали учиться фельдшерскому искусству. Он заболел, и когда отец писателя предложил ему причаститься, то он отвечал, что не может, потому что учился анатомии и знает, что души нет! Теперь и я вам то же скажу, чтó и вы мне: как это вы, господин Михалаки, человек умный, не стыдитесь говорить то же, чтó этот слуга?

Это уже было слишком! Глаза Михалаки засверкали яростью: он побледнел теперь и взволнованным голосом возразил совершенный вздор:

— Бывают *разные философии,* но мы здесь люди практические и без них обходимся!

Богатырев был, видимо, ужасно недоволен мною за это. Он так дорожил своим незаменимым драгоманом! Он молча и нахмурившись ел, пока мы говорили, и потом, возвысив тон, почти до повелительности, обратился ко мне *по-русски* (Михалаки по-русски не знал):

— Вы бы уж оставили это... Всякий имеет право верить или не верить, как хочет...

— Оставил, оставил, — сказал я улыбаясь. — Довольно с вас и этого.

— Напрасно, напрасно! — прошептал Богатырев тихо и опять замолчал.

Обед наш, начавшийся так весело, кончился мрачно... Никому говорить не хотелось. После обеда Михалаки ушел к себе, поклонившись мне очень почтительно, но издали; я спросил у консула, отправил ли он ко мне на дом те бумаги, которые он приказывал давеча мне переписать к завтрашнему курьеру.

— Отправил, — глухим басом, чуть слышно и вовсе не глядя на меня, отвечал Богатырев.

Я ушел к себе домой, говоря про себя: много случилось сегодня такого, о чем надо подумать!

XX

Как я был рад вернуться домой! С утра я был все с людьми, и мне было так приятно сосредоточиться и отдать самому себе медленный и внимательный отчет во всех моих впечатлениях за этот оживленный день. Я велел зажечь лампы и затопить обе чугунные печки в приемной, с диваном кругом стен и на узкой галерее, которая служит залой. Лампы засветились; печи запылали тотчас; добрый старик Христо и оба юноши мои Ве́лико и Яни, с особою радостью и усердием, как будто они целый месяц меня не видали, спешили исполнить мои приказания. Они все улыбались мне, смотрели мне в глаза. Яни даже заговорил со мной первый; затапливая печку, он приподнялся немного и, опираясь одною рукой на пол, взглянул на меня ласково и спросил:

— Что это вас целый день не было дома? Мы без вас соскучились...

— Дела, Яни, разные дела,— сказал я.

— Дела! — повторил Яни, качая головой.— А вот для нашего молодца, для Ве́лико,— продолжал он,— дела не хороши!

— Чем? что́ такое? — спросил я с нетерпением (мне так хотелось, чтоб они все поскорее ушли!)

— Один лях-офицер (такой здоровый!) нанял себе дом на углу против нас. Теперь я говорю, Ве́лико, совсем к нашим воротам не подходи: увидят тебя, и эффенди нашему будут неприятности.

— Конечно, надо теперь стать еще осторожнее,— заметил я.— Но ты, Ве́лико, все-таки не должен слишком бояться и терять голову. Яни правду говорит, хлопоты и неприятности будут нам с консулом, и даже консулу более, чем нам; но тебя мы, не бойся, ни за что́ не выдадим...

Ве́лико в это время поправлял лампу, стоя ко мне спиной; он обернулся и, взглянув на меня кротко и покойно своими большими и томными серыми глазами, сказал:

— Я у вас, эффенди, ничего не боюсь!

— Вот и прекрасно,— воскликнул я и велел им уйти и оставить меня поскорей одного.

Я был ужасно рад, когда они, притворив за собой

дверь, побежали с лестницы, играя и толкая друг друга с громким смехом...

— Наконец я один, я свободен!

Тяжелые ворота мои крепко-накрепко заперты. Теперь поздно, и никто не ударит в них железным кольцом. Голоса добрых слуг моих утихли в дальней кухне. Во всех окнах мрак, и многолюдный город безгласно чернеет у подножия ног моих за высокою стеной высокого двора.

Безмолвие, блаженное безмолвие!.. Даже приветливый голубок, мучительный и милый друг моих утренних мечтаний, теперь не воркует у окна приемной моей, а спит на обнаженной ветке персика у сырой стены... Только чугунные печи по всем комнатам пылают огнем и весело мечут искрами. Там, правда, где-то на столе лежит порядочная кипа бумаг,— все плоды богатыревского самохвальства. Бог с ними! ночь длинная, и я не коснусь их до тех пор, пока... О, мысли мои, мысли! где вы? Дайте собрать мне вас, дайте связать вас крепкою связью ясного вывода решимости! Как все тихо, Боже!.. Какой деятельный день был сегодня! «Успехи, успехи и еще успехи!» — изрек сегодня этот мерзавец, которого я так жестоко обличил в лакейском атеизме. Так ли это? и у кого эти успехи? У них с Богатыревым?.. может быть!.. И то я не вижу ничего выходящего из ряда.

Но у *меня?* у меня — вот что важно! *Мои* победы, мои удачи — где они? Я хочу сознать, перечислить их! Конечно, я хорошо оборвал Бояджиева... И это не только сошло мне с рук, но я сумел так взяться за дело, что бешеный и смелый Остеррейхер остался доволен и дал мне даже доверительное поручение. Я почтительно (как следует человеку охранительного духа) доказал консулу, что он был груб и неправ в своих шутках над моими отношениями к семье Антониади; я стер почти с лица земли ядовитого клеврета нашего Михалаки только за один неприятный оттенок фамильярности в тоне, возбуждавший во мне какое-то смутное беспокойство. Все это так; но все это так ничтожно и так пусто! *Она, она* что́ сказала и что́ сделала сегодня? как взглянула? как сидела? Когда краснела? при каких своих или моих словах? Она ведь не сказала *люблю*... положим... Нет, она не сказала *люблю!..* Но разве это нужно?

И я вставал с дивана и начинал ходить, еще глубже,

еще внимательнее думая... Печи все пылали; лампы тихо светили; город безмолвствовал; в окнах был мрак... и я все думал и думал, и бился, и блаженствовал в одно и то же время. Тонкие недоумения эти не отравляли моей задумчивой и бодрой радости, они лишь слегка подстрекали мое рвение прийти скорее к выводу...

Как действовать впредь?.. До сих пор я все остерегался, до сих пор я не спешил... Но теперь!.. Эта дочь, в угоду мне одетая по-турецки... Этот уговор приходить иногда и до обеда, когда муж в конторе, это стремление доверяться мне, положиться на меня, когда дело идет даже о торговых и гражданских интересах этого мужа, богатством и трудами которого она пользуется и дышит. Нет, это много, очень много. Она хитра, она осторожна. И если она обнаружила столько сразу, то участь ее сердца решена — она меня любит и, вероятно, готова на все... А если она хочет только меня увлечь и дружбой, и кокетством? Нет! Это ясно: она готова на все. Но я?.. готов ли я на все? У меня был и тогда свой нравственный критериум, в иных случаях довольно строгий.

Он был *мой*, этот критериум, *мой собственный*, долгим взаимодействием внимательного ума, доброго сердца и страстной фантазии утвержденный и гордостью взлелеянный. Мне не было нужды до того, был ли он пригоден для остального человечества или нет. Моему тогдашнему нравственному чувству он удовлетворял вполне, и — чего же больше? Так я думал в эти веселые годы молодого самомнения!..

Склонив в раздумье голову на руку мою, в безмолвном просторе моего турецкого жилища, я вспомнил и представил себе примеры. Я вспомнил, хотя и смутно как-то, одно лицо из Диккенса. Почтенный старец, простодушный, добрый, ученый, седой младенец кабинетного труда. У него молодая жена; она желает пребыть ему верною, даже вопреки дурному влиянию родной матери. Она жалеет, чтит, она любит своего честного и невинного старца. Вот если б я встретил такую чету... о!.. Я не мог более сидеть и вставал, чтобы в движении найти новый исход и опору мыслям. Такая чета, конечно!.. И если б юная супруга такого старца подошла бы сама (сама, непрошеная) ночью к дверям моей комнаты, я сказал бы ей: «Беги, беги скорей, пока никто тебя не видал, молись...

усни и забудь эту ночь... не омрачай его чистого и тихого заката... не оскверняй высокой святости души твоей... Даже и со мной (*понимаешь ты* — со мной!) это будет осквернением твоего храма!..»

И на что мне Диккенс! Вот здесь на углу, недалеко, торгует в табачной лавке почтенный и добрый турок Гуссейн. Он сидит на прилавке с окладистою бородой, лицо его кротко и бледно, чалма чистая, белая, густые брови чернее бороды. У него такие милые котята, серые, полосатые, веселые, и он их так любит. Сам холодный изверг наш Михалаки и тот говорит про него с чувством: «Прекрасный человек! Никогда он никого даже из христиан не обидел! Святой человек!» Пусть по неожиданным и ужасным случайностям войны или других событий этот старец Гуссейн доверил бы мне молодую жену и весь гарем свой, чтоб я их хранил. Есть ли хоть тень сомнения, что если бы сам Бог, один только Бог мог знать и видеть мои поступки, то они были бы так же точно чисты и праведны, как были бы праведны в присутствии Гуссейна или на многолюдстве базара!.. Или если бы друг (быть может, и сам по себе не особенно интересный) страдал бы по жене своей, любил бы ее нежно, ревновал бы ее не из самолюбия не из страха чуждых перешептываний и насмешек, а из боязни лишиться ее расположения,— неужели я не оттолкнул бы, даже грубо, жену этого бедного друга... Я не подлец, и слабым героем Тургенева и жалких его подражателей я не был и быть не хочу, несмотря на весь пыл моего воображения, на всю алчность моего ненасытного, неутомимого тщеславия... Самоунижения «сороковых годов» я знать не хочу, я его презираю. Я хочу быть правым пред высшим судьей моим, пред *самим собою!*

Антониади не Гуссейн; Антониади не старец Диккенса, невинно греющий у камина хладеющие ноги! Антониади не друг, влюбленный и страдающий, он сухой и холодный хам; он один из тех европейских буржуа, которых весь род я до фанатизма, до глупости ненавижу.

И пусть бы он был не старец и не друг страдающий. Нет, нет! вот пусть бы он был, например, такой, как этот Ве́лико. Взгляните на этот рост и плечи атлета, эту славянскую русую скобку волос, на чистые, большие, юные темно-серые очи. Как длинны черные стрелки этих рес-

ниц. Полюбуйтесь на эту пеструю курточку, на красивые складки шаровар, на жесткие и большие, но прекрасные формой рабочие руки, на бессознательное сочетание силы и женственной стыдливости его движений. Эта простая вера в *нас,* русских, в непобедимость защиты моей! И вот если б он, этот Ве́лико, избрал себе подругу-отроковицу, такую же невинную и простую, как он сам,— разве эта девушка не была бы для меня дочерью, несмотря на то, что я сам еще молод?

Я ударил кулаком по столу и сказал громко, как будто я говорил ему самому: «Оставь со мной ее на год и больше и верь, что ты отдал ее родному отцу!.. Да!»

Но этот коммерсант, этот европеец! Это ужасно! Плечи его немного узки; борода растет почти из глаз! Ну, что́ это! Из homme honnête, ferme et laborieux[1], как любят выражаться прогрессивные французы. Покоен, тверд, приличен даже! «Банабак!» Нет, он и не банабак восточный! Его хамство тонкое, самое вредное для жизненной поэзии! Просвещенное общечеловеческое хамство! В нем даже греческого мало; в нем нет той симпатичности, которую мы видим нередко в каких-нибудь усатых и грубых капитанах парусных греческих судов; наивное сочетание патриотического самохвальства, набожности, отчаянной отваги, корысти, лжи и добродушия. В нем и этого нет. За что́ и на что́ его щадить, скажите?.. И разве я забыл его тон в Царьграде, его улыбочки, его томно-самоуверенные взгляды, его твердые и пошлые возражения... «Пирронизм! Пирронизм! Во всем сомнения!» Или: «То, что́ вы сказали о живописности Востока, всем известно». Каково! Это он *мне* говорит. Ну, хорошо!..

Довольно отречения! довольно нестерпимой тоски и одинокого уныния... Я имею *особые права,* права высших потребностей. Я *должен наслаждаться;* ведь я

«Критон, младой мудрец,
Рожденный в рощах Эпикура!»

А он?

Нет! я не откажусь от нее. Она сама не хочет моего отречения... и к тому же разве я знаю ее прошедшее? Если другие?.. Она столько странствовала, так часто оста-

---

[1] Из честных, основательных и трудолюбивых.

валась одна без мужа, когда того требовали их дела. А если она его обманывала прежде, но так искусно и умно, что не возмутила до сих пор его счастья? Зачем же я буду так прост, так глуп, так наивен? Не прав ли будет Блуменфельд, взывая ко мне так часто и так с укором: «Молодой человек! Молодой человек!» (Смешной человек! наивный человек!) Нет, я не откажусь от нее.

Но все эти размышления мои были внезапно прерваны ударом кольца в ворота.

Я был взбешен.

Кто же это и так поздно вздумал меня тревожить?

Стук усиливался. Из кухни послышались голоса Яни и Христо. И кто-то из них кинулся с фонарем через двор к воротам. Переговоры у ворот длились недолго.

Посетителя впустили.

Я смотрел внимательно из высоких окон моих вниз на темный двор. Людей различить было невозможно, но показались рядом два фонаря; наш был простой, стеклянный, который светил тускло, но со всех сторон; у гостя был фонарь европейский, с толстым круглым стеклом, которое одиноким большим глазом ярко сверкало во мраке. Глаз этот двигался, бросая пред собой продолговатый и неровный свет, но владелец фонаря казался от этого погруженным в еще большую тьму.

Я следил с досадой и не мог вспомнить, у кого я видел такой фонарь.

Только приблизившись к крыльцу, неожиданный гость приподнял фонарь к лицу своему, и я увидел, что это был сам Антониади.

Боже мой! Что такое? Уже девятый час вечера. Для турецкой провинции это очень поздний час. Это ночь. Чего хочет от меня этот «честный» супруг и «образованный» коммерсант?

Как всегда бывает в подобных случаях, в уме моем мелькнуло несколько догадок, одна другой нелепее и несообразнее, но самое простое мне и в голову не пришло.

Я приветствовал его как можно радушнее и спросил, чему приписать, что он потрудился по грязи, ночью прийти в этот дальний квартал.

Антониади желал быть любезным и, перекачнувшись по привычке своей чуть заметно с каблуков на носки и опять назад, отвечал, улыбаясь:

— Мне за множеством хлопот не удалось до сих пор побывать у вас. Я не считаю первого визита, который был моим долгом.— И, оглядывая мою галерею, он прибавил: — Как у вас хорошо! Это то, что англичане зовут *home*!..[1] Очень хорошо. В старом турецком, в *вашем* вкусе!

Последние слова он сказал с особым почтительно-дружеским ударением.

— Это правда,— отвечал я,— меня до отчаяния доводит убранство в европейском вкусе. Особенно если оно дешевое.

Антониади на это снисходительно заметил:

— Да, у восточных людей есть свой стиль.— И потом, помолчав, продолжал: — Вы сегодня были у нас? Жена моя мне все передала.

«Как все?» — подумал я с мгновенным ужасом и ждал своего приговора.

— Насчет господина Остеррейхера и Виллартона,— объяснил Антониади.— Но она не совсем ясно и подробно передала мне все это, и мне очень было бы приятно слышать все основательнее от вас самих. Я прошу у вас тысячу извинений и надеюсь, что это не слишком вас затруднит.

Я начал передавать ему все подробно; рассказал ему даже, смеясь, о моей схватке с Бояджиевым (Маше я забыл об этом сказать, потому что с ней мне было не до этого).

Антониади был чрезвычайно внимателен; все чуть-чуть усмехался, гладил рукой концы бакенбард. А я был рассеян и несколько раз даже чувствовал, что говорю наобум и вот-вот сейчас остановлюсь; потому что мысли мои были совсем не в австрийском консульстве и не в коммерческом суде, и о Бояджиеве вовсе я в эту минуту не думал. Меня тревожили в это время совсем другие мысли. Я смотрел на эту белую, большую, очень красивую и безукоризненно (не по-здешнему) выхоленную руку и не мог никак освободиться от вопроса: целует ли Маша эту руку? и когда целует, то как — по движению *известного* чувства или из дружбы и уважения? Она сказала: «Вы поймете, что мои отношения к мужу *лучше*,

[1] Дом.

чем вы думаете...» Когда ж я пойму? когда?! Я хочу понять, постичь все до глубочайшей тонкости сейчас же... Руки хороши, но разве в этом дело! Сам он, сам... Впрочем... Боже мой... Я не то говорю... я путаюсь... О ужас! Он что-то мне говорит, должно быть очень нужное... Я ничего не слыхал... я слышу только: «И давно это?» Что *это?* что *давно??* — не знаю!

Я встрепенулся через силу и сказал наугад:

— Давно ли? Право, не знаю.

— Как же это? — спросил Антониади с преднамеренною тонкостью и недоверием.— Вы, вероятно, это лучше всякого знаете; но... я не смею настаивать. Дипломатия имеет свои тайны... Хотя... я думал... конечно...

— Что вы думали?

— Я думал, что г. Богатырев сам не намерен скрывать от публики того недоброжелательства, которое существует теперь между русским и великобританским консульством.

(Вот оно что! вот о чем он спросил: «Давно ли они разошлись?»)

— Нет, право, я не могу вам наверное определить этого срока,— сказал я.— Ссоры явной не было никакой... г. Виллартон слишком уж деятелен и жив характером; он слишком следил за нами... Это не всегда удобно. Но он добрый человек и прекрасный собеседник. Хорошо знает Восток...

Антониади сделал отрицательное движение головой (снизу вверх, по-восточному) и возразил с сожалением:

— Восток он знает; но характером он для Востока не годится. Здесь любят людей иного рода... Он слишком подвижен и слишком просто себя держит. Между христианами он очень не популярен, а это жаль.

— Почему? — спросил я.

— Мое мнение то, что христианам лучше жить в Турции, когда Россия и Англия заодно. Это согласие подавляющим образом действует на турок. Это общее правило можно применить и к местным условиям: христиане сильнее, когда русское консульство в союзе с английским.

(«Ему хочется быть английским драгоманом и в то же время служить нам «азóю[1] в тиджарете»,— подумал я.)

[1] *Аза тиджарета* — член коммерческого суда. *(Примеч. авт.)*

И потом спросил:

— Однако что же мне сказать г. Остеррейхеру от вас именно? Не лучше ли вам сходить самому и выразить австрийскому консулу ваше сожаление, если вы не хотите принять его предложение.

— Да, я тоже полагаю, что надо сходить самому, хотя это очень неприятно. Я не желал бы восстановлять против себя господ консулов. Времена такие смутные! можно ожидать даже всяких опасностей. Это ужасно! В Крите, вы слышали, опять были избиения... Консулы здесь — наша единственная опора... Хороший консул в Турции — это иногда якорь спасения жизни и собственности. Но удостойте меня, пожалуйста, вашим советом: что мне сказать г. Остеррейхеру в мое оправдание?

Я воспользовался этим оборотом разговора, чтобы польстить ему.

— Я никогда не поверю, чтобы эллин, и притом такой высокообразованный, как вы, нуждался в совете такого рода,— сказал я.

Антониади сделал томные глаза и наклонил молча голову в знак благодарности за комплимент.

— Я не здешний человек и плохо еще знаю здешних людей и потому прошу еще раз вашего совета,— настаивал он.

— Скажите ему просто, что вам некогда и что сам Ладнев, когда передавал вам это, еще не знал, что вы уж уговорились с г. Богатыревым о службе при тиджарете. Я полагаю, этого будет достаточно.

— Да, это так. Но если я решусь принять предложение Виллартона, тогда Остеррейхеру это будет обидно. Для английского драгомана нашлось время, а для австрийского нет. Боже сохрани меня создавать себе здесь сильных врагов! У меня есть семья.

Значит, я угадал, он хочет быть почетным английским драгоманом, и, видно, правду говорила Маша, что она мало имеет на него влияния. Подумав, однако, немного, я решился все это дело взять на себя помимо Богатырева и уклониться от духа его инструкций; показывать, что нам все равно. Я имел и право, и средство говорить прямо от себя, ввиду того, что мог со дня на день сам стать во главе всех адрианопольских и фракийских дел подобного рода. Решившись действовать по-своему, я начал так:

— Послушайте, мсье Антониади. Я буду с вами прям. Вы знаете, что г. Богатырев может очень скоро уехать? Вы понимаете также, что без него все русские интересы до самого мельчайшего будут на моей ответственности. Я же не скрою от вас, что мне будет очень неприятно, если вы будете служить у Виллартона.

— Жена моя уже передала мне ваш взгляд на этот вопрос. Она даже говорила о каком-то дезертире.

— Да, он здесь внизу, и я могу вам его даже показать, потому что вы один из лучших у нас здесь представителей христианства. Правда, он болгарин; но так как тут идет борьба между католичеством и православием, то не может быть сомнения, что честный грек скорее сохранит тайну, чем какой-нибудь Бояджиев, связавший свои интересы с унией, Австрией и поляками.

— Конечно! — пожимая плечами, сказал Антониади.— Кто же станет думать об общем и серьезном политическом вопросе, когда дело идет о безопасности бедного юноши, почти ребенка!.. Это было бы неблагородно!.. Жена моя мне все это рассказала, и я понимаю вас вполне.

— Но...

Он засмеялся, посмотрел на меня внимательно и, подумав, решился тоже яснее высказаться.

— Времена смутные,— сказал он,— английский консул в случае волнений и опасностей большая сила! Если б, я говорю, например, если бы критское восстание привело к европейской войне; если бы (вы понимаете, это говорит во мне беспокойство семьянина и собственника), если бы Россия двинула сюда войска, можно ли ручаться, что в турках не проснется старое янычарство? Не будут ли нас убивать, как собак... Я ведь отец семейства, мсье Ладнев, и живу трудом!

Говоря это, Антониади оживился, глаза его блистали и глядели на меня вопросительно и смело.

— Положим, так,— ответил я,— хотя я почти уверен, что войны не будет; а что касается избиений, то едва ли турецкое правительство допустит это там, где сами христиане не обнаружат явного намерения восстать. Порте невыгодно без крайности восстановлять против себя общественное мнение даже и на Западе... Но пусть будет по-вашему. Чтó же значит тут английский консул?.. Во время дамасских избиений все консулы принуждены бы-

ли отдаться под охрану паши; один английский ничего не боялся, как будто он был в заговоре. В Крите, в 58-м году, когда при Вели-паше турки города Канеи грозились перерезать всех греков, били стекла конака и влачили за ноги труп молодого грека, которого в угоду им Вели-паша велел удавить. Что́ делал г. Онглей, английский консул? В то время, когда все другие консульства были полны семьями христиан, в надежде на то, что толпа не решится посягнуть на флаги великих держав, г. Онглей запер наглухо свои двери и не пустил никого. Я уверен, что и наш милый, веселый и даже очень добрый Виллартон сделает то же самое или в этом роде. Нация великобританская истинно великая нация по духу, и потому на представителях ее отражается это величие. Они никогда не впадают в это пошлое смешение личной нравственности с ненужною и глупою политическою моральностью.

— Это правда,— произнес Антониади тихо и значительно.— Английская нация истинно великая! Постичь ее дух не легко иностранцу! Я несколько лет провел в Англии и не смею сказать, что я постиг ее. Даже внешний вид — что-то странное. Я помню первые дни моего приезда. Толпа народа, экипажи; какая-то молодая девица играет пред гостиницей на скрипке! Пушки палят почему-то. Приехал откуда-то какой-то генерал или адмирал, я не понял. В гостинице курить не позволяют в нумере. Это было мне мученье! Эти парки, это богатство, эта строгая нравственность семьи! И в то же время наши греческие матросы с торговых судов рассказывали мне, что к ним на корабли являются целыми партиями очень красивые девушки *известного рода* и просят даже не денег, а вообразите! пакли! старой пакли, чтобы продать ее и купить себе хлеба. Потом — эти слуги! Слуга, с которым вы будете обходиться фамильярно, сочтет за унижение служить у вас. «Вы не джентльмен!» Все это так странно, так глубоко даже, я позволю себе сказать... Великая нация!

Я слушал его не без удивления. Никогда еще я не видал его столь одушевленным и многоречивым. В эту минуту он в первый раз мне немного понравился; я и сам, никогда не бывав в Англии, был в этом именно смысле англоманом, оставаясь русским, быть может, иногда и до фанатизма, то есть я желал бы, чтобы Россия была так

же глубока и самобытна в своем *русизме*, как Англия в своих нравах; чтоб она поскорей доросла до Англии, от корней до цветов и плода отличаясь и от нее, и ото всей Европы.

— Мы отвлеклись, простите! — сказал Антониади.— Вы хотели выразить ваше мнение о г. Виллартоне, кажется?

— Да,— отвечал я.— Этот Виллартон такой милый, веселый собеседник, с которым я так люблю кататься за город верхом; он не стеснится, когда Сен-Джемский кабинет найдет это выгодным, распалять и здесь мусульманские страсти и обагрить кровью все эти мирные и тихие улицы фракийских сел и городов. В такую минуту, если вы опасаетесь, не надейтесь на него. Вы хотели знать мое мнение, вот оно.

Антониади молча и с некоторым оттенком подозрительности смотрел на меня; наконец, собравшись с духом, сказал:

— Но ведь своего драгомана, своего employé[1], так сказать, он пощадил бы?..

Видя его колебания, я решился нанести ему последний удар и начал так:

— Как вам угодно, вы хотели совета, я вам его даю. Повторяю вам, что я все это говорю вам от себя. Из разговоров г. Богатырева я заметил, что он относится ко всему этому делу равнодушнее, чем я, ему, может быть, и все равно, будете ли вы драгоманом у другого консула или нет. Что́ ж, он, может быть, опытнее, способнее меня; но всякий действует по-своему; оно и вернее. Я прямо предупреждаю вас, что при всем моем желании быть полезным вам и m-me Антониади, я, раз оставшись управляющим, тотчас же сменю вас, лишу вас должности в тиджарете, если вы будете английским драгоманом. А вы сами знаете, что при умеренности и такте, которого у вас такая бездна, вы, служа в тиджарете, можете сблизиться с самими турками. Супруга ваша русская подданная; иные дела можно будет переводить на ее имя и действовать прямо под русским флагом. Познакомьтесь с беями, с Тефик-беем, он прекрасный человек; с Ахмед-беем, он родом грек и христиан несколько жалеет; с Изе-

[1] Служащего.

том. Пошлите m-me Антониади знакомиться по гаремам; это ее займет, скажите ей, чтоб она ото всех турецких дам уплаты визитов не ждала. У них есть своя глупая гордость, на которую советую не обращать внимания, быть может, это и не гордость, а робость какая-то. Сблизьтесь, главное, с нашим Михалаки Канкеларио, он вас всему научит; он и с турками коротко знаком. Он вам откроет разные ходы. А в случае опасности (которой, вероятно, и не случится) опять-таки супруга ваша русская подданная и прежде всех других имеет право на убежище в русском консульстве, а за ней, разумеется, и пред вами эти двери всегда будут широко раскрыты. И Богатырев, и я, все равно мы сумеем, я надеюсь, оправдать доверие, которого мы удостоены, и представлять здесь Россию такая честь, что из-за нее и опасности стоит подвергнуться, если нужно. Не беспокойтесь за вашу семью ни в каком случае. Я уверен, что здешние турки даже и не посягнут на русское консульство. А пока для ежедневных интересов с вас совершенно будет достаточно, с одной стороны, вашего эллинского паспорта, а с другой — этой должности в тиджарете, которой (прибавил я, улыбаясь), извините, я вас непременно лишу, если вы поступите к Виллартону, которого, впрочем, я очень люблю. Если хотите, можете ему это даже и передать.

— Quelle idée![1] — воскликнул Антониади и потом прибавил тоже с улыбкой: — Чтó ж делать! Надо согласиться с вами. Все знают, что г. Богатырев и предшественник его сумели так поставить здесь свое консульство, что оно влиятельнее всех! К тому же и согласиться не очень трудно. Я от русской политики сам не хочу отделяться совершенно. Она благодетельна в этих странах, и только одни мечтатели «великой эллинской идеи» распространения Эллады до Балкан или даже Дуная — могут быть в среде греков враждебны здесь этой осторожной и умеренной политике. Я, вы знаете, не из их числа.

— Знаю, оттого мы вами так и дорожим.

После этого Антониади несколько времени чему-то молча улыбался, как будто вспомнил о чем-то веселом или приятном. Потом сказал все с тою же легкою улыбкой:

---

[1] Что за мысль!

— К тому же вы знаете les femmes! Ah! les femmes...[1] Я всегда говорю: «Муж глава, положим, но жена *шея»*. Шея вертит голову. Жена моя такая русофилка, я сказал бы, патриотка даже, если б она не была замужем за эллинским подданным. Она тоже не очень хочет, чтоб я служил Великобритании. Il faut subir cette douce influence!..[2] — И он простер даже руки и опустил голову в знак смирения.

Мы пробеседовали с ним после этого о разных предметах почти до полуночи. Уходя, Антониади вспомнил, что Маша поручила ему передать мне приглашение приходить иногда по вечерам почитать с ней вместе что-нибудь русское.

— Когда же прикажете? — спросил я.

— Когда угодно, — сказал Антониади. — Она любит поэзию и сказала мне имя одного старого вашего поэта. Не могу вспомнить... Зу... Жу... Шу... Pardon!..

— Жуковский?..

— Да, да! Она хочет его вспомнить, и у нее есть, но не все томы... Нет ли у вас? Она просила вас также передать от нее то же самое приглашение и м. Богатыреву, если ему это не наскучит. Маленькие литературные вечера, en petit comité[3].

Я поблагодарил, и мы дружески простились.

Опять засветился круглый глаз его фонаря во мраке, стукнуло железо ворот; опять воцарилось вокруг меня безмолвие, опять я был один сам с собою.

«Странный день, странный день, — день разнообразных впечатлений, день досады, гнева, колебаний, любви и несомненных удач!..»

И какой путь почти незаметно пройден с нашей первой встречи на Босфоре!.. Где теперь эта тихая гордость г. Антониади в обращении со мной, тогда ненужным и неизвестным ему человеком? Где эти насмешечки: «Пирронизм!» и т. п. Нет и следов этого тона... Конечно, он держит себя хорошо и с достоинством, в тоне его и приемах нет ничего унизительного... Но *я ему стал нужен теперь.* Завтра, послезавтра у меня опять будет (как было

[1] Женщины! Ах! женщины...
[2] Придется подчиниться этому нежному влиянию!..
[3] В тесном кругу

тут с год тому назад) в руках известная ему доля власти. И вот он меня слушается; он просит моих советов, немного даже заигрывает со мной, вопреки своей серьезной и сухой природе. И я рад этому, я торжествую...

И вдруг я вспомнил давнишнюю грубую шутку Богатырева («для ваших будущих благ!»), вспомнил мое негодование, мою косвенную ему месть в виде оскорбления, нанесенного любимому им Михалаки,— вспомнил все это и воскликнул мысленно: «Неужели же эти люди, грубо называющие вещи по имени, так часто бывают правы?..» «Начальническая эксплуатация»,— сказал я давеча в негодовании. Я и теперь не хочу этой низости... Не то, не то!.. Однако... Без вины людей, безо всяких происков условия жизни и отношения наши с этим человеком стали незаметно совсем иные, чем были в день первой встречи нашей на берегу Босфора... Тогда он ужасался тому, что я сказал неосторожно: «Мне не нравится христианская семья на Востоке», и, видимо, не желал меня видеть у себя в доме. Теперь он зовет меня *почаще, читать* жене русских поэтов; теперь, если он и скажет мне при случае: «Пирронизм!», то музыка возгласа будет другая, не ядовитая, а почтительная или ласковая. Чем виноват я, что судьба посылает мне такой случай влиять на его интересы!.. Des succès, des succès et encore des succès! Бывают и у нас романы, бывает и у нас кой-что!.. Негодяй Михалаки!.. Ненавистный человек!.. Как ты отвратительно, как ты подло умен! С этим-то заключением я уснул в ожидании «будущих благ».

Несколько слов от издателя.

Здесь в рассказе Ладнева перерыв. В рукописи, присланной мне его родными, я нашел после двадцатой главы несколько неоконченных отрывков; иные из них довольно длинны и наполнены повторениями одного и того же и побочными подробностями о политических делах; другие, напротив того, слишком кратки и даже похожи на какой-то конспект.

Например:

(Удача официального обеда.— Паши: Хамид, Ариф, Осман.— Билетики на тарелках с именами.— Виллартон

все волнуется; заранее, как будто шутя, приподымает салфетку, ищет свое имя.— Недоволен; рядом с Канкеларио.— Порядок соблюдения Богатыревым строгий; придраться нельзя.— Остеррейхер и Виллартон вице-консулы; но Остеррейхер назначен в Адрианополь раньше.— Де-Шервиль и Булгаридис (эллинский) оба консулы.— Они заняли место по сторонам Хамида (haut-bout[1]); двое младших пашей около хозяина дома (bas-bout)[2].— Австриец и Виллартон ниже их vis-à-vis[3]; а я и Канкеларио ниже де-Шервиля и Булгаридиса.— Краткая и очень недурная речь Остеррейхера на турецком языке: он поздравляет генерал-губернатора с прибытием в новоучрежденный вилайет.— Сладкие улыбки сердитого австрийца.— Виллартон очень всем недоволен и очень плохо это скрывает; неудовольствие между ним и Богатыревым еще больше усиливается. Главная досада, я думаю, за то, что не он первый, а русский консул догадался оказать новым пашам такое внимание).

Дальше я нашел особо начатое и неоконченное описание какого-то праздника в Порте.

Вот оно:

«Была иллюминация: на обширном и пустом, как плац-парад, дворе играла военная музыка; толпы народа разной веры теснились во всю длину темной улицы против конака. В приемной паши собирались приглашенные почтенные гости. Сердитый и милый мой чудак Остеррейхер был в мундире с полковничьими эполетами, с прекрасным густым плюмажем из белых и красных перьев на треугольной шляпе; он гремел огромными шпорами, рыцарски рассыпаясь пред мадам де-Шервиль, женой французского консула. Сам французский консул был в черном фраке и белом галстуке с красною ленточкой légion d'honneur[4] в петлице. Он, по обыкновению своему, довольно ко всему равнодушный, был рассеян и все искал заговорить с кем-нибудь об охоте, своем единственном

---

[1] Почетное место.
[2] Последнее место.
[3] Друг против друга.
[4] Ордена Почетного легиона.

пристрастии. Виллартон казался печальным, настолько, насколько он мог при своем живом и легкомысленном характере.

Когда мы с Богатыревым вошли в приемную, он в углу на диване что-то с жаром, хотя и очень тихо, говорил новому Каймакам-паше-Арифу.

Они сближались все теснее и теснее...

Увидав нас, Виллартон вскочил и почти подбежал к нам, протягивая нам руки, как искренно обрадованный друг. Впрочем, он и в самом деле, быть может, рад был нас видеть... Ему нужны были прежде всего — борьба, движение, жизнь, и он и врагам политическим был рад, лишь бы они были не скучны.

Я понимал его хорошо с этой стороны, и этим он мне нравился. Без него было бы скучнее в Адрианополе... *Побеждать* его было так приятно!..

Однако я тревожился. Все местные *приматы*, и православные и католики приезжали один за другим. Богатые католики и *почетные консулы*[1] мелких держав: Дании, Швейцарии, Бельгии, Голландии уже давно восседали тут с супругами: Петраки Врадетти, Бертоме Гверацца, Франсуа Врадетти и Фредерик Гверацца, Фредерик Врадетти, Франсуа Гверацца, Антуан Гверацца и Жорж Врадетти... Их было очень много: все купцы, все родня, все толстые, все скупые, все деятельные орудия римской пропаганды, все враги нам, православию и грекам, враги, старающиеся всячески завлечь болгар в униатство... все союзники Остеррейхера и де-Шервиля. При виде их Михалаки Канкеларио (он надел сюда сюртук поновее и орден Станислава в петлице), кажется, забывает на время свою на меня злобу за то, что я так недавно *почти назвал* его «лакеем» за его неверие; он подходит ко мне близко и, глядя на всю эту западную буржуазию, собравшуюся как-то глупо в одну кучу, шепчет мне... нет, он не шепчет... он *шипит*, сверкая взорами:

— Вот оно, все «мышиное гнездо» вместе! Все *понтикопéци!*[2] Ах, когда бы дожить до разрешения восточного вопроса... показали бы им...

— А разве есть средство им отмстить за все их интриги?..

[1] Местные жители без жалованья и без полных прав.

[2] *Мышиное гнездо* по-гречески. *(Примеч. авт.)*

— Есть, есть! — говорит Михалаки. — Только чтобы *мы* были живы; *мы* найдем!..

Я едва слушаю его адские речи... В другое время я такие злые речи его любил... Делать зло во имя веры и отчизны противникам своим так приятно... Но теперь мне не до того... Восточный вопрос еще не разрешен; час отмщения не ударил... А Маша и муж ее не едут!..

Вот Хаджи-Петро приехал и другие греки-купцы; согнувшись, подбегает к генерал-губернатору и касается его полы молодой и богатый болгарский архонт Карагеоргиев, он щеголяет в теплом пальто-сак с бобровым воротником и в феске; вот серьезный и почтенный доктор Ступа со своею худощавою *Ступиной;* она без перчаток, но для парада надела на султанское празднество какую-то чуть не мужскую двухбортную коротенькую жакеточку из желтоватого трико с большими стеклянными пуговицами...

Приехал и добрый наш Чобан-оглу со своею неприятною докторшей. Он выбрил себе на этот раз подбородок; но на затылке его виден из-под воротника какой-то шнурок: должно быть, обрывок вешалки. Мадам Чобан-оглу закуталась в широкий бурнус из белого кашемира с кистями и задрапировалась вся так странно, что бурнус стал похож спереди на огромную салфетку, которою завесили огромного ребенка, чтоб он не пачкался за обедом... Она мимоходом поглядела на меня сладострастно... Я отвернулся. Чобан-оглу *приседает* пред пашами и пред г-жой де-Шервиль... Глаза жены его сияют, и лицо ее пылает тщеславным смущением и радостью, когда генерал-губернатор, не вставая с кресла, приветствует их с мужем поклоном с приятною улыбкой...

Антониади все нет!.. А я так старался все эти дни! И как мне было трудно и стыдно... Мне хотелось непременно добиться, чтобы супруги Антониади были сопричислены Хамид-пашой к лику здешних *архонтов* и чтоб их не забыли пригласить в конак...

Я не хотел говорить об этом *своим,* ни консулу, ни тем более *этому* Михалаки. Я старался устроить это чрез греческого консула...

Он известил меня, что желание мое исполнится. Однако их все нет...

Наконец один из греческих купцов сказал мне: «А вот новый член тиджарета со своею *коконой!..»*

Они вошли...

Откуда она достала эти свежие жонкили? И как хорошо придумала она украсить ими и свою косу черную и черный бареж платья на груди!..

Музыка на большом дворе все играла... Свет от плошек колебался, и толпа теснилась к решетке...»

Окончания этого отрывка я вовсе не нашел; но на той же странице карандашом написано: *Нужно ли это?* И больше ничего. Видно по всему, что автор этих воспоминаний стал все больше и больше тяготиться своим трудом и не знал долго, как от него освободиться. Даже почерк его стал гораздо хуже, чем в начале рассказа. Иные места я совсем не мог разобрать.

Какое-то сомнение, какое-то болезненное чувство, подобное раскаянию или досаде, заметно терзало его...

Потом он, должно быть, или поборол его, или под влиянием новых и случайных впечатлений опять примирился со своими воспоминаниями. Мне так казалось, потому что после перерыва рассказ идет опять довольно правильно.

Догадки мои скоро оправдались: между другими бумагами Ладнева, тоже высланными мне его родными, я нашел несколько страниц, которые объяснили мне даже и внутренний смысл его колебаний и смущения...

Вот эти страницы:

15 декабря 1879 года.

«Зачем я начал этот несносный, этот мучительный рассказ? Что мне за дело теперь до этой *Маши?* Что общего между *тем* Ладневым и мною? Я начал писать это в одну веселую минуту, когда я осмелился (да, осмелился — несчастный я) подумать на мгновение, что и для меня песня жизни не совсем еще спета.

Тогда, когда на персиковой ветви ворковал мой бедный голубь, у меня было такое множество желаний, я так

любил в *то время* жизнь... Самые страдания мне иногда невыразимо нравились...

А теперь?

Теперь я хочу одного — забвения, покоя. Но какого покоя? Всякий лишний звук, всякое лишнее движение ненавистны мне в иные дни до ужаса.

С людьми я вижусь по нужде. Мне нельзя не видаться с ними! Но даже самые искренние друзья не могут дать мне того, что нужно человеку для того, чтобы быть веселым: телесных сил, любви к борьбе житейской, честолюбия, здоровья, веры в какое-то близкое и привлекательное будущее.

Я стал находить блаженство в равнодушии. Я иногда ищу желаний, я с любопытством иногда спрашиваю себя: «Как это возможно ничего не желать, кроме необходимой пищи, мирного сна и легкой молитвы, и все без усилий? Не может быть, я, верно, чего-нибудь желаю! Я только не сознал еще ясно этих новых желаний моих!»

И вот с такими мыслями я недавно стоял в церкви и слушал, крестясь, как дьякон молил Бога о «мире мира», «благорастворении воздуха, об изобилии плодов земных», о властях, об епископе нашем; крестились все, и я крестился... Но я хотел бы отыскать что-нибудь личное, иное, особое, нечто такое, что нужно только мне одному и о чем я бы мог вознести совсем особую, горячую, личную молитву сердца. Искал и не нашел. Я видел столько горя и греха от исполнения не только самых страстных, но даже и самых невинных и бескорыстных желаний наших, что не понимаю теперь: зачем искать, хотеть, когда не хочется? Зачем? Я думал об этом; я вспоминал странные события последних лет моей жизни; я видел духовную нить, связующую их, непонятную для глупого практического разума, для веры ясную как день... Я видел эту дивную нить, и страшную, и отрадную. Мысль моя снова овладевала тою тайной жизни, которая открыта только вере, и, когда дьякон стал молить о христианской кончине жизни нашей, «безболезненной» и «мирной», и о «добром ответе на суде Христовом», я вдруг почувствовал желание положить глубокий поклон и встал с земли не скоро, и, касаясь лбом пола, думал: «Вот этого, конечно, и *только этого* мне должно желать».

И после этого мне писать об этой Маше! Думать

о любви, полуидеальной, получувственной, делать зачем-то усилия ума, чтобы вспомнить, что было прежде и что было после...

Да, если бы вспоминалось всегда ровно и легко, то отчего ж бы не рассказывать? Это правда моей жизни, *это было.*

Но не всегда вспоминается легко, надо думать, надо мыслить,— вот принуждение, страдание. Зачем страдать? Кому такое страдание полезно? И сам я не знаю в тишине моей медленной, предсмертной тоски, что мне приятнее — все забыть или все вспомнить.

Приятно вспоминать только то, что помнится без усилий, не делать усилий — вот теперь земной рай моей старости, вот мой идеал!

И все, что я вижу теперь вокруг себя, и все, что я слышу, и все, чего я желаю, так не похоже на то, что́ я видел тогда, на то, что я тогда слышал, на то, чего я желал в то время.

Я не вижу пред собой ни фиалок, которые расцветали так рано в сырых расселинах между камнями лестницы на моем дворе; ни садов блестящей шелковицы, ни минаретов, ни старых и прочных каменных мостов с золотыми арабскими надписями над широкою и мутною Марицей. Теперь я вижу пред собой белый снег и высокие сосны... Одно и то же с утра и до вечера. Я вижу их только из окон, и выйти, как другие, не смею и не в силах. На дороге недалеко от окна моего стоят русские дровни; молодые крестьяне расчищают дорогу, они кладут снег в сани и свозят его со двора. Быть может, и я решусь выйти на воздух. Вот они бросили лопаты и начали играть, бороться и кидать друг в друга снегом. Какие у них здоровые, красные, веселые лица... Как они радостно смеются, как они еще молоды все трое... И как я отвратительно стар, не годами, а душой и силами!

Мне даже ничуть и не завидно им! Я не хочу смеяться.

А это ведь так близко все, это все мое: и двор мой, и снег мой, и лошади эти мои, и молодые люди эти служат мне за мои деньги. И все это мне чуждо... Я рад покою и безмолвию моего теплого и просторного жилища. Безмолвие! беззвучное, бесстрастное, безгласное забвение за морем глубоких снегов.

Я больше ничего не ищу. Все прошлое отравлено; все новое мне чуждо.

И вот, наполовину уже перешедший в невозвратную вечность, я должен писать о таких веселых днях тщеславного ничтожества.

И в самом деле, не правда ли, как это пусто все? Не похожа ли тогдашняя жизнь души моей на букет искусственных цветов, слегка обрызганных духами?

В моей собственной жизни были года и события совсем иного рода, иной силы и значения.

Зачем же я выбрал это время, эту Машу, эту красивую, быть может, но мелкую и бесполезную пустоту?.. Не знаю».

19 февраля 1879 года.

«Моя предсмертная тоска так нестерпима, уныние мое, мое немое отчаяние в иные дни так ужасны, что исцелить их не может ничто...

Я страшусь смерти, а жизнь мою, почти всю проходящую теперь в этом жалком страхе за мое существование, нельзя назвать и жизнью... Высшая радость моя — это тишина и возможность, не заботясь ни о чем, считать с позорною болью испуганного сердца дни, часы, минуты быть может, которые осталось мне еще дышать!

И этот тесный гроб! и эти гвозди!.. и земля!.. и боль, и тоска последней борьбы...

Кто, кроме святого человека, забывшего плоть, может помириться с холодным ужасом этого близкого и неизбежного конца?..

А я, как неразумный зверь, держусь изо всех сил моих за мое никому уже не нужное существование... держусь за него без угрызений, без стыда и пред людьми, и пред самим собою. На что мне стыд? На что мне люди, кроме тех людей, которые мне служат и которым, слава Богу, дела нет до моего *внутреннего* достоинства.

Какой же смысл будет иметь для меня *принуждение* в труде, подобном этому рассказу?..

Правда, была одна черта в истории моих сношений с *этою женщиной*, черта дорогая и редкая в жизни... Мы расстались без пресыщения, без горечи, без распрей, без

раскаяния, безо всякой примеси того яда, который таится почти всегда на дне благоухающего сосуда восторженной любви...

Других я любил гораздо сильнее, продолжительнее, самоотверженнее, быть может, но ясности и чистоты воспоминаний нет...

И что же? Неужели только моя «честность» или ее «чувство супружеского долга» восторжествовали над легкомысленною страстью? Увы! нет! нет!.. Разгадка здесь иная,— гораздо более таинственная.

И вот я решил *не принуждать себя более...* Если эта разгадка *должна быть* обнаружена, если *суждено* ей быть достоянием праздного любопытства посторонних, то желание продолжать рассказ явится у меня само собою, и я его кончу.

А если нет — нет!»

Этим кончаются отрывки в записках Ладнева. «Желание явилось», и рассказ его принял опять довольно правильное течение.

XXI

Я об Ве́лико не забыл. Я долго не писал о нем. Это правда. Писать разом нельзя обо всем том, что в жизни совершается почти в одно и то же время.

Я его видел каждый день и постоянно о нем думал и заботился. Наш vis-à-vis — желтый польский офицер, которого так опасался старик Христо, скоро перестал тревожить меня; он выходил, выезжал с женой в карете; до нас он ничуть не касался; Ве́лико, сам испуганный этим соседством, дверь теперь никому не отворял; напротив того, он прятался подальше, как только раздавался стук железного кольца на наших воротах. Кавасы наши, хотя и мусульмане, были очень верны. Посторонние турки у меня бывали редко; на визиты пашей я, как секретарь, претендовать еще не мог; младшие турецкие чиновники и беи хотя и любили общество русских, но, опасаясь, чтобы свое начальство не подозревало их в чем-нибудь политическом, редко позволяли себе близкие сношения с иностранными агентами и помощниками их.

Все это было бы не страшно. Но был один человек

в Адрианополе, которого посещения стали меня опять в это время тревожить. Это был все тот же неугомонный Виллартон; по мере того, как Богатырев все больше и больше старался отдалить его от себя, он все чаще и чаще стал звать меня к себе, угощал обедами и хорошим вином, ездил со мной верхом за город и сам заходил ко мне не раз. Вот он-то и казался мне опасным, если не для самого Ве́лико, то для «приличий» нашей службы и для сохранения хороших отношений с местною властью. Ве́лико мы могли бы еще кое-как спасти, но удобно ли будет, например, получать «ноты» о том, что мы скрываем у себя дезертира? И как отнесется посольство наше к нашим действиям, если мы не сумеем быть ловкими? Наше начальство было умно и требовало ума и от нас: этого рода дела надо судить по-спартански; «можно и даже должно иногда украсть, но не должно попадаться». Турки также готовы были нередко смотреть сквозь пальцы на наши проделки («les intrigues moscovites»)[1], но лишь при условии соблюдения с нашей стороны хоть внешнего уважения к их законным правам. Думая обо всем этом, я ни на минуту не забывал и того, что скоро конец моей безответственности и не далек тот день, в который я провожу Богатырева верхом за город до садов *Хадум-Ага* и вернусь в город один, хозяином русских дел во Фракии. Я предвидел также, что некоторые крайности, в которые впал недавно Богатырев по отношению к Виллартону, облегчат во многом мою будущую деятельность.

Богатырев, при своей хитрости и здравой осторожности, увлекся на этот раз и ежедневными удачами своими, и каким-то личным капризом жестокости. Он через меру терзал самолюбие английского консула и как бы тешился его несомненными страданиями. Я думаю даже, что впечатлительный Виллартон в течение предшествовавших двух лет политического согласия и тесной личной дружбы отчасти и сердцем по-товарищески привязался к Богатыреву, и тем больнее были ему обиды, почти ежедневно наносимые ему нашим упрямым и гордым москвичом.

Я говорю — Богатырев перешел далеко и за черту приличий, и за черту обязательной борьбы. Дальнейшая же-

[1] «Происки московитов».

стокость к расстроенному Виллартону была не только не нужна для нашего *русского дела,* но могла стать и вредною. Мягкие и уступчивые люди становятся иногда ужасны в мести своей, когда видят, что противник рассчитывает на эту слабость. Я хотел *поберечь для себя* или, лучше сказать, *для своей службы* Виллартона; я находил, что, сохраняя с ним лично хорошие отношения, я могу еще легче действовать против него тайно, при тех хороших помощниках, которых мы имели в городе в среде христианской.

Все это так, но как бы он не дознался при своих слишком частых посещениях, что Ве́лико не просто униат, возвратившийся к православию (это законно), но что он беглец из полка Садык-паши? Опасения мои почти оправдались.

Особенно один визит английского консула заставил меня задуматься.

Богатырев незадолго до этого переполнил чашу его терпения. Случилось это вот как.

От радости, что сам Антониади пригласил меня читать жене своей Жуковского, я *медлил.* Я все боялся испортить дела свои. Я думал: «И так хорошо! на что торопиться?»

После праздника в Порте, где она повторила, что ждет нас, я собрался. Надо было звать с собой Богатырева. К тому же та часть Жуковского, в которой была «Эолова Арфа», была у него. Я зашел к нему и сказал ему:

— Пойдемте сегодня вечером вместе к Антониади. Он пригласил меня читать жене громко Жуковского!

— Какой дурак,— отвечал Богатырев весело.— Когда я женюсь, я вам не позволю читать моей жене Жуковского. Нет, батюшка, отойди от зла и сотвори благо!..

— Перестаньте,— возразил я,— во-первых, с какой стати вам сравнивать себя с этим скучным Антониади. В вас жена будет наверное так влюблена, что тут не только нравственный Жуковский, но и другие поэты ничего не помогут.

Богатырев, несмотря на всю свою выдержку, не мог скрыть своего удовольствия, услыхав такую лестную правду (это и оказалось правдой со временем; жена без ума любила его). Он покраснел и даже сконфузился, опустил глаза и стал рассматривать свои руки. Потом,

совладев со своим минутным смущением, он ужасно лукаво улыбнулся и сказал:

— Voyons — trève de flatteries! Vous voulez me faire servir de paravent... Eh bien! soit...[1] Только на что это вы старину такую ей тащите? Начал было я сам «Ундину». Знаете, скучновато... Вы бы лучше ей какого-нибудь Павла Петухова снесли. И муж бы послушал Поль де Кока... А то что ж он поймет! Он заснет, обидится и не будет вас больше пускать к себе... Я в ваших интересах говорю.

— Он жил в Одессе и понимает немного по-русски.

— Да что ж, что понимает! — возразил Богатырев. — Что-нибудь о «пшенице», «тащи мешки» какие-нибудь... А вы «Ундину» ему...

Однако я стоял за Жуковского, и Богатырев, который все это говорил нарочно, потому что был в этот день в духе, кликнул своего Ивана, настоящего орловского камердинера, и сказал ему, вставая:

— Принеси мне перчатки и шапку и вели кавасу сейчас зажечь фонарь... мы пойдем...

Итак, мы собрались идти. Я заметил, что Богатырев искал что-то на столе своем, нашел и захватил с собою это *что-то,* это нечто, которое он хотел от меня скрыть... Повернувшись ко мне спиной, он поспешил положить в боковой карман какую-то небольшую вещь и потом, обращаясь ко мне с самым равнодушным видом, воскликнул: «Пойдем делить досуг печальной нашей крали».

Я не отвечал на эту новую насмешку над Машей, и мы, взяв Жуковского, каваса и фонарь, пошли в Кастро, не спеша, по темным улицам, на которых давно уже ходили, постукивая толстыми палками по мостовой, безмолвные и закутанные *пазванты*[2].

Было не очень холодно, шел мелкий снежок; под ногами он таял и обращался в густую грязь. Мы долго шли молча, выбирая, где посуше, и переступая с камня на камень, в местах почти безлюдных, все между лавок, запертых уже с раннего вечера.

Из-под ног наших беспрестанно вставали худые, никому не принадлежащие уличные собаки, кротко уступая

[1] Полноте — оставьте лесть! Вы хотите послужить мне ширмой... Ну хорошо! положим...

[2] Пазвант, или пазван — ночной сторож. *(Примеч. авт.).*

нам дорогу. В одном месте мы чуть-чуть было не наступили на целое гнездо щенят, для которых чья-то сострадательная рука постелила соломки около столба.

Я любил все это: и эту грязь, и безмолвие, и отсутствие газа, карет, и бедных собак, этих нищих духом «о Магомете»... и запертые лавки, и внезапный звонкий стук сторожевой дубины о камни мостовой... Но Богатырев сердился, переступая с камня на камень через лужи и снег.

— Не дождусь, когда я уеду из этой трущобы! — говорил он угрюмо.

Я не отвечал, но думал: «И я не дождусь, чтобы ты уехал! Тогда я буду всему здесь сам хозяин!..»

Наконец мы подошли к их двери, и кавас наш застучал кольцом...

Снизу из сеней мы услыхали громкий и, казалось, нам обоим незнакомый голос...

— Кто это у вас наверху? — спросил с недовольным видом Богатырев у служанки.

— Это г. Михалаки, ваш драгоман, привел какого-то старика, который все кричит и кричит,— отвечала Елена,— кричит и потом как кошка делает вот так: пффф!..

Елена, очень забавно отскочив от нас, представила лицом и руками испуганную и рассерженную кошку...

Я тотчас же догадался и сказал:

— А, это наш русский подданный, философ Маджараки... это он...

Я любил этого оригинального старика и обрадовался этой неожиданной встрече; я сообразил кстати, что они с Михалаки могут занять Антониади и Богатырева и этим облегчат мне возможность отдельной беседы с Машей. А читать можно и в другой раз.

Маджараки, уроженец и житель уездного городка Кырк-Килисси и русский подданный, имел тяжебное дело в Адрианополе с одним армянином, турецким подданным. Антониади, новый член торгового суда, должен был на днях принять участие в обсуждении этого дела, и вечно деятельный Михалаки Канкеларио, безо всякого даже побуждения со стороны консула, взял на себя труд привести Маджараки к Антониади в дом, чтобы подсудимый мог как можно лучше изложить свою тяжбу еще неопытному в местных делах, но испытанному жизнью и

коммерческою борьбой судье. К тому времени, как нам прийти, разговор о тяжбе уже кончился. Михалаки играл в шахматы с Антониади, Маша сидела на диване с работой; около нее была m-me Игнатович, а низенький и толстый Маджараки стоял посреди залы, опершись правою рукой на спинку стула, и, потрясая от времени до времени левою, говорил дамам так, с исступлением страсти и фанатизма:

— Вы, вы, жительницы больших городов... вы можете позволять себе европейскую роскошь... Но мои дочери? мои дочери должны носить толстые красные болгарские фартуки! Они метут, работают, они едят руками... Да, моя покойная мать тоже ела руками, и сок!.. сок от кушанья тек по груди ее... сок этот тек (повторял он с любовью и восторгом, качая умиленно седою головой)... да, сок этот тек, но мать моя была здорова, красива и сильна.

Мы прервали его речь...

Он умолк мгновенно, увидав консула. Все поспешно встали, хозяин дома встретил нас у дверей залы, Маша тоже встала с дивана и сделала несколько шагов нам навстречу. Маджараки отошел в сторону, вытянулся и притворился робким и скромным. (Я говорю *притворился,* потому что он никого и ничего не боялся, своею смелостью с турками довел даже себя до цепей и суда, после чего и добыл себе в Одессе русский паспорт.)

Богатырев, поздоровавшись с хозяевами дома, едва повел головой в сторону Маджараки и не удостоил ответить даже приветливым взглядом на его почтительный поклон. Он находил старика несносным, да и вообще на всех здешних людей смотрел только с точки зрения политических интересов России и выгод собственной службы. Сами по себе они все для него не существовали, и он не считал их достойными ни малейшего внимания. Мне же, напротив того, случалось с этим Маджараки проводить целые вечера и до усталости слушать его рассуждения о философии, богословии и грамматике. Я находил его замечательным человеком и часто изумлялся его метафизическим способностям, развившимся так сильно и независимо в таком удалении от главных центров научной и умственной жизни.

Я предоставил Богатыреву заняться с Машей, надеясь

вознаградить себя позднее, и, взяв дружески за руку бедного и никем не понятого мыслителя, усадил его около себя и спросил, чем он теперь занимается.

Маджараки взглянул па меня весело, плутовски и сказал:

— Сравнительным изучением глаголов в эллинском и турецком языках...

— Простите меня,— перебил я,— я уже говорил вам прежде, что философия и богословие меня больше интересуют, чем грамматика. Ваши труды по метафизическим вопросам гораздо мне понятнее, чем эти глаголы.

— Прошу вас, г. Ладнев, извинить меня, но я позволю себе заметить, что вы не совсем правы...— воскликнул Маджараки значительно и прибавил по-французски:— Il n'y avait pas de grand philosophe, qui ne fut grand grammairien: et il n'y avait pas de grand grammairien, qui ne fut grand philosophe[1].

Он произносил так смешно, что Богатырев и все присутствующие мужчины переглянулись с улыбкой и приостановили свою беседу, прислушиваясь к нашей. Маджараки, не замечая ничего, продолжал с жаром:

— Филологическая идея поддерживает во мне метафизическую, метафизическая родит грамматическую. О! Это наслаждение, небесное наслаждение — следить за проявлением божественного духа во всех феноменах человеческого ума. Я не оставляю метафизики. Так, например, недавно я убедился, что троица, или тройственная суть, действительно основание всему, и, таким образом, самый основной и священный догмат православия находит для себя полнейшее оправдание и в метафизических законах бытия и мышления... Извольте, вникните (тут Маджараки придал своему лицу выражение особенно задумчивое и глубокое, даже с небольшим оттенком какого-то испуга, и, собрав все пальцы своей руки кучкой, тряс ими пред глазами и лбом своим): вникните: *Суть*... Суть всего... сущность... сущий... *«То он»* (Το ων)... (Потом лицо его приняло более ожесточенный вид, и он начал быстро и долго стучать ребром руки по столу.)

---

[1] Не было великого философа, который не был бы великим грамматиком, и не было великого грамматика, который не был бы великим философом.

— *Энтелехия*... Бесконечное проявление, безначальное и бесконечное рождение, вечное действие, неразрывное с этою сущностью... Тук, тук, тук... Тук, тук, тук!.. Энтелехия!..

Наконец, выразив и глазами, и извилистым движением руками, и всеми физическими средствами своими нечто вроде гибкости и проницательности, Маджараки докончил:

— *Способ* действия... *Трóпос*... Понимаете,— даже пространства заключить или замкнуть нельзя без трех линий; треугольник — это первая фигура геометрии...

Я слышал, что Маша вполголоса говорила Богатыреву и мужу:

— Il est charmant ce vieux... Écoutez, il faut gue vous lui fassiez absolument gagner son procès au tribunal de commerce[1].

— Он несносен! — возразил глухим голосом консул.

— Я не согласна, он премилый,— повторила Маша и потом обратилась к самому старику по-гречески: — Кир Маджараки, отчего вы отдаете такое предпочтение одному г. Ладневу? Отчего вы нас не удостоиваете вашей интересной беседы? Вы нас считаете недостойными?

Наивный старик встал почтительно и ответил с большим достоинством:

— Кирия Мариго! Я уже настолько опытен, чтобы понимать, до чего вкусы и наклонности людей высокого образования могут быть различны, и не желаю никому быть в тягость. Вот и г. Ладнев удостоивает внимания мои скромные метафизические труды и отвращается от моих же грамматических изысканий.

— Нет, нет! — сказала Маша,— садитесь ближе, мы все хотим вас слушать.

Богатырев нахмурился; а я был очень рад, что она так мило обращалась с оригиналом этим, которого я предпочитал другим здешним жителям. И в этом поступке ее я увидел желание показать, что она во всем, *во всем* сочувствует мне и не выдает меня даже и в мелочах.

Она придвинула кресло к дивану и пригласила старика сесть к себе поближе.

[1] Он мил, этот старик... Послушайте, нужно, чтобы вы непременно помогли ему выиграть его дело в торговом суде.

Богатырев, избалованный в Адрианополе своею властью и влиянием, покраснел и прошептал по-русски:

— Уйду сейчас в шахматы играть. Право, уйду... Мсье Михалаки, не хотите ли партию?..

Маджараки сиял и собирался, видимо, начать какую-то речь, как вдруг раздался внизу стук в двери, и немного спустя Елена почти вбежала с возгласом: «Английский консул!»

Богатырев взглянул на меня и пожал плечами.

Виллартон был уже в дверях залы.

XXII

Сначала все пошло хорошо.

Мадам Антониади была настоящая светская женщина в том отношении, что, раз приняв в дом свой кого бы то ни было, она была со всеми одинаково любезна и старалась даже скорее низших заметно возвысить, боясь обидеть их.

Она удержала старика Маджараки около себя; Виллартона пригласила сесть с другой стороны, тоже поближе. Мы с Богатыревым сидели напротив за круглым столом. Михалаки и муж ее около нас. Бесела стала скоро оживленною и общею.

Антониади принес из другой комнаты какой-то французский журнал с карикатурами, и все стали смотреть их.

Особенно заняли всех рисунки разных французских и прусских военных чинов и полков, только что отличившихся под Кениггрецом. На каждой картинке было по французу и по пруссаку. Например, французский гусар, стройный, красивый, ловкий, самоуверенный, и гусар прусский, среднего роста, широкий, нескладный, в огромной меховой шапке, надвинутой на брови. Французский маршал, тоже стройный, элегантный, в треугольной шляпе с плюмажем, в расшитом мундире и весь *окруженный сиянием прежней славы*, рядом с ним стоит не развязно и вытянув руки прусский генерал, в простом будничном военном кафтане, в каске без султана, лица из-под козырька почти не видно, и *на каске очки учености*...

Изображения французов сопровождались длинными

подписями, любезно-шутливыми, самыми лестными воспоминаниями о великих удачах и подвигах прошедшего; у пруссаков таких воспоминаний не было; везде были вместо них поставлены точки с повторением одной и той же насмешки: «...mais solide!» (*...зато надежен!*).

До Седана и Меца было еще далеко, и никто их тогда еще предвидеть не мог. Похвалюсь, однако, я *полупредчувствовал* их и сказал:

— Как бы господам французам не пришлось горько каяться в этих насмешках!.. История любит новое. И я, признаюсь, очень был бы рад, если б этой передовой нации дали добрый урок. Они забыли Росбах...

Солидному Антониади тоже это хвастовство не очень нравилось, и он заметил:

— Я согласен с вами. Разве дурное качество — солидность в войске? Это самое лучшее, как и во всем.

Виллартон просто смеялся от души, разглядывая эти рисунки, и обратил внимание только на то, что французы представлены здесь слишком красивыми.

— Я был с ними вместе под Севастополем,— сказал он.— Они вообще скорее некрасивы.

— Вы избалованы красотой и благородным видом ваших английских войск, оттого вы строги,— заметил я, желая ему польстить (все приготовляя себе удобства в *близком будущем*).— Я тоже служил тогда в Крыму и после заключения мира восхищался вашими *гайлендерами* в красных мундирах.

Богатырев, выросший в Москве, на французских фарсах и французских вкусах самого легкомысленного стиля, стал защищать все французское и кончил тем, что достал из кармана ту книжку, которую он пред уходом из дома так таинственно положил туда. Это была довольно забавная глупость: «История одной пуговицы, пропавшей с мундира немецкого солдата». Опять насмешки над немецкими формальностями, над немецким патриотизмом и т. п. Автор, вероятно, настоящий француз, придумал себе русский псевдоним — Piotre Artamoff.

В небольшом немецком городке у солдата пропадает с мундира пуговица. Все начальство приходит в волнение; пишется множество донесений, отношений, предписаний, при этом жизнь предъявляет свои требования, и

кто-то запел патриотическую германскую песню, которая *вся* состояла из повторения двух стихов:

Bois de la bière,
Bonne, bonne Lisette!
Bois de la bière!

Bois de la bière,
Bonne, bonne Lisette!
Bois de la bière!

Bois de la bière,
Bonne, bonne Lisette!
Bois de la bière![1]

По-немецки:

Trinck Bier,
Liebe, liebe Lischen!
Trinck Bier!

Trinck Bier,
Liebe, liebe Lischen!
Trinck Bier!

. . . .

И больше ничего!..

Ни один из жителей города не может устоять против восхитительного действия этой национальной поэзии; один за другим немцы и немки начинают подтягивать запевшему, другие соседи подхватывают, восторг растет, голоса все громче, пение все исступленнее, и скоро весь город становится огромным хором, который гремит:

Trinck Bier,
Liebe, liebe Lischen.
Trinck Bier...

Все дела забыты, даже и тревога о пуговице...

Какой-то часовой и тот даже забывает в этот волшебный миг строгость своего долга и с увлечением присоединяется к хору сограждан.

Богатырев читал хорошо; он кончил маленькую книжку при дружном хохоте всего общества. Только Маджара-

[1] Пей пиво,
Милая, милая Лизетта!
Пей пиво!

ки, видимо, улыбался из вежливости: он ничего не понял. Он изо всего французского языка знал только наизусть ту фразу о грамматиках и философах, которую давеча он так ужасно произнес. Вспомнив об этом, Маша обратилась к нему и сказала:

— Французы очень остроумны, вы знаете...

— Да,— отвечал Маджараки значительно,— особенно Фонтенель. Я читал его в переводе. Он удивительно тонок, например, говоря, в том, что с разных небесных тел небо может казаться обитателям этих тел совсем не того цвета, каким представляется оно нам по причине другой окраски атмосферы... И, упоминая о каком-то цвете... положим розовом... не помню... говорит так тонко, обращаясь к знатной госпоже, своей читательнице: «Я угадываю, сударыня, что вы теперь думаете: как хорошо бы сделать такое платье?»

— Это очень мило, прелестно! — сказала Маша.

Злой Михалаки, знавший уже наизусть все ресурсы своего старого соотечественника, придумал между тем нарочно нечто такое, что могло быть не совсем приятно английскому консулу.

Он сказал хозяйке дома с самым невозмутимым и невинным видом:

— У г. Маджараки удивительно то, что он воздает каждому должное. Он очень уважает французскую словесность, но, когда ему, вследствие неприятностей с турками, посоветовали принять французское подданство, он отверг эту мысль с негодованием,— поехал в Одессу и сказал: «Не моя была воля родиться подданным мусульманского государства, но по свободному выбору я могу подчиниться только законам православной державы...» Г. Маджараки тверд как железо в своих убеждениях...

— Это прекрасно! — сказала Маша.

Виллартон не остерегался и заметил насмешливо и фамильярно:

— И выгодно... Возвратиться опять в государство мусульманское и пользоваться в нем всеми удобствами русской протекции...

Маджараки вспыхнул, и глаза его засверкали; он задрожал.

— Эти руки!..— воскликнул он, показывая свои руки,— эти руки были в турецких колодках... Тяжелые це-

ни за одно только подозрение... обременяли это старое тело... И если я жив, если меня не кинули в Марицу с камнем на шее, если меня не убили, не повесили на суку адрианопольского дерева, то этим я обязан православной русской крови, которая проливалась за христиан Востока, со времен Великой Екатерины и до последней несчастной войны против Франции, в союзе с двумя мусульманскими державами...

Маджараки был уже на ногах... он опять фыркал: «Пффф! Пффф», выходя из себя, и сжимал кулаки.

Богатырев вмешался; он догадывался, что хочет сказать исступленный философ, и спросил:

— Какие же две мусульманские державы?.. Турция одна...

Маджараки, забыв всю свою формальную почтительность, взглянул на Богатырева с высокомерною улыбкой, как на бессмысленного ребенка, даже помолчал почти с презрением, и, наконец, промолвил, небрежно улыбнувшись:

— Самая великая и вредная истинному христианству мусульманская держава в мире — это Великобритания... В числе ее подданных...

Хозяин встревожился и поспешил перебить его:

— Вы, может быть, не знаете, кто перед вами,— это г. Виллартон, английский консул...

Маджараки (который знал это очень хорошо) притворился и переменил тон.

— Прошу его сиятельство извинить меня, я не имел чести до сих пор встречаться,— сказал он плутовато и смиренно.

Виллартон покраснел. Он видимо был недоволен, но, не желая, конечно, в этом сознаться, воскликнул:

— О, ничего, ничего! Продолжайте, продолжайте!.. Это разговор честный... Меня очень интересует ваше мнение... А что вы думаете, например, о будущности Босфора или Константинополя?..

Это было с его стороны довольно ловко придумано, чтобы затруднить всех нас. Мы все замерли на минуту... ждали, что скажет старик.

Маджараки немного поколебался, немного подрожал в каком-то страстном и сдержанном волнении и, наконец, ответил так, обращаясь прямо к Виллартону:

— Насчет Босфора и прекрасной столицы, украшающей берега его, я, ваше сиятельство, должен ответить вам так: тот будет прочен на берегах этих и тот будет всем жителям этих стран приятен, кто на всякий западный товар наложит в Дарданеллах сто на сто... Торговые и промышленные западные державы погубили в Турции всякую промышленность и развратили нас ложною роскошью... Если султан в силах наложить эти сто на сто, да здравствует султан!.. Пффф! Пффф!..

Отвечено было прилично, оригинально и умно; мы все, кроме Виллартона, были довольны...

Вскоре после этого Маджараки простился и ушел. А немного погодя собрались и мы идти домой. Маша нашла случай сказать мне тихо:

— Нам не удалось почитать Жуковского. Тем лучше. Приходите утром: мы будем одни...

Потом она посмотрела на меня внимательно, показала рукой на мой лоб и заметила:

— Вы хорошеете все... Какое у вас сегодня милое выражение — доброе, ясное такое... «L'amour est un prisme que nous portons au front et qui illumine nos entrailles...»[1] Откуда это?

— Не помню...

— Поищите дома. У вас эта книга есть...

— L'amour pour qui?[2] — спросил я...

— Pour madame[3] Чобан-оглу, конечно... у вас такой гадкий вкус...

Мы простились и вышли вчетвером: Богатырев, Виллартон, Михалаки и я. Кавас нес впереди фонарь. Консулы шли рядом и молча за ним. Мы с Михалаки сзади. Вдруг из темноты соседнего переулка послышался топот бегущих толпой людей, и раздался отчаянный вопль турецких пожарных: «Янгын вар!»[4]

Мы все приостановились, но Богатырев грубо сказал кавасу: «Иди прямо! что ты стоишь!..»

И мы опять пошли...

Пожарные, занятые своим делом, бежали прямо на

---

[1] Любовь — это лучистый кристалл, который мы носим на челе и который озаряет нашу душу...

[2] Любовь к кому?

[3] К мадам.

[4] Пожар! «Пожар есть» слово в слово. *(Примеч. авт.)*

нас. Они несли на себе тяжелую трубу и продолжали кричать, чтобы бедствие не застало спящих обывателей врасплох и чтобы встречные на улице люди сторонились заранее и не задерживали бы их.

Они были уже близко, когда Богатырев, вдруг остановившись, сорвал черный кожаный чехол со своей белой фуражки, чтоб она была виднее в темноте, и закричал еще громче их своим сильным голосом:

— Куда вы, ослы? Стой... не видите вы, кто перед вами!.. Негодяи! Али! Вынь ятаган,— руби их!..

Али, не колеблясь, мгновенно правою рукой извлек ятаган, а левою почти бросил фонарь на землю и сделал шаг вперед, приготовляясь беспрекословно кинуться на целую толпу. Пожарные тотчас же остановились, расступились, прижались к домам молча и почтительно, и мы прошли...

Я был возмущен этим поступком консула, этою ненужною несправедливостью, этим бесполезным эффектом.

Я всегда любил то, что нынче выдумали звать самодурством; особенно любил я самодурство национальное, во имя *идеи;* но это было глупо, неуместно, даже низко, по-моему... О! если б эти пожарные были «честные» граждане — республиканцы Цюриха и Берна или самоуверенные подданные *узурпатора с распомаженными усами,* которого куаферы в кепи тогда еще не были так восхитительно проучены при Вёрте и Седане... Тогда я бы не сказал ни слова... Но эти бедные турки!.. Они ведь спешили на доброе дело! Довольно с нас и того, что́ мы *обязаны* делать *против них* для явной политической пользы единоверцев наших...

«Ce n'est même pas de bon goût!»[1] — думал я про себя с негодованием...

Михалаки, напротив того, и этому был рад — позднее он «шипел» мне, что все это Богатырев делал хорошо: надо показать этому Виллартону, что энергический русский агент имеет право *все делать здесь* безнаказанно...

Если я, русский, никогда с этим согласиться не мог, то какое же бешенство должно было обуревать в эту минуту душу английского консула, рожденного и выросшего в Турции?!

[1] В этом даже хорошего вкуса нет!

Вероятно, от избытка гнева Виллартон на этот раз сдержался и не сказал ни слова.

Вот после этого-то случая он вовсе перестал ходить в наше консульство и даже от Антониади стал все больше и больше удаляться, стал суше обращаться с ним при встречах и ни разу не был у него в доме в течение целого месяца...

Встревоженный этим хиосский купец оказывал ему сначала всякого рода внимание, конечно — «в пределах своего личного достоинства» (Антониади любил так выражаться); но Виллартон не уступал, и Антониади, скрепя сердце, должен был теперь понять, что он надолго, если не навсегда, попался в русские «сети». Надо было держаться еще крепче за русских, когда английский консул сам, безо всякой вины с его стороны, не хочет его больше знать!..

Для меня лично обстоятельства слагались все выгоднее и выгоднее... Удаляясь от Богатырева и Антониади, Виллартон стал искать сближения со мною, посещения его *запросто* день ото дня учащались...

Я был очень рад и беспокоился только о том, чтобы Ве́лико не попадался ему без крайности на глаза...

Я сказал, почему я этого не мог желать.

XXIII

Однажды я сидел на верхней галерее моего милого пестрого жилища и наслаждался...

Ве́лико, веселый и нарядный, стоял предо мной с подносом, а я курил наргиле, пил кофе и расспрашивал его кой о чем деревенском: как одеваются у них в Сазлы-Дере́ женщины, что носят они на головах, белые платки или что-то вроде фесок с повязками, как я видел в иных местах, какого цвета фартуки?.. В это время в Москве готовилась этнографическая выставка и ждали славян на съезд общения «любви»... Богатырева просили распорядители выставки доставить одежды и утварь, но он, ко всему подобному, прямо не касавшемуся службы, довольно равнодушный, принял эту просьбу чуть не насмешливо и предложил мне и ответ написать и сведения собрать о том, какие нужны одежды и что будет это стоить. Я

взялся за это дело с величайшим рвением и думал, что сделаю пользу и заслужу благодарность... Мы так занялись с Ве́лико нашею беседой, что и не заметили, как Виллартон вдруг вошел в незапертую на этот раз дверь и громко спросил уже на лестнице: «Эффенди дома?» И вслед за тем показался уже и сам в дверях галереи... Ве́лико не тронулся с места; только покраснел немного...

Виллартон тотчас же, после первых приветствий, сказал мне по-турецки (вероятно, нарочно, чтобы Ве́лико понял его).

— У вас новый служитель?

— Да!— сказал я,— болгарин...

— Хороший мальчик! Как тебя, мальчик, зовут?— спросил он...

Виллартон, глядя на Ве́лико, старался сделать выпуклые глаза свои самыми... самыми... не понимаю даже какими... или очень равнодушными, или ужасно многозначительными. Я знал очень хорошо эти выпуклые глаза его. О! как я их помню и теперь... я умел по привычке читать в них многое, но изобразить словами прочитанное не могу хорошо...

— Как тебя, мальчик, зовут?

Не правда ли, это очень просто... Как тебя, мальчик, зовут? Но глаза при этом становились *многозначительны:* они делались вдруг равнодушными до уныния, до печали... Да! до печали... Я это хорошо сказал,— они делались равнодушными до печали. Это верно. Но что значило это равнодушие? Было ли это неудачное желание скрыть какое-нибудь злоумышленное любопытство... Или, напротив того, очень тонкая угроза?

«Вы думаете, гг. русские, что я очень весел, жив, откровенен и даже как будто ветрен иногда и неосторожен? Да, это мой характер, правда... Но я докажу вам, что бороться с вами я умею и буду мстить вам на каждом шагу за ваши частые победы надо мною в здешних делах...»

— Как тебя, мальчик, зовут?

У Ве́лико глаза потускнели; но он ответил твердо и почтительно:

— Ве́лико, эфендим.

— Гайдук Ве́лико! (Разбойник Ве́лико),— воскликнул

англичанин, раскидываясь с хохотом на диване.— Ты знаешь песню: «Гайдук Ве́лико»?

— Знаю,— чуть-чуть краснея, отвечал мальчик.

— А это знаешь?

> Покара́ло й ма́лко момчѐ,
> Ма́лко момчѐ сиво ста́до
> Из корня султа́нова
> Султанова султан-бе́йска.
> Хо́ра думат ма́лко момчѐ...[1]

— Нет, этого не слыхал.

— А из какой ты деревни?..

— Из села Сазлы-Дере́.

Опять унылое равнодушие на бородатом и веселом лице мистера Виллартона.

— Сазлы-Дере? Сазлы-Дере? Где это Сазлы-Дере?

— Недалеко, часа три отсюда,— вмешиваюсь я, чтоб облегчить душу бедному Ве́лико, и потом говорю ему: — Подай господину консулу кофе...

Я говорю это в надежде, что инквизиционные вопросы прекратятся. Пока Ве́лико сходит за кофеем, английский консул, может, займется чем-нибудь другим... Я постараюсь даже занять его. Начну жаловаться нарочно на злоупотребления турецких чиновников. Он будет спорить, кричать, вспрыгнет с дивана и, наконец, воскликнет: «Я вас прошу не оскорблять меня! Турция — это моя отчизна... Я здесь родился, здесь вырос и люблю Турцию больше, чем самую Англию...» Я немного уступлю, и мы за это не поссоримся. Или скажу ему, что прочел в русских газетах, какое множество униатов в Польше перешло в православие, а он тоже вскочит и вскрикнет: «Ah, bah! Ses uniates!.. Nous eu savons quelque chose![2] Им русские солдаты штыками раскрывают зубы для того, чтобы поп мог насильно влить им причастие. Вот ваша пропаганда! Вот ваша свобода!..» И как он покраснеет, как он ужасно раскроет глаза свои! Я уже видел все это, все это знаю...

Мне нужно теперь, чтоб он только забыл о Ве́лико...

---

[1] Перевод: «Молодой малый погнал; Молодой малый серое стадо; По пастбищу султана; Султана царя господина. Люди говорят молодцу...» и т. д. *(Примеч. авт.)*

[2] Ах, вот что! Униаты!.. О них мы кое-что знаем!

А если он рассердится за униатов и турок и еще упорнее будет стараться узнать, что это у меня за болгарин и откуда он? Нет, я не буду бранить турок... Я буду бранить французов, это ему будет приятно, и я буду искреннее... Я турок предпочитаю французам. Французы выдумали демократический прогресс. На этом мы с Виллартоном скорее сойдемся... Или начну я хвалить те английские обычаи и вкусы, которые мне знакомы: святки, бокс, пунцовые мундиры; он это тоже любит. И в этом я буду естествен. Англичане, даже и враждующие против нас, мне все-таки очень нравятся; или еще лучше, буду турок хвалить?.. Итак, хвалю турок... хвалю их от души...

— Вчера, — так я приступаю к моей «политике», — я был в Эски-Сарае и вспомнил вас, г. Виллартон; в сущности, я с вами во многом согласен, если хотите... Иду я по берегу реки. Гуляло тут и кроме меня много народа. Вижу, пожилой, такой почтенный турок разостлал под деревом коврик и молится при всех... Он никого знать не хочет, он кладет земные поклоны свои и не обращает внимания на то, что мимо проходят насмешники или ненавистники его веры... Вот это я чрезвычайно уважаю в турках.

Я не ошибся в расчете. Виллартон был так тронут моим замечанием, что вскочил с дивана и воскликнул:

— Вы знаете эти стихи? Последние слова взяты из Корана: «Какая рука и какой язык могут заплатить долг благодарности Богу?» И точно, Бог сказал: «Воздайте мне благодарность, о, потомки Давида! ибо только немногие из слуг моих умеют быть благодарными».

И глаза его (я заметил это тотчас же) немного покраснели от навернувшихся на них мгновенных слез... Выпрямившись предо мною, Виллартон повторил еще раз... И хотя эта цитата была не особенно кстати и не слишком выразительна, я ее нашел прекрасною, а мои дипломатические действия еще во сто раз прекраснее... Однако кофе не несут! Придет Велико, Виллартон опять начнет свой допрос...

Вот-вот шаги... несут кофе... Боже мой... Однако, как хитры эти единоверцы наши! Я сказал этому юноше, болгарину, почти отроку: «Велико, подай кофе г. консулу!» Он должен бы был исполнить буквально слова мои, сам подать ему, однако он предпочел прислать с кофеем ка-

васа-турка, а сам скрылся... А может быть, это, напротив того, глупость?.. Подозрительно... Но Виллартон стал спокойно пить кофе и о Ве́лико не сказал ни слова. Тогда я спросил у каваса:

— Где же Ве́лико?.. Отчего не он подает кофе?

— Он подметает теперь вашу комнату...

— Ну, хорошо... Только скажи ему все-таки, что он глуп: кофе подавать его дело, а не твое...

Между тем оживленное, подвижное лицо Виллартона вдруг принимает особенное какое-то выражение, почти победное.

— Я все вспоминал, где я его видел прежде; я вспоминал все время, где я заметил его красоту?.. в числе солдат Садык-паши или в униатской церкви?.. И вспомнил, что это было в униатской церкви... Я заходил туда раз из любопытства... Он был там *кандильанафтом*[1]. А насчет казацких этих полков, может быть, я ошибаюсь. Как будто мне кажется, что я видел его где-то в мундире. Но это, может быть, и ошибка. А в униатской церкви в Киречь-Хане я его видел — это верно. На нем была эта самая малиновая *аба*[2].

Мало-помалу лицо Виллартона во время этих слов опять доходило до выражения того многозначительного, притворного уныния, которое мне так было знакомо, и он кончил свою значительную речь таким простым и, по-видимому, небрежным вопросом:

— Он недавно, значит, оставил униатство, он перешел опять в ортодоксию?..

— Да, недавно,— отвечал я с улыбкой, которую стараюсь сделать настолько же двусмысленною, насколько загадочно его «уныние».— Да, он перешел к нам. Мы раскрыли ему зубы русским штыком, как вы говорите.

— Не золотым ли ключом? — отшучивается Виллартон...

— Чем придется,— отвечаю я.— С такими искусными соперниками на Востоке, какими мы окружены... что делать... Например, хотя бы вы. (Я знаю, что Виллартон, который год или два тому назад шагу не давал сделать спокойно католической пропаганде, теперь старается по-

---

[1] Пономарем.
[2] Сукно.

могать *даже и ей,* с досады на наши последние удачи, по злобе на русскую препотенцию и с отчаяния, что наш ловкий Богатырев поставил его совершенно в изолированное положение.) — Из одного ли любопытства вы посещаете униатские храмы?

Виллартон, который долго оставаться в одной позе не мог никогда, давно уже ходил по комнате, высоко поднимая носки при каждом шаге, как бы маршируя, и весело притоптывая каждый раз. Он вдруг остановился в удивлении и, опустившись близко около меня на диване, оборотился ко мне лицом и начал говорить дружески, так доверительно и так душевно:

— Écoutez![1] Я самый удобный и простой коллега. Со мной можно жить. Я буду прям. Я знаю, вы подозреваете, что я потворствую католикам?

Я хотел протестовать, но Виллартон, возвышая голос, продолжал убедительно:

— Я знаю, знаю... Но если б и так (хоть это не совсем так), кто ж виноват? Ваш консул очень плохой дипломат. Он вооружил против себя всех; все недовольны им...

Я не хотел слушать и делал нетерпеливые движения.

— Он не только для меня консул, он друг мой...— возражал я.

— Оттого, что он друг, я и советую вам привлечь его внимание на те невыгодные условия, в которые он ставит русскую политику во Фракии. Он еще молод и очень горд; он увлечен удачами. Я отдаю справедливость его уму; он человек лучшего общества, он вполне джентльмен... Но... все-таки я должен сказать вам правду. Поверьте, я знаю гораздо больше о его действиях, чем вы думаете... Посоветуйте ему... прошу вас... Англия и Россия — державы могучие, большие, обе консервативные; они могли бы жить так спокойно друг около друга и здесь могли бы идти рука об руку во всем, или почти во всем. Да, впрочем, в высших сферах власти так и делают; но это личное честолюбие местных агентов большое зло, и оно распаляет вражду. А мы были так дружны с Богатыревым, и я с моей стороны старался всячески помогать ему. Как мы тогда хорошо проводили время! Знаете, я вспоминаю при этом фразу вашего князя Горчакова, в его ноте по поводу североамериканских дел. Он

там говорит, кажется, так про Штаты Севера и Юга: «Соединенные, они дополняют друг друга; разделенные, они парализуют...» кажется, так, в этом роде... Вот так и мы теперь с Богатыревым: прежде мы оба были сильны; теперь мы оба стеснены. Видите, как я прям.

Опять у него покраснели глаза. Он в самом деле был прям на этот раз, и с ним это случалось нередко... Он сильно увлекался своими чувствами; он был агент находчивый, изобретательный и деятельный донельзя; но он не мог быть политиком осторожным и холодным; он беспрестанно переходил за черту умеренности и делал ошибки, хотя и умел скоро поправлять их разными ухищрениями и изворотами.

На все это я ответил ему так:

— До меня, признаюсь, все, что вы говорите, не касается прямо, и не мое дело в это входить; вы поговорили бы сами с господином Богатыревым.

Англичанин выпрямился и сухо возразил:

— Нет, этому противится мое достоинство! Это невозможно!

Сказав это, он взял шляпу и очень весело и мило, пригласив меня к себе обедать на следующий день, запросто пожал мне руку с дружескою выразительностью и ушел, или, лучше сказать, бегом сбежал с моей лестницы. Я не успел и проводить его до низу, как следовало по обычаю местной учтивости. Немного погодя я узнал, что, сойдя так быстро по лестнице, он спросил у каваса: «Где Ве́лико?» И, получив ответ, что на кухне, мимоходом заглянул туда, и, когда мальчик, смущенный, вскочил перед ним, он со смехом сказал ему по-турецки: «А я тебя ведь знаю. Ты кандильанафтом был у франков в церкви. Я узнал тебя!» Ве́лико (рассказывали люди) побледнел и не успел еще ответить, как Виллартон уже опять принял серьезный вид и, поглаживая важно свою длинную бороду, прибавил патриархально и все по-турецки: — Это ты, дитя мое, очень хорошо сделал, что оставил унию. Не надо хорошему человеку менять веру отцов. Ты должен быть «ортодокс-булгар», а не «унит»... Э! прощай... Будь здоров!..— и ушел, щелкая бичом.

Узнав эти последние подробности от моих людей, я тотчас пошел к Богатыреву, чтобы посоветоваться с ним.

Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе

I

Однажды на Афоне я разговаривал с отцом Иеронимом о тех неожиданных внутренних переменах, которые я в себе ощущал, по мере того как вникал все больше и больше в учение православной церкви. Эти перемены и новые ощущения удивляли и радовали меня. Разговаривая так, я дошел до мысли, что было бы полезно поделиться когда-нибудь с другими этой историей моего «внутреннего перерождения». Отец Иероним согласился, но прибавил: «При жизни вашей печатать это не годится. Но оставить после себя рассказ о вашем обращении, это очень хорошо. Многие могут получить пользу; а вам уже тогда не может быть от этого никакого душевредительства». Потом он, весело и добродушно улыбаясь (что с ним случалось редко), прибавил: «Вот, скажут, однако, на Афоне какие иезуиты: доктора, да еще и литератора нынешнего обратили».

Это о действительной, автобиографической моей исповеди. Но с другой стороны, он же находил, что можно написать и роман в строго православном духе, в котором главный герой будет испытывать в существенных чертах те же самые духовные превращения, которые испытывал я. Роман такого рода он благословлял напечатать при жизни моей, потому что многое во внешних условиях жизни было бы изменено и не было бы ясно: я ли это или

не я. Мысль эта пришла мне самому, а не ему, но он ее охотно одобрил, находя, что и эта форма, как весьма популярная и занимательная, может принести пользу, как своего рода проповедь.

Эти беседы мои с великим Афонским старцем происходили в 72 или в 71 году. С тех пор в течение восемнадцати лет я постоянно думал об этом художественно-православном труде, восхищался теми богатыми сюжетами, которые создавало мое воображение, надеялся на большой успех и (не скрою) даже выгоды. Радостно мечтал о том, как могут повториться у других людей те самые глубочайшие чувства, которые волновали меня, и какая будет от этого им польза и духовная, и национальная, и эстетическая. Все это я думал в течение 18 лет; думал часто; думал страстно даже иногда; думал, не сделал. Я ли сам виноват, обстоятельства ли (по воле Божией) помешали, не знаю. «Искушение» ли это было или «смотрение Господне» — не могу решить. Мне приятнее, конечно, думать, что это было «смотрение», двояко приятнее: во-первых, потому что это меня несколько оправдывает в моих собственных глазах («Богу не угодно было»; «обстоятельства, видимо, помешали»); приятно думать, что хоть в этом не согрешил перед Богом и перед людьми. И еще приятно не по эгоистическому только чувству, но и по той «любви» к людям, о которой я никогда не проповедовал пером, предоставляя это стольким другим, но искренним и горячим движениям которой я, кажется, никогда не был чужд. Близкие мои знают это.

В чем же любовь? Хочется, чтоб и многие другие образованные люди уверовали, читая о том, как я из эстетика-пантеиста, весьма вдобавок развращенного, сладострастного донельзя, до утонченности, стал верующим христианином, и какую я, грешный, пережил после этого долголетнюю и жесточайшую борьбу, пока Господь не успокоил мою душу и не охладил мою истинно-сатанинскую когда-то фантазию.

И победа духовного (мистического) рассуждения и чувства над рассуждением рациональным, к которому приучили меня и дух века, и в особенности медицинское воспитание, и мое пристрастие смолоду к естественным наукам, эта победа тоже стоит внимания.

Что может больше повлиять в этом смысле: хороший, удачный роман или откровенная, внимательно написанная автобиография?

Воображая себя на месте не твердых в христианстве, полуверующих читателей (это, кажется, самый верный прием), думаю, что автобиография. Хороший, завлекательный роман, идеалистический, высокий по замыслу и направлению, и вместе с тем в подробностях реально написанный, может, конечно, иметь большое влияние. И тем более что у нас истинно православных художественных произведений вовсе нет. Считать «Братьев Карамазовых» православным романом могут только те, которые мало знакомы с истинным православием, с христианством св. отцов и старцев Афонских и Оптинских.

Но, во-первых, еще вопрос: хорошо ли я написал бы его? Хорошо ли в смысле доступности общему вкусу? Ни одна из моих повестей, ни один из моих романов не только не имели шумного успеха, но и не заслужили ни одной большой, журнальной, основательной критической статьи (хотя все они, эти романы и повести, были по крайней мере оригинальны, не похожи ни на Тургенева, ни на Л. Толстого, ни тем более на Достоевского). Все отзывы были краткие, как бы мимоходом; даже и самые похвальные популярности моей не увеличивали. Издавать их на свой страх никто не чувствовал особой охоты; это было так постоянно, что и я давно совершенно охладел к таким изданиям и мало думаю о них.

Опять скажу; я ли не умел заинтересовать большинство читателей; обстоятельства ли сложились странно и невыгодно, не знаю; но если в течение 28 лет (от 61 года, например) человек напечатал столько разнородных вещей в повествовательном роде и иные из них были встречены совершенным молчанием, а другие заслужили похвальные, но краткие и невнимательные отзывы, то что же он должен думать? Что-нибудь одно из трех: или что он сам бездарен, что у него вовсе нет настоящего художественного дара; или что все редакторы и критики в высшей степени недобросовестные люди; что даже те почитатели и друзья его, которые на словах и в частных письмах превозносят его талант, тоже недобросовестны и не честны или беззаботны по-русски в литературном деле;

или, наконец, что есть в его судьбе нечто особое (habent sua fata libelli[1]).

На каком взгляде из трех христианину полезнее и правильнее остановиться в моем частном случае?

Признавать мне себя недаровитым или недостаточно даровитым, «не художником» — это было бы ложью и натяжкою. Это невозможно. Этого я никогда ни от кого не слыхал. Такого решения и смирение христианское вовсе не требует. В известные годы, созревши вполне и с огромным запасом житейского опыта, человек не может даже не сознавать (одного сравнения достаточно), что он добр, например, храбр, искусен в чем-нибудь, умен, физически силен, красив и т. д. Это все дары Божии, и как таковые все они и отъяты могут быть Богом же или, и сохраняясь даже, не принести, однако, человеку для загробной его жизни ни малейшей пользы, и даже могут принести вред, если будут не по учению благодати развиты и направлены.

Не физиологическое смирение нужно, а духовное. Не нам, не нам, Господи, а имени Твоему!

Других всех, даже друзей и почитателей своих, считать людьми легкомысленными или недобросовестными, это было бы не только грешно и нечестно, но даже и глупо! Какой вздор! Я мог бы назвать здесь многих. И стоило бы только назвать некоторых из них, чтобы обвинение в легкомыслии и недобросовестности оказалось невозможным. От некоторых из них я видел столько добра, что, кроме самой живой признательности к ним, ничего не чувствую. Однако и из них многие не сделали для моего имени, для успеха моих сочинений того, что они могли бы сделать.

Могли бы!.. Могли ли? Вот главный вопрос. Вот он! А если не могли?

Есть разные критерии возможности или возможного. Превосходный, практический врач, например. При благоприятных условиях и с моей и с его стороны он мог бы меня вылечить скорее и лучше всех других. Но он сам был болен и не выезжал, когда я был с ним в одном городе; он выздоровел и стал опять практиковать, а я незадолго перед тем уехал, и мы пе встречались. Он бы и

[1] Книги имеют свою судьбу *(лат.)*.

мог, да вот не мог же. Хотя и знал меня, и жалел, и хотел бы вылечить, но Богу не угодно было, чтобы он меня лечил. Почему же? Этого мы не знаем. Пути Господни неисповедимы.

Если бы я умер; если бы никто другой, кроме этого врача, не смог меня излечить, а ему нельзя было ездить ко мне, тогда судьба моя была бы понятна: я должен был умереть. Но я неожиданно вылечился в другом месте и у других врачей. Для чего же мы могли тогда видеться? И т. д. Я мог бы привести множество подобных примеров из моей литературной жизни. Многие люди могли бы сделать много для моего прославления: они видимо сочувствовали мне, даже восхищались; но сделали очень мало. Неужели это явная недобросовестность их или мое недостоинство? Да! Конечно, недостоинство, но духовное греховное, а не собственно умственное или художественное. Богу не угодно было, чтобы я забылся и забыл Его; вот как я приучил себя понимать свою судьбу. Не будь целой совокупности подавляющих обстоятельств, я, быть может, никогда бы и не обратился к Нему...

Не нужен, не «полезен» мне был при жизни такой успех, какой мог бы меня удовлетворить и насытить. Достаточно, видно, с меня было «среднего» succés d'estime[1], и тот пришел тогда, когда (сравнительно с прежним) я стал ко всему равнодушнее. (Полного равнодушия не смели приписывать себе и великие аскеты; по свидетельству отца Иеронима, борьба с самолюбием даже у Афонских пустынников, живущих давно в лесу или пещерах, самая упорная из всех. Деньги им уже не нужны; к молитве постоянной и телесным подвигам они себя давно приучили, чувственность слабеет с годами, но с самолюбием до гроба и этим людям приходится бороться!)

И, убедившись в том, что несправедливость людей в этом случае была только орудием Божьего гнева и Божьей милости, я давно отвык поддаваться столь естественным движениям гнева и досады на этих людей. Человек может быть прав житейски, но он духовно грешен, и Бог неправедною рукой ближнего, как будто бы с вида ни за что ни про что, наказывает и смиряет его.

---

[1] Умеренного успеха.

Я не раз говорил с людьми духовного разумения о том, обязан ли человек во всяком случае считать себя неправым, а ближнего правым? Все они отвечали согласно: «Нет, не во всяком случае неправым, но во всяком случае перед Богом чем-нибудь да грешным!» Итак, видимо, Богу было неугодно, чтобы сочинения мои имели успех. С какою же целью в таком случае я буду писать роман? Почему же я при таком убеждении предпочту его посмертной автобиографии? При последнем выборе есть еще надежда на большой успех; на успех романа нет у меня надежды, как бы он ни был хорош. Но на что же мне этот посмертный успех? Мне, человеку верующему в вечность небесного и бренность земного? Не для себя, а для других. Ни избрание сердца, ни долг справедливости не запрещены нам.

. . . .

Автобиографические, искренно написанные воспоминания всегда внушают больше доверия, чем роман.

Романист может иногда, не веруя сам, превосходно изобразить верования другого лица. Тургенев прекрасно изобразил чувства Лизы Калитиной (в «Дворянском гнезде»); Л. Толстой истинно и правильно — религиозное настроение княжны Марии («Война и мир»); Эмиль Золя в «Проступке аббата Муре» до того правильно и глубоко анализовал духовную борьбу молодого священника, что если устранить из этого изображения некоторые особые душевные оттенки, свойственные исключительно католичеству, то в истории этой борьбы и православный монах может при сходных условиях узнать самого себя. Творчество Золя в этом случае гораздо ближе подходит к духу истинного личного монашества, чем поверхностное и сантиментальное сочинительство Достоевского в «Братьях Карамазовых». Лично же нет никакого сомнения, что Достоевский в то время, когда взялся писать «Карамазовых», гораздо ближе начинал подходить по роду верований своих к церковно-православному христианству, чем Золя в то время, когда он писал свой роман. Золя настолько уже прославился, что если бы он ходил на исповедь к пастеру и причащался, то мы бы давно об этом узнали, как узнали, что материалист Поль Бер скончался покаявшимся католиком. Про Достоевского же мы

знаем, что он говел и причащался; и хотя это еще не вполне доказывает, что человек действительно (наедине с самим собою и Богом) чувствовал и думал о вере совершенно правильно, однако все-таки и это имеет некоторый вес.

Я хочу этим сказать, что художественное творчество может быть обманчиво. Человек мог верить смолоду очень живо или иметь позднее временные возвраты к церкви, временные колебания и теплые порывы к вере отцов. Он помнит прекрасно все эти чувства свои; учение в общих его чертах он знает, он дополнил чтением то, чего он не знал или о чем забыл. Он был знаком в жизни с истинно религиозными людьми, беседовал, спорил с ними; не забыл их доводов, их возражений. Совокупность этих впечатлений такова, что при некотором усилии творческого воображения и неверующий романист может чрезвычайно верно изобразить не только поступки или речи своего религиозного героя, но и самую сокровенную последовательность его помыслов.

Но внушает ли это ту степень фактического доверия, какую желательно бы внушить неутвержденным людям? Конечно, не внушает.

Надо, чтобы читающий верил, что я сам верю... Я пишущий; я живой, реальный, современный ему человек, человек, выросший в среде сходной по воспитанию и впечатлениям со средою самого читающего.

Искренность личной веры чрезвычайно заразительна. Я знаю это по опыту; ибо и на меня в свое время имели другие большое влияние этою искренностью.

Многие, конечно, не допускают и мысли, чтобы человек образованный нашего времени мог так живо и так искренно верить, как верит простолюдин по невежеству. Но это большая ошибка! Образованный человек, раз только он перешел за некоторую ему понятную, но со стороны недоступную черту чувства и мысли, может веровать гораздо глубже и живее простого человека, верующего отчасти по привычке (за другими), отчасти потому, что его вере, его смутным религиозным идеям никакие другие идеи не помешают.

Побеждать ему нечего; умственно не с кем бороться. Ему в деле религии нужно побеждать не идеи, а только

страсти, чувства, привычки, гнев, грубость, злость, зависть, жадность, пьянство, распутство, лень и т. п. Образованному же (а тем более начитанному) человеку борьба предстоит гораздо более тяжелая и сложная, ему точно так же, как и простому человеку, надо бороться со всеми этими перечисленными чувствами, страстями и привычками, но, сверх того, ему нужно еще и гордость собственного ума сломить и подчинить его сознательно учению церкви; нужно и стольких великих мыслителей, ученых и поэтов, которых мнения и сочувствия ему так коротко знакомы и даже нередко близко, тоже повергнуть к стопам Спасителя, Апостолов, Св. Отцов и, наконец, дойти до того, чтобы даже и не колеблясь нимало находить, что какой-нибудь самый ограниченный приходской священник или самый грубый монах в основе миросозерцания своего ближе к истине, чем Шопенгауер, Гегель, Дж. Ст. Милль и Прудон... Конечно, до этого дойти не легко, но все-таки возможно при помощи Божией. Нужно только желать этого добиваться; мыслить в этом направлении, молиться о полной вере еще и тогда, когда вера не полна. (По опыту говорю, что последнее очень возможно и даже не трудно; достаточно для этого быть сначала, как многие, деистом, верить в какого-то Бога, в какую-то высшую живую Волю.) Раз это чувство есть, раз есть и в уме нашем это признание, не трудно хоть изредка, хоть раз в день, хоть при случае с глубоким движением сердца воскликнуть мысленно: «Боже всесильный! Научи меня правой вере, лучшей вере! Ты все можешь! Я хочу веровать правильно; я хочу смириться перед верой отцов моих. Если она правильнее всех других, покажи мне путь; научи меня этому смирению! Подчини ей мой ум! Сделай так, чтоб этому уму легко и приятно было подчиняться учению церкви!»

И все это понемногу придет; придет иногда незаметно и неожиданно. «Просите и дастся вам!»

Раз же мы переступим сердцем за ту таинственную черту, о которой я говорил выше, то и сами познания наши начнут помогать нам в утверждении веры. Все атеисты или антитеисты нам послужат, и даже, чем самобытнее мы сами, чем мы способнее скептически отнестись ко всем величайшим приобретениям науки и вообще ума человеческого, тем менее могут авторитеты этой науки и

этого ума помешать нам смиряться и склоняться перед тем, перед чем мы сами хотим, не обращая даже никакого внимания ни на Руссо и Вольтера, ни на Гегеля и Шопенгауера, ни на Фогта и Фейербаха...

За этою таинственною чертой все начнет помогать вере, все пойдет во славу Божию, даже и гордость моего ума! «Что мне за дело до всех этих великих умов и великих открытий! Я все это давно знаю! Они меня уже ничем не удивят... Я у всех этих великих умов вижу их слабую сторону, вижу их противоречия друг другу, вижу их недостаточность. Может быть, они и умом ошиблись, не веруя в церковь; математически не додумались... упустили из вида то и другое... И если уже нужно каждому ошибаться, то уж я лучше ошибусь умом по-своему, так, как я хочу, а не так, как они меня учат ошибаться... Буду умом моим ошибаться по-моему; так ошибаться, как мне приятно; а не так, как им угодно, всем этим европейским мыслителям!.. А мне отраднее и приятнее ошибаться вместе с Апостолами, с Иоанном Златоустом, с митрополитом Филаретом, с отцом Амвросием, с отцом Иеронимом Афонским, даже с этим лукавым и пьяным попом (который вчера еще, например, раздражил меня тем-то и тем-то), чем вместе со Львом Толстым, с Лютером, Гартманом и Прудоном... Сами молодые философы наши, Грот например, признают умственные, философские права чувства.

Вот как и гордость моего ума может привести ко смирению перед церковью.

Не верю в безошибочность моего ума, не верю в безошибочность и других, самых великих умов, не верю тем еще более в непогрешимость собирательного человечества; но верить во что-нибудь всякому нужно, чтобы жить. Буду же верить в Евангелие, объясненное церковью, а не иначе.

Боже мой, как хорошо, легко! Как все ясно! И как это ничему не мешает: ни эстетике, ни патриотизму, ни философии, ни неправильно понятой науке, ни правильной любви к человечеству.

II

Был ли я религиозен по природе моей?

Было ли воспитание мое православным?

Стараюсь, как можно точнее, припомнить детство свое. Вспоминаю все, что только могу вспомнить и о близких моих, и о самом себе, и говорю себе нерешительно: да и нет!

Дом наш, вообще сказать, не был особенно набожным домом. Отец мой был, кажется, равнодушным к вере; я не помню, чтобы он ездил в церковь; не помню, чтобы он говел; хотя знаю, что духовником его был не тот священник, который исповедовал мою мать, тетку, сестру и меня. У нас у всех сначала духовником был отец Лука, священник села Быкасова, а когда он скончался, то мы все стали говеть в селе Велине у отца Дмитрия, который только недавно умер почти 80 лет. Я не помню, чтоб отец говел; но, умирая, он причащался и на похороны его приглашен был вместе с приходским (Щелкановским) духовенством священник села Чемоданова. Тогда говорили: «Надо за духовником его послать». Лет мне было тогда восемь (или девять), я ко всему этому относился очень невнимательно, потому что к самому отцу и к его смерти был совершенно равнодушен. Произвело на меня довольно сильное впечатление только то, что у чемодановского священника риза на похоронах была сшита из разных шелковых кусков, треугольниками, как шьются одеяла, и еще что ни у кого я не видал так много мелких морщинок поперек лба, как у отца Афанасия (кажется, его так звали). Отец жил давно особо, не с нами, в небольшом флигеле, бедно убранном; в нем он заболел ужасною болезнью (miserere)[1], в нем умер, в нем и лежал на столе в довольно тесной комнате. Это было зимой, и так как хоронить его желали в Мещовском монастыре, то сборы были долгие; лежал он около недели и под столом стояли корыта со льдом. Около этого стола во время панихиды теснилось духовенство, едва помещаясь и толкая друг друга. Щелкановский дьякон, человек, которого лицо мне казалось тогда очень грубым и даже злым, как у разбойника, раза два оттолкнул очень грубо чемода-

[1] Имеется в виду: colique de miserere — закупорка кишечника.

новского батюшку в лоскутной ризе, и священник, обернувшись, посмотрел так грустно и жалобно и морщинок на лбу у него сделалось так много, что мне стало его очень жалко. И родные мои говорили с сожалением: «Какие бедные облачения у чемодановского причта! Просто жалость глядеть!»

Вот все, что у меня сохранилось в памяти о похоронах отцовских. В Мещовск повезли его хоронить тетка с сестрой, я остался с матерью дома и очень хорошо помню, что ничуть не горевал и не плакал. Относительно религии отцовской помню еще два случая. Один вовсе ничтожный, другой поважнее. Принесли к нам как-то раз летом чудотворную икону Святителя Николая из села Недоходова. Мы все вышли встречать ее. Отец первый приложился, прошел под нею, согнувшись с большим трудом, так как он был очень велик и толст. Помню его пестрый архалук из термаламы и как развевались белые волосы его от ветерка над лысиной. Потом все стали тоже проходить под икону, и мне это очень понравилось почему-то. Не помню, проходила ли мать моя. Мне кажется, что нет: она не любила в точности исполнять обряды. Если бы она проходила, то я, верно, этого не забыл бы; я так ее любил и так охотно на нее любовался! (Она была несравненно изящнее отца; а для меня это по врожденному инстинкту было очень важно!) Я упомянул об этом потому, что только раз и помню отца исполняющим обряд. Что он когда-нибудь да говел, видно из того, что у него оказался духовник в последнюю минуту. Но я не сохранил в памяти ничего больше об его религиозности, может быть, и потому, что я был очень равнодушен к нему и мало им занимался. При утренней встрече поцелую руку, вечером подойду под благословение и тоже поцелую руку, и больше ничего. И он мною и моим воспитанием вовсе не занимался.

Другое обстоятельство было немного поважнее. Когда в первый раз семи лет я пошел исповедоваться в большую нашу залу к отцу Луке (Быкасовскому) и тетка мне велела у всех просить прощение, то я подошел прежде всего к отцу; он подал мне руку, поцеловал сам меня в голову и, захохотавши, сказал: «Ну, брат, берегись теперь... Поп-то в наказание за грехи верхом кругом комнаты на людях ездит!»

Кроме добродушного русского кощунства, он, бедный, не нашел ничего сказать ребенку, приступавшему впервые к священному таинству!

По всему этому видно, что отец мой был из числа тех легкомысленных и ни к чему не внимательных русских людей (и особенно прежних дворян), которые и не отвергают ничего, и не держатся ничего строго. Вообще сказать, отец был и не умен, и не серьезен.

Совсем иного рода было влияние матери.

Про нее можно сказать так: она была религиозна, но не была достаточно православна по убеждениям своим. У нее, как у многих умных русских людей того времени, христианство принимало несколько протестантский характер. Она любила только ту сторону христианства, которая выражается в нравственности, и не любила ту, которая находит себе пищу в набожности. Она не была богомольна; постов почти вовсе не соблюдала и нас не приучала к ним, не требовала их соблюдения. Заметно было иногда, что она немножко даже и презирала слишком набожных людей. Например, она нередко с пренебрежением употребляла слова «ханжа», «ханжество», и т. д.; тогда как истинно и по-православному верующий человек никогда этих слов и не позволяет себе употреблять; ибо никто не может знать, почему другой так заботлив о внешней обрядности; и как бы ни казался ему нравственнно нехорош очень набожный ближний, он всегда ищет в сердце ему какого-нибудь оправдания, даже и не любя его лично. (Например: этот человек так много молится именно потому, что кается, что понимает сам, какой у него дурной характер; а это и есть смирение и т. д.)

Все это, однако, касательно матери я стал соображать, конечно, позднее, но в детстве моем я был ей все-таки гораздо более, чем отцу, обязан хорошими религиозными впечатлениями.

Молиться перед угловым киотом учила меня не мать, а горбатая тетушка моя Екатерина Борисовна Леонтьева, отцовская сестра. Но я помню хорошо, как сама мать молилась по утрам и вечерам. Когда незадолго до смерти отца 16-летнюю сестру Александру привезли в Кудиново из Екатерининского (Петербургского) института, то мать моя вместе с нею молилась у

себя в кабинете по утрам; а я часто, еще лежа на диване, слушал. Я рассказал об этом подробнее в другом месте (в воспоминаниях матери моей об императрице Марии Феодоровне). Не знаю, как бывает это у других, но у меня те чувства мои, которые соединились с какою-нибудь картиной, лучше сохранились в памяти. Помню картину, помню чувство. Помню кабинет матери, полосатый, трехцветный диван, на котором я, проснувшись, ленился. Зимнее утро, из окон виден сад наш в снегу. Помню, сестра, оборотившись к углу, читает по книжке псалом: «Помилуй мя, Боже!» «Окропиши мя исопом и очищуся; омыеши мя и паче снега убелюся. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит!» Эти слова я с того времени запомнил, и они мне очень нравились. Почему-то особенно трогали сердце.

Позднее, когда сестра стала старше, все это изменилось; молитв у матери по утрам она больше не читала, потому что мать во всем дала ей больше противу прежнего воли. Но эти две первые зимы ежедневных утренних молитв не прошли для меня без следа. И когда уже мне было 40 лет, когда матери не было уже на свете, когда после целого ряда сильнейших душевных бурь я захотел сызнова учиться верить и поехал на Афон к русским монахам, то от этих утренних молитв в красивом кабинете матери с видом на засыпанный снегом сад и от этих слов псалма мне все светился какой-то и дальний, и коротко знакомый, любимый и теплый свет. Поэзия религиозных впечатлений способствует сохранению в сердце любви к религии. А любовь может снова возжечь в сердце и угасшую веру. Любя веру и ее поэзию, захочется опять верить. А кто крепко захочет, тот уверует. В детстве есть такие минуты, в которых мы более, чем в другие минуты, готовы к принятию сильных и глубоких впечатлений. Эти минуты очень редки, и потому мы вообще из детства нашего немногое хорошо помним. Последовательно не помним ничего, а все в виде отдельных и мгновенных образов. Очень часто даже бывает, что случаи, возбудившие в детском уме особое внимание, вовсе не важны сами по себе; но, вероятно, какие-нибудь психические сочетания в эту минуту в высшей степени благоприятны для восприятия и сохранения впечатлений. Я

рос, например, в деревне; мог ли я не видать каждую зиму снега в саду, каждое лето цветов, полей, засеянных хлебами, птичьих гнезд и т. д.? Конечно, видел все это с первых лет жизни и постоянно. Отчего же снег в саду или сад в зимнем уборе я запомнил только в один какой-то раз, в одно какое-то утро, когда я, лежа на диване, слушал слова псалма? Положим, что тут еще была особая причина: совпадение слов псалма с картиною, видной мне из окон. («Омыеши мя и паче снега убелюся».) Но почему я в какой-то светлый летний день, именно в этот день, в этот раз, а не в другой, узнал впервые, какая разница между овсом, ячменем, пшеницей и рожью. Быть может, и прежде их показывали; однако я на всю жизнь сохранил память об одном этом только случае. Светлый день; голубое небо; я иду с теткой в поле, и она мне срывает колосья и показывает разницу. Почему еще я о цветах ничего не помню до той минуты (именно минуты), когда я (5 или 6 лет, а может быть и 7 даже) подхожу к большому круглому столу в кудиновской гостиной и вижу на нем вазу с ранними цветами. В этот день, 18 мая, именины сестры, недавно взятой из института; я вижу в этой вазе только три сорта цветов: белые и лиловые. Я спрашиваю, как их зовут; и мне говорят: «Это сирень; это нарциссы; а это темно-лиловые ирисы». Неужели я прежде не видал этих цветов и не говорил о них? Наверное, и видал и говорил. Однако только с этой минуты у меня явилось и осталось на всю жизнь ясное, сознательное представление о первых красотах весны и лета; о том, что цветы в вазе на столе — это что-то веселое, молодое, благородное какое-то, возвышенное... Все, что только люди думают о цветах, я стал думать лишь с этого утра 18 мая. И с тех пор я не могу уже видеть ни ирисов, ни сирени, ни нарциссов даже на картине, чтобы не вспомнить именно об этом утре, об этом букете, об этих именинах сестры (других ее именин я вовсе не помню). Вспоминаю всегда и о ней самой; об ее довольно веселой и оживленной молодости, о нашей тогда дружбе и о позднейшей ее весьма нерадостной судьбе и незначительной жизни.

В этом же роде я могу припомнить, при каких обстоятельствах я ясно сознал и запомнил, что такое парящий

в небе ястреб или орел. И многое я могу привести в этом роде на память, чтобы доказать, что неизгладимые следы в памяти нашей зависят не столько от важности самого случая или события, сколько от нашей готовности воспринять глубоко то или другое впечатление. Есть много вещей гораздо более замечательных и важных в нашей жизни, о которых мы или вовсе не помним и вспомнить и вообразить их даже с помощью других не можем; или забываем вовсе до тех пор, пока не увидим какой-нибудь давно не виданный предмет, относящийся к тому времени: письмо, книгу, портрет, мебель, дорожку в саду или в поле и т. д.

Например, когда в 70 году Маша, возвратившись от меня из Турции, сказала моей матери, что я, несмотря на все последние удачи мои по службе, стал очень тосковать и думать о том, чтобы кончить жизнь мою в монастыре, мать приняла это очень спокойно и сказала ей: «Это странно! Когда я его маленьким возила раз в Оптину, ему так там понравилось, что он мне сказал: «Вы меня больше сюда не возите, а то я непременно тут останусь». Я же не только этих слов моих, но и самой поездки в Оптину вовсе не помню и вспомнить не могу. И мать моя до этого разговора с Машей никогда об этом случае не упоминала ни без меня, ни при мне. Такого важного обстоятельства моей детской жизни я вовсе не помню, а из числа менее важных и поразительных случаев я в течение всей моей жизни беспрестанно вспоминал о том, что первый раз, когда я помню мать мою ясно и хорошо, это был в один день ее причащения. Я ее поздравлял. Было это вот как. Тетка сказала мне: «Поздравь маменьку; она причащалась сегодня». Я вышел в залу, в которой мать моя наигрывала что-то на фортепиано, и подошел к ней. Если я скажу просто: «Мать нагнулась ко мне и поцеловала меня с улыбкой», это будет совсем не то, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что ни прежде, ни после (в течение долгого времени) этого полудня я не помню лица моей матери в эти года. Тогда еще у нее не было морщин; я их не помню вовсе, по крайней мере, в эту минуту, когда она, сидя у фортепиано, с нежною улыбкой нагнулась поцеловать меня, у нее было именно такое красивое, моложавое и приятное лицо, как на акварели Соколова в круглом чепце и красном шелковом

платье с воздушными рукавами. Только платье у нее было другое, кисейное с голубыми горошками. Не могу сказать и сам не могу понять, что на меня так сильно подействовало в этот краткий миг; но могу уверить, что я никогда не забывал его. Когда я вспоминал что-нибудь о детстве, или о любви моей к матери, или о днях св. причащения, это мгновение одним из первых представлялось мне. После 20 лет я стал сочинять повести и романы. Иногда нужно мне было вообразить для них образованную, благовоспитанную, изящную и не старую еще мать! И тотчас же мне представлялось, что мой герой видит свою молодую мать после причастия, в зале, за фортепиано, и непременно в кисейном белом платье с голубыми горошинками. Мне не пришлось нигде этого написать, ибо великое множество задуманного мною от 20 до 58 лет я написать не мог, но мне всегда казалось, что если придется изображать такую молодую мать, то непременно надо ее представить в таком платье; иначе читатель даже будет менее будто бы тронут, как будто образ, на меня действующий, должен и на него точно так же подействовать.

Сам по себе этот случай, положим, мало объясняет главный вопрос, было ли мое воспитание православным или нет; но мне кажется, что он имеет вот какое значение: хорошо, чтобы в детских воспоминаниях религиозное соединялось с изящным. Чувство будет сильнее, полнее. Приятнее будет вспомнить.

Если я теперь начну внимательно припоминать все, что могу, относительно религиозного влияния на меня матери моей во время детства и отрочества, лет до 17—18, то мне придется сказать, что вообще оно было средней силы; она не вредила мне с этой стороны, но и не делала мне большой пользы. Остались у меня в памяти очень приятные воспоминания о некоторых богослужениях; изредка о зимних всенощных в кудиновской длинной зале, которые производили на меня впечатление. Несколько раз мы с матерью ездили на зиму в Петербург, сперва, чтобы видеть сестру в Екатерининском институте и старших братьев в корпусах, потом, чтобы взять сестру из института, когда она окончила курс; потом ездили уже с сестрой вместе туда. В эти зимы в Петербурге мать моя гораздо чаще ходила с нами к обедне и ко все-

нощной, чем в деревне. В Петербурге я ее видел несравненно более богомольною, чем в деревне. Причину я понимаю теперь; понимаю даже ее чувство. «Народничества» или «простонародничества» тогда вовсе не было у дворян. Если и было, то бессознательное, и больше у тех, которые сами были «посерее», так сказать, и этим ближе к народу. Мать моя не любила «простого» народа; не любила толпы, тесноты и толкотни в храмах; принуждать себя много не находила нужным. Она хотела молиться для себя искренно, тепло; хотела молиться тогда, когда ее сердце требовало молитвы. Она, видимо, была из тех людей, которые не признают важности долгого принудительного и тяжкого (почему бы то ни было тяжкого) присутствия в храме. Она хотела не почтительного повиновения уставу и обряду, искала не подвига послушного (и отчасти сухого) выстаивания даже при неудобных, развлекающих или раздражающих условиях; она хотела молитвы горячей и покойной. Вот почему, я думаю, она некоторые петербургские церкви, особенно домовые, предпочитала не только деревенским, но и калужским, например. Когда я в течение 4-х с лишком лет учился в калужской гимназии (от 44 до 49-го?) и вся семья наша зимы проводила в Калуге, я не помню, чтобы мать моя часто ездила в церковь. А в Петербурге она часто бывала у обедни, особенно в домовых церквах; или чаще всего она ходила и нас с сестрой водила в домовую церковь института слепых. Ходили мы не с главной лестницы и не в самую церковь (самой церкви я даже ни разу и не видел)! Мы проходили через какое-то внутреннее крыльцо и по особой лестнице в просторную комнату с паркетным полом, из которой была боковая дверь в церковь. Богослужения видно не было из нее, но возгласы и пение были очень хорошо слышны. Через эту комнату проводили к началу обедни в церковь и самих слепых по два в ряд, в длинных сюртуках. (Помню, что смотреть на них мне было очень неприятно; какая-то физически брезгливая жалость.) Остальные же впечатления были мне так приятны, что я даже раз или два отпрашивался у матери туда и без нее ко всенощной. (Мне было тогда уже 11—12 лет.) В этой зале или большой комнате с паркетным полом было очень чисто, светло и просторно; общество молящихся было избранное; не то

чтобы исключительно знатное, но избранное в том смысле, что тогда в нее (не в самую церковь, всем предоставленную, а в эту боковую залу) можно было входить только по знакомству или рекомендации. Тогда швейцар впускал. Здесь обедня начиналась поздно; все почти стояли у стен: никто друг другу не мешал; никто не толкался, не «протискивался» вперед; не хватал рукой вас за спину или бок, чтобы оттолкнуть с места; никто не плевал на пол, не сморкался в руку, не «харкал». Можно было всегда достать стулья.

Здесь, я помню, мать усердно молилась; много крестилась; была сосредоточена; клала поклоны охотно; Великим постом даже и земные, не брезгая здесь полом, как брезгала во многих других местах. Боже мой! Как я стал после 40 лет, после жизни на Афоне, понимать ее и даже сочувствовать ей! А было время, когда (между 20 и 40 годами) я не понимал ее в этом и не сочувствовал ей.

По этому поводу, то есть по поводу церквей «всенародных», так сказать, «тесных и многолюдных», и церквей особых, «дворянских», что ли, домовых и т. п. можно, я думаю, написать целое психологическое рассуждение и разобрать подробно, какое разнородное значение имеют эти храмы для души христианина. Но я боюсь слишком далеко отвлечься этим рассуждением, а приведу только один разговор, который я имел в Москве в 70-х годах с Дмитрием Васильевичем Аверкиевым и его другом Антроповым (который написал «Блуждающие огни»). Мы разговаривали о чем-то касающемся православия, и мне случилось упомянуть, что я по субботам бываю у всенощной или на Моховой, в той церкви, которая по правую руку от Охотного ряда (названия не знаю), или в той, которая в самом Охотном ряду выступом (тоже забыл; где отец Иоанн Виноградов), или еще в маленькой дворцовой церкви, а по воскресеньям у обедни в университетской церкви; Аверкиев воскликнул: «Вот уж таких церквей, как университетская, не люблю! Мне нужна такая церковь, где мужик молится, или стоит около меня какая-нибудь несчастная салопница с подвязанною щекой!» Я узнал тотчас же в этих словах моего умного и доброго собеседника мою собственную, прежнюю точку зрения, мое собственное объективное, так сказать,

народничество 60-х годов. И мне когда-то (до жизни на Святой горе) для пробуждения во мне какой-то тени или подобия религиозных чувств нужен был пример людей низших по умственному развитию, сообщество существ более простых, более наивных, как говорится; ибо во мне самом была тогда только смутная любовь к вере, но самой веры не было. А когда пришла настоящая вера, мне уже вовсе не нужны стали для сильных религиозных чувств ни мужик, ни салопница. Напротив того, они стали в храмах физически мне больше прежнего мешать. К 40-м годам здоровье мое сильно расстроилось, и для бедной, немощной плоти моей теснота в церкви стала слишком тяжела; толпа и теснота так развлекают и тревожат телесно, что я мог выдерживать их только как подвиг, послушание, принуждение, а сосредоточиться уже не мог так отрадно и усладительно, как сосредоточивался на молитвенных и покаянных мыслях в такой церкви, где никто мне не мешал, никто меня не толкал, не хватал руками за спину, не сморкался около меня в руку и т. д.

Когда Аверкиев сказал мне о том, что он не любит таких церквей, как университетская, я тотчас же вспомнил о бедной (уже несколько лет до этого умершей) матери моей, вспоминал об ее брезгливости и нервности и о том «народничестве», которому я был так долго сам причастен и от которого более всего освободил меня Афон. И, вспомнивши обо всем этом, сказал Аверкиеву:

— Да, и я так думал и так чувствовал, пока сам не уверовал. И даже, помню, осуждал несколько мать свою покойную за ее слишком брезгливую дворянскую веру. Она никогда почти в обыкновенные приходские церкви не ходила и не ездила, а выбирала все такие, где было просторно, очень чисто и покойно. И мне когда-то казалось, что те светские дамы и образованные мужчины, которые ходят в такие «избранные» церкви, не веруют так искренно, как веруют те мужики и салопницы, о которых вы говорите. Но мне пришлось позднее сознать мою ошибку. Когда я сам стал чувствовать сильную потребность молитвы и присутствовать при совершении таинства, то мне для души народ стал менее нужен. А для тела больного и усталого стало нужнее спокойствие. Поверьте мне, Дмитрий Васильевич, та вера еще не настоящая, которая нуждается в этих воздействиях «простых людей». Это чув-

ство, «мужики и т. п.», чувство хорошее; в нем смешаны чувство эстетическое с гуманным или со славянофильским, каким-то патриотическим, пожалуй; но это не настоящее чисто религиозное, которое заставляет человека искать молитвы для себя и радоваться всему тому, что устраняет рассеяние и раздражение. На что народ тому, кто хочет для себя молиться?..

Аверкиева я находил всегда одним из самых добросовестных (умственно) людей в России; он на это не отвечал ни слова, и я видел по доброму и ясному выражению его лица, что он понял, если еще не опытом сердца, то умом, правду мою и не находил нужным противоречить мне. Что касается до Антропова, то он прямо сказал: «Я думаю, что вы правы!»

Конечно, если человек болезненный или очень брезгливый, подобно моей матери, понудит себя выстоять или даже отчасти и высидеть всенощную или обедню в толпе и толкотне ревностных, но грубых и часто неопрятных простолюдинов, это будет с его стороны истинный подвиг, который ему и сочтется (ибо понуждение зависит от нас, а умиление и радость молитвенная от Бога); можно похвалить его за это, поставить его при случае в пример, но избави нас Боже осудить такого человека за то, что он предпочитает домовые и просторные церкви церквам тесным и менее опрятным. Такова немощь его, зависящая от болезни, или от тонкого воспитания с ранних лет, или от чего-нибудь другого. И совсем не следует думать так, как думают многие, что вера простолюдина непременно лучше, чище и сильнее нашей веры. Это просто вздор. Из того, что один человек стоит около меня в старом зипуне и в лаптях и молится; а другой стоит в дорогом сюртуке от Бургеса или Lutun с Тверской, с хорошею тростью, и правою рукой крестится, а в левой, на которой французская перчатка, держит десятирублевую шляпу, никак не следует, что вера первого лучше, чище, сильнее. Это ужасный вздор, и вздор даже в высшей степени вредный, потому что такая точка зрения унижает религию, а не возвышает ее.

— Я не верю религии моих образованных знакомых, но религии мужика, солдата, мещанки и простого монаха верю.

На это надо ответить так: в этом случае ваше самом-

нение, ваша гордость берут верх над вашим умом. Это не мысль хорошая, объективно беспристрастная; это дурное чувство. Вы веру не ненавидите сами по себе. Вы ее даже уважаете и любите. Но сами вы не умеете верить; и вам завидно, что некоторые ваши знакомые умеют верить, дошли как-то до этого; а вы со всем вашим умом никак до этого дойти не могли. И вот вы допускаете, что те люди, которые не знают того, что вы знаете, не читали того, что вы читали, не жили барином, как вы жили, могут известным образом чувствовать, а люди, схожие с вами по воспитанию, привычкам, образованности, не могут иметь ни «страха Божия», ни веры в чудеса и таинства, ни упования на загробную жизнь, а непременно должны притворяться или обманывать самих себя, когда они ходят в церковь, причащаются, постятся и т. д. ... Вам досадно, вам не хочется признать, что эти люди, которых вы, может быть, не желаете ни в чем счесть выше себя, сумели развить в себе такие чувства, которые вам недоступны, и вы вместо того, чтобы обратиться к себе с строгим вопросом: «Все ли я сделал, чтобы добиться такой веры», предпочитаете признать их какими-то притворщиками или фантазерами от нечего делать. Это гордость и зависть и больше ничего.

Вот что надо ответить таким людям. Такой образ мыслей допустим на время во всяком человеке, и умном, и хорошем; но упорствовать в нем прежде всего не умно, не глубокомысленно, не справедливо. Что за вера в свое рассуждение безусловно! Проповедовать же все подобное, как проповедует гр. Л. Н. Толстой, это просто злодейство!

Что за ничтожная была бы вещь эта «религия», если бы она решительно не могла устоять против образованности и развитости ума! . . . .

Примечания

Произведения К. Н. Леонтьева, публиковавшиеся в журналах и газетах XIX века и выходившие отдельно, были впервые собраны и подготовлены к печати И. Фуделем, предпринявшим издание 12-томного Собрания сочинений писателя. Начиная с 1912 г. вышло 9 томов, на чем издание и прекратилось. Кроме многочисленных писем, которые предполагалось поместить в последних трех томах, в издание Фуделя не вошел ряд напечатанных прежде статей и заметок, а также многие остававшиеся в архивах или вообще не разысканные тогда материалы. Позже увидела свет автобиография Леонтьева «Моя литературная судьба» (Лит. наследство. Т. 22—24). Однако этим далеко не исчерпывается та часть его рукописного наследия, которая представляет несомненный интерес.

В данной книге читатель найдет избранную прозу Леонтьева, относящуюся к разным периодам его творчества; по ней можно составить верное представление о нем как о беллетристе.

Готовя к печати художественные произведения своего старшего друга, И. Фудель имел в руках журнальные их публикации с авторской правкой. Поэтому в основу настоящего издания положены тексты Собрания сочинений; вкравшиеся в них опечатки и явные искажения исправлялись по журнальному варианту. Пользуясь случаем, составитель благодарит А. В. Федорову и Е. Д. Донцову за помощь в подготовке издания.

Орфография и пунктуация текстов приближены к современным, с сохранением, однако, некоторых грамматических особенностей леонтьевского стиля. Переводы в подстрочных примечаниях сделаны с французского языка (за исключением оговоренных случаев) и принадлежат составителю.

ПОДЛИПКИ

Впервые опубликовано: Отечественные записки. 1861. Кн. 9, 10, 11.

Печатается по изданию: Леонтьев К. Н. Собр. соч. М., 1912. Т. 1.

С. 19. *Гонтовая крыша* — деревянная крыша из подогнанных друг к другу коротких дощечек.

С. 20. *Петровки* — пост перед Петровым днем, т. е. днем апостолов Петра и Павла (29 июня по ст. стилю).

С. 23. *Чистый четверг* — четверг на Страстной неделе, перед Пасхой.

С. 24. *День святителя Мокия* — 11 мая по ст. стилю.

С. 24. *...чудовище... что испугало лошадей Ипполита.*— Чтобы покарать Ипполита, сына афинского царя Тесея, Посейдон послал из моря ужасного быка; везшие Ипполита кони испугались его и сбросили юношу на землю.

С. 28. *Колотовка* — злая, вздорная женщина.

С. 29. *Анекдоты Балакирева.*— Имеется в виду многократно издававшаяся книга «Полное собрание анекдотов Балакирева», куда вошли истории и остроты, связанные с именем Балакирева, «шута, бывшего при дворе Петра Великого»; однако «анекдоты» эти имели в действительности самое разное происхождение и большей частью были заимствованы из немецкого сборника, переведенного еще в 1780 г. Иван Алексеевич Балакирев (1699—1763) был доверенным слугой Петра I и Екатерины I, затем — официальным шутом императрицы Анны.

С. 39. *Дюкре-Дюмениль Франсуа Гийом* (1761—1819) — французский писатель, автор нравоучительных романов. Здесь говорится о романе «Вечерние беседы в хижине, или Наставления престарелого отца». Героя его в русском переводе звали Палемон.

С. 40. *...как Иона, был проглочен китом...*— Библейский пророк Иона, выброшенный в море, был проглочен китом и затем извержен на сушу.

...на Святой — на Пасхе.

...напоминающим резец Фидия.— Т. е. похожим на статуи древнегреческого скульптора Фидия (V в. до н. э.).

С. 42. *«Эй, казак, не рвися к бою...»* — строфа из стихотворения А. С. Пушкина «Делибаш».

Стиракс — благовонная смола, добываемая из южных растений.

С. 48. *...был Веньямином родства.*— Т. е., будучи младшим в семье, пользовался общей любовью. Вениамин — младший сын библейского патриарха Иакова.

С. 49. *...парил крылатый херувим без тела: это был я...*— автобиографическая деталь: в кабинете матери Леонтьева висел его детский портрет «в идеальном виде бестелесного херувима с крыльями» (Леонтьев К. Н. Собр. соч. СП., б/г. Т. 9. С. 39).

С. 52. *«Живописный Карамзин, или Русская история в картинках»* — популярное иллюстрированное издание, выходившее в 1836—1844 гг.

С. 56. *Снофиды* — Снофидой в Ярославской губернии называли апатичного, сонного человека. Здесь: бестолковые, несуразные женщины.

С. 64. *«Белая кошка»* — волшебная сказка французской писательницы XVII в. М. К. д'Олнуа. *«Кот в сапогах»* — сказка Ш. Перро.

С. 65. *Дормез* — дорожная карета, в которой можно лежать в полный рост.

С. 74. *...о Павле и Виргинии...* — Речь идет о героях романа Б. де Сен-Пьера «Поль и Виргиния». См. примечание к с. 105.

С. 76. *Лагарп Жан Франсуа де* (1739—1803) — французский драматург и теоретик литературы.

С. 80. *Фарнос* — гордец.

С. 81. *Дезульер Антуанетта дю Лижье де Ла Гард* (1637—1694) — французская писательница, автор популярных в свое время идиллий. Приведенные выше строки взяты из ее «Аллегорических стихов к моим детям».

Просфора (просвира) — специально выпеченный хлебец, употребляемый в православном богослужении.

С. 82. *«Парижские тайны», «Мартын-найденыш»* («Мартин, или Найденный») — романы французского писателя Эжена Сю (1804—1857).

С. 83. *Колет* — короткая куртка, часть мундира некоторых конных полков.

С. 85. *Фабий Кунктатор* — Фабий Максим Квинт (ум. в 203 г. до н. э.), римский полководец и государственный деятель, прозванный Кунктатором (Медлителем) за то, что, намереваясь постепенно истощать силы Ганнибала, уклонялся от решительного сражения с ним.

С. 88. *Софья Павловна* — персонаж комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». *Кетли* — персонаж оперы-водевиля Д. Т. Ленского «Кеттли, или Возвращение в Швейцарию», представляющей собой переделку французской пьесы. *Молодая причудница* — Надежда Васильевна Славянская, героиня водевиля Д. Т. Ленского «В людях ангел, не жена, дома с мужем сатана» (переделка французской комедии Ф. де Курси и Д. Дюпети).

С. 90. *Рославлев* — герой романа Михаила Николаевича Загоскина (1789—1852) «Рославлев, или Русские в 1812 году». *Леонид* — герой романа Рафаила Михайловича Зотова (1795—1871) «Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона».

С. 94. *Эжен Сю* — см. примечание к с. 82.

С. 95. *Штрипка* — пришиваемая к низу брюк тесьма.

С. 96. *Бюжо Тома Робер* (1784—1849), герцог Ислийский — маршал Франции, герой наполеоновских войн; одержал победу над марокканцами при реке Ислии в 1844 г.

С. 97. *«Цинна, или Милосердие Августа»* — трагедия француз-

ского драматурга Пьера Корнеля (1606—1684). *Расин Жан* (1639—1699) — французский поэт и драматург.

С. 100. *Люкреция Борджиа* (1480—1519) — представительница знаменитого рода, вовлеченная в честолюбивые политические замыслы своего брата Чезаре Борджиа и отца, папы Александра VI. В. Гюго сделал ее героиней одноименной драмы, а Г. Доницетти — оперы с тем же названием.

С. 104. *Бэкон* — Фрэнсис Бэкон (1561—1626), английский философ-материалист.

С. 105. *Кювье Жорж* (1769—1832) — французский естествоиспытатель.

Сен-Пьер Бернарден де (1737—1814) — французский писатель, автор романа «Поль и Виргиния».

С. 106. *Тильбюри* — легкий двухколесный экипаж.

С. 110. *«Странствующий жид»* — роман Э. Сю (в русском переводе — «Агасфер»). *Иродиада* — персонаж этого романа.

С. 113. *Делиль Жак* (1738—1813) — французский поэт. Приведенные стихи взяты из его поэмы «Воображение» (песнь III).

...Палемон воспитывал Бенедикта и Леона... Речь идет о героях романа Ф. Г. Дюкре-Дюмениля «Вечерние беседы в хижине».

С. 114. *...о борьбе Мстислава с Редедей.*— Этот эпизод рассказан в книге «Живописный Карамзин, или Русская история в картинках». СПб., 1836. Ч. 1.

Кичка — нарядный головной убор у замужних крестьянок; *сборник* — кокошник со сборками, его носили и незамужние женщины.

С. 119. *Мадрепоровые скалы* — коралловые рифы; здесь подразумеваются экзотические острова южных морей.

С. 120. *Занд* — Жорж Санд, псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен (в замужестве Дюдеван) (1804—1876).

Косцюшко (Костюшко) Тадеуш (1746—1817) — политический и военный деятель, руководитель национального восстания в 1794 г. *Хлопицкий Григорий-Иосиф* (1771—1854) — польский военный деятель, участвовал в кампаниях 1792 и 1794 гг., а также в восстании 1830 г. *Баторий Стефан* (1533—1586) — польский король (с 1576 г.) и полководец.

С. 121. *...ни слова из «Лелии».*— «Лелия» — роман Ж. Санд.

Фигаро и Розина — персонажи комедии французского драматурга Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732—1799) «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность».

С. 122. *Юм Дэвид* (1711—1776) — английский философ, историк, экономист.

Роже Бонтан — (Роже Весельчак) персонаж (и от него возникшее

прозвище) французского поэта XV—XVI вв. Роже де Коллери. В этом образе запечатлен тип жизнерадостного беззаботного француза, выходца из Бургундии. Новую популярность этот образ получил в песнях П. Ж. Беранже.

С. 123. *Бенедикт* — герой романа Ж. Санд «Валентина».

Жак — герой одноименного романа Ж. Санд.

С. 125. *Вивёр* — человек, живущий в свое удовольствие.

С. 128. *Эпитрахили* (епитрахили) — часть облачения священника; *воздухи́* — покровы на сосуды со Святыми Дарами.

С. 129. *«Лукреция Флориани»* — роман Ж. Санд.

С. 130. *Беранже Пьер Жан* (1780—1857) — французский поэт.

С. 137. *Савояр* — уличный музыкант (от названия французской провинции Савойя).

С. 140. *«Последнее новоселье»* — стихотворение М. Ю. Лермонтова.

...по-каратыгински гремел... — т. е. декламировал в манере русского актера Петра Андреевича Каратыгина (1805—1879).

С. 142. *Rose Bradwardine* — Роза Брэдуордин, героиня романа В. Скотта «Уэверли, или Шестьдесят лет назад».

Сильвия — героиня романа Ж. Санд «Жак».

С. 143. *«Барская спесь и Анютины глазки»* — водевиль Д. Т. Ленского, представляющий собой переделку французской комедии.

С. 147. *Годфруа де Буйон* (1058—1100) — герой и один из предводителей первого крестового похода.

С. 148. *Субретка* — здесь: тип женщины, напоминающий распространенный комедийный персонаж — веселую, плутоватую горничную.

С. 156. *Мария Магдалина в пещере.*— Имеется в виду эпизод из Евангелия от Иоанна, где рассказывается о Марии Магдалине, пришедшей ко гробу воскресшего Иисуса.

С. 158. *Пуассардки* — торговки.

Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707—1788) — французский естествоиспытатель.

С. 162. *Пу-де-суа* — платье из плотной тафты.

«Графиня Монсоро» — роман А. Дюма.

С. 164. *Адамова голова* — череп.

...перед гнусным Штраусом — Подразумевается немецкий философ Давид Фридрих Штраус (1808—1874), автор знаменитой книги «Жизнь Иисуса, критически переработанная», отрицавший историческую достоверность евангельских преданий.

С. 166. *Гизо Франсуа Пьер Гийом* (1787—1874) — французский историк и государственный деятель.

Антологические пьесы Майкова — стихотворения, по своим мотивам и манере близкие к античной поэзии. Майков Аполлон Николае-

вич (1821—1897) — русский поэт, создавший немало произведений в этом роде.

С. 174. *«Что затуманилась, зоренька ясная...»* — песня на стихи русского писателя Александра Фомича Вельтмана (1800—1870).

...поздравить... с куафюрой! — Куафюра — прическа; здесь подразумеваются «рога», которые наставила мужу изменившая ему жена.

С. 175. *Твиновое пальто* — из твина, полушерстяной или хлопчатобумажной ткани типа саржи.

С. 180. *Тандрес* — нежности.

С. 183. *Леонид Спартанский* (508/507 — 480 до н. э.) — царь Спарты; возглавлял греческое войско в битве против персидского царя Ксеркса и погиб в сражении у Фермопил.

С. 193. *...Станислав на шее...* — орден Св. Станислава второй степени, носимый на шее, в отличие от того же ордена первой степени, носимого на ленте через плечо.

С. 196. *Стали* — кресла (в театре).

С. 198. *...«серая теория», по выражению Мефистофеля...* — В сцене «Кабинет Фауста» Мефистофель говорит студенту: «Всякая теория сера, дорогой друг...»

С. 199. *Мильтон Джон* (1608—1674) — английский поэт.

С. 200. *«Дума»* — стихотворение М. Ю. Лермонтова.

Филипповки — Филиппов пост, Рождественский пост, заговенье на который приходится на 14 ноября (по ст. стилю), день апостола Филиппа.

Купоны — здесь: ложа в театре.

С. 201. *Щепкин Михаил Семенович* (1788—1863) — знаменитый актер, игравший в Малом театре.

С. 204. *Поль-де-Кок* — Кок Поль Шарль де (1793—1871) — французский писатель, автор мелодрам, комедий, романов, очень популярных в средних слоях общества.

С. 207. *...варила... тизаны.* — Целебные отвары из трав.

С. 208. *Песнь Орсино* — т. е. ария, исполняемая Маффио Орсино (Орсини), персонажем оперы Г. Доницетти «Лукреция Борджиа».

С. 210. *...запела не новую тройку, а самую старую...* — Вероятно, имеется в виду песня на слова Ф. Н. Глинки «Вот мчится тройка удалая...» (первоначально составлявшие часть его стихотворения «Сон русского на чужбине», 1825). «Новая тройка» — ставшая популярной в 1850-е гг. песня на слова стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...», 1846).

С. 212. *«Фарфор и бронза на столе...»* — цитата из «Евгения Онегина» (гл. 1, строфа XXIV).

Кульмский крест — Железный крест, пожалованный прусским королем участникам сражений близ чешского села Кульм в августе 1813 г.

С. 218. *...он разумел «ручья лепетанье, была ему звездная книга ясна...»* цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гете».

С. 219. *Ральф* — герой романа Ж. Санд «Индиана».

С. 220. *Раймонд де Серси* — (Раймон де Рамьер) — герой романа Ж. Санд «Индиана».

С. 230. *Фредонировать* — напевать вполголоса.

С. 232. *...взял его в шенкеля...* — послал лошадь вперед, управляя шенкелями, т. е. прилегающими к корпусу лошади сторонами ног.

Эквитация — верховая езда.

С. 235. *Шатобриан Франсуа Рене де* (1768—1848) — французский писатель. Здесь имеется в виду эпизод из его повести «Атала», где воин-индеец поет эту песню.

С. 242. *Мальпост* — почтовая карета.

ИСПОВЕДЬ МУЖА

Впервые опубликовано под заглавием «Ай-Бурун»: Отечественные записки. 1867. Кн. 7.

Печатается по изданию: Леонтьев К. Н. Соб. соч. М., 1912. Т. 1.

С. 248. *Pavlovia Imperialis* — правильно: Paulownia imperialis, адамово дерево, павловния войлочная — южное растение семейства бигониевых, довольно высокое дерево с крупными листьями.

Дальтон Джон (1766—1844) — английский физик и химик, описавший нарушение цветового зрения и сам страдавший этой болезнью.

Авраам — библейский патриарх, покинувший землю отцов, чтобы пойти в землю, указанную Богом, и дать начало новому народу.

С. 249. *Мохамедане* — мусульмане.

С. 254. *Орсини — см. примечание к с. 208.*

С. 255. *Cistus taurica* — (Cistus tauricus),— ладанник крымский, розан каменный — растение из рода цистовых, невысокий кустарник, выделяющий ароматную камедь (ладан).

Melia Azederach — цедрах обыкновенный, азедерак, или святое дерево,— растение из семейства мелиевых, невысокое дерево, листьями напоминающее ясень, а цветами — сирень. Из косточек его делают четки.

Salisburia Adinalifolia или Gincko biloba — (Ginkgo) гинкго двулопастный, реликтовое растение субтропиков, высокое, до 30—40 метров дерево.

С. 256. *Феваль Поль* (1817—1887) — французский писатель, плодовитый автор занимательных романов.

«Знаменитые преступления» — книга А. Дюма.

С. 258. Леонтьев неточно цитирует стихотворение А. С. Пушкина «Кто видел край, где роскошью природы...».

С. 267. *Гесс Генрих фон* (1783—1863), барон — австрийский генерал.

С. 271. *Хрулев Степан Александрович* (1807—1870) — командир юго-восточного участка обороны Севастополя в 1855 г.

С. 273. *Кашпень* — вид женской прически.

С. 278. *Лист Ференц* (1811—1886) — венгерский композитор и пианист.

Ройе Коллар (Руайе-Коллар) Пьер Поль (1763—1845) — французский политический деятель, философ, адвокат, публицист; принимал участие в событиях Великой французской революции, впоследствии играл видную роль в восстановлении монархии Бурбонов.

С. 283. *Румелия* — название турецкой провинции, расположенной на Балканском полуострове.

С. 301. *Фанариот* — участник греческого восстания против турок в 1821—1830 гг.

ЕГИПЕТСКИЙ ГОЛУБЬ

Впервые опубликовано: Русский вестник. 1881. Кн. 8, 9, 10; 1882. Кн. 1, 10.

Печатается по изданию: Леонтьев К. Н. Соб. соч. М., 1912. Т. 3.

С. 308. *...пошли это К. Н.*— Т. е. Константину Николаевичу; таким образом, надо полагать, Леонтьев намекает на реальность главного лица повести и невымышленность рассказанных в ней событий.

С. 314. *...одно столкновение с иностранцем...* — В этой истории, к которой рассказчик еще не раз вернется, отразился факт биографии самого Леонтьева в пору его дипломатической службы на Востоке. Однажды, взбешенный дерзостью французского консула, неуважительно говорившего о России, Леонтьев ударил его хлыстом, причем дело происходило в канцелярии консула. Этот эпизод составлял «одно из самых жизнерадостных воспоминаний» в жизни Леонтьева (см.: Русский вестник. 1903. № 5. С. 179).

Драгоманы — переводчики при европейских посольствах на Востоке.

...«модные» рассказы в «Современнике» покойного Панаева.— Речь идет о популярных в 1840—1850-х гг. рассказах и очерках Ивана Ивановича Панаева (1842—1862), печатавшихся в журнале «Современник» и отличавшихся обилием бытовых подробностей.

С. 316. *Перотка* — так называет Леонтьев обитательницу константинопольского предместья Пера, где находились посольства, гостиницы, торговые конторы европейцев. Одновременно самой формой слова он иронически намекает на принятую в Нормандии кличку гусынь Pérote.

С. 320. *Во время этих сирийских ужасов.*— Имеются в виду столкновении между друзами и маронитами (см. следующее примечание) в 1860 г. *Фуад-паша* (1814—1869) — турецкий государственный деятель и писатель, тогда в качестве комиссара содействовал восстановлению мира и порядка, прибегая для этого к весьма решительным мерам.

С. 321. *Друзы* — арабская народность, живущая в Сирии и Ливане и в религиозном отношении составляющая одну из крайних шиитских сект мусульманства. *Марониты* — приверженцы маронитской христианской церкви, живущие на территории Ливана и Сирии. Эта церковь сложилась в V—VII в. из общин, возникших вокруг основанного монахом Мар Мароном монастыря. С 1840-х г. начались жестокие раздо ры между друзами и маронитами, приведшие к кровавым столкновениям в 1860 г.

С. 328. *...благородные демоны Мильтона и Лермонтова...*— подразумеваются образ Сатаны в поэме Д. Мильтона «Потерянный рай» и образ Демона в одноименной поэме М. Ю. Лермонтова.

С. 331. *...не черных, а белых евнухов...*— Черные евнухи, в отличие от белых, подвергались полной кастрации.

С. 334. ...— *Что такое истина? — спросил я, как Пилат...*— Римский наместник в Иудее Понтий Пилат задал этот вопрос Христу (Ин. 18, 38).

С. 335. *Пирронизм* — скептическое миросозерцание, основателем которого был древнегреческий философ Пиррон из Элиды (ок. 365—ок. 275 до н. э.).

С. 338. *Голландец Петр.*— Русский царь Петр I в 1697 г. отправился с Великим посольством в Западную Европу и некоторое время провел в Голландии, где работал на верфи плотником.

Бёкингам (Бекингем) Джордж Вилье (1592—1628), герцог — английский политический деятель, министр при Якове I и Карле I Стюартах. *Людовик XIII* (1601—1643) — король Франции с 1610 г.

С. 339. *...аскетического романтизма Тогенбурга...*— Под этим именем получил известность швейцарский писатель Ульрих Брекер (1735—1798), создавший автобиографическую «Историю жизни и достоверных приключений бедняка из Тоггенбурга».

Мюссе Альфред де (1810—1857) — французский писатель.

С. 340. *...«когда мне были новы все впечатленья бытия».*— Слова из

стихотворения А. С. Пушкина «Демон» («В те дни, когда мне были новы все впечатленья бытия...»).

С. 345. *Мартенс Карл фон* (1790—1863), барон — немецкий юрист, известный трудами в области международного права, автор пособий и руководств для подготовки дипломатов. *Валлата* (Валлетта) Никколо (1738—1814) — итальянский юрист. *Феррейро Сильвестре Пингейро* (1769—1846) — португальский дипломат и философ, автор трудов по дипломатике и праву.

...профиль камеи... — Камея — гемма (резной камень) с выпуклым изображением; женские профили на античных камеях отличались изяществом и правильностью очертаний.

С. 349. *Кипсеком* в первой половине XIX в. назывались издания, богато иллюстрированные гравированными изображениями.

С. 350. *Тенар Луи Жак* (1777—1857) — французский химик. *Фердинанд, герцог Орлеанский* (1810—1842) — наследный принц.

С. 351. *«Свеж и душист твой роскошный венок...»* — первая строка стихотворения А. А. Фета.

С. 354. *Паликар* — храбрец, молодец.

С. 357. *Хан* — постоялый двор в Турции.

С. 361. *Кавас* — телохранитель при консуле; лицо привилегированное, сравнительно с простым слугой — сеисом.

С. 365. *Зуавка* — куртка без воротника из темно-голубого сукна, составлявшая часть мундира зуавов — солдат французских колониальных войск.

С. 366. *Боске Пьер Франсуа Жозеф* (1810—1861) — французский маршал; в Крыму в 1854 г. командовал дивизией и обсервационным корпусом.

С. 367. *Filique* — введенное римско-католической церковью добавление к символу веры, означающее исхождение Святого Духа не только от Отца (что утверждает православная догматика), но и от Сына.

С. 368. *Стразовая булавка* — булавка со стразом, хрусталем, ограненным под бриллиант.

С. 385. *Дибич-Забалканский Иван Иванович (Иоганн Карл Фридрих Антон)* (1785—1831), граф — русский военный деятель, участвовал в войнах с Францией, возглавлял войска на Балканах во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг.

С. 390. *Саше* — изящно отделанные подушечки с ароматическим веществом, кладутся в белье, бумагу и пр. для придания приятного запаха.

С. 396. *Фламмарион Камиль* (1842—1925) — французский астроном, автор широко известных в свое время книг «La pluralité des mondes habités» (1862), «Les Mondes imaginaires et les mondes réeles» (1865).

(«Множественность обитаемых миров», «Миры воображаемые и миры действительные»). Леонтьев здесь говорит о первой из этих книг.

С. 401. *«Скорби, нужды, гнев»* — слова из ектении (молитвенного прошения), входящей в православную службу.

С. 408. *Интернунций* — второстепенный посол папы римского; интернунциями называли также представителей Австрии в Турции.

Препотенция — могущество.

С. 412. *...читал Чайльд-Гарольда...* — т. е. поэму Д. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда».

Кинкель Готфрид (1815—1882) — немецкий поэт, критик, богослов; был осужден за участие в революционном движении и заключен в крепость Шпандау, откуда бежал в Англию.

С. 413. *Бендек Людвиг* (1804—1881) — австрийский военачальник; отличался мужеством на поле боя; в войне с Пруссией в 1866 г. был (против его воли) назначен главнокомандующим, и, хотя поражение под Кениггрецем произошло не по его вине, он принял всю ответственность на себя.

Прусский юнкертум (юнкерство) — состоящее преимущественно из крупных землевладельцев прусское дворянство; к нему принадлежала большая часть прусского офицерства при Фридрихе II и позже.

Штейнмец Карл Фридрих (1796—1877) — прусский фельдмаршал. *Мантейфель* Эдвин Карл фон (1809—1885), барон — прусский генерал фельдмаршал.

С. 422. *Раки (рака)* — крепкий спиртной напиток на Востоке.

С. 425. *Меттерних-Виннебург Клеменс Венцель Лотар* (1773—1859) — австрийский государственный деятель и дипломат. *Каннинг Джордж* (1770—1827) — министр иностранных дел и премьер-министр Англии.

С. 434. *Эклога* — жанровая форма буколической поэзии, главной темой которой было изображение пастушеской жизни на лоне природы.

С. 449. *Один русский писатель ... и знает, что души нет!* — Об этом рассказывал А. И. Герцен в книге «Былое и думы» (часть первая, глава II). Лицо, о котором говорит Леонтьев,— дворовый человек Л. А. Яковлева («Сенатора»), дядя А. И. Герцена.

С. 454. *...«Критон, младой мудрец, рожденный в рощах Эпикура!»* — Строки взяты из стихотворного отрывка «Чертог сиял. Гремели хором...», входящего в повесть А. С. Пушкина «Египетские ночи». Критон был вторым, после Флавия, претендентом на любовь Клеопатры.

С. 468. *Жонкили* — дикорастущие нарциссы.

Бареж — шерстяная, шелковая или хлопчатобумажная редкого плетения ткань.

С. 475. *«Ундина»* — поэма В. А. Жуковского, написанная по мотивам Ф. де ла Мот Фуке.

...Павла Петухова снесли — Павлом Петуховым Богатырев насмешливо именует Поль-де-Кока. См. примечание к с. 204.

«Пойдем делить досуг печальной нашей крали».— Измененная реплика Молчалина из комедии «Горе от ума» (действие IV, явл. 12). У Грибоедова: «Пойдем любовь делить плачевной нашей крали».

С. 479. *Энтелехия* — термин аристотелевской философии, означающий осуществление того, что заложено в материи как возможность.

Тропос — образ действия, способ.

С. 481. *Седан* — город и крепость во Франции, близ которого во время франко-прусской войны, в сентябре 1870 г., была разбита французская армия и подписан акт о капитуляции. *Мец* — город на востоке Франции, где была блокирована армия маршала Базена; по Франкфуртскому договору город перешел к Германии.

Росбах — селение в Саксонии, возле которого в 1757 г. французские войска (вместе с армией принца Саксонского) потерпели поражение от прусской армии Фридриха II.

Гайлендеры (хайлендеры) — солдаты шотландского полка в английской армии.

С. 483. *Фонтенель Бернар ле Бовье де* (1657—1757) — французский писатель и ученый-популяризатор; особенно большой успех имела его книга «Беседы о множественности миров».

С. 492. *Горчаков Александр Михайлович* (1798—1883), князь — русский дипломат, министр иностранных дел, канцлер.

МОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЖИЗНЬ НА СВ. АФОНСКОЙ ГОРЕ

Впервые опубликовано: Русский вестник. 1900. Кн. 9.

Печатается по изданию: Леонтьев К. Н. Собр. соч. СПб., б/г. Т. 9.

С. 499. *Бер Поль* (1833—1886) — французский ученый и государственный деятель, профессор физиологии в Сорбонне.

С. 501. *Шопенгауэр Артур* (1788—1860) — немецкий философ. *Гегель Георг Вильгельм Фридрих* (1770—1831) — немецкий философ. *Милль Джон Стюарт* (1806—1873) — английский философ, логик и экономист. *Прудон Пьер Жозеф* (1809—1865) — французский социалист, теоретик анархизма.

«Просите, и дастся вам!» — слова Христа из Нагорной проповеди: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7, 7, Лк. 11, 9).

С. 502. ***Фогт (Фохт) Карл*** (1817—1895) — немецкий естествоиспытатель и философ. ***Фейербах Людвиг Андреас*** (1804—1872) — немецкий философ.

Иоанн Златоуст (ок. 347—407) — один из отцов восточной церкви константинопольский архиепископ. ***Филарет*** (в миру Василий Михайлович Дроздов) (1782—1867) — архиепископ, митрополит Московский, богослов и духовный писатель. *Амвросий* (в миру Александр Михайлович Гренков) (1812—1891) — иеросхимонах, старец Оптиной пустыни. Об отношениях его с Леонтьевым см. вступительную статью в настоящем издании.

Лютер Мартин (1483—1546) — деятель бюргерской Реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма. ***Гартман Эдуард*** (1842—1906) — немецкий философ.

Грот Николай Яковлевич (1852—1899) — русский философ.

С. 506. *Я рассказал об этом подробнее в другом месте...* — **см.**: «Рассказ моей матери об императрице Марии Феодоровне» (Леонтьев К. Н. Собр. соч. СПб., б/г. Т. 9).

«Помилуй мя, Боже!» «Окропиши мя исопом и очищуся...» — слова из 50-го псалма.

С. 508. *Соколов Петр Федорович* (1791—1848) — русский художник; был особенно знаменит своими акварельными портретами.

С. 511. *Аверкиев Дмитрий Васильевич* (1836—1905) — драматург, прозаик, критик, публицист. *Антропов Лука Николаевич* (1841 или 1843—1881) — драматург и критик. «Блуждающие огни» — его пьеса.

Содержание

Литературно-художественное издание

Константин Николаевич Леонтьев

ЕГИПЕТСКИЙ ГОЛУБЬ

Роман, повести, воспоминания

Редактор **Е. А. МАРКОВА**
Художник **Б. А. ЛАВРОВ**
Художественный редактор **Г. Г. САЛЕНКОВ**
Технический редактор **Г. А. ИВАНОВА**
Корректоры **В. Н. ЛЫКОВА, И. И. ПОПОВА**

ИБ № 5819. Сдано в набор 12.07.90. Подписано к печати 05.06.91. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Гарнитура Обыкн. Нов. Бумага газетная. Усл. печ. л. 27,72+вкл. 0,11. Усл. кр. отт. 27,83. Уч.-изд. л. 28,66. Тираж 100 000 экз. Заказ № 375. Цена 4 руб.

Издательство «Современник» Министерства печати и массовой информации РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Министерства печати и массовой информации РСФСР. 170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.



